Образ России
прошлой
и современной

На переломе

в культуре,
литературе
Европы
и Америки
(конец XX — начало XXI вв.)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А.М. Горького

НА ПЕРЕЛОМЕ:

Образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – начало XXI вв.)

Москва
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ
2011

УДК 94 47).084.8"19/20"
ББК 63.3(2)6
Н12

Труд создан при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда.
Проект 06-04-00547а, 2006-2008 гг.

Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках
федеральной целевой программы «Культура России»

Ответственный редактор:
дфн, проф. В.Б. Земсков

Ученый секретарь:
дфн Т.В. Кудрявцева

Рецензенты:
дфн, проф. А.П. Саруханян
дфн В.Н. Терехина

Н12 **На переломе: Образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – начало XXI вв.)** / отв. ред. В. Б. Земсков. – М. : Новый хронограф, 2011. – 696 с.
ISBN 978-5-94881-152-9
I. Земсков, В. Б., ред.

Коллективный труд «На переломе: образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX — начало XXI вв.)» впервые в таком масштабе обращается к изучению имагологической рецепции и репрезентации России на новейшем «переломном» этапе перехода от советского — к пост-советскому обществу, с особенностями сложного пути к демократическому и открытому обществу. Образ современной России (в соотнесении с прошлым) изучается на материале культуры, литературы таких стран, как Германия, Франция, Англия, США, Польша, Сербия, Канада, страны Латинской Америки.

© Коллектив авторов, 2011
ISBN 978-5-94881-152-9
© Издательство «Новый хронограф», 2011

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Коллективный труд «На переломе: образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – начало XXI вв.) впервые в таком масштабе обращается к изучению имагологической рецепции и репрезентации России на новейшем этапе ее истории, в соотнесении с давним и недавним прошлым страны.

Имагология рассматривается в труде как особая область *знания* и *со-знания,* связанная с древнейшими, архаическими истоками; это специфический и универсальный вид культуротворчества и культуроразличения, сопровождающий человечество на всем пути его развития. Она имеет междисциплинарный, интегральный и диффузный характер, будучи переплетенной со всей обширной жизнью этносов, наций, народов, с их историей, культурой, образом жизни, экономически-хозяйственной деятельностью, природно-географическими условиями, отношениями с ближними и дальними соседями и т.д. Имагология вырабатывает особые разновидности имагологического инструментария (стереотипы, имиджи, специфические образы) и в сущности, в своем пределе, она устремлена к воссозданию *целостного образа бытия* отдельных исторических субъектов, и в итоге – образа всего бытия в его *целостности.*

Значение имагологии быстро нарастает в эпоху глобализации, при этом, не утрачивая своей устремленности к целостности, она в то же время обретает все более дифференцированный характер, вырабатывает на основе новых технологий (особенно ИНТЕРНЕТ) новые инструменты рецепции и репрезентации, умножающие способы взаимовидения народов.

В центре внимания книги – имагологическая рецепция и репрезентация современной России и русских (в соотнесении с прошлым) на новейшем, «переломном» этапе перехода от советского – к пост-советскому обществу, с особенностями сложного пути к демократическому и открытому обществу. Эта проблематика изучается на материале культуры, литературы таких стран, как Германия, Франция, Англия, США, Польша, Сербия, Канада, страны Латинской Америки.

В.Б. Земсков

В.Б. Земсков

ВВОДНАЯ СТАТЬЯ.

РОССИЯ «НА ПЕРЕЛОМЕ»

«Друг друга отражают зеркала,
взаимно искажая отраженья»
(Г. Иванов)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: О РЕЦЕПЦИИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ «ДРУГОЙ» КУЛЬТУРЫ.

Проблема, вынесенная в подзаголовок статьи, в этой работе имеет не только общетеоретический, но и конкретно-исторический характер, она ориентирована на осмысление рецепции и репрезентации «образа России» как культурно-цивилизационного субъекта мировой истории в странах Европы и Америки, прежде всего на современном этапе.

Исторический, общественно-психологический контексты

Речь идет об одном из самых трудных и драматических периодов исторической судьбы России. Содержание этого периода, естественно, определяют исходные импульсы, которые служат для восприятия и построения «образа России», а точнее «образов России», так как они могут быть весьма различными в разных странах.

В хронологическом отношении тема «Россия на переломе», в узком смысле, охватывает период от стагнации социализма, перестройки с середины 1980-х гг. XX в. и последующих событий, вплоть

до сегодняшних дней, в более широком смысле прямое отношение к теме имеют, конечно, и предшествующие десятилетия, весь XX век, и более того все русское прошлое, куда уходят корни проблем и истоки образа России в зарубежных культурах. Однако прошлое здесь будет, в основном, не предметом изучения, а пунктом референции для истолкования, восприятия и построения образа России в других культурах на современном этапе.

Обобщенно говоря, в советский период были предприняты две попытки модернизировать страну без изменения глубинных структур общественного строя и необходимой коррекции базовых традиционалистских ценностей. Первая – в условиях формирования тоталитарного строя, милитаризации экономики, опустошительной Второй мировой, восстановления страны и новой – «холодной войны». Вторая – в годы перестройки, когда предпринимается поверхностная попытка изменения шкалы ценностей, введение идеологии «общечеловеческих ценностей», отказ от соперничества военных блоков, от милитаризации, стремление к «демократизации» советского строя, но без изменения основных атрибутов «реального социализма» (однопартийная система, сложившиеся межнациональные отношения и т.д.). Наиболее важным новым явлением этого периода стала «гласность», которая сыграла важнейшую роль в подрыве традиционной системы. Опыт закончился развалом Советского Союза и выделением Российской Федерации в самостоятельное государство.

Начавшиеся в 1990-х гг. радикальные изменения всех уровней экономической и общественной жизни носили во многом неконтролируемый, часто хаотический характер и потому и поныне с трудом поддаются достоверному и системному осмыслению. Поверхностная – событийная – сторона их известна (хотя и не во всем объеме), а глубинная сущность понята недостаточно, она неясна и тем, кто предпринял ту новую «перестройку», – эти годы словно покрыты пеленой тумана, слабо различимы, как в метели пушкинских «Бесов». И не случайно ведь эти годы извлекли из исторического лексикона столь значимые для нашей истории понятия «Раскол» и «Смута» – классические русские автостереотипы. Естественно, это не научные дефиниции, но их аналитическая разработка как мета-концептов весьма успешно ведется в российской культурологии[1]. Но это с «нашей»

[1] См., например: Российский цивилизационный космос (к 70-летию А. Ахиезера). М., 1999.

стороны, с другой же стороны для характеристики России и русской истории и современности употребляются другие понятия и определения, о которых мы скажем.

Итак, исходные импульсы двух образов России на двух этапах переломного периода порождены внутренним содержанием двух попыток модернизации. Обе попытки, противоположные по своей интенции (совершенствование социализма и установление капитализма), осуществлялись без соответствовавших масштабу задач интеллектуальной, социальной, нравственной ответственности. В результате борьбы элит за раздел общественной собственности под лозунгом построения «демократии» на российском пространстве сначала возник криминализированный «дикий капитализм», ввергший в состояние неясного по своим последствиям тяжелого кризиса все сферы общественной, экономической жизни, сознания, экзистенциальных ценностей, этики, морали. В итоге в зарубежных и национальных СМИ замелькали и ранее употреблявшиеся определения типа «Колосс на глиняных ногах», «Больной гигант», «Распад России», «Россия хаоса и эгоизма», «Тьма на рассвете», «Век Безумия» и даже «Верхняя Вольта с ядерными ракетами» и т.п. Когда же второй эшелон новых элит, также советского происхождения, предпринял прежде всего в своих интересах шаги по упорядочиванию и структурированию нового строя, введения его в какие-то берега законности, насколько это возможно, появились новые клише: «Новый тоталитаризм», «Неоимперия» и т.д. Определенной частью культурологии, зарубежных и российских СМИ постоянно тиражировалась идея о «непродуктивности», «тупиковости» русской цивилизационной модели, об обреченности России быть сырьевым придатком Запада.

Как же относиться к такому видению России? Единственно продуктивным представляется не отбрасывание грубых, категоричных клише, а глубокое обдумывание сложности российской истории, ее особой судьбы, во многом как бы сконцентровавшей противоречия всемирного характера. Самим русским есть много что предъявить своей истории, им самим надо понять, как выходить из тупиков Антиутопии. Этот анализ важен и для понимания судеб «других» всего мира, так как без столь «неудобной», «неуютной» России не решить ключевых проблем всемирного развития. Происходящий в России перелом со смутным исходом отражает общее состояние мира, также живущего на историческом переломе. Вес России на чаше весов истории сегодня не меньше, чем он был раньше. Могут возразить,

что здесь представлена русская точка зрения. Что же, это так. Но далее речь пойдет как раз о специфических механизмах рецепции и репрезентации образа другого/чужого, о соотношении и взаимодействии критериев объективности и субъективности в имагологии как области знания, изучающей эту сторону жизни мирового культурно-общественного сознания, о том, как складывались имагологические представления о России на Западе.

О феномене имагологии

Как уже отмечалось, имагология (от лат. image – образ), является и областью знания и междисциплинарной, интегративной дисциплиной, которая изучает рецепцию и репрезентацию своего мира или мира других/чужих.

В понятийном аппарате имагологии понятие *образ* имеет и широкое, обобщающее значение, и более узкое, конкретное, в качестве одного из «инструментов» (или «механизмов») рецепции и репрезентации. Разновидности имагологического образа – стереотип, имидж и др.

Истоки имагологии столь же древние, сколь и история, которая начинается с *культурораличения,* по принципу мы/они, свой/другой/чужой, с *взаимовидения, установления образа «другого»* как условия диалога, взаимоознакомления (и, соответственно, взаимодействия) древнейших родо-племенных образований. То есть имагология как дисциплина является разновидностью культурно-общественного сознания, особой и коренной формой миропознания, то есть специфическим и базовым видом культуротворчества.

Такое наше основное, но общее определение, ибо являясь комбинацией отражения/воображения реальности, имагология прошла столь же долгий путь как и сама история человечества, видоизменялась, усложнялась в своей структуре и «инструментах» с развитием сознания. Но главная черта на всех этапах развития – это универсальность имагологии и постоянная «зеркальная» обращенность к реальности, к культуре. Можно было бы сказать, каковы реальность, культура, такова и имагология. Это вечный инструмент создания и репрезентации других/чужих, вечный поскольку вечны, переходя из одного состояния в другое, коллективные формы имагологического культуротворчества. Источником формирования образов-стереотипов являются и крестьянская и городская среда, различные виды городской культуры,

вообще словесность в широком смысле слова, и, конечно сословные и государственные слои общества. Аксиологичность в стереотипе носит грубо оценочный характер: «плохой» при негативном восприятии, «хороший» – при позитивном. То есть это «черно-белая», неотрефлектированная оценочность. Механизм формирования стереотипа состоит в редукции, упрощении, схематизации прототипа, сведении его к генерализованному и категоричному шаблону. Эти имагологические формы составляют копилку культурно-бессознательного разных народов, и она пополняется новыми формами, вариациями на новых этапах развития. Каждая культура любого уровня развития по-своему воспринимает, воссоздает и закрепляет в памяти образы других/чужих такие образы, которые характеризуют либо отдельные стороны, черты и свойства этих «других», либо в целом их «сущность», их идентичность, на фоне собственных представлений о норме и ценностях.

Имагологические «продукты» функционируют, прежде всего, в пространстве собственной культуры, но могут переходить в другие ареалы и таким образом становиться общим достоянием, они также, естественно, встречают реакцию-резонанс, положительный или негативный, в той культуре, к которой относится тот или иной образ.

Среди инструментов создания и закрепления имагологических «продуктов» традиционно выделяются различные механизмы и формы, имеющие различный диапазон действия, это, как уже сказано: *стереотипы, имиджи, образы* (в узком значении слова). Можно наблюдать досадную путаницу понятий *стереотип* и *имидж*, их надо разграничивать, о чем еще будет сказано, пока же отметим, что к этому обычно употребляемому набору следовало бы добавить еще один инструмент, что позволяет расширить и дифференцировать способы формирования образов других/чужих. Речь идет о возникших уже в XX веке и ставших важной составной частью имагологической рецепции и репрезентации *понятийно-логических структурах.* Они в меньшей степени связаны с образной функцией мышления и являются продуктом таких аналитических дисциплин, как цивилизациология, культурология, хотя и они не чуждаются метафорического арсенала (например, уже упоминавшееся понятие «Раскол»). Отметим также, что часто используемые среди понятий имагологии термины «миф», «мифологема» не представляются удачными, – у них есть своя сфера применения и в имагологии они приобретают расплывчатый характер, хотя, конечно, конструирование образа других/чужих с по-

мощью любых из упоминавшихся инструментов в широком смысле является процессом мифотворческим, и более того, своими корнями уходит именно в мифокультуру.

Приведем примеры мифологического присхождения древнейших стереотипов, которые впоследствии (например, в современности) функционируют конечно уже не как мифологемы, а как осознанные, ролевые «инструменты».

Связь с Архаикой очевидна из анализа таких распространенных и в XX веке зооэтностереотипов как, с одной стороны, «*русский медведь*», а с другой стороны – «*немецкий волк*». Оба упомянутых стереотипа имеют универсальное распространение и по многим признакам противостоят друг другу.

Медведь во многих культурах выступает божеством – основателем традиции, культурным героем, охранителем (Мелетинский Е.М., Иванов В.В., Топоров В.Н.). Он главный герой животного эпоса, живущий в тесном контакте с человеком, значение его определяется подобием человеку, толкуемому мифологическим сознанием как их общее происхождение. В дальнейшей конкретизации медведь – хозяин леса, дедушка-старик, «лесной человек», «едящий мед» и ведающий знанием[1].

В эзотерическом знании медведь относится к миру первоэлементов, ко всем начальным этапам и инстинктам. Воспринимается также, как опасный элемент бессознательного и как атрибут грубого, дикого, жестокого человека. В русской мифологии он может быть также не только сильным защитником, но и опасным врагом[2].

Волк в универсальном значении преимущественно связан со значением бога войны, предводителя дружины (именно эти значения характерны для германского эпоса). Согласно общеиндоевропейской традиции человек, совершивший тяжкое преступление, становится оборотнем-волкодлаком[3].

Заметно, что в русской сказке волк, как правило – отрицательный герой, а медведь – положительный; но в западноевропейской традиции медведь не столь часто наделяется положительными функциями.

---

[1] Мифы народов мира / М., 1982. Т. 2. «Медведь». С. 128–130. Авт. Мелетинский Е.М., Иванов В.В., Топоров В.Н.

[2] См.: *Кэрлот Х.Э.* Словарь символов. М., 1994, «Медведь». С. 314.

[3] Мифы народов мира / М., 1980. Т. 1. «Волк». С. 242–243. Ав. Иванов В.В., Топоров В.Н.

Характерно, что такой «центровой» стереотип, как медведь, играет важную роль в создании общего имагологического образа России, который образуется ассоциативной цепью: медведь – дикость – сила – мороз – снег – лес и т.д.

В произведениях современников У. Шекспира медведь фигурирует как символ России («Свирепые русские медведи»)[1].

Мы специально остановились на стереотипе медведя, чтобы показать глубину его происхождения – ведь он жив и поныне и широко используется в западных СМИ во всех конфликтных ситуациях с Россией (и в словесной, и в визуальной формах). Но заметим при этом, набор зооэтностереотипов очень широк и изменчив в разных культурах.

В сумме своей стереотипы, имиджи, образы и *«имагологические понятия»* (назовем в рабочем порядке так упоминавшиеся понятийно-логические структуры) создают картину мира[2] другой страны, народа, а точнее было бы сказать их *картины мира*, но они отличаются в зависимости от того, с помощью каких инструментов создаются. В зависимости от выбора инструмента в картине мира будет преобладать образно-символическое, понятийно-образное или понятийно-логические начала. Из сопоставления этих картин мира можно составить и некий суммарный образ этих других/чужих, который будет основываться на устойчивых рядах фоновых представлений, на прецендентных стереотипах, образах, понятиях, символических объектах, исторических сюжетах, персонажах, мотивах и т.п. Герменевтическая работа с текстами различных культур выявляет, что картины мира одной и той же страны в различных культурах-рецепторах могут сильно не совпадать, что отражает как различие в системе норм и ценностей, так и влияние разных факторов на имагологическую рецепцию и репрезентацию.

Факторы, влияющие на формирование имагологической картины мира

Среди факторов, влияющих на формирование имагологической картины мира, – практически все то, что определяет бытие, быт и исто-

---

[1] *Карацуба Ирина.* Россия и Англия в зеркале книги Джайлса Флетчера // Отечественные записки. Россия как «другой». М., № 38(5). 2007. С. 56.

[2] *Хорев В.А.* О живучести стереотипов / Россия – Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре. Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2003. С. 7.

рию. Это факторы природно-географические, климатические, цивилизационные, этнические, религиозно-конфессиональные, историко-культурные, уровень развития экономики, бытовая культура, обычаи, культура высокая, роль и место страны в мировой истории и т.п., причем восприятие той или иной страны может изменяться при возрастании или уменьшении ее роли при смене мировых геополитических конфигураций.

Важную роль в восприятии той или иной страны или народа играют топологические факторы: близость/пограничность/дальность. Часто близость и пограничность усиливает остроту восприятия «других», даже соседей, близких по своим корням (например, восприятие России в Польше или Польши в России). Негативными факторами могут быть и конфессиональные различия, и исторические коллизии, и степень конфликтности отношений, и различия в уровне экономического, культурного развития и т.п. Негативная окраска восприятия страны может возникать и в географически удаленных странах-рецепторах, но там она быстрее изменяется, чем в близких, пограничных культурах, особенно родственных по этническим корням. Так, например, это очевидно во взаимовосприятии таких стран, как Россия – Германия – Франция – США – Англия – в различные периоды XX века: Первая мировая война, революция 1917 года, Вторая мировая война, «холодная война», перестройка, современный период, а с другой стороны, в стабильно напряженном взаимовосприятии Польши и России.

Но близость или удаленность не обязательно порождает негативный имагологический образ, возможны позитивные имагологические образы между пограничными родственными соседями (Россия – Белоруссия), (Сербия и ее «трудная» любовь к России) и удаленными между собой странами (например, Россия – Канада, Россия – страны Латинской Америки).

Формирование имагологических образов

Рецепционную «сетку», так сказать, имагологический «зрачок» образуют система ценностей и норм, основные константы национально-этнической ментальности, «через» которые оценивается, «рецензируется» и «цензурируется» другая/чужая культура. Речь идет об оценке иной культуры с позиций собственного опыта, об опыте взаимодействия с этим «другим», об идущих из исторического прошлого пред-

ставлений о нем как о культурно-цивилизационном субъекте, его развитии, его целеполаганиях во взаимоотношениях, о его исторической траектории и роли.

В этой процедуре «рецензирования» и «цензурирования» опыта другого/чужого особое внимание уделяется цивилизационной, конфессиональной принадлежности (в отношении России – ее принадлежность к православному миру), идеологии, политической, экономической системам, характеру собственных отношений с этим «другим» на разных исторических этапах.

В роли инстанций, выносящих суждение, формулирующих стереотипы – имиджи – образы другого/чужого выступают и государство, и политическая пропаганда, и церковь, и культура в разных ее видах, особенно массовая. СМИ, словесные, изобразительные средства, картинка TV, Интернет играют, очевидно, ведущую роль как инструменты репрезентации представлений о другом/чужом.

Картина мира той или иной страны в пространстве другой культуры всегда имеет достаточно длинную историю. Если речь идет о коренных европейских странах, то эта история уходит своими корнями в Средние века, приобретает новый характер в эпоху Ренессанса и в последующие периоды по мере формирования «современного» и «пост-современного» обществ. Что касается «молодых» стран (как страны Америки), взаимное знакомство с ними намного короче во времени, но оно не становится от этого менее острым, и, пожалуй, обнаруживает в США и в Латинской Америке особую и разную заинтересованность.

Поскольку есть история возникновения образа другого/чужого мира, то, казалось бы, мы можем говорить и о его развитии. Однако в данной области характер развития весьма своеобразен. Особенность в том, что хотя имагология эволюционирует вместе с реальностью, но «наращивание», наслоение все новых и новых характеристик не элиминирует старого, а просто создает дополнительные ряды. Старое никогда не исчезает, и всегда может возникнуть из глубин истории в обстоятельствах, которые активизируют память реципиента о «другом», и в том, что касается его «положительных», и в том, что касается его «отрицательных» сторон.

В итоге можно сказать, что картина мира другого/чужого тяготеет к малой подвижности, к инерции, даже качественные сдвиги, происходящие в другой культуре (как в России переломного периода), даже изменения «положительного» характера не закрепляются быстро в

восприятии «других», особенно если накладываются на отрицательные наслоения, и, напротив, негативные моменты легко входят в обиход.

Изучение исторической динамики – важнейший аспект, нацеленный не только на вычленение устойчивых, традиционных «герменевтических цепей», из которых складывается картина мира России, но и на выявление того нового в ее образе, что принес кризисный, переломный период российской истории, ее культуры. Такого масштаба события всегда были генерирующими моментами в рецепции образа «другого». В отношении России достаточно назвать некоторые важнейшие исторические периоды, явления и события, в которых она выступала в роли протагониста мировой истории: Россия, защитившая Европу от монгольского нашествия; Россия Петра Великого; Россия – победительница Наполеона; Россия – «жандарм Европы», идеолог Священного Союза; всемирного значения культуротворчество России XIX и начала XX века; Россия Октябрьской революции, гражданской войны, строительства социализма и террора; Вторая мировая война, победа над фашизмом; Россия – Советская империя; Россия лагерная, диссидентская – и последующие трансформации. Но о характере восприятия России речь пойдет еще далее.

Следует также учесть, что образ другого/чужого, который формируется с ранних периодов его истории разными областями культуры и на основе интерпретации разнопорядковых факторов, о которых речь уже шла, предстает не только в фиксированном, закрепленном виде в словесном, литературном творчестве, изобразительном искусстве, а теперь в ТВ, СМИ, в ИНТЕРНЕТ'е и т.п., но и, главное, – в виде некой «туманности» культурно-бессознательного того или иного общества, где накапливаются упоминавшиеся рядоположные новые наслоения. События активизируют культурно-бессознательное и извлекают из «туманностей» памяти готовые формулы-стереотипы, имиджи, образы.

Из предыстории имагологии

Мы привели некоторые сведения об имагологии, но в научной литературе можно встретить множество мнений о природе имагологии, о ее соотношении и взаимодействии с реальностью, о критериях «истинности», об инструментарии имагологии, тем более, что это интегративная, междисциплинарная область знания. Так, среди терминов

бытуют упоминавшиеся мифы и мифологемы, национальные стереотипы, этнические предрассудки, национальная характерология и т.п. Достаточно сказать, что нет единого понимания и такого ключевого «инструмента» рецепции и репрезентации, как стереотип.

То, что теперь именуют имагологией, формировалось и в области жизненной практики, и в области мифологии и фольклора, и с античной древности – в области начального исторического знания (в трудах Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Иосифа Флавия и многих других описываются особенности и «странности» «других» народов). Занимались этой проблемой и крупнейшие философы, как Платон и Аристотель. Однако возникновение собственно научного интереса относится к новому времени, особенно к XVIII в. в работах Монтескье, Ж. Бюффона, Дж. Вико, И.Г. Гердера и др.

В середине XIX в., исходя из романтической концепции Гердера «народного духа», Х. Штейнталь и М. Лацарус ставят задачу создания науки «психологии народов». Особая «природа» каждого народа определяет их образ жизни и культуру. Эти идеи развиваются В. Вундтом (в Германии), Г. Шпетом – в России. Идея коллективной ментальности впервые разработана А. де Токвилем на материале американской культуры, а затем она получает новое научное направление в французской «Школе Анналов» (Л. Февр, М. Блок, Ж. Ле Гофф и др.)

Проблемы, близкие к имагологии, изучались и в конфликтологии, и в вопросах социокультурной динамики. Список имен ученых этих направлений очень большой. Он может быть дополнен и филологией, и компаративистикой…

Но вернемся немного назад. Позволим себе привести достаточно обширное цитирование о значительном вкладе в изучение стереотипа известного американского социолога У. Липпмана, который ввел в научный оборот термин стереотип (греч. stereos – твердый, typos отпечаток)[1]. По мнению Липпмана, человек, пытаясь постичь окружающий его мир во всей его противоречивости, создает «картину в своей голове» относительно тех явлений, которые он непосредственно не наблюдал. Человек имеет ясное представление о большинстве вещей еще до того, как он с ними непосредственно столкнулся в жизни. Подобные представления-стереотипы формируются под влиянием культурного окружения данного индивидуума: «В большинстве

[1] См. referats. Стереотипы национальной культуры в межкультурном общении // Библ. 5 баллов.ru 24.11.2006 (ИНТЕРНЕТ ресурс. w.w.w. 5ballov. ru.referats/previu/73399/1. Lippman W. Public Opinion N.Y. 1950. P. 23, 95.

случаев мы не сначала видим, а потом даем определение, мы сначала определяем для себя то или иное явление, а потом уже наблюдаем его. Во всей... неразберихе внешнего мира мы выхватываем то, что навязывает нам наша культура, и мы имеем очевидную тенденцию воспринимать эту информацию в форме стереотипов». Стереотипы позволяют человеку составить представление о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального, географического и политического окружения. Липпман пишет о том, что стереотипы так настойчиво передаются из поколения в поколение, что часто воспринимаются как данность, реальность, биологический факт. Если же личный опыт противоречит стереотипу, чаще всего происходит одно из двух: человек негибкий, незаинтересованный по каким-то причинам в изменении своих взглядов, либо просто не замечает этого противоречия, либо считает его исключением, подтверждающим правило, и обычно просто забывает о нем. Человек же восприимчивый, любознательный при столкновении стереотипов с реальностью изменяет свое восприятие окружающего мира. Липпман не считает стереотипы однозначно ложными представлениями. По его мнению, стереотип может быть правдой, или частично правдой, или ложью. Липпман не только ввел в научный оборот термин «стереотип», дал ему определение, но и подчеркнул важность этого явления. «Система стереотипов, – писал он, – возможно, является стержневой в нашей личной традиции, она защищает наше место в обществе, ... а также сохраняет время в нашей занятой жизни и помогает нам спастись от сбивающих с толку попыток увидеть мир устойчивым и охватить его целиком». При таком понимании стереотипа выделяются две его важные черты – детерминированность культурой и быть средством экономии трудовых усилий, и соответственно, языковых средств. Если алгоритмы решения математических задач экономят мышление человека, то стереотипы «экономят» саму личность».

В 1920 – 1930 гг. в Америке появился ряд оригинальных работ, преимущественно посвященных проблемам общественного мнения, продолжающих разработку теории стереотипов. Так социолог Р. Бинкли называет стереотип «величайшим всеобщим знаменателем»[1]. По мнению ученого, наличие стереотипов позволяет обывателю адекватно оценивать политическую ситуацию, слишком сложную для

Cit. *Binkley. Robert C.* The Common Concept of Public Opinion in the Social Sciences // Social Forces, 1928. Vol. 6. P. 96, 393.

его анализа и слишком удаленную от сферы его деятельности. Еще в одной работе, вышедшей в конце 1930-х гг., рассматриваются два мира, в которых живет каждый человек. Один из них – «внешний мир» – включает в себя то, что с нами происходит, то, что мы сами видели, чувствовали, оценивали. Этот мир невелик. Бо́льшую же часть знаний о мире мы получаем из различных источников через язык, что и образует так называемый «вербальный мир». Соотношение между этими мирами такое же, как между картой и той реальной территорией, которую она представляет.

Если Липпман заложил теоретические основы изучения стереотипов, то американские ученые Д. Кац и К. Брейли[1] в 1933 г. разработали методику, получившую впоследствии широкое распространение и на долгие годы ставшую определяющей для исследователей национальных стереотипов. Сто студентов Принстонского университета приняли участие в проводимом ими эксперименте. Из списка, содержащего 84 характеристики, студентам предлагалось выбрать те, которые, с их точки зрения являются основными для десяти этнических групп (негров, немцев, евреев, итальянцев, англичан, ирландцев, американцев, японцев, китайцев и турок). Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали, что в большинстве случаев студенты удивительно единодушны в определении характерных, по их мнению, черт, присущих той или иной этнической группе. В работе, анализирующей результаты эксперимента, Кац и Брейли дают следующее определение: «Этнический стереотип – это устойчивое представление, мало согласующееся с теми реалиями, которое оно стремится представить, и вытекающее из присущего человеку свойства сначала определить явление, а потом уже его пронаблюдать». Вторая мировая война дала новый толчок к изучению этнических стереотипов. Она отчетливо показала, какую большую роль играют традиционные устойчивые представления народов друг о друге, как важно изучать пути формирования (а, следовательно, и воздействия) подобных представлений.

С конца 1940-х гг. появляется новая волна интереса к изучению этнических стереотипов. Так, по инициативе ЮНЕСКО было проведено широкомасштабное исследование с целью выявления того 1) как представители одной страны воспринимают народы других стран; 2) какие факторы определяют их восприятие. Надо отметить,

[1] *Katz D., Braliy K.* Racial Stereotips in One Hyndred Colletge Stydents // Jornal of Abnormal and Social psychology, 1933. Vol. 28. P. 288-289. Там же, 96.

что этот период начала холодной войны характеризуется повышенным интересом к России, русскому национальному характеру. Опрос ЮНЕСКО проводился в следующих странах: Австралии, Англии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, США. Участникам опроса предлагалось выбрать из 13 определений те, которые, по их мнению, характеризуют русских, американцев, англичан, французов, китайцев и их самих. Разница между положительными и отрицательными ответами определила так называемый «знаменатель дружественности». Большинство работ, посвященных проблемам исследования этнических стереотипов, вышедших в свет в рассматриваемый период, основано на материалах этих опросов. Психолог О. Кленберг, проанализировав результаты опросов, определил понятие «этнический стереотип» следующим образом: это картина в умах людей, относительно их собственной или других национальных групп. Подобные образы или представления обычно широко распространены в обществе; как правило, они чрезвычайно примитивны и невосприимчивы к объективной реальности.

В России проблемам изучения стереотипов не уделялось такого внимания, как на Западе. Вместе с тем в нашей стране был разработан ряд интересных и оригинальных концепций. Интересной и научно обоснованной представляется концепция Н.А. Ерофеева, в основе которой лежит исторический материал. Предваряя исследование, посвященное восприятию Англии в России в 1825–1853 гг., теоретической главой, автор, хотя и отказывается от термина «стереотип», уделяет значительное внимание проблемам восприятия одной нации другой. Согласно его представлениям, этнические представления – это как бы итог усвоенной информации, результат ее переработки и обобщенный вывод из нее, они нередко влияют на отношения между нациями, этническими группами и государствами.

Имагология развивается весьма активно именно в наше время во всех основных западных странах, из восточно-европейских стран в Польше. В последние годы резкий рывок сделала отечественная имагология[1].

---

[1] См.: Образ России, русской культуры в мировом контексте. Под общ. Ред. Челышева Е.П. М., 1998; Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. Ред. В.Е. Багно (отв. ред.) и др. СПб., 1998; Образы России в научном, художественном и политическом дикурсах. И.О. Ермаченко (отв. ред.). Петрозаводск, 2000; Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2000; Поляки и русские: взаи-

В качестве образца современного высокого уровня приведем суждения польского философа Адама Шаффа о стереотипе, удачно характеризующие его особенности и природу.

а) его предметом являются прежде всего определенные группы людей (расовые, национальные, классовые, политические, профессиональные, по половому признаку и т.п.), а также – вторично – общественные отношения между ними (например, стереотип революции);

б) его генезис является общественным, то есть он передается личности как выражение общественного мнения путем воспитания в семье и среде, независимо от личного опыта;

в) в связи со своей оценивающей функцией он несет определенную эмоциональную нагрузку (негативную или позитивную);

г) с точки зрения правдивости стереотип либо полностью противоречит фактам, либо соответствует им частично, создавая видимость полной правдивости своего содержания;

д) он долговременный и устойчив к изменениям, что связано с независимостью стереотипа от опыта и его эмоциональной нагрузкой;

е) перечисленные выше черты делают возможной реализацию общественной функции стереотипа, заключающейся в защите принятых обществом или группой ценностей и оценок, индивидуальное усвоение которых как обязывающей общественной нормы является условием интеграции личности в группе;

ж) он всегда связан со словом-названием (либо с выражением из нескольких слов), которое является импульсом, активизирующим содержание стереотипа в определенном контексте;

з) название, с которым связан стереотип, чаще всего, служит также названием соответствующего понятия, что ведет к мистификации стереотипа как вида понятия, хотя стереотип принципиально отличается от понятия и с точки зрения общественной и познавательной функции, и с точки зрения лежащего у их основ процесса создания соответствующих суждений[1].

мопонимание и взаимонепонимание. Сост. А.Липатов, Ю. Шайтанов; Россия – Польша: Образы и стереотипы в литературе и культуре. Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2003; Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. Отв. ред. В. Хорев. М., 2004; *Хореев В.А.* Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005 и др.

[1] Цит.: Россия – Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре, указ., соч. С. 8, 9.

* * *

Итак, стереотипы гнездятся в глубинах культурно-бессознательного, входят в состав первичного «бульона» культуры, они никогда не исчезают, способны активизироваться и обнаружить свою актуальность и в самые неожиданные моменты и во вполне предсказуемых ситуациях. Стереотипы являются первичными имагологическими формами и могут служить для построения других форм, будь то имиджи или образы.

Имидж

Уже отмечалось, что нередко понятие «имидж» употребляется в значении «стереотип» или «образ», однако представляется, что следует выделить его как специфический имагологический инструмент. Исходя из сегодняшнего словоупотребления, следовало бы закрепить за «имиджем» функцию полит-пропагандистского стереотипа, специально вырабатываемого в целях идеологической, геополитической борьбы на международной арене. Как особый стереотип имидж, видимо, можно выделять с периода нового времени, когда Европа погружается в конкурентную борьбу за колонии (так, Испания создает «розовую легенду» о своей роли в Новом Свете в ответ на «черную легенду», пропагандировавшуюся Англией); антирусские имиджи возникали в политико-культурном восприятии Западной Европы тоже начиная с XVI-XVII вв., когда Россия начала превращаться в империю. Но по-настоящему пропагандистские кампании разворачиваются со второй половины XIX в. (захват новых колоний, передел мира) и далее – в XX в., но особенно на рубеже XX-XXI вв., в эпоху, когда *имиджмейкеры, полит-технологи,* устраивающие *пиар-акции,* становятся важнейшими фигурами борьбы на международной арене. Средства и инструменты пиар-акций становятся все более эффективными с развитием СМИ, виртуальных технологий, телевидения.

Вырабатываются специальные методы суггестии (внушения), зомбирования массового сознания. Имиджи могут опираться на стереотипы «классические», трансформировать их в современных целях, могут создаваться заново (например, блуждающие стереотипы современных пропагандистских кампаний, как «империя зла», «страна-изгой», о России – «медвежья империя» и т.п.).

Мы включили в набор инструментов формирования картины мира других/чужих порожденные культурологией, цивилизациологией,

философией истории понятийно-логические структуры, которые в отличие от имиджевых стереотипов дают углубленную оценку мира «других» и поясняют его спефичность как другой тип экзистенции, выявляют его базовые модели. Но этот инструментарий не остается достоянием только самих ученых и «высоколобой» публики. Упрощаясь в СМИ, эти понятия входят в сферу и массового сознания, становятся материалом для пиар-акций.

Образ

В данном случае мы имеем ввиду не то общее значение понятия, которое применяется как общая характеристика имагологической деятельности (образ России, образ Франции и т.п.), но образ в конкретном поэтологическом значении – те образы, которые создаются литературой, искусством.

Словесность, искусство средних веков во многом опираются именно на художественные стереотипы – жанровые каноны, жанровые образы, общие места и т.п., а в репрезентации другого/чужого на те этнические стереотипы, что были выработаны эпическим фольклором. Иной характер приобретает художественный образ с периода Ренессанса. Основное содержание образа определяется не редукцией, упрощением действительности до шаблона, но напротив стремлением воссоздать реальность во все большей ее полноте и сложности. В отличие от «плоскостного» и однозначного стереотипа образ многомерен и многозначен. Это мир многоаспектный, целостный, но одновременно и дифференцированный, в отличие от неразложимых стереотипов.

Образы подлинного искусства обладают бесконечной глубиной, они опровергают стереотипы и воссоздают национальную «онтологию», идентичность в ее сложности, и с такой же мерой подлинное искусство в своих высших образцах подходит к осмыслению и воссозданию образов других/чужих. Здесь мы имеем дело не с примитивно центрированным сознанием, а с плюралистичным, объемным, универсализированным видением другого/чужого. В образах искусства иной тип аксиологичности, более аналитический, усложненный, но главное, искусство воссоздает мир «другого» не как другого-*чужого*, а как другого-*иного* (например, оппозиция русский Обломов и немец Штольц в романе Гончарова «Обломов»). Утверждение существования *разных* других и есть выражение универсализма.

Есть особая категория так называемых «вечных образов» (Дон Кихот, Фауст и др.), которые становятся образами, характеризующими страну, ее культуру. Вообще высокая культура может вносить очень существенные коррективы в рецепцию страны, народа, создавая другой ряд характеристик, напомним, не отменяя при этом тех, что уже существуют. Именно такую роль для восприятия России, ее народа сыграла великая культура XIX – первой трети XX вв. Назовем символические имена: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Станиславский, Горький, Шаляпин, Стравинский, Кандинский, Бахтин, Шостакович, Прокофьев...

Наконец, следует отметить способность искусства к глубокой самокритике, причем ее объектами становятся, как правило, именно стереотипы (как, скажем Хлестаков, Чичиков, персонажи Салтыкова-Щедрина и т.д.).

Историческая динамика

Исходя из сказанного можно выстроить такую схему исторической динамики развития имагологической рецепции и репрезентации.

1. *Архаика, Древние цивилизации, Средние века* – родо-племенные, эпико-мифологические, сказочные, ранне-цивилизационные, этнические стереотипы.

Источником ранних, изначальных стереотипов являются миф, мифологемы, запечатлевшие родо-племенной генезис первопредков на фоне других/чужих, то есть те первичные формы самосознания, без которых невозможны разграничения мы/они, свои/чужие. «Свои» отождествляются с определенным звериным первопредком, к которому восходят «люди» («мы»), в то время как «чужие» отождествляются или с враждебными животными, или с полу-людьми, с не-людьми.

В новое время это явление запечатлели испанские хроники времен конкисты Америки. Так, высоко развитые инки-кечуа (как и повсюду в Америке) не знали лошадей и потому поначалу воспринимали испанских всадников как божественных полу-людей – полу-животных (кентавр).

В античной Европе Аристотелем была разработана шкала «человечности» – от диких «не-людей», «полу-животных» до различных видов варваров (от звукоподражательного «бар-бар-бар», что означает «бормотанье» или неуменье говорить; ср. русское «немец», то есть

«немой»). Варвары делились на разряды, от «людишек», не способных к самоуправлению, до варваров высшего уровня, способных к самоуправлению, имеющих свою культуру, религию и т.п.

В средние века аристотелевская схематика переплетается, либо враждует с религиозно-цивилизационными критериями «чужих».

2. *Новое время – Современность* – новые стереотипы: религиозно-цивилизационно-культурные; имперско-идеологические; национально-этнические; универсалистские образы литературы и искусства; пропагандистские, в том числе расистские, националистические имиджи.

Аристотелевская схема была отторгнута еще во времена испанской колонизации Америки в XVI-XVII вв. гуманистами, исповедывавшими христианский универсализм (францискинцы, доминиканцы) и утверждавшими, что согласно Христу, говоря словами Б. де лас Касаса: «все люди – человеки». Однако стереотипы дикаря, варвара отнюдь не исчезли, они прочно въелись в «культурное подсознательное» европейцев особенно со времени Просвещения и колониального разбоя XVIII-XIX вв., что волей-неволей было «способом» взаимного ознакомления Запада и Востока. Характерно, что создающиеся в этот период записи европейских путешественников по Московии, Руси относят московитов к разновидности полувосточных варваров. В свою очередь по-особому видят православные русские немцев, поляков, «бусурман» и т.д. От этого первичного уровня первоознакомления предстояло пройти большой путь культурно-хозяйственного, политического (в т.ч. и военного) «взаимодействия» до современности.

3. С середины XX века – *эпоха массового сознания, TV, электронного культуротворчества,* переходящая в эпоху Пост-Современности – стереотипы, полит-технологические имиджи, понятийно-логические структуры, масс-культура, образы-стереотипы.

При этом мы обнаруживаем, что взаимная рецепция тех стран, которые играют особенно важную роль в эпоху глобализации, имеет тенденцию к новому огрублению, своего рода архаизации, как бы «попятному» движению по шкале исторической динамики. Все меньшую роль, как в составе культуры Пост-Современности, так и в имагологический рецепции и репрезентации играют литература, искусство. Преобладание грубых, «жестких» стереотипов и полит-технологических имиджей затрудняет международный диалог, порождает монологизм, нетерпимость, конфликты цивилизационно-религиозного характе-

ра (католически-протестанский/православные миры, западный мир/ арабо-мусульманский мир и т.п.).

Простые стимулы стереотипов и имиджей

В современном мире конец и начало сходятся. Когда рухнули идеологии, их место заняли аргументы цивилизационно-экономического превосходства, особенно явственно обозначив архаические контуры современного массового сознания, полит-технологического шаманства, имагологической агрессивности.

В статье «Образ "соседа„ в становлении этнического самосознания» В.Н. Топоров писал о выработке этнического стереотипа, как о естественном и необходимом различении другого/чужого во имя задач жизнеобеспечения[1]. Очевидно, что задачи жизнеобеспечения порождают конкурентные отношения, борьбу за ресурсы, и такие отношения обосновываются с помощью негативных стереотипов «другого». Этот примитивный и базовый механизм сохраняется на протяжении всей истории человечества, вплоть до современности, и его не изменили предпринимавшиеся на протяжении XX века, особенно после Второй мировой войны, попытки создания международных институтов и правовых норм, которые обеспечили бы толерантное сосуществование. Политологи признали, что «мирное сосуществование» в XX веке двух конкурировавших супердержав и враждебных коалиций было на самом деле взаимным сдерживанием путем угрозы применения оружия массового уничтожения. Человечество издавна стремилось решить проблему, противопоставив различным видам «центризмов» (этноцентризм – национальный, цивилизационный, идеологический) набор «универсализмов» (христианский, гуманистический, марксистко-социалистический, либерально-демократический, на нынешнем этапе – разные проекты глобализации). Проблема, однако, состоит в том, что каждая универсалистская парадигма на деле скрывает какой-либо из видов «центризма», как это происходит сегодня с западной «глобализацией», за которой стоит все тот же старый, «добрый» «Pax americana». Идеи преобразования миропорядка на основаниях многополярности, децентрализации также отнюдь не отменяют различные виды «центризмов». Борьба «центризмов» оказывается константой

[1] *Топоров В.Н.* «Образ соседа» в становлении этнического самосознания: русско-литовская перспектива / Славяне и их соседи. (Сб. тезисов). М., 1990. С. 5.

и механизмом мировой истории, а эффективным орудием этой борьбы всегда были и остаются имагологические стереотипы и имиджи. Метафорически можно сказать, что существует как бы планетарная геополитическая подкорка, мировое «подсознание», в котором идет хаотическая борьба и взаимодействие стереотипов, имиджей, образов «себя» и других/чужих, и в этой массе число положительных образов, видимо, всегда остается меньшим, нежели число образов враждебно-конкурентного характера.

Еще раз к вопросу: применимы ли понятия «истинный» или «ложный» в отношении имагологических образов?

В свете изложенного ответ может быть только один – нет, не применимы. Попытки разделить «истинное» и «ложное» в имагологических стереотипах совершенно ошибочный путь. Такой подход лишает возможности понять и оценить чужую рецепцию и репрезентацию «себя», и уже совершенно неплодотворна попытка оспорить стереотипы «себя» с помощью автостереотипов, противопоставив чужому пониманию своего мира свое собственное. Не годятся здесь и оценки типа «не объективно», «субъективно». В порождениях этноцентрично-, национальноцентрично и цивилизационноцентрично ориентированного сознания – а это и есть источник имагологических образов – все субъективно, является порождением другого субъекта мировой культуры, а следовательно и все истинно для него, ибо создано на основе собственных ценностей, нормативов и политических интересов. Стереотип, образ другого/чужого, каким бы он ни был, есть не фикция, а факт сознания и культуротворческий феномен, выработанный культурой-реципиентом. Созданные той или иной культурой имагологические образы на самом деле утверждают собственную идентичность, «самость» чаще всего в противоположении «себя» – «другим», и все они входят во всемирный театр-полилог культур.

Однако, естественно, есть сторона, которую оценивают, и для нее вполне уместно осмыслить чужие имагологические образы «себя» с точки зрения соответствия или несоответствия, но понимая при этом природу имагологических образов. Это очень полезная, хотя зачастую болезненная «терапевтическая» операция, позволяющая критически оценить собственные автостереотипы. Одновременно это позволяет понять систему ценностей этого другого/чужого, который вот так увидел тебя.

* * *

Наконец, следует отметить образование в имагологии направления, которое можно было бы определить как деконструктивистско-релятивистское.

Вот пример такой интерпретации. «Уже идеологии, будучи направленными на выражение интересов одних классов и выступая для одних как истинное, а для других как ложное сознание, отрицали чувства общей реальности. Имагология, то есть создание имиджей, идет еще дальше... – она виртуализирует реальность, причем делает ее не только относительной, но и подчас заставляет сомневаться в ее существовании вообще»[1].

Скорее всего это отзвуки идей крупного немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса. Если У. Липпман полагал, что стереотип («этот миф») *необязательно ложный* и придерживался некой срединной позиции, то теперь ситуация радикально изменилась. Ю. Хабермас вводит вместо *идеологии* – понятие *имагологии,* которым стали обозначать «систематическое искажение, возникающее в процессе коммуникации»[2] из-за ориентации не на реальность, а на искаженные образы СМИ, на псевдореальность.

А вот заключение Милоша Кундеры: «Потерпели крах все идеологии: в конечном счете их догмы были разоблачены как иллюзии, и люди перестали воспринимать их всерьез... Имагология превзошла реальность...

Имагология разрушила ясную картину мира и стала фундаментом манипуляции, основанной на некоторых трактовках явления или человека, подчас не имеющих отношения к действительному положению дел, но адекватных целям манипуляции».

Одна из форм манипуляции – имиджмейкерство, попытка показать персону, претендующую на политическое или иное лидерство, исключительно в выгодном свете. Именно эта техника применяется в простейшей модели PR, которая называется *манипулятивной.* Манипуляция (от лат. *manus* – рука, *manipulus* – пригоршня, горсть, *manus* и *ple* – наполнять) – это обращение с объектами в связи с определенными целями (ручное управление, ручной осмотр пациента, использование инструментов в технике). В переносном смысле – обращение

---

[1] Журнал «Золотой лев» № 69-70 (www.zla.ru).

[2] *Habermas J.* The structural Transformation ot the Public Sphere. Cambridge, 1989. P. 2.

с людьми как с объектами, вещами, скрытое управление ими посредством придуманных схем коммуникации, властное воздействие на поведение людей, не раскрывающее ожидаемых целей и создающее иллюзию, что манипулируемый сам пришел к навязываемым ему решениям. Цель манипулятивной модели – пропаганда; коммуникация здесь односторонняя; коммуникационная модель проста: источник – реципиент; вопрос об истине не ставится; осуществляется небольшой группой лиц; результатом является формирование образа привлекательной или необычной, или скандальной (в зависимости от цели) личности, который строится посредством некоторых «наживок» и «псевдособытий»[1].

* * *

Мы описали имагологические инструменты, механизмы. Их выявление и современное состояние имагологии – первый шаг на пути к изучению «образа России», к тому, как он предстает в других культурах, к пониманию его специфики, определяемой как русской «онтологией», так и историей. А для определения того, как решать этот вопрос, предстоит прежде всего сказать о цивилизационно-культурных особенностях России и ее положении среди иных культур.

2. О СТРОЕНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ИМАГОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗЕ.

Стереотипы и автостереотипы

В этой части статьи речь пойдет о причинах сложного восприятия русского культурного типа, России, ее культурного строя, о механизмах, которые обусловливают его, как и о трудностях собственно русской/российской самоидентификации, о специфичности ее автостереотипов, что, соответственно, влияет и на восприятие «русского» извне.

[1] *Кундера Милош.* Бессмертие. М., 1996. С. 126–127.

Русская бинарность?

Наши исходные положения основываются (чтобы потом придти к несколько иным выводам) на широко разработанной и, безусловно, работающей теории бинарного строения русского/российского цивилизационного, ментального, культурного поля, русского типа сознания и самосознания. Среди тех, кто на этой основе выстраивал свои наблюдения о русской парадигматике Ю.М. Лотман[1], А.С. Ахиезер[2] и круг исследователей к нему близких, как И.Г. Яковенко, И.В. Кондаков, А.А. Пелипенко, А.П. Давыдов[3] и др. Понятие бинарности развивали Б.А. Успенский, В. Топоров, Вяч. Вс. Иванов.

Дуалистичность, бинарная структурность образуют «универсальный метакод всякого смыслообразования в культуре»[4]. Эти первичные основания культурообразования в России приобретают особую жесткость – антиномичность. К таким выводам приходили многие исследователи, работавшие в этом направлении. Они применяли разную терминологию, но все отмечали особую специфичность строения «русского», его отличие от европейского, западного вариантов. В западном варианте поляризация полюсов приводит в развитии культурообразования к снятию противоречий в новом, «третьем» смысле и векторе развития.

Путем медиации порождается «срединное» поле новых значений. Соответственно, Ю.М. Лотман называл, вслед за другими, западную культуру «тернарной». В русском варианте основным механизмом предстает не медиация, а инверсия.

Согласно такой теории, при возникновении кризиса, и соответственно, условий для возникновения нового качества в русском варианте происходит столкновение полюсов, что означает или борьбу на уничтожение одного из них, или оборотную поляризацию антиномичного характера. То есть речь идет о крайностях, о расколотости «русского». Раскол – классическое явление русской истории и культуры, и это понятие использовано А.С. Ахиезером для характеристики русской/российской культуры.

---

1 *Лотман Ю.М.* Культура как взрыв. – См. Ю.М. Лотман. Семиосфера. СПб., 2000. С. 112-146.

2 *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. Новосибирск, 1997.

3 См. работы этих ученых в кн. Российский цивилизационный космос. К 70-летию А. Ахиезера. М., 1999.

4 *Пелипенко А.А, Яковенко И.Г.* Культура как система. М., 1998. С. 34.

Ю.М. Лотман считал, что специфическим порождением русской бинарности является «культурный катастрофизм», периодические «взрывы» культурного поля. Он писал, что в начале 1990-х гг., когда Россия вступила в полосу «перелома времен», достижение нового, «тернарного» варианта развития – насущная необходимость, и только в таком случае русская культура избежит крайностей и обретет эволюционный обновляющийся характер.

На наш взгляд, при всей убедительности такая объяснительная система имеет свои ограничения. Она оказывается слишком «жесткой». Если обратиться к высокой русской классической культуре, в том числе и на протяжении XX века в разнообразных своих порождениях и проявлениях, и на эту важнейшую часть «русского» распространить идею «холостого» оборота, то как же объяснить все ее богатства, оказавшие огромное влияние на мировую культуру? Не говоря уже о классических представителях «тернарного мышления», как Пушкин, Тургенев или Чехов, разве гротеск Гоголя, философия человека и русского культурного типа Достоевского, «диалектика души» Толстого или великая русская/советская поэзия, музыка XX века – разве что-нибудь из этого укладывается в такую систему? Несомненно, что высокая культура находится на другом уровне, так сказать, «этаже» общего строя культуры, в сравнении с такими уровнями, как общественное, государственное, политическое устройство, отношения власть-народ и т.п., где действительно инверсионный механизм работал с большой четкостью. Здесь часто мы наблюдаем в переломные периоды малопродуктивную инверсионность, но культура высокая выступает критиком этой систематики на всем протяжении истории вплоть до конца 1980-х начала 1990-х годов XX в., когда, казалось, открывался путь к обретению новой русской ментальности, нового качества «русского». Однако путь обновления оказался заваленным громадными обломками рухнувшей прежней общественной систематики, и перспектива до сих пор остается неясной. При внешнем имитационном сходстве с западным капитализмом («демократия», «рынок», «права человека» и т.п.), система во многом остается опутанной прошлым, мутировавшей в новые, невиданные формы.

Русские «дикари» и «спасители мира»

Сказанное, естественно, оказывает влияние на имагологическую рецепцию «русского» и его репрезентацию, когда, казалось бы, долж-

но было произойти изменение восприятия. Однако, как мы отмечали, имагологическая рецепция крайне инерционна, тем более, что вхождение новой России в общий мир вызвало немалые трения с Западом. В давние времена иной русский миростой, иная ментальность, иная конфессиональная христианская принадлежность, стадиальное отставание (из-за отсутствия, как в Западной Европе, измерения вглубь, вплоть до античности) – все это приводило со времен Средневековья, Ренессанса в Европе, в условиях конкурентной борьбы к негативистским характеристикам «русского», хотя долгое время они носили спорадический характер.

По Дитеру Гро[1] системная переоценка Руси, «русских» началась в новое время, особенно с конца XVI – начала XVII веков, когда на восточной границе тогдашней Европы встало мощное Московское царство, активно шедшее к превращению в огромную империю путем экспансии как на Восток, через Сибирь – к Тихому океану, так и началом соперничества с Ливонией, Швецией за выход в Балтийское море. После того как в Руси завязло татаро-монгольское нашествие, еще важнее для Европы оказалась защитная ее роль от Османской империи. С этого времени, пишет Д. Гро, Московская Русь была осмыслена по-новому в геополитическом и в историософском планах. Западная Европа осознает, что она не является единственным воплощением христианской ойкумены.

Включение в «христианский мир» греческой церкви, а затем и Московской расширилось до естественных границ христианской ойкумены того времени и создало условия для взаимного дуалистического интереса и взаимовнимания Запада и Востока (России).

Лютер, Кальвин, Франческо де Виториа, каждый по-своему, обозначает границы христианского мира, включая в него разные территории и обязательно, в том числе, Московское царство. Окончательное закрепление эта линия получила у Т. Кампанеллы и Жана Бодена, которые фактически перестали различать духовно-политические расхождения западного и восточного христианства.

Но одно дело геополитические и историософские спекуляции, которые рождались в ученых кабинетах, и другое дело непосредственные контакты с новыми «собратьями». Многое представало в новом свете.

См.: Россия глазами Европы. Реферат Б. Горохова // «Отечественные записки». № 38(5), «Россия как “Другой”» 2007. Указ. Соч.

Так, посол Священной Римской империи Сигизмунд фон Герберштейн потерпел неудачу в переговорах об участии Москвы в борьбе с турками-османами. В 1549 г. вышла его книга «Записки о Московитских делах», где он создал образ «варварской» русской деспотии. Немало негативизма содержали записки А. Олеария, ряда шведских, немецких авторов, англичанина Дж. Флетчера и др., вплоть до знаменитой книги француза А. де Кюстина с описаниями русского «варварства» «Россия в 1839 году».

Как бы то ни было, Россия уже осмыслена в XVIII-XIX веках как страна, быстро идущая «по следам» европейской культуры и технологий и как континентальный узел, связывающий западные страны с восточными. В Москве видят то союзника, то соперника или врага, сквозь призму «русского варварства».

Впервые по-новому, сквозь призму своеобразного утопизма взглянул на Россию Лейбниц в трактате «Novissima Sinica» (1697). Лейбницу принадлежит заслуга включения петровской Руси в политическую жизнь Европы. Россию, в зависимости от состояния отношений в Европе, видели то молодым народом с большим будущим, но неискоренимо варварской страной, а Петра I – «величайшим варваром». Дидро повторил неизвестно кем созданный образ России как «колосса на глиняных ногах». В «Истории Российской империи в царствование Петра I» у Вольтера соединяется двойственный взгляд на Россию как на «дикий», «нецивилизованный» народ с надеждами на положительный эффект петровских реформ.

Руссо в полемике с Вольтером преодолел абстрактно-просветительский антропологизм и стадиальную схему истории. В его понимании дело не в деспоте-царе, гонящем кнутом «варваров» к прогрессу, а в самом народе, который обладает привычками к деспотизму и варварству. Россия отличается от Европы, считает он не уровнем развития, а своими «азиатскими качествами». Руссо пророчит скорое наступление неизбежных революций и нашествие азиатов в Европу. Отрицательные обертоны в отношении России столь различимы и у основателя европейского коммунизма К. Маркса, который называл Россию привычной кличкой – «медведь», от которого неизвестно, что можно ждать.

Выдающийся немец Гердер, вслед за Лейбницем, твердо верил в возможности «молодого народа», в его особое предназначение.

Одним словом, с нового времени, особенно с XIX века, европейский мир, при всей двойственности отношений уже не мыслит себя в

отрыве от России, ровно как и Россия постоянно смотрит на Запад. Европа самосознает себя, глядясь в «зеркало» России, а Россия – в «зеркало» Европы.

Русская классика XIX века совершила мощный прорыв, изменив восприятие возможностей России (большую роль сыграла книга француза Э.–М. Вогюэ «Русский роман»). Мессианские, утопические упования имели большое хождение в предреволюционные годы и в первые годы после революции 1917 г. (особенно среди французской интеллигенции). Существовали и позже на Западе культурологи, эссеисты и объективистского, и русофильского толка. Сдвиг в сторону позитивного восприятия всегда возникал в переломные периоды, при временных сближениях Запада с Россией, как во время Второй мировой войны, но затем, как правило, все возвращалось на круги своя.

Имагологическая негативность, в принципе, типична в восприятии «других» просто потому, что «они» – «*другие*». Негативизм (разного уровня) типичен и для восприятия французами немцев, англичан, американцев, англичанами – французов и немцев и т.д., однако это «ссоры», как правило, «между собой», негативизм же в отношении русских объединяет весь Запад не только в годы сталинизма, холодной войны, но и после неудавшейся перестройки и позднее, вплоть до самой актуальной современности. И это свойственно не только политическим элитам, СМИ, но и массовому сознанию, привычно воспроизводящему давние стереотипы. В пост-советский период всякая попытка России утвердить собственные интересы, свою иную культурную идентичность, себя как равноправного «другого» воспринимается, как разрыв с «демократией», возвращение к империализму, тоталитаризму и т.д. Одним словом вывод немецкого ученого И.-Б. Ноймана о том, что Россия всегда воспринималась и воспринимается как «конституирующий чужой»[1] представляется вполне справедливым выводом.

«Кто они?», или «Кто мы?»

Запад пребывает в постоянной неуверенности в восприятии России, тем более, что и в России идет постоянная борьба автостереотипов, связанная с различными политико-экономическими, геополитическими ориентациями. Для западного человека вопрос: «Кто они?» столь же актуален, как для русских вопрос: «Кто мы?».

Neumann I.-B. Uses of tho Other. «The East» in European Identity Formation. Minneapolis. 1999.

Существует достаточно обширная цивилизационная, геополитическая шкала характеристик России, русского/российского, которая свидетельствует об этой неуверенности.

Выделим типовые определения по нисходящей для западного сознания шкале.

– Россия – особая часть Европы (восточно-славянская, православная).

– Россия – самая большая страна Европы, но ее окраина.

– Россия – переходное, «промежуточное», неопределенное пространство между Европой и Азией.

– Россия – самая западная страна Азии.

– Россия – это Азия (чисто оценочная характеристика, равнозначная понятиям «варварство», «дикость», нецивилизованность).

Исторические корни русской культуры формулируются так, что славянское оказывается только сырой глиной для лепки другими, будто Запад не знал транскультурных процессов и этнических взаимодействий.

Например:

– Россия – это скандо-византия.

– Россия – это тюрко-славия.

Крах коммунистической утопии, развал СССР, негативистское отношение, особенно в 1990-х годах XX в., к собственному прошлому, включение ряда бывших восточно-славянских и западно-славянских стран, бывших республик СССР в Европейское сообщество и в НАТО происходившее на фоне нараставшего негативного восприятия России, и собственного прошлого, перечеркнуло долго оставшиеся влиятельными идеи славянского «братства». Отношение нового российского политического класса к агрессии против Сербии пошатнуло народное мнение даже в этой братской стране. Хотя ученые отмечают, что во многих, особенно в славянских, странах, даже в Польше, не было однозначно негативистского отношения к «русскому». Характерны слова Ч. Милоша: я, как и всякий поляк, люблю русских, но не люблю Россию (то есть российское государство, его политический класс).

Естественно, если говорить о глобальном измерении, западной, европейской рецепцией не ограничиваются имагологические версии образа России. Существует совершенно иное восприятие России, «русского» и их имагологическая репрезентация в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в том числе в странах, становящих-

ся важнейшими «игроками» в современном мире, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Скажем, для азиатских стран сближенность России с Азией не является основанием для негативных характеристик, а ее упорное стремление к утверждению своей идентичности совпадает с тенденциями в этих странах, противящихся обезличивающей глобализации по-американски.

Вернувшись к проблеме восприятия России на Западе, сделаем такое обобщение. Во-первых, рецепция и реперезентация России осуществляется в различном варьировании членов основной связки «Европа-Россия-Азия». Во-вторых, практически все более или менее серьезные попытки определения «русского» на поверку оказываются шаткими, неустойчивыми, пригодными в одном отношении и совершенно непригодными в другом. Это касается в первую очередь определения культурно-цивилизационной принадлежности «русского». Эта проблема приобрела особую остроту после краха Советского Союза и на Западе, и в самой России.

Спор о евразийстве

Чаще всего мы наблюдаем не стремление к выяснению объективно присущих русской культуре черт, а «перетягивание канатов», как то происходит между современными западниками и евразийцами, или сторонниками «русской великодержавности». Началась эта полемика с перестройкой и обрела особую остроту в начале 1990-х годов, втягивая в спор и философов, и культурологов, и филологов.

Характерным, на наш взгляд, представляется отношение в тот период к этой проблеме крупнейшего знатока древней русской культуры Д.С. Лихачева. Он писал в споре с новыми евразийцами: «На самом же деле – это никакая не Евразия», «Если смотреть на Россию с Запада, она, конечно, лежит между Западом и Востоком. Но это чисто географическая (я бы даже сказал – «картографическая») точка зрения, ибо Запад от Востока отделяет разность культур, а не условная граница, проведенная по карте. Россия – несомненная Европа по религии и культуре»[1]. В таком представлении о России, конечно, много неоспоримого, но оно также представляется весьма редуцированным. Очевидно, такое понимание идентичности России связано с профессиональным кругом интересов Д.С. Лихачева как, прежде

[1] *Лихачев Д.С.* О русской интеллигенции // «Новый мир», 1993. С. 3-6.

всего, историка культуры допетровской Руси, одним словом, доимперской России, овладевшей, начиная с конца XVI в. огромными пространствами в Сибири до Тихого океана, в Средней Азии, на Кавказе, в европейской зоне – Прибалтика, Польша и т.д. Оно не учитывает как менялся русский культурно-цивилизационный тип в столетия татаро-монгольской экспансии и в 400-летней истории имперской России (вплоть до развала СССР), те глубокие изменения в русской ментальности, в культурном бессознательном, в обычаях, быте, в ценностной шкале, в том числе и в отношении к Востоку. Вдумаемся, ведь никакой, например, немецкий или французский поэт никогда бы не написал такие строки, подобные блоковским: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами…» Что означают эти строки? Конечно, они утверждают не «азиатскость» России, а ее некую иную, в сравнении с Европой, сущность. Несомненна полемическая, но имеющая исторические основания соотносимость «русского» с «азиатским», их связь и сближенность. «Скифы» выступает неким поэтическим определителем иной, в отличие от Запада, культурной принадлежности России.

В самом деле, в отвергнутой Д.С. Лихачевым формуле «Россия-Евразия» скрыто значительное наполнение, несомненно, отражающее историческую и, соответственно, историко-культурную траекторию Руси/России, «русского». Ведь колонизация русская/российская была совершенно не похожей на западную. Конечно, она во многом также осуществлялась военным путем, однако русский политический класс в своих интересах, начиная с XVII в., по указам царей долгое время сохранял традиционные государственно-общественные, родо-племенные границы, установления, обычаи, языки нерусских, включал их как подданных в состав России, в том числе (как раньше татаро-монголов) и в правящие слои империи; русская церковь проявляла значительную веротерпимость, ей не было свойственно западное активное миссионерство, вплоть до Петра I запрещалось насильственное крещение. В советский период такая толерантность была подорвана абсурдной перекройкой границ в отдельных регионах, антирелигиозной политикой, более активной русификацией, но и в этот период невозможно отрицать «двойственный» патернализм, поощрение развития локальных, национальных автономий, культур, активное культуртрегерство, огромный (хотя и относительно ущербный) размах просветительства. Русские несли на Восток европейское начало, однако и русские испытывали обратное влияние. Специфика отношений состояла в том, что

европейско-русское, воспринимая восточное, не растворялось в нем, и восточное в тех условиях, правилах, которые установила российская власть, воспринимая европейское, также не растворялось в русском и не замещалось им, скажем как то было, например при колонизации Америки. В отличие от английской колонизации, восточный человек признавался «другим» («иноверцы», «инородцы») и право быть другим сохранялось за ним, как не было и непереходимой черты между русскими и «другими». Русская этничность размывалась в контактах с финно-угорскими племенами, в результате монгольской экспансии, затем в ходе завоевания Сибири и т.д., но русский этнос, русская культура, ее носитель всегда составляли государство-образующее ядро, культура же его и ментальность претерпевали изменения. В Советском Союзе русский этнос, фактически уже «гибридный», стал «невидимкой», сохраняя свою центральную роль, он был сокрыт понятием «советский человек». В постсоветской России утвердилось производное от имперского названия «Россия» понятие «россиянин», обнимающее все множество народов, населяющих территорию России. Вместе с тем, для внешней рецепции на Западе понятия «россиянин» не существует, бытует же «русский», как это было и при Советском Союзе, употребляемое в отношении всех жителей страны, независимо от их национально-этнической принадлежности.

Одним словом, сложность положения такова, что ни одно жесткое определение не «работает». Без понимания истории «русского» не обойтись.

Убежденные западники А. Ахиезер, И. Яковенко, И. Клямкин, авторы книги «История России: конец или новое начало?»[1] уже в начале XXI века указывают на значимость влияния монголо-татарского элемента на все «русское», естественно, в отрицательном смысле. По мнению авторов, монгольская экспансия не изменила основного цивилизационного выбора России, связанного с восприятием византийского православного наследия, однако происходит «коррекция этого выбора» в северовосточных княжествах (то есть в будущей Московии), и эта коррекция приводит к «развороту на Азию»[2]. Они утверждают, что в Северо-восточной Руси произошел (на наш взгляд невозможный) «монгольско-греческий синтез», породивший нечто специфическое, чего не было ни у греков, ни у монголов. Александр

1 А. Ахиезер, И. Яковенко, И. Клямкин. Новое издательство. М. С 181.

2 Там же. С. 295.

Невский в выборе Европа или Азия, войдя в союз с монголами, «предпочел Азию»[1], но, они забывают сказать, что в условиях наступления Тевтонского ордена, грозившего истреблением славянства, им было выбрано наименьшее зло. Монголы после подчинения Руси не истребляли русского населения, к тому же Орда уже была надломлена. Однако, несомненно, правильно их утверждение, что Московская Русь избирательно использовала монгольский опыт, включала потомков монголов в свой нобилитет, и, соответственно, изменялся русский тип, его ментальность. Авторы также пишут о значительном влиянии на Московскую Русь опыта Османской империи, что милитаризация, эта русская константа, была наследием как монгольским, так и турецким. Все это написано отнюдь не сторонниками евразийства, а скорее достаточно корректными наблюдателями за историей.

Ни Европа, ни Восток, ни Евразия

Приведенные утверждения и полемическая позиция Лихачева восходят к начавшимся в начале 1990-х годов спорам западников с «новыми евразийцами», пробужденными к жизни крупным ученым, отчасти историческим романтиком филомонгольской, «туранской» ориентации России Львом Гумилевым, наследником евразийцев 1920-х годов XX в. Трубецкого, Савицкого, Вернадского и др.

Отвергавший европоцентризм, западноцентризм, Л. Гумилев в начале 1990-х гг. был издан массовыми тиражами. Его концепция евразийства России, важнейшего значения «туранского», монгольского компонентов в истории Московской Руси была направлена против традиционной и классической полярной оппозиции «западники-славянофилы» и давала иной образ России и ее культуры. Несомненно, Гумилев сделал важное дело, утвердив в культурологии новое видение проблемы (это мы видим и в концепции западников Ахиезера, Яковенко, Клямкина), однако, как это бывало не раз в истории культуры (например, в борьбе «черной» и «розовой» легенд о роли Испании в Новом Свете) найти корректную «середину» ему не удалось[2]. И в формулах Гумилева и последующих евразийцев также не было полного ответа – сказывалась все та же традиционная жесткая русская антиномичность. Выявляя реалии истории русской культуры, отметая

[1] Там же. С. 295.

[2] *Гумилев Л.Н.* Черная легенда. М., 1994.

европоцентризм и западоцентризм, русское евразийство также впадало в грех редуцирования исторической, концептуальной полноты, на этот раз в отношении значимости европейского выбора России. Ни «европейская Россия», ни «Туранская Россия» – ни одна из этих формул неудовлетворительна. Да, русская культура зарождалась как восточно-европейская, византийско-христианская ветвь европейской цивилизации, однако, именно ее иной – православный характер, ее положение как «конституирующего чужого» для Запада на протяжении сотен лет, в том числе, и особенно, в классический период развития ее культуры (от Пушкина до Достоевского и Толстого), ее ценностная система, экзистенциальные ценности, ее общинная ориентация и религиозность противоречили западному пути развития. Эти различия были абсолютизированы славянофилами, а западники отвергали очевидные коренные особенности русской культуры. Такая же путаница происходит из-за абсолютизации составляющих начал в концепции евразийства России. Таким образом, всякая редукция ведет к утверждению какого-то из полюсов оппозиций в ущерб другому, закрывает путь к пониманию сложности проблемы. И дело далеко не только в бинарно-инверсионном механизме, но в некоем с трудом поддающемся схватыванию и тем более в однозначной формулировке «протеистических» качеств «русского». Выдающийся писатель А. Платонов писал, как бы подтверждая русскую бинарность, о том, что русский человек может жить *и так, и наоборот.*

Неуловимость, неопределенность русской идентичности была глубоко прочувствована Западом, как только там стала известна отечественная классика. Казалось бы корректная (при корректном понимании) для наших дней формула «Россия – это и Европа, и Восток», то есть «Евразия», могла бы исчерпать проблему. Но нет, у этой формулы есть другой полюс – «новое» русское западничество, которое не выбросишь ни из культуры, ни из общественной жизни, ни из науки. И получается, что любое, казалось бы, вполне корректное определение оказывается верным для одних, и неудобоваримым, химерическим для других. То есть не идет ли речь о некой многополюсной русской «сущности»?

Дело, очевидно, в том, что на пространстве России, как физическом, так и ментальном, до сих пор происходят бурные процессы, и если одни компоненты ее структуры либо отжили, либо обрели устойчивую жесткость, то другие переживают разные стадии развития, которые могут вести как к скреплению с «костяком» России-Евразии,

так и к отделению от него (в немалой степени в результате геополитической деятельности Запада).

Нам представляется такое динамичное видение России-Евразии наиболее верным.

Мы целиком согласны с пробивающейся к жизни такой точкой зрения на русское евразийство – не просто как на реальную «данность» (Определение евразийца первого поколении Г.В. Вернадского), а как на *развивающуюся данность.*

Группа ученых (С.А. Панарин, Д.С. Раевский, В.В. Алексеев, В. Цымбурский и др.) вырабатывает *исторический подход* к проблеме *данности.*

В.А. Тишков, комментируя тезис «исторической Евразии», пишет: следует согласиться с С. Панариным и Д. Раевским, что «евразийская общность существует… как объективная данность, хотя направление и интенсивность связей между составными частями менялись от эпохи к эпохе»; «…представления о пространстве Евразии не могут быть застывшими»[1] (там же) и далее: «В целом в Евразии сам феномен этнокультурных взаимодействий в истории следует воспринимать, как постоянное воспроизводство культурной сложности». Однако в XIX и особенно в XX веке пространство России «становится все более связанным, а его население все более схожим».

То есть внутри российско-евразийского пространства действуют не только бинарные, но и много более сложные, пока не изученные механизмы, порождающие «культурную сложность», или так называемые «русские загадки».

Русская «тайна»?

И тем не менее, проблема «механизмов» русского варианта культурообразования не может считаться решенной. По-прежнему и в научной среде, и тем более вне нее, очень велика роль инерционных мыслительно-понятийных и, соответствующих этим логическим конструктам имагологических стереотипов и имиджей, живущих в культурном бессознательном и западных, и отечественных авторов. Тривиальные стереотипы представлений о «русском», о России стали настоящей бедой современной культурной ситуации. То, что на языке

[1] *Тишков В.А.* Российский народ как европейская нация и его евразийская миссия / Этнокультурное взаимодействие в Евразии. М., 2006; Книга 2. С. 318, 320.

понятий называется «бинарностью», «расколотостью», «пограничностью», конфликтным сосуществованием Востока и Запада в русской матрице, на языке массовой культуры и поныне определяется как некая неизъяснимая «противоречивость», «загадочность», «таинственность», «мистичность» – «русского», России.

Еще во времена романтизма Ф.И. Тютчев написал лаконичное credo da fe в этом смысле:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Но вот в XX веке У. Черчилль, вовсе не расположенный ни к романтизму, ни к России, пишет: «Россия – это загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте».

Немало способствовало такому мистифицированному видению образа русского, России и тривиализированное восприятие отечественной классики, создававшее из таких авторов, как Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев, автостереотипы русского «экстремизма», «беспредельности», спасительной «соборной» миссии, затем превратившихся в идеи «всемирного интернационализма» (Бердяев связал «русский коммунизм» с различными специфическими особенностями русского типа). Знаменателен спор, по поводу Достоевского, состоявшийся между М. Кундерой и И. Бродским. По Кундере у русских нарушен баланс между разумом и иррационализмом, отсюда и «знаменитая» тайна русской души, как ее глубина, так и жестокость. Бродский ответил, что убеждение Кундеры в исключительности того типа человека, что описал Достоевский, говорит только о том, что Запад просто до сих пор не произвел писателя, который бы передал всю глубину духовного смятения человека, маятником качающегося между безднами добра и зла[1]. Пытались «раскусить» русский орешек в XX веке и на основе фрейдистско-юнгианской, и в психиатрических терминах генетики (у русских есть одна «лишняя» хромосома!) и т.п.

В итоге во всех вариациях в конце концов происходит возвращение к тривиальному стереотипному видению «русского», России по

[1] См.: *Малевич О.М.* Т. Масарик и литература: Достоевский, Бем, Кундера, Бродский... / Т.Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства. М., 2005. С. 40-41.

формуле бинарной антиномичности. Но классические универсальные антиномии мало что прояснят. Особенно теперь, когда русская этика, духовная сфера включены в мировые процессы, когда Россия в XX веке вышла из локальных измерений на всемирные пути, и особенно с 1990-х годов прошлого столетия. В сознании русских произошли, видимо, необратимые изменения. Внутри советского общества происходило активное размывание традиционной ценностной системы, произошедший перелом, ввергнувший Россию в «новую «Антиутопию» капиталистического, олигархического «рая»», едва не превратил традиционные ценности в полную невнятицу, когда толстая золотая цепь с крестом на груди оказались равной христианским ценностям. Переломное время подорвало одну из важнейших опор русской общественной этики – коллективизм, агрессивно противопоставило ему едва ли не биологический индивидуализм. Навсегда ли?

О русском западничестве

Следует остановиться еще на одной вековой культурной парадигме. Русское самосознание прошло периоды и отчаяния от неспособности определить «русское» (Чаадаев), и этапы борьбы славянофильства и западничества, и апологии русского универсализма и мессианства, и тяжкие испытания, когда после революции 1917 г. Россия вошла в кошмар постреволюционной Антиутопии. В постсоветской России продолжают бороться под другими кличками и славянофильство, и национализм, и западничество, и евразийство. И здесь следует сказать, что если с причинами и эффектами русско-националистических комплексов или евразийства все как бы ясно, то сложнее дело обстоит с причинами и эффектом западничества. Западничество всегда имело двойственный эффект в России. С одной стороны, без приобщения к культуре Западной Европы не возникло бы и великой русской классики, но ведь она, эта русская классика, одновременно отталкивалась от западно-европейских культурных, ценностных ориентиров, противопоставляя свои этические ценности. И именно этим она была интересна Западу. Некритическое же восприятие западной культуры, интериоризация чужих ценностей, утверждение мифа Европы имело деструктивные последствия. История показала, что крайние формы западничества порождали множество не просто социальных издержек, но и трагедий, начиная с петровских времен, с революционаризма декабристов, так называемых «революционных демократов» и далее

вплоть до социал-демократии и раннего коммунизма, переродившегося в большевизм, и далее – трагедии последних десятилетий, вместо выработки некоего «срединного» пути векторы развития снова расходятся по антиномично разведенным полюсам: народный мир и прозападный олигархически-бюрократический капитал. В 1990-х гг. русские «демократы» и их последователи, несмотря на народническую риторику и имитацию заботы о народе, могут быть сравнены только с большевизмом, который в конце концов стал сливаться с национализмом. Не менее странный клубок образует второе поколение русских так называемых «рыночников», соединившихся в трудно разматываемый клубок европеизма / атлантизма / национализма / евразийства. Такое сочетание чревато разными, пока неясными вариантами развития. Этот клубок остается непонятным и Западу, не знающему, что можно ожидать от России, чего как, видимо, не понимает и сама Россия. Современный период активизировал и словно вывел на крупном экране всю черно-белую клавиатуру основных формул идентичности. В условиях необходимости восстановления разгромленной экономики и социальной сферы и противостояния агрессивности по отношению к попыткам России найти свой путь, укрепить свой суверенитет трудно избрать такую линию движения, которая не привела бы к тенденциям изоляционизма, авторитаризма, ограничения демократии. Одним словом, в современный период «имагологическая ситуация» России, если прибегнуть к острому выражению, напоминает некую «культурологическую шизофрению». Налицо не просто двоение, но троение, умножение образа страны, «русского». Запад воспринимает часть русских как «чужих», часть как «других», часть как «похожих на себя», но все равно «чужих, как всегда нуждающихся в управлении», а в русском самосознании противоборствуют также «свои», «другие» и «чужие».

На распутьи

Переломным временам или «переходному периоду» всегда сопутствуют такие явления, как отсутствие прочной систематики, быстрая динамика, смена явлений и феноменов, множественность векторов развития, столкновение точек зрения и позиций. Все это напоминает наслоение зеркально-искажающих обликов. Похоже, что упоминавшиеся ученые А. Ахиезер, И. Яковенко, И. Клямкин при, казалось бы, твердости выбора «европейского пути», сами имеют немало сомнений, что следует из их противоречащих одно другому суждений.

Достаточно странная идея – предложить «сменить России идентичность», как будто речь идет о пиджаке, в их понимании это возможно без утраты «отечественных форм, ни религиозной, ни державной». И далее: «это будет уже другая державная идентичность внутри западной цивилизации, не претендующая на самобытную альтернативу»[1]. Противоречие налицо. Налицо в новой упаковке все та же современная западная установка на глобалистское «озападнивание» России. Но в финале авторы все-таки ставят жирные знаки вопроса. Они пишут: «Приверженцы постсоветской почвеннической идеологии имеют возможность апеллировать не только к "имперской государственной традиции и ее самобытности", но и к богатому интеллектуальному наследию русских критиков западной цивилизации, указывавших на ее несовершенство и предвидевших кризисы, с которыми Западу не справиться, – критика, которая совмещается с критиками западной цивилизации изнутри ее самой, полагающими, что в XXI веке Запад исчерпает ресурсы саморазвития». И далее: «Возможно, эти прогнозы и не беспочвенны. Но признание их таковыми ставит Россию перед дилеммой: либо начать, упреждая закат Запада, поиск иной, более перспективной модели развития, либо интегрироваться все-таки в западную цивилизацию и внутри нее встречать грядущие кризисы»[2]. Похоже авторы забыли что Запад, четко обозначивший границы Запада-Европы, никак не предполагает интеграции России, разве что только в роли «русской Албании» или чего-то подобного. Россия все еще интересует Запад «поневоле», в прагматическом плане – и как сырьевой источник, и как источник ядерной угрозы.

Финальные заключения авторов заставляют вспомнить столь знаковую фигуру «русского распутья», столь знакомый образ: направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь...

Арифметика или высшая математика?

Возвращаясь к вопросу о специфичности строя русского/российского и, соответственно, их рецепции и репрезентации, повторим, что ни одна однозначная характеристика не исчерпывает проблемы русской истории и современности, ни один из образов России не обнаруживает ее подлинного и единого лика. Абсолютизация одной из характери-

[1] Указ. соч. С. 181, 295.

[2] Там же. С. 696, 697.

стик России всегда будет порождать контраргументы и имеющие свои основания контр-доказательства. В то же время идентичность России, естественно, не может быть определена простым сложением разных характеристик – органического качества такая операция не породит. Видимо, не исчерпывает проблемы и бинарно-инверсионная концепция. В постсоветский период парадигматика России и «русского» усложнилась. Речь теперь идет не об арифметической задаче с двумя членами, но о высшей математике, поскольку Россия – это полиполярная, поликультурная многосоставная страна, имеющая свой регулятивный механизм, поддерживающий ее сложное целое. Мы определяем российский/русский миростроя как соположенность различных этнокультурных, исторических, цивилизационных традиций, создающую основания для взаимодействия казалось бы взаимоисключающих определений, которые по-разному представлены на разных уровнях – «этажах» объективной реальности России и, соответственно, русского/российского самосознания. В «русском» присутствуют различные механизмы культурообразования – не только бинарно-инверсионный, но и тернарный и какие-то иные, которым пока не найдено определения. Все вместе они могут обеспечивать сложно-равновесную систему, которая восстанавливается, проходя через кризисы, на основе равнодействующей русской/российской культуры.

Обретение устойчивого равновесия, выработка долгого функционирования такой систематики – это и есть основная задача. А с ней, очевидно, в определенной мере будут связаны и имагологическая рецепция и репрезентация России.

Дж. Хоскинг так заключает свою книгу «Правители и жертвы. Русские и Советский Союз (2006 г.)». «Русские обладают огромными ресурсами, позволяющими решить задачу национального строительства, перед которой их поставила жизнь, – ресурсами экономическими, политическими, и прежде всего, – культурными.

Сейчас они начинают конструировать, используя материал советского и несоветского прошлого, непротиворечивое, целостное национальное самосознание. Но поскольку над ними по-прежнему тяготеет имперское и мессианское прошлое, многое из того, что теперь создается, самим русским кажется временным и малоценным. Они, как и англичане, потеряли империю, но все еще не нашли для себя новой роли. Им предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы наконец поймем, каким именно политическим сообществом стала Россия»[1].

[1] Цит. по: Отечественные записки. Том 38, «Россия как Другой», 2007. С. 316.

ИЗБРАННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Arndt Astrid [Hrsg.] Imagologie des Nordens: kulturelle Konstruktionen von Nördlichkeit in interdisziplinarer Perspektive. – Frankfurt a. M: Lang, 2004. 309 S.

2. Beller Manfred (Ed). L'immagine dell'altro e l'identita nazionale: metodi di ricerca letteraria.– Fasano: Schena Editore, 1996. 213 S.

3. Bessiere Jean (Ed.) Perspestives comparatistes, – Paris: Champion, 1999. 335 S.

4. Boissau Pierre-Yves (Ed.) Le voyage en Russie et en URSS. – Toulouse: Universite de Toulouse, 2002. 355 S.

5. Dohmen Doris. Das deutsche Irlandbild. Imagologische Untersuchungen zur Darstellung Irlands und der Iren in der deutschsprachigen Literatur.– Amsterdam: Editions Rodopi, 1994. 254 S.

6. Dyserinck Hugo (Ed.) Komparatistik und Europaforschung: Perspektiven vergleichender Literatur – und Kulturwissenschaft.– Bonn: Bouvier, 1992. 314 S.

7. Dyserinck Hugo (Ed.) Europa und das nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts.– Bonn: Bouvier, 1988. 435 S.

8. Engel-Braunschmidt Annelore. Ultima Thule: Bilder des Nordens von der Antike bis zur Gegenwart.– Frankfurt a. M: Lang, 2001. 212 S.

9. Gischer Manfred S. Nationale Images als Gegenstand vergleichender Literaturgeschichte: Unters. zur Entsteghung d. komparatist. Imagologie.– Bonn: Bouvier, 1981. 254 S.

10. Foti Markus A. Essais l'imagologie: reflexions sur le stereotype culturel a partir d'exemples litteraires franqais et francophones contemporains.– Nice, 1997. 379 S.

ll. Fuchs Anne (hrsg.) Reisen im Liskurs: Modelle der literarischen Fremderfahrung von den Pilgerberichten bis zur Postmoderne: Tagungsakten des internationalen Symposions zur Reiseliteratur, University College Dublin vom 10.-12 Marz 1994.– Heidelberg: Wunter, 1995. 686 S.

12. Fuery Patrick and Fuery Kelli. Visual cultures and critical theory.– London: Arnold, 2003. 137 S.

13. Gagern Chris von. Reisen in die Karibik: wie sich Kontakt mit anderer Kultur in Reisebeschreibungen darstellt.– Frankfurt a. M: Lang, 1994. 418 S.

14. Harth Dietrich (Hrsg.) Fiktion des Fremren: Erkundung kultureller Grenzen in Literatur und Publizistik.– Frankfurt aM: Fischer-Taschenbuch-VerL, 1994. 320 S.

15. Heitmann Klaus. Spiegelungen: romanistische Beiträge zur Imagologie.– Heidelberg: Winter, 1996. 443 S.

16. Heitsch Friederike. Imagologie des Islam in der neueren und neuesten spanischen Literatur.– Kassel: Ed. Reichenberger, 1998.

17. Hoffmann Johannes. Stereotypen, Vorurteile, Völkerbilder in Ost und West – in Wissenschaft und Unterricht: eine Bibliographie – Wiesbaden: Harrassowitz, 1986.

18. Imagologie: problemes de la representation litteraire: Studientagung der Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft vom 29./30/ Juni 1987 in Sankt Gallen.– Bern: Lang, 1988. 89 S.

19. Imagologie: interculturalite et didactique / Universite d'Oran. – 1.1998 (журнал).

2O. Kanceff E. L'Est Europeo e l'Italia: immagini e rapporti culturali: studi in onore di Piero Cazzola.– Geneve: Slatkine, 1995. 578 S.

21. Kersten Sandra (Hrsg.) Spiegelungen: Entwürfe zu Identität und Alterität; Festschrift fur Elke Mehnert.– Berlin: Frank und Timme, 2005. 521 S.

22. Literarische Imagologie: Formen u. Funktionen nationaler Stereotype in d. Literatur / [Univ. Bayreuth] Bayreuth: Ellwanger, 1980. 128 S.

23. Lund Allan A. Zum Germanenbild der Römer: eine Einführung in die antike Ethnographie – Heidelberg: Winter, 1990. 100 S.

24. Mehnert Elke (Hrsg.) Imagologica Slavica: Bilder vom eigenen und dem anderen Land / Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1997. 168 S.

25. Elke Mehnert (Hrsg.) Studien zur Reiseliteratur – und Imagologieforschung Frankfurt a.M.: P. Lang, 1997. (серия)

26. Mehnert Elke (ред.) Миры образов – образы мира = Bilderwelten – Weltbilder: Справ, по имагологии / М-во образования РФ, Волгогр. гос. пед. ун-т, Упр. междунар. сотрудничества; Пер. с нем. М.И. Логвинова, Н.В. Бутковой/– 2-е изд., доп. – Волгоград: Перемена, 2003. – 93 С.

27. Minot Francois. Quand l'image se fait publicitaire: approche theoretique, methodologique et pratique.– Paris: L'Harmattan, 2001. 253 S.

28. Montandon Alain. Moeurs et images: etudes d'imagologie europeenne.– Clermont-Ferrand. Universite Blaise Pascal, Centre de recherches sur les litteratures modernes et contemporaines, 1997. 175 P.

29. Moura Jean-Marc. L'Europe litteraire et l'ailleurs.– Paris: Presses Universitaires de France, 1998. 200 S.

30. Моига Jean-Marc. Imagologie litteraire et mythocritique: rencontres et divergences de deux recherches comparatistes // Mythes et litterature. – Paris, 1994, pag. S. 129-141.

31. Papior Jan. Polnisch-deutsche Wechselbeziehungen im zweiten Millenium.– Budgoszcz: Wydawn. Akad. Bydgoskiej im Kazmierza Wielkiego. – Teil 2., Bibliographie zur polnischdeutschen Kulturkommunikation: (Materialien zum Polenbild und zur kulturellen Imagologie), 2002. 435 S.

32. Photographie und Gesellschaft: Zeitschrift für photohraphische Imagologie; Forum für sozial – und humanwissenschaftliche Forschungen iiber das Medium Photographie sowie verwandte Bereiche unter besonderer Berucksichtigung der Geschichtswissenschaft.– Wien: Photographie und Gesellschaft c/o Inst. fur Zeitgeschichte, Univ. Wien.

33. Rafo Snjezana. Images de la Yougoslavie dans l'oeuvre de Peter Handke.– Montreal: Universite de Montreal, 2003. 95 S.

34. Riesinger Robert F. Ein/Bild/ung/en: Passagen zu einer Imagologie des Audiovisuellen.– Salzburg, Univ., Diss., 2003. 249 S.

35. Dchubert Gabriella (Hrsg.) Bilder vom Eigenen und Fremden aus dem Donau-Balkan-Raum: Analysen literarischer und anderer Texte. – München: Su-

dosteuropa-Ges., 2003. 370 S.

36. Sorge Veit. Literarische Landärbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis: ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980.– Frankfurt a.M.: Lang, 1998. 135 S.

37. Stanzel Franz K. Europaer: ein imagologischer Essay. – Heidelberg: Univ.-Verl. Winter, 1997. 113 S.

38. Strasser Jtirgen. Zwischen Putsch und Paradies: Chile in den deutschsprachigen und franzosischsprachigen Literaturen: eine imagologische Analyse mit Schwerpunkt auf dem 20. Jh. – Frankfurt a.M.: Lang, 2001. 352 S.

39. Swiderska Malgorzata. Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie: das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berucksichtiung der Darstellung Polens. – München: Sagner, 2001. 495 S.

40. Taylor Mark C, Saarinen Esa. Imagologies: media philosophy.– London; New York: Routledge, 1994.

41. Wosnessenskaja Julia (Hg.) Was Russen über Deutsche denken: Interviews. – München: Roitman, 1988. 172 S.

42. Zach Wolfgang, Kosok Heinz (eds.) National images and stereotypes. – Tübingen: Narr, 1987. 244 S.

Т.В. Кудрявцева

ВЕКОВЫЕ КОНТРАПУНКТЫ: ОБРАЗ РОССИИ В КОЛЛЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ ГЕРМАНСКОГО ЭТНОСА

(на материале немецкой поэзии)

I. МЕСТО РОССИИ В НЕМЕЦКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ. ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА РОССИИ

Образ России традиционно присутствует в художественном сознании немецких писателей как результат освоения чужого этнического пространства в процессе общественно-политических, межгосударственных, культурных, в том числе литературных взаимосвязей, пересечений и переплетений. Качество такого рода билатеральных контактов непосредственным образом отражается на характере формирующегося национального образа России, страны, которая всегда выполняла для Запада роль «конституирующего чужого» (А. Нойман)[1].

В Западной Европе Россия традиционно ассоциируется с крайним востоком. Ей отводится место «самой большой страны Европы» на «окраине Старого Света». Одновременно география расширяется за счет азиатской части. Россия – «самая большая страна в Азии и все же – не азиатская империя»[2]. В конечном итоге российская территория

[1] Цит. по: *Миллер А.И.* Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. С. 83.

[2] *Weiss C.* Wie Rußland wurde // Im Reich der Zaren: Geoepoche. Das Magazin

вычленяется как особое евроазиатское национальное образование. Отсюда проистекает противопоставление России Западной Европе, а после распада СССР – государствам Восточной и Центральной Европы и нового геополитического образования – Европейского Союза. Речь в данном случае идет как о прежних сателлитах СССР, так и о бывших советских республиках, тяготеющих теперь к союзу с ЕС. Центральной Европе, или «промежуточной Европе», снова отводится роль «санитарного кордона», как это было после революции 1917 г. и в эпоху «железного занавеса», и в той самой части, где проходила линия раздела с эпохи Просвещения. Дихотомическое деление Европы на Запад и Восток, на цивилизованный западный и недостаточно развитый (полуварварский) славянский мир, подразумевало под последним именно конгломерат территорий восточнее Германии.

Для понимания места России в коллективном сознании немцев важен факт их признания за ней статуса геополитического «соседа»[1]. Подобное соседство предполагает в качестве константы складывающихся отношений признак соперничества[2], главное в котором – веками культивировавшаяся обеими сторонами идея доминирования на землях между Россией и Германией. Это пространство (в первую очередь Польша, а после распада СССР Белоруссия и Украина) нередко рассматривается не более чем досадное геополитическое недоразумение на карте постоянно перекраиваемой Европы, будь то в пользу России или Германии (ЕС).

На протяжении всей истории политических, культурных и межличностных контактов диалог двух этносов имел как периоды плодотворного сближения (времена первых контактов немецких и русских князей, в эпоху правления Петра I и Екатерины II, годы существования ГДР и СССР), так и периоды крайнего отчуждения (Первая и Вторая мировые войны, эпоха железного занавеса в отношениях ФРГ и СССР). Характерной чертой исторических судеб Германии и России, несомненно, служит сходство, а нередко их переплетение. Геополитическое положение, диктаторские режимы и революции, войны, идеологические и политические игры, – все эти факторы не могли не

für Geschichte. 2001. № 6. S. 173.

[1] Ср., в частн.: Rußland und die Deutschen – Nachbarn in Europa / O. Bogomolow, H. Vogel. Baden-Baden, 1992.

[2] Ср.: *Stent A.* Rivalen des Jahrhunderts: Deutschland und Rußland im neuen Europa. Berlin, 2000.

отразиться на образах друг друга, веками создававшихся в национальном самосознании немцев и русских.

Притом, что представление о России в немецком историческом сознании не остается неизменным, в ее образе сохраняются некоторые константы.

Восприятие России западным соседом во времени можно представить в виде синусоиды: «от страны варваров к светскому государству»[1]. В соответствии с признаком евроазиатскости русские люди делятся на полуварваров и космополитов, принимающих то западное просвещение, то восточную автократию[2].

Одно из самых ранних отличий, которое легло в основу цивилизационной инаковости двух этносов – принятие Русью византийского христианства, в то время, как предки современных немцев после нескольких веков пребывания в составе католической Священной Римской империи обрели «свободу духа» в протестантизме. Отсюда берут начало представления самих немцев о Западе как более динамичной системе, открытой новым, изменчивым, демократическим элементам. Россия же представляется оплотом традиционности, стабильности, нарушаемой кратковременными периодами революционных взрывов.

Другой важный архетип, наделяющий восточное пространство признаком «цивилизационной молодости», изначально имел как позитивный (наличие потенциала для дальнейшего развития – И.Г. Гердер, О. Шпенглер, Т. Манн, Й.Р. Бехер, Г. Гессе), так и негативный смысл. За славянами закреплялась низшая ступень в иерархии европейских этнических образований (С. Герберштейн, А. Олеарий, М. Опиц, А. Гриффиус, П. Гейзе).

Тем самым традиционно сложились два противоположных взгляда на роль России в мировой цивилизации. С одной стороны, и в XX в. жила вера в цивилизационно-спасительную миссию России. Отсюда такие выводы о характере русского этноса как «народ от бога,

---

[1] Ср., в частн.: *Lammich M.* Vom «Barbarenland» zum «Weltstaat» – Rußland im Spiegel liberaler und konservativer Zeitschriften // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 146-198.

[2] См. подр.: *Raev A. Von* «Halbbarbaren» und «Kosmopoliten» – Russische Kunstausstellungen im Deutschland der Jahrhundertwende und ihre Rezeption // Op. cit. S. 695-756.

народ Христов, духовный вождь»[1], «мифические мастера»[2], жертвенность во имя идеи или одержимость идеей[3]. Не последнюю роль в этом сыграл Р.М. Рильке, создавший мифологизированный образ России православной. С другой стороны, с ней связываются такие понятия, как «азиатский деспотизм», «тотальное владычество», «царство рабства», «ледяной дворец деспотии» (Царь Иван Грозный, Раскольников, «красные матросы», пьянство, вера в авторитет, извечный антагонизм между народом и господствующей верхушкой), склонность к хаосу[4].

---

1 *Dodd W.J.* Ein Gottträgervolk, ein geistiger Führer – Die Dostojewskij-Rezeption von der Jahrhundertwende bis zu den zwanziger Jahren als Paradigma des deutschen Rußlandbildes // Op. cit. S. 853–865; Meier-Rust K. Das «Christus-Volk» – Charakter und Mission des russischen Volkes bei Rudolf Steiner // Op. cit. S. 1012-1034.

2 *Koenen G.* Bilder mythischer Meister. Zur Aufnahme der russischen Literatur in Deutschland nach Weltkrieg und Revolution // Deutschland und die russische Revolution / G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 763-789.

3 См., в частн.: *Weiss P.* Trotzki im Exil. Stück in zwei Akten. Frankfurt a. M., 1970.

4 См., в частн.: *Schlögel K.* Archäologie totaler Herrschaft. Rußland im Horizont Hannah Arendts // Deutschland und die russische Revolution / G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 790-804; Uhrig M.-R. Im Bann des Russenschrecks – Heinrich Rückerts byzantinisch-asiatische Slawenlegende // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 275-297; Wolle S. «Das Reich der Sklaverey und die teutsche Libertät ...» Die Ursprünge der Rußlandfeindschaft des deutschen Liberalismus // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 3. / M. Keller. München, 1991. S. 417-434; Pape W. Eispalast der Despotie. Russen- und Rußlandbilder in der politischen Lyrik des Vormärz (1830–1848) // Op. cit. S. 435-472; Bulgakowa O. Zar Iwan, Raskolnikoff, rote Matrosen. Russische «Wellen» im deutschen Film // Deutschland und die russische Revolution / G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 676–702. Asadowski. K. «Blick ins Chaos». Hermann Hesse über Dostojewskij und Rußland // Op. cit. S. 503-526.

II. К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗА РОССИИ

Средневековые «рюсы» как источник стереотипов культурной чужести

Представления первых немецких историографов о восточных соседях как о «варварах» основываются на традиции различения своего и чужого в античном мире и в Средние века[1].

В дальнейшем образ русских людей начинает ассоциироваться с Киевской Русью, временем принятия восточными славянами христианства и заключения первых союзов между немецкими и русскими князьями. Политические связи оказываются весьма тесными, поскольку немцы и русские видят друг в друге союзников: одни хотели освободиться от опеки Рима, другие – от Константинополя.

В X–XII вв. начинают развиваться и торговые отношения между двумя народами. Неизвестная Русская земля, с одной стороны, таит опасности, с другой – привлекает. Немцы открывают для себя Новгород, Смоленск, Полоцк. Первое описание Киева содержится в хронике Титмара от 1018 г. Упоминаются многочисленные церкви, базары, что должно было свидетельствовать о размерах и богатстве города, о его значении как торгового центра.

Первые литературные свидетельства о людях, населявших восточнославянские земли, содержатся уже в немецкой поэзии IX–XIII вв. Они, как правило, основаны на прямых контактах, но также испытали сильное влияние античных авторов. О Рюсиланти (Riuzilanti) речь идет, в частности, в причисляемом к житийным жанрам эпосе неизвестного автора «Песнь об Анно» («Das Annolied», 1076–1126)[2], а о рюсах (Riuzen) – в знаменитой «Песне о Нибелунгах» («Das Nibelungenlied», около 1200).

В «Песне об Анно» Рюсиланти упоминается наравне с Данией и Фландрией в связи с дарами, преподносимыми императору, юному Генриху II. Таким образом, в сознании германских князей ранне-

---

[1] См. подр.: *Keller M.* Konturen: Die Darstellung der Ostslawen in Chroniken und Annalen des 9-13. Jahrhunderts // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. / Bd. 1. M. Keller. München, 1985. S. 57-83.

[2] См. подр.: *Keller M.* Vorstellungen von «Riuzen» in der deutschen Literatur des Mittelalters // Op. cit. S. 84.

го средневековья страна рюсов воспринималась, как равная наряду с другими соседями.

В «Песне о Нибелунгах» описывается, в частности, свита короля гуннов Этцеля (Аттилы). Она состоит из воинов разной этнической принадлежности. Среди прочих упоминаются рюсы, именуемые также «героями из Киевской земли»[1]. Им свойственны сила, мужество, буйство, неистовство. Это впрочем, не дает автору повода выделять их среди других этносов. Упоминание рюсов в одном ряду с «дикими» печенегами – свидетельство стереотипных представлений того времени о восточных соседях германцев. Отличительный признак восприятия – привкус экзотичности, замешенной на восхищении и страхе. Любопытно отметить, что уже на этом этапе формирования словесного искусства обнаруживает себя принцип художественного смещения времени: во времена правления Аттилы (434–453) еще не было русской государственности и Киевской Руси[2].

Рюсы и Рюсланти присутствуют также в куртуазном романе «Эрек» («Erec», ок. 1185), сочиненном миннезингером Гартманом фон Ауэ. В нем упоминается излюбленный товар импорта – пушнина, что свидетельствует о наличии уже в те времена торговых отношений между двумя народами. «Рюслантский» служит при этом эталоном непревзойденного качества. В другом романе, «Ивейн» («Iwein», 1205), Рюсланти наделяется характеристикой «самый дальний», что означает одновременно «чужой, неизвестный», а стало быть, может таить опасность, одновременно привлекая своей экзотичностью[3].

Отличительным признаком образа «чужой» земли в средневековом сознании служит смешение исторических фактов с вымыслом, преданием. Любопытно семантическое наполнение клишированного образа «Хартнита, короля из Рюслант» (Hartnit, ein künec uz Riuzenlant),

---

1 Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung / H. Brackert. Frankfurt a. M. 1987. S. 47.

2 См. подр.: *Keller M.* Vorstellungen von «Riuzen» in der deutschen Literatur des Mittelalters // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 1 / M. Keller. München, 1985. S. 86.

3 Ibid. S. 88. Поскольку оба романа Г. фон Ауэ написаны под непосредственным воздействием соответствующих произведений французского писателя Кретьена де Труа, было бы любопытно проследить, являются ли образы древних русов привнесенными из заимствованных сюжетов, либо служат отражением представлений о славянах самих германцев.

культивировавшегося в преданиях о Дитрихе Бернском (в частности анонимный эпос «Розарий», «Rosengarten» начала XIII в.). «Рюсское» подается в нем как синоним отваги и победы и не соотносится напрямую с фактическим происхождением героя. Имена князей, упоминаемых в средневековых эпосах (как правило, не славянского происхождения), служат доказательством переносного, метафорического значения используемого этнонима.

Эпитет «дикий» (wild), также часто служивший устойчивым эпитетом к этнониму «рюсен», помимо современного смыслового наполнения «необузданный», «буйный» имел и другие значения. В частности, одно из них заключало в себе семантические признаки «неизвестного», «чужого», «необычного», «жуткого», «далекого». Стереотипные представления о «диких рюсах» в подобном истолковании встречаются в анонимном эпосе 1220 г. «Орнит и Вольфдитрих» («Ortnit und Wolfdietrich»). Здесь эпитет использован в отношении рюсского Илиаса, согласно летописным источникам, одного из князей Древнерусского государства[1].

Слово также могло истолковываться как «неверный», «неправдивый», «безнравственный», что, в свою очередь, также приписывалось всему далекому. По отношению к рюсам в памятниках средневековья эта лексема употребляется и в значении «грубый», «неотесанный», «бескультурный». Последнее свидетельствует об общей установке германцев относить славянские народы к разряду варваров, язычников. Негативный, пренебрежительный оттенок эпитета «wild» как синонима «никчемного, глупого, не заслуживающего уважения» в сочетании с этнонимом «рюс» прослеживается в стихотворении Нейдгарта фон Рейенталя «Золотая курица» («Daz güldin Huon», 1210). В нем рисуется комический портрет рюса, не соответствующего германским культурным стандартам.

Пейоративное восприятие рюсов, ставших в немецком национальном самосознании олицетворением пространственной удаленности и культурной чужести, прослеживается также в стихотворении Вальтера фон дер Фогельвайде «Я предан Богнеру» («Ich bin dem Bogenaere holt», 1219), в повести Вернера Садовника «Крестьянин Гельмбрехт» («Meier Helmbrecht», около 1250–1288). В последней для характери-

[1] *См. подр.: Флоровский А.В.* Русское летописание и Я.А. Коменский: [Начальная история Моравии и генеалогия рода Жеротина в недошедшем до нас трактате Я.А. Коменского] // Летописи и хроники. М., 1974. С. 312-316.

стики героя недостойного поведения используется метафора «неверный рус» (ungetriuwer Ruz)[1].

В анонимном эпосе «Битерольф и Дитлейб» («Biterolf und Dietleib», 1250) «рюс» также служит синонимом враждебного «чужака». Тем не менее, подобное нерасположение сочетается с признанием достоинств противника, что, в частности, выражается эксплицитно в атрибуте «kuen» (отважный)[2].

Следует подчеркнуть, что большинство средневековых свидетельств о рюсах носят отвлеченный характер, не содержат конкретных описаний страны и людей, и в первую очередь важны, как источник и инструмент формирования концепта «чужести» в связи с восприятием этнического контрагента.

Тем не менее, со второй половины XIII в., когда начинает формироваться собственно историческое самосознание, вымысел все больше уступает место личному опыту, основанному на фактах. Содержащиеся в произведениях свидетельства о рюсах приобретают более взвешенный, протокольный характер. Так в стихах Тангейзера, Ульриха Лихтенштейнского, Петера Зухенвирта рюсы упоминаются уже не в метафорическом, а в конкретно-этнологическом смысле в связи с теми или иными реальными событиями (набеги половцев, военные столкновения с русскими дружинами Александра Невского и пр.). В текстах всплывают конкретные географические названия и имена (Ливляндия, Ревель, Изборг, Александр). Однако, выдерживая хронотопические границы, авторы следуют в русле сложившихся представлений о цивилизованных христианах и варварах-язычниках, приукрашивая образ собственного народа и принижая достоинства противника.

Образ России в ренессансной и барочной картинах мира

В XV в. преобладающим жанром в описаниях чужих стран становится автобиографическое воспоминание о путешествиях (Г. Шильтбергер, О. Волькенштейн). В связи с общей тенденцией, характерной для эпохи «первооткрывателей», в этих произведениях уже ощущаются веяния нового ренессансного мировоззрения с его открытостью ко всему новому, неизвестному и с непредвзятостью в оценках чужо-

[1] См.: *Keller M.* Vorstellungen von «Riuzen» in der deutschen Literatur des Mittelalters // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 1. / M. Keller. München, 1985. S. 95.

[2] Ibidem.

го. Россия (Reussenlant) снова, как и в начале Средневековья становится, наряду с другими странами, объектом познания. В связи с тем, что в период татаро-монгольского нашествия (XIII–XV вв.) контакты между русскими и немцами резко сокращаются, они заново открывают для себя уже Русь Московскую. В записках путешественников появляется Сибирь (Ibissibur, Wissibur, Wussibur)[1]. Описываются обычаи и нравы ее обитателей. Именно в это время возникает представление о необъятных просторах России.

Начало целостным и достоверным представлениям о «загадочном царстве»[2] московитов, об Иване Грозном и его подданных положил барон Сигизмунд фон Герберштейн, посол Максимилиана I в Москве. Герберштейн – автор первой на Западе книги о России «Записки о московитских делах» («Rerum moscoviticarum commentarii», 1549), которая в те времена давала целостное представление об ее истории, культуре, религии, обычаях, быте. Эта книга оказала решающее воздействие на создание и закрепление основных стереотипов и содержательных топосов в литературе о России, сохраняющих свое значение по настоящее время. Отмечая гостеприимство простого народа, автор рисует мрачную картину своевластия Ивана Грозного на фоне полного послушания подданных («русские словно рождены для рабства»)[3].

Последующие свидетельства о московитах (Moskowiter) и Московии (Moskowien) лишь усугубили негативное восприятие восточного соседа, прежде всего в связи с Ливонской войной. Вновь всплывает образ «дикого москвитянина», сильного, но грубого, неотесанного противника. Оказавшийся на редкость живучим стереотип сохраняет свое значение и в XVII в. Многочисленные свидетельства этому содержатся в литературе барокко[4]. Среди них, прежде всего, следует отметить выдержавшее несколько изданий описание Московского царства дипломатом Адамом Олеарием[5]. Он, подобно предшествен-

---

[1] Ohne Autor. Berichte über Moskowien im 16./17. Jahrhundert // Op. cit. S. 114.

[2] *Leitsch W.* Das erste Rußlandbuch im Westen – Sigismund Freiherr von Herberstein // Op.cit. S. 118.

[3] Цит. по: *Liszkowski U.* Olearius` Beschreibung des Moskauer Reiches // Op. cit. S. 241.

[4] См. подр.: *Hueck M.* «Der wilde Moscowit». Zum Bild Rußlands und der Russen in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts. (Überblick) // Op. cit. S. 290–340.

[5] Offt begehrte Beschreibung der Newen orientalischen Reise, 1647; Ausführliche Beschreibung der kundbaren Reyss nach Muscow und Persien,

никам, описывает в первую очередь то, что бросается в глаза. А это, как правило, – необычно, непонятно, чуждо. Объективной оценке мешают собственные культурные стандарты и чувство превосходства. Элемент гостеприимства релятивируется опытом общения с русскими в «смутное время», когда среди населения усилилось чувство недоверия к чужеземцам. Стереотип, сложившийся в эпоху Ивана Грозного, дополнился элементом «анархии». Последний и в дальнейшем характерен для восприятия России в эпоху «безвременья».

Тем не менее, несмотря на «культурный этноцентризм»[1], субъективность и предвзятость в оценках восточного соседа, в XVII в. оживляется практика заключения брачных союзов между царскими династиями России и Германии. Ее основы заложил еще князь Ярослав I Мудрый (978-1054). Он сам был женат на дочери шведского короля Олафа Ингигерде и женил трех своих сыновей на немецких княжнах с целью заручиться поддержкой новых родичей и освободиться от опеки Константинополя. А в 1089 г. император Генрих IV берет в жены его внучку, дочь киевского князя Всеволода Ярославича[2]. Обычай скреплять дипломатические отношения брачными союзами в XVI в. практически исчез. Однако уже первый царь из династии Романовых, Михаил, сам имевший германские корни, попытался выдать дочь Ирину замуж за Вальдемара, графа Шлезвиг-Голштинского, сына датского короля Кристиана IV. Дочь царя Ивана V, племянница Петра I, по его желанию в 1716 г. вышла замуж за герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда. В XVIII в. Россией правили Петр III, сын дочери Петра I Анны и герцога Карла Фридриха Голштин-Готторпского, и немка, его жена Екатерина II.

Важно отметить, что если тогда оценки Герберштейна, а во многом и Олеария основывались на личном опыте, то в многочисленных

1647; Vermehrte Newe Beschreibung Der Muscowitischen vnd Persischen Reyse, 1656.

[1] *Liszkowski U.* Op. cit. S. 244. Тем не менее, стоит вспомнить, что именно немцам (свидетельство Карамзина) принадлежит эпитет «великий» по отношению к русскому царю. Русская же атрибуция «грозный» (в первую очередь «строгий») претерпела в немецком переводе смысловое сужение. «Schrecklich» ассоциируется прежде всего с семантикой «страха», «ужаса».

[2] См. подр.: *Keller M.* Konturen: Die Darstellung der Ostslawen in Chroniken und Annalen des 9–13 Jahrhunderts // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 1. / M. Keller. München, 1985. S. 71.

произведениях ученых поэтов барокко (М. Опиц, А. Гриффиус, М. Вейнрих, Н. Фришлин, С. Дах), по сути, воспроизводятся уже готовые стереотипы. Они лишь обрастают подробностями, почерпнутыми из разного рода источников (от античных до современных)[1].

В художественных произведениях эпохи барокко с Россией ассоциируется вся северо-восточная топика, а на русских переносятся соответствующие семантические признаки (скифский, дикий, самоедский) и стереотипы (вечный холод, медведи, Сибирь и пр.). Стереотипы, заимствованные у Герберштейна и Олеария, и приумноженные писателями эпохи барокко, были не в состоянии вытеснить многочисленные сообщения очевидцев, свидетельствовавших о меняющемся характере правления в еще допетровской России, особенно в пору царствования «кроткого» Алексея Михайловича, о ее постепенном переходе от деспотии к абсолютизму европейского образца[2].

Пауль Флеминг – первый славянофил

Особая роль в истории формирования образа России принадлежит немецкому поэту Паулю Флемингу. Флеминг несколько раз посещал Россию (1634, 1636, 1639) в составе посольства А. Олеария. Полученные впечатления вылились в поэтические произведения, открывшие совершенно новую тему в немецкой поэзии. И не только. Его поэтические признания в адрес Москвы и России (Великий и Нижний Новгород, Астрахань, реки Волхов, Москва, Ока, Кама и Волга, Обь) – первые поэтические свидетельства подобного рода в мировой литературе. Флеминга можно метафорически назвать первым славянофилом, или, выражаясь словами Л. Копелева, «первым настоящим западноевропейским другом России»[3]. Своими панегирическими излияниями поэт почти на век опередил русских собратьев

---

[1] Особое место в этом ряду занимает роман Г. Я. К. фон Гриммельсгаузена «Приключения Симплициссимуса» («Der abenteuerliche Simplicissimus», 1668 – до сих пор не переведен на русский язык в полном объеме). Сведения, почерпнутые из описаний Герберштейна и Олеария, вплетены в сюжет авантюрного романа, а их оценка вложена в уста вымышленного художественного персонажа.

[2] См. подр.: *Welke M.* Deutsche Zeitungsberichte über den Moskauer Staat im 17. Jahrhundert // Op. cit. S. 264–286.

[3] *Kopelew L.* Fremdenbilder in Geschichte und Gegenwart // Op. cit. S. 23.

по перу. Сам Флеминг был наслышан об укоренившихся в средние века античных представлениях о «скифской дикости» России. Однако в отличие от друга Олеария поэт сумел нарисовать более позитивную картину русской жизни. Флеминг корректирует уже сложившееся тогда представление о России как о дикой, темной стране. Чужое теряет лик «чужести», сквозь «скифскую дикость» зримо проступают очертания гуманистического, общекультурного начала.

Тексты Флеминга выполняют не только поэтическую функцию, они служат политическим целям миссии. Отсюда хвала Москве и России в духе придворного поэта. Это, в частности, демонстрируют стихотворения «О слиянии Волги и Камы, 20-я верста под Самарой (августа 17 дня 1636)», «Великому городу Москве при расставании (25 июня года 1636)»[1] и др. Общеизвестен сонет-хвала городу Москве в стиле поэзии барокко «Обращение к городу Москве при виде издалека ее золоченых башен». Задача поэта – не только передать собственные впечатления о городе, но и выразить принимающей стороне признательность всех гостей, подчеркнуть важность диалога между Голштинией и Россией.

Архитектоника сонета строится на соединении двух образных пластов: Москвы и любимой женщины, прибалтийской немки из Ревеля. Это позволяет поэту создать органичный полисемичный сплав художественных тем и мотивов. Москва у него – царица, в другом стихотворении – принцесса. Великая, великолепная, прекрасная, богатая, златоглавая, небесная, она ассоциируется с русским народом и одновременно с любимой, госпожой, прекраснейшей из прекрасных, златовласой небожительницей[2].

Другая тема в стихах о России – жизнь простых селян как дань античной традиции противопоставлять реальность «золотому веку»[3].

---

[1] *Fleming P.* Über den Zusammenfluß der Wolgen und Kamen, XX. Werste unter Samaren (17. Augast 1636) // Paul Flemings Deutsche Gedichte. Stuttgart, 1965. S. 476; Fleming P. An den Fluß Moskau, als er schiede. 1636 Juni 25 // Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 159.

[2] См.: *Fleming P.* Er redet die Stadt Moskau an, als er ihre vergüldeten Türme von fernen sahe // Paul Flemings Deutsche Gedichte. Stuttgart, 1965. S. 524.

[3] См.: *Fleming P.* In Groß-Neugartder Reußen // Op. cit. S. 128–131. К рецепции России в творчестве Флеминга, см. в частн.: Lohmeier D. Paul

Идеальный образ непорочной жизни на природе поэт переносит на далекую от ужасов Тридцатилетней войны Россию. В качестве отличительных черт русского крестьянина выделяется простота, непритязательность, набожность, миролюбие, коллективизм. Тем самым Флеминг предвосхищает восприятие страны представителями эпохи Просвещения (Г.В. Лейбниц, А.Л. Шлецер, И.Г. Гердер и др.).

Реформы Петра I и Екатерины II и «прогнозы» немецкого Просвещения

Эпоха реформ Петра I открывает новую главу в отношениях Европы и России. Претерпевший изменения образ России предстает в книгах К. Штифа «Донесение о нынешнем состоянии Московского царства» («Relation von dem gegenwärtigen Zustande des Moscowitischen Reichs», 1706), Ф.К. Вебера «Преображенная Россия» («Das veränderte Rußland», 1721), А.Л. Шлецера «Заново преображенная Россия» («Das neuveränderte Rußland, 1769»), Д. Фасмана «Беседы в царстве их мертвых» («Gespräche in dem Reiche derer Todten», 1722–1724), И.Г. Цедлера «Большая полная универсальная энциклопедия всех наук и искусств» («Das große vollständige Universallexikon aller Wissenschaften und Künste», 1732–1754). В восприятии России начинает доминировать элемент, созданный немцами-интеллектуалами, которые видят в Московии благодатную почву для того, чтобы сеять там «разумное, доброе, вечное». Начало таким воззрениям было положено в самом начале XVII в. прежде всего северными немцами, заинтересованными в контактах с Россией (основание школ, университетов и пр.). Об использовании образовательного потенциала Запада задумывался уже Борис Годунов, отправлявший первых русских людей за границу на учебу. Для представителей эпохи Просвещения, в отличие от предшественников, чужой народ не был приговорен навеки пребывать в дикости, отсталости и бескультурье. Напротив, его инаковость идеализировалась, именно такой народ, якобы, не вкусивший плодов цивилизации, потенциально считался благодатным материалом для просвещения. Подобным оптимизмом была в первую очередь проникнута деятельность Г.В. Лейбница. Ему принадлежит идея преодоления пропасти, разделявшей Восток (Китай) и Запад. России отводилась роль

Flemings poetische Bekenntnisse zu Moskau und Rußland // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 1. / M. Keller. München, 1985. S. 341–370.

связующего звена в культурном трансфере, который, в соответствии с идеями о гармонии бытия и в духе современной глобализации, был призван способствовать синтезу культур в рамках доминирующей цивилизационной модели. Руководствуясь благими намерениями приблизить Россию к европейским культурным стандартам, Лейбниц разработал комплексный план освоения страны, включавший в себя сферы государственного управления, науки (именно ему принадлежит идея создания в России Академии наук), образования, сельского хозяйства, разведки недр и пр. Идеи Лейбница, как известно, позднее нашли художественное воплощение в известном поэтическом цикле Й.В. Гете «Западно-восточный диван».

В числе известных поэтов XVIII в., обративших взоры на Россию, – И.К. Готшед, И.Г. Гердер, Я.М.Р. Ленц, Ф.М. фон Клингер, К.Ф.Д. Шубарт, Х.М. Виланд, Ф. Шиллер, И.К.Ф. Гельдерлин и др.

Позитивный образ России в первой трети нового века целиком обязан характеру восприятия на Западе фигуры Петра I. Личность русского царя-реформатора находится в центре внимания немецких поэтов. Его прославляют И.К. Готшед, Б.Г. Брокес, Х.Ф. Геллерт, И.Г. Гердер. Любопытно отметить, что если с образом Ивана Грозного ассоциировался весь русский народ, то образ Петра I оставался в границах восприятия великой личности, скорее противопоставляемой, по сути, не претерпевшему изменений стереотипу о характере русского народа. Любопытно также, что впервые у Ф.К. Вебера наблюдается осознанное различение нерусских этносов, проживавших на территории России (калмыки, татары, самоеды и др.). Они получают в наследство клишированные характеристики, имевшие ранее хождение в отношении русских людей.

Одна из заслуг мыслителей XVIII в. – признание за народами собственной национальной самобытности и состоятельности (К.Ф.Д. Шубарт, И.Г. Гердер). Гердеру принадлежат первые поэтические высказывания по поводу славянской культуры («Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit», 1784–1791). Поэт призывает соотечественников понять восточноевропейских соседей, описывает русских как миролюбивый народ, пострадавший в прошлом от набегов германцев и азиатов. Особенно близка сердцу поэта ассоциируемая с Россией Украина, которую он рассматривает в качестве благодатной почвы для возрождения новой Греции.

Именно в эпоху Просвещения выявляется несостоятельность суждений о разных народах через призму сложившихся предрассуд-

ков. Одним из первых об этом заявил И.К. Готшед в поэме «Трудное преодоление предрассудков» («Die beschwerliche Ueberwindung der Vorurteile», 1751). Последователь Лейбница, он видел в России многообещающую и плодородную, пока еще не возделанную почву для взращивания плодов Просвещения. Готшед объединил вокруг себя немало единомышленников (Л.А.В. Кульмус, Г. Бредоло, В. Пиг, К.Ф. Флегель), славивших Россию и возлагавших большие надежды на связь просвещенной Германии с Россией. Заслуга Готшеда состояла и в том, что он стал первым проводником русской литературы (А. Кантемир, А. Сумароков, М.В. Ломоносов, В. Тредиаковский, М. Херасков, В. Майков, Д. Фонвизин) в немецкоязычном пространстве, положив тем самым начало двустороннему культурному трансферу. Его дело продолжили затем Я.М.Р. Ленц, Ф.М. Клингер, Ф. Шиллер, Й.В. Гете, А. фон Шамиссо, Х.М. Виланд и др.[1].

В начале XVIII в. тон произведений, в которых, так или иначе, присутствует Россия, порой так проникнут панагерическими настроениями, что, как отмечает Л. Копелев, позволяет последующим исследователям «заподозрить в них элементы официальной русской пропаганды»[2]. Однако уже к 1730-м гг. вновь обнаруживает себя настороженность по поводу усиления положения России, ее возможных претензий на мировое господство. Негативные оценки связаны, прежде всего, с Семилетней войной, которую ведет Пруссия с французами, австрийцами и русскими. Опять всплывают образы разбойников, медведей, варваров. Среди писателей, культивирующих подобные стереотипы, в первую очередь, выделяются анакреонтики – Л. Глейм, И.П. Уц, Э.Х. Клейст, А.Л. Каршин, К.В. Рамлер, И.Л. Шписс и др.

Прерванные войной добрососедские отношения возобновились с восхождением на трон Екатерины II и даже немного раньше. Так, уже одним из первых указов Петра III после вступления на трон был прекращение войны между Россией и Пруссией. Этому событию посвя-

---

[1] См. подр.: *Keller M.* Verfehlte Wahlheimat: Lenz in Rußland // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 2. / M. Keller. München, 1987. S. 516–535; Segeberg H. Klinger in Russland: Zum Verhältnis von westlicher Aufklärung und östlicher Autokratie // Op. cit. S. 536–563; Demmer S. «... ein gesittet Volk aus Wilden» – Schillers Rußlandbild // Op. cit. S. 564–584; Chamisso D. v. Der «Russe» Chamisso // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (под общ. ред. Л. Копелева). In 5 Bdn. Bd. 3. / M. Keller. München, 1991. S. 163–173.

[2] *Kopelew L.* Neues Verständnis und neue Miβverständnisse // Op. cit. S. 25

щено стихотворение Гердера «Песнь Киру» (1762). Ода новому царю представляет собой аллюзию на события библейской истории. В том же году поэт отправляется на учебу в Кенигсбергский университет. В 1765 г. под впечатлением либерального духа, царившего в Прибалтике, он пишет оду «На восхождение Екатерины на трон». В противовес сложившемуся мнению об авторитаризме русской государственной власти Гердер рисует царицу «не с кнутом, но с жезлом милости в руках»[1]. Образ выдержан в тонах возвеличивания и преклонения, без учета негативных факторов, сопровождавших правление Екатерины II, и соответствует представлениям самого русского народа о самодержце. Екатерина предстает как идеал заботливой матери, царицы, равной богам. Поскольку (в соответствии со сложившимся стереотипом) Екатерина II слыла на Западе просвещенной царицей, для Гердера она – еще и богиня, несущая процветание в дикие отдаленные провинции. То есть культурный ландшафт России ограничивается лишь ее западной, прибалтийской частью. Любопытно признание самой Екатерины II по поводу русских людей. Оно было сделано незадолго до смерти в 1796 г. сыну Павлу как итог ее 36-летнего пребывания в России: «Природа русского человека слишком широка для тесных рамок европейского разума, а Российская империя слишком велика, чтобы вместиться в западный порядок». Немка выделяет в качестве типичных черт русского национального характера антиномическую пару: «священные высокие чувства, соседствующие с низкими животными инстинктами». Между этими полюсами «мечется как весь народ, так и каждый индивидуум»[2].

Позитивный образ России во времена правления Екатерины II и Павла I во многом обусловлен союзническими отношениями немцев и русских (военная кампания против турок, раздел Польши, территориальные споры с Францией).

В литературе того времени можно встретить примеры проявления братских чувств к союзнику, превознесения доблести русских солдат. Так, в одном из стихотворений Шубарта всплывает имя полководца

---

[1] *Herder J. G.* Auf Katharinens Thronbesteigung. Цит. по: Schneider M. Zaren und Kosaken, Kuppeln und Ikonen oder: «... daß deiner Wolgen Schall auch hören soll mein Rhein» – Facetten des Rußlandbildes in der deutschen Lyrik // Lyrische Labyrinthe. Sechs Themen und Motive / K. Lindemann. Paderborn. 1995. S. 106.

[2] Цит. по: Tausend Jahre Nachbarschaft: Rußland und die Deutschen / A. Eisfeld, M. Hellmann, München, 1988. S. 248.

Суворова, а Гельдерлин, в отличие, скажем, от Гердера, не идеализировавший русскую правящую верхушку, видя в ней оплот тирании, рисует, тем не менее, в своих произведениях, в частности в лирическом романе «Гиперион» («Hyperion»), храбрых русских воинов, надежных союзников в борьбе с турками[1].

К концу XVIII в. Россия воспринимается уже как неотъемлемая часть европейской реальности, как великая держава, с которой невозможно не считаться. Для одних она – потенциальный союзник, для других – наводящий страх противник.

Новый элемент в познании России XVIII в. – признание немцами (И.Л.В. Мюллер, А.Л. Шлецер, А. Райхель) исторического родства, некоей предначертанной судьбой связи с Россией. Как отмечает Л. Копелев, именно в это время утвердилась идея, что объединение сил (неважно, с какой целью) – благотворно, а отчуждение и вражда – губительны для обеих сторон. Фридрих Великий (II) король Прусский, по большому счету негативно относившийся к России, тем не менее, указывал на необходимость сотрудничества с ней как с «самым естественным союзником»[2]. Его завет помнили О. фон Бисмарк и Г. Штреземан. Т. Манн в свое время вынашивал, как известно, мечту о том, что Россия и Германия сообща одолеют «лживую западную демократию»[3].

Однако нельзя забывать о том, что за общностью исторических судеб двух народов просматривалась конкретная геополитическая подоплека. Как в частности, указывает Л. Копелев, в основе оформившихся в XIX в. панславизма (славянофильство) и пангерманизма лежала романтическая мечта о немецком единстве, с одной стороны, и о единстве славянском (русском), с другой. На практике это вылилось в крайности великорусского и германского шовинизма, замешанного на

---

1 См.: *Hölderlin F. Hyperion* // Hölderlin F. Sämtliche Werke und Briefe / G. Mieth. In 2 Bdn. München, 1970. Bd. 1. S. 165.

2 *Kopelew L.* «Unser natürlichster Verbündeter» // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 2. / M. Keller. München, 1987. S. 275.

3 *Mann Th. Tagebücher.* 1918–1921. Frankfurt a.M., 1979. S. 177. Ср. также: Kopelew L., Koenen G. Verlorene Kriege, gewonnene Einsichten. Rückblick vom Ende eines Zeitalters. Ein Gespräch // Deutschland und die russische Revolution / G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 15. Koenen G. Betrachtungen eines Unpolitischen. Thomas Mann über Rußland und den Bolschewismus // Op. cit. S. 313–379.

националистических и расистских идеях[1]. В мысли же о союзе двух народов, в свою очередь, всегда просматривалось желание доминировать друг над другом. Именно оно ставилось во главу угла, когда немецкие политики пренебрегали важностью союзнических отношений с Россией и не раз приводили Германию к катастрофам (Вильгельм II, Гитлер).

В XVIII в. певцами немецкой династии в российской короне прослыли, кроме Гердера и Геллерта, Я.М.Р. Ленц и Ф. Шиллер, написавшие несколько од по случаю помолвки немецких наследных принцев с русскими княжнами.

Жандарм Европы и загадка русской души: особенности восприятия России в XIX в.

В XIX в. летопись царской короны продолжил Гете. По случаю дня рождения Марии Павловны, дочери Павла I и императрицы Марии Федоровны, жены наследного принца Карла-Фридриха, будущего герцога саксен-веймар-эйзенахского, поэт пишет сценарий для русского маскарада «Маскарадное шествие русских народов на 16 февраля года 1810» («Maskenzug russischer Nationen zum 16. Februar 1810»)[2]. В декабре 1818 г. представление показывают еще раз в честь приезда в Веймар уже вдовствующей императрицы, дочери наследного принца вюртембергского Фридриха-Евгения Марии Федоровны. На этом традиция придворной немецкой поэзии в отношении России прерывается, возобновляясь позже уже в творчестве певцов советской России и ее вождей, в первую очередь в произведениях Й.Р. Бехера.

Отношение Гете к России не было однозначным. Опасения по поводу угрозы со стороны русского государства, особенно после победы над Наполеоном, явственно проступают в одном из его афоризмов. Речь в нем идет о казаках, которые рассматриваются одновременно и как освободители от тирана, и как потенциальные завоеватели всей Европы[3]. В таком же ключе написаны стихотворения Э.М. Арндта,

---

[1] См.: *Kopelew L.* Am Vorabend des großen Krieges // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 30.

[2] См.: *Goethes Werke.* in XXX Bdn. Bd. V. Weimar, 1894. S. 817-824.

[3] *Goethe J.W.* Zahme Xenien // Goethes Werke in 14 Bdn. 14. Auflage. München, 1989. Bd. 1: Gedichte und Epen. Alterswerke. Sprüche VII. S. 330.

Ф. Рюккерта, К. Брентано, в которых мощь победителей отождествляется с варварским началом[1]. Таким образом, постепенно в немецком культурном сознании возникает противоречие между целесообразностью укреплять династические связи и возрастающим скепсисом и отчуждением от правящей верхушки России. Так, к радикальному разрыву с царской династией призывает в своем стихотворении «Князи Германии» Г.Ф.В. Корнелиус[2].

Общий тон поэтических произведений, создававшихся в эпоху наполеоновских войн, когда Россия была союзницей немецкоязычных государств, отмечен, тем не менее, большими симпатиями к русскому народу, солдатам, военачальникам. Восхищение немецких поэтов вызывало прежде всего героическое самопожертвование во имя победы над захватчиком. Среди певцов русского духа – А. фон Дросте-Хюльзенхоф, Т. Кернер, Л. Уланд, А. Ф. фон Коцебу, Ф. де ля Мотт Фуке и др. В эти годы появилось множество народных и солдатских песен, посвященных доблести русских воинов[3]. В этой связи несомненный интерес представляет баллада Р. Демеля «Anno Domini 1812». В ней спустя век после неудавшегося похода Наполеона в Россию сделана попытка вскрыть причины поражения французов. Любопытно, что писатель рубежа XIX–XX вв., привнося в произведение неоромантический колорит, не только использует русскую ономастическую палитру (холод, зима, березы, матушка святая Русь), но и создает оценочные имиджи, во многом полагаясь на представления самого русского народа о себе и своей родине. Слова русского крестьянина, обращенные к поверженному императору, звучат накануне Первой мировой войны экспрессионистским предостережением будущим противникам России. Поэт словно заранее предрекает буду-

---

1 См.: *Arndt E.M.* Gottes Gericht // Arndt E.M. Werke. In 12 Teilen. Berlin, 1913. T. 1. S. 109–112; Rückert F. Geharnischte Sonette // Rückert F. Gesammelte poetische Werke. In 12 Bdn. Frankfurt a. M., 1868. Bd. 1. S. 21; Brentano C. Aber mit den Flocken ... // Brentano C. Werke. München, 1968. S. 328. Ср. также: Pape W. «Juchheirassa, Kosaken sind da!». Russen und Rußland in der politischen Lyrik der Befreiungskriege // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 3. / M. Keller. München, 1991. S. 289–314.

2 См. подр.: *Pape W.* Op. cit. 454.

3 См. подр.: *Pape W. Politische Lyrik der Befreiungskriege* // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 3. / M. Keller. München, 1991. S. 289-314.

щие победы России, у которой есть «тысячи, тысячи смирных добрых сердец», а над врагами уже занесен «кровавый Божий серп»[1].

Однако уже вскоре Россия приобретает дурную славу как средоточие деспотии в Европе. Это случилось после Венского конгресса 1814 г., на котором должны были определиться параметры европейского государственного устройства, способного обеспечить политическое равновесие, нарушенное наполеоновскими войнами. Вместо этого последовала реставрация Бурбонов во Франции и усилилась раздробленность Германии. По поводу создания Священного союза и роли в нем России весьма негативно высказался, в частности, А. Платен в стихотворении «Воззвание к немцам»[2].

Целый ряд стихотворений, направленных против России и «жандарма Европы» Николая II, сочиняют А.Г. Гофман фон Фаллерслебен («Братание», «Рифмы», «Граница на вечном запоре») и Э. Гейбель («Песня караульных»)[3]. Символами «русской культуры» предстают хлысты (кнуты), меха, икра. «Настоящий русский» – не красный молодец, а дикий охотник, угнетатель; одного слова, сказанного в защиту свободы, достаточно, чтобы быть сосланным в Сибирь. Угнетение и рабское подчинение подаются как типично русские черты, статьи импорта в Европу. «Кнут» (die Knute) – символ России у Фаллерслебена, Платена и Гейне[4].

Эта тенденция усилилась после польского восстания 1830 г. Почти все немецкие поэты XIX в. писали так называемые «Польские песни». Среди них – Ф.Я. Зибенпфайфер, К. Шарпф, Й.Г. Зойме, Ф.М. Боденштедт, Х. Харринг, Г.А. Мальтиц, Э. Ортлеп, А. Платен, Й.В.Л. Глейм и др. В этих произведениях представления о русских сводятся исключительно к стереотипам царя и кнута.

---

1 *Dehmel R.* Anno Domini 1812 // Gesammelte Werke. Berlin, 1913. Цит. по: Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 527.

2 *Platen A.* von. Aufruf an die Deutschen. Цит. по: Kopelew.L. Zunächst war Waffenbrüderschaft // Op. cit. 3. S. 27

3 *Hoffman von Fallersleben* A.H. Die Verbrüderung // Gesammelte Werke. In 4 Bdn. Bd. 4. Berlin 1891. S. 7; Reime. S. 197; Ewige Grenzsperre. S. 268; Geibel E. Türmerlied // Geibel E. Werke. In 3 Bdn. Bd. 1. Leipzig, 1918. S. 27.

4 См., в частн.: *Heine H.* Jetzt wohin? // Heine H. Werke und Briefe in zehn Bänden / H. Kaufmann. 2. Aufl. Bd. 2. Berlin und Weimar, 1972. S. 105.

Критика русской государственной власти содержится в политической поэзии 1840-х гг. (Ф. Дингельштедт, А.Г. Гофман, Г. Гервег, Ф. Фрейлигрaт, Р. Фон Готшаль, А. Гласбреннер, Ф. Геббель), а позднее в произведениях Т. Фонтане[1].

Представление, что Россия может служить лишь источником реакционной политики и поставщиком натуральных продуктов, претерпевает изменения, благодаря знакомству немцев с новой русской литературой. Этому немало способствовали контакты с русскими писателями, многие из которых часто посещали Германию. Образы России и русских людей, представленные в творчестве Т. Шторма, П. Гейзе, Т. Фонтане, Г. Гауптмана, Т. Манна, Ф. Ницше и др., во многом инспирированы правдой жизни и психологической проникновенностью произведений Гоголя, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого и др., неся печать «портретного» сходства с соответствующими литературными источниками[2].

Несмотря на то, что с середины XIX в. соперничество и восхваление собственного превосходства стали главными чертами в рецепции «другого», а в образах, рисующих русских людей, продолжают бытовать мифы, сопряженные с рабством, бескультурьем, «недоразвитостью» славян[3], к концу XIX в. усиливающийся культурный трансфер с востока вылился в настоящее «немецкое русофильство». Вновь, как в эпоху раннего Просвещения, модернистскому типу западного европейца противопоставляется образ наивного русского, исполненного религиозности и сердечной теплоты. В мифологизированной патриархальности России виделось решение собственных проблем.

---

[1] См. подр.: *Pape W.* Op. cit. S. 435–472; Plett B. «Sie ... mit einer Hinneigung zu Rußland, ich zu England». Die Rußlandbilder Theodor Fontanes // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 566-598.

[2] См., подр.: *Korn K.-H.* Vermittler der Musen. Russische Literatur in Deutschland // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 3. / M. Keller. München, 1991. S. 247–286; Laage K.E. Theodor Storms russische Begegnungen // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 521-538; Fischer M. «Keime aus russischem Boden» – Zum Rußlandbild des Naturalismus // Op. cit. 642–671; Meyer Th. Nietzsches Rußlandbild: Protest und Utopie // Op. cit. S. 866–903.

[3] Ср., в частн.: *Mahal G.* Eher Pinsel als Stift. Rußland und die Russen in Karikaturen deutscher Zeichner 1870–1917 // Op. cit. S. 381-424.

То обстоятельство, что именно Россия в то время переживала период интенсивной индустриализации, игнорировалось.

Рильке как один из создателей идеалистического мифа о России

В немецкоязычной литературе рубежа XIX–XX вв. главным русофилом слыл Р.М. Рильке[1]. Поэт предпринял первое путешествие в Россию весной 1899 г. Полученные впечатления нашли отражение во многих его произведениях. Основу русской культуры он видит в православии, противопоставляемом западным христианским конфессиям. В отличие от Флеминга, любовавшегося блеском позолоченных башен Кремля и куполов церквей, Рильке восхищает их внутреннее убранство и полумрак[2]. «Темное» православие как источник вдохновения и благочестия противопоставляется «светлому» Ренессансу[3]. Поэт подчеркивает разницу между четкостью европейской архитектуры и витиеватостью православного зодчества[4]. Несмотря на позитивную трактовку «темного», «сумрачного» православного мира, истинный православный, (шире – русский человек), не согласится с таким противопоставлением «своего» и «чужого». В фольклоре многих индоевропейских народов самыми древними формами самосознания выступают различители, основанные именно на восприятии цвета: «белый–черный», «светлый–темный», где светлое – всегда свой, радостно воспринимаемый мир, в отличие от мрачного, чужого мира[5].

Следует отметить, что создателями и пропагандистами позитивного образа России, наряду с Рильке, были представители довольно узкого круга просвещенной интеллигенции (Т. Манн, Г. Гауптман, Э. Барлах, Г. Бар и др.). Взгляды немецкого бюргера складывались

---

1 См. подр.: *Kopelew L.* Rilkes Märchen-Rußland // Op. cit. S. 904–937.

2 *Rilke R.M.* Sämtliche Werke.1. Bd. Gedichte. 1. Teil. Frankfurt a. M., 1987. S. 292.

3 Ibid. S. 254.

4 Ibid. S. 314.

5 См. подр.: *Смирнов Ю.И.* Противопоставление «свой–чужой» и множественность форм самосознания // Этническое и языковое сомосознание. Материалы конференции. Москва. 13–15 декабря 1995 г. Министерство Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике. Институт народов России / В.П. Нерознак. М., 1995. С. 133.

в основном под влиянием шовинистической почвеннической идеологии[1]. Показательно в этой связи резко отрицательное восприятие русского этноса немецкими натуралистами. Как несвойственные природе немцев оцениваются «расово чуждые» черты русского характера (любовь к ближнему, самобичевание, самопожертвование), проявляющие себя в слабохарактерности мужчин и в жизнестойкости женщин[2].

«Меняющийся лик»: Россия Советская. От 1917 года до «перестройки»

События русской революции немало поколебали сложившийся в XIX в. стереотип о загадочной русской душе и прирожденной рабской покорности русских. Национальный образ дополняется клишированными портретами «ослепленных яростью разбойников и убийц», «внуков Степана Разина и Емельяна Пугачева», «наследников цареубийц»[3]. Все это не могло не усиливать страх и недоверие по отношению к России после 1917 г.

На общем фоне выделяется восприятие России экспрессионистами активистского крыла. Они поддерживали живые контакты с представителями русского авангарда и не скрывали своих симпатий к революционной России, что соответствовало их представлениям о пацифизме, революции, свободе, нигилизме, анархизме и пр. Впрочем, дальнейший ход событий в стране Советов заставил большинство из них признать утопизм своих мечтаний[4].

Как бы там ни было, после 1917 г. наблюдается резкий всплеск интереса к русской литературе. К 1925 г. вышли репрезентативные собрания сочинений Толстого, Достоевского, Гончарова, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Лескова, Горького и др.

---

1 См., в частн.: *Keller M.* Bücher vom Nachttisch – Trivialliteratur als Massenmedium für Russenstereotypen // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 807–852.

2 См., в частн.: *Fischer M.* Op. cit. S. 651–671.

3 *Kopelew L.* Am Vorabend des großen Krieges // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 19.

4 См. подр.: *Belentschikow V.* Träume und Enttäuschungen – Expressionistische Rußlandbilder in der «Aktion» // Op. cit. S. 986-1011.

Высокая оценка русской литературы и ее «жизненно важного духовного значения» (Т. Манн)[1] как образца социальной совести и самореализации человеческой личности содержится в высказываниях подавляющего большинства немецких деятелей культуры и искусства того времени. Достаточно указать на тот факт, что для немецкой интеллигенции первых десятилетий XX в. имя Достоевского значило больше, чем символы отечественной культуры Гете и Ницше. По крайней мере, так воспринимал атмосферу немецкой «достоевщины»[2] Г. Гессе.

Важным представляется признание русской литературы не только как великого явления мировой культуры, но и как источника ее обновления. «Это была хорошая литература, проложившая мост на Запад, чтобы не только черпать, не только учиться, но и показать собственное мастерство»[3], – отмечала Р. Люксембург. Влияние русского литературного наследия прослеживается в творчестве таких крупных писателей первой половины XX в., как А. Цвейг, А. Зегерс, Л. Фейхтвангер и др.

Интерес к переломной эпохе, связанной с революционными событиями в России, повлек за собой триумфальное шествие советской литературы по Германии (К. Федин, М. Горький, В. Маяковский, М. Шагинян, И. Эренбург, В. Инбер и др.). Россия снова рассматривается как полигон для проведения эксперимента в духе деятелей Просвещения.

Свою лепту в расширение русского культурного пространства на территории Германии, несомненно, внесла эмигрантская диаспора первой волны. Стоит лишь указать на то, что только в Берлине русскими было основано 49 издательств и редакций, и открыто 12 библиотек[4]. Любопытно отметить факт издания в издательстве «Скифы»

---

1 *Mann Th.* Gesammelte Werke. In 13 Bdn. Bd. 11. Frankfurt a. M., 1960. S. 577.

2 *Koenen G.* Eine deutsche «Dostojewschina» // Der Rußland-Komplex: die Deutschen und der Osten 1900–1945. München, 2005. S. 350. Ср.: Hesse H. Die Brüder Karamasoff oder Der Untergang Europas. Einfälle bei der Lektüre Dostojewskis // Blick ins Haos. Drei Aufsätze. Bern, 1920. S. 2.

3 *Luxemburg R.* Die Seele der russischen Literatur. Цит. по: Die russische Literatur und das 20. Jahrhundert // Geschichte der russischen Literatur: von den Anfängen bis 1917. Berlin, 1986. S. 566.

4 См. подр.: *Mierau F.* Wind vom Kaukasus. Die Russen in Berlin. Begegnungen und Entfremdungen // Deutschland und die russische Revolution / G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 646–675.

в 1920 г. произведений фактически неизвестного в современной Германии Н. Клюева[1].

Россия «Бехера»

После победы Октябрьской революции Россия стала родиной в разных смыслах для многих немецких писателей и поэтов. Молодые радикалы от искусства приветствовали создание Советского Союза, возлагая на него большие надежды и видя в нем модель развития для Германии, также пережившей революцию.

Среди деятелей культуры, прочно связавших судьбу с Советской Россией, следует, прежде всего, назвать Й.Р. Бехера. В 1919 г. он пишет в восторженном «Привете немецкого поэта Российской Федеративной Советской Республике»: «В вашей стране нам видится священная империя. Рай»[2]. Симпатии Бехера к новой России усиливаются после эмиграции в 1935 г. в СССР. Эти настроения нашли отражение в многочисленных гимнах-сонетах. Подобно Рильке, Бехер ставит Москву в один ряд с «древними» культурными центрами Европы[3]. Перечисление важных для него по тем или иным причинам городов – Тюбинген, Йена, Мюнхен, Берлин, Флоренция, Париж и др., он завершает Москвой. Однако предмет восхищения Бехера иной, чем у Рильке. В духе урбанистических устремлений футуристов его привлекает новый дух «санации», проводимой Сталиным, который стремился превратить древнюю столицу, чей облик издревле определяли церкви, монастыри, дворцы, особняки, в современный город, построенный по строгому конструктивистскому плану. Как известно, разрушения памятников архитектуры оказались намного пагубнее последующих разрушений во время войны. Бехер,

---

1 Zemlja i zelezo, Pesni solncenosca, Izbjanyja pesni. Издание хранится в Немецкой национальной библиотеке (Лейпциг).

2 *Becher R.* Gruß des deutschen Dichters an die Russische Föderation // Kameraden der Menschheit. Dichtuingen zur Weltrevolution / L. Rubiner. Potsdam, 1919. S. 13–14. Ср. также: Ode an die Sowjetrepublik // Haase H. Johannes R. Becher. Leben und Werk. Berlin, 1981. S. 85. См. также: Rohrwasser M. Das rettende Rußland. Erweckungserlebnisse des jungen Johannes R. Becher // Deutschland und die russische Revolution / G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 462–481.

3 *Becher J. R.* Neun Städte: Moskau // Sonett-Werk. 1914–1954. Düsseldorf, 1956. S. 171.

однако, воспринимал это иначе. Старая Москва ассоциировалась у него с отжившим свой век прошлым, а потому лишенным какой бы то ни было ценности, новое же олицетворяло позитивное (социалистическое) начало. Так, в стихотворении «Старый московский дом» он приветствует снос исторических кварталов, поскольку это должно было омолодить город, расчистить место для новых источников жизни в данном случае – для фонтана[1].

Русское православие для Бехера – воплощение прежней России, достойной лишь осуждения. В стихотворении «Танцующая церковь» отражено впечатление поэта от ночного вида Красной площади[2]. Частью предвоенного убранства города стали прожекторы, которые поэт сравнивает с церквями, выстраивая дихотомические пары «просвещение – религия», «прогрессивный – отживший». Прожектор олицетворяет не только технический прогресс как таковой, но одновременно служит своеобразной поведенческой установкой на борьбу трудящихся с прошлым. Символизирующие реакционное прошлое храмы лишь пассивно отражают свет, молча повинуясь указам советского правительства, капитулируя перед натиском коммунистического строя. В духе экспрессионизма прежняя религия и прежний мессия уступают место новой вере и новому пророку.

Наряду с общими гимнами-восхвалениями «Чудо-страны»[3] поэт создает целый ряд панегириков Ленину: «Ленин – пробуждающий человечество от сна», «Тысячелетний Ленин»[4] и др. Не остается без внимания и фигура Сталина, в котором поэта восхищают нечеловеческие силы и способности («Когда говорил Сталин», «Человек, который любит Германию»), безграничный культ, связанный с его именем («В одном имени»[5]). Любопытно в этой связи наблюдение литературоведа П.Х. Ноймана о формальных и содержательных

---

1 См.: *Becher J. R.* Altes Haus in Moskau // Op. cit. S. 259.

2 См.: *Becher J. R.* Die tanzende Kirche // Op. cit. S. 255.

3 *Becher J. R.* Sterne unendliches Glühen. Die Sowjetunion in meinem Gedicht 1917–1951 // Sinn und Form. Sonderheft. 1951. S. 10.

4 *Becher J. R.* Der an den Schlaf der Welt rührt – Lenin // Op. cit. S. 17; Der tausendjährige Lenin // Op. cit. S. 191.

5 *Becher J. R.* Als Stalin sprach // Op. cit. S. 287; Ein Mann, der Deutschland liebt // Gesammelte Werke. Bd. 6. Gedichte 1949–1958. Berlin; Weimar, 1973. S. 278; Auf einen Namen // Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 691.

сходств подобных панегириков с излияниями немецких поэтов-нацистов в адрес Гитлера[1].

Образ России как олицетворение юношеских идеалов остался неизменным на протяжении всей жизни Бехера: в его сознании прочно укоренился идеологический миф об упущенной исторической возможности Германии последовать по пути Советской России («Россия»)[2].

Подобно Бехеру, светлым лучом в темном царстве фашисткой диктатуры видится СССР под красным стягом с серпом и молотом и Э. Вайнерту («Светлая песня из темного двора», 1932)[3].

Б. Брехт, в отличие от Бехера, Вайнерта, Вальдена и др. был более критичен в своем отношении к советской системе ценностей. Так, в 1939 г. он выражает сомнение в справедливости сталинской системы, после того, как советский народный суд приговорил к смерти его друга и учителя Сергея Третьякова («Народ непогрешим?»)[4].

Уроки военного лихолетья

Война фашистского режима против СССР предстает как самый трагичный период в истории взаимоотношений двух народов.

Линию противопоставления фашистской Германии как средоточия мракобесия социализму и СССР, воплощавших для многих идеалы гуманизма, продолжает, в частности, Бехер («Москва», 1941)[5]. Однако для других поэтов опыт знакомства с Россией оказался более драматичным. Так, например, у В. Борхерта, который в 1941 г. попал на Восточный фронт, лейтмотив стихов, созданных в жанре пейзажной лирики – бессмысленность жертв на фоне мирной природы и повседневных забот человека, ощущение своей чужеродности в стране «вечных» снегов, необъятных просторов, нежелание потерять человеческий облик и мечты вернуться домой («Письмо из России»)[6]. Те же

---

[1] См. подр.: *Neumann P.H.* Das Wort des Herrn und die Sprache seiner Diener. Über religiöse und politische Bekenntnis-Lyrik // Neue Rundschau. 1976. H. 87. S. 585–595.

[2] *Becher J.R.* Rußland // Sonett-Werk. 1914–1954. Düsseldorf, 1956. S. 580.

[3] *Weinert E.* Helles Lied aus dem dunklen Hof // Großstadtlyrik. 1999, Stuttgart. S. 163–164.

[4] *Brecht B.* Ist das Volk unfehlbar? // Gesammelte Werke. In 20 Bdn. Frankfurt a. M., 1968. Bd. 9. S. 741.

[5] *Becher J.R.* Moskau // Großstadtlyrik / W. Wende. Stuttgart, 1999. S. 170.

[6] *Borchert W.* Brief aus Rußland // Borchert W. Das Gesamtwerk. Hamburg,

сумрачные настроения характерны для Г. Ленца («Русская осень»)[1]. Глубокого трагизма исполнено написанное в форме плача-заклинания стихотворение представительницы внутренней эмиграции О. Шефер «Моему сыну». Сугубо личное переживание (ее сын воевал на Восточном фронте и долгое время считался пропавшим без вести) приобретает статус вселенского горя, замешанного на неизбывной тоске и инстинктивной вере в силу материнской любви[2].

Напротив, Г. Бенн, никогда не бывавший в СССР, в разгар конфронтации между двумя государствами бросает ироничный взгляд издалека на чужую страну Россию середины XX в. и рисует ее в отчужденно-критических, хотя и не лишенных объективности тонах («Санкт-Петербург середины века», 1943). В стихотворении присутствует весь набор сложившихся к тому времени стереотипов о России, структурированных, как система антиномических, неизбежно уживающихся рядом отношений: религиозность на фоне туристического бума, алкоголизм как бытовая, а земля как сакральная данность, вечная тема вины и ее искупления (Раскольников)[3].

Примечательно, однако, что даже в эти годы среди ряда поэтов сохраняет свое значение стереотип, заложенный еще Гердером. Так, Й. Бобровский, прошедший всю войну, которая закончилась для него советским пленом, приходит к выводу о важности знаний о «других», о необходимости впитывать духовные ценности иных народов. Это убеждение нашло отражение в его послевоенном творчестве, отмеченном глубоким знанием восточноевропейской культуры.

Раздвоение образа: издержки «железного занавеса» и объятий «старшего брата»

В связи с разделом Германии на Западную и Восточную послевоенный период отмечен дальнейшей поляризацией восприятия СССР глазами немцев.

2006. S. 270.

1 *Lenz H.* Russischer Herbst // Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 787.

2 См.: *Schaefer O.* An meinen Sohn // Op. cit. S. 748.

3 См.: *Benn G.* St. Petersburg – Mitte des Jahrhunderts // Neue deutsche Erzählgedichte / H. Piontek. München, 1968. S. 30–32.

Эпоха холодной войны нашла художественное воплощение в творчестве многих поэтов Западной Германии. В соответствии с общими представлениями о Советском Союзе как о стране-оккупанте, критике подвергается порочность советской системы, оцениваемой с позиций западной демократии. Так, «Будущее социализма» представляется Х. Хайсенбюттелю тотальным коллективистским «всечейным-ничем»[1]. Х. Пионтек, сопоставляя в стихотворении «Я, Антон Павлович» Россию чеховскую с Россией середины XX в., приходит к выводу, что политическая система страны, несмотря на замену логотипа, не претерпела никаких позитивных изменений. Ложь советской пропаганды не стала изощренней, но стала более массированной (в силу упадка нравственности и ужесточения борьбы с инакомыслием)[2]. Имя Н. Островского в заглавии стихотворения Л. Штайнгерра «Островский в багаже» – не что иное, как символ эпохи социального раскола нации на взлете XX в. При этом симпатии автора – явно на стороне побежденного «старого»[3].

Критике подвергаются издержки научно-технического прогресса, в немалой степени, ассоциирующиеся с социалистической плановой экономикой и военной угрозой Западу со стороны диктаторских режимов. В качестве примера можно привести стихотворение одного из зачинателей экологической поэзии Г.М. Энценсбергера «Ко всем, кто пользуется телефоном»[4].

К глобальным проблемам, присущим современному миру в целом, обращены стихи-аллюзии Л. Харига. СССР предстает в них как часть мировой системы зла, где человеку отведено место жертвы и винтика («Песня о становлении человека человеком») в руках вильгельмов, гитлеров, брежневых, рейганов и пр., которые все ближе подводят мир к крайней черте с помощью «расщепленного ядра» и «ракет»[5]. Стихотворение написано в 1980-е гг., равно как и созвучная ему «Фило-

---

1 *Heißenbüttel H.* Die Zukunft des Sozialismus // Einigkeit und aus Ruinen. Eine deutsche Anthologie / H.L. Arnold. F.a.M., 1999. S. 111-112.

2 См.: *Piontek H.* Ich, Anton Pawlowitsch // Deutsche Gedichte seit 1960 / *H. Piontek*. Stuttgart, 1972. S. 35-36.

3 См.: *Steinherr L.* Ostrowskij im Gepäck // Fluganweisung. München, 1985. S. 101.

4 *Enzensberger H.M.* an alle fernsprechteilnehmer // landessprache. Frankfurt a. M. 1962. S. 28–29.

5 *Harig L.* Der Song vom Menschwerden des Menschen // Im Geschwirr der Espenblätter: Lieder und Balladen. Blieskastel, 2002. S. 55.

софия нейтронной бомбы» В. Хеллерера, где в один метонимический ряд (Диснейленд, Кремлевская стена, Голливуд, Эйфелева башня) как субъекты бездумной политики и потенциальные объекты ее же воздействия объединены СССР, Америка и Западная Европа[1].

В том же ключе следует понимать и «Балладу о дружелюбии» А. Райнфранка, обеспокоенного пагубными последствиями западной цивилизации не только для природы, но и для живущего в сложившейся экосистеме человека[2]. Речь в данном случае идет о разведке недр в Восточной Сибири. И хотя главным виновником выступает американский капитал, СССР, олицетворявший для поэта воплощение мечты о лучшем мироустройстве, все же предстает в роли пассивного попустителя, и таким образом несет ответственность за разрушение векового уклада жизни малых народов Севера, ведущее к их вымиранию.

Критика системы «реального социализма», ассоциировавшегося с СССР, была представлена, хотя и более завуалировано, и в творчестве поэтов из ГДР. Так, в стихотворении Ф. Брауна «О полете Гагарина», несмотря на принятие и одобрение успехов социалистического созидания в духе Бехера (индустриализация и коллективизация, строительный бум) отчетливо проступают негативные стороны подобного прогресса (загрязнение окружающей среды и пр.). Чувствуется усталость поэта от навязываемой индивиду системы ценностей, новой, но отнюдь не свободной от проблем. Поэтому и выход человека в космос представляется ему скорее не очередной победой социализма, а неким символом его преодоления[3]. С этим стихотворением перекликается написанное почти полвека спустя стихотворение «Первой собаке в космосе» молодого поэта Р. Винклера, творчество которого связано уже с воссоединной Германией. Винклер не разделяет иллюзий Брауна, открыто критикуя аморальность побед во имя идеи[4].

---

1 См.: *Höllerer W.* Philosophie der Neutronenbombe // Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 831.

2 См.: *Reinfrank A.* Ballade von der Freundlichkeit // Im Garten der Verrückten: Gedichte aus fünf Jahreszeiten. Frankfurt a. M., 1999. S. 62-63.

3 См.: *Braun V.* Von Gagarins Flug // Vorläufiges. Frankfurt a. M., 1966. S. 61-62.

4 См.: *Winkler R.* Dem ersten Hund im Weltall // Lyrik von Jetzt. 74 Stimmen. Köln, 2003. S. 302.

В ГДР постепенно формируется негативный стереотип «старшего брата», опека которого представляется нежелательной, прежде всего в связи с находившейся на территории страны группировкой советских войск. Тем не менее, в официальном литературном дискурсе преобладают мотивы дружбы с советским народом. Большой материал в этом отношении дает антология «Поэзия ГДР», вышедшая в 1983 г. в издательстве «Художественная литература». Подборка стихов (состав подготовлен Министерством культуры ГДР) несет на себе, по правилам тех времен, печать советской пропаганды. В создании образов советских людей участвуют поэты У. Бергер, Х. Калау, Р. Кирш. Нельзя не упомянуть и П. Хакса, автора стихотворения «Зонг об Октябре» («Oktober-Song»), который в свое время слыл хитом немецких комсомольцев[1], а также знаменитое «Я видел Ленина ...» («Ich sah Lenin...»)[2] М. Циммеринга. Прославление СССР, его политических вождей принял как эстафету из рук Бехера Ш. Хермлин. Тем не менее, даже у этих авторов явственно проступает негативное восприятие отрицательных сторон принимаемой ими в общем и целом советской действительности. Боязнь политического навета со времен Бехера, которого во время пребывания в СССР не покидало неуютное чувство незащищенности от сталинских репрессий («лежу, прислушиваясь к ветру, начеку, хотя и дверь, и окна наглухо закрыты»)[3], в условиях запрета на инакомыслие стала неотъемлемой частью психологического климата среди интеллигенции ГДР. Молчание у Р. Кирша – возможность выжить, чтобы, «когда придет время иметь возможность рассказать обо всем»[4].

Нельзя, тем не менее, сбрасывать со счетов и чисто человеческие (хотя и входившие в противоречие с советской системой) симпатии писателей послевоенного поколения (Л. Фюрнберг, Х. Мюллер, Й. Бобровский и др.) по отношению к СССР и его гражданам.

По другую сторону Берлинской стены приверженцев социализма в советском варианте, эксплицитно выражавших свои симпатии

---

[1] *Хакс П.* Зонг об Октябре. Пер. А. Голембы // Поэзия ГДР. М., 1983. С. 337.

[2] *Циммеринг М.* Я видел Ленина ... Пер. В. Левика // Указ. соч. С. 141.

[3] Цит. по: *Андреюшкина Т.Н.* Этапы развития немецкого сонета. М., 2006. С. 123.

[4] *Kirsch R.* Aufschub // Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 956.

в поэтической форме, было несравненно меньше. По крайней мере, в стихах известных поэтов (В. Леман, Г. Бенн, М.Л. Кашниц, Г. Айх, К. Кролов, Г.М. Энценсбергер, Х. Домин, Х. Пионтек, В. Бехлер, Г. Грасс, Н. Борн, К. Меккель), вошедших в свое время в советские антологии современной поэзии ФРГ[1], издатели смогли уловить лишь общегуманистическое начало, проявившее себя в неприятии ценностей современного капиталистического общества.

Разумеется, среди поэтов ФРГ левой ориентации также находилось немало последователей Бехера в оценке СССР, как наиболее приемлемой альтернативы для общественного устройства. В частности, можно назвать имена П. Рюмкорфа, Р. Гернхардта, Й. Рединга, А. Райнфранка, П. Шютта, П. Майвальда и др[2].

Симптоматично не лишенное симпатии, однако, с ощутимым оттенком снисходительного превосходства и лишенное личностной основы, а от того несколько поверхностное восприятие стереотипа о России как стране экзотической в популярных шлягерах («Москва», «Распутин» и др.) известных западногерманских групп «Чингисхан» и «Бони-М». Созданные ими образы «разухабистой» России резко контрастируют с символами, которые используются молодыми авторами постсоциалистической эпохи. Стоит хотя бы упомянуть растиражированные группой «Раммштайн» бренды «Распутин» и «казачок» из шлягера «Москва», созданного уже в эпоху Ельцина. Авторы-исполнители верно угадали «купи-продажный» дух новой постсоветской эпохи, запечатленный в образе (sic!) желанной продажной «девки» Москвы «с красными синяками на лбу и золотыми фиксами».

Гамбургский поэт М. Политицки, довольно часто, и нередко, как он признается, неосознанно обращающийся в своем творчестве к России (по-прежнему воспринимаемой в границах СССР), выводит эту сторону постсоветской действительности, в частности, в балладе «Гимн дикому востоку: мужская поездка». Показывая лежащие на поверхности темные стороны жизни в постсоветской России, автор намеренно играет на снижении привычного эпитета «красный», перенося его на новые символы. В частности, он служит в окружении синонимов-окказионализмов с определением «двестибаксовый»

---

[1] См.: Из современной поэзии ФРГ: Пер. с нем. / Сост. В. Вебер; Вступ. ст. Г. Раттауза. М., 1983; Из современной поэзии ФРГ / Сост. В. Вебер; Предисл. Е. Витковского. М., 1987.

[2] См. подр.: *Млечина И.В.* «Мир труда» и социалистические тенденции в литературе ФРГ // История литературы ФРГ. М., 1980. С. 626.

(Zweihundertdollarding / zungen / wesen / wunder)[1] недвусмысленным брендом гостиничных проституток.

«Перестроечный бум»

Как известно, с перестройкой и личностью Горбачева в Германии связывались большие надежды на обновление политической системы в СССР, а стало быть, и в ГДР. В 1988 г. В. Бирман пишет песню «Михаил Горбачев». По всей вероятности, последний из могикан в традиции придворных поэтов, славивших российских правителей, Бирман, в отличие от предшественников, не испытывает к великому мира сего должного подобострастия. Он берет на себя смелость от имени простого народа (текст написан на берлинском диалекте) беседовать с политиком мирового масштаба на «ты».

В стихотворении ясно различимы две тенденции: опасения и надежды, связанные с новой Россией. Очевидно, что автор настроен дружелюбно к стране, а происходящие в ней события вселяют надежду в традициях эпохи Просвещения и раннего Бехера. Определенная абстрактность и утопизм мечтаний сочетаются с желанием понять чужую страну, с неким экспрессионистским порывом, готовностью лично принять участие в процессе преобразований. Панегирик стилизован под русскую народную песню, но лишен в этом смысле иронии, привычной для пародий. Признанием в любви к стране звучит несвойственное современному немецкому языку уменьшительно-ласкательное «матушка» (Mütterchen)[2]. Однако Бирман, поэт XX в. и ученик Брехта, в качестве инструмента художественного освоения современной действительности все же использует прием тотальной модернистской пародии. Сакрализованная предшественниками фигура Ленина, сравниваемая с Белоснежкой, предстает у Бирмана, как в свое время религия и церковь у Бехера, символом отжившего, не соответствующего времени и олицетворяет уход эпохи, поверженной с пьедестала.

---

[1] *Polyticki M.* Hymne auf den wilden Osten. Ballade vom Herrenausflug // Ratschlag zum Verzehr der Seidenraupe. Hamburg, 2003. S. 32. Баллада была написана под впечатлением творческой поездки в Киев. Как указывает автор, для большинства его соотечественников Украина по-прежнему ассоциируется с «бывшим СССР». (Письмо автору данной работы от. 15.09.2007. – Личный архив автора данной работы. В дальнейшем – ЛАТК).

[2] *Biermann W.* Michail Gorbatschow // Alle Lieder. Köln, 1991. S. 403.

В отличие от упований Бехера на мессию Сталина, Бирман с некоторым опасением и недоверием относится к новому мессии, Горбачеву. Остается открытым вопрос: способен ли он ответить чаянием современного западного демократического мышления, куда поведет Россию?[1]

III. РОССИЯ ПОСЛЕ ГОРБАЧЕВА – СТАРЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЛИЧЬЕ

Особенности восприятия постсоветской России

В воссоединенной Германии по-прежнему нет единого «немецкого взгляда» на Россию и русских. Для большинства немецких граждан Россия – «ни враг, ни друг». Для многих, как, в частности, в свое время для П. Гейзе, – олицетворение непостижимой «русской души»[2]. «Это государство и его жители вот уже полтысячи лет остаются загадкой, как для иностранных наблюдателей, так и для самих себя», – констатирует журналистка К. Вайс, задаваясь вопросами: «Откуда проистекают их непреклонные поиски абсолютной правды? Их пристрастие к мистическому? Их жажда строгого властелина? Их склонность к страданию и эксцессам? Их метания между безграничным терпением и неожиданным, необузданным насилием? Их бедность среди природных богатств?»[3]

Главным в восприятии России, прежде всего у западных немцев, остается констатация того факта, что Россия – это государство неевропейского типа. Сохраняется убеждение в различии русской и западной ментальности. На карте немца Россия по-прежнему остается далекой страной на востоке[4]. Поэтому во всем наблюдается больше расхождений, чем точек соприкосновения. Так, одно из упоминав-

---

1 См. также: *Schneider M.* Op. cit. S. 123-125.

2 См., в частн.: *Demmer S.* Der Dichterfürst und die «russische Seele». Paul Heyse und das literarische Rußland // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (под общ. ред. Л. Копелева). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 546.

3 *Weiss C.* Wie Rußland wurde // Geoepoche. 2001. № 6. S. 173.

4 См.: *Seifert. K.* Die Konstruktion Rußlands in der deutschen Auslandsberichterstattung 1985–1995. Berlin, 2003. S. 225.

шихся выше стихотворений М. Политицки имеет недвусмысленное название «Гимн дикому востоку».

Приведенные тезисы подкрепляются результатами опроса, проведенного нами среди современных поэтов. На вопрос «что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «Россия»», авторы из ФРГ обычно в качестве главных сигнификантов русскости приводят такие, как «холод», «просторы», «зима», «меховая шапка», «водка», «экзотика», а также имена фигур, определявших и определяющих характер политического и культурного ландшафта нашей страны. В этом плане показателен сборник стихов геттингенского поэта Х. Хюкштедта «Снова весело» («Neue Heiterkeit», 2001), в котором мотив России хотя и звучит достаточно громко, но не несет на себе печати индивидуального обертона. Автор ограничивается перепевом известных ему артефактных созвучий: Булат Окуджава, водка, «Москвич», Лайка.

Весьма убедителен метафорический образ Р. Винклера, сравнивающего Россию с весами, которые «удерживает в равновесии Урал». На одной чаше – что-то важное, но маленькое, а именно – Европа (она же демократия); с другой – нечто расплывчатое – Азия как олицетворение олигархического оппортунизма; и не менее важное признание о том, что с запада «не видно, куда клонится страна»[1].

Одного из жителей Регенсбурга больше всего привлекли в Иркутске и на озере Байкал старые полуразрушенные деревянные дома[2]. То, что для местных жителей служит неприятной, но привычной деталью национального интерьера, в глазах иностранца, впервые сталкивающегося с подобным зрелищем, в соответствии с логикой очуждения необычного приобретает статус экзотики. Вопрос о том, как живется людям в подобных постройках, отодвигается на второй план.

Для молодого теолога и поэта М. Арндта Россия ассоциируется с полуостровом Крым, русскими танцами, красивой музыкой, великой художественной традицией (Толстой, Достоевский, Прокофьев, Шостакович, Большой театр, православные купола, Красная площадь), а также с Сибирью и Чернобылем.

Поэтесса из Ганновера Г. Каллезен полагает, что немцев, которые «многое подглядели у Америки, хотели бы жить в Италии, очаровать

[1] Письмо автору данной работы от 20.09.2006. – ЛАТК.

[2] П. от 20.10. 2005. – ЛАТК.

может лишь одна страна: Россия, именно в силу ее загадочности и инаковости»[1].

Ее мнение оспаривает также никогда не посещавший Россию кельнец С. Лафлер. Для него и, как он полагает, «для большинства немцев Россия – не самая привлекательная страна». Она представляется поэту «чем-то скучным: слишком холодное, далекое, безликое, депрессивное, слишком отсталое»[2]. Его земляк А. Вагнер строит свои представления о России по рассказу М. Горького «Бывшие люди», который он прочитал в 13 лет[3]. Главным впечатлением Д.М. Грефа от СССР, побывавшего в Москве и Ленинграде школьником, в конце 1970-х гг., стала «жутко холодная зима»[4].

В духе «очарованных» Советским Союзом П. Майвальд по-прежнему мечтает о воплощении социалистической мечты: «Я был в Крыму, в Артеке, образцовой детской республике. У вас я научился «миру», «хлебу» и, разумеется, много чему другому»[5].

Примечательно, что впечатления большинства опрошенных есть результат либо поверхностного личного знакомства со страной, либо опосредованных познаний. Но при этом желание написать что-нибудь о России мотивировано прежде всего необходимостью сначала увидеть все собственными глазами и лишь затем составить об этом собственное суждение.

Структурно-тематические особенности образа современной России

Для многих современных немецких писателей интерес к России обусловлен открывшимися в связи с падением железного занавеса новыми возможностями в познании чужого. В итоге весьма расширился тематический диапазон для создания образа новой России, а его структура стала более дифференцированной и разветвленной. В целом ее можно представить следующим образом. Понятие «Россия», выражаясь словами социолога А.Г. Здравомыслова, «включает в себя

1 П. от 14.05.2006. – ЛАТК.

2 П. от 17.03.2006. – ЛАТК.

3 П. от 25.05.2006. – ЛАТК.

4 П. от 17.05.2006. – ЛАТК

5 П. от 19.05.2006. – ЛАТК.

сложную совокупность образов, эмоций и определений»[1]. В данную систему входят географическое пространство как место сосредоточения русского этноса, государственное образование определенного типа, культурное пространство (литература, музыка, живопись, архитектура), вместилище определенных общественных отношений и нравственных ценностей, и, наконец, русские люди как совокупность индивидов, говорящих на русском языке, их быт, обычаи, привычки и русский характер. Отсюда по-прежнему проистекает по большей части неразличение, растворение в русском этносе всех проживающих на территории России народов.

Показательно в этом отношении признание М. Политицки, который, перенося личное восприятие России на всех соплеменников и, видимо, имея для этого достаточно оснований, говорит об общем принципе, формирующем взгляд человека с Запада на восточных соседей (прежде всего из прежнего социалистического блока): «У меня много стихотворений, которые топонимически могут быть отнесены к любой восточноевропейской стране. Так, название стихотворения «Омерзительная многоэтажка в Бреслау»[2] я заменил на одной творческой встрече, состоявшейся во время круиза по Черному морю, «Омерзительной одесской многоэтажкой» («Häßliches Mietshaus in Odessa»)[3].

Любопытно восприятие чужого глазами немцев в новых государственно-этнических образованиях, заявивших о себе после распада СССР. Народы, ранее проживавшие в составе российской, а затем и советской империи, представляются жертвами породившей их системы, неоперившимися птенцами, выпавшими из гнезда и не знающими, как жить без указки свыше[4].

В связи с большей открытостью постсоветского пространства – поскольку расширился круг лиц, носителей информации – усилился и разброс мнений по поводу происходящего в России, расширилась оценочная шкала жизни россиян. Так, свою лепту в создание образа России, прежде всего в плане ретроспективного осмысления советского прошлого, вносит и литература русской эмиграции (И. Бури-

---

1 *Здравомыслов А.Г.* Немцы о русских на пороге нового тысячелетия. М., 2003. С. 529.

2 *Politycki M.* Häßliches Mietshaus in Breslau // Konzepte. 2007. № 27. S. 47.

3 П. от 17.09.2007. – ЛАТК.

4 См., в частн.: *Heidenreich G.* Bischkek, Kirgistan. Im Mai 2001 // Im Augenlicht. Stuttgart; München. 2002. S. 23-25.

хин, Б. Хазанов, Б. Фальков, И. Померанцев, В. Барский, О. Денисова, Л. Копелев, В. Войнович, В. Зиновьев, В. Бачев и др.). Тематическое и жанровое своеобразие эмигрантской литературы (мемуары автобиографического характера о пребывании в лагерях, о депрессиях; криминальный роман, триллер, социологический роман) определяется ее проблематикой. Писатели обращаются главным образом к политическим и бытовым реалиям советской действительности, а также обыгрывают особенности эстетического канона в СССР (неприятие экспериментального искусства и пр.), подавая все это в критическом, подчас сатирическом ракурсе. Литература четвертой (экономической, этнической) волны мигрантов менее политизирована. Среди авторов много представителей массовой литературы (В. Свирский) и авангардистской поэзии (В. Сафранский, И. Ражковская). Основные темы произведений – жизнь в Германии (быт, проблемы вхождения в чужую культуру, иногда – подчеркнутое выдвижение на первый план мотива бездомности (М. Безродный)[1].

В целом внимание немцев к чужому культурному пространству обусловлено несколькими общими типологическими установками. А.Г. Здравомыслов выделяет в качестве одной из главных особенностей современного немецкого обывателя малую осведомленность о жизни в других странах. Прагматический взгляд все чаще усматривает в России часть мирового глобализированного пространства[2].

Так, Х. Пионтек в основу религиозно-нравственного цикла «Тоска по звездам» положил факт выхода в открытое космическое пространство советских космонавтов[3]. При этом важным оказывается значимость самого события, люди, благодаря которым оно стало возможным. Национальная принадлежность героев как таковая оказывается несущественной.

Интерес к чужому может быть вызван каким-либо привлекающим всеобщее внимание событием (Чернобыль, Чечня и пр.)[4].

---

[1] О литературе русскоязычных эмигрантов см. подр.: *Tichomirova E.* Literatur der russischen Emigrant/innen // Interkulturelle Literatur in Deutschland: ein Handbuch / C. Chiellino. Stuttgart, 2000. S. 166-183.

[2] См.: *Здравомыслов А.Г.* Указ. соч. С. 528.

[3] См.: *Piontek H.* Heimweh nach den Sternen // Neue Umlaufbahn. Würzburg, 1998. S. 113–117.

[4] Ср. стихотворения «Чернобыль» западногерманской поэтессы Х. Ташау (Taschau H. Tschernobyl? Tschernobyl 1990? // Der neue Conrady: Das große

Как отмечает А.Г. Здравомыслов, большую роль в восприятии немцами России играет опыт близких им людей и знакомых (участие в войне, плен и пр.)[1]. В постперестроечный период при абстрактном упоминании граждан России в сознании немцев, как правило, возникает образ мафиозного «нового русского». В образе русской женщины, наряду с привычным стереотипом хранительницы домашнего очага, начинает превалировать признак женщины-соблазнительницы, включающий в себя как позитивные (привлекательность), так и негативные (продажность) черты. В этой связи можно, в частности, привести стихотворение М. Политицки «Проклятье прилипалы», в котором не обходится без «Маш» и «Наташ», ставших непременными атрибутами амбивалентного русского женского начала[2].

Тематические приоритеты современных авторов

В связи с общим подъемом исторического сознания современных немецких поэтов привлекают точки пересечения судеб Германии и России (война, история взаимоотношений двух государств и т.д.).

Так, нельзя не заметить возросшего интереса немцев к германским корням в России. Об этом свидетельствуют, среди прочего, полные ностальгии стихи о Кенигсберге (Калининграде). О том, как историческая память продолжает жить в современном поколении немцев, напоминает стихотворение «квертц» М. Хюттеля. В «незабытом»[3] течении реки Преголя, на которой расположен город, поэт улавливает не только движение вперед, но и неизбывное желание остановиться и повернуть вспять.

Важным элементом в постижении русского культурного пространства служат этнические немцы из России, переселившиеся в разные годы на историческую родину. Писателей и поэтов, эмигрировавших в немецкоязычные страны, можно разделить на три поколения. Пред-

---

deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 1058) и «Утром твоя крыша ...» Ю. Ненцы (Nendza J. Am Morgen dein Dach // Op. cit. S. 1224).

[1] См.: *Здравомыслов А.Г.* Указ. соч. С. 529.

[2] *Polyticki M.* fluch des kl@mmer@ffen // Ratschlag zum Verzehr der Seidenraupe. Hamburg, 2003. S. 38.

[3] *Hüttel M.* qwertz // Diapason: антология современной немецкой и русской поэзии. М., 2005. С. 59.

ставители старшего поколения (П. Классен, В. Гердт, А. Бреттман, Р. Пфлуг, Н. Ваккер, Н. Пфеффер, Л. Франк, А. Крамер, А. Герман, Х. Арнгольд и др.) и поколения среднего (В. Хайнц, В. Мангольд, В. Вебер, Л. Раймер, В. Шнитке, А. Гисбрехт), как правило, отражают в своих произведениях неудавшуюся судьбу русских немцев в России. В этом смысле тематически они вписываются в литературу об «изгнанном народе», не обретшем новой родины. Молодые (А. Миллер, Д. Герман, О. Кельм, Й. Бер, В. Герман, Я. Завацки, О. Райкерт, И. Сафин и др.) идентифицируют себя больше уже с новой – старой родиной – Германией. Все они, тем не менее, интересны как проводники русской культуры. Будучи носителями русского языка, русские немцы в полном объеме сохранили верность русской версификационной традиции (метр, рифма, установка на декламацию и т.д.) и в этом смысле они воспринимаются немецкой аудиторией больше как представители иной культуры. Ярким примером в этом отношении может, в частности, служить молодой поэт из Дюссельдорфа А. Ницберг, не только пропагандирующий в Германии наследие «серебряного века» (переводы А. Ахматовой и др.), но и в собственных стихах демонстрирующий легко узнаваемый стиль русской классики.

Следует отметить, что Россия становится предметом изображения у русских немцев не только в художественных произведениях, но и в публицистических выступлениях, что значительно расширяет сферу воздействия на читателя. В качестве примера можно привести, в частности, эссе В. Вебера, написанные в 1990-е гг., где он делится своими наблюдениями о состоянии духовной жизни в России, анализирует старые и новые мифы о ней и т.д.[1]

В связи с общей тенденцией к усилению интереса немцев к своей истории и с попытками ее переосмыслить в немецкой литературе последних лет наблюдается всплеск интереса к темам, связанным с войной 1939–1945 гг. Немало поэтов, в том числе и молодых, рефлексируют по поводу прошлых событий, оценивая их с позиций сегодняшнего дня. Как правило, акцент ставится на признании вины, ошибочной стратегии немецких политиков, повлекшей напрасные жертвы как с той, так и с другой стороны. По сути, в подобных произведениях авторов больше занимает судьба собственной страны. Россия слу-

[1] См.: *Weber W.* Nach Osten – nach Westen; Schuld und Sühne // Tränen sind Linsen. Слезы-линзы. Лирика и эссе. Москва, 1992.

жит фоном для рефлексии и для выводов-обобщений философско-исторического, нравственного плана.

Так, поэт послевоенного поколения Ф. Ани принимает за точку отсчета мирового апокалипсиса (стихотворение «Восьмая труба») тот день, когда «Германия объявила войну России»[1].

Его ровесник Д.М. Греф в стихотворении «-мушки-», в основу которого положены события Сталинградской битвы, на первый план выдвигает антиномические отношения мира и войны: хрупкость птичьего гнезда в несущем смерть гнезде пулемета и бессмысленность человеческих жертв, в том числе и «фрицев», которым спустя тысячелетия уготована участь пополнить «углеводородные запасы»[2] планеты. В стихотворениях «Полевая почта» и «Разлом» того же автора звучат мотивы о трагедии вдов и сирот того поколения, знакомые по произведениям поэтов, лицом к лицу встретившихся с войной на чужой земле[3].

В целом же история немецкой нации XX в. получила новый веховой разделитель: до и после того, «как пришли русские»[4].

Не следует, однако, забывать, что до сих пор живы другие свидетели той войны (хотя их мало, но они есть), – националистически и милитаристски настроенные бывшие солдаты немецкого вермахта, которых, как об этом пишет в стихотворении «Старик» А. Куч, прошлое ничему не научило. Они остались верны старым идеям и после краха гитлеризма, и вовсе не склонны рассматривать нападение немцев на Советский Союз как преступление. Более того, они сожалеют, что война закончилась поражением Германии[5].

Особое внимание авторов привлекает драма так называемого «исхода» немцев из областей, которые по итогам Второй мировой войны отошли к другим государствам (Польша, Чехословакия, Румыния, СССР). Эта тема продолжают живо волновать не только непосред-

---

1 *Ani F.* Die achte Posaune // Politik und Poesie: Gedichte gegen Gewalt / A.G. Leitner. Weßling bei München, 2003. S. 56.

2 См.: *Gräf D.M.* -mücken- // Westrand. Frankfurt a. M., 2002. S. 16.

3 См.: *Gräf D.M.* Feldpost // Die deutsche Literatur seit 1945: Flatterzungen 1996–1999 / H.L. Arnold. München, 2000. S. 170;Gräf D.M. Bruch // Op. cit. Ibidem.

4 *Herburger G.* Faust der Kultur // Politik und Poesie: Gedichte gegen Gewalt / A.G. Leitner. Weßling bei München, 2003. S. 20.

5 См.: *Kutsch A.* Alter Mann // Aus einem deutschen Dorf und andere Gedichte. 1986, Köln. S. 76.

ственных жертв насильственного переселения, литераторов старшего поколения, но и молодых писателей. Показательно стихотворение Д. Грюнбайна «Европа после последнего дождя» с эпиграфом «Моей бабушке Доре В.». В нем послевоенная Европа предстает «каменным веком», проступившим «из ночи века двадцатого»[1]. И тем не менее, именно в 1945 г. сложились, как это видится Ф. Ходьяку, предпосылки для иного хода исторического развития. Страх перед возмездием обернулся изумлением: в дом пришел не мститель, а пусть «чужой», но все же «ангел», и «на голове у Христа оказалась красная звезда»[2].

Россия глазами бывших «младших братьев»

У многих поэтов старшего поколения из бывшей ГДР по-прежнему сильна ностальгия по социалистическому прошлому и дружбе с СССР, что, тем не менее, не мешает им трезво оценивать события тех лет (П. Хакс, Р. Кирш, Х. Калау, Л. Зайлер и др.).

С другой стороны, наблюдается ретроспективное отторжение системы, ассоциировавшейся с СССР, происходит раскрепощенный расчет с прошлым, ставший возможным после «падения стены». Наиболее выпукло эта проблематика представлена в творчестве В. Кирстена, В. Барча, К. Драверта, Д. Грюнбайна.

Так, культурно-этнонимические вкрапления (Гагарин, молочная кухня) в стихотворении выходца из ГДР Т. Кунста «И что делают те, кто без Гагарина и молочной кухни»[3] вовсе не означают, что его занимают реалии советской жизни. По признанию автора, это полемичный выпад в адрес другого выходца из ГДР, поэта Л. Зайлера, который своей ностальгией по прежним временам снискал большие симпатии литературных критиков[4].

Любопытно сравнить аксиологическое наполнение русского слова «матушка» в уже анализировавшейся «Песне о Горбачеве» В. Бирмана и в стихотворении В. Кирстена «Сентябрь у подножия Эттерсберга» (1991). Последнее начинается словами «ах, Россия, матушка, нет тебе

---

1 *Grünbein D.* Europa nach dem letzten Regen // Lyrik der neunziger Jahre / Th. Elm. Stuttgart, 2000. S. 65.

2 *Hodjak F.* März 45 // Die deutsche Literatur seit 1945: Flatterzungen 1996–1999 / H.L. Arnold. München, 2000. S. 158.

3 Kunst Th. was machen die, die ohne gagarin und milchdienst // was wäre ich am fenster ohne wale. Frankfurt. a.M., 2005. S. 98.

4 П. от 28.02.2008. – ЛАТК.

конца»[1]. Здесь также налицо стилистическая адаптация, намеренное использование русизма, что подтверждает и наличие во второй строке уменьшительного существительного «тучка» (Wölkchen). Обе лексемы призваны, по замыслу автора, восприниматься в контексте стихотворения, имеющего политическую окраску, именно как чужеродные этнонимические вкрапления. Автор сосредоточен на показе негативных сторон в укладе советской военной группировки, базировавшейся на территории ГДР (в частности беспощадная расправа с дезертирами)[2]. Если в стихотворении Бирмана «Песнь о Горбачеве» этноним «матушка» имеет положительное наполнение в духе русской народной традиции, то у Кирстена он служит выражением горького разочарования и даже осуждения.

Центральное место тема советского присутствия в ГДР занимает и в его стихотворении «Суровое место» (имеется ввиду та же гора Эттерсберг под Веймаром). Там мертвые узники Бухенвальда, бессильные против «тьмы тиранов, плодящихся подобно плевелам», взывают к живым, «все просчитывающим варварам»[3] (дезертирующие солдаты советской военной группировки – Т.К.).

Более снисходителен в суждениях и оценках В. Барч в стихотворении «Грибы для Прометея»[4]. Поводом для его написания послужил вывод советских войск из Германии. Поэт вырос в Эберсвальде недалеко от солдатских казарм, поэтому отчуждение и опустошение советскими войсками «по-сталкерски» немецких земель стало у Барча, как у Кирстена, Грюнбайна и многих других, одним из мотивов творчества[5]. Поэт обыгрывает известный миф о Прометее. Титан предстает развенчанным как солдат оккупационных войск, возвращающийся домой (намек на ассоциируемый с Россией Кавказ). Лирический герой в какой-то мере сочувствует ему, поскольку тот несет службу вдали от родины. Тем более, что служба эта нередко сопрягалась с трудностями совсем не военного характера: ребенком поэт наблюдал,

---

1 *Kirsten W.* September am Ettersberg // Jahrhundertwende: deutschsprachige Lyrik der Gegenwart / A. Kutsch. Weilerswist, 1995. S. 88.

2 См. также стихотворение Кирстена «Охота на кабанов»: Kesseltreiben // Erdlebenbilder. Zürich, 2004. S. 323.

3 *Kirsten W.* Rauher Ort. Ein Triptychon // Op. cit. S. 368–369.

4 *Bartsch W.* Pilzgericht für Prometheus // Das verlorene Alphabet / M. Braun, H. Thill. Heidelberg, 1998. S. 180–181.

5 См., в частн.: *Kirsten W.* Stiller Sonntag // Erdlebenbilder. Zürich, 2004. S. 324–325.

как советского солдата, подвешенного на турнике, награждали палками сослуживцы. Отсюда сопереживание автора «нынешним чудным русским матерям» в борьбе с дедовщиной (das Starschina-System)[1].

Проблему отчужденной земли, «зоны», в несколько иной плоскости рассматривает Л. Зайлер в стихотворении «форма и содержание»[2]. Оно звучит горьким упреком тем, кто в свое время разрушал экосистему восточной Тюрингии, – здесь с 1946 по 1989 гг. добывалась урановая руда для советской военной промышленности. Сдержанная тональность лишь усиливает трагизм ситуации, сопряженной с личными переживаниями: на совместном германо-советском предприятии «Висмут» работали близкие родственники поэта, получившие при этом изрядную долю облучения.

Наиболее ярко сочетание линий принятия и отторжения элементов советского устройства проявляется в творчестве В. Бирмана. В свое время он в поисках справедливой социальной альтернативы из Западной Германии бежал в ГДР, где получил большую известность и был впоследствии выдворен за несогласие с издержками социалистической политической системы.

Искренний интерес к русской культуре (что характерно для большинства авторов, вне зависимости от их оценки социальных и политических реалий) не помешал Бирману сохранить критический взгляд на советскую систему ценностей. Так, в частности в балладе «Паданцы», представляющей собой аллюзию на реальные события (расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г.), показана парадигматика антагонистических и антигуманных отношений «система versus жертва-гражданин». В ответ на законные требования советских шахтеров дать им «больше хлеба, молока, мяса, свободы», репрессивная машина сработала безотказно:

после залпа упали вниз
какие-то странные мягкие плоды
каким-то образом с ветвей на мостовую
подумаешь, тринадцать мальчишек:
хотелось сверху лучше рассмотреть
как сжали кулаки отцы во имя
маленького рая[3]

---

[1] П. от 13.05.2007. – ЛАТК.

[2] *Seiler L.* pech&blende // Das verlorene Alphabet / M. Braun, H. Thill. Heidelberg, 1998. S. 149.

[3] *Biermann W.* Ballade über russisches Fallobst // Alle Lieder. Köln, 1991.

Этот мотив всплывает позже в его сборнике «Рай на Земле», где поэт описывает свою первую после «изгнания» встречу с Берлином, уже в воссоединенной Германии. Подобно Харигу, поэт выстраивает в шеренгу виновников всех бед и напастей человечества:

Берлин Берлин Берлин Берлин
Гитлеровская потаскушка,
на праздник победы был поделен
новой фрайерской четверкой.
С русскими Ульбрихт явился к нам
Джугашвилевый немец
Саксонский квислинг муштровал народ
Самодержавной плеткой[1].

Национальное в данном случае преодолевается и обобщается в антитезе: народ-жертва – власть-палач. Мир делится на две части: свободную, демократическую, что остается в сфере утопии, в лучшем случае упования на будущее, и системно-режимную, где могут оказаться разные народы. В. Кирстен, в свою очередь, демонстрирует эту мысль, прослеживая судьбу поэтов разных национальностей (среди них – Н. Клюев, Б. Корнилов, М. Цветаева, О. Мандельштам, А. Ахматова), объединенных ключевым словом «в те годы»[2].

Лирический герой Т. Розенлехера, поэта из бывшей ГДР, не безизвестной доли скепсиса рисует психологию «верных ленинцев», строителей социализма на немецкой земле, в сердцах которых теплится надежда на обращение нации в истинную веру, пока «в Кремле горит свет»[3].

Беспощадно по своей разоблачительной силе стихотворение Д. Грюнбайна «Семь телеграмм: 23/10/89»[4], не оставляющее ни малейшей надежды на возвращение власти большевиков, виновных в убийстве царской семьи. Как обвинительный акт читается и следующая телеграмма «12/11/89», поводом к написанию которой послужило падение Берлинской стены: «Хайль, Сталин [...], оболванены массы»[5].

S. 433–434.

[1] *Biermann W.* Mein Kiez // Paradies uff Erden: ein Berliner Bilderbogen. Köln, 1999. S. 19.

[2] *Kirsten W.* Poetologie. Fragmente // Erdlebenbilder. Zürich, 2004. S. 274-275.

[3] Rosenlöcher Th. Die Giftfabrik // Die deutsche Literatur seit 1945: Flatterzungen 1996–1999 / H.L. Arnold. München, 2000. S. 21.

[4] *Grünbein D.* Sieben Telegramme: 23 /10/89 // Von der üblen Seite: Gedichte 1985-1991. Frankfurt a. M. 1994. S. 141.

[5] *Grünbein D.* Sieben Telegramme: 12/11/89 // Op. cit. S. 143.

Грюнбайн, хорошо осведомленный в истории СССР, мастерски выстраивает в постмодернистской цитатной колонне основные вехи (от возвращения Ленина из эмиграции в 1917 г. до «потепления», по его мнению, отношений с Западом в 1990-е гг.) на пути строительства «социализма» в Советском Союзе[1]. Скептически оценивая достижения человеческой цивилизации вообще, автор не делает исключения и для России. Поэт дает понять, что эксперимент «на борту испытательной станции»[2] не увенчался успехом, и об этом свидетельствуют «гигантского размера обломки на огромной заброшенной земле»[3].

Взгляд с Запада

Поэты из бывшей ФРГ также оценивают прошлое с двух противоположных позиций. С одной стороны, продолжается ретроспективное включение в современную проблематику стереотипных элементов периода холодной войны.

Так, в творчестве поэта старшего поколения Г. Кунерта, приобретая значение мотива, проводится мысль о том, что коммунистическая идеология отжила свой век, а эксперимент с построением коммунизма в отдельно взятой стране закончился нулевым результатом («Ленин жив», «Ностальгическому поэту»[4]).

Более сдержана реакция на соприкосновение с прошлым со стороны тех писателей, для которых реалии социалистической действительности не были частью личного опыта.

В стихотворении «Сталинская аллея, снова и снова» штуттгартский поэт Ф. Демут рефлектирует по поводу известных событий многолетней давности (подавление восстания в Берлине в июне 1953 г.), реконструируя их в поэтическом сознании уже как результат соприкосновения с призраком[5]. Автору довелось в 1990-е гг. жить на

---

1 См.: *Grünbein D.* Block und Komma // Op. cit. S. 138–139.

2 *Grünbein D.* Tag X // Op. cit. S. 137.

3 *Grünbein D.* Transsibirischer Ozymandias // Op. cit. S. 140.

4 *Kunert G.*. Lenin gegenwärtig // Fremd daheim: Gedichte. München, 1990. S. 82; An einen ostalgischen Dichter // Die deutsche Literatur seit 1945: Flatterzungen 1996–1999 / H.L. Arnold. München, 2000. S. 312.

5 *Demuth V.* Stalinallee, nach und nach // Bits and Bones. Weilerwist, 2001. S. 36–37. См. также: Демут Ф. Циррозная страна. Пер. с нем. Т. Кудрявцевой, А. Панова. М., 2007. С. 69.

улице, некогда носившей это имя, а позже переименованной в Карл-Маркс-Аллею. Проводя нить исторической памяти, он, по сути, сжимает временно́е пространство в сюрреалистическом образе, делая точкой отсчета нового времени не год падения Берлинской стены, а далекие 1950-е, когда, по его словам «была сметена великолепная возможность для строительства реального социализма». Сегодня эта самая широкая берлинская магистраль продолжает сохранять для поэта символический смысл как «место, пропитанное болью истории и горечью нереальности»[1], тогда как «время катится вспять в ту сторону света», где «восточнологическая связь покоится [...] в вонючем историческом месиве»[2].

Для многих поэтов нынешней Германии как, например, для А. Вайгони, символы прошлой советской эпохи – не более чем «подвижные метафоры»:

> лежащий на боку месяц
> пересмотр высеченного серпом и
> молотом очертаний исторической личности
> уже задвинутой в просветленную
> даль известного горизонта[3].

Скорее некоторой долей сочувствия, несмотря на открытое развенчивание ленинского культа, проникнуто стихотворение Р. Дуве «Продолжение жизни в иллюзиях». Оно обращено к тем, в ком все еще теплится надежда на возрождение идеалов, импортированных некогда из Швейцарии «авантюристом» Ульяновым[4].

Берлинский поэт Я. Вагнер, тем не менее, напоминает (стихотворение «Путешествие мертвого Ленина в Тюмень»), что еще не так давно власть кумиров, пусть уже мертвых, простиралась мрачной тенью над огромной страной, будущее которой так и не состоялось[5].

Г. Фалкнер, подводя в стихотворении «время / давление» итоги XX веку с его идеологией зла, насилия и страха не случайно выби-

---

1 П. от 15.03.2005. – ЛАТК.

2 *Demuth V.* Stalinallee, nach und nach // Bits and Bones. Weilerwist, 2001. S. 36.

3 *Weigoni A.* ML I–III // Dichterloh. München, 2000. S. 18.

4 См.: *Dove R.* Ideelles Weiterleben? // Politik und Poesie: Gedichte gegen Gewalt / A.G. Leitner. Weßling bei München, 2003. S. 49.

5 См.: *Wagner J.* des toten lenins reise nach tjumen // Probebohrung im Himmel. Berlin, 2001. S. 13–14.

рает в качестве одного из символов эпохи сказочного персонажа Кащея, известного ему по интерпретации Стравинского (балетная сюита «Жар-птица»)[1].

В стихотворении Б. Преквица «Репербан» («Reeperbahn»)[2] ключевые слова, ставшие символами судьбы России в XX в. (матросы, кадеты, рубль, Калинин, пурга) соединяются отнюдь не с лицеприятными этнополитическими топосами (доллар, крематорий, хайль, имплантант, бомба), за которыми проступают тени США, Германии, Европы. Современный мир в целом представляется поэту неким паноптикумом, хорошо вписывающимся в метафорику «красных фонарей», или «греховной мили» современного Гамбурга. Его экспонаты суть артефакты, связанные одним историческим «канатом» (основное значение слова – «канатный завод, крутильня», следы былого производства сохранились в Гамбурге).

С другой стороны, как уже указывалось, многие продолжатели Бехера по-прежнему видят в социализме спасение для западного мира. Примеры марксистко-ленинистской пропагандистской поэзии можно найти в леворадикальных изданиях «Брюкке», «Унзере цайт», «Юнге вельт» и др. Обличение негативных сторон современного капитализма связывается в них с сожалением по поводу рухнувшей мировой системы социализма и развала СССР как его оплота. Примечательно, что левыми взглядами все больше проникаются представители молодого поколения, литераторы 2000-х гг. Так, известный современный писатель и журналист Д. Дат открыто призывает молодых соотечественников следовать «делу Ленина»[3].

---

1 См.: *Falkner G.* zeit / druck // Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 1165.

2 *Preckwitz B.* Reeperbahn // Lyrik von Jetzt: 74 Stimmen. B. Kuhligk, J. Wagner. Köln, 2003. S. 199–200. Рипербан – улица в Гамбурге со множеством увеселительных заведений. Здесь же расположился самый большой и самый старый в Германии музей восковых фигур.

3 *Dath D.* Maschinenwinter. Wissen, Technik, Sozialismus. Eine Streitschrift. Frankfurt a.M., 2008. См. подр.: Riesselmann K. Ich versteh das alles nicht mehr: Dietmar Dath rezensiert fiktive Platten und nimmt Abschied von der Popkritik // Berliner Zeitung. 3.05.2008.

Особенности восприятия «чужого» в воссоединенной Германии

Противоречивость образа России в немецком коллективном сознании проявляется в том, что, с одной стороны, с ней по-прежнему связываются надежды как на полигон реализации демократических устремлений Запада, с другой – продолжает сохраняться стереотип России сильной и опасной для соседей именно в плане угрозы для европейских общечеловеческих ценностей. Эта тенденция набирает силу в связи с проводимой Кремлем линией на строительство «суверенной демократии». При таком положении Россию явно предпочитают видеть если не распластанной на панели, то скромно сидящей за печью мышкой и наблюдающей, как чужие жирные коты лакомятся сметаной. Россия начала XXI в. явно не вызывает симпатий Запада. Любопытным представляется тот факт, что в 1990-е гг. утрачивают значение идеологические стереотипы, связанные с холодной войной. Для характеристики постсоветской государственности все чаще используются стереотипы времен царизма (консервативное, автократичное, деспотичное правление). Народ по-прежнему влачит бесправное существование, он пассивен, терпелив, лишен инициативы и не постиг принципов демократии[1]. Как и прежде, ответственность за происходящее возлагается на систему и на обслуживающую ее власть. Народ же, как жертва обстоятельств, заслуживает либо восхищения, либо сочувствия, в зависимости от конкретного наполнения той или иной исторической ситуации (гостеприимство, сталинизм, репрессии и пр.)[2].

Так в стихотворении «Открытка О.М.» поэт Х. Джексон делится впечатлениями от встречи с «чужим», совершенно непохожим на реалии немецкой жизни. «Обшарпанные стены, бельевые веревки с обрывками славянской ткани» атрибутируются не лишенным участия взглядом не только как приметы «средневековья», где нет и «намека» на привычное западной душе «тепло эллинизма». Это и принадлежность прочно укоренившегося в историческом сознании немца стереотипа о «стране язычников», в которой по-прежнему «в почете печка» и «хрюкают свиньи». И не властно время над «батюшкой» в «теплой шубе»[3].

---

[1] См. подр.: *Seifert K.* Op. cit. S. 223.

[2] Ср.: *Thumann M.* Iwan Normalverbraucher // ZeitPunkte «Rußland am Abgrund». 1998. № 5. S. 74–79.

[3] *Jackson H.* Ansichtskarte an O.M. // Diapason: антология современной немецкой и русской поэзии. М., 2005. С. 68–69.

В. Кирстен, вслед за Бирманом продолжает развенчивать «палачей» советской системы, жертвы которых один за другим (в частности, речь идет о все новых свидетельствах массовых убийств в местах заключения репрессированных, в данном случае на одном из рудников) выходят из «подполья» (аллюзия на название романа Достоевского)[1].

Встреча с «чужим», однако, может вызвать любовь и преклонение. Так это происходит, например, с У. Дреснер. В стихотворении «Ты меня ночью» чувство сопереживания с трагической судьбой человека (в основе стихотворения лежит впечатление от фильма о доме-музее Б. Пастернака в Переделкино) переносится на окружающие предметы и реалии жизни (русский хлеб, пряник, березы, залатанная наволочка, заброшенный сад)[2].

Неизменным и непредвзятым остается интерес к русской культуре как к неотъемлемой части культуры мировой. Стихи посвящают любимым поэтам[3], композиторам[4], художникам, спортсменам[5], как дав-

---

1 См.: *Kirsten W.* Muschelkalk // Erdlebenbilder. Zürich, 2004. S. 322.

2 См.: *Draesner U.* du mich nachts // für die nacht geheuerte zejen. München, 2001. S. 15–18.

3 *Wilms J.* Fünftes doppeltes Akrostichon // Zirkular am Zeitsrastnd. 2001. №5. S. 5. Двойной акростих скрывает в себе имя А. С. Пушкина. Стихотворение построено на аллитерациях словоформ, призванных запечатлеть светлый образ поэта в индивидуальном прочтении автора стихотворения: preis – восхвал., perl – жемчужн., Li – светл., Spitz – острый, Sieb(en) – просеивать, семь, Heil – благо, здравие, Herz – сердце. Все созвучия состоят из светлых гласных переднего и среднего ряда (a, i, e) и сонорных, противопоставляемых находящимся в меньшинстве темным заднего ряда (o, u) и шипящим (sch); Fritz W.H. Mandelstam // Mit einer Feder aus den Flügeln des Ikarus. Frankfurt a.M., 1989. S. 179; Wolff K. In Pawlowsk // ex oriente luxus. Infinitives aus Russland: Gedichte. St. Ingbert. 2003. S. 27. Стихотворение, как и предыдущее, навеяно мыслями о Мандельштаме. Czechowski H. Dichter, altmodische Leute // Die deutsche Literatur seit 1945: Flatterzungen 1996–1999 / H.L. Arnold. München, 2000. S. 167. Стихотворение посвящено трагической судьбе А. Ахматовой; Kirsten W. Paustowski // Erdlebenbilder. Zürich, 2004. S. 42; Kirsten W. larissa tanzte barfuss in Gulistan // Op.cit. S.241–242. Стихотворение (написано в 1992 г. как воспоминание о концертной поездке бригады поэтов по Голодной степи в 1973 г.) посвящено ленинградской поэтессе Л. Таракановой.

4 *Arlt I.* Tschaikowski in Italien // Junge Welt. 1971. Точную дату выяснить не удалось. Оригинал предоставлен автору данной работы. – ЛАТК.

5 *Lafleur S.* altes foto von lew jaschin // neue heimat. Köln, 2004. S. 38; oleg

но умершим[1], так и современникам, часто знакомым автору того или иного стихотворения по личным контактам[2].

Не менее значимы для взгляда иностранца и своеобычные артефакты материальной культуры. Х. Хюкштедт назвал свой первый сборник стихов «Шаг матрешки» («Matrjoschkaschritt», 1995). Входящее в состав сборника одноименное стихотворение обыгрывает рефрен популярной в ГДР школьной песенки со словами «шагом матрешки» (immer im matrjoschkaschritt).

Р. Диттриха в свое время поразило убранство московского метро, больше похожего на «картинную галерею, или вестибюль отеля»[3]. Поэта не смущает то обстоятельство, что некоторые «посетители» больше напоминают обитателей ночлежки. Любопытна в этой связи реакция на соприкосновение с «музейной» красотой московской подземки другого немца, писателя Х. Леффеля. Присущий ему рационализм не позволил постичь того, как подобное расточительство возможно в ситуации, когда жители лишены необходимых благ, таких, как экологически чистая среда, бытовые удобства и пр.

М. Кирхгоф, как в свое время Бехер, любуется красными звездами Кремля[4]. Впрочем, в отличие от «очарованных СССР» он видит в них не символы прошлой эпохи. Для него это – не утратившие эстетической ценности и заслуживающие восхищения исторические артефакты. Стихотворение написано в 1991 г. под впечатлением визита на Красную площадь, в пору огульного сокрушения символов прежней эпохи и служит предостережением от необдуманных действий, вызванных эйфорией перемен.

Для многих немцев русское по-прежнему ассоциируется, прежде всего, с литературой, главным образом классической (Пушкин, Тургенев, Толстой, Чехов, Гоголь, Достоевский). Это не значит, что забыты имена более позднего периода, например, Белого, Бабеля, Булгакова, Шолохова, Паустовского, Казакова, Распутина и Рытхэу. Так, к поэ-

---

blochin // die welt auf dem fusz. Berlin, 2006. S. 43.

[1] *Bonné M.* Temerin // Lyrik von Jetzt: 74 Stimmen. Köln, 2003. S. 95–96.

[2] *Thümler W.* für Gennadij Ajgi // Diapason: антология современной немецкой и русской поэзии. М., 2005. С. 182–183; Göritz M. Für Wolodja in Moskau // Lyrik von Jetzt: 74 Stimmen. Köln, 2003. S. 47.

[3] *Dittrich R.* Moskauer Metro. Цит. по рукописи. – ЛАТК.

[4] *Kirchhoff M.* Moskauer Sterne. Цит. по рукописи. – ЛАТК.

тическому наследию Есенина в разные годы обращались более 60-ти переводчиков. Среди них – такие известные поэты, как П. Целан, А. Эндлер, Э. Эрб, П. Госсе, Р. Кирш, К. Миккель, Р. Пиетрас и др.

Современные писатели отдают предпочтение русскому «серебряному веку», авангарду, эпохе модерна как таковой с ее знаковыми именами: Хлебников, Ахматова, Цветаева, Мандельштам[1] и т.д. Их переводят и о них пишут диссертации.

Стоит лишь сказать, что художественный мир О. Пастиора обрел свои неповторимые очертания под воздействием поэзии Хлебникова, которого он в свое время перевел на немецкий язык. Подобный словесный винегрет, который получает у поэта экзотическое название «крымско-готского» языка, отражает, по его словам, собственную лингвистическую био- и гео-графию. На нем он пишет свой «западно-восточный диван»[2].

Творчески переработаны и переосмыслены элементы русского футуризма (в частности, «зауми») и русского киноавангарда в стихах Т. Клинга, рисующих постсоветский Санкт-Петербург («Петербургское вешание», «Русский дайджест»). В нем одномоментно сливается прошлое и настоящее, за которымы однако, в духе постмодернистской идеологии, не просматривается будущее[3].

Любопытно признание молодого поэта М. Арндта, никогда не бывавшего в России и не владеющего русским языком: «Я всегда очень много читал о России, следил по газетам, по крайней мере после того, как обнаружил русских символистов и акмеистов, за тем, что там происходит. Мне нравятся Блок, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Есенин, но также Хармс, Илья Эренбург, Достоевский. Меня восхищает в русской литературе интимность, которую она вызывает у меня как у читателя. Французские, английские и немецкие писатели зачастую сухи, дистанцированы от читателя и аналитичны. Но мне, пожалуй, не известно ни одного русского писателя, который соблюдал бы подобную дистанцию. Они близки мне, как хороший друг, а не

---

[1] Согласно опросам журнала «Гедихт» А. Ахматова и О. Мандельштам входят в число наиболее популярных в немецкоязычном регионе поэтов. См. подр.: Hitliste der Jahrhundertdichter: die wichtigsten Dichter des 20. Jahrhunderts // Das Gedicht. 1999. № 7. S. 98–102.

[2] П.от 20.06. 2004. – ЛАТК.

[3] См.: *Клинг Т.* Стихи. Перевод с немецкого и вступительная статья Ольги Денисовой-Барской. Предисловие Льва Рубинштейна // «Иностранная литература» 1996. № 9. С. 48–53.

просто приятный коллега, – это я порой ощущаю, когда читаю своих соотечественников»[1].

Следует отметить, что интерес к русской литературе не ослабевал даже в годы нацизма. Крупные и мелкие издательства продолжали издавать сериями русскую классику, а немецкие киностудии снимали фильмы по русским романам[2]. В послевоенные годы, как в ГДР, так и в ФРГ, Австрии и Швейцарии издавалось намного больше русских книг, чем соответственно немецкоязычных – в СССР. Количество изданий соотносились примерно как 1 к 20[3].

В период железного занавеса на Западе становились культовыми фигурами писатели, не совсем вписывавшиеся в систему ценностей эпохи социализма, такие как Евтушенко, Окуджава, Ахмадуллина, Бродский и др. Последним из «могикан» в этом ряду рассматривается А. Битов, роман которого «Пушкинский дом» был полностью переведен на немецкий язык[4].

Постсоветская литература России в лице ее модных писателей (В. Сорокин, В. Ерофеев. Л. Петрушевская и др.) все больше воспринимается как часть нивелированной мировой глобализованной культуры.

Так, список писателей-постмодернистов из России, рекомедованных для чтения студентам славистики Берлинского университета им. Гумбольдта (Айги, Цветков, Ерофеев, Кривулин, Лимонов, Некрасов, Пелевин, Пригов, Рубинштейн, Толстая и др. – всего 24 имени)[5], оказывается едва ли не длиннее перечня немецкоязычных представителей этого направления.

Изменился и подход литературоведов-славистов и литературных критиков к рецепции русской литературы. Резко снизилась зависимость восприятия современной русской литературы от политических моментов. Рецензии приобрели четко выраженный литературно-

---

1 П. от 29.03.2006. – ЛАТК.

2 См.: *Renner R.G.* Grundzüge und Voraussetzungen deutscher literarischer Rußlandbilder während des Dritten Reichs // Das Rußlandbild im Dritten Reich / H.-E. Volkmann. Köln, 1994. S. 387-419.

3 *Вебер В.* Что западный читатель ждет от русской литературы // Иностранная литература. 2005. №7. С. 244.

4 См. подр.: *Schnitzler M.* Ein umwerfender Hauch von Freiheit. Verbotenes Ereignis: Andrej Bitows grandioser Roman «Das Puschkinhaus» // Berliner Zeitung. 28.02.2008.

5 См. подр.: http://www.slawistik.hu-berlin.de/studium/studienbegleitendes_material/leseempfehlungen_lw_11.04.pdf (21.09.2008).

критический характер и обращены к самому произведению, к оценке его эстетических критериев. По большому счету, образ русской литературы, в котором все меньше внимания уделяется ее национальной специфике, подгоняется под западное клише, а «новые русские авторы в свою очередь стремятся ему соответствовать»[1]. Именно поэтому раскручиваются фигуры, не имеющие достаточного резонанса в самой России. Так, неизвестный широкому читателю Г. Айги получил в Германии премию Петрарки, а все без исключения произведения В. Сорокина переводятся на немецкий язык и выходят едва ли не раньше, чем у себя на родине.

Тем не менее, по наблюдениям живущего в Германии В. Вебера, неискушенные постмодернизмом простые немецкие читатели живут надеждой, что настоящая литература вернется с Востока, и что именно русские спасут литературу вообще. Среди книгочеев живет миф, что «для русских гибель литературы – это все равно, что утрата Бога. Они ведь без литературы – народ без лица, внеисторическая масса, ведь это самое великое, что они создали. Они обязательно скоро одумаются, ведь нельзя же рубить сук, на котором сидишь»[2].

Особенности поэтического восприятия России

Главная функция создаваемого образа России – показать «чужое» как особый микрокосмос, и через его призму способствовать постижению собственного мира. Именно это служит исходным посылом творческой интенции авторов. Говоря об особенностях художественного воплощения образа России в новейшей немецкой поэзии, следует прежде всего выделить ономапоэтику. Имя собственное не только называет персонаж, но главным образом создает хронотоп, ориентирующий читателя во времени и пространстве, в определенной социокультурной среде. Информативность имен собственных обусловлена набором используемых антропонимов, топонимов и др. Следует отметить, что знания о России в географическом плане носят весьма поверхностный характер и ограничиваются в основном уровнем общеизвестной макротопонимики. В качестве примера можно привести стихотворение П. Рюмкорфа «В былые времена, когда великих рек».

---

1 *Вебер В.* Что западный читатель ждет от русской литературы // Иностранная литература. 2005. №7. С. 245.

2 Там же. С. 249.

Называемые в ряду других (Миссури, Миссисипи, Эльба) реки Лена и Енисей выполняют не столько имагологическую функцию, сколько свидетельствуют об объеме географических познаний автора[1].

Выясняется также, что если культура России, прежде всего литература, воспринимается как неотъемлемая часть универсальной культуры, то русский фольклор, обычаи, верования и пр. до сих пор остаются для немецких писателей и поэтов по большей части terra incognita. В их произведениях почти отсутствуют этнонимы, экзотизмы, теонимы, которые и призваны придать образу России национальный колорит. В большей степени встречаются ктематонимы (названия предметов материальной и духовной культуры, ученые, писатели, названия произведений художественной литературы) и русизмы, передающие социальные, бытовые реалии, в том числе русские имена.

К сожалению, в качестве неологизмов немецкому языку чаще предлагаются слова, отражающие негативные стороны чужой реальности (водка, ГУЛАГ, глухомань и т.п.). Есть в немецкой поэзии курьезные примеры использования русской ненормативной лексики. В частности, поэт Э.Ю. Драйер полагает, что цитирует в своем сонете «П...а твоей матери»[2] исконно румынское слово[3], расширяя тем самым наши познания об ареале распространения этой лексической единицы, восходящей, если верить соответствующим источникам, к праиндоевропейскому корню pisd-eH2– вульва[4].

Как исключение из правил смотрятся природные, ландшафтные обозначения, которые помогают передать своеобразие пейзажного образа России (броды, «Ванька-мокрый»), мифопоэтический колорит (Илья-Муромец), душевную (духовную) атмосферу (тоска, умиление).

Художественно-текстовая нагрузка онимических вкраплений различна. Однако нельзя утверждать, что она отличается большим разнообразием выразительных функций. Содержательное наполнение

---

[1] См.: *Rühmkorf P.* Früher als wir die großen Ströme noch // Das verlorene Alphabet / M. Braun, H. Thill. Heidelberg, 1998. S. 118–119.

[2] *Dreyer E.J.* Pizda mă-ti // O zartes Blau des überm Stau. Hamburg-Ottensen, 2007. S. 102.

[3] Ibid. S. 151.

[4] См.: лит. pyzda, латв. pīzda, алб. pith. (Информация из: Список праиндоевропейских корней // http://ru.wikipedia.org/wiki).

имен собственных главным образом проявляет себя в художественных «портретах» России и ее жителей. Ономастическую доминату при этом составляет словообраз (Москва, Санкт-Петербург, Волга и пр.).

В качестве мотивации творчества образ России встречается довольно редко. Обращение к ней скорее носит спорадический характер и обусловлено пристрастиями и жизненным опытом автора. От степени его знакомства со страной, от эстетических и идеологических пристрастий зависит и мера объективности, достоверности или же наоборот, деформированности, – другими словами, аксиологические параметры образа, его индивидуальная специфика со всеми вытекающими наслоениями (желаемое, предполагаемое и пр.).

Целостный образ страны складывается из элементов, среди которых наряду с идеологическими и психологическими, превалируют ландшафтные характеристики. В отдельных произведениях преобладают предметные описательные образы-детали (пейзаж, портрет, интерьер).

Степень смысловой обобщенности образа во многом зависит от уже сложившихся стереотипов. Они, как правило, служат каркасом мифологического представления о чуждой национальному опыту культурной реальности.

В целом структура образа не может рассматриваться как гармоничная, поскольку деформация в отражении реальности заложена уже в угле зрения иного культурного контекста.

Другой причиной объективно складывающихся диспропорций служит взгляд извне, не позволяющий, в частности, в достаточной степени разглядеть такой сегмент русского культурного наследия, как живопись. Если древнерусское искусство (иконопись), искусство XX и XXI вв. находятся в поле зрения европейца, то мастера века XIX, в свое время, в том числе при жизни живописцев, широко представленные выставками полотен за рубежом (Крамской, Васнецов, Серов, Репин и др.)[1], фактически заново открываются в последнее время.

[1] *Belentschikow V.* Anstiftung zum Frieden – Wereschtschagin in Deutschland // Russen und Rußland aus deutscher Sicht (Hrsg. v. L. Kopelew). In 5 Bdn. Bd. 4. / M. Keller. München, 2000. S. 672–694. Raev A. Von «Halbbarbaren» und «Kosmopoliten» – Russische Kunstausstelungen im Deutschland der Jahrhundertwende und ihre Rezeption // Op. cit. S. 695-756; Dmitrieva-Einhorn M. Zwischen Futurismus und Bauhaus. Kunst der Revolution und Revolution in der Kunst // Deutschland und die russische Revolution / G.

IV. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. «С ВОСТОКА СВЕТ»: СИБИРСКИЙ МИФ Р. ХАРНЕРА-ХАНЕЛЯ И «СТРАНА ДРУЗЕЙ» КАРЛА ВОЛЬФА.

На сайте «Культурный портал России»[1], который знакомит пользователей Интернета с текущими событиями общественно-культурной жизни в нашей стране, размещена информация о более чем 300 изданиях 2003–2008 гг. О разновекторных пристрастиях современных немецких издателей позволяют судить переиздания и (или) новые издания произведений И. Тургенева, И. Гончарова, А. Чехова, В. Соловьева, В. Набокова, Б. Пастернака, А. Рыбакова, В. Катаева, Ю. Рытхэу, Н. Рубцова, Д. Хармса, И. Бродского, В. Гросмана, А. Солженицина, П. Дашковой, В. Сорокина, А. Проханова, В. Ерофеева, Л. Петрушевской, В. Пелевина, Л. Улицкой, В. Шаламова, Д. Донцовой, Б. Акунина и др.

Своеобразным итогом знакомства с тысячелетней историей русской литературы стало мультимедийное издание «Русская литература от Нестора до Маяковского»[2], подготовленное в 2003 г. берлинским издательством «Директмедиа». На более чем 60 000 экранных страницах представлены в оригинале произведения 75-ти русских писателей XI–XX вв. В их числе – Херасков, Ломоносов, Державин, Фонвизин, Баратынский, Батюшков, Грибоедов, Языков, Майков, Полонский, Рылеев, Козьма Прутков, Мамин-Сибиряк, Гаршин, Некрасов, Чернышевский, Блок, Брюсов, Саша Черный, Есенин, Гумилев, Надсон, Сологуб, Волошин, Фурманов и др.

Koenen, L. Kopelew. München, 1998. S. 733–759.

[1] http://www.kulturportal-russland.de

[2] Russische Literatur von Nestor bis Majakowski. CD. Berlin, 2003. Russische Literatur von Nestor bis Majakowski. CD. Berlin, 2003. О переводческой практике разных лет дают представление следующие справочные издания: Schweikert W. Die russische und die Literaturen der früheren Sowjetrepubliken in deutscher Übersetzung: eine Übersicht über deren Rezeption in deutscher Sprache. Flein bei Heilbronn. Bd. 1: 2003; Bd. 2: 2005; Kasack W. Russische Literatur des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache. München. Bd. 1: 1991; Bd. 2: 1990; Sowjetrussische Literatur in deutschen Übersetzungen: Prosa, Dramen, Lyrik. Literatur über Autoren und zur Sowjetrussischen Literatur. Ein Auswahlverzeichnis als Arbeitsmanuskript bearb. / Mitarb.: G. von Gottberg, P. Waßmann. Dortmund: Stadtbücherei, 1972; Eßmann H. Übersetzte Literatur in deutschsprachigen Anthologien. Anthologien mit russischen Dichtungen / unter Mitarb. von Ch. Hauschild. Stuttgart, 1998.

Среди русской переводной беллетристики и немецкой публицистической, исторической, культурологической, литературоведческой, искусствоведческой литературы художественные произведения о России, созданные немецкими писателями, занимают, если судить по цифре 15, весьма скромное место. Предметом поэтического вдохновения Россия предстает лишь у двух авторов. Это вышедшие отдельными изданиями поэмы Р. Харнера-Ханеля «Сибирская душа» («Sibirische Seele», 1994), «Ледяные облака» («Eiswolken», 2003) и тематический сборник стихов К. Вольфа «С Востока роскошь. Незавершенное из России» («ex oriente luxus. Infinitives aus Russland», 2003).

Произведения Харнера-Ханеля, посвященные Сибири, могут рассматриваться, как типичные примеры субъективного мифологического освоения чужого пространства.

В первой поэме речь идет о воспроизведении позитивной стереотипной мифологемы (мост, связующий в первородное единство бесконечное пространство Европы и Азии и людей разных культур). Совершая поэтический экскурс в историческое прошлое человечества, вплоть до ледникового периода, автор находит для своей метафоры оригинальное формальное решение. Поэма имитирует структуру знаменитой седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича. Ее тема – противостояние двух миров, мира созидания (человечности) и разрушения (варварства), получает в поэме развитие как в идее торжества добра и разума над силами зла, так и в мотиве терзающей душу поэта неискупленной немецкой вины, в страстном желании навсегда примирить людей доброй воли.

Тематически к этой поэме примыкает и написанное алкеевой строфой в жанре оды небольшое произведение с поэтическим названием «Сибирская душа». Примечательно, что это лирическое признание в любви чужой загадочной земле не основано на личных впечатлениях. Сибирь предстает перед читателем как заветная цель путешествия в Россию. Она a priori призвана служить вместилищем добра и любви, что ассоциируется с Шостаковичем и Скрябиным, Чайковским и Прокофьевым, Пушкиным и Есениным. Подобная оценка, изначально – лишь плод воображения поэта, – не изменилась спустя несколько лет при реальной встрече с сибирской землей. Более того, созданный фантазией художника образ, обретая черты реальности, как бы окутывает ее и не позволяет привнести в мифологему ни одного негативного элемента. Словно ведомый рукой свыше поэт не встречает на своем пути ни грязи, ни бедности, ни прочих примет послеперестроечно-

го времени. Не находит подтверждения и ставший расхожим стереотип о русском пьянстве: пагубная привычка оказывается более свойственна его соплеменникам, путешествующим по транссибирской магистрали. Не окунаясь в повседневную жизнь местного населения, поэт оказывается в привычной ситуации туриста-путешественника, сбежавшего от домашних неурядиц и наслаждающегося своей оторванностью от напоминающих о себе на каждом шагу проблем. Созерцание первозданной красоты на необъятных сибирских просторах, общение с гордыми и в то же время чрезвычайно скромными сибиряками, разительные после скоростей европейского автобана тишина и покой немало способствуют созданию мифов, подобных харнеровскому. По признанию автора, ощущение возвращения домой после долгих скитаний на чужбине – это, по сути, не более чем бегство из реального мира в мир иллюзий, эскапизм романтического свойства, позволяющий на время почувствовать себя индивидом, свободным от условностей собственного этнокультурного социума. Тем не менее, фантазии поэта не лишены здравого смысла, что позволяет сделать весьма важные выводы относительно природы постижения «чужого». Автору известны все негативные стереотипы, связанные с Сибирью (холод, место ссылки), и с особым пристрастием муссировавшиеся в эпоху холодной войны. В качестве примера следует привести ставшие в ФРГ культовыми книги А. Солженицына, благодаря которому в немецкий языковой обиход вошло слово «ГУЛАГ», и пользовавшиеся большой популярностью бульварные издания в частности, австрийца Х. Конзалика («Сибирский крест», «Сибирская рулетка» и др.) в духе колониального романа и вестерна. Однако в данном случае подобные клишированные представления теряют силу. Не потому, что Харнер склонен оспаривать лежащие в их основе факты, а в силу того, что он руководствуется иным подходом в оценке чужой культуры: «Сибирь откроется лишь тому, кто с открытым сердцем осмелится совершить путешествие в совершенно иную реальность, оставив дома все предрассудки западного человека»[1]. Эту иную реальность он постигал глазами Распутина и Рытхэу, Семенова и Арсеньева, Федосеева и Устиева, а также с помощью фотоальбомов, приобретенных на Франкфуртской книжной ярмарке, регулярно посещая стенды СССР.

[1] *Harner-Hanel R.* Vorwort // Sibirische Seele. Saarbrücken, 1994. Текст на обложке.

Книга К. Вольфа принадлежит к тому же типу позитивного отображения «чужого». Однако восприятие и оценочные суждения этого писателя сопряжены с личным опытом общения с иной этнокультурой. В этом смысле, несмотря на то, что Вольф вслед за Харнером пополняет список певцов (от Флеминга до Бехера) «очарованных» Россией, его взгляд намного реалистичнее. Вольф не склонен причислять себя и к тем идеалистам, кто верил и продолжает верить в великое предназначение России для новой цивилизации. Несмотря на обожание Достоевского, он – противник «русского мессианства», по его словам, «идеи сугубо реакционной»[1]. Россия для него, скорее, – равновеликая другим мировая культурная величина, которая, тем не менее, для него лично играет первую скрипку в «домашнем европейском концерте»[2]. В названии сборника («ex oriente luxus») обыгрывается знаменитое библейское изречение «ex oriente lux». «Der Luxus» по-немецки означает «роскошь». Считая ее своей привилегией, современный Запад мало озабочен привилегией Востока «дарить свет» («lux»). «Luxus» Вольфа – духовное богатство, которое дороже материальной роскоши. Именно этим богатством определяется истинная ценность чего бы то ни было.

В рецепции поэта – на это указывает уже подзаголовок сборника («Незавершенное из России») – не просматривается и желания выступить в роли судьи, выносящего приговор. Есть лишь четко выраженное позитивное отношение к стране, желание ее постичь и донести свои знания и чувства до читателя.

Позиция поэта предопределена особенностями и степенью его личного вхождения в мир иной этнокультуры. Выходец из Силезии (род. в 1943 г.), поэт не избежал участи вынужденного переселенца. Как ни странно, опыт жизни в объятиях «старшего брата» СССР («учиться у Советского Союза – значит учиться побеждать» – слоган партийных функционеров) в детстве и юности не оказал негативного воздействия на его восприятие советской действительности. Более того, в школьные годы он уже проявляет большой интерес к изучению русского языка. В 1961 г. поэт эмигрирует в ФРГ, где окончательно и формируется его отношение к нашей стране. Отторжение советской системы не помешало поэту сохранить объективный взгляд на предмет своего увлечения. Главную роль в этом сыграли факты био-

[1] П. от 30.12.2007. – ЛАТК.

[2] П. от 4.01.2008. – ЛАТК.

графии. Воспоминания родственников о последних месяцах войны, слепо веривших в Гитлера и тяжело переживших поражение немцев, побудили Вольфа внести свою лепту в восстановление добрых отношений с великим соседом. Немалое значение в рецепции России имело и последующее изучение славистики, к чему, по признанию поэта, его в первую очередь подтолкнули творчество и личность Достоевского. Интерес к русской истории и культуре, а также неподдельная симпатия к людям, с которыми ему довелось подружиться, определили характер его суждений по поводу России и русских людей. С 1988 г. К. Вольф, один из организаторов германо-российского общества в Мюнстере, ведет неустанную работу по пропаганде нашей культуры в этом городе: устраивает концерты российских артистов, выставки художников, переводит произведения наших соотечественников на немецкий язык. Уже в 1990-е гг. у Вольфа появилась еще одна причина интересоваться Россией:

Недавно я узнал:
Мой предок служил царю
в столице Санкт-Петербург[1].

Вольф не стал славянофилом в духе Флеминга или Рильке. «Слепому сентиментализму сказок о России у Рильке»[2] противопоставлена конструктивная рассудочность ученого-слависта Вольфа. Его любовь к чужой культуре – следствие целенаправленного и постепенного вхождения в иное этническое пространство. При таком подходе позиция стороннего наблюдателя, выхватывающего самые яркие впечатления, сменяется вдумчивой мыслительной работой аналитика. Немалую роль сыграл и тот факт, что поэту посчастливилось встретить в России настоящих друзей (художник А. Геннадиев, поэты и музыканты Е. Юданова, Б. Гребенщиков, О. Митяев, профессор Л. Александрова, переводчик В. Бондаренко и др.), которые и помогли ему ощутить себя в другой стране почти, «как дома». Поэтому, оставаясь в рамках собственной этнокультурной традиции, поэт уже не исходит целиком из ситуации сложившихся стереотипов, пытаясь занять по отношению к ним какую-то одностороннюю позицию. Он находит иной путь постижения чужого: через восприятие русского окруже-

[1] *Wolff K.* Ein Leben für den Zaren // Ex oriente luxus. Infinitives aus Russland: Gedichte. Mit Bildern von Andrej Gennadiew. St. Ingebrt, 2003. S. 34.

[2] П. от 30.12.2007. – ЛАТК.

ния он строит свой образ «далекой возлюбленной»[1], которую готов принять, не прививая ей собственных привычек и норм. В отличие от пылкой влюбленности Флеминга и Рильке, чувствами Вольфа больше руководит рассудочность немецкого менталитета. Но именно эта черта придает им в данном конкретном случае бóльшую весомость. Хорошо осведомленный в русской истории, обычаях русского народа, и сообразуясь в качестве базы для сравнения со сложившимися стереотипами, поэт вырабатывает собственный имагологический принцип отбора материала, стремясь представить цельный образ страны, в наименьшей степени подверженный издержкам стереотипного мышления, «не держа камень за пазухой» («Светозарное»). Такой подход позволяет Вольфу, не нарушая пропорций, соединить в едином судьбоносном диахронически развертывающемся пространстве (стихотворение «Неправославная страна»)[2], казалось бы, такие непохожие, порой антагонистические личности, как Святой Георгий, Андрей Рублев, Владимир Ленин, Осип Мандельштам и простая девушка по имени Лена.

Вольф не разрушает стереотипы как таковые, но, оперируя известными ему фактами, заставляет читателя задуматься о том, насколько они соответствуют реальности. В стихотворении «Александр Б.» любопытна демонстрация на примере одного образа (внук Сталина) оппозиции двух стереотипов «раб» и «страна Пушкина», в завершающей части эксплицитно разрушаемой в пользу последнего:

Русский – не раб.
Это знал уже Пушкин.
Что видно даже по его осанке[3].

Пушкин, несомненно, остается у Вольфа одной из стержневых мифологем в создании позитивного образа России. «Неопределенное» скрывает в себе обобщенный смысл, как следует из стихотворения с тем же названием. Обретение опоры в жизни приобретает для поэта завершение и полную определенность в афирмативном императиве: «читать Пушкина»[4].

---

1 Ode an die ferne Geliebte // Münster Zeitung. 05.06.2003.

2 *Wolff K.* Unorthodoxes Land // Ex oriente luxus. Infinitives aus Russland: Gedichte. Mit Bildern von Andrej Gennadiew. St. Ingebrt, 2003. S. 144-145.

3 *Wolff K.* Alexander B. // Op. cit. S. 65-66.

4 *Wolff K.* Infinitives // Op. cit. S. 148.

Позиция Вольфа по отношению к «чужому», это, вне всякого сомнения, взвешенная, непредвзятая оценка того, что тебе не принадлежит. Позиция, как нельзя кстати, определяемая пословицей «в чужой монастырь со своим уставом не ходи». По всей видимости, все это и позволило К. Вольфу создать первый, достаточно полный, и пока единственный в истории немецкой литературы поэтический образ нашей страны. В отдельно взятом сборнике стихов представлены все основные стереотипы о России и русских. Негативные: от водки («Русский алфавит») и издержек системы ГУЛАГа («В одном строю») до скинхэдов на фоне сталинских бюстов («Тоска по старым временам») и позитивные: березы, хлеб, соль, земля («Зеленый квадрат»).

В стихотворении «Русский алфавит», вместившем цвет многовековой русской культуры, читателя сбивает с толку парадоксальное сочленение каждого из перечисленных имен с самым известным и избитым стереомифом о русских – «водке»[1]. Куда ни глянь, везде она, родимая. Тянет алкогольным угаром от Жуковского и Вяземского до Сорокина и Улицкой. Среднестатистический немец не заподозрит подвоха. Русский человек возмутится. И лишь вдумчивый читатель задаст себе вопрос: в чем кроется провокация автора? «На самом деле, – признается поэт, – это очень грустное стихотворение, потому что большинство моих земляков имеет смутное представление об экзистенциальной и эстетической мощи русского искусства и литературы»[2].

Как правило, еще более скудны познания людей в разных странах (и Германия здесь не исключение) о нравах и обычаях других народов. Примечательна в этой связи коннотация привычно низкого для немецкого обывателя («водка») с традиционно почитаемым («хлеб») в стихотворении «Зеленый квадрат»[3]. Ему еще только предстоит осмыслить боль утраты, пережитую автором стихотворения у свежевырытого могильного холмика в России, на который по старинному поминальному обычаю рядом с хлебом ставят водку.

В книге прослеживается история страны (от средних веков до сегодняшнего дня) и ее культуры (от Ильи Муромца до В. Сорокина). В географической топонимике охвачена необъятность российских земель (от Санкт-Петербурга до Сибири). Разумеется, ни один из

---

1 См.: *Wolff K.* Russisches Alphabet // Op. cit. S. 137.

2 П. от 4.01.2008. – ЛАТК.

3 *Wolff K.* grünes quadrat // Ex oriente luxus. Infinitives aus Russland: Gedichte. Mit Bildern von Andrej Gennadiew. St. Ingebrt, 2003. S. 26.

аспектов не претендует на всеохватность, сравнимую, скажем, с пятитомным Вуппертальским проектом Л. Копелева «Русские глазами немцев». Вольф создает образ увиденного и прочувствованного. Отсюда «географическая», не без изъянов, но довольно впечатляющая своим размахом композиция книги: с запада – через сердце страны – на восток. Читатель фактически получает в руки путеводитель (два Новгорода, Москва, Рязань, Ока, Сызрань, Суздаль, Волга, Углич, Казань, Кострома, Самара, Волгоград, Урал, Тува, Чернобыль). Географический подход нужен автору, однако, не только и не столько затем, чтобы заворожить читателя неведомыми топонимами. Они – место встречи настоящего с историей. В книге нет хронологически выстроенного сюжета. Вольф делится с соплеменниками своими размышлениями, возникающими сегодня по поводу вечного. Это вечное предстает то в образе Александра Невского, то Осипа Мандельштама. Ленин оказывается в одном измерении с Д. Приговым: «Учиться у Ленина – учиться побеждать. Учиться у Пригова – учиться сочинять»[1]. А все известные личности, в алфавитном порядке выстроившиеся в стихотворении «Русский алфавит», сопрягаются с неизбывной проблемой – «водка». Ономастическая галерея, распределенная по разным русским весям и эпохам, впечатляет. В общей сложности в связи с теми или иными культурно-историческими событиями в сборнике упомянуто более 50-ти имен русских писателей, художников, композиторов, исторических и общественных деятелей. При этом все они оказываются равновеликими перед лицом той реки времени, которая сквозной темой проходит через все стихи.

Признание равновеликости России другим мировым цивилизациям – важная особенность восприятия Вольфа. Настоящим гимном неразрывному единству человечества звучит небольшое, но чрезвычайно емкое по содержанию стихотворение «Явапаи, Большой Каньон», в котором «мягкая меланхолия индейского бога, [...] разрывая границы времени, оборачивается «мягким прикосновением иконы на твоем лице»[2].

В этом ряду находится и стихотворение «Москва в августе», обыгрывающее известные события «переворота» 1991 г. в СССР[3]. Ассоциативное мышление автора, пропускающего через сердце конкрет-

[1] *Wolff K.* Lernen, Lernen, Lernen // Op. cit. S. 55.

[2] *Wolff K.* Yavapai, Grand Canyon // Op. cit. S. 127.

[3] См.: *Wolff K.* Moskau im August // Op. cit. S. 67.

ную ситуацию, соединяет в потоке реальных исторических имен и событий, литературных персонажей Гамлета и Офелию, Тракля, Бенна, Верлена, Рембо, Мандельштама и Данте, Французскую революцию и путч ГКЧП. Пауль Целан видится поэту в компании Блока, Есенина и Мандельштама.

Большое (необъятная Сибирь) видится на расстоянии, а маленькое («старуха из Сызрани») проявляется в большом. Сказочному Аладдину остается лишь протирать глаза от удивления при виде «чудо-страны России»[1], где можно быть татарином и призывать милость аллаха, не нарушая большого русского уклада жизни.

Другими словами, «чужое» для Вольфа – неотъемлемая составляющая единого, но богатого своим многообразием целого. За «мудростью и знанием» он предлагает отправиться на север, «ясность и озарение» живут на востоке, «доверие и любовь» – на юге, «преображение»[2] – основа устойчивости Запада. Эта универсальность мира – залог сохранения в нем самого человека.

Поэтому так огорчает поэта приобщение Москвы, вслед за Токио, Стокгольмом, Флоренцией и Пекином к мнимым ценностям цивилизации вроде пресловутого Макдональдса («Москва – хорошая страна»)[3]. Тем не менее, несмотря на то, что Европу называют «подсознанием США», а Россия оказывается «подсознанием Европы» (Б. Гройс), не все потеряно: есть еще Индия как «подсознание России» (В. Ерофеев). Однако, к счастью, или, к сожалению, индийский слон, как известно, «не смог найти бреши»[4] (М. Эрнст) в другой мир. Построенное на постмодернистской интертекстуальной игре сатирическое стихотворение «Коллективное бессознательное или индивидуальность как цитата» поднимает важную проблему национальной идентификации, в данном случае такой страны, как Россия. Актуальный спор современников и друзей Вольфа релятивирует вторжение в него сюрдадаиста М. Эрнста. Выхваченная из контекста того времени и смысла (стихотворение Эрнста обыгрывает так называемые критерии мужского достоинства) последняя цитата смотрится как на-

---

1 *Wolff K.* 30 Minuten Sysran // Op. cit. S. 72.

2 *Wolff K.* Das Rad // Op. cit. S. 128.

3 *Wolff K.* Moskau ist ein schönes Land, schmeißt die Gläser an die Wand Hit der Popgruppe Dschingis Khan // Op. cit. S. 72.

4 *Wolff K.* Das kollektive Unbewusste oder Individualität als Zitat // Op. cit. S. 139.

смешка над потугами сверху (неважно от кого это исходит, от системы, идеологии или интеллектуальных построений) иерархизировать нации. Мнение Вольфа, вычитываемое из цитатного коллажа, на этот счет однозначно другое: «лишь сам народ вправе определять свое место среди других ему подобных»[1].

Руководствуясь принципом комплементарности, немецкий поэт, может быть, в силу своей профессиональной деятельности (наведение мостов, создание условий для диалога культур) показывает пример практического претворения в жизнь важного принципа межкультурной коммуникации: взаимное уважение друг к другу невозможно без понимания неразрывной связи между народами, имеющими по сути, одни корни. В этом и состоит, пожалуй, высшая степень постижения «иного». Творчество К. Вольфа, служит в данном случае пусть не типичным, но в высшей степени показательным примером подобного освоения русского материала с помощью средств поэтического жанра.

V. ВЫВОДЫ

При рассмотрении главных тенденций в экспликации образа России и русскости в современном мире следует исходить из того, какие цели преследует тот или иной автор, какие типично русские черты выявляются через тот или иной образ, какую информацию в итоге получает о стране читатель.

В целом образ России и русских людей в коллективном сознании немецкого обывателя, как в частности, вытекает из содержания детского стихотворения Э. Шенкеля «Путешествие по России в стихах», не претерпел в диахроническом плане существенных изменений. Это стихотворение может служить своеобразным слепком совокупного представления о нашей стране.

Прибегая к средствам тотальной постмодернистской иронии и релятивируя все и вся, поэт сводит воедино известные стереотипы прошлого и настоящего. Тамбов связывается с волком, слово «водка» оказывается производным от «волк». Главная достопримечательность российских городов – белый кремль и мечеть, а на Урале, где должна быть, по слухам, граница Европы – царство феи Бажова. Сибирь – страна снегов и льда, а на Алтае люди живут в палатках. Москва

[1] П. от 30.12.2007. – ЛАТК.

по-прежнему блистает золотыми куполами и выколачивает деньги из иностранных туристов. Подводя итог своим впечатлениям, поэт признается, что ему не хватит жизни объехать всю необъятную и неизвестную Россию[1].

Если исходить из факта, что «экзотика начинается в восьмидесяти километрах от Берлина»[2], а точнее на границе с входящей ныне в Шенгенскую зону Польшей, то, несмотря на факт признания за Россией роли самого важного конституирующего звена за восточными пределами Германии, рассчитывать на скорое вхождение нашей страны в зону европейской ментальности не приходится.

Симптоматичным, как крайнее проявление расхожего клише, представляется образ, нарисованный одним современным поэтом, разумеется, никогда не бывавшим в России. Узнав о том, что его стихотворение будет опубликовано в читинском журнале, он с иронией, более похожей на сарказм (хотя в личном послании к автору данной работы это мыслилось шуткой) задается риторическим вопросом: как и на чем будет напечатан его опус. Автор обыгрывает сложившиеся представления о том, что в Сибири не может существовать никакой культуры, а есть только снег и лед, в котором, по всей вероятности, и выгравируют текст его произведения[3].

Остается надеяться, что в ближайшей перспективе в отношениях Запад – Восток не произойдет существенных сдвигов в сторону ухудшения складывавшейся веками имагологической картины. В ней по-прежнему доминируют принципы культурного этноцентризма, которые и определяют набор стереотипов, формирующих, в том числе и средствами поэзии, целостный образ нашей страны. В соответствии с разграничением «своего» и «чужого» элементы складывающегося имиджа чаще всего рассматриваются как не соответствующие собственным культурным стандартам и приобретают пейоративную оценочную окраску. Прежде всего, это относится к менее изученным, менее доступным для рецепции пластам чужой национальной жизни, таким, как народные обычаи и бытовая сфера, а также к реалиям общественно-политической системы и идеологии, нередко оказываю-

---

1 См.: *Schenkel E.* Eine Rußlandreise in Versen // Sprachzirkus: Texte für und gegen den Spaß. Moskau, 2004. S. 19–20.

2 *Mix A. Erpel, Helmuts, Mohair-Barette.* 130 aufschlussreiche Mini-Essays: Das «Alphabet der polnischen Wunder» // Berliner Zeitung online. 07.01.2008.

3 П. от 16.03.2008. – ЛАТК.

щим важное воздействие на собственный геополитический статус.

Собственно культура наименее восприимчива к навешиванию имагологических ярлыков отрицательного свойства и тем самым оказывается вне зоны формирующихся предрассудков. Более того, в соответствии с принципом комплементарности, она служит источником, из которого заимствуются элементы позитивно оцениваемого «чужого». Применительно к русской культуре это, в первую очередь, наследие прошлого. Современное русское искусство более служит стиранию национальных культурных граней в силу мощного воздействия на него постмодернистской идеологии глобализации и постепенно перестает быть маркером национальной идентичности.

Как бы там ни было, пока существует многополярность, будут сохраняться и различия в постижении друг друга. И хотя сентенция «что для русского хорошо, для немца – смерть» не всегда себя оправдывает, интерференция, наложение своего на чужое и наоборот не стирает разницы между Востоком и Западом, Обломовым и Штольцем. А чужой взгляд позволяет лучше узнать собственный мир, понять, где кроется истина.

ЛИТЕРАТУРА

А. Источники

1. Bartsch W. Geisterbahn: Gedichte 1978–2005. Dößel, 2005. S. 128

2. Biermann W. Liebespaare in politischer Landschaft: Gedichte und Lieder. Stuttgart, 2000. S. 168.

3. Claßen H. Freilandmuseum: neue Lyrik vom Lande: Russische Landschaften. Literatur und Kunst unserer Zeit / K. Malkow. 1. Aufl. Arnsberg: Asten-Verl., 1999. S. 111.

4. Cremer D. Im Morgenrot singst du das neue Lied: Gedichte zu Glasmalereien von Marc Chagall. Mainz, 1995. S. 95.

5. Dampfbetriebene Liebesanstalt: Gedichte des russischen Futurismus. Th. Kling, A. Nitzberg rezitieren. Düsseldorf, 1999. 1 CD.

6. Das verlorene Alphabet: deutschsprachige Lyrik der neunziger Jahre / M. Braun, H. Thill. Heidelberg, 1998. S. 256.

7. Der neue Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart / K.O. Conrady. Erw. und aktualisierte Neuausg., 2. Aufl. Düsseldorf [u.a.], 2000. S. 1037.

8. Deutsche Lyrik: 1961–2000 / G. Hay, S. Steinsdorff. München, 2001. S. 211.

9. Deutsche Lyrik: von den Anfängen bis zur Gegenwart. In 10 Bdn. Bd. 10 / W. Killy. München, 2001. S. 211.

10. Diapason: Антология современной немецкой и русской поэзии. Anthologie deutscher und russischer Gegenwartslyrik. M. 2005. S. 418.

11. Die deutsche Literatur seit 1945: Augenblicke des Glücks. 1990–1995. / H.L.Arnold. München, 1996. S. 435.

12. Die deutsche Literatur seit 1945: Flatterzungen 1996–1999 / H.L. Arnold. München, 2000. S. 402.

13. Die russische Lyrik als Offenbarung der russischen Seele / H. Mohr. Berlin, 2005. S. 66.

14. Harner-Hanel R. Eiswolken. Moos. Sieben Gedichte. St. Ingbert, 2003. S. 148.

15. Harner-Hanel R. Sibirische Seele. Saarbrücken, 1994. S. 47.

16. Hückstädt H. Neue Heiterkeit. Lüneburg , 2001. S. 47.

17. Hückstädt H. Matrjoschkaschritt: Gedichte. Bergen, 1995. S. 28.

18. Lagebesprechung: Junge deutsche Lyrik / K. Drawert. Frankfurt a. M., 2001. S. 189.

19. Lichtschatten: brandenburgisches Mosaik: deutsche und russische Lyrik und = Svetoten` / N. Gorbatyuk. 1. Aufl. Potsdam, 2005. S. 28.

20. Lyrik der neunziger Jahre / Th. Elm. Stuttgart, 2000. S. 218.

21. Lyrik von Jetzt: 74 Stimmen / B. Kuhligk, J. Wagner. Köln, 2003. S. 422.

22. Maiwald P. Balladen von Samstag auf Sonntag: Gedichte. Frankfurt a.M., 1991. S. 103.

23. Ohne Punkt & Komma: Lyrik in den 90er Jahren / Th. Breuer. Köln, 1999. S. 206.

24. Politik und Poesie: Gedichte gegen Gewalt / A.G. Leitner. Weßling bei München, 2003. S. 179.

25. Polityckі M. Ratschlag zum Verzehr der Seidenraupe. 66 Gedichte. Hamburg, 2003. S. 111.

26. Reding J. Asphaltgebete. Würzburg, 1999. S. 159.

27. Russische Lyrik im 20. Jahrhundert: vom Symbolismus bis zur Gegenwart / ausgew. und übertr. von K. Borowsky. Tübingen, 1991. S. 352.

28. Russische Lyrik: von den Anfängen bis zur Gegenwart / K. Borowsky. 5. erw. Aufl. Stuttgart, 1998. S.784.

29. Sternensalz – russische Lyrik: eine thematische Anthologie / U. Schmid. Orig.-Ausg. Frankfurt a. Main, 2003. S. 390.

30. Türspalt an der Kette: russische Lyrik des «Arion»-Kreises / aus dem Russ. von A. Nitzberg. 1. Aufl. Düsseldorf, 1998. S. 110.

31. Weber W. Nach Osten – nach Westen; Schuld und Sühne // Tränen sind Linsen. Слезы – линзы. Лирика и эссе. Москва, 1992. С. 326.

32. Wolff K. ex oriente luxus. Infinitives aus Russland: Gedichte. Mit Bildern von Andrej Gennadiew. St. Ingebrt, 2003. S. 168.

33. Zacken im Gemüt: Deutschsprachige Lyrik der 90er Jahre / A. Kutsch, Weilerswist, 1994. S. 224.

Б. Исследования

34. Здравомыслов А.Г. Немцы о русских на пороге нового тысячелетия. М., 2003. С.543.

35. Россия в культурном сознании Запада. XX Пуришевские чтения. Сборник статей и материалов. М., 2008. С.176.

36. Antonius J. Begegnungen in Orel: vom Kriege, dem Rußland-Trauma und der Versöhnung / Bonn; Berlin, 1991. S. 55.

37. Authentizität und Inszenierung von Bilderwelten / Th. Knieper. Köln, 2003. S. 216.

38. Blome A. Das deutsche Rußlandbild im frühen 18. Jahrhundert. Wiesbaden, 2000. S. 432.

39. Das Eigene und das Fremde: Literatur in der Interkulturalität; Tagung der Ev. Akademie Iserlohn vom 13. – 15. Januar 1995. Iserlohn, 1995. Bl. 128.

40. Das Fremde und das Eigene / R. Seebauer. Wien, 2005. S. 162.

41. Das nahe Fremde und das entfremdete Eigene im Dialog zwischen den Kulturen: Festschrift für Nabil Kassem / D. Gipser. Hamburg; Kairo, 1996. S. 574.

42. Das Rußlandbild der Deutschen – das Deutschlandbild der Russen: Dokumentation eines Lehrgangs in Moskau – Wolgograd – Saratow / Hessisches Institut für Lehrerfortbildung, Fachbereich Politische Bildung. Zsgest. von Peter Adamski. Fuldatal: HILF, Fachbereich Politische Bildung, 1995. S. 159.

43. Das Rußlandbild im dritten Reich / H.-E. Volkmann. 2. unveränderte Aufl. Köln u.a., 1994. S. 466.

44. Den Krieg gewonnen, den Frieden verloren? Rußland und der 50. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg / A. Grossman. Mannheim, 1995. S. 25.

45. Der neue Flirt: Russen und Deutsche auf dem Weg zu veränderten Beziehungen / K. Liedtke Hamburg, 1989. S. 286.

46. Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. In 2 Bdn. Bd. I. 1988 / D. Herrmann. München, 1989. S. 366.

47. Deutsch-russische Beziehungen // Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte. 1995. № 1. S. 291.

48. Deutsch-russische Sprach-, Literatur- und Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert / H. Jelitte, M. Sobieroj. Frankfurt a. M., 1996. S. 234.

49. Die russische Lyrik / B. Zelinsky. Unter Mitarb. von J. Herlth. Köln [u.a, 2002. S. 491.

50. Die Säuberung / R. Müller. Hamburg, 1991. S. 583.

51. Garstka Ch. Das Herrscherlob in Russland: Katharina II., Lenin und Stalin im russischen Gedicht; ein Beitrag zur Ästhetik und Rhetorik politischer Lyrik. Heidelberg, 2005. S. 580.

52. Groh D. Rußland und das Selbstverständnis Europas: ein Beitrag zur europäischen Geistesgeschichte. Neuwied a. Rh.; Berlin-Spandau, 1961. S. 366.

53. Grycz W. Verfolgt – verhaftet – vernichtet. Annweiler, 2006. S. 248.

54. Heim G. Deutschland Rußland: tausend Jahre einer seltsamen Freundschaft. Hamburg, 1990. S. 384.

55. Kopelew L. Worte wurden Brücken: Aufsätze, Vorträge, Gespräche 1980–1985. Hamburg, 1985. S. 252.

56. Landschaften der Erinnerung: Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht / E. Mehnert. Frankfurt a. M. u.a., 2001. S. 464.

57. Literarische Imagologie: Formen und Funktionen nationaler Stereotype in der Literatur. Bayreuth, 1980. S. 128.

58. Mohr H. Die russische Lyrik als Offenbarung der russischen Seele. 1. Aufl. Berlin, 2005. S. 66.

59. Naumann H. Rußland in Rilkes Werk. Rheinfelden, 1993. S. 256.

60. Neumann I. B. The Uses of the Other. «The East» in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 248

61. Pike D. Deutsche Schriftsteller im sowjetischen Exil. 1933-1945. Frankfurt a. M., 1992. S. 586.

62. Russen und Rußland aus deutscher Sicht / L. Kopelev. In 5 Bdn. München, 1985–2000.

63. Rußland und die Deutschen – Nachbarn in Europa / O. Bogomolow, H. Vogel. Baden-Baden, 1992. S. 238.

64. Scheidegger G. Perverses Abendland – barbarisches Russland: Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse. Zürich, 1993. S. 327.

65. Schlögel K. Berlin Ostbahnhof Europas: Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. Berlin, 1998. S. 366.

66. Schneider M. Zaren und Kosaken, Kuppeln und Ikonen oder: «... daß deiner Wolgen Schall auch hören soll mein Rhein» – Facetten des Rußlandbildes in der deutschen Lyrik // Lyrische Labyrinthe. Sechs Themen und Motive / K. Lindemann. Paderborn. 1995. S. 101-125.

67. Schweikert W. Die russische und die Literaturen der früheren Sowjetrepubliken in deutscher Übersetzung: eine Übersicht über deren Rezeption in deutscher Sprache. In 2 Bdn. Flein bei Heilbronn, 2003–2005.

68. Sie waren nicht nur Gegner: Deutsche & Russen in zwei Jahrhunderten / G. Duda, O. Rose. Erlangen u.a., 1990. S. 153.

69. Stent A. Rivalen des Jahrhunderts: Deutschland und Rußland im neuen Europa. Berlin, 2000. S. 487.

70. Tausend Jahre Nachbarschaft: Rußland und die Deutschen / A. Eisfeld, M. Hellmann. München, 1989. S. 368.

71. Übersetzte Literatur in deutschsprachigen Anthologien: eine Bibliographie. Teilbd. 2. Anthologien mit russischen Dichtungen / U. Jekutsch. Stuttgart, 1997. S. 185.

72. Verpaßt eure Chance nicht: Aspekte der deutsch-russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert / H.A. Jacobsen, B. Orlow. Mainz, 1992. S. 189.

А.А. Панов

ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРОЗЕ

Тема данной статьи – характерные черты образа России в современной прозе Германии. Рассматриваемый период охватывает последние двадцать лет российской истории: от перестройки до настоящего времени. Со времен важнейших геополитических изменений – объединения Германии и распада Советского Союза – прошло еще недостаточно много времени, чтобы изменения отношения немцев к новой России были бы в полной мере зафиксированы в художественных произведениях, поэтому для полноты картины к анализу привлечены жанры, быстрее реагирующие на изменения внешнего мира: эссеистика, воспоминания, путевые заметки.

В послевоенные годы отношения между Россией и Германией определялись условиями «холодной войны» – отношение к России зависело от политических воззрений авторов. Поэтому здесь следует разделить образ СССР в литературе ФРГ, от которого можно отталкиваться при анализе современного положения дел в данном вопросе, и скорее официозно-положительный образ в литературе ГДР: например, в произведениях Й.Р. Бехера, Анны Зегерс, Вольфганга Леонхард, книга которого «Революция отвергает своих детей» («Die Revolution entläßt ihre Kinder», 1954) может считаться примером художественной разработки коммунистической действительности. В 1992 году вышло ее продолжение «Поиск следов» («Spurensuche»), где автор посещает те места в СССР и ГДР, которые он описал в первой книге, общается с людьми, которые тогда были его друзьями. Теперь же, 40 лет спустя, он находит многих из них в растерянности: после многолетней партийной деятельности они в пожилом возрасте оказались в чуждом им

мире, не могут понять ни своего прошлого, ни изменившейся современной ситуации. Автор пытается понять, как из когда-то молодых и активных революционеров получились партийные функционеры и диктаторы.

В Западной Германии XX века бытует два взаимоисключающих образа России: это, с одной стороны, дикая, нецивилизованная страна с суровым климатом, к тому же отягощенная коммунизмом, постоянная угроза, страшная опасность, надвигающаяся с востока. Наиболее яркие примеры такого подхода – многочисленные произведения Хайнца Конзалика, принадлежащие развлекательной литературе («Врач из Сталинграда», «Наташа», «Казацкая любовь», «Их было десять»). Многие из его книг посвящены Второй мировой войне, в них он пытается романтизировать «подвиги» немецкой армии. К примеру, в детективе «Их было десять» (Sie waren Zehn) он описывает попытку покушения на Сталина в 1944 году: десять немецких офицеров родом из Прибалтики были специально с этой целью заброшены в советский тыл. По сюжету некоторые из них с легкостью устроились на работу в Кремль, и им даже удалось совершить задуманное – однажды машина Сталина взрывается от немецкой мины, при этом по всем законам жанра погибает и один из «героев», но оказывается, что ему удалось уничтожить лишь двойника Сталина. Все романы Конзалика, написанные на русскую тематику, наполнены разнообразной «развесистой клюквой» – коктейлем из ложных стереотипов и «реалий», не имеющих ничего общего с действительностью (например, такие отчества персонажей, как «Петронович», «Владимиронович», населенный пункт «Новый Карпырдак» и др.)

С другой же стороны, многие серьезные писатели видят в России страну, в культурном отношении превосходящую многие другие народы: вряд ли можно найти более-менее крупного немецкого автора, который не признавался бы, что на его творчество повлияли произведения Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова (см., например, сборник Wir und Dostoevskij. Eine Debatte mit Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Andre Malraux, Hans Erich Nossack, geführt von Manes Sperber. Hamburg 1972).

Вторая половина двадцатого столетия прошла для Германии под знаком преодоления своего прошлого – эпохи нацизма. Тема вины и ответственности за исторические преступления и разрушения Второй мировой войны играет важную роль в литературе Германии и до сих пор поднимается немецкими писателями – сегодня это уже дети

и внуки тех, кто участвовал в войне. Так или иначе тема войны, прошлого, от которого невозможно просто отмахнуться и забыть, связана с вопросом об отношении к СССР и России и часто встречается в немецкой прозе. Среди публикаций последних лет здесь можно назвать повесть нобелевского лауреата Гюнтера Грасса «Траектория краба» (Im Krebsgang, 2002) о затоплении немецкого судна «Вильгельм Густлофф» советской подводной лодкой С-13.

Главный герой книги, журналист, от лица которого ведется рассказ, родился в день потопления «Вильгельма Густлоффа». Многие немцы, напуганные информацией о зверствах советских войск, наступавших в Восточной Пруссии («по всем кинотеатрам Рейха прошел киножурнал, в котором показывалось, скольких женщин изнасиловали, а потом убили или пригвоздили к воротам сараев русские солдаты. «Тридцатьчетверки» нагоняли беженцев, давили их гусеницами». Прошел слух, что писатель Илья Эренбург выступил с обращением ко всем русским солдатам, «призвав их убивать, насиловать, грабить, мстить фашистскому зверю за опустошенную родину, за Мать-Россию»), превратились в беженцев и пытались спастись, используя для этого любую возможность: «в те дни, когда Неммерсдорф стал олицетворением всех ужасов, привычное презрение к русским сменилось страхом. Газетные статьи, радиопередачи и кинохроника, в которых говорилось о том, что произошло в отбитом населенном пункте, обернулись массовыми потоками беженцев, что привело в середине января, когда началось крупномасштабное советское наступление, к панике среди населения. <...> Сотни тысяч людей попытались спастись от надвигающейся беды морским путем. Сотни тысяч людей (по некоторым данным, на Запад сумели добраться более двух миллионов беженцев) осаждали толпами военные, пассажирские и торговые суда; такая же участь выпала и «Вильгельму Густлоффу», который уже годами стоял на причале Оксхефт в Готенхафене». Беременная мать рассказчика находилась среди тысяч беженцев, спасавшихся на этом корабле. Женщина была одной из немногих, кому удалось спастись с потопленного судна. Когда корабль был атакован подводной лодкой, у нее начались роды.

30 января 1945 года подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско потопила «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилось около десяти тысяч человек. Причем военных там было всего около тысячи резервистов-подводников и трехсот военнообязанных девушек, остальные девять тысяч пассажиров были

беженцами. Только детей было более четырех тысяч, большинство из которых погибло или на корабле, или в ледяной воде. Спасти удалось немногих, но достоверно известно, что одна из спасенных родила сына ровно через два часа после гибели корабля. С этого факта начинается повесть Грасса, посвященная исключительно важной теме: попытке поменять местами жертв и палачей Второй мировой войны.

Грасс показывает, что история Второй мировой ни в коем случае не ушла в прошлое, для многих современных немцев «русские остаются Иванами, а три торпеды – орудием убийства». Также как для боцмана подводной лодки, пустившего эти торпеды, «безымянный потопленный корабль был до отказа забит фашистами, напавшими на его родину и оставлявшими за собою при отступлении выжженную землю». Лишь гораздо позднее он узнал, что «после торпедной атаки погибли более четырех тысяч детей, которые утонули, замерзли или были увлечены водоворотом от пошедшего на дно судна. Эти дети еще долгое время снились боцману в ночных кошмарах». Отдельную линию повествования составляют детальные описания биографий капитанов кораблей. Причем биография советского подводника представлена едким слогом: «А что поделывал капитан Маринеско, когда в Польшу вошли сначала немецкие войска, а затем – согласно гитлеровско-сталинскому пакту – русские? Он все еще оставался командиром двухсотпятидесятитонной подлодки М-96 и, так как приказа о военных операциях еще не поступало, продолжал отрабатывать со своим экипажем численностью в восемнадцать человек срочные погружения в восточных районах Балтийского моря. Во время увольнений он по-прежнему закладывал за воротник, за ним числилось несколько приключений с женщинами, однако до служебных расследований дело не доходило, а потому он, вероятно, мечтал получить под свое командование нечто более внушительное, нежели ПЛ, вооруженную всего двумя торпедами».

Другой важный роман этого ряда – «Например, мой брат» (Am Beispiel meines Bruders, 2003) Уве Тимма: автор рассказывает историю своей семьи, центральными событиями которой для него стали решение старшего брата пойти добровольцем в части СС и его смерть в 1943 году на Украине. Одним из основных вопросов романа становится отношение немцев к другим нациям, не в последнюю очередь к русским: в письмах брата с фронта отчетливо слышна нацистская пропаганда, насаждавшая образ врага, не заслуживающего права на жизнь, и вызывавшая в солдатах и простых людях страх перед этим

далеким и диким варварским народом («Если эти русские когда-нибудь придут, я повешусь, – сказала фрау Шмидт») и происходящее из этого страха стремление к уничтожению (из письма брата отцу с фронта: «Если бы только Россия скоро была разбита»). Русских постоянно называют Iwan: например, слова из дневника брата: «В 75-ти метрах Иван курит сигареты, мясо для моего пулемета». Вот как автор рассуждает по поводу этой цитаты: «Мясо для моего пулемета: русский солдат, наверное, его возраста. Молодой человек, который вот только что закурил – первая затяжка, выдох, это наслаждение дымом, исходящим от зажженной сигареты, перед следующей затяжкой. О чем он думал? О смене, которая скоро должна была закончиться? О чае, кусочке хлеба, подружке, матери, отце? Рассеивающееся облачко дыма в этой пропитанной влажностью местности, остатки снега, талая вода собралась в окопе, нежная зелень пастбищ. О чем же он мог думать, этот русский Иван, в этот момент? Мясо для моего пулемета». Рассказчик теперь видит в русском человека, похожего на него самого, что, видимо, казалось его брату невозможным.

Одним из важнейших в романе является вопрос вины и связанный с ним вопрос – почему Карл-Хайнц пошел добровольцем в СС. Мать, которая была против этого шага сына, так отвечает на него: «Из идеализма. Он не хотел уступать, уклоняться». То есть, брат рассказчика полностью был во власти нацистской пропаганды и последовал ее призывам. Проблема вины оказывается многообразной: одним из ее аспектов является вопрос, кто из виновных виновнее – СС или СД, и вроде как брат оказывается в стороне от основных преступлений, от концлагерей, но тут в тоне романа звучит некоторая неуверенность, родителей Карл-Хайнца и рассказчика, конечно, занимает вопрос, что бы было, если бы его перевели в охрану концлагерей.

Рассказчика несколько удивляет тот факт, что среди фотографий брата нет снимков жертв – только разрушенные города (например, Харьков, во взятии которого брат участвовал в 1943 году), и вообще нет упоминаний о встречах с местным населением – голодающими, бездомными, замерзающими, убитыми. Возможно, брату казалось это горе вполне обычным, то есть гуманным.

В качестве примера нацистской пропаганды в романе приводятся цитаты из речей и приказов командования. Вот что, например, Гиммлер говорит о русских в обращении к войскам СС 13.06.1941: «Это борьба мировоззрений и битва рас. В этой борьбе на нашей стороне стоит национал-социализм, мировоззрение, построенное на цен-

ности нашей германской, нордической крови, стоит мир, каким мы его себе представляем: красивый, приличный, социально справедливый, хотя в частностях еще не свободный от некоторых ошибок, но в целом радостный, красивый, наполненный культурой мир, такой, как наша Германия. Противостоит ему 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена невозможно выговорить и чье лицо такое, что его можно расстрелять без пощады и сострадания». А вот слова из приказа генерала фон Манштейна: «Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда. Больше никогда она не должна вторгнуться в наше европейское жизненное пространство». Приказ генерал-фельдмаршала фон Райхенау от 10.10.1941: «Солдат на востоке – это не просто воин по правилам военного искусства, но и носитель неумолимой народной идеи и мститель за все зверства, нанесенные немецкой или аналогичным народностям. Поэтому солдат должен полностью осознавать необходимость сурового, но справедливого наказания еврейских недочеловеков (Untermenschen)».

Такое мнение настолько укоренилось в сознании обывателей, что мать пишет Карл-Хайнцу о его брате, маленьком Уве, что он «хочет перестрелять всех русских». Мнение рассказчика: «Как трехлетнему ребенку может прийти в голову желание перестрелять всех русских? И это было сказано, как само собой разумеющееся». Отец их мог перед войной эмигрировать в Америку и не сделал этого не только потому что не любил ее, но и потому что Германия была для него «именно той страной, наполненной историей, которой он принадлежал, которой он был проникнут, которой он гордился». Для него Томас Манн и Марлен Дитрих были предателями.

Для брата враг совершенно не связывается с человеком: он не сопоставляет разрушение домов на Украине (они разбирают печи, чтобы укрепить дорогу) с бомбардировками Гамбурга. Для него бомбы англичан, вся их война – негуманны, это убийство женщин и детей, а то, что он сам каждый день видит и делает – это повседневность и даже не стоит упоминания. Автор рассматривает такой взгляд брата на войну как «нормальный», потому что были и другие – те, кто пытался оправдать свои действия словами, что русские и евреи – низшие люди, паразиты, их жизнь грязная, опустившаяся, как животные – их убийство становится гигиеническим мероприятием.

Войну подсознательно рассматривали как возможность обогащения, а вермахт тут – турбюро: в стране появляются селедка из Норвегии, масло из Дании, шампанское из Франции. «А восток? Восток был

обширен. Хлеба, полезные ископаемые, все огромных размеров. Блохи, непроходимые дороги, люди доброжелательны. Никакого порядка. Однажды заглянули в русскую крестьянскую лачугу. Невероятно. Восток был жизненным пространством для заслуженных воинов СС, будущих владельцев наследственных крестьянских дворов. Чистенькие крестьянские дома в стиле фахверка уже были запланированы соответсвующими чиновниками. Можно было посмотреть модели. Но в стране заселения еще жили миллионы русских, поляков, украинцев и евреев. И для этого были решения: переселение славянских низших людей и окончательное решение еврейского вопроса».

Уже в 1980-е годы мать Уве поехала на Украину, желая посетить братскую могилу, где похоронен ее сын, посмотреть места, где он погиб. Естественно она сталкивается с трудностями, которые предвидела: ей нужно как-то добраться туда, отклонившись от туристического маршрута. Препятствие в итоге так и не удалось преодолеть, не только по бюрократическим или идеологическим причинам, но и потому что после войны в СССР полностью были стерты с лица земли следы братских могил немцев на Украине, на их месте были построены фабрики.

После смерти матери у самого автора появилось желание съездить туда и написать историю семьи, какой и является эта книга. Его пригласили на встречу с германистами и учителями немецкого в Киев. На встрече из-за сердечности обстановки он испытывает некоторый стыд – в его памяти события прошлого актуальны и сегодня. Он пробует посетить могилу брата, но выясняется, что там фабрика, трупы недавно раскопали, но посетить их нельзя, так как нужные люди, отвечающие за это в отъезде (здесь заметно стереотипное представление о русской бюрократии).

Украина предстает страной с совершенно стереотипной «русской» природой и обычаями – широкой, равнинной, с не очень-то радостным пейзажем: на экскурсии взгляд рассказчика с возвышенности охватывал замерзший Днепр и простирающуюся на восток равнину, высокие белые облака медленно плыли над рекой. На рынке они дешево покупают икру, которую потом едят на пикнике пластмассовыми ложками и пьют водку из одноразовых стаканчиков. Местная женщина приносит им яйца и соленые помидоры, от предложенного ей угощения отказывается, выбирая только водку. В мелком городке недалеко от Киева рассказчика встречают серые панельные дома, монотонные и отвратительные. Театр, в котором уже давно не играют, похож внешне

на фабрику. Безработица достигает 90%, единственное крупное предприятие в городе закрыто. Цемент и арматуру для строительства дачи обычный человек не может купить, но может «организовать». Старики не хотят вспоминать войну и говорить о ней – лучше выпить с тостом «дружба!».

После войны все перестраивались на американские ценности. Глазами маленького Уве другие страны выглядят: Америка, Швеция, Швейцария – богатые, из которых приходят шоколад, кексы, и т.п. Америка виделась даже богаче и сильнее отцовской «нашей Германии». Россия теперь – «богатый народ, но обескровленный во время войны», который все еще предстает в образе врага, который насилует женщин, переселяет немцев, и все еще морит голодом пленных. В этом мнении не было места вопросу вины, хронологии и причин жестокости. Ведь рассказчики военных историй действовали только по приказу – от простого солдата до генерал-фельдмаршала Кейтеля, который на нюрнбергском процессе заявил, что не виновен, а просто исполнял свой долг. Отец автора после войны говорил, что не был нацистом, и приводил аргументы о виновности союзников – они не бомбили пути к концлагерям и газовые камеры. Попытка сделать их также ответственными. Главное слово Befehlsnotstand – оно позволило многим оправдаться после войны и стать снова судьями, полицейскими и т.п.

В разговорах во время войны постоянно встречались названия Киев, Сталинград, Харьков в связи с битвами. Про Киев рассказывали, что русские заминировали город перед уходом в 1941 году, а когда немцы вошли в город – взорвали. Не говорили про Бабий Яр – там в 1941 г. немецкие войска убили 771-го еврея, конфисковав их имущество частично для немцев, частично для советского населения. Перед расстрелом люди должны были сдать одежду. Сохранились цветные (!) фотографии вещей, снятой одежды. На одной из фотографий два немецких солдата роются в вещах – но ищут не ценности, а детей, которых матери могли там спрятать от расстрела. А солнце светит – это явно видно на фото. Были люди – немногие – кто отказывался стрелять в мирных жителей. Они не представали перед судом, просто остались нормальными людьми. У них нашлись силы сказать «нет» давлению толпы.

Брат заканчивает дневник словами «На этом я заканчиваю мой дневник, так как считаю бессмысленным записывать такие ужасные вещи, какие иногда случаются». Точнее, он обрывает дневник, эти

слова кажутся совершенно неожиданными, потому что до этого у него просто была фиксация атак, сидения в окопах и количества выстрелов. Видимо, он вел дневник тайно, так как командование запрещало сойскам СС вести дневники. В его дневнике нет антисемитских высказываний и ярлыков, которые встречаются в письмах других солдат: низшие люди, грязь, паразиты, тупость русских. Но нет ни слова о сочувствии. Он записывает только «нормальное», это «частичная слепота», если не отправдывающая его в глазах рассказчика, то по крайней мере смягчающая его вину.

У Софийского собора в Киеве автор встречает кобзаря (ему говорят, что после распада СССР такие стали снова ходить по городам и петь свои песни о павших героях и печалях любви), речитативная песня которого напоминает ему героические сказания древности. Россия восстанавливается, возвращается к нормальной жизни.

Заметную роль играет русская тема в романе Михаэля Кумпфмюллера «Бегство Хампеля» (Michael Kumpfmüller. Hampels Fluchten, 2000). Главный герой книги Хайнрих Хампель родился 25 августа 1931 года, умер 25 сентября 1988 года. За свою жизнь успел пожить в Германии времен Третьего Рейха, в оккупационной зоне Советского Союза, Южной Африке, ФРГ, окончательно осев в 1962 году в ГДР, то есть фоном для описания его жизни служат поворотные моменты в истории XX века.

В Советском Союзе Хайнрих оказался в годы юности, когда по распоряжению советской военной администрации немецких специалистов вывезли для восстановления разрушенной промышленности. Сразу после войны, еще до поездки в СССР, когда советские войска вошли в Германию, Генрих впервые столкнулся с русскими: «Тогда Хампели возненавидели их, потому что они гужом вошли в город и не гладили форму и не раздавали жвачку, а распространяли только страх и ужас и расстреляли только в их поселении две семьи».

И вот однажды в дом пришли офицеры и отдали приказ отцу Хампеля со всей семьей отправляться в Клин на строительство стекольного завода. «Для юного Генриха это было путешествие его жизни, почти каждый взгляд из окна – приключение». Он видит все города на пути – Лейпциг, Варшаву. Потом – торжественные встречи немецких специалистов – с хлебом-солью и закусками – селедкой и икрой, которую Генрих увидел впервые. Всем раздали сухие пайки и книги с речами Ленина и Сталина.

Всего Хампель прожил в СССР четыре с половиной года между

своими 15 и 19. Особенно тяжело было в первую зиму, оказавшуюся холодной и голодной. Две семьи немецких специалистов жили в деревне Лыткарино, ютясь в двух маленьких комнатах. Поскольку они только еще ожидали отправки на строительство в Клин, зарплаты им не платили и продовольственных карточек не выдавали. Русский офицер объяснил им, что гитлеровцы все разрушили в этой стране и истребили миллионы людей, так что немцы должны быть рады, что вообще живы, ведь они того не заслужили. То, что Хампели приехали помочь восстановить стекольный завод, не имеет значения – разрушили завод те же немцы, так что им и строить. Пришлось немцам голодать.

Генриха сначала русские дети закидали камнями и обзывали фашистом, но очень быстро он ассимилировался и подружился с ними. Родители не учили русский, а дети должны были ходить в обычную местную школу, так что усвоили и советскую пропаганду, постепенно становясь все дальше от родителей. Они приносили домой рассказы о победе над фашистами под командованием славного Сталина, который ненавидит гитлеровцев, а немцев любит. За четыре года Генрих стал настолько русским, что даже спустя месяц после возвращения из России он все еще носил ту же самую одежду, в которой приехал: «ходил, как русский, в валенках и галошах, и в тяжелом темном пальто, а на голове – коричневая меховая шапка», так что в Германии его долгое время принимали за русского, а потом некоторые друзья еще и огорчались, что он так быстро снова стал немцем.

Россия предстает в романе непонятной, во многом чуждой, экзотической страной, в которой все же можно ужиться и даже довольно неплохо. Сильное впечатление на Генриха произвела Москва, куда он однажды поехал на автобусе: «Москва была блестящей, дружественной и жутко холодной». Генрих все никак не мог насмотреться на столицу: «Большой город Москва был городом с тысячами огней, а в магазинах лежали колбаса и окорока, так что все было не так уж плохо в этом советском рае», «магазины большие, как соборы или старые оперные театры, тяжелые канделябры на потолке, а на витринах вина, ликеры и водка со всех краев Советского Союза, и свежая селедка и икра, и на паре грузовиков не вывезешь – так много». Вокруг все принимали его за чужака и бедняка, но, как ни странно, не за военнопленного. Хампеля даже забрали в милицию, но потом, выяснив, кто он, с ним же и выпили, дав ему первый опыт с водкой.

Самое главное переживание Хампеля в России – он встретил здесь свою первую любовь – русскую девушку Люсю, о которой он

потом вспоминал всю жизнь. Она стала той единственной его настоящей любовью, ради которой он готов был бросить семью и даже принять советское гражданство и остаться в СССР на всю жизнь. Как верно замечает Д.А. Чугунов: «Думается, Кумпфмюллер продолжил здесь давнюю традицию немецкого взгляда на Россию, как на страну, противопоставившую свой духовный путь развития западному прагматизму. Ведь в последующем Хампель всегда строил свое общение с женщинами исключительно на плотских основаниях»[1].

По возвращении из СССР на родину, семья Хампелей довольно быстро столкнулась со сложностями. Однажды Генриха вызвал на разговор секретарь парторганизации на заводе, где он работал после СССР, и обвинил его в ведении антисоветской пропаганды:

«Ну и как оно там было в дружественном Советском Союзе?

Да, хорошо было.

Но в обеденный перерыв вы говорите так, как может говорить только классовый враг.

Только если меня спрашивают, я рассказываю, ничего не добавляя и не упуская. Это я называю правдой.

Хорошая правда, которая настраивает людей против Советского *союза, сказал партсекретарь.* <...> Что в России совершенно бедные свиньи, что в России Сталина люди голодают, что они следуют ложной идеологии, и что это вообще за коммунизм, когда одни катаются как сыр с масле, а другие вот уже более 30-ти лет не могут насытиться и живут жизнью рабов».

Такая правда о Советском Союзе была, конечно, неудобна властям ГДР. Характерно здесь и то, что Генрих говорит «Россия Сталина», подчеркивая негативную роль «отца народов», несмотря на всю пропаганду, которой он наслушался в СССР, и влияние которой было сильно и в ГДР: например, одна из любовниц Хампеля Дора «в целом мире никого не любила так сильно, как мудрого вождя и спасителя советского народа, Иосифа Виссарионовича Сталина. Даже дневник свой она посвятила Сталину». Она живо интересовалась первомайскими праздниками в СССР и военными парадами на Красной площади в дни Октябрьской революции, она маршировала вместе с товарищами из Союза немецкой молодежи, и скандировала речевки, и пела революционные песни.

---

[1] *Чугунов Д.А.* Образ России в современной немецкой литературе (проблемы и моменты восприятия) // http://wunder.narod.ru/russlandsbild.html

О военном и послевоенном прошлом, о проблемах вины и ответственности, массовых убийствах поляков и русских войсками СС во время Второй мировой, образе врага повествует роман Франца Штайнхауза «Взлет Икара» (Der Aufstieg des Ikarus, 2006). В романе Максима Биллера «Страна отцов и предателей» (Land der Väter und Verräter, 1994) Россия появляется также и в теме тоталитаризма, сталинизма – одного из тех «отцовских грехов», бремя которых несут персонажи. Действие романа частично происходит в России во время войны и после нее (детство героя проходит в русской деревне), а также в Америке, Чехии, Израиле, но всегда возвращается в Германию наших дней.

После распада СССР и объединения Германии наметились процессы сближения двух стран как в политическом, так и в культурном контексте. Большое значение здесь имеет творчество эмигрантов из бывшего СССР, которых немцы, в большинстве случаев не делающие различий между русскими, украинцами, белорусами и т.д., всех называют русскими. Тематически эмигрантская проза редко уходит от проблем и опыта покинутой родины. Многие из них – известные писатели, пишущие по-русски (Владимир Войнович, Борис Хазанов, Лев Копелев) их произведения обычно очень быстро переводятся на немецкий язык и, конечно, влияют на представления о России прошлой и современной в сознании немцев, но их следует отнести к русской эмигрантской прозе, в контексте же данной статьи более интересны авторы, пишущие по-немецки. Из них наиболее известен и популярен в Германии Владимир Каминер, чьи автобиографические произведения демонстрируют яркое разнообразие взглядов немцев на русских переселенцев и мнений самих эмигрантов о России. В этих романах, или скорее сборниках коротких рассказов, написанных с юмором, понятным и немцам, и русским, Россия предстает диковатой и тоталитарной, подтверждающей многие стереотипы (например, постоянное пьянство, отсутствие цивилизованных средств коммуникации при огромных размерах страны, мощная и бессмысленная бюрократическая машина, замена писаных законов «телефонным» правом), но подтверждающей не в такой гиперболизированной, обидной для русского читателя форме, как это бывает, например, у Хайнца Конзалика или других авторов развлекательной литературы. Каминер просто рассказывает непридуманные истории из жизни, как они были, и выясняется, что в них есть много забавного. Россия, предстающая в его книгах, вызывает у иностранного читателя улыбку, а не страх

перед грозной и совершенно непонятной неизвестностью, свойственный расхожему образу Советского Союза. Тематика его произведений вращается вокруг жизни эмигрантов в Берлине и их советского прошлого. Например, его первая книга «Русская дискотека» (Russendisko, 2000) посвящена приезду в Берлин, первым впечатлениям от заграницы, незнакомой жизни в переломную для обеих стран эпоху. Книга «Военная музыка» (Militärmusik, 2001) содержит воспоминания о службе в советской армии, а «Путешествие в Трулала» (Die Reise nach Trulala, 2002) – несколько рассказов о различных поездках самого автора или его знакомых (например, о том, как в СССР построили секретный город, имитирующий «заграницу», чтобы премировать поездкой туда передовиков производства, не рискуя отправлять их в настоящие «лондоны и парижи»).

Из немецких писателей, касающихся темы русских переселенцев можно вспомнить Зигфрида Ленца и его рассказ «Людмила» (Ludmila, 1996), посвященный отношениям гамбургского писателя Боретиуса и русской немки Людмилы Фидлер. В рассказе ярко вырисовываются образы русских немцев, вернувшихся в Германию – это и семья Людмилы (ее отец, бывший геолог, мать и брат), и ученики, у которых Боретиус ведет занятия по немецкому на курсах «адаптации» для иммигрантов и помогает им освоиться в новой для них стране. Автор затрагивает вопрос национальной непохожести, которая разъединяет представителей разных стран, и одновременно внутренней духовной объединяющей общности людей. Ленц анализирует проблему непонимания между людьми при столкновении материального мира с ментальным, психологическим. Людмила уходит от Боретиуса, когда узнает, что делая ей подарки или приглашая на ужин в ресторан, он аккуратно собирал чеки, чтобы потом получить списание с налогов, выдав все это за свою профессиональную деятельность (Людмила была помощницей Боретиуса на курсах). Среда, ее условности, ритуалы и табу, привычки и мнения окружающих не позволяют герою выйти за рамки ограничений, хотя он понимает, что Людмила – та, которую он ждал всю жизнь.

Отдельным пунктом в тему эмигрантской литературы вписывается творчество русских немцев, вернувшихся на свою историческую родину. Основная проблематика их произведений – поиск национальной идентичности, так как они в 1980-1990 гг. возвращались в Германию как в страну своих предков, при этом большинство из них родились и выросли в СССР и России, окончили советские школы и институты,

часто плохо знают немецкий. Наиболее распростаненные жанры в литературе русских немцев – стихотворные, драма и роман встречаются редко, место последнего здесь заняли воспоминания. Важным прозическим произведением является роман Герхарда Завацки (G. Sawatzky (1901–1944)) «Мы сами» (Wir selbst) – широкий эпос русских немцев, написанный еще в 1930-е гг., но опубликованный только в 1984-88 гг. Одним из наиболее популярных послевоенных авторов является Нелли Дэс (Nelly Däs, p. 1930 на Украине). В ее автобиографических книгах «Волки и подсолнухи» (Wölfe und Sonnenblumen, 1969), «Поезд свободы» (Der Zug in die Freiheit, 1971), «Роковые годы в Сибири» (Schicksalsjahre in Sibirien, 1985) описывается трудное детство автора в период сталинских репрессий и Второй мировой войны, сложности, возникшие после депортации в Германию. Другим прозаиком примерно того же поколения является Виктор Хайнц (Viktor Heinz, p. 1937). Он также писал стихи, но с 1980-х все больше обращался к прозе, где описывал детство свое и своих современников, послевоенные годы, поиски пропавших родственников, дискриминацию русских немцев и попытки найти свое место в многонациональном, но ущемляющем права некоторых национальностей СССР. Его роман-воспоминания «В переулке» (In der Sackgasse, 1996) охватывает историю русских немцев от сталинской эпохи до путча 1991 г.: преподаватель Вилли Вернер, русский немец, оказывается прикованным к постели в московской клинике и начинает записывать свои воспоминания о детстве в далекой сибирской деревушке, о родителях, которых забрали в трудовую армию. Ярко описывается, как герой врос в советскую репрессивную систему слежки, а затем вынужден был самоутверждаться, чтобы не потерять в ней собственное Я. Лучшие друзья отвернулись от него, а потом на него было совершено два покушения. Перед читателем открывается вся бездна лицемерной советской системы. В полной мере Хайнц отразил чувства своего народа в опубликованной в 1993 году пьесе «На весах столетий» (Auf den Wogen der Jahrhunderte), где по отношению к трем разным эпохам истории русских немцев ставится один и тот же вопрос «оставаться или уезжать».

Среди русских немцев постепенно уходят на второй план авторы, тематизирующие опыт Второй мировой войны и послевоенного времени, который настолько же важен для литературы русских немцев, как Холокост для немецкой литературы. Но и такие произведения все еще появляются: например, романы Нелли Коско «Украденное детство» (Nelli Kossko, Die geraubte Kindheit, 1998), и Александра Приба

«Заложники» (Alexander Prieb, Geiseln: Von Deutschland nach Russland und zurück, 1998). Уже само название книги Коско позволяет догадаться, каким сложным по мнению писательницы было детство в Советском Союзе. Русские немцы сначала натерпелись от сталинских репрессий, потом было переселение «на родину» в Германию и жизнь при национал-социализме, а затем и возвращение в СССР с немедленной ссылкой в Сибирь, ярлыками «фриц, фашист». Жизнь девятилетней девочки в маленькой сибирской деревушке была полна лишений, голода, тяжелой работы. Но, с другой стороны, были и встречи с добрыми и готовыми помочь русскими, в которых просматривается та самая «русская душа». Обо всем этом, о сложном пути русских немцев, рассказывает Нелли Коско в своей книге, стремясь изменить отношение немцев к переселенцам, завоевать больше терпимости и понимания. Во второй части автобиографии «На другом конце света» (Am anderen Ende der Welt) рассказывается история воссоединения матери и дочери с их сыном и братом, семь лет проведшим в лагерях.

На рубеже XX–XXI веков появляется большое количество книг о путешествиях по России, воспоминаний о жизни в стране. Среди них особо можно выделить книгу Инго Шульце «33 мгновения счастья: записки немцев о приключениях в Питере» (33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in Piter, 1995), замеченную в Германии и даже переведенную на русский. Автор приехал работать в Россию в 1993 году и время от времени отправлял свои впечатления по факсу своему немецкому другу; из этих обрывочных сообщений якобы и сложился роман, обрабатывающий российский опыт немца в подчеркнуто гротескном, сюрреалистическом ключе. В книге нет общей сюжетной канвы, в каждом эпизоде свои персонажи, почти не повторяющиеся. По большинству из них – как русских, так и иностранцев – можно заключить со всей определенностью, что люди в России обитают дикие. Это все бандиты, убийцы, бомжи, а даже, если и нет, то просто тупые, недалекие, мещанские, бессмысленные и беспощадные: муж в простой деревенской семье бьет жену и считает это обычным делом (а автор подробно все это описывает: «Павел размахнулся и двинул ее в челюсть. Кусок огурца упал Валентине на колени. Не успела она заплакать, как Павел поднялся, дал ей в лоб и плюнул в полуоткрытый рот»); в городе живет внешне приличная пожилая пара, которая потом оказывается готовой убить за копейку, или даже просто так. И, конечно, все поголовно и каждый день пьют – от бомжей до ученых.

Несколько эпизодов посвящены собственно той работе, которую Шульце делал в Петербурге, – издавал немецкую газету. Тут он на себе почувствовал правильность старой поговорки: «Что русскому здорово – то немцу смерть». Для редакции была снята отдельная квартира и были наняты русские редакторы, секретарши, авторы статей. Быстро выяснилось, что русские работают неорганизованно, а немец-начальник должен следить, чтобы все было в порядке и дисциплина соблюдалась. Даже если начинается работа чинно и безобидно, то закончиться может полным беспределом, как это было с обеденными перерывами, постепенно вылившимися в основное событие дня, куда приходили и внештатные авторы, принося какую-нибудь «классную снедь, добываемую или в длинных очередях, или по бешеным ценам». А секретарши в редакции стали постепенно ночевать там под разными вполне вроде уважительными предлогами, так что прихожая стала постепенно похожа на обычную квартиру – с коллекцией обуви в прихожей, занавесками на окнах вместо офисных жалюзи, а в шкафах уже хранились не бумага и скрепки, а скатерти и полотенца. Для немца странным оказывается, что в России нет такого строгого разделения работы и личной жизни, как в Германии: «Я страстно люблю баню, хорошую еду и, само собой, интересную беседу, но я привык работать в полную силу, а потом наслаждаться досугом – в бане или за общим столом. Думаю, что пословица «Делу время, потехе час» совершенно верна, хотя звучит банально. Я оказался в жутком положении. Либо пустить все на самотек, поддаться разлагающей рутине и уж тогда почти не вылезать из редакции, не спать ночами, либо смотреть на все сквозь пальцы». Однако, несмотря на такое отношение к работе, газету необъяснимым для немца образом удавалось издавать в срок, и она даже имела некоторый успех. Закончилось все тем, что начальство в Германии решило, что газета идет неплохо, купило новую квартиру для редакции, а старую оставили секретаршам.

Разгулу в головах людей соответствует и неухоженность природы – красивой, но заброшенной – и улиц в городах. Основной лейтмотив всей книги – грязь и постоянная вонь. В поезде «ночью было так же душно, как и днем, на рубашках проводников не просыхали пятна пота, запотевшие, грязные окна открыть было нельзя – по-видимому, где-то существовал кондиционер, – и постоянно воняло – если не дезинфекцией, то уборной и куревом. <...> Когда Гофман не беседовал с русскими, он, подложив под голову подушку, смотрел в окно, где среди болотистых полей и неухоженных лесов то тут, то там мелька-

ли домики, голубые, зеленые, криво посаженные; между проплешин выжженной травы, за крашенными заборами светлели поленницы дров».

Один из эпизодов особенно показателен. Он начинается словами: «Из России можно только уехать! Я всю неделю безуспешно пытался понять, зачем я здесь, почему живу в этой стране, а не в Париже или в Италии». А далее следует точно передающее все настроение книги описание России, которое стоит привести здесь полностью, несмотря на его длину: «Люди словно недавно приехали из деревень и не умеют еще ходить по улицам – они топчутся во все стороны, рычат, толпятся, толкаются, плюются. Они не говорят «простите». Не замечают этого или кричат друг другу бранные слова. Их приходится толкать. Только вырвешься из толчеи, они втолкнут тебя в автобус или пихнут прямо под колеса автомобиля. А если ты на минутку приткнешься к стене, как нищий, то все равно неизвестно, что делать дальше. И всюду, словно сам климат такой, эта неистребимая вонь – смесь кислого творога, многолетней грязи и сигаретного дыма. В аэропорту, в туристском автобусе, в гостинице, на улице – нигде от нее не спастись, она лишь меняет состав. Иногда к ней примешивается запах бензина, иногда чеснока, иногда уборной. Из подворотен несет пищевыми отходами, из подъездов – мочой. В продуктовых магазинах тяжелые запахи так сгущены, что кажется, будто они не выветрились со вчерашнего дня. И никогда нельзя точно сказать, то ли люди впитали в себя вонь из этого воздуха, то ли она исходит от них самих».

Из-за этого запаха и вида грязи вокруг немец даже есть ничего уже не может, кроме хлеба и чая: «Любой кусок разбухает во рту, и все время чувствуешь себя губителем своего здоровья. Молоко кажется затхлым, шампанское – переслащенным, а пиво – кислым. На чем ни остановишь взгляд, все покорежено, изломано, покрыто заплатами, погнуто, обшарпано, перекошено, расшатано, грязно, словно все в разное время притащили с помойки и снова кое-как слепили. Привлекательно с виду только импортное».

А далее Шульце переходит от повседневности к русской культуре, обычно высоко ценимой на западе. Он не отвергает совершенно ее значения и существования, но влияния ее сегодня не видит: «Безумная расточительность царей – единственная культура, которая у них осталась, да и ту они проматывают, и ту загаживают. При этом рассуждают о Пушкине, о судьбе и о Волге. Железные крыши – как остовы проржавевших кораблей; кажется, что за дверьми и окнами

прячутся от глаз существа, не владеющие никаким человеческим языком; звуки, доносящиеся оттуда, похожи скорее на рычание, визг и вой. Кажется, в русских вообще в результате их эксперимента длиною в жизнь выработался такой стандарт отношения к жизни, в котором апатия сочетается с удивительной изобретательностью в унижении других. Все устроено так, чтобы доставлять как можно больше неудобств – будь то отсутствие скамеек, на которые можно сесть, или слишком низко повешенные зеркала, или ремонт, растягивающийся на годы, или магазин, где за куском масла надо стоять в трех очередях. Туалеты, пригодные для использования, если вообще и существуют, то только в гостиницах. К кому ни обратись – к дежурной по этажу, к официанту или гиду – все вечно обижены, недовольны, недоброжелательны, грубы. Разговаривают, не глядя на тебя; если о чем-то спросишь, взглянут так, словно плюнуть хотят. Если женщина красива, то непременно продажна, если автомобиль новый, то непременно принадлежит бандиту. Никогда еще, ни в одной стране не чувствовал я себя таким неуверенным и беззащитным. Я знал: если здесь со мной что-нибудь случится, никто не поможет. Споткнусь – затопчут, заору – ограбят. Иностранцев здесь узнают с первого взгляда, словно у нас другой цвет кожи. Почти невозможно ни включиться в обыденную жизнь русских, ни остановиться, ни присмотреться – но ведь в этом весь смысл путешествий!»

Но есть и другая Россия, такая же бессмысленная и безудержная, но уже в проявлениях доброты, а не агрессии. Этот же рассказ заканчивается неожиданной сценой: рассказчик подал нищенке на базаре, что вызвало бурный всплеск любви с ее стороны, а потом и всех окружающих: «Не осталось никого, кто бы еще раз настоятельно не приглашал меня к себе домой, кто не хотел бы показать мне свою дачу, озеро Байкал или Ледовитый океан. Я едва сдерживал слезы, пристыженный таким безмерным гостеприимством, ведь я знал, как мало у них самих оставалось на жизнь. Да, они даже поймали мне второе такси, потому что ни от одного подарка нельзя было отказаться. Конечно, я пообещал вернуться как можно скорее». Как в буйстве, так и в страдании проявляется та самая «русская душа», которая так занимает немцев и загадку которой они не в состоянии разгадать.

Общее впечатление о России, которое может сложиться после прочтения этой гротескной книги, однозначно: в этой стране все дико, нецивилизованно, она сильно уступает западу в развитии, ее население людьми можно не считать. Один из персонажей – немец, работающий

в Петербурге – рассуждает так: «Мне и во сне не снилось, что я здесь осяду и даже не заместителем, а почти как русский, нужно быть идеалистом, скажу я вам, изо дня в день. <...> просто не люблю их, заносчивае плебеи, интервенты, "хочу заграницу,, гниды...»

Сохранение традиций тривиальной литературы, основанных на постоянной переработке и повторении предрассудков и ложных образов России и русских, можно увидеть и в других романах 1990-х – 2000-х годов. Например, любовный роман Ини Лоренц «Татарка» (Die Tatarin, 2005): это исторический роман о судьбе молодой дочери татарского хана в 1707 г. История России описана здесь очень приблизительно, зато много ложных стереотипов, например, постоянное пьянство. Примерно то же можно сказать и о рассказе Матиаса Политицки «Солнечные ванны в Сибири» (Sonnenbaden in Sibirien, 1991), где в комическом ключе описываются ситуации во время путешествия по России.

В рассматриваемый в настоящей статье период – с перестройки по настоящее время – в Германии наблюдается явное повышение интереса к России. Большая, чем раньше, открытость границ позволила немцам лучше узнать нашу страну, если не избавиться от ложных стереотипов (например, что Россия – страна нефтяных вышек, в которой живут одни алкоголики и мафиози), то по крайней мере сделать к этому шаг. За последние пятнадцать лет было опубликовано довольно много путевых заметок, воспоминаний или художественно-публицистических произведений немецких корреспондентов, содержащих более объективные отзывы о стране, чем раньше. Здесь в первую очередь следует упомянуть книги известного журналиста Герда Руге. «Широкая страна: русский опыт – русские перспективы» (Weites Land. Russische Erfahrungen – Russische Perspektiven, 1996) повествует об истории России, во многом с упором на «повседневную жизнь»; книга содержит короткие разговоры с Хрущевым, более обстоятельные с Пастернаком и диссидентами, с простыми людьми, рассказы о поездках, зарисовки из времен, когда автор работал здесь корреспондентом. Руге пытается ответить на вопрос о будущем России – пойдет ли она по демократическому пути или погрузится в хаос. Решение журналист ищет в истории, начиная от эпохи Хрущева, когда он сам впервые (1956) приехал в Москву, он последовательно заново переживает «застой», перестройку, путч, и наконец, путаницу посткоммунистического времени. Руге описывает жизнь советских ученых, деятелей искусства, простых граждан, дает немецкому читателю

представить себе их поведение, образ жизни в эпоху от Хрущева до Ельцина, рассказывает о постоянной слежке со стороны КГБ, превратившейся в атрибут повседневности, часть «нормальной» жизни, и об изобретательных способах обходить различные запреты – неофициальных и не совсем законных, – без которых, однако, не обходилась жизнь в СССР. Руге за время своей долгой работы в Советском Союзе и России побывал не только в Москве, но и объездил Якутию, Кавказ. Постоянно знакомясь с новыми людьми – как руководителями вплоть до министров, так и с простыми колхозниками – он смог составить широкое представление о стране и передает его читателям. Собственные впечатления Руге подкрепляет основательным рассказом о большой политике и экономическом развитии России. Автор критически оценивает современную российскую действительность, позволяя различить свои симпатии к ушедшей эпохе, при этом замечая, однако, из положительных моментов, что по сравнению с Советским Союзом стало больше свободы слова и люди уже не хотят ее терять. А основной вопрос книги – будущее России – все же остается без однозначного ответа.

Поездке по Якутии с юга на север – от границы с Китаем до Северного Ледовитого океана – посвящены путевые заметки Руге под названием «Сибирский дневник» (Sibirisches Tagebuch, 1998). В предисловии Руге говорит, что история и судьба России «напрямую и почти экзистенциально касаются нас (немцев), потому что они будут определять будущее Европы и мира». Изменения и потрясения, постигшие этот «континент в континенте», обладающий большим потенциалом и простирающийся от Европы до Аляски, журналист решил увидеть своими глазами, отправившись в 1997 году с женой и двумя операторами в путешествие по Сибири.

Изменения обстановки Руге чувствует сразу же по приезде в Благовещенск: два офицера-пограничника пытаются достать для него билеты на поезд, но это оказывается не так просто сделать: «Раньше полковник погранвойск браво прошагал бы в начало очереди, но теперь же никто так не делает, люди возмущаются».

Любому иностранцу сразу ясно, что Москва очень похожа на запад и поэтому пути ее развития более очевидны, чем положение в совершенно неизвестной европейцам самой отдаленной части континента. Герда Руге интересует Дальний Восток, Забайкалье, и он за сорок лет своей профессиональной деятельности «объездил эту область вдоль и поперек на самолетах, автобусах, лодках, чтобы узнать у простых

людей, что удерживает страну от распада даже в эпоху глубочайшего кризиса». Путешествие Руге проходит не только по железной дороге, но и по рекам – Амур, Лена, Вилюй. Далекая Восточная Сибирь становится здесь прототипом развития всей России, ключом к пониманию ее настоящего, прошлого и будущего.

В книге зафиксированы разговоры и встречи с самыми разными людьми – от губернаторов до простых колхозников, продавцов на рынке. Якутия большая, и не все, что про нее можно услышать в Москве, непременно подтверждается на месте. Уже первые диалоги Руге показывают, как новооткрывшиеся возможности соседствуют со старыми противоречиями. Например, девочка, изучающая английский в частной школе, говорит, что «постепенно все более-менее улучшается». Но тут вмешивается пожилой мужчина, утверждающий, что все не так, он всю жизнь честно работал, а теперь вот уже шесть месяцев получает копеечную пенсию. Тут же вмешивается женщина, смягчая противоречия мнений: «Россия хромает на одну ногу». И так происходит постоянно: один что-то хвалит, другой тут же критикует. В мире, внезапно оказавшемся в подвешенном состоянии, бытует масса мнений, объединяет всех лишь одно обстоятельство – нет денег.

Создается образ Якутии – холодного, сурового края, богатого полезными ископаемыми, заселенного в советские времена благодаря северным надбавкам, а после распада СССР погрузившегося в хаос, диктующий свои правила борьбы за выживание. Русские и якуты, инженеры и шаманы – все обитатели этого огромного региона оказались в вакууме между плановой экономикой и рыночной, криминалом и коррупцией: власти не платят за электричество, но при этом хотят собирать налоги с приватизированных поставщиков энергии; те в свою очередь не платят зарплату своим работникам, но хотят видеть результаты их труда; а рабочие вынуждены трудиться, потому что без этого будет еще хуже. Жизнь этих людей в изложении Руге представляет собой своего рода учебник по выживанию в условиях отсутствия государственной социальной и правовой поддержки населения, полный хитростей и уловок. Многие давно поняли, что бессмысленно продолжать жить на холодной, негостеприимной земле, если обещанные за переселение надбавки платить перестали, а то и вообще месяцами не платят зарплат.

В районе добычи золота и алмазов в Якутии деньги практически прекратили хождение: вместо них используют драгоценные камни и украшения, которых в избытке, потому что на западе невозможно

найти достаточно покупателей. На некоторых предприятиях рабочие получают вместо зарплаты купоны на питание в заводской столовой, позволяющие хоть как-то кормить семьи. В таких условиях Якутия оказалась отброшена в экономическом отношении на пятьсот лет назад, к моменту освоения Сибири – спасти может только натуральное хозяйство, обмен и взаимопомощь. Ювелирная фабрика платит за электричество и отопление цепочками и серьгами. Но такой бартерный обмен работает, в чем Руге во многих местах смог убедиться. Система натурального хозяйства проверена веками, в отличие от коммунизма и капитализма, и не дает сбоев.

Из разговоров с местными жителями Руге узнает, что они считают свою жизнь «нормальной», однако, понимает, что «нормально» здесь может означать что угодно от «не так уж все и плохо» до «очень хорошо».

Но при всех экономических сложностях, общих для всей России, Якутия не теряет своего своеобразия. Герд Руге ярко рассказывает, как якуты заботятся, даже ревностнее, чем раньше, о сохранении своей культуры, вспоминают забытые ритуалы. Журналисту удалось поговорить с настоящим шаманом, поприсутствовать на обряде вызывания духов.

Для многих, кто когда-то приехал на север за заработками, возвращение в западную Россию – главная мечта. Но есть и другие – те, кто видит положительные стороны жизни на Дальнем Востоке. Они заключаются, в первую очередь в замедленном, но все же неуклонном развитии демократии. Кроме того, со слов многих респондентов становится ясно, что даже такие жизненноважные обстоятельства, как невыплата зарплат, никак не уменьшают любовь к родной природе. Учительница, побывавшая в Баварии, говорит Руге, что в Сибири природа нетронутая, а водух гораздо чище, чем в Мюнхене. В разговорах с рыбаками, охотниками, стариками в деревнях рождаются и совершенно другие, отличные от городских образы, светлые и жизнеутверждающие: вся эта нищая жизнь разворачивается на фоне красот природы, любовь к которой постепенно передается от местных жителей журналисту.

Руге посещает первый в Сибири супермаркет, владелец которого раньше был секретарем обкома, а после распада СССР быстро переоценил ушедшие ценности и подстроился под новую обстановку. В Якутии теперь есть даже парижская мода и находятся женщины не только красивые, но способные покупать дорогие вещи.

«Приезжайте еще!» – радостно пригласила Руге жительница одной из полузаброшенных деревень, после того как рассказала ему, что молодежь из их села уехала, старики поумирали, школы, магазина, кладбища больше нет, да и от самой деревни уже почти ничего не осталось. Когда она и ее муж умрут, «больше никто здесь не будет жить».

Большинство немцев, отправляющихся в путешествия по России, едет по Транссибирской магистрали – в Восточную Сибирь, к Байкалу и до Аляски. Их привлекает страна, стоящая на тысячи километров от уже более-менее знакомой и понятной Москвы, регион, расстояние до которого только увеличивается из-за транспортых сложностей – путешествие туда может оказаться рискованнее и опаснее, чем кругосветное. О таких поездках рассказывают, например, популярные в Германии книги тележурналиста Клауса Беднарца «Восточнее солнца» (Östlich der Sonne), «Моя Россия» (Mein Russland), «Баллада об озере Байкал» (Ballade vom Baikalsee). В центре повествования последней из них стоит озеро Байкал. Основная проблема – экологическая, «чуду природы», каковым автор признает Байкал, грозит смертельная опасность. По мнению Беднарца, всякий, кто хоть раз увидел широкий простор водной глади, впадающий в безграничную тайгу, не может не разделить его тревоги за судьбу озера. Автор также описывает судьбы людей, волей своей или судьбы поселившихся на берегу Байкала. Еще в XIX веке эти места служили поселениями для ссыльных. В советское время число сосланных выросло до миллионов, особенно в лагерях Сибири. Некоторые из них, отбыв срок наказания, вынуждены были остаться в этих местах. Беднарц встречается с одним из таких – бывшим заключенным лагеря, который в 1941 в возрасте 19-ти лет был осужден на десять лет, а после формального освобождения в 1951 году был отправлен на поселения, то есть вынужден был остаться в Сибири на всю жизнь. Советская власть отобрала у него 25 лет жизни, но несмотря на все сложности и неприятные воспоминания, связанные с местом заключения, он остался жить там же, начал новую жизнь и сегодня, в возрасте 80-ти лет, ведет внешне вполне комфортное существование на окраине Иркутска.

И другие персонажи, встречающиеся Беднарцу во время его путешествия, также могут считаться мастерами искусства выживания: без работы, без социальной поддержки, или, работая, но не получая месяцами зарплату, вынужденные кормить семью на несколько рублей. Немногие промышленные предприятия работают нерентабельно на

устаревшем оборудовании, не соответствующем привычным немецкому журналисту экологическим нормам, – они и портят здоровье рабочих, и загрязняют окружающую среду. Есть проекты улучшения обстановки, но нет денег на их реализацию. Беднарц не дает никаких оценок – он просто объективно фиксирует, что видит и слышит. Он дает слово тем, кто на себе испытал все тяготы жизни на севере. Возможно ли спасти Байкал с его уникальной фауной и флорой покажет будущее, а пока Беднарц обратил на эту проблему внимание немецкой публики.

Большую роль играют во всех путевых записках образы русской природы, «красота необъятных российских просторов». Интересный пример подхода к этому же жанру демонстрирует книга Курта Драверта «Путешествие задним ходом» (Reise im Rückwärtsgang, Zwei Dichter unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn. 2001), где его собственный рассказ о поездке по Сибири на поезде сопоставляется с подобным текстом-поэмой Блеза Сандрара, проделавшего тот же путь в 1910 году.

Другие примеры путевых заметок: Луи Фишер-Руге «Повседневная жизнь в Москве» (Alltag in Moskau, 1986), «Выживание в России: хаос и надежда в повседневной жизни» (Überleben in Russland. Chaos und Hoffnung im Alltag. 2001), «Свобода по-русски» (Freiheit auf russisch. Der harte Alltag im neuen Moskau. 1995); А. Баумгарт и Б. Енеке «Хороший тон по-русски» (Russlandknigge. 2005). Мерле Хильбк в книге «Сибирский панк: Путешествие в сердце дикого Востока» (Sibirski Punk: Eine Reise in das Herz des wilden Ostens. 2006) написала путевые заметки журналистки о поездке по России летом 2004 года – от Новосибирска до Забайкалья – в поисках «русской души», а проще говоря того, что она смогла бы назвать родиной, удивляет ее спокойствие необычных людей, которых она находит в лице Григория – директора физического НИИ, Петра – менеджера панк-группы. Самой экстравагантной знакомой стала Светлана – экскурсовод из Бурятии, основательница первого женского клуба автолюбителей и по совместительству шаманка, в свободное время собирающая травы. В компании с ними журналистка бродит по пригородам Новосибирска и других городов, пьет суррогатный кофе в неуютных кафешках, курит с местными жителями травку, спорит с «интеллектуалами» о том, куда катится мир. В отличие от более серьезных книг Герда Руге или Томаса Рота, дневник Мерле Хильбк больше ориентирован не на познание России, а на познание автором себя самой, она путеше-

ствует все дальше на восток не за пониманием «русской души» самой по себе, а в поисках собственного благополучия. Это имеет и свои плюсы для образа России: сама журналистка говорит, что он получается не объективным, с обязательными водкой, серпом и молотом и статуями Ленина, а совершенно субъективным. «Смотри, русские пьют, как сапожники!» – говорили мне не только коллеги и родственники. Даже бармен в пивной за углом, которому уж точно знакомы проспиртованные доходяги, тоже вступил в этот хор. «Ну да, русские – народ пьяниц!», – отвечала я на это с удовлетворенной ухмылкой, – «Швейцарцы засыпают, когда говорят, а французы думают только про "amour", так?» Но в Новосибирске мне тут же дали осознать свою ошибку. В гостях пили водку: за встречу, за знакомство, за женщин и за любовь, водку, чтобы забыть повседневность, и против подступающей меланхолии. [...] Кто хочет в Сибири вести дела или найти друзей, правильно сделает, если сначала хорошо напьется с хозяином дома. Ведь совместная попойка считается в России мероприятием по созданию доверия».

В последние годы появилось несколько книг-воспоминаний о более экстремальных путешествиях, чем поездки на поезде в Сибирь. Например, Дорис Видеманн рассказала о путешествии на автомобиле через всю Россию до Владивостока: Taiga Tour, 2004; а Вольфганг Бюшер пешком прошел от Берлина до Москвы: «Берлин – Москва. Путешествие пешком» (Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß, 2003). В этой книге автор рассказывает о своем путешествии пешком от Берлина до Москвы летом 2001 года. Как неоднократно подчеркивается в книге, Бюшер прошел тем путем, каким до него шли армии Наполеона и нацистской Германии, поэтому история, прошлые взаимоотношения России и Запада играют в книге не последнюю роль (один из встреченных Бюшером по дороге, узнав, через какие города он собирается пройти, сказал: «Да, именно этим путем немцы всегда идут»). «Война, война, проклятая война. Она была в Вязьме, и все еще оставалась там».

Перед путешествием в «восточную бесконечность» различные знакомые Бюшера говорили ему: «Зачем Вы идете навстречу смерти? Вы и через Польшу не пройдете, убьют. А еще дальше – оставьте, пока дойдете до Москвы, три раза умереть успеете. Ноги сведет судорога, этого никто не сможет сделать, останетесь лежать в придорожном овраге, и никто Вас не найдет. Ладно б еще Вы вдвоем были. Вы с ума сошли!»

В Польше он встречает гордость за то, что «только полякам удалось надолго захватить Москву в 1618 году. <...> Наполеон задержался там только на пару недель, а Гитлер, как известно, вообще не дошел». Поляку, которого автор встретил по дороге в Россию, доставило явное удовольствие представить Россию в самом черном свете. Он рассказал историю, как его знакомые ездили в Россию для деловых переговоров: все шло нормально, но вдруг русских что-то расстроило, один из них неожиданно достал автомат и изрешетил стол, за которым велись переговоры. Это положило конец российским делам знакомых. Поляка история явно забавляла. Кроме этого случая в Польше Бюшер наслушался еще много подобных рассказов о бессмысленной жестокости русских.

На границе с Белоруссией Бюшер столкнулся с различием железнодорожных путей – «в лесах восточной Польши кончались тонкие европейские пути, и начиналась широкая колея – совершенно ясная символика. <...> «Да, они все еще меняют колеса у поездов. Как при царе». <...> «Вот это, – сказал он доверительно, подчеркивая каждое слово. – Это граница будущего. – До этих пор – Евросоюз, а по ту сторону восток». «Теперь уже я улыбнулся. Восток – это такая вещь, которая никому не нужна, которую стряхивают с куртки, как птичий помет. Восточную куртку все охотно передаривают, она все время движется в восточном направлении. Если бы я в Бранденбурге спросил, где начинается восток, ответ был бы: там, в Польше, конечно. Если бы я спросил в Польше, мне бы сказали: восток начинается в Варшаве, да, собственно, Варшава – это уже восток. Меня уверяли, что западная и восточная Польша – это разные вещи, совершенно несравнимые, это что-то абсолютно другое, сами увидите, когда окажетесь восточнее Варшавы. Другой мир – провинциальнее, беднее, грязнее. Одним словом – восточнее. <...> А восточнее Варшавы ответ опять оказывался очевидным: там по дороге на Бялосток. Все, что слева от нее, западнее – католическое, то есть настоящее польское. Что справа – белорусское и православное. Так где же начинается восток? Точно справа от твоего правого сапога. Там, где начинаются большие леса и деревянные дома, где на бесконечных узких дорогах попадается больше телег, запряженных лошадьми, <...> чем машин (машин в Белоруссии и России оказывается настолько мало, что идти Бюшеру удобнее по ним, транспорт совершенно не мешает). А минуту назад билетер в четвертый раз отодвинул для меня границу континента. И не в последний. В Белоруссии все снова начнется сначала. Естественно, там

опять скажут, что ее когда-то польский запад совершенно несравним со все еще русским востоком и так далее, и тому подобное, восток будут двигать все дальше и дальше, от Берлина до Москвы. Немного не доходя, чтоб быть точным, ведь можно заранее предположить, что Москва – это опять запад».

Бюшер пишет, что ожидал увидеть в Белоруссии бедность, отсталость и разложение, но в первом же городе на своем пути – Гродно – нашел чистоту и опрятность: «Утром я увидел, что не только Ленин в Гродно был ухожен, но и весь город». Грязи он, конечно, тоже обнаружил в достатке, но она не бросалась в глаза. Опасения Бюшера и тех, кто советовал ему не ходить на восток (один его знакомый журналист, часто бывавший в этих краях, вообще предостерегал его от похода через «царство Лукашенко»), совершенно не оправдались. Подтвердились только слова кинопродюсера из Мюнхена, снимавшего в Белоруссии фильм про войну – «эта белая страна по ту сторону границы не опасна, нет. Она просто утомленная. Такая чудовищно утомленная, что он и похожих не видел».

Противоречивое впечатление произвели на автора белорусские деревянные дома: издали они казались ему красивыми, пестрыми, а если подойти поближе, то становится заметно, что краска уже облупилась, а двери еле держатся на петлях. Когда Бюшер решил остановиться на ночлег в деревне, его никто не пустил переночевать, все видели в нем подозрительного типа, странного немца, которому взбрело в голову идти пешком в Москву. Даже взывать к «сострадательному русскому сердцу» оказалось бесполезно. Только оказавшись в ночном автобусе путешественник понял, что он был совсем чужим в деревне, «которая не видела иностранцев, наверное, уже много лет, если вообще когда-то видела, а последний немец был здесь, может, и во время войны. Я представил себе, как бы отреагировали жители деревни, в которой я вырос, если бы вдруг появился русский и на плохом немецком попросился переночевать». Теперь же он принадлежал «коллективу автобуса», поэтому и смог найти общий язык с другими пассажирами. Бюшер в итоге нашел место для ночевки, но столкнулся с полукриминальными личностями, которые хотели обмануть его, взяв втридорога за проезд и ночлег (путешественник не дал себя обмануть, прекрасно понимая, что в этих местах ночь в гостинице стоит, «как билет в кино в Германии»), и вообще приняли его довольно холодно, дав однозначно понять, что места, по которым он идет, называются «партизанскими», поэтому ничего хорошего ему как немцу ожидать не приходится.

Если в романе Уве Тимма отразился тот факт, что немцы называют всех русских «Иван», то здесь немецкий читатель может узнать, что в России всех немцев называют «Фриц» (и в той ситуации, путешественник вынужден был откликаться).

Среди бескрайних полей Бюшер находит следы советского прошлого: запущенные колхозы (все названные «Октябрь» или «Восток»), а рядом с ними огромные монументы с более-менее нелепыми лозунгами типа «Лес – это жизнь». Все это кажется путешественнику «настолько безнадежно беспомощным, что он неожиданно испытал что-то вроде сострадания к коммунизму. Он обрел человеческие черты. Он был стар. Больше не мог. Я шел через его погибшую империю, по его залам гулял ветер, на стенах проросла сорная трава, я застал его на последней стадии и смотрел с немного тошнотворным любопытством, с которым беззастенчиво разглядывают старого распутника или тирана, когда он уже представляет собой лишь руины безумия всей своей жизни, бунта против Бога и мира».

В Белоруссии Бюшер посещает кладбище, которое кажется ему «самым сложным кладбищем в мире». Там в одной земле лежат те, кто при жизни были непримиримыми врагами, – партизаны, красноармейцы, националисты, коммунисты, католики, православные. В Польше он уже встречал нечто подобное, но тут все оказалось гораздо запутаннее. Как и в истории этой страны вообще: автора очень удивляет, например, что наравне с белорусами, убивавшими немцев, были и белорусы, которые воевали против партизан, связывая свои надежды с Германией.

Современная Белоруссия в чем-то уже больше походит на Европу, по крайней мере молодежь на дискотеке в каком-то провинциальном городке напоминает автору берлинскую: те же прически, худые, угловатые лица в шрамах, те же «кока-кола» в руках и «лаки-страйк» во рту. Но в целом это такие люди, которых можно встретить «во всех городах после войны, в Сараево и Пном-Пене, в Кенигсберге и во всех тех местах, где война прошла уже давно, но все еще не закончилась. Это лицо времени между радикальным «после» и обманчивым «перед-чем-же-собственно». В Берлине это было модой, а здесь худощавость была от скудной еды, а шрамы получены на работе или в драке, грубость тоже была настоящей».

Минск резко отличается от белорусской провинции: это был «светло-серый массив, в один момент возникший на равнине. Минск был первым большим городом после Берлина. Он был, как Гродно,

но гораздо красивее и аккуратнее. Это были такие порядок и красота, которые в театре создают работники сцены перед премьерой». Минск как будто говорит: «Я город без проституции, без политики, без деловитой суеты, без рекламы, без религии. Я город без времени». На огромных проспектах стоят дворцы, которые когда-то строили немецкие военнопленные, а теперь мимо них проносятся немецкие «мерседесы».

После Минска Бюшер отправился на экскурсию в Чернобыль, где знакомился с местными жителями, с тем, как они живут в условиях повышенной радиации. Внешне запретная зона выглядит, по мнению автора, «как вход в советский лагерь в американском фильме. Открыть заграждение и въехать на территорию зоны не представляет никакой сложности».

Одним из ежедневных занятий Бюшера во время пребывания в Минске был поиск Макдональдсов – из-за туалетов. «Они были лучшими в городе, чистая белая плитка, сравнимые только с туалетами Гете-института, которые были даже лучше – тяжелые материалы, прочные бумажные полотенца. Не знаю, что было более действенным для распространения немецкой культуры – библиотека института или его туалеты».

Единственное сырье, которое может экспортировать Белоруссия, кроме древесины, – это воспоминания. Здесь еще живы люди, помнящие ужасы войны и способные о них рассказать. Поэтому и приезжают сюда немецкие журналисты, сценаристы, писатели. Сам Бюшер использовал пребывание в Минске, чтобы познакомиться с историей любви немецкого капитана Шульца и еврейской женщины, которую тот спас от смерти. А затем ко всем контрастам города автор добавляет еще знакомство с йогом из Сибири. Основной же контраст в Белоруссии составляет сочетание советского прошлого с во многом американизированным настоящим: так в городе Борисове путешественник «присел у постамента борисовского Ленина, серой конструкции из бетона с поднятой правой рукой. Точно в том месте, где у святого Георгия змей обвивается вокруг копья, обвивался вокруг ленинского древка советский флаг, а рядом на углу у девушек из центрального магазина были американские кепи из красной бумаги и к тому же красные передники с бежевыми оборками». В России, как и в Белоруссии, немецкий путешественник видит, что произошла новая революция, и это выражается в том числе и в новом значении красного цвета – теперь это цвет «мальборо и кока-колы».

Белорусскую природу Бюшер находит очень однообразной: лишь «болота и пески». Среди такой монотонности он уже перестает «доверять километрам, обозначенным на маленьких синих знаках вдоль дороги. Русские километры представлялись мне, как ширина русской железной дороги, примерно в полтора раза больше. Я прикинул свой дневной рацион и раздумывал, на сколько недель дольше я буду добираться до Москвы, в русских километрах. Ни на что больше нельзя было положиться, ни на какой расчет, я мог забыть про свои планы и готовиться к русской зиме». Он начал считать шаги, и все вернулось в норму, но как только перестал, километры снова показались длиннее обычных.

Как и многих других немецких путешественников, Бюшера интересует не Москва, не столичная жизнь, слишком похожая на европейскую. Его интересует экзотика – жизнь русской провинции, квинтэссенцию которой он находит в городе Орша недалеко от границы России и Белоруссии. «Орша была концом, и в конце я сбежал из Орши. В этом городе на востоке Белоруссии было больше пьяных, чем в любом другом месте, какое я видел, гостиница была абсурднее, а памятник героям войны неумереннее, чем все предыдущие. Но самое печальное, что может быть, – это ярмарочная площадь в дождь. В Орше была такая площадь. Я сел на ступеньки закрытого тира и наблюдал, как медленно крутилась карусель. <...> Облака неслись по небу, солнце пробивалось сквозь них и заставляло сверкать золотом кроны деревьев. Вокруг карусели стояли милиционеры и следили за порядком. Здесь был конец. Здесь спадало все напряжение. <...> Русское пьянство, как русская жизнь, а русская жизнь нигде не будет более русской, чем в провинции, и нигде, думал я, не был ты глубже в провинции, чем здесь. Теперь я понимал русских. Я понимал пьяниц <...>». После этого, перейдя «курьезную» границу, где ему не хотели ставить печать в паспорт, так как печати были только для грузовиков, пешеходов там никто не ожидал встретить, Бюшер наконец-то оказался в России.

Дольше оставаясь в России, Бюшер постепенно привыкает к новой, «экзотической» стране, и в конце концов на вопрос «Что Вы думаете о России?» он неожиданно для самого себя отвечает: «Я люблю Россию». И тут же думает: «Почему я так сказал? Весь день у меня была одна единственная мысль: безмерно, все безмерно. Полное отсутствие формы и красоты. И что гораздо больше сил, чем дома, стоило здесь продолжать идти, не опуститься. Что все силы распада и

разложения чудовищно велики. Я люблю Россию». Так он постоянно и колеблется от любви к ненависти и обратно: «Вечером я проклял Россию, из-за грубости или необъяснимой глупости, а на следующий день оказывался пристыжен неоценимой помощью, гостеприимством, оказанным совершенно чужому человеку, без которого я бы никогда не дошел до Минска, Орши, Витебска, до Москвы».

Чем ближе он оказывается к Москве, тем быстрее движется жизнь вокруг него, «быстрее люди, быстрее машины, даже речь». Бюшер видит, что по дороге в Москву ездят только тяжелые грузовики, которые он встречал и на границе. Москва предстает всеобщей целью, единственной на этой территории. Между Москвой и Европой – безвременная пустота. «Трасса М-1 очень похожа на трансатлантический перелет – она тоже ведет через переходное ничто. Люди приходят оттуда и улетают туда, а посередине – воздух и вода, только тут на воде растет степная трава». Москва представляет собой город, живущий более западной жизнью: если в провинции путешественник в запыленной одежде, которую он не имел возможности сменить вот уже несколько дней, а постирать и того дольше, не выбивается из пейзажа (Бюшеру так даже выгоднее было – он не бросался в глаза на дороге, в нем не признавали иностранца с первого взгляда), то уже на подходе к столице он был вынужден задуматься о своем внешнем виде, так как стал пугать встречных (например, продавщиц в кафе).

Путешествуя по Белоруссии, Бюшер, хоть и понимает, что это не Россия, все же называет почти все реалии русскими. В его путевых заметках ясно просвечивает фон из предрассудков и стереотипов, свойственных расхожему образу России, но вместе с тем есть и готовность эти предрассудки развеять, увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Интересно, что русская литература и культура вообще практически не упоминаются в этой книге; единственный писатель, которого вспоминает Бюшер – это Пастернак, путешественник даже специально едет в Переделкино, чтобы побывать в его доме-музее.

К жанру путевых заметок примыкает «Черно-белый роман» (Schwarzweissroman, 2005) Марион Пошман – это художественное произведение, в котором главная героиня едет в Магнитогорск к отцу, немецкому инженеру, работающему там на заводе. На фоне далекого, холодного, чужого города разворачивается драма столкновения с собственной немецкой историей, отношения к ней поколений отцов и детей. Фоном для детективной интриги, в которой замешаны больной лейкемией Константин и полукриминальный Альбрехт, служит

повседневная жизнь Магнитогорска, люди, не потерявшие чувства юмора, несмотря на все сложности их жизни, красота природы, соседствующая с экологической катастрофой.

Габриэле Кроне-Шмальц критически и непредвзято подходит к высокомерным предрассудкам, распространенным на Западе, не забывая и о критике положения дел в России. Основное внимание в ее литературном творчестве направлено на описание положения женщин в (советской) России: «В Россию можно только верить» (An Russland muss man einfach glauben, 1991), «Россия не погибнет» (Russland wird nicht untergehen, 1993), «О русской душе» (Von der russischen Seele, 1994). Подобных книг, написанных журналистами, побывавшими в России, довольно много: Роман Бергер «Россия за газетными заголовками» («Russland hinter den Schlagzeilen», 2001), Клаудиа Зиберт «Москва другая: о штекерах, горбушках и самой жизни» («Moskau ist anders: über Stöpsel, Brotkanten und das Leben an sich», 1994), Эльфи Зигль «Русская картинка. Репортажи из непостижимой страны» («Russischer Bilderbogen. Reportagen aus einem unbegreiflichen Land», 1997), Соня Микич «Планета Москва. Истории из новой России» («Planet Moskau. Geschichten aus dem neuen Rußland», 1998) и другие. Все они пытаются с переменным успехом развенчать ложные стереотипы, максимально объективно подходить к происходящему и происходившему в России.

Например, Томас Рот в книге «Русский дневник. Путешествие от чукчей до Красной площади» («Russisches Tagebuch. Eine Reise von den Tschuktschen bis zum Roten Platz», 2002). За три недели Рот и его группа журналистов проехали через всю Россию от Берингова пролива до Калининграда, по пути делая репортажи для телевидения, которые должны были выходить в прямой эфир. Рот осознавал все сложности путешествия по России, но при этом и открывшиеся лишь с начала 1990-х годов возможности – иностранцам стали доступны многие территории, куда их до того не пускали. Немцы, знакомые журналиста, вообще думали, что такое путешествие и не может удасться хотя бы из-за погодных условий и сложностей с непривычной сменой часовых поясов. Но Рот был уверен в своем начинании и четко осознавал цель: «Именно путешествуя с востока на запад, можно получить особенно насыщенное представление о чудовищном разнообразии России: культурном, географическом и климатическом. Одиннадцать часовых поясов. Путь, ведущий по прямой вдоль классической жизненной артерии России – Транссибирской магистрали. Мимо озера

Байкал, через большие угольные районы России, южные отторья Урала, и наконец, по европейской части. Пересекая исламскую Республику Татарстан, и через северную столицу Санкт-Петербург до Калининграда». Рассуждая о размерах России, Рот задается вопросом: о чем думали нацисты, когда нападали на Россию? Что они стали бы делать, завоевав Москву? Ведь за ней Россия только начинается, там 10 000 километров до Владивостока. Даже по простым военным расчетам, простой целесообразности такое нападение не должно было состояться.

Съемочной группе Рота приходилось везти с собой огромное количество оборудования, поэтому пришлось вступать в контакт с местными властями, чтобы нанять самолет. И здесь журналисты, поначалу столкнувшись с препятствиями, вскоре понимают, что в России многое запрещено, особенно все, что связано с военными, но на самом деле «это скорее поза, чем реальнось», на самом деле в нужный момент может выручить даже задушевный разговор – и вдруг неразрешимые, казалось бы, противоречия будут преодолены.

В начале путешествия – на крайнем севере у Берингова пролива – Рот находит полное запустение, разруху. Когда-то во времена холодной войны этот регион играл заметную геополитическую роль, но теперь и в этом отношении все изменилось – эта местность никому уже не нужна, и все хотят покинуть ее, а многие уже и уехали. Жизнь там очень дорогая, так как все товары приходится везти туда самолетом. И люди, естественно, не имеют никаких политических средств, чтобы это изменить. Многим остается одна лишь отдушина в жизни – алкоголь, поэтому и здоровье тут у людей слабое, средняя продолжительность жизни – 43 года. Пишет Рот и про Абрамовича, описывая его как изворотливого авериста, который нажился на приватизации, – «хитром грабительском ходе нескольких бессовестных людей, которым с помощью их приятелей в правительстве или администрации президента удалось отхватить лакомые кусочки русских промышленных монополий». Справедливости ради, Рот замечает – еще один парадокс российской действительности, – что хоть Абрамович и делает не особенно много, но все же неизмеримо больше, чем его предшественник.

Рот встречается с самыми разными людьми – браконьерами, учеными, журналистами (например, Григорием Пасько), жертвами ГУЛАГа. Большинство из них жалуются на бедственное материальное положение, на то, что уже месяцами не получают зарплату. На Кам-

чатке Рот находит такие условия, что часто отключают отопление и электричество. Раньше за энергоснабжение было ответственно государство, а теперь это перешло в частные руки, которые уже не поставляют материалы бесплатно, а население не может заплатить, так как не получает зарплат. Люди предоставлены самим себе без всякой социальной поддержки.

«Москва – это в лучшем случае вершина русского айсберга. Важный город, конечно, ведь там делается та политика, которая частично оказывает фатальное влияние на всю страну. Так было и во времена Советского союза, несмотря на мнимую автономию «Социалистических Советских Республик», из которых потом получились независимые государства. По сути, в России сегодня та же проблема. Она должна удерживать вместе разбегающиеся при удобном случае регионы». И еще одну задачу Москвы Рот видит в том, чтобы проводить такой экономический курс, который бы сглаживал чудовищную разницу между центром и провинцией, или по крайней мере делал бы жизнь людей более сносной. Рот, по его собственным словам, стремится показать современное положение России последовательно – с точки зрения ее жителей, обычных граждан. «Предприятие, которое не везде находит понимание. В первую очередь – не у видных российских политиков и их лобби в стране и за рубежом. К ним относятся и немецкие экономические предприятия, в инвестиционых интересах которых создать наиболее благоприятный образ полжения в России. Образ начинающегося благосостояния и безопасности. Действительсноть, несмотря на некоторые признаки медленного улучшения, для многих все еще далека от этого. Подавляющему большинству населения, конечно, не удалось отхватить кусок этого пирога благосостояния. Да это было бы и не в интересах меньшинства «волков» и коррумпированных государственных чиновников. Ведь тогда их кусок пирога оказался бы гораздо меньше, и не хватило бы на виллу в Ницце, тайные счета в Швейцарии, Люксембурге, Нью-Йорке или Антильских островах. По приблизительным оценкам из России по черным каналам уходит около 50-ти миллиардов долларов в год, если не гораздо больше. Малейшая часть этих денег могла бы, например, принести Чукотке и людям, на ней живущим, если не благосостояние, то по крайней мере немного спокойствия».

Путь к благосостоянию России журналист видит в коренном отказе от коммунистического прошлого и движении на интеграцию с европейскими демократическими странами. Во многих городах Рос-

сии Рот встречает огромное количество статуй Ленина. Автор задается вопросом, не стоило бы снести хотя бы наиболее крупные статуи и похоронить наконец в прямом и переносном смысле тело вождя мирового пролетариата, до сих пор лежащее в мавзолее, а вместе с ним и прошлое. Но многие, к его удивлению, в России оказываются против: «это часть нашей истории», – говорят они. То же относится и к советской символике, еще сохранившейся на зданиях. Понимая, что запад не может диктовать России, как ей обращаться со своим прошлым, журналист все же считает жутким такое игнорирование проблемы прошлого и даже сознательное ее усугубление: Путин ввел в качестве военной символики старое советское знамя и вернул старый гимн.

Рот поднимает старую дискуссию – должен ли журналист освещать только положительные события, чтобы создать максимально позитивный образ России, и тем самым опровергнуть какие-то предрассудки. Рот считает это задачей не журналиста, а рекламного агента: «Да России и не помогут такие приукрашенные репортажи. Только когда человек готов принять действительность такой, какая она есть, ее можно улучшить. А это необходимо. Ведь пропагандистское искривление действительности было повседневным делом в Советском Союзе. <...> У нашего путешествия была противоположная цель: мы хотели показать Россию такой, как она есть». Рот был в России несколько раз и видит, что за последние десять лет условия жизни у большей части населения в провинции сильно ухудшились.

В целом можно сказать, что для немцев Россия – огромная страна на востоке, от которой можно ожидать всего, чего угодно, потому что неизвестно, как там живут люди, что там происходит. Интерес к России в Германии всегда был большим, а в последние два десятилетия особенно возрос, во многом благодаря открывшимся для иностранцев границам нашей страны. Это привело к появлению довольно большого количества книг, в том числе художественных, посвященных России. При таких объемах информации не может быть единого образа России в литературе Германии – он деверсифицирован, мозаичен и противоречив, как это было сразу после Второй мировой войны, так и сегодня. Он состоит из хаотично разбросанных фрагментов представлений о разных эпохах и сферах человеческой жизни. Совершенно противоположные мнения о стране могут встретиться даже внутри одного и того же произведения.

Обобщенный образ России, предстающий перед читателем в произведениях современных немецких писателей и журналистов,

оказывается довольно негативным. И происходит это, скорее, не от враждебных установок авторов, а зачастую от их стремления к объективности. Известные стереотипы, например, что русские много пьют, появились не из воздуха. При желании можно лишь немного сгустить краски. В России, действительно, не соблюдаются законы, многое можно сделать «по блату», нет социальной поддержки населения, что выливается в резкое расслоение общества на очень богатых и очень бедных, а власть бездействует. Отсюда и непонятная для немцев популярность коммунизма в России. Для немца коммунизм – однозначное зло, и даже замечая, что двадцать лет назад положение дел в России было благоприятнее для простых граждан, они не могут понять этих заигрываний со своим коммунистическим прошлым, нежелания с ним расстаться раз и навсегда.

История взаимоотношений между Россией и Германией насчитывает уже около пятисот лет – срок огромный, но скорее в масштабах российской истории, а не европейской, продолжающей традиции античности. Культурную, подсознательную память о таком гандикапе в развитии сохраняют и книги современных немцев, пишущих о России: в них почти повсеместно можно заметить немного надменную тональность, некоторый «взгляд свысока» на происходящее в России, который определяет общий тон повествования: как смотрит учитель на не очень прилежного ученика или старший товарищ на младшего. Немцы, уже давно живущие при «демократии», имеющей историю в две с половиной тысячи лет, обращают свои взоры на Россию, которая только делает первые шаги по западному пути.

ЛИТЕРАТУРА

I. Тексты

1. Baumgart A., Jäneke B. Russlandknigge. – Oldenburg, 2005.
2. Bednarz K. Östlich der Sonne. – Reinbek bei Hamburg, 2002.
3. Bednarz K. Mein Russland. – Reinbek bei Hamburg, 2006.
4. Bednarz K.Ballade vom Baikalsee. Begegnungen mit Menschen und Landschaften. – München, 1998.
5. Bednarz K. Russland. Ein Volk sucht seine Zukunft. – München, 1994.
6. Benjamin W. Moskauer Tagebuch / Hrsg. von G. Smith. Mit einem Vorwort von G. Scholem. Frankfurt a. M., 1980.
7. Berger R. Russland hinter den Schlagzeilen: Erfahrungen eines Moskau-Korrespondenten. – Zürich, 2001.
8. Biller M. Land der Väter und Verräter. – Köln, 1994.
9. Büscher W. Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß. – Hamburg 2004.
10. Däs N. Wölfe und Sonnenblumen. – Baden-Baden, 1969.
11. Däs N. Der Zug in die Freiheit. – Hamburg, 1976.
12. Däs N. Schicksalsjahre in Sibirien. – Berlin, 1985.
13. Dittrich van Weringh K. Abenteuer Moskau. – Köln, 1995.
14. Drawert K. Rückseiten der Herrlichkeit. – Frankfurt a.M., 2001.
15. Drawert K. Reise im Rückwärtsgang. Zwei Dichter unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn. – Zürich, Hamburg, 2001.
16. Fisher-Ruge L. Alltag in Moskau. – Frankfurt a.M., 1986.
17. Fisher-Ruge L. Freiheit auf russisch. Der harte Alltag im neuen Moskau. – Stuttgart, 1995.
18. Fisher-Ruge L. Nadeschda heißt Hoffnung. Innenansichten aus der Sowjetunion. – Frankfurt a.M., 1990.
19. Fisher-Ruge L. Überleben in Russland. Chaos und Hoffnung im Alltag. – München, 2001.
20. Grass G. Im Krebsgang. Göttingen, 2002. (Рус. пер.: Грасс Г. Траектория краба // Иностранная литература. – 2002, № 10)
21. Heinz V. In der Sackgasse. – Stuttgart, 1996.
22. Heinz V. Wo bist du, Vater? // Herbstwind, 1989, S. 123-167.
23. Hilbk M. Sibirski Punk: Eine Reise in das Herz des wilden Ostens. – Berlin, 2006.
24. Kaminer W. Russendisko. – München, 2000.
25. Kaminer W. Militärmusik. – München, 2001.
26. Kaminer W. Die Reise nach Trulala. – München, 2002.
27. Kaudse H. Transsibirien: Titisee-Hongkong per Bahn; eine Reisebeschreibung. Willebadessen. – Düsseldorf, 1990.
28. Konsalik H.G. Natascha. – Köln, 1970.
29. Konsalik H.G. Kosakenliebe. – Köln, 1984.
30. Kossko N. Die geraubte Kindheit. – Ahlen, 1998
31. Kossko N. Am anderen Ende der Welt. – Ahlen, 1999.
32. Krone-Schmalz G. In Wahrheit sind wir stärker. – Düsseldorf, 1990.

33. Krone-Schmalz G. An Russland muss man einfach glauben. – Düsseldorf, 1991.
34. Krone-Schmalz G. Russland wird nicht untergehen. – Düsseldorf, 1993.
35. Krone-Schmalz G. Von der russischen Seele. – Düsseldorf, 1994.
36. Krone-Schmalz G. Straße der Wölfe. – Köln, 1999.
37. Kuhn H. K. Postgeschichte Kaiserreich Russland. – Sinzing, 1999.
38. Kumpfmüller M. Hampels Fluchten, 2000.
39. Lenz S. Ludmila (1996) (Рус. пер.: Ленц З. Людмила // Иностранная литература. – 1998, № 4)
40. Leonhard W. Die Revolution entläßt ihre Kinder. – Leipzig, 1954.
41. Leonhard W. Spurensuche. – Köln, 1992.
42. Lorentz I. Die Tatarin. Rheda-Wiedenbrück, 2005.
43. Mikich S. Planet Moskau. Geschichten aus dem neuen Rußland. – Köln, 1998. Mustafin D. Mein geliebtes Russland. – Holzgerlingen, 2006.
44. Pleitgen F. Durch den wilden Kaukasus. – Frankfurt a.M., 2002.
45. Politycki M. Sonnenbaden in Sibirien // Das Schweigen am anderen Ende des Rüssels. – München, 2003.
46. Poschmann M. Schwarzweissroman. – Frankfurt a.M., 2005.
47. Prieb A. Geiseln: Von Deutschland nach Russland und zurück. – Kleve, 1998.
48. Roth Th. Russisches Tagebuch. Eine Reise von den Tschuktschen bis zum Roten Platz. – München, 2002.
49. Ruge G. Sibirisches Tagebuch. – Berlin, 1998.
50. Ruge G. Der Putsch: Vier Tage, die die Welt veränderten. – Frankfurt a.M., 1991.
51. Ruge G. Weites Land. Russische Erfahrungen – Russische Perspektiven. – München, 1996.
52. Sager D. Russlands hoher Norden. – Berlin, 2005.
53. Schlögel K. Promenade in Jalta und andere Städtebilder. – Darmstadt, 2001.
54. Schlögel K. Im Raume lesen wir die Zeit. – München, 2003.
55. Scholl S. Nataschas Winter. – Berlin, 2006.
56. Schulze, Ingo. 33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in Piter. – Berlin, 1995. (Рус. пер.: Шульце И. 33 мгновенья счастья. – СПб., 2000)
57. Siebert C. Moskau ist anders: über Stöpsel, Brotkanten und das Leben an sich. – Hamburg, 1994.
58. Siegl E. Russischer Bilderbogen. Reportagen aus einem unbegreiflichen Land. – Hamburg, 1997.
59. Steinhaus F. Der Aufstieg des Ikarus. – Wien, 2006.
60. Storm A. Schmetterling im Winter. – 2000.
61. Thauwald P. Russland: Flusskreuzfahrt Moskau St. Petersburg. – Welver, 2006.
62. Timm Uwe. Am Beispiel meines Bruders. – Köln, 2003.
63. Wiedemann D. Taiga Tour. – Markgröningen, 2004.
64. Wolfram L. Störche kennen keine Grenzen. – Giessen, 2004.

II. Исследования

1. Bachmann-Medick D. Verstehen und Mißverstehen zwischen den Kulturen. Interpretationen im Schnittpunkt von Literaturwissenschaft und Kulturologie // Jahrbuch DaF. 13 (1987). S. 65-77.

2. Benz W. Feindbild und Vorurteil. Studien zur Ausgrenzung und Verfolgung. München, 1996.

3. Dietz B., Hilkes P. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten. – München, 1992.

4. Dyserinck H. Komparatistik. Eine Einführung. Bonn, 1981.

5. Dyserinck H. (Ed.) Komparatistik und Europaforschung: Perspektiven vergleichender Literatur- und Kulturwissenschaft. – Bonn: Bouvier, 1992. S. 314.

6. Dyserinck H. (Ed.) Europa und das nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. – . Bonn: Bouvier, 1988. S. 435.

7. Engel-Braunschmidt A. Literatur der Russlanddeutschen // Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch / Hrsg. von Carmine Chiellino. – Stuttgart, Weimar: Metzler, 2000. S. 153-165.

8. Fischer M.S. Nationale Images als Gegenstand vergleichender Literaturgeschichte: Unters. zur Entstehung d. komparatist. Imagologie. – Bonn: Bouvier, 1981. S. 254.

9. Fuchs Anne (Hrsg.) Reisen im Diskurs: Modelle der literarischen Fremderfahrung von den Pilgerberichten bis zur Postmoderne: Tagungsakten des internationalen Symposions zur Reiseliteratur, University College Dublin vom 10.-12 März 1994. – Heidelberg: Winter, 1995. S. 686.

10. Grunwald K. Zum Sowjetunion-Bild bei Anna Seghers. – Diss., Zwickau, 1988.

11. Harth D. (Hrsg.) Fiktion des Fremden: Erkundung kultureller Grenzen in Literatur und Publizistik. – Frankfurt aM: Fischer-Taschenbuch-Verl., 1994. S. 320.

12. Hoffmann J. Stereotypen, Vorurteile, Völkerbilder in Ost und West – in Wissenschaft und Unterricht: eine Bibliographie. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1986.

13. Imagologie des Nordens: kulturelle Konstruktionen von Nördlichkeit in interdisziplinärer Perspektive / Hrsg. von Arndt A. – Frankfurt a.M.: Lang, 2004. S. 309.

14. Kersten S. (Hrsg.) Spiegelungen: Entwürfe zu Identität und Alterität; Festschrift für Elke Mehnert. – Berlin: Frank und Timme, 2005. 521 S.

15. Koch-Hillebrecht M. Das Osteuropabild der Deutschen – das Deutschlandbild der Osteuropäer // Loccumer Protokolle, 18 (1978).

16. Literarische Imagologie: Formen u. Funktionen nationaler Stereotype in d. Literatur / Komparatistische Hefte 2. – Bayreuth: Ellwanger, 1980. S. 128.

17. Maczak A., Teuteberg H.J. (Ed.) Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung. – Wolfenbüttel, 1982.

18. Mehnert E. Ihr schenkt man Vertrauen. Anna Seghers' Beziehungen zur

Sowjetunion und zur Sowjetliteratur // Deutschunterricht, H. 10, 1975. S. 566ff.

18. Mehnert E. Befreite Kunst. Zur Rezeption russischer und sowjetischer Literatur in Deutschland // Wissenschaftliche Beiträge der PH „Ernst Schneller". – Zwickau, 1985, S. 87-93.

19. Mehnert E. Fremde Freunde. Zum Sowjetunion-Bild in der deutschen Literatur. Dokumentation der Imagologie-Konferenz Plzen 1996 // Tradition und Gegenwart der literaturwissenschaftlichen Komparatistik. – Plzen, 1997. – S. 43-63.

20. Mehnert E. (Hrsg.) Imagologica Slavica: Bilder vom eigenen und dem anderen Land / Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1997. S. 168.

21. Mehnert E. (ред.). Миры образов – образы мира = Bilderwelten – Weltbilder: Справочник по имагологии. – Волгоград: Перемена, 2003. С. 93.

22. Mehnert E. Menschen im Krieg – ein imagologischer Sonderfall? Gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und „Sowjetbürgern" // Heukenkamp U. (Ed.) Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945-1961). – Amsterdam, 2001. – S. 67-77.

23. Meyer E. Stereotypen über Russen, Polen und die Bedeutung der Deutschen im östlichen Europa // Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographieunterricht. XV, 1974. S. 62-78.

24. Russlandbilder – Deutschlandbilder // Vorw. v. G. Krone-Schmalz. 2003.

25. Russen und Russland aus deutscher Sicht / Hrsg. v. M. Keller. – 4 Bde. –München, 1985-2000.

26. Sobotka O. Stephan Hermlins Sowjetunion-Bild und dessen Widerspiegelung im publizistischen wie literarischen Schaffen des Schriftstellers. – Diss., Zwickau, 1991.

27. Sorge V. Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis: ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980. – Frankfurt a.M.: Lang, 1998. S. 135.

28. Stanzel F.K. Europäer: ein imagologischer Essay. – Heidelberg: Univ.-Verl. Winter, 1997. S. 113.

29. Tichomirova E. Literatur der russischen Emigration // Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch / Hrsg. von C. Chiellino. – Stuttgart, Weimar: Metzler, 2000. – S. 166-176.

30. Дегтярева В.В. Образ России в немецких путевых заметках XVIII века. – Саратов, 2001. С. 111.

31. Едличко А.И. Образ России в дискурсе немецких СМИ // http://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=36&binn_rubrik_pl_news=195

32. Образы России в научном, художественном и политическом дискурсах. – Петрозаводск, 2001.

33. Чугунов Д.А. Образ России в современной немецкой литературе (проблемы и моменты восприятия) // http://wunder.narod.ru/russlandsbild.html

Т.Н. Красавченко

«ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»?

Образ России в английской культуре

По сей день англичан (и не только англичан) занимает вопрос: кто же такие русские? «Самый восточный из европейских народов или самый западный из восточных?» Так звучит этот вопрос в одном из рассказов Киплинга[1] (сам он явно полагал второе). Подобные сомнения возникли еще у первых англичан, посетивших Россию в XVI в.: вроде бы внешность у русских – европейская, а одежда и, главное, психология, обычай падать ниц перед правителем – явно азиатские, да и царь Московии напоминал султана: он обращался со своими подданными – и знатными, и простыми, как с рабами, распоряжаясь и ими, и их собственностью, как ему угодно.

***

Основа «русского стереотипа», позднее модифицируемого и дополняемого, начинает складываться в записках путешественников – дипломатов, торговцев, посетивших Русь, или Московию в XVI в.[2].

---

[1] Как заявляет один из персонажей в рассказе Киплинга «Бывший»: «Поймите меня правильно: всякий русский – милейший человек, покуда не напьется. Как азиат он очарователен. И лишь когда настаивает, чтоб к русским относились не как к самому западному из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело. Он и сам никогда не знает, какая сторона его натуры возобладает в следующий миг».

[2] См.: *Алексеев М.П.* Очерки истории англо-русских литературных отно-

Конечно, как и любой клишированный образ этнического «Другого», он содержит много негативных черт, порожденных восприятием соседей, ближних и дальних: «они – такие-сякие, хуже нас», ибо сосед всегда конкурент по пространству и природным ресурсам.

Чтобы понять, как формировался «русский стереотип» в Англии, необходимо определить этносоциорамку, историко-культурный контекст, в которые вписывается образ России. Важно помнить, что британцы – островитяне (именно так назвал Евгений Замятин сатирическую повесть о них, 1918) и отличаются от остальной Европы, именуемой в Англии *Континентом*. На протяжении веков им свойственны изоляционизм и ксенофобия, то культивируемые, то преодолеваемые ими, а также необычный для континентальных европейцев (например, французов) патриотизм (достаточно почитать речи У. Черчилля времен Второй мировой войны)[1], сближающий их с русскими, но питаемый не только любовью к родине, но и чувством особой цивилизованности английского общества, порой трансформирующимся в чувство национального превосходства.

Нужно помнить и о том, что траектория британской государственности развивалась по линии ограничения власти монарха, начиная с Великой хартии вольностей 1215 г. (Magna carta). Парламент в Англии как высший орган законодательной власти, юридически состоявший из монарха и двух палат – лордов и общин, возник во второй половине XIII в., хотя до XVII в. был номинальным; но в 1628 г. Карл I по настоянию Палаты общин утвердил «Петицию о праве», ограждавшую частную собственность от произвола монарха и закреплявшую роль и

шений (XI-XVII вв.). Тезисы докт. диссертации. Л., 1937; Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX). М.: Наука, 1982. Матузова В.И. Англо-нормандские повествовательные источники XII-XIIIв. и Русь // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976; Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. М., 1979. Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. М.:МПГУ, 1995.

[1] Например: «Победа любой ценой, – заявляет У. Черчилль в Палате общин английского парламента 13 мая 1940 г., – победа, невзирая на любые ужасы войны, какой бы длинной и трудной ни была дорога, ведущая к ней, ибо без победы у нас не может быть будущего». Или 4 июня 1940 г.: «Мы будем стоять до конца... Мы защитим наш Остров, чего бы нам это ни стоило» (Черчилль У. Мускулы мира. М., 2002. С.511-512, 518). Очень сходно с «русской идеей» противостояния внешнему врагу, даже по риторике.

права парламента и судов; в 1679 г. принят Habeas Corpus Act – закон о неприкосновенности личности (лишь суд в пределах регламентированного срока мог определить законность ареста человека); в 1689 г. «Билль о правах», гарантировавший права парламента, заложил основы английской конституционной монархии. Со второй половины XVII в. и начинается формирование «английской цивилизации».

У англичан была тоже тяжелая история, но пережив беспредел абсолютной власти монарха, революцию, две кровопролитные гражданские войны (1642 – 1646) между роялистами и сторонниками парламента, первое в истории Европы цареубийство (казнь Карла I в 1649 г.), они явно, по крайней мере, в рамках своей страны, осознанно и неосознанно стали создавать «цивилизованное общество». К концу XVII в. оформляются основные политические партии: тори и виги (позднее консерваторы и либералы), с XVIII в. возникает культ «леди» и «джентльмена». Для понимания отношения англичан к России важно и то, что в их стране крестьяне обрели личную независимость к XV в., хотя позднее были уничтожены как «класс» и Англия стала первой в Европе урбанистической нацией.

В России, геополитически также находящейся на окраине Европы, траектория эволюции общества совершенно иная: она ведет к укреплению власти правителя и государства. Однако признавая все своеобразие «британского» и «русского» цивилизационных типов, нельзя забывать о множестве «историко-культурных перекрестков», о связи этих двух стран множеством нитей (конкурентных – торгово-экономических и политических; военно-союзнических, культурных, родством царских домов и т.д.).

* * *

Культурно-общественная специфика Руси, ее явное отставание от Европы определили особенности русского этнического стереотипа в восприятии англичан.

Ричард Ченслор в «Книге о великом и могущественном царе Руси и князе Московском»[1] противопоставляет друг другу живу-

[1] Отчет Ченслора о путешествии по Руси, обработанный с его слов Климентом Адамсом, известен как «Новое плавание и открытие царства Московии по северо-восточному пути в 1553 году, предпринятое рыцарем сэром Х. Уиллоуби и выполненное Ричардом Ченслором, старшим кормчим плавания. Написано на латинском языке Климентом Адамсом».

щих в роскоши власть имущих и бесправный, бедный народ – «дикий», «варварский», «лживый», «хитрый», вместе с тем сильный, бесстрашный, похожий на «молодого коня, еще не знающего своих сил»[1]. Склонность русских к пьянству отмечает Джером Горсей, но он же хвалит богатство, благозвучие русского языка[2]. О «тираническом государстве» и «несчастном угнетенном народе» пишет и Джайлс Флетчер, ученый и дипломат, автор книги «О Государстве Русском, или образ правления Русского Царя...» (1591), пережившей много злоключений[3]. Один из крупнейших поэтов раннего английского Возрождения, дипломат и придворный, Филип Сидни во 2-м сонете поэтического цикла «Астрофил и Стелла» (опубл. 1591) признается своей возлюбленной, рабом которой себя ощущает: «А ныне, волю утеряв свою,/ Как московит, родившийся рабом,/ Хвалу я тирании воздаю <...>[4]. Мотивы «рожденных рабами» московитов и лютой русской стужи постоянны в сочинениях XVI–XVII веков[5]. У Шекспира Русь – это бескрайние просторы, снег, свирепые медведи, грусть зимы, «московиты ледяные» («Бесплодные усилия любви», «Макбет», «Генрих V», «Мера за меру», «Зимняя сказка»); ранняя комедия «Бесплодные усилия любви» (ок. 1595) дает яркое свидетельство того, что в Англии XVI в. русских знали. Маскарадная импровизация с переодеванием в русские костюмы, представленная в комедии, заимствована Шекспиром из хроники Эдварда Холла (ум. ок.1547), апологетической летописи жизни двора Генриха VIII, где описано появление на одном из балов нескольких лордов в русских

См.: Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1937, а также: Алексеев М.П. Англо-русские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). М., 1982. С.18.

1 *Chancellor R.* Cited in: Wilson F. Muscovy: Russia through foreign eyes, 1553 – 1900. L., 1970. P.33.

2 *J. Horsey.* Of Russia and other northeastern regions, опубл.1627.

3 Jiles Fletcher. Of the Russe Commonwealth, Or Manner of Governement by Russe Emperor, 1591. Русский перевод: Флетчер Д. О Государстве Русском. СПб, 1906. Об ее драматической судьбе см.: И. Карацуба. Россия и Англия в зеркале книги Джайлса Флетчера: из истории общественного самосознания и национальных комплексов// Отечественные записки. М., 2007. Т.38. №5. С.53-70.

4 Цит. по: *Алексеев М.П.* Русско-английские литературные связи. С.22. Перевод Ю.С. Ременниковой.

5 См. также 30-й сонет поэтического цикла «Астрофил и Стелла» Ф. Сидни.

костюмах. Еще в XIX в. высказывалась гипотеза: эта сцена навеяна приездом в Англию посольства Ф.А. Писемского (1582) и ходившими в связи с этим по Лондону слухами о сватовстве Ивана Грозного к племяннице Елизаветы[1].

Особое внимание англичан к Руси, а затем России изначально определялось экономическими интересами, отсюда и сразу возникшая конкуренция. Англия искала пути через Северные моря в Индию и Китай. С этой целью приплыл в устье Двины Ченслор, отправившийся потом ко двору Ивана Грозного. Его записки привлекли внимание английских купцов и ускорили создание в Лондоне торговой «Московской компании»[2] (Дж. Горсей – ее торговый агент), она стремилась не только к торговле с Русью, но – самое главное – проложить путь вдоль берегов Северной Руси в Тихий океан. Иван Грозный купцов привечал и был не прочь закрепить союз с Англией женитьбой на королеве Елизавете или хотя бы ее родственнице, однако дальнейшее продвижение по русским северным морям англичанам запретил: это нарушало его собственные планы[3]. Отказал он английским купцам и в торговых привилегиях, с ходатайством о которых прибыло к его двору в 1568 г. посольство Томаса Рэндолфа. Среди разочарованных англичан был служивший при Рэндолфе секретарем, поэт и переводчик Джордж Тербервилл (1540-1610). Москва не стала для него источником благополучия; он создает крайне негативные, саркастические «Стихи о Руси и русских» (1568), содержащие наиболее распространенные клише: чудовищные морозы, тирания, агрессивность, рабство и забитость, лица некрасивы и угрюмы, нравы грубы, люди склонны к пьянству, живут в постоянном страхе утраты имущества или жизни – в общем варварская страна, куда лучше не ездить. Негативное звучание этих стихов несколько смягчила публикация их в сокращенном виде – в книге географа-путешественника Ричарда Хоклита «Главные

---

1 Однако Мария Гастингс, дочь графа Хантингтонского, узнав о его злодеяниях, ему отказала. Но от своего намерения – жениться на англичанке – царь не отказывался до конца жизни. Об этом не раз писали историки. См., напр., Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 1783-1888. Кн.1. Репринт. М., 1990. С.457; М.П. Алексеев. Шекспир и русское государство XVI – XVII веков// Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965. С.787–792.

2 Она просуществовала до 1917 г.

3 Северный морской путь в Тихий океан, как известно, открыл – позднее – в 1648 г. Семен Дежнев.

морские плавания, путешествия и открытия, совершенные англичанами» (1589, 1598-1600), нейтрально-объективной, так как автор заботился об «успехах торговли».

В XVII – XVIII вв. образ русских в восприятии англичан по существу не меняется, оставаясь обобщенным и двойственным: скажем, в пьесе «Верноподданный» (1618) известного драматурга Джона Флетчера русский человек силен, отважен, жаждет справедливости, но рабски покорен власти.

В «Кратком историческом повествовании о Русском государстве» (1645) – его формировании из 24-х княжеств в единое государство, автор, скрывшийся под инициалами Дж.Ф. (J.F.), уже использует термин «Империя» (Empire), а знаменитый поэт Джон Милтон в «Краткой истории Московии и других малоизвестных стран, лежащих к востоку от России вплоть до Китая» (опубликованной посмертно, в 1682 г.) создает своеобразную «политическую географию» России, отобрав из трудов историков, географов и путешественников (Хоклита, Пёркеса, Дженкинсона и др.) наиболее важные для Англии – сведения о Сибири, о путях, ведущих в Бухару, в Китай. Республиканец, он осуждает царя-тирана, русских называет народом нищим, необразованным, пьяницей, лгуном, льстецом[1]. В поэме Милтона «Потерянный Рай [песни 10, 11]» (1667) упомянуты заснеженные астраханские степи, суровый сибирский край, реки – Печора и Обь, полярные ветры, то есть то, чем прежде всего интересовала англичан Московия – путь через Сибирь в Китай.

В целом же в английской литературе XVI и последующих веков типичная особенность образа Руси – «превосходная степень» отзывов о ней: страна не просто большая, а огромная, с богатством несметным, властью абсолютной, рабством полным, нищетой невиданной, морозом ужасным, жизнью суровой, с бурными страстями и кровью, льющейся рекой. Однако образ Руси в Англии XVI-XVII вв. – это еще расплывчатое красочное экзотическое «пятно» – снега, медведи, тирания, дикость, хотя Русь уже изучали (тот же Милтон), появилась первая европейская – оксфордская «Грамматика русского языка» (1696) Г.В. Лудольфа, первые записи русских былин и песен и замечательный русско-английский словарь писателя и поэта Ричарда Джемса, побывавшего в 1618–1620 гг. в России в свите посольства Дадлея Диггса. Но в целом главное впечатление от страны, как заметил автор

[1] *Milton J.* A Brief history of Moscovia. L.,1929.

знаменитого «Дневника с 1650 по 1669» (опубл.1825) Сэмюел Пипс, «Россия – это печальное место»[1].

***

Своеобразный «прорыв» в восприятии России англичанами – двухмесячный визит Петра I в Лондон, длившийся с февраля по 21 апреля 1698 г. По словам крупного английского историка XIX в. Т.Б. Маколея, путешествие Петра в Англию – «эпоха в истории не только его страны, но и нашей, и всего человечества. Государство, которым он правил, до сих пор было для образованных наций Европы тем, что для нас теперь Бухара или Сиам <...>. Молодой дикарь, в 17 лет ставший самодержцем громадного пространства земель от границ Швеции до границ Китая, <...> этот юноша, не получивший и такого образования, какое получает сын английского фермера или мелкого торговца, задумал гигантские реформы, выучился некоторым из языков Западной Европы настолько, чтобы говорить с цивилизованными людьми <...>»[2]. Однако восхищение обширным умом Петра, его «талантами отличного полководца и государственного деятеля» сочетается у Маколея с привычным восприятием русского как варвара: «Его величественная фигура, его лоб, показывавший ум, его проницательные черные глаза, его татарский рот и нос, его приветливая улыбка, выражение страсти и ненависти тирана-дикаря в его взгляде, когда он хмурил брови, и в особенности странные нервические конвульсии, по временам обращавшие на несколько секунд его лицо в предмет, на который нельзя было смотреть без ужаса, громадное количество мяса, которое он пожирал, пинты водки, которые он выпивал, <...> шут, юливший у его ног, обезьяна, гримасничавшая у спинки его стула, – все это было несколько недель любимым предметом разговора»[3] в Лондоне.

Одобрительно отзывается о Петре известный эссеист XVIII в. Ричард Стиль. С его точки зрения этот великодушный государь стремится к «исправлению отвратительного невежества и грубого образа

---

1 The Diary of Samuel Pepys. Vol.V, 1664 / Ed. by *Robert Latham a. William Mathews*. L.: G. Bell a.Sons Ltd, 1974. P. 272.

2 *Маколей Т.Б.* Полное собрание сочинений. Т. XIII. История Англии. СПб., 1865. С.62.

3 Там же. С.65-66.

жизни» своего народа[1]. И в опубликованной в 1722 г. анонимно книге Даниела Дефо «Беспристрастная история жизни и деяний Петра Алексеевича, царя Московии: от его рождения и до наших дней, написанной британским офицером, служившим в царской армии» Петр представлен как просветитель русского народа, «искатель мудрости», ревностно изучающий науки. Дефо – первый английский романист, написавший о России. Его интерес к Петру объясним просветительской ориентацией писателя, размышлявшего о наилучшем общественном устройстве. Во второй части романа «Робинзон Крузо», повествовании о путешествии героя по Сибири, куда тот попал на обратном пути из Китая в Англию, используются «традиционные оппозиции»: неограниченная власть/верноподданичество народа; дикость простолюдинов/просвещенные и зажиточные тобольские дворяне –примечательно, что Дефо замечает появление в России просвещенных людей. Эта книга – первое художественное описание путешествия англичанина – вымышленного персонажа, по России (Сибири).

Последние годы царствования Петра – время соперничества Англии и России, даже получившие название «холодной войны». В 1730-е годы отношения восстанавливаются. Императрица Анна Иоанновна в 1734 г. подписала выгодные для Англии условия торговли. При Елизавете Петровне Россия заключила с Англией военный союз. При Екатерине II Россия – «признанная участница» европейского сообщества: ее силы и могущество очевидны Западу[2]; однако Англию, при всех коммерческих выгодах союза с Россией, начинают беспокоить ее растущие влияние и сила, ее военные победы над Османской империей.

Тем не менее связи между странами крепнут: из Англии в Россию приезжают уже не только дипломаты и торговцы, но и художники (Джордж Доу, Ричард Бромптон, Джеймс Уокер, Джон Аткинсон и др.), архитекторы, врачи, ремесленники, любознательные путешественники – туристы (travellers for curiosity) (Эндрю Суинтон[3]), их интересует не коммерция, а страна как таковая. Новая категория англичан – ту-

---

[1] Журнал «Spectator» («Зритель»), 1711, №139; цит. по: Избранные листки из Английского «Зрителя» и некоторых других периодических изданий того же рода. Кн.VI. М., 1836. С.27-36.

[2] *Соколов А.* Навстречу друг другу. Россия и Англия в XVI–XVIII вв. Ярославль, 1992. С.206, 279.

[3] *Swinton A.* Travels into Norway, Denmark and Russia in the Years 1788, 1789, 1790 and 1791; 1792.

ристы – появляется в России с 1760-х гг.; ими написано много книг, в значительной степени сформировавших образ страны. Британская община в Петербурге во второй половине XVIII века насчитывала полторы тысячи человек, у нее были своя церковь, Английский клуб (с 1770 года), гостиница, появилась даже Английская набережная.

Первый русский писатель, изданный в Англии – А.П. Сумароков. Дипломат Джордж Макартни назвал его и Ломоносова «уникальными гениями» и писал о том, что Западной Европе нужно рассматривать Россию «не как отдаленную, слабо светящуюся звезду, а как большую планету, вошедшую в европейскую орбиту; ее место окончательно еще не определилось, но своим движением она сильно влияет на окружающие ее планеты»[1]. Примечательны «Анекдоты о Русской империи в ряде писем, написанных несколько лет назад из С.-Петербурга» (1784) коллегой Адама Смита по университету Глазго – поэта и литературного критика – Уильяма Ричардсона, и «Путешествия по Польше, России, Швеции и Дании» (1784) Уильяма Кокса, включившего в свою, ставшую широко известной в Европе, книгу и «Очерк о начале и успехах российской словесности».

Приблизительно в это же время среди англичан появляются первые русофилы: писательница Фанни Берни записала в дневнике, что впервые жизни встретила русского в 1772 г., и он всегда будет для нее «воплощением вежливости и хорошего воспитания»[2]. Преобладали, однако, настороженные оценки. Писатель Оливер Голдсмит, устами «китайского философа» (прием характерный для литературы эпохи Просвещения) пророчит: «Я вижу в русской империи естественную соперницу западных областей Европы, при том соперницу уже сильную <...>. Заветным желанием их Петра было обзавестись крепостью где-нибудь в Западной Европе <...>. Такая крепость в руках русских равносильна воротам шлюза: <...> они могли бы затопить весь западный мир <...> наводнением варваров»[3].

---

[1] *Macartney G.* An account of Russia. L., 1768. Цит. по: *Алексеев М.П.* Русско-английские литературные связи. С. 123 – 124.

[2] Англофилия у трона. Британцы и русские в век Екатерины II. Каталог выставки. Составитель Энтони Кросс. – Издание Британского Совета, 1992. С.94.

[3] *Голдсмит О.* Гражданин мира, или Письма китайского философа. М., 1974. С.221. Опасение Оливера Голдсмита, высказанное в 1762 г., сбылось в конце XX в.: «российский шлюз» был открыт и началось «завоевание», по выражению Петра I, «очень красивого острова Англия»

Исторический фон в XIX в. в целом неблагоприятен для российско-британских отношений. В 1807 г. по Тильзитскому мирному договору Россия вынуждена присоединиться к континентальной торговой блокаде Англии. В начале XIX в. победы русских над Наполеоном вроде бы должны вызывать восторги союзников, но «синдром Голдсмита» в британском общественном мнении усиливается: Россия – слишком могучая страна, от нее можно ожидать что угодно вплоть до прямой агрессии. В этом контексте объяснение публицистами, историками и поэтами-романтиками (Р. Саути, Дж.Г. Байроном, У. Вордсвортом) русских побед суровым климатом – «морозом», «снегом», «холодом», свидетельствует о возникновении особого комплекса по отношению к

(отмечу, что как для британцев все приезжающие из России – русские, так и для россиян все жители Великобритании: валлийцы, шотландцы, корнуольцы – англичане, а вся страна, включающая в себя, помимо Англии, – Шотландию, Уэльс, Корнуолл, Ольстер – Англия). Завоевание это происходит не так, как в грезилось известному писателю Кингсли Эмису в романе «Игра в прятки по-русски» (1980), где русские, захватив Альбион, переименовали его в Английскую демократическую республику, закрыли школы, сожгли все книги. И британские, и российские СМИ пишут о хлынувшей в Лондон «волне» «новых русских» (среди них олигархи – узкое, хотя и наиболее денежное меньшинство), скупающих по баснословным ценам недвижимость в самых престижных районах Лондона (Кенсингтон, Челси, Белгравия, Хэмпстед, Мэйфер) и именуемых в Британии «новыми арабами» (арабов и американцев они «переплюнули»). В настоящем в Лондоне – более 300 тысяч русских. В отличие от традиционного для русской культуры «мифа Парижа», «новых русских» (Париж кажется им скучным и провинциальным) влечет к себе «миф Лондона» – как «идеала цивилизованного общества», надежного, солидного, но с развлечениями, оживленной ночной жизнью и т.п. У русской общины в Лондоне две газеты, две православные церкви, магазины, регулярно проводятся Российский экономический форум, балы и пр. Есть в Лондоне и «бедные», но цепкие русские, использующие законы Англии об учебных грантах, пособиях, о сквотерах (согласно последнему достаточно, захватив заброшенный дом, вывесить табличку о неприкосновенности частной жизни, см. фильм Андрея Лошака «Лондонград»). Возможно, с «новыми русскими» пришло и такое новшество: 40 лет назад коктейль Джеймса Бонда из мартини с водкой олицетворял для британского зрителя нечто таинственное, опасное, запретное; теперь, вытесняя виски, водка становится любимым напитком англичан («Independent», L., 2002. 2.12.) Выразительная деталь в фильме Лекси Александер «Зеленая улица»(«Green Street», 2005): один из персонажей, раскаиваясь в предательстве, напился в стельку и валяется у реки на лавке, а под ней крупным планом бутылка водки «Спутник» с этикеткой «Produce of Russia».

России: дескать, без своего мороза они бы не победили (что противоречило фактам: в Париже, где русские казаки купали своих коней в Сене, мороза не было). Мэри Шелли в романе «Франкенштейн» использует расхожие представления о России как о диком, холодном и загадочном крае, противопоставляемом цивилизованной Швейцарии. Двойственно отношение к России Байрона: она и притягивала, и отталкивала его («Дон Жуан», 1818-1823); он ввел новую «русскую оппозицию»: «лед/огонь»: огонь свободы (пламя пожара Москвы) растопит лед тирании («Бронзовый век», 1823). Политика все более оказывала влияние на литературу и общественное мнение: Николая I называли «русским медведем», жестоко расправившимся и с декабристами, и с поляками (подавление восстаний 1830, 1846 и 1848 гг.). Книга Роберта Лайелла «О характере русских»[1] негативностью суждений превзошла все прежние сочинения англичан, побывавших в России.

Вся вторая половина века, начиная с Крымской войны (1853 – 1856), протекала под знаком острого противостояния двух самых сильных империй той поры – России и Англии. Тем не менее политика не помешала расширению русско-английских литературных связей. В XIX в. в Англии вышло не менее трехсот книг о России – значительно больше, чем в предшествующие века[2]. В 1855 году в журнале «Домашнее чтение», издаваемом Диккенсом, напечатаны рассказы И.С. Тургенева из «Записок охотника»[3]. В творчестве Диккенса Россия ассоциировалась все с теми же мотивами «мороза», «обилия, богатства». Вполне тривиален и образ русского в романе Эдварда Булвер-Литтона в романе «Деверье» (1829): это свирепый дикарь, похожий на медведя; далее следует весь «набор»: северные ветры, холод, мороз, лед; роскошь царского двора; смирение, терпение русского «раба». Альфред Теннисон в сонете «Польша» (1832) называет царя, угнетающего поляков, «московитом с ледяным сердцем». В поэме «Иван

---

1 *Lyall R.* The Character of the Russians. L., 1823.

2 См.: *Михальская Н.П.* Образ России в английской художественной литературе IX – XIX вв. С.75-144. Расширение англо-русских связей обстоятельно исследовано в фундаментальном труде М.П. Алексеева «Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века)».

3 Имена переводчика и автора сопроводительной статьи (где говорилось о деспотизме Николая I и гуманизме Тургенева) не были названы, но явно, что это было сделано при участии Диккенса.

Иванович» (1879) Роберта Браунинга образ России усложнился и обрел зловеще-пророческий характер. Поэт рассказывает «леденящую кровь историю» о том, как мать, спасаясь от преследующих сани волков, бросает им своих детей. Волкам, пожирающим невинных детей в этой холодной, снежной, полночной дикой стране, Браунинг уподобляет сатанинскую власть царя, забирающего у матерей их сыновей для воинской службы. Божий суд и волю осуществляет «мужик Иван Иванович», убивающий топором грешную мать; деревенский сход и священник его оправдывают. В поэме фигурируют два атрибута российской действительности – икона и топор, позднее приобретающие для западного восприятия России эмблематический характер (именно так – «Икона и топор» назвал в 1966 г. свою книгу о России американский историк Дж. Биллингтон). В пьесе Оскара Уайлда «Вера, или Нигилисты» (поставлена в 1882-м) царь-тиран мучает смиренный, терпеливый народ и погибает от руки нигилиста-террориста; сменивший его сын готов к реформам и введению парламента, то есть автор явно «наслышан» о том, что происходит в России и, полный благих намерений, предлагает выход из ситуации «английского образца». А.Ч. Суинберн в оде «Россия» (1890) использует библейские и литературные (Данте) реминисценции: вся страна и ее народ ввергнуты в ад, царь – сатана, а единственный источник божественного света – *красная звезда* будущей кровавой расправы с ним. Так, английские литераторы живо, порой пророчески, реагировали на то, что творится в России.

Расширению представлений англичан о России существенно содействовали политэмигранты из России: в 1852 г. в Лондоне поселился А.И. Герцен, основавший Вольную русскую типографию (1853); в 1880–1890-е годы там жил Степняк-Кравчинский, по чьей инициативе в 1890 г. создано «Общество друзей русской свободы», издававшее ежемесячник «Free Russia». Ему помогали английские социалисты Уильям Моррис, Сидни Вебб и близкие им Э.Л. Войнич, К. Гарнет.

Пожалуй, именно Констанс Гарнет (1862–1946) по-настоящему открыла соотечественникам русскую классику: прозу Тургенева (в 1879 г. он избран почетным доктором Оксфордского университета), Л. Толстого, Достоевского, Чехова. Русскую литературу пропагандировали – ее муж, литературный критик Эдвард Гарнет, журналист и переводчик Уильям Ролстон и др. Англия «ахнула», открыв для себя мир русской классической литературы. О явном воздействии русской

прозы на европейскую литературу, особенно на английский роман, о том, что вскоре англичанам будет просто необходимо изучать русский язык, писал в статье «Граф Толстой» крупнейший литературный критик и философ культуры второй половины XIX в. – Мэтью Арнолд[1]. Действительно, в 1889 г. было введено изучение русского языка в Оксфорде, в 1893 г. создано Англо-русское литературное общество, в его отчетах (The Anglo-Russian Literary Society Proceedings), печатавшихся с 1916 года, помещались и переводы произведений русских писателей.

***

Во время Первой мировой войны, когда Англия и Россия вновь оказались союзниками, Англию охватила эпидемия культурной русомании. Рэчел Мей определяет упомянутый период как время «одержимости русскими»[2] в Британии. В Лондоне был издан иллюстрированный сборник статей «Душа России». Понятие «русская душа» не сходит с уст английских писателей и критиков. Именно *душа*, по мнению Вирджинии Вулф, – главное в русской прозе[3], в 1919 г. она пишет о «чертах святости» в «каждом великом русском писателе»[4]. Ей, как и другим британским модернистам (Т.С. Элиоту, Д.Г. Лоуренсу, К. Мэнсфилд) не свойственно отношение к России как к культурно отсталой стране, они ищут и находят новые художественные формы у русских романистов, у художников, в русском балете. Их русомания, основанная на интересе к необычным, «странным» качествам русского искусства – на всем, что противопоставляло его «цивилизации, построенной на порядке»[5], являлась своеобразным бунтом против викторианства.

Русское искусство как источник инновационных идей, наряду с восточными, архаичными, примитивными искусствами, высоко ценит один из теоретиков модернистской группы «Блумсбери» – искусство-

---

1 *Arnold M.* Count Leo Tolstoy // The Forthnightly review. L., 1887. Vol.XII.

2 *May R.* The Translator in the text: On reading Russian literature in English. Evanston, 1994. P.30-31.

3 *Woolf V.* The Common Reader. 1st series . L., 1938. P.177.

4 *Woolf V.* Modern novels // The Essays of Virginia Woolf. Ed. A.McNeillie. Vol.3. L.: 1988. P.35.

5 Выражение из рецензии В.Вулф на рассказы Чехова: The essays of Virginia Woolf / Ed. McNeillie A. L., 1988. Vol.3. P.84.

вед Роджер Фрай, считающий, что культурную иерархию, сложившуюся в западном искусствоведении, следует пересмотреть.

Это не означало, что британцы перестали считать русских «дикарями», «варварами», но в начале XX в. восточный колорит, «инакость», с которыми до той поры ассоциировалась Россия, превратились в их восприятии в символы современности и свободы.

В 1912 г. Наталия Гончарова и Михаил Ларионов участвуют в Лондоне во Второй постимпрессионистской выставке. Комментируя эскизы М. Ларионова к балету «Детские сказки», впервые показанному в Лондоне в 1919 г., Фрай отмечает в них «яркую выразительность цвета, напоминающую о русском крестьянском искусстве и детских игрушках»[1]. А в самом дягилевском балете Фрая привлекает использование фольклорных мотивов как форм поиска ультрасовременных методов сценического воплощения.

Дягилевский балет англичане впервые увидели 21 июня 1911 г. Публика была очарована восточным колоритом «Шехерезады» и русскими народными мотивами в музыке и декорациях «Князя Игоря», «Жар-птицы» и «Петрушки». Газета «Таймс» восторженно отозвалась об «исполненных дикой радости пантероподобных прыжках танцоров» в «Князе Игоре» и «чувственной томности» «Шехерезады». Английское увлечение русским балетом продолжилось и после войны: в 1921 г. Т.С. Элиот восхищался музыкой И. Стравинского к балету «Весна священная», напоминавшей дух «первобытного ритуала» и в то же время очень современной[2]. Восхищение англичан русским балетом подтверждало «центральный парадокс модернизма: самое сложное достижение настоящего есть возвращение или новое истолкование архаического»[3].

В 1930 г. Фрай составляет каталог выставки русских икон в Музее Виктории и Альберта, где излагает свои соображения о «невероятном различии между русской и западно-европейской ментальностью»[4].

---

1 *Fry R.* M. Larionow and the Russian Ballet (1919) // A Roger Fry Reader. Ed. Reed C. Chicago; London, 1996. P. 291

2 *Eliot T.S.* London letter // The Dial. 1921. October. P. 452.

3 *Bell M.* The metaphysics of modernism// The Cambridge companion to modernism / Ed. Levenson M. Cambridge, 1999. P. 20.

4 *Fry R.* Russian Icon-Painting from a Western-European point of view // Masterpieces of Russian Painting: Twentycolour plates and forty-three monochrome reproductions of Russian icons and frescoes from the XI to the XIII centuries. Ed. Farbman M.L., 1930.

Среди необычных качеств русской иконографии он называет «лихорадящую, беспокойную яркость, глубину красок и интимность чувства», а также сосредоточенность на «движениях души»[1] и черты «восточных влияний».

Варварский русский тип сознания был темой многих французских рецензий русской литературы, в начале XX в. в больших количествах переводившихся на английский. Знакомство В. Вулф с Достоевским – во французском переводе она прочитала «Преступление и наказание» в 1912 г., совпало с возникновением того, что позднее получит название «культ Достоевского»: период повышенного интереса к этому русскому писателю длился с 1912 до 1921 г.; в эти годы издательство Уильяма Хайнеманна регулярно публиковало переводы его произведений, сделанные Констанс Гарнет[2]. Первый английский перевод Достоевского, сделанный Фредериком Уишоу появился в 1880-е годы, но до К. Гарнет читатели предпочитали французские переводы романов Достоевского. Кроме того, наиболее авторитетной работой о русской литературе долгие годы, даже после появления английских исследований, оставалась книга француза Мельхиора де Вогюэ «Русский роман» (1886), где Достоевский представлен как «существо с другой планеты», «ненормальное чудовище», «воплощение темной примитивной России», «религии страдания», «подлинным скифом», что оказало воздействие на несколько поколений читателей[3]. В течение двух десятилетий о Достоевском почти ничего не писали. 1912 год стал поворотным в восприятии его в Англии. По словам Фрэнка Суиннертона, тогда консультанта в известном лондонском издательстве «Чатто энд Уиндус», в тот год в Лондоне «все мало-мальски интересующиеся литературой с неистовым восторгом зачитывались» переводом К. Гарнет «Братьев Карамазовых» как «величайшим романом всех времен»[4].

В Англии той поры было модно не считать русскую литературу плодом западной цивилизации. Сказалось влияние де Вогюэ, видевшего черты «русского крестьянина» в портретах Тургенева и Достоевского. Д. Протопопова считает, что именно идеи де Вогюэ о Тургеневе как воплощении подлинных русских особенностей – непосредствен-

---

1 Ibid. P.36, 42.

2 Последний, тринадцатый том появился в 1920 г.

3 *Lord R.* Dostoevsky: Essays and Perspectives. L., 1970. P. 3.

4 Swinnerton F. The Georgian literary scene. L., 1935. P. 144.

ной доброты сердца, естественной простоты, отсутствие эгоизма, дали импульс британским русофилам – Грэму и Макейлу: они шли по стопам де Вогюэ, утверждая в 1910-е годы, что Россия ассоциируется с двойственностью – сочетанием варварства и духовности[1]. Одна из ведущих британских русистов того времени Джейн Эллен Хэррисон (1850 – 1928) объясняла свое увлечение Россией тем, что какой бы дикой ни была эта страна, она гораздо более любого другого народа озабочена проблемами духа, «и это бесценно»[2].

Художественное «буйство» Достоевского, проникновение в глубины «темнейших душ» – постоянный мотив отзывов В. Вулф, напоминавших об образе «дикой, не укрощенной цивилизацией» России, привлекавшей англичан в русском балете и русском народном искусстве. Чем больше англичане узнавали Достоевского, тем чаще признавали его уникальность. Романист Арнолд Беннет в эссе «Тургенев и Достоевский» (1910), охарактеризовав «непосредственный, неосознанный реализм русских», противопоставляет «высший и ужасный пафос» Достоевского «спокойной и изысканной мягкой красоте» Тургенева[3]. Дж. Литтон-Стрейчи назвав Достоевского «одним из наиболее характерных *русских* писателей», считал, что «видимо, именно это помешало его популярности в Англии»[4]. Атмосфера романов Достоевского, по словам Стрейчи, «взволнованная, лихорадочная, напряженная» явно контрастировала с атмосферой обычного английского романа. Перси Лаббок в 1912 г. утверждал, что Достоевский по «складу ума и литературному методу гораздо более чужд западной литературной манере, чем два великих романиста [Толстой и Тургенев]»[5]. Достоевский был признан самым сложным и самым русским автором. Защищать русское стало наиболее популярным путем утверждать нонконформизм своих собственных литературных вкусов.

---

1 *Protopopova D.* Dostoevsky, Chekhov, and the Ballets Russes: Images of Savagery and Spirituality in the British Response to Russian culture, 1911 – 1929 // The New Collection Journal.Oxford: New College. 2008. Vol. 3. P. 28-41.

2 *Stewart J. Jane Ellen Harrison:* A portrait from letters. L., 1959. P. 155.

3 *Bennett A.* Books and persons: Being Comments on a past epoch, 1908 – 1911. L.> 1917. P. 209, 212-213.

4 [Strachey L.] Dostoievsky [рец. на перевод К. Гарнетт «Братьев Карамазовых] // The Spectator .L., 1912. 28 Sept. Strachey L. Spectatorial essays. L., 1964. P. 174-175.

5 [Lubbock P.] Dostoevsky // Times Literary Supplement. L., 1912. July 4.

Несмотря на постоянные упоминания о «современности» Достоевского («Бесы» расценивают как предвестие русской революции), тем не менее не его, а Чехова, признают наиболее подлинным новатором, экспериментатором. Его признание в Англии происходит параллельно формированию «культа Достоевского». Первый английский перевод Чехова вышел в 1903 г. – «Черный монах и другие рассказы» в переводе Р. Лонга[1], но лишь в 1916 г. издательство «Chatto and Windus» издало сборник «Повестей Чехова» в переводах К. Гарнет, с тех пор он стал широко известен в Британии. Положительные рецензии о Достоевском и Чехове (Дж.М. Марри, Э. Гарнетта) – часть общей «модернистской кампании» за освобождение искусств, повседневной жизни, личности от викторианских норм. У Чехова находят «революционный повествовательный метод»[2]. В 1923 г. Уильям Джехарди, романист и автор первой английской монографии о Чехове, считает, что именно Чехов освободил литературу от «аффектации» и «неискренности»[3]. Поиск «новых ракурсов восприятия мира» объединяет модернистов в их отношении к Достоевскому, Чехову и постимпрессионистам. Вулф и другие выделяют в творчестве Достоевского и Чехова те же качества, за которые Р. Фрай ценит Ван Гога.

Тем не менее с начала XX в. и до наших дней Чехову принадлежит совершенно особое место в английском культурном сознании. Пожалуй, лишь он позволяет говорить о редком для Англии случае приятия иностранного, чужого писателя как «своего», настолько своего, что порой наблюдается парадоксальное «присвоение» приоритета на подлинность понимания его наследия. Английские литературоведы, театральные режиссеры вписывают Чехова в английскую комедийную классическую традицию, идущую от Шекспира. Чехова ценят за глубокий психологизм, нравственную взыскательность, неприятие несовершенств жизни, то есть вроде бы за то, что свойственно и Достоевскому, и Толстому, но у него представлено без присущего им «русского максимализма», без надрыва, дидактики, тонко, с мягким юмором, «тихим голосом» – в «английской манере». Писавший на исходе русской классической традиции, Чехов

---

[1] См. также: *Chekhov A.P.* The kiss, and other stories/ Transl. By Long R.E.C. L.: Duckworth, 1908. Отрецензированы: Bennett A. Tchehkoff// Books and persons. L.> 1917. P. 117-119.

[2] *Protopopova D.* P. 39.

[3] *Chekhov:* The critical heritage/ Ed. Emeljanow. L., 1981. P. 252.

как творческая личность ближе «западному человеку», «европейцу»: ему свойственны индивидуализм, ирония, ощущение «холода бытия», сдержанность, «хороший вкус»; по словам видного английского театрального критика Кеннета Тайнена, англичане наполнили «Вишневый сад» «тоской по прошлому, свойственной английской культуре, но чуждой Чехову», и наградили его «почетным званием англичанина»[1].

Что бы ни говорилось о воздействии Достоевского на английских писателей – от Р.Л. Стивенсона, Дж. Конрада, Д.Г. Лоуренса, В. Вулф, О. Хаксли до А. Мердок, Дж. Фаулза[2], несомненно, он, как и Л. Толстой, поразили англичан, произвели на них глубокое впечатление, но не были им близки, что объяснялось глубинными различиями английского и русского социумов. Британскому либерально-консервативному индивидуализму чужды общинно-коллективистская идеология, апелляция к традициям христианской общины, характерные для русской культуры, ориентированной на общественную гармонию как высший идеал. К этому коренному различию ценностных установок добавлялось также иное чувство пространства, пейзажа, иная логика национального характера, масштаба и откровенности личностных проявлений – это рождало у английских писателей и читателей ощущение любопытного, даже привлекательного, но «чужого», принадлежащего иному культурному миру, иному цивилизационному типу,– отсюда бесконечные рассуждения о «загадочности», «о мистической русской душе», отсюда двойственность восприятия – тяготение и отторжение.

Вместе с тем период 1910 – 1925 гг. был фундаментально новым этапом, ознаменованным интересом к русской литературе и культуре среди британских интеллектуалов. В эти годы основной стереотип о России основывается на ее эмоциональной и духовной исключительности. До XX в. британские мыслители и литераторы видели в России соперницу западной цивилизации, связанную с Востоком и архаикой. Эти представления не исчезли в период союзничества в Первой мировой войне, но изменился ракурс: теперь Восток и архаика, вызвав значительный интерес у модернистов, дали повод возникновению моды на все русское в первые два десятилетия XX в. На основе модернист-

---

[1] *Тайнен К.* Московская метла // Современный английский театр. М., 1963. С. 193.

[2] См.: *Хуснулина Р.Р.* Английский роман XX века и наследие Ф.М. Достоевского.Казань: изд-во Казанского ун-та, 2005. С. 259.

ских представлений об искусстве и литературе России, сложился образ русских как народа «более страстного», чем англичане» (такова запись В. Вулф в дневнике 9 марта 1926 г.).

Суждения о русских писателях и художниках, высказанные В. Вулф и другими модернистами, определили характер восприятия России на Западе не менее, чем роман Джозефа Конрада «Глазами Запада» (1911) или книга сэра Исайи Берлина «Русские мыслители» (1978). «Образ принцессы Саши в романе В. Вулф «Орландо» (1928) и ее афоризм о том, что «душа» – главная особенность персонажа русского романа [эссе «Русская точка зрения»], как отмечает Д. Протопопова, – вошли в число неизбежных ассоциаций, возникающих в западном сознании при упоминании России»[1].

***

До конца XIX – начала XX веков, несмотря на многовековые взаимоотношения в области торговли, внешней политики англичане не вникали в суть России; они, что уже отмечалось, смотрели на нее свысока как на менее цивилизованную нацию. Снисходительность нередко проглядывает даже у благожелательно настроенных поклонников России, каким был, например, сэр Бернард Пейрс (1867 – 1949)[2], до 1939 г. возглавлявший Лондонскую школу славистических и восточноевропейских исследований (SSEES). *Как заметил Р. Хингли:* «Читаешь смущающе наивные суждения английского пионера русских исследований <...> сэра Бернарда Пейрса и чувствуешь, что хочется протестовать от имени огромного народа, который тот так самодовольно взял под свое крыло»[3].

«Первоклассным знатоком дореволюционной России»[4], возможно, первым серьезным исследователем ее был шотландский историк, правовед, публицист сэр Доналд Макензи Уоллес (1841 – 1919). Приехав в Петербург в марте 1870 г. по частному приглашению на

---

1 *Protopopova D.* P.41.

2 Б. Пейрс (B. Pares) – автор книг «День за днем с русской армией» (1915) – он был британским военным, наблюдателем в русской армии; «История России» (1926), «Падение российской монархии» (1939); в 1922 г. он создал журнал «The Slavonic Review».

3 *Hingley R.* Russian Mind. L., 1977. P. 167.

4 Dictionary of National Biography, 1912 – 1921. L., 1927. P. 549.

несколько месяцев, он пробыл в России до декабря 1875 г., почти шесть лет, и в 1877 г. опубликовал двухтомный труд «Россия» (доп. переизд. 1905, 1912, рус. пер. 1880), широко известный в Англии и США и переведенный на большинство европейских и некоторые азиатские языки. Это первое системное исследование России – ее жизни, сельской общины, сословий, городов, правительства и чиновников, земства, ее железных и обычных дорог, революционного движения в его разных фазах. Оно написано ясно, без морализаторства, живо рисует людей и страну. Ученого прежде всего интересует сравнительный анализ России и Европы. Он ясно понимал отличие России от западноевропейских стран, значительную роль для нее, которую играла в ней централизованная система управления, видел, как велик груз проблем, связанных с государственнической идеологией. Но отмечая, что без «строгого, централизованного управления, Россия никогда бы не могла сделаться великою европейскою державою» (об этом писали и российские историки – Карамзин, Иловайский), он высказывает и то, о чем они не писали: «Стремясь к осуществлению планов, которым народ не сочувствовал и которые он мало понимал, правительство естественно как бы отделялось от народа; оно всегда смотрело на своих подданных, как на несовершеннолетних, неспособных понимать его политические планы и весьма мало компетентных, для того, чтобы управлять своими местными делами. Понятно, что чиновники действовали в том же духе. Руководствуясь только указаниями и одобрением своего начальства, они систематически обращались с теми, которыми они управляли как с завоеванной и подчиненной расой. Таким образом, государство сделалось абстрактным существом, имеющим совершенно другие интересы, чем люди, его составляющие, и повсюду, где только предполагается государственный интерес, частные интересы немилосердно приносятся ему в жертву»[1]. Лично знавший Николая II, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и других важных «актеров» российской политической сцены, не говоря уж о «земцах» и крестьянах, он глубоко прочувствовал Россию. Ему чужды революционеры-радикалы, как и все политики, надеявшиеся «за одну ночь» изменить Россию. Он был сторонником постепенного, с учетом национального своеобразия, преобразования страны в течение восьми–десяти лет или даже жизни нескольких поколений; быстрые изменения в ней в конце XIX – начале XX веков давали ему основания надеяться на ее

[1] Отечественные записки. 1880. №11, ноябрь. С. 48-49.

постепенное, но уверенное продвижение по пути «западной цивилизации» (его термин).

Среди английских русофилов начала XX в. выделяются два автора: Морис Бэринг и Стивен Грэм. Еще в начале 1900-х они пришли к выводу, что их стране необходима «духовная помощь России, способная излечить Британию от коммерциализма и материализма», это мнение разделял и Джон Уильям Макейл[1]. Каждый из них на свой лад мифологизировал Россию.

Романист, поэт, драматург и эссеист Морис Бэринг (1847–1945), окончивший привилегированную Итонскую школу и Кембриджский университет, в 1905 г. работал военным корреспондентом лондонской газеты «Морнинг стар», освещая события русско-японской войны. После ее окончания жил в России (до 1912 г.), изучал русскую культуру, писал корреспонденции для «Морнинг пост» и «Таймс». Его книги о России – своего рода образец классики европейского либерализма. Среди них: «С русскими – в Манчжурии» (1905), антология переводов «Русская лирика» (1943) и наиболее известные «Вехи русской литературы» (1910, рус. перевод – 1913) и «Очерк русской литературы» (1914/1915), где он пишет о том, что «русская цивилизация с ее замечательной культурой остается для англичан книгой за семью печатями»[2]. Гораздо меньше его знают как автора книги «Русский народ» (1911), посвященной «мастеру парадоксов» Г.К. Честертону (замечу, что Бэринг был близок литературному кружку известных английских писателей-католиков, в который входили Хилери Беллок и Г.К. Честертон). Бэринг искренне верил в Россию и ее будущее, основания для этой веры он находил в ее прошлом, в частности в подвиге купца Минина и князя Пожарского, в критический для русской истории период спасших отечество. Ему казалось, что сущность всей русской литературы, от былин до рассказов М. Горького, сконцентрирована в сказке об Иване-дураке, то есть о слабом, одержавшем вверх над сильными; более того, в этой сказке «содержится квинтэссенция всей истории России, являющейся младшим сыном среди славянских народов, когда-то самом слабом и незначительном»[3]. Русских радикалов-интеллигентов он считал чуждыми народу. Главу «Русский

---

1 *Brewster D.* East-West Passage: A Study in literary relationships. L., 1954. P. 164.

2 *Baring M.* An Outline of Russian Literature. L., 1911/1912. P. VI.

3 Ibid, P.XII.

характер» он завершает словами: «<...> в каждом русском есть что-то от Петра Великого, князя Мышкина и Хлестакова»[1].

В книге Бэринга просматривается матрица последующих культурофилософских исследований России: сочетание исторического анализа с литературным; русская литература для английских ученых – неизменно любимый и надежный источник.

Еще более мифологизировал Россию писатель и журналист, сотрудник лондонской «Таймс» Стивен Грэм (известный у нас также как Стефан Грэхем – Graham S., 1884 – 1975), исходивший Россию «в лаптях», первый и уникальный в британской русистике русофил, помешанный на «Святой Руси» и православии. Накануне Первой мировой войны до 1917 г. в Англии крайне популярны его мистически окрашенные «книги-путешествия»: «Бродяга на Кавказе» (1911), «Меняющаяся Россия» (1913), «Неведомая Россия» (1912), открывающаяся своеобразным эпиграфом: репродукцией картины Михаила Нестерова «Святая Русь», специально присланной автору художником. Грэм убежден, что Россию нельзя понять на основе западных категорий мышления – из-за своего геополитического положения, истории, климата, особого характера русского человека она требует иного подхода. В России, крестьянской стране, он находит то, что было потеряно Англией, давно переставшей быть крестьянской страной, «утратившей, как он, пишет чувство почвы, земли».

Впоследствии Грэма обвинили в том, что он ввел британское общество в заблуждение воспеванием «Святой Руси». Сам он, не принявший революции 1917 г., тем не менее сохранил глубокий интерес к русской истории и культуре, остро переживал из-за того, что не может больше бывать в России, тревожился о судьбе русских друзей. Он стал писать книги о Петре Великом (1929), Иване Грозном (1932), Сталине (1931); занимался издательской и переводческой деятельностью. В 1929 г. опубликовал антологию «Великие русские рассказы», в нее вошло пятьдесят произведений русских и советских писателей, она несколько раз переиздавалась.

Грэм был убежден в том, что русские преодолеют самые тяжелые испытания: «Россия уцелела в революции и Второй мировой войне,

---

[1] *Baring M.* The Russian people. L.: Methuen, 1911. P.56. См. также: Бэринг М. Русский характер [фрагмент из книги «Русский народ»] / Пер. Т. Красавченко // Отечественные записки. М., 2007. Т.38. №5. С. 220.

переживет она и коммунизм»[1], – пророчески пишет он в 1951 г., когда казалось, что сталинщина не кончится никогда.

Не избежал «русского очарования» в начале XX в. и Джон Голсуорси; возможно, с него начинается традиция обращения к тайникам русского характера, к теме России – ради сопоставления и раскрытия английского национального характера. В эссе «Русский и англичанин» (1916) он замечает, что русский легче, чем англичанин относится к «букве правды», но склонен к самоанализу, «жадно накидывается на жизнь, пьет чашу до дна, потом честно признает, что обнаружил на дне мутный осадок, и как-то мирится с этим разочарованием. Англичанин берет чашу осторожно и прихлебывает маленькими глотками, в твердой решимости растянуть удовольствие, не взмутить осадка и умереть, не добравшись додна». Русским крайностям противопоставляется английская умеренность.

***

Октябрьскую революцию 1917 года, СССР и советское общество воспринимали в «официальной» Великобритании как нечто враждебное и опасное. Тут срабатывают все прежние негативные стереотипы и консервативная традиция английской общественной мысли, отвергавшей идею революции как таковую.

Большой шум в Англии вызвали книги «английских левых». И прежде всего «Россия во мгле» (1920) Герберта Уэллса, трижды побывавшего в России – в 1914, 1920 и 1934 годах. 6 октября 1920 г. он беседовал с Лениным, о чем написал в своем «Опыте автобиографии» (1934). А в 1920 г. в составе делегации британских лейбористов в Советскую Россию приехал известный философ, математик, социолог Бертран Рассел. Он пробыл в России с 11 мая по 16 июня, встречался с Лениным, Горьким, Троцким, Каменевым. Посетил Петроград, проплыл по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани. Итог его поездки – знаменитая книга «Практика и теория большевизма» (1920). В ней он, в отличие от многих на Западе, считавших «большевистский переворот» случайным, «аномальным», плодом деятельности «секты заговорщиков», в первой же фразе книги сопоставляет русскую революцию с французской, убежденный в глубинной закономерности и международном значении событий в России. Исповедовавший

[1] *Graham S.* Summing-Up on Russia. London, 1951. P. 12.

идеалы социальной справедливости, он признает созвучие многих лозунгов большевиков (мир, земля – крестьянам) чаяниям русских крестьян (тогда большей части населения России). Цели большевиков, провозгласивших необходимость создания справедливого общества, ему близки, но их средства – насилие, убийства, их догматизм, нетерпимость к инакомыслию, расхождение между словом и делом, подавление личности, тотальная централизация – ему, либералу, стороннику реформ и парламентской системы, глубоко чужды. Он убежден, что «цена», которую платит страна за «светлое будущее», неприемлема. При всех недостатках парламентаризма лишь в нем Рассел видит единственный надежный способ осуществления реформ и создания свободного демократического общества и пророчески предрекает: однопартийная система неизбежно приведет власть имущих к отказу от идеалов раннего этапа революции и перерождению в привилегированную касту. Так, уже в 1920-е годы Рассел выступил с предупреждением о недостижимости утопии, создаваемой тоталитарными средствами. Но несмотря ни на что, и это важно для понимания английской общественной мысли, сам Рассел, в 1950 г. ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе, сохранил убеждение в том, что обществу необходима «глубокая перестройка» и «уничтожение всех источников угнетения».

Не менее важно отношение к России и другого английского лауреата Нобелевской премии по литературе – Уинстона Черчилля, твердого консерватора (его альянс с либералами в 1904–1923 гг. был недолгим). 18 ноября 1918 г., выступая перед избирателями, он заявляет: большевики «ввергли Россию в состояние животного варварства и держатся у власти лишь ценой кровопролития и массовых убийств <...>. На огромных просторах страны цивилизация подвергается полному искоренению, и банды большевиков сигают и скачут среди трупов своих бесчисленных жертв, среди развалин разрушенных городов, словно стаи диких, свирепых бабуинов»[1]. А немного позднее, 11 апреля 1919 г. будучи уже депутатом, он высказывает свое мнение в палате общин: «Из всех тираний в истории человечества большевистская тирания – самая страшная, самая разрушительная, самая отвратительная»[2]; он

[1] *Черчилль У.* Мускулы мира. Пер. с англ. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 510.

[2] Там же. С. 510. Правда, в ноябре 1947 г., выступая в палате общин, он и демократию характеризовал «как худший способ управления государством, но все другие способы, когда-либо испробованные человечеством,

отзывается о большевизме как «христианстве с топором в руках»[1]. Черчилль осудил книгу Г. Уэллса «Россия во мгле». Став с января 1919 г. военным министром, он использует свое служебное положение для поддержки белой армии в России, чем вызывает недовольство политиков левого крыла в парламенте. Однако ход истории, опыт 1938 г., мюнхенское соглашение и т.д. меняет его, если не взгляд на Россию, то отношение к ней; политик-реалист, прагматик 13 апреля 1939 г. на заседании палаты общин он говорит о необходимости «включить Советскую Россию в наш оборонительный мирный блок»[2], а 19 мая 1939 г. убеждает палату общин в необходимости принятия предложения советского правительства создать тройственный союз между Англией, Францией и Россией и замечает, что «Россия не пойдет на заключение соглашений, если к ней не будут относиться как к равной <...>. Нужен надежный Восточный фронт, будь то Восточный фронт мира или фронт войны, и такой фронт может быть создан только при действенной поддержке дружественной России. <...> Без действенного Восточного фронта невозможно удовлетворительно защитить наши интересы на Западе, а без России невозможен действенный Восточный фронт[3]». Недолгим был период союзничества в период Второй мировой войны. Еще 27 февраля 1945 г., выступая в палате общин с рассказом о Ялтинской конференции, на которой присутствовали Сталин, Черчилль и Рузвельт, Черчилль замечает: «...Маршал Сталин и другие советские лидеры желают жить в почетной дружбе и равенстве с западными демократиями. Я считаю также, что они – хозяева своего слова. <...> Я категорически отказываюсь пускаться здесь в дискуссии по поводу добросовестности русских. Ясно, что эти вопросы касаются будущего всего человечества. Действительно, судьба мира была бы мрачной в случае возникновения какого-либо страшного раскола между западными демократиями и русским народом, в случае, если бы будущая всемирная организация развалилась на части <...>»[4]. Он говорит это, когда война еще не закончилась и впереди был реальный раздел Европы. А вот уже 5 марта 1946 г., выступая в США, в Вестминстерском колледже г. Фултона (штат Миссури), Чер-

---

еще хуже».Там же. С. 509.

[1] Там же. С. 506.

[2] Там же. С. 110.

[3] Там же. С. 107-108, 109.

[4] Там же. С. 454- 455.

чилль, в ту пору лидер консервативной оппозиции в палате общин, провозгласил в знаменитой Фултонской речи наступление длительного периода «холодной войны»: «Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес»[1]. Россия вновь выступает в роли врага в «официальной» Великобритании.

Вместе с тем Черчилль был не только политиком, но и писателем, во всяком случае человеком, чувствовавшим необычность русского народа, недаром 1 октября 1939 г. в радиовыступлении по БиБиСи он признался: «Я не могу предсказать, чего нам ждать от России. Россия – это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки».

***

Английское литературоведение и историография о России в своих наиболее значительных образцах имеют культур-философский характер, порой они эссеистичны и, как правило, в них выявляются важнейшие имагологические особенности.

Среди исследований России советского периода примечательна фигура крупного литературоведа и философа культуры Роналда Хингли (р.1920). В свое время, поступив в Оксфордский университет, он собирался изучать античность, но пересмотрел свои намерения: его привлекли необычность, странность, драматизм русской жизни, поразили Гоголь, Достоевский, Чехов, Булгаков, но в не меньшей мере «жизнь», сохраняемая в воспоминаниях, легендах, мифах. Греческие мифы померкли в его глазах на фоне рассказов об Иване Грозном, который приказал казнить слона за то, что тот ему не поклонился, но из суеверия оставил «в покое безумного голого монаха, публично проклинавшего царя как дьявольское отродье»[2]; историй о приговоренных к смерти (Остерман при Елизавете Петровне, Достоевский при Николае I) и помилованных в последнюю минуту; о капитане КГБ Николае Хохлове, в 1954 году посланном в Германию, чтобы убить видного эмигрантского политического деятеля, но вместо этого пришедшего к нему «с повинной»[3]. Изобилие в русской жизни, фолькло-

[1] Там же. С. 517.

[2] *Ключевский В.О.* Собр.соч.:В 8т. М.: 1956 – 1959. Т.2. С.190.

[3] *Khokhlov N.* In the Name of Conscience. Tr.by Emily Kingsbury. L., 1960.

ре, литературе драматических поворотов Р. Хингли считает, хотя и не монополией русских, но явлением крайне типичным для них.

После окончания университета Р. Хингли, начинающий русист, с 1947 г. преподавал в лондонской Школе славянских и восточноевропейских исследований, а с 1955 г. – в Оксфордском университете, с 1968 года он – профессор колледжа св. Антония (Оксфорд). В России он бывал не раз – как переводчик, исследователь, журналист, написал о ней много книг в разных жанрах, в том числе «В советской шкуре. Отчет интуриста» (1961), «Нераскрытый Достоевский» (1962), «Русские писатели и общество, 1825–1904» (1967), «Цари: русское самодержавие, 1533 – 1917» (1968), «Краткая история России» (1972), «Иосиф Сталин: Человек и легенда» (1974), «Новая жизнь Антона Чехова» (1976), «Русские поэты и революция» (1978), «Русские писатели и советское общество, 1917 – 1978» (1979), «Пастернак, биография» (1983); писал он и о русской тайной полиции, о революции, перевел на английский многие рассказы и пьесы Чехова, в их числе – «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».

Но, пожалуй, главная книга Р. Хингли – «Русский тип сознания» (1977), считающаяся «классикой» английской русистики. Это своеобразная, не свободная от противоречий «энциклопедия русского характера» в английском восприятии, содержащая квинтэссенцию представлений о России, сложившихся у Хингли в течение двух десятилетий изучения ее языка, истории, философии, культуры, литературы; последнюю он рассматривает как «наиболее сильное выражение коллективного национального сознания»[1]. «Изучать психологию народа, по словам Р. Хингли, значит в известной мере исследовать его клише, условности, табу»[2]; понимание «его общего знаменателя» требует изучения и его «вершин» – творческих нонконформистов: пренебрегавшего национальной нормой Пушкина, доводившего ее до крайностей Достоевского, отвергавшего ее Чехова, и конформистов, вносящих в жизнь общества элемент стабильности, связи и определяющих коллективное сознание. Книга Хингли написана в характерной для англичан эмпирической манере, то есть построена на конкретных примерах, он не стремится к теоретическим выводам, обобщениям и редко высказывает прямо свои «концептуальные суждения», боясь

С. 240.

[1] *Hingley R.* The Russian Mind. N.Y.: Charles Scribner's Sons, 1977. P. 5.

[2] Ibid. P.22.

показаться навязчивым (что типично для английской ментальности). Он создает своеобразный собирательный психологический портрет русского народа. Вместе с тем в книге явно выделяются, по крайней мере, две важные для автора идеи: русская история, как и личный опыт Р. Хингли, убеждают в том, что «русские ставят любого, ответственного за их коллективные действия, перед выбором: кулак или анархия? Следует ли из этого заключить, что русский тип сознания порождает авторитарное государство? Или, наоборот, авторитарная власть порождает русский тип сознания? До сих пор эти два феномена, по мнению Р. Хингли, взаимодействовали тесно, как цыпленок и яйцо»[1]. Но дать конкретный ответ на этот трудный вопрос ученый затрудняется.

Ему, как англичанину, явно претит повышенная русская эмоциональность (и в этом ему близок С. Моэм), которую он называет «умиление», чуждая, на его взгляд, Чехову. Соответственно Р. Хингли импонирует в русской литературе те, кого он вписывает в «чеховскую традицию» – Бунин, друг Чехова, спасавший «хороший вкус» и еще менее сентиментальный, чем Чехов; следующий шаг, на его взгляд, совершает В. Набоков, напрочь отвергающий «умиление» в любой форме и отказавшийся «расстегнуть душу» (см. «Другие берега») даже перед Буниным. Таким образом Р. Хингли создает свою «великую традицию» русской литературы. Очевидно, тут сказывается различие исторически сложившихся характерологических установок англичан и русских. В частности, одно из центральных понятий национального уклада жизни в Англии – понятие *privacy* (приватность, личная жизнь), сформировавшееся, в частности, как результат островного положения страны и обозначающее дистанцию между личностью и «другими», общество, порождающее сдержанность (вплоть до национальной привычки говорить тихо, не повышая голос), контроль эмоций, табу на откровенность, душевные излияния, фамильярность.

---

[1] Ibid. P. 206. Скажем прямо, что эта центральная мысль книги не впервые звучит в отзывах иностранцев о России. Так, австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, совершивший два путешествия ко двору Василия III и описавший страну в «Записках о московитских делах» (1549) впервые поставил аналогичный вопрос: «То ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким». Герберштейн С. Записки о Московии/ Пер. с нем. А.И. Малеина и А.В. Назаренко. Вступ. ст. А.Л. Хорошкевич. Под ред. В.Л. Янина, М., 1988. С.174.

В русском языке, в русской культуре нет эквивалента этому понятию. Как заметил И.М. Белов, то, «что представителям английской культуры кажется нарушением «privacy», в России воспринимается как участливость, неравнодушие», концепт «privacy» по сути с культурно-цивилизационной точки зрения – это «смысловой антоним русского концепта «соборность»»[1].

Р. Хингли начал изучать русскую культуру и историю – вскоре после 1945 г., вероятно, на волне эйфории победы, в которой русские сыграли решающую роль. Однако в своей книге он с оттенком упрека пишет об их склонности постоянно напоминать миру о том, что они спасли его от татаро-монгольских орд, от Наполеона, Гитлера. В этом он усматривает претензии русских на мессианство, хотя речь идет о реальной роли народа России в истории, о действительно совершенном им, но часто забываемом в Европе: например, в 1994 г., на торжественные, широко отмечавшиеся празднества по поводу открытия Второго фронта в Европе, «забыли» пригласить русских. Я была в это время в Лондоне (по приглашению Университетского колледжа Лондонского университета), и меня это просто поразило, однако жена одного из моих друзей, учительница младших классов, уверенно объяснила: «Что же тут странного? Ведь войну выиграли американцы». Источником ее мнения были английские учебники, в которых исто-

[1] См. подробнее: *Белов И.М.* Английский взгляд на Россию. Концепт «privacy»// XX Пуришевские чтения. Россия в культурном сознании Запада. Сб. статей и материалов/ Отв.ред. М.И. Никола. М.: МПГУ, 2008. С. 18–19. Примечательно, что понятие «privacy» не распространяется на сферу англо-русских отношений в начале XXI в., о чем свидетельствует, в частности, анкета («употребляемая только за пределами Объединенного Королевства»), предлагаемая британским консульством российским гражданам, желающим посетить Великобританию с 2007 г. (Visitor form – VAF OCT 2007. This form is for use outside the UK only)/ Помимо обычных для каждой европейской анкеты вопросов, там присутствуют и вопросы необычные, даже несколько наивные, но в сущности нарушающие понятие «приватности» и вторгающиеся в сферу «частной жизни»: «Есть ли у вас доход из иного [кроме основной работы –Т.К.] источника, включая друзей и членов семьи?», «Есть ли у вас сбережения, собственность и другие источники дохода, например, акции?», «Какую часть вашего заработка вы отдаете родственникам и другим иждивенцам?», «Сколько вы тратите в месяц на повседневную жизнь?», «Кто оплатит вашу поездку в Великобританию?», «Кто оплатит ваши расходы на жилье и питание?», «Если не вы сами, кто-то иной оплачивает полностью или частично вашу поездку, какую сумму вы получите?»

рия, напоминая об антиутопии Дж. Оруэлла «1984», переписывалась без страха и упрека.

Этому «массовому феномену», порожденному официозной пропагандой, противостоят исследования ученых и литературные произведения, имеющие, однако, слишком малые тиражи для того, чтобы оказать серьезное воздействие на общественное сознание. Например, романист и историк Энтони Бивор (р.1946) в книге «Сталинград» (1998)[1] на основе архивных материалов российского министерства обороны, документов из архивов Германии, изучения допросов военнопленных, медицинских отчетов, писем русских и немецких солдат, воссоздает повседневную реальность одной из самых «ужасных битв в истории человечества». Он показывает, что титаническая Сталинградская битва, в которой люди выходили за «физические и умственные пределы возможного», ознаменовала собою поворот во Второй мировой войне. Если рецензенты книги называют эту битву – битвой между Сталином и Гитлером, то Кэтрин Мерридейл, профессор истории в колледже Квин Мэри Лондонского университета в книге «Война Ивана: Красная армия 1939-1945» (2005) на основе архивных материалов, опроса множества участников войны, развенчивая многие мифы и воссоздавая живую, «в лицах» картину Отечественной и шире – Второй мировой войны, показывает, что войну выиграли «простые русские Иваны», они стали решающим «двигателем» победы. Как считает писательница Хелен Данмор (р.1952), автор романа «Блокада» (2001), роль русских во Второй мировой войне еще не оценена по достоинству. В романе она с сочувствием описывает первый год блокады Ленинграда, создавая выразительные образы блокадников. Так, писатели и историки создают собирательный образ народа и русского характера.

***

Анализ суждений журналистов, историков, общественных деятелей о России любого периода, особенно позднейшего, постсоветского, требует понимания специфики британского общества как устоявшейся, налаженной, но отнюдь не единой, «дифференцированной» системы, которая инкорпорирует основополагающую оппозицию английской культуры: консерватизм/социализм. Основы консерватиз-

[1] *Beevor A.* Stalingrad. L.: Viking, 1998. P. 494.

ма как направления мысли были заложены еще в XVIII в. в работах философов Э. Бёрка, Д. Хьюма, А. Смита. Его суть: сохранение традиций, недоверие к радикализму, взгляд на общество как на сложный, веками формирующийся организм, который нельзя переделывать как машину. Консерватизм в британском обществе – плюралистичная философия жизни и политическая философия – возник и как осмысление опыта английской революции XVII в., и как противодействие «соседям»: французской просветительской мысли – картезианской идее о приоритете человеческого разума, приведшей к революции во Франции. Однако и английский социализм разных оттенков имеет не менее глубокие национальные корни, восходящие к «Утопии» (1516) Томаса Мора, утопическому социализму Роберта Оуэна, к теориям и деятельности писателя, поэта, художника Уильяма Морриса, трудам Джона Рёскина[1].

М. Горбачев и «перестройка» были встречены в Великобритании по-разному, но в основном одобрительно. Дипломат и историк сэр Родрик Брейтуэйт, экс-посол Великобритании в Москве, свидетель и участник многих драматических событий 1988–1992 годов, пишет в книге «По другую сторону Москвы-реки. Мир перевернулся вверх дном» (2002) о том, что кризис режима в СССР не был неожиданностью для Лондона. Премьер-министр Маргарет Тэтчер симпатизировала Горбачеву – прежде всего за признание им несостоятельности коммунистической системы. Однако, поддерживая Горбачева, Лондон ограничивался политическими заявлениями, предложениями «ноу-хау», ласковыми приемами на Даунинг-стрит, но отказывал в отчаянно необходимых крупных кредитах для латания дыр в госбюджете.

---

[1] Даже такой, казалось бы далекий от политики писатель, как Джон Фаулз, признающийся в любви к русской классике Гоголю и Тургеневу, имеет свою идейную позицию: «<...> Себя отношу к социалистам в том понимании, в каком считал себя социалистом, скажем, Бернард Шоу. Я далек от коммунизма, но никогда не приму расхожих доктрин буржуазной идеологии. Когда я слышу применительно к нашему обществу слова «свобода», «равенство», «братство», я всегда вспоминаю о тигре и ягнятах в клетке. Свобода в понимании западных консерваторов означает, что мы все равны в попытках добиться успеха, но если мы не добились, тем хуже для нас. <...> Не думаю, что беллетристика способна существенно изменить жизнь или человеческое общество». Фаулз, Джон. И умом и сердцем я – за разоружение. Беседует корреспондент «ЛГ» и АПН Сергей Воловец // Литературная газета. М., 1983. 30 ноября. № 48 (49580). С.11.

Известный журналист и историк Мартин Уокер, 25 лет работавший в английской «левой», просоциалистической газете «Гардиан», возглавлявший ее бюро в Москве в 1984–1986 гг. (а позднее – в США)[1], в книге «Пробуждающийся гигант: Советский Союз при Горбачеве» (1986) создал яркий портрет Горбачева как руководителя новой формации, имеющего университетское образование (что было необычным для советского лидера и крайне позитивно воспринималось в Англии, с ее развитой системой университетов). Открывший новую эпоху в жизни страны и мира, Горбачев, как пишет М. Уокер, однако, слишком медлил с реформами и не сумел преодолеть инерцию «старого советского мышления», что проявилось прежде всего после аварии на Чернобыльской атомной станции: секретность, сокрытие правды привели к губительным последствиям в СССР и у его соседей, нанесли ущерб репутации Горбачева и усилили настороженность в отношении к России. Тем не менее М. Уокер, сбалансировано оценивая прошлое и будущее страны, пишет о предубежденном отношении к ней Запада: «<...> как русские не в состоянии понять западный склад ума, так и мы ни за что не хотим «шагнуть в неизвестность», – а это просто необходимо, чтобы начать доверять системе столь закрытой, замкнутой, не умеющей признавать свою неправоту и, самое главное, не желающей открыть собственному народу доступ к подлинной национальной истории.

Так или иначе, мосты наводить придется. Запад должен выйти за рамки привычных представлений о советских комиссарах и ГУЛАГе и попытаться понять, насколько изменилось это государство, какова глубина и масштаб социальной революции, совершенной образованными политическими лидерами горбачевской эпохи. Советский Союз остается страной, которую мы знаем крайне плохо; и пока не узнаем ее лучше, у нас нет достаточного права выносить суждения, а тем более – отвергать любые советские предложения как заведомо подозрительные»[2]. Перед нами типичное суждение «поры надежд и ожиданий».

---

[1] В настоящем М. Уокер – главный редактор агентства новостей «Объединенная международная пресса» (United Press International), эксперт Международного центра Вудро Вилсона (Woodrow Wilson center) и консалтинговой компании «Совет по международной деловой политике» (Global Business Policy Council). Автор книг – «Холодная война: история» (The Cold War: A History, 1994), «Америка, родившаяся заново» (America Reborn, 2000) и др.

[2] The Waking Giant: The Soviet Union under Gorbachev. L.: Michael Joseph, 1986. P. 259.

С иных позиций – в трагических тонах утраты человечеством «социальной цели», «краха утопии», «политического равновесия» – написана 15 лет спустя, в пост-ельцинский период статья Шеймуса Милна «"Реформы,, или "катастройка,,» (The Guardian, 2001). По мнению Милна, перемены привели к самому катастрофическому в мирное время краху экономики индустриальной страны. Руководствуясь разработанной американцами шоковой терапией, перестройка стала *катастройкой*. Не будь СССР поставлен на колени, едва ли была бы возможна война в Персидском заливе, этнические войны в Югославии и расчленение ее, не говоря уж о стремлении президента США Буша-младшего к однополярному миру, что привело к росту зависимости развивающихся стран от Запада, конфликтной ситуации в современном мире и фактически к цивилизационному противостоянию. По прогнозам Милна: результаты уничтожения СССР будут ощутимы еще в течение десятилетий[1].

Изредка, но все-таки в британских СМИ звучит мотив: «Как помочь России стать нормальной демократией?» – так, в частности, называется статья Мартина Вулфа, обозревателя «Файненшиел Таймс» (16 мая 2005). По оценкам Всемирного банка, по уровню национального дохода и промышленного развития Россия находится между Венесуэлой и Египтом, гораздо ниже других стран со средним уровнем дохода, таких как Мексика или Бразилия, не говоря уже о европейских странах. «Россия – это не «нормальная» развивающаяся страна со средним доходом. Это огромная Венесуэла с ракетами», – делает вывод Мартин Вулф. Хотя Россия и потеряла статус сверхдержавы, она по-прежнему может дестабилизировать обстановку не только в Европе, но, учитывая ее ядерный арсенал, и во всем мире, считает автор. Неспособность Кремля воспринять развал империи не как бедствие, а как преимущество, представляет угрозу и для нее самой, и для ее соседей. «Для россиян, пишет обозреватель *Financial Times*, было бы гораздо лучше жить в процветающем, стабильном и свободном обществе, чем глодать кости былого величия». И Запад может помочь ей в этом, дав понять, что свободной и демократической России будет открыт доступ на европейские и мировые рынки. «Нет ничего более вредного, как и более постыдного, чем попытки некоторых европейских держав использовать все более деспотичную Россию в качестве орудия в борьбе с мощью Соединенных Штатов».

[1] См. http://news.bbc.co.uk/hi/rissian/press/newsid_1496000/1496253.stm.

В довольно мрачных тонах представляет Москву Эндрю Осборн (*«Independent»*), ныне ставшую самым дорогим городом мира, преобразившимся благодаря жилищному буму и доходам от продажи нефти. В городе 33 миллиардера, тогда как большинство жителей сохраняют с советских времен экономный стиль жизни; молодежи квартиры недоступны; и появилась новая категория еще более бесправных – иммигрантов, как правило, из стран ближнего зарубежья, работающих на стройках и черных работах[1]. Так в СМИ по-прежнему (и не без оснований) сохраняется старый стереотип – богатой верхушки и бедного народа.

***

Будущее России тревожит всех британских «комментаторов», но за этой тревогой скрываются разные формы и степени русофобии и русофилии.

М. Тэтчер (классический продолжатель традиций британского консерватизма) в книге «Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира»[2], логическом продолжении двухтомника ее мемуаров «Годы на Даунинг-стрит» и «Дорога к власти», в главе «Российская загадка» пишет о провале экономических реформ в России при Ельцине из-за того, что не были учтены внеэкономические факторы. Она беспощадно высказывается о российской коррупции, разгуле преступности, отсутствии связи между государством и обществом.

Примечательна позиция видного историка, политолога, философа культуры, профессора Оксфордского университета Роберта Сервиса. В предисловии к сборнику статей «Толкуя Россию заново» (1999) он пишет о том, что в Европе на протяжении многих веков Россия воспринималась как самая нецивилизованная ее часть, более того – как метафорическое обозначение «не принадлежности к Европе»[3]. Рассуждая о поисках Россией своей идентичности, Сервис замечает, что, перестав быть империей, она не обрела новой роли, «лишилась идеологии, госу-

---

[1] Osborn, Andrew. Moscow from Soviet capital to the world's most expensive city // The Independent. L., 2006. 26 June. P.18-19.

[2] Пер. с англ. М.: Альбина Паблишер, 2003. С.504.

[3] *Service R.* Introduction // Reinterpreting Russia / Ed. by G. Hosking, R.Service. L., 1999. P.1.

дарственной структуры и привычного образа жизни»[1]. «Груз прошлого, замечает Р. Сервис, тяжел, и когда русские реформаторы пытались сделать что-то новое, они часто использовали традиционные приемы и методы. <...> В этом парадокс русской истории. Чем больше русские пытаются измениться, тем меньше они изменяются. <...> Но когда-нибудь это непременно кончится»[2]. В статье «Российские правители: цари, комиссары, президенты», вошедшей в сборник, Р. Сервис развивает тезис о том, что в России сформировалась традиция авторитарной власти, в сети которой попадают правители любой формации – от Николая II до Ельцина, вынужденные для сохранения власти использовать авторитарные методы. «Более того, у коалиции политико-криминальных и экономических групп давления есть вполне реальный стимул, побуждающий их поддерживать статус-кво. Источником улучшения, если оно вообще произойдет, будет взрыв недовольства, исходящий из широких слоев российского общества, которое по-прежнему остается хорошо образованным и, в отличие от прошлого, имеет доступ к альтернативным источникам информации. <...> Образование и информационный плюрализм – помеха авторитаризму. Трудно сказать, будет ли и формирующаяся рыночная экономика фактором, способствующим демократизации? Существующие в настоящем экономические структуры – образец пиратского капитализма. Преуспевающие российские предприниматели в основном занимаются экспортом природных богатств страны – газа, нефти, древесины и золота. Уверенности в том, что пиратский капитализм постепенно будет вытесняться, нет, но нельзя терять надежду на то, что предприниматели не согласятся вечно мириться с существующим в стране низким уровнем материальной и культурной жизни. <...> Конечно, все может сложиться и по-иному. Правитель и поддерживающие его группировки могут попросту предпочесть – как Ленин и Сталин – «завинтить гайки», чтобы защитить свою власть и свои привилегии; таким образом Россия присоединится к числу прочих авторитарных стран, где подавляется общественный протест и ограничены, или вообще перекрыты каналы для выражения общественного мнения. <...> Если великая перемена к лучшему когда-нибудь и должна прервать современную политическую традицию в России, то это потребует времени, удачи и подлинно народной политики»[3].

---

1 Ibid, P.5.

2 Ibid, P.8.

3 *Service R.* Russian rulers: tsars, commissars and presidents // Reinterpreting

Мрачный прогноз Р. Сервиса обусловлен, видимо, не только российской действительностью, но и исследовательским опытом самого ученого, сосредоточенного на изучении политической истории России, автора таких книг, как «История России XX века» (1997); «История современной России, от Николая II до Путина» (2003); «Россия: Эксперимент над народом» (2002); «Мировая история коммунизма» (2007), но, главное, трехтомной политической биографии В.И. Ленина (1986–1995), историко-биографической трилогии «Ленин» (2000), «Сталин» (2004) и «Троцкий» (в работе). История страны, данная в портретах политиков, всегда сопряжена с риском упрощения, редукционизма, и риск этот только усугубляется плоскостным, «безвоздушным» характером материала, с которым приходится иметь дело биографам советских вождей.

Исследование русского характера, русского типа сознания, русской идентичности, то есть линию М. Бэринга – Р. Хингли, продолжает видный русист, профессор Школы славистических и восточноевропейских исследований (Лондонский университет) Джеффри Хоскинг в книгах «Пробуждение Советского Союза» (1990), «Россия: Народ и империя, 1552 – 1917», «Правители и жертвы. Русские и Советский Союз» (2006) [1] и др.

В книге «Пробуждение Советского Союза», написанной до августовских событий 1990 г., Дж. Хоскинг замечает: советское общество, было готово к реформам задолго до прихода Горбачева; по своему образованию, образу жизни и занятиям население России «настолько похоже на любой другой западный народ, что оно не может не быть подготовлено к открытой демократической политике. Советское общество переросло жесткие рамки контролировавшейся КПСС политической системы»[2], но Горбачев хотел реформировать не реформируемую систему. На Западе, как замечает Дж. Хоскинг, русских считают «пассивными и даже рабски покорными» и не верят в то, что они готовы к плюралистической политике. Признавая, что у русских нет демократических навыков в том смысле, как они пони-

---

Russia. P. 181-182.

[1] Russia: People and Empire, 1552 – 1917. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1997; «Россия и русские». В 2-х кн. Пер.с англ.: М.: АСТ, Транзит книга, 2003. The Rulers and Victims: The Russians and the Soviet Union. Cambridge: The Belknap Press of Harvard Univ.press, 2006.

[2] *Hosking G.* The Wakening of the Soviet Union. Cambridge, Mass.: Harvard univ.press, 1990. P.4.

маются на Западе, ученый тем не менее полагает, что они унаследовали из своего прошлого традиции политического участия, взаимной солидарности в трудных ситуациях и это может теперь «сработать», выявив в советском народе «качества, присущие гражданам цивилизованного общества»[3]. Из своего прошлого русские унаследовали черты общинности и раздвоенности, объяснимые географическими и историческими факторами. Суровый климат, неадекватно жестокая власть – с одной стороны, тепло дома, высокогуманная культурная частная жизнь – с другой. Чтобы понять русских, нужно, по словам Дж.Хоскинга, понять «эту раздвоенность»[4]. Русские привыкли прикрываться от власти неким «фасадом», но живут и поступают так, как считают нужным, что позволяет им выживать и «сохранять себя», несмотря на существенное давление власти.

Хоскинг призывает не забывать о том, какого высокого уровня культуру, науку и систему образования создали русские. В политическом плане присущая русским общинность не всегда, по его мнению, давала положительные результаты, ибо любое отклонение от коллективной дисциплины квалифицировалось как опасное явление.

Россия стремительно двигалась вперед. И в 2001 г. в книге «Россия и русские» (рус. пер. 2003), где излагается история России от истоков до современности, Дж. Хоскинг пишет о том, что через «десять лет после развала Советского Союза российское общество, кажется, обрело черты некоторой стабильности». Страна выстояла после дефолта августа 1998 г. и смогла добиться даже лучших, по некоторым данным, экономических показателей по сравнению с периодом до 1998 г., это, на его взгляд, свидетельствует о том, что начали действовать жесткие и активные социально-экономические механизмы. Страна «во второй раз за свою историю сумела освободиться: первый раз это произошло в 1950-х гг., когда номенклатура освободилась из-под ига сталинского террора, а в 1990-х гг. она сбросила ярмо КПСС, Госплана и КГБ. Прямо или косвенно номенклатура контролирует львиную долю всей экономики страны, приобретя ее в частную собственность у государства по бросовым ценам. Результатом стало общество, держащееся главным образом на личных связях и огромных полномочиях президента, которому Конституция предоставляет почти неограниченную власть. Существуют и различные политические

[3] Ibid, P. 20.

[4] Ibid, P.22.

партии, и независимые общественные институты, но, как правило, они не имеют прочных позиций, и само их существование часто зависит от поддержки президента. <...> А между тем уровень доверия россиян к властям страны весьма низок. <...> все большее значение приобретают деньги, так как медицинское обслуживание и образование уже не являются безусловно бесплатными услугами. Результатом этого стало резкое ухудшение здоровья большинства населения и снижение продолжительности жизни в России. <...> Тем не менее демократические институты сумели пережить все перипетии постсоветского лихолетья. <...> Парламентские выборы и выборы в местные органы власти стали неотъемлемой частью общественной жизни, хотя готовность правительства к мирной передаче власти в руки оппозиции в случае победы последней пока находится под вопросом[1]. Теперь Дж. Хоскинг настроен более оптимистично. «Перед Россией, – пишет он, – стоят крайне сложные проблемы, но будущее далеко не безнадежно. Парадоксальное геополитическое положение страны, которое всегда порождало для нее так много трудностей, в настоящее время превратилось в почти неоспоримое преимущество. Впервые за всю ее многовековую историю России не грозит сколько-нибудь серьезная внешняя опасность, и страна не должна более перенапрягать свою экономику, выделяя огромные ресурсы на поддержание обороноспособности. В то же время новейшие технологии XXI в. намного облегчают добычу щедро разбросанных по ее огромной территории природных богатств. <...> Культурная и интеллектуальная жизнь в России продолжает активно развиваться, несмотря на крайне недостаточное государственное финансирование этой сферы. Наука и техника, хотя и понесшие серьезные потери за последние десятилетия, все еще остаются на довольно высоком международном уровне. Вероятно, для большинства россиян наиболее привлекателен образ России как нации, сплоченной лингвистическими и культурными традициями; нации, которая говорит на русском языке и воспитана на культуре Пушкина и Толстого, Мусоргского и Шостаковича, Репина и Шагала. Главное достижение советской системы образования состоит в том, что это культурное наследие перестало быть достоянием лишь элитных слоев общества. Русская культура отличается какой-то особенно ярко выраженной жизненностью и человечностью, она привлекает к

[1] *Хоскинг Дж.* Россия и русские. Пер. с англ.: В 2 кн. – М.:АСТ; Транзиткнига, 2003. Кн.2. С. 409-410.

себе не только россиян, но широко распространена и за пределами России. Кроме того, она вне всякого сомнения, европейская культура и некоторым образом компенсирует политическое и экономическое своеобразие России, которое всегда делало эту страну непонятной для Запада»[1]. По мнению Дж. Хоскинга, пройдя различные этапы (из которых современный этап – не худший), Россия остается великой страной, обладающей способностью с честью выходить из труднейших положений. Ее «общество и культура характеризуются чрезвычайной гибкостью и способностью к адаптации. Тем не менее Россия нуждается в государственных деятелях, обладающих недюженными дарованиями и политическим ви́дением, способных не только изменить страну, но и сохранить все ценное, что было в ее истории, перестроив ее таким образом, чтобы она соответствовала требованиям и условиям жизни в XXI в.»[2]

В следующей книге «Правители и жертвы» (2006) Дж. Хоскинг исследует русский тип сознания в связи с двумя типами мессианизма, национального, православного, и марксистско-ленинского (1917 года рождения), считая их чуждыми идеям гражданского, открытого общества, плюрализма. Пробьется ли когда-нибудь Россия к созданию в полной мере «цивилизованного общества»? Вывод Дж. Хоскинга здесь менее оптимистичен и туманен: теперь русские строят национальное государство, мало кто из них мечтал об этом, но, возможно, за этим последует что-то иное.

В рецензии, опубликованной в литературном приложении к газете «Таймс», известный английский историк-русист Роберт Конквест, автор знаменитой книги «Большой террор» (1968), высоко оценивает книгу Р. Хоскинга как глубокое исследование «русского феномена», однако, по его мнению, концентрируясь на «двух видах мессианизма», ученый умаляет российские традиции общественной мысли, ориентированные на либерализм, плюрализм (то есть западничество), явно проявившиеся после «перестройки» и предлагающие цивилизованный вариант будущего, однако, отказавшись от принципов советской экономики, российские правители, подобно Петру Великому или П.А. Столыпину, осуществляют «реформу» без либерализма; в результате перед нами всего «лишь пародия на гражданское общество,

---

[1] Там же. С. 411-412.

[2] *Дж. Хоскинг.* Россия и русские: В 2 кн. Кн. 2. М.: АСТ; Транзиткнига, 2003. С. 412.

на цивилизованную жизнь. И главное – еще очень далеко до правового общества <...>. «Мы слишком склонны, замечает Р. Конквест, видеть Россию в свете собственных представлений о здравом смысле, о культурной неизбежности. Но, как писал Джордж Оруэлл более полувека назад: "То, что может случиться в одной стране, никогда не произойдет в другой"»[1].

Именно это на свой лад и объясняет междисциплинарная (сочетающая анализ истории, литературы, изобразительных искусств, музыки) книга Орландо Файджеса, профессора Бирбекского колледжа Лондонского университета «Танец Наташи: история русской культуры» (2003)[2]. Российскому читателю она может показаться не очень оригинальной, но читателю англоязычному интересна «просветительским началом»: своеобразие русской культуры XVIII–XX веков и непосредственно обусловленный им процесс формирования «русской идентичности», – основной сюжет книги. Скандал, сопровождавший ее публикацию[3] и полемика в прессе привлекли к ней еще большее внимание. Ключевым для понимания культуры России Фиджес считает эпизод из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: известную сцену «у дядюшки», где Наташа пляшет *русскую*; в этой сцене, на взгляд автора, выразилось страстное желание писателя (как и его главных героев – «людей 1812 года») обрести единение со своим народом. Для англоязычного читателя эта сцена приоткрывает «окно» в русский мир, выявляя существование в нем двух России (об этом писал еще Макензи Уоллес), две разные культуры: европейскую культуру высших слоев общества и крестьянскую народную культуру; эту двойственность символизируют два города: Петербург и Москва, противопоставленные как нечто прекрасное, но искусственно созданное, «ирреальное», «бесчеловечное», с одной стороны, и естественное средоточие российской жизни и духовности, воплощение «русской идентичности», с другой. Сложное взаимодействие этих культур, этих двух столиц с разнонаправленной культурно-духовной траекторией, имевшее решающее значение для национального самосознания и искусства XIX в., и прослеживает О. Файджес, выявляющий также серьезное

[1] *Conquest, Robert.* Old souls // Times Literary Supplement. L., 2006. May 19. No 5381. P.10.

[2] *Figes, Orlando.* Natasha's dance: A cultural history of Russia. L., 2003. XXXIV, P. 729.

[3] Р. Файджеса обвинили в плагиате у русского автора в одном из разделов книги, что он категорически отрицает.

влияние на «русскую идентичность» освоения Сибири, завоевания Средней Азии и дальнего Востока, что нашло отражение в русской литературе. В начале XX в. в ней появляется образ скифов – варваров, уничтожающих петербургскую цивилизацию и укореняется представление о том, что «европейская цивилизация России была построена в азиатской степи»[1]. К сожалению, Фиджесу присуща «английская болезнь»: он смотрит на русских несколько свысока, как на «Untermenschs», как заметила профессор истории в Оксфордском университете Екатерина Андреева (дочь известного русского эмигранта, историка культуры и литературного критика Николая Андреева) в частной беседе с автором этой статьи[2].

Россию по-прежнему считают одной из наиболее превратно понятых стран. Об этом пишет, в частности, Эндрю Джек, бывший корреспондент в Москве британской газеты делового мира *Financial Times* в книге «Внутри России Путина: Могут ли быть реформы без демократии?» (2004). Отчасти, замечает он, она виновата в этом сама, ибо остается страной секретов, где домыслы и слухи доминируют над фактами, а правду почти невозможно узнать. В 1990-е Россия, по мнению Джека, превратилась в настоящее «кривое зеркало» Запада. Ожидания в отношении российской демократии были изначально завышены: демократический процесс фиксировали там, где его на самом деле не было. В начале XXI века Россия, по мнению Э. Джека, лишь начинает идти по пути модернизации, но вовсе не очевидно, что в сторону вестернизации. По европейским меркам она разочаровывает, хотя выглядит иначе, чем Китай. Парадокс Путина Э. Джек усматривает в том, что он, *изначально* – полная противоположность Ельцина, выбравшего его в качестве преемника. От сложившегося при Ельцине «анархического либерализма он повернул страну к либеральному авторитаризму»[3]. К концу своего первого президентского срока он сформировался как свободомыслящий чекист, напоминающий Ю. Андропова. Его экономические взгляды либеральны и прагматичны, он относительный сторонник рынка и иностранных инвестиций; начатые им экономические реформы направлены прежде

---

[1] Ibid. P. 429.

[2] 8 октября 2008 г. на конференции в Институте славистики Чешской Академии наук.

[3] *Jack A.* Inside Putin's Russia: Can there be reform without democracy? – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2004. P. 112.

всего на наращивание экономической мощи России, способной повысить ее влияние в международных делах и вернуть страну на мировой политический Олимп. Однако методы Путина слишком узки, технократичны и авторитарны, реформы неясны, противоречивы, неудачны, а главное, нет «стратегии национального развития», нет гарантий, что следующий президент, особенно если он окажется слабой политической фигурой (а иных на горизонте не просматривается), сможет хотя бы сохранить в стране стабильность и «поступательный курс ее движения в тревожное будущее», не говоря уж о том, чтобы завершить путинские реформы или нащупать новую стратегию развития России[1]. Политическая ситуация ныне менее демократична, чем в 1999 г.; необходимая стране стабилизация превратилась в стагнацию, элемент модели либерального авторитаризма, более привлекательного (на взгляд Джека), чем коммунизм. Возможно, это не то, что Запад хотел бы видеть в России, но это то, что поддерживают сегодня ее граждане. Отвечая критикам Путина Э. Джек замечает, что президент мог быть и менее сговорчивым в международных делах, но предпочел «серединный путь» и оказался более надежным партнером Запада, чем либеральный Ельцин. Прогнозируя будущее, Джек допускает, что Россия станет богаче, увереннее, чем сегодня, но основа этого – все та же эксплуатация природных ресурсов; угроза распада страны, депопуляции; углубления морального кризиса, проникновения организованной преступности во власть, неэффективного управления; он видит в будущем рост социального неравенства, дальнейшее падение личной ответственности, незащищенность прав собственности, правовой субъективизм. Россия остается в глазах Э. Джека непредсказуемой страной с «тревожным будущим».

Оценивая ситуацию в постперестроечной России, известный историк, профессор Лондонского университета Эрик Хобсбаум в книге «Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век»[2] задает вопрос: а чего же ждать от страны, пережившей трагедию Октябрьской революции и 70 лет советской власти, породивших бездушный, жестокий командный социализм, создавших «homo soveticus», материально зависимого от государства, отвыкшего от личной инициативы? А с другой стороны, именно благодаря «командной индустриализации»

[1] Ibid, p.297.

[2] Эрик Хобсбаум (р.1917) – также автор книг «Век революции, 1789 –1848» (1962), «Век капитала» (1975), «Век империи 1875 –1914» (1994).

СССР «за несколько лет превратился в мощнейшую промышленную державу», и она «в отличие от царской России, смогла одержать победу в войне с Германией и выжить <...>. Хотя система поддерживала нищенский уровень потребления у населения, <...> она гарантировала этот социальный минимум. Она давала людям работу, пищу, одежду и жилье, контролируемые цены и дотируемую квартплату, пенсии, медицинскую помощь и равенство, пока система привилегий для "номенклатуры" не вышла из-под контроля после смерти Сталина. <...> Превращение в основном неграмотной страны в современный СССР по любым стандартам являлось выдающимся достижением»[1]. Очевидна двойственность исследователя, желающего сохранить объективность. Сбалансировано оценивая роль России в истории XX в., Э. Хобсбаум замечает, что демократию в XX в. спас «только временный и странный союз», заключенный либеральным капитализмом и коммунизмом «для защиты от претендовавшего на мировое господство фашизма», более того, победа над гитлеровской Германией «была несомненно одержана Красной армией», и, возможно, без этой победы сегодня в мире (за пределами США) преобладали бы авторитарные и фашистские режимы[2]. В крушении СССР, породившем огромную зону политической нестабильности, Э. Хобсбаум усматривает симптом глобального политического кризиса[3]. Прогнозируя будущее, он допускает возможность появления на месте бывшего СССР политического образования, аналогичного Евросоюзу. В его книге пересматриваются распространенные на Западе оценки советского общества, которое теперь принадлежит к разряду исчезнувших цивилизаций. Число подобных исследований в последнее время постоянно растет – недаром англичане всегда славились как блестящие археологи. Возрастает интерес ученых к повседневности жизни в сталинскую эпоху, к Сталину и его окружению, к пересмотру советских мифов[4].

---

1 *Хобсбаум* Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М.: Независим. газета, 1994. С. 407.

2 Там же. С. 17.

3 Там же. С. 20-21.

4 См., например: *Albert Axel.* Stalin's war through the eyes of his commanders. L.: Arms a. Armour, 1997; Stalinism. New Directions. Ed.by Fitzpatrick Sh. L.a.N.Y., 2000 (сборник статей английских и американских исследователей); Simon Sebag Montefiore. Stalin. The Court of the Red Tsar. L.: 2003; Rayfield D. Stalin and his Hangmen.L., 2004. Francis Becket. Stalin's British Victims. Gloustershire: Sutton Publishing Ltd, 2004; S.S. Montefiore. Young

***

По-прежнему важную роль в создании образа России играет жанр путевых заметок. Журналист Джонатан Димблби, проехав десять тысяч миль от Мурманска до Владивостока, был «потрясен и тронут тем, в какой мере сохранились в России особенности, индивидуальность религии и культуры, <...> несмотря на долгие "репрессивные" годы советского коммунизма»[1]. Сравнивая свой первый опыт посещения страны в годы «холодной войны», когда западные журналисты находились «под колпаком» КГБ, их передвижения были строго ограничены, он пишет о нынешней свободе: снимая фильм для БиБиСи «Россия: Путешествие с Джонатаном Димблби» он со своей группой ездил куда-угодно и без ограничений беседовал с людьми. Правда, замечает он, часто они смотрели на него с подозрением, без улыбки, бывая резкими, почти грубыми. Но если ему удавалось «копнуть глубже», чему немало способствовала «поглощаемая в гаргантюанских количествах водка», то ему открывались необычайные тепло и честность этих людей. Он сознает, что такие «картинки» рождают впечатление, будто он прибыл на «другую планету», но именно так, по его словам, он и чувствовал себя в России: «Русские – это другие <...>»[2]. Вместе с тем он признает, что общение с ними обогатило его, им не свойственны занудство, склонность к жалобам, у каждого есть своя «история». Но чем больше Димблби внедрялся в российскую жизнь, тем большее недоумение испытывал. Россияне, пишет он, – этнически очень разнообразный народ, но в своем отношении к миру они сходны. Две тенденции в общественной жизни России, этой «капиталистической автократии», рождают глубокую пропасть между имущими и неимущими: речь идет о «неприятии ключевых принципов либеральной демократии и страстной любви к Родине». Демократия для россиян – синоним опасности и анархии ельцинского периода, вызывающий ностальгию по спокойствию и порядку советской эпохи, особенно ее сталинского периода (то, что Сталин был главным инициатором террора и архитектором ГУЛАГа, уничтожившим миллионы людей, остается, как замечает Димблби, за скобками). Воздействие этого распространенного представления разъедающе. В результате средства

Stalin. L.: Weidenfeld & Nicolson, 2007.

[1] *Dimbleby J.* All for the motherland // The Times. L., 2008. October 4. P. 8.

[2] Ibid.

массовой информации оказались в «намордник», парламент – фикция, выборы – обман, а суды – просто «слуги Кремля». На взгляд журналиста «Россия – это клептократия, в которой господствуют и правят олигархи и службы безопасности. И едва ли услышишь хоть шепоток протеста»[1]. Любовь к Родине у россиян порой, как считает журналист, переходит в агрессивный национализм, граничащий с ксенофобией.

В книге «Россия: Путешествие в сердце страны и ее жителей» (2008)[2] Дж. Димблби уделяет особое внимание прошлому: оно дает ключ к пониманию настоящего и будущего: «Перенасыщенная страданиями, трагическая история, пишет он, глубоко въелась в душу нации. Она породила поразительное смирение и в то же время глубокий цинизм в отношении ко всему, кроме Родины. После столетий автократии или, иными словами, диктатуры власти, нет ничего удивительного в том, что фатализм пронизал русскую душу. "Живи сегодня – завтра ты можешь умереть" – таким может быть национальный девиз <...>»[3].

Писатель, журналист Поль Теру в эссе «Будто снова в СССР»[4]. Как бы иллюстрирует суждение Сэмюела Пипса о том, что «Россия – это печальное место». Теру побывал сначала во Владивостоке, «вырождающемся, по его словам, городе» на «краю света», ставшем одним из центров «скинхедов». Там он стал невольным свидетелем разговора английского бизнесмена с его русским коллегой, точнее монолога (коллега практически не подает голоса): «Владивосток – вот это да! – восклицает бизнесмен. – Мы летели сюда семь часов и все еще в России. Поразительно! Это все еще Европа!»[5] П. Теру с иронией ставит знак вопроса: «Европа?». Вполне возможно, «подслушанный разговор» – это «маленькая хитрость» журналиста для того, чтобы чужими устами «покритиковать» и свою родину: «Англия – конченая страна, – говорит похожий на литературный персонаж бизнесмен. –

---

1 Ibid.

2 *Dimbleby J.* Russia: A Journey to the heart of a Country and its people. L.: BBC Books, 2008.

3 *Dimbleby J.* All for the motherland. P. 8.

4 *Theroux P.* It's just like being back in the USSR// Seven. L., 2008. 24 August. P. 13-16. Отрывок из книги: «Ghost Train to the Eastern Star: On the Tracks of the Great Railway Bazaar». Penguin Books, 2008.

5 Ibid. P. 13.

Потребуется двадцать лет, чтобы прийти в себя после вреда, который причинил Блэр. <...> Мы – 51-й штат», а вот «вам нужно вернуть монархию»[1] (любимый мотив британцев). Потом Теру едет в Пермь, где посещает сохранившийся как музей (благодаря бывшим узникам, ныне историкам ГУЛАГа и финансовой поддержке Фонда Форда) один из лагерей ГУЛАГа – «Пермь 36». Журналист не делает никаких обобщений, но ощущение от его впечатлений – «безнадега»: даже искренность людей, с которыми он общается, не «утешает его», и в отчаянии, собственным примером поясняя причины русского пьянства, он напивается почти в стельку, тем самым выражая свое отношение ко всему увиденному.

Путешествие по России в августе 2006 г. совершил известный прозаик Питер Акройд (р.1949): ему заказал серию очерков журнал «Эсквайр». Его маршрут: Москва – Тверь – Торжок – Вышний Волочек – Старая Русса – Псков – Михайловское. Призма, сквозь которую он смотрит на Россию, очень типична для английских литераторов: «Всегда мечтал о таком путешествии, – признается он, – буду искать остатки той России, которую знаю по литературе XIX в., <...> дух Гоголя, Достоевского и Пушкина. Этими писателями восхищаюсь и ставлю их в один ряд с Диккенсом и Шекспиром. <...> Один из мифов о России у нас, что пища русских абсолютно непригодна. Я его не разделяю и очень хочу попробовать блюда настоящей русской кухни. То, что я уже пробовал очень вкусно»[2]. В результате поездки он опубликовал путевые заметки: «Тайное России-матери» и «Ледяное сердце России». Посещение российской провинции он соотносит с размышлениями Гоголя в «Мёртвых душах» о Руси, ее бедности, убожестве и таинственной притягательности. В результате общения с русскими людьми, любящими пооткровенничать, он начинает понимать источник монологов персонажей Достоевского, прежде казавшихся ему искусственными. Москву, как и Лондон, он отделяет от остальной страны, замечая, что, как и Лондон, она – «уродливый город», в ней сосредоточена «власть и алчность». Ключ к пониманию «русского характера» он находит в размышлениях Достоевского о «двух глубинах»: «глубине благородных идеалов» и глубине «отчаяния и вырождения».

---

[1] Ibid.

[2] *Герасимова О.* Русские валенки для английского денди // Московский комсомолец. 2006. 18 авг. С.13.

Во власти стереотипов, но иного рода, оказывается и писательница Сью Таунсенд, автор книги «Публичные признания женщины средних лет» (2001), сложившейся из очерков, которые она ежемесячно печатала в *Sainsbury's*. Среди прочего – ее впечатления о России конца XX в.: Достоевский, КГБ, лучший в мире балет. В эссе «Водка» она объясняет неудачи Горбачева изменениями правил продажи водки; Москву называет городом, где «пьют напропалую». Жизнь в России кажется Таунсенд хаотичной, люди ведут «ежедневную борьбу за существование», а выпивка быстрее и больше облегчает страдания, чем культура».

Таковы характерные для современной английской журналистики образцы путевых заметок.

***

Художественная литература реагирует на общественные перемены всегда медленно и опосредованно, ей нужно время. Исключение, да и то с оговорками, – жанр детектива, имеющий, как известно, глубокие традиции в английской литературе – от Конан-Дойла, А. Кристи до Ф.Д. Джеймс. Особенность детективов о России или связанных с Россией – их политизированность и выход за рамки остросюжетности к «философским обобщениям».

В боевике знаменитого автора «политического детектива» Фредерика Форсайта (р.1938) «Икона» (1996, рус.пер. 1998) Россия на пороге XXI в., истерзанная мафией и коррупцией, обнищавшая, распродаваемая по частям, находится на грани неофашистского путча. Спасают ее (а также и весь мир) старый асс британской разведки Найджел Ирвин с помощью приглашенного им разведчика американца Джейсона Монка (примечательно, что тот в отставке и разладе со своими американскими боссами). Они возвращают Россию на круги своя – к «иконе», достойной веры – к монархии (разумеется, конституционной – по английскому образцу). Лейтмотив Форсайта – мир един, и Запад должен спасать Россию, сами русские – слабы, бедны, унижены (к этому роману примыкает и роман Форсайта «Дьявольская уловка», 1979).

По-прежнему в Англии популярны, неизменно экранизируемые, романы о суперагенте 007 – Джеймсе Бонде, которые после смерти Яна Флеминга писал Джон Гарднер, а затем – Себостьян Фолкс. Все они строятся по одной схеме и, прочитав один из них, получаешь впечатление обо всех. Например, в боевике «Золотой глаз» (1995, рус.

пер. 1997) сохраняются все клише серии: Бонд для выполнения своей миссии отправляется на территорию России – она и в 1990-е годы остается врагом. Преодолев множество препятствий, едва не погибнув (обычная для него ситуация), он выводит из строя опасный для всего мира биохимический завод под Архангельском. Затем действие переносится в Петербург 1995 года, где Бонд, наблюдая, с одной стороны бомжей и нищих, с другой – искаженное отражение Запада (дорогие автомобили, дома, костюмы), пессимистически оценивает возможности «новой» России и полагает, что все может вернуться на круги своя в сузившихся границах «империи зла». Повествование, как всегда, остросюжетно, построено как череда побед и поражений Бонда, и завершается его спасением. Примечателен в романе привлекательный образ русской женщины – красавицы и умницы, программистки Натальи, а также тем, что во вполне стереотипном «джеймсбондовском» боевике присутствуют и необычные мотивы: главой криминального петербургского синдиката оказывается бывший друг и коллега Бонда – агент 006 Алек Тревельян, который после «архангельской» операции числится погибшим, однако он выжил и стал главой синдиката «Янус», названного так из-за его буквального (одна часть его лица повреждена в «архангельской операции») и переносного двуличия: выясняется, что он – сын русского казака – из казаков, воевавших на стороне Гитлера и по окончании войны перешедших в английскую зону. Британское командование обещало им, что не выдаст советской стороне, однако 70 тысяч казаков с женами и детьми были выданы на заведомую гибель (об этом написано немало, в том числе А.И. Солженицыным). Родители Тревельяна чудом уцелели, но его отец не смог жить после всего пережитого, он убил жену и себя. Английская секретная служба, предпочитающая вербовать сирот и брать на себя «роль родителей», знала об этом, но взяла Алека под свое крыло, полагая, что тот был слишком мал, чтобы что-то запомнить, но не учла непредсказуемость памяти и природы человека. Тревельян, конечно, «наказан», он погибает. Но эта история с выданными Сталину казаками не впервые всплывает на «поверхность», в том числе не так давно она вновь обсуждалась на заседаниях английского парламента: видимо, «политико-прагматическая» уступка Черчилля Сталину жжет «английскую совесть». А связь с трагическим прошлым придает «двуликому Янусу» – злодею Тревельяну в этом массовом, «ширпотребном» шпионском романе трагический колорит, выделяя его среди трафаретных персонажей.

К созданию «шпионских триллеров» склонны и серьезные писатели, в частности, один из наиболее известных современных английских романистов Уильям Бойд. Героиня его романа «Не знающая покоя» (2006) – полурусская-полуангличанка Ева Делекторская родилась в Москве; с родителями и младшим братом Колей в 1917 г., после Октябрьской революции эмигрировала за границу; в 1928 г. они поселились во Франции (лишь мать-англичанка умерла по дороге в Китае). Зачем понадобилась писателю героиня с «русским колоритом»? Очевидно, «русский характер» привлекает его, как и других английских писателей, «неанглийскими» особенностями: обладающая аналитическим умом, выдержкой, изобретательностью, быстрой реакцией, выносливостью, она вместе с тем очень эмоциональна, искренна, сохраняет нравственные критерии и «живую душу» в любых обстоятельствах. На предложение другого главного персонажа романа – англичанина Лукаса Роумера работать на Британскую службу безопасности она сначала отвечает категорическим отказом, хотя это дает ей, русской эмигрантке без гражданства – престижное британское подданство и деньги. Однако она, несмотря на свое «жалкое эмигрантское положение», чужда прагматизма, и соглашается только после долгих уговоров отца, Сергея Павловича Делекторского (он хочет, чтобы у дочери были прочные юридические и практические основы жизни) и настойчивых доводов Роумера, играющего на ее *чувствах*: она должна отомстить за любимого брата Колю (тот, будучи антифашистом, погиб, внедрившись по заданию Роумера во французскую профашистскую организацию «Аксион Франсэз»). Писатель постоянно подчеркивает то, что Ева человек с *чувствами*.

В сущности роман построен на взаимодействии и противостоянии Евы и Роумера, типичного англичанина, казалось бы плоть от плоти британского истеблишмента, недаром информация о нем присутствует в разных «Кто есть кто»: он стал в 1946 г. (при правительстве Черчилля) лордом Мэнсфилдом, богат, член привилегированных клубов, но ни в одном справочнике не упомянут период его биографии с 1935 по 1945 г, когда он работал в Британских спецслужбах, в 1939 г. и началось его сотрудничество с Евой. В ту пору у них возник роман, что однако не мешало ему «манипулировать» ею (вплоть до того, что он поручает ей, в духе английского лицемерия, то есть не говоря это прямо – соблазнить одного из ближайших сотрудников Рузвельта, в результате тот, став жертвой шантажа, вынужден работать на британскую разведку). Роумер, несмотря на свою внешнюю привлекатель-

ность, таинственную закрытость, усиливающую его обаяние, – человек суперрациональный, холодный, не страдающий угрызениями совести, циник. Он использует людей «своей команды» и убирает их как фигурки на шахматной доске, когда они, на его взгляд, слишком много знают и опасны для него (именно так он поступает и с Евой, но ей, благодаря смекалке и «сверхживучести», удается остаться в живых). В конце концов, она выясняет, что Лукас – агент НКВД и вел двойную игру (это напоминает реальную историю привилегированных англичан «Кима» Филби, Гая Берджесса и Доналда Маклина, ставших в 1930-е годы советскими агентами).

Однажды Лукас назвал Еве три основные причины для предательства родины: деньги, шантаж, месть. По мнению Евы, его «причина» – месть, объяснимая «очень английскими мотивами»: Англия – это такая страна, которую можно, и «иногда это естественнее, – скорее ненавидеть, чем любить». В конце романа она говорит своей дочери Рут: «Когда я увидела его сегодня вечером [летом 1976 г.]: Лукас Роумер, лорд Мэнсфилд с его бентли, дворецким, домом в Найтсбридже, его клубом, связями, репутацией. <...> я подумала: это была его месть. Он получил все казалось бы возможное: деньги, репутацию, уважение, стиль, класс, титул. <...>. Но все это вызывало у него смех. Он все время смеялся над всеми ними. Каждую минуту, когда шофер привозил его в клуб, когда шел в Палату лордов, когда сидел в гостиной своего дома – он смеялся»[1]. В поединке Ева – Лукас, замечает ее дочь, Ева побеждает: как богиня возмездия за погубленных им людей, она находит Лукаса в Лондоне в 1976 г. и после разговора с нею, понимая, что разоблачен, он кончает жизнь самоубийством.

Очевидно амбивалентное отношение У. Бойда к Англии. Русская героиня, точнее полурусская-полуангличанка, то есть одновременно чужая Англии и близкая ей, обладающая даром взглянуть на нее со стороны и в то же время правом судить ее «как родственник», позволяет ему оттенить многое из того, что чуждо, раздражает его в Англии, показать значимость таких ценностей, как человеческие чувства, искренность (все это дают Еве ее русские «гены»), противостоящие фальши, жестокости истеблишмента, предательству. Следует учитывать и то, что Ева приехала в Англию, когда ей было уже 28 лет, она сложилась как личность в русском социуме. Выйдя замуж (намеренно) не за англичанина, а за ирландца, теперь, после его смерти,

[1] *Boyd W.* Restless. L.: Bloomsbury, 2006. P. 323.

она живет в живописной старинной деревушке в «сердце Англии», между Оксфордом и Стрэтфордом, и остается «белой вороной», о чем свидетельствует не только то, что внук называет ее «странной», но и, что существенно для англичан, ее отношение к своему саду: она уделяет ему много времени, но посадив растение и убедившись, что оно прижилось, она дает ему возможность расти вольно; ее буйный, «не подстриженный» сад выделяется в деревне, вызывая неодобрение соседей.

Обращение к России как антиподу Англии, оппозиция русский – англичанин, чаще всего русская героиня versus англичанин наметилось еще в эссе Джона Голсуорси «Русский и англичанин» (1916), а в художественной прозе – в романе Сомерсета Моэма «Рождественские каникулы» (1939)[1], который в этом плане является архетипным романом: позднее английские писатели «повторяют» его схему. В 1917 г., будучи агентом британской секретной службы, Моэм приехал в Петроград, чтобы помешать выходу России из войны, из этого у него ничего не вышло, зато началось его знакомство с русской культурой и «русская болезнь». Ему удалось собрать материал для романа, где он сопоставляет две культуры, двух молодых людей разной судьбы: герой романа – Чарли, вполне удачливый англичанин, встречает русскую девушку с трагической судьбой и ему открывается непостижимость загадочной русской души, новый, прежде неведомый мир, взрывающий его представление о жизни.

Подобная ситуация: прекрасная русская женщина, вовлекающая в свою «орбиту» англичанина и меняющая его жизнь, – встречается даже в романе «Русский дом» (1989; экран.1990; рус.пер.1990) мастера массовой «шпионской прозы» Джона Ле Карре. Роман имеет символическое название – речь идет и о «русском отделе» английской разведки, и о России времен перестройки, где по-прежнему: экономика в кризисе, продуктов и прочего не хватает, сохраняется власть КГБ. Вместе с тем автор иронически и даже сатирически изображает «активную деятельность» английских и американских спецслужб, испытывающих патологическое недоверие к России. Примечательно, что именно американец Шеритон – сотрудник ЦРУ высказывается крайне цинично и откровенно: «На этой занюханной планете просто нет места для двух сверхдержав» – эти слова могли бы послужить эпиграфом ко всей последующей политике США в мире. В центре романа,

[1] *Maugham S.* Christmas Holiday Book. L.: P.R. Collier Son, 1939.

если оставить за скобками суету спецслужб, треугольник: английский издатель Барли, русская красавица Катя Орлова, в которую он влюблен; и физик Яков Савельев по кличке Гёте, «великий мыслитель и нигилист», которому она предана с юности; его цель – спасти человечество, выдав англичанам как наиболее порядочным представителям Запада опасные секреты «российской оборонки», но при этом придется невольно пожертвовать Катей и ее детьми (то есть прямо по Достоевскому: возможно ли спасти человечество на крови хоть «одного младенца»?).

Образ русского ученого, участвующего в разработке опасного оружия, ставшего заложником советской системы и пытающегося праведными или скорее (на взгляд писателя) неправедными путями найти выход из неприемлемой для него ситуации, трагичен: он погибает в «темных глубинах» при невыясненных обстоятельствах, но все-таки никого не влечет за собой. Писатель же, отвергая любой истеблишмент, делает ставку на альянс «безгрешных», искренних и бескорыстных – англичанина (Барли) и русской женщины (Катя), при этом Барли, ощущающий себя как человек из общества, которое существует «только в материальном измерении» и пренебрегает «вечными проблемами», чувствует явное нравственное превосходство Кати, у которой за душой «всего вдесятеро больше, чем у него». Таким образом в романе Джона Ле Карре возникает образ обаятельной, благородной русской женщины. Следует учитывать и то, что симпатии Барли к России возникли не на пустом месте: его отец был фабианцем, то есть английским социалистом, и всегда отдавал предпочтение СССР, в 1930 годы он даже создал Клуб русской книги, однако не простил русским террора, лагерей, переселений народов.

На сопоставлении «русского» и «английского» начал построен роман известного писателя, лауреата Букеровской премии (1986) Кингсли Эмиса (1922–1995) «Эта русская» (1992), в центре которого история взаимоотношений английского профессора Лондонской школы славистики и восточноевропейских исследований Ричарда Вэйси и молодой русской поэтессы Анны Даниловой, приехавшей погостить в Лондон из перестроечной России. Ричард погружен в мир русской классики, работает над книгой о Лермонтове, живет в своем ограниченном, предсказуемом мирке. Современная Россия чужда ему, да он и побаивается ее. И вдруг она возникает в его жизни в лице Анны. Встреча с нею, то есть встреча с «живой Россией», заставляет его осознать «футлярность», «фальшь» своего существования. В конце кон-

цов, он «сжигает за собой мосты», уходит из Школы, от жены (карикатурной англичанки), которую не любит, и начинает новую жизнь. К. Эмис не без иронии изображает в романе и англичан (даже с элементами гротеска) и русских, отдавая тем не менее предпочтение русской героине как воплощению «живой жизни».

Интервью с Кингсли Эмисом, взятое у писателя в Лондоне в 1992 г., свидетельствует о его знании истории России и внимательном интересе к настоящему: «Уже несколько десятилетий, – замечает он, – мое творчество переплетено с вашей страной. <...>. Действительно, я порой крайне негативно высказывался о советской системе, потому что был и остаюсь решительным противником тоталитаризма. В то же время русские люди – чрезвычайно талантливые, яркие, интересные личности. Сейчас им очень трудно. Они живут в переломный период. <...> Я порой задаюсь вопросом: участвует ли интеллигенция хотя бы в какой-то степени в определении будущего своей страны? Я не говорю о ссорах между писателями, делении на «левых» и «правых», скандальных и оскорбительных высказываниях в адрес друг друга. Это совсем не тот голос, в котором нуждается Россия. Да и голосом интеллигенции его не назовешь. Когда я читаю сообщения о них, то думаю: где благородство, которое всегда было свойственно лучшим писателям России, к примеру Борису Пастернаку?! Почему не слышен голос интеллигенции? Хотя уж очень непонятная, незнакомая ситуация сейчас в России. Какой была Россия до революции, люди знают. Пусть по книгам, но знают. А что будет теперь, предсказать крайне трудно. Даже, пожалуй, невозможно»[1]. Он понимает, что в корне изменилось положение русских писателей: журналы, книги выходят мизерными тиражами, ослабла связь с читателем, однако, на его взгляд, это не трагично: «Для того, чтобы культура процветала, она не обязательно должна быть массовой. Крохотные тиражи, если подходить по сегодняшним меркам, отнюдь не мешали русской литературе прошлого века быть уникальным явлением. Литературой высшего класса! <...> Писателю нужна не только свобода. Нужны амбиции, энергия, желание сделать что-то полезное для своей страны. Убежден, что последнее качество совершенно необходимо. <...> В романе «Эта русская» англичанин спрашивает русскую поэтессу, не хочет ли она покинуть Россию. “Ты что! Это мой дом!” – возмущенно отвечает

[1] *Эмис К.* У каждой творческой личности своя азбука // Лит. газета. 1992. 12 авг. №33 (5410) [Беседовал М. Озеров]

она. Такой диалог может показаться упрощенным, но он – и это главное – актуален. Перед сколькими моими коллегами в России стоит сейчас этот вопрос! И наверняка подавляющее большинство отвечает так же»[1].

Не обошел тему России и такой известный писатель, как Малколм Брэдбери (1932 – 2000) еще в романе «Профессор Криминале» (1992), где речь идет об СССР горбачевского периода как о «коммунистическом полюсе», противоположном «капиталистическому Западу» и главный герой (его возможный прототип Д. Лукач) таинственно «балансирует» между этими полюсами. Целиком о России – роман Брэдбери «В Эрмитаж!» (2000, рус. пер. 2003). Действие в нем происходит в двух временных планах: по приглашению Екатерины II в Петербург приезжает Дидро, ощущающий себя «миссионером», «просветителем варваров», и в 1993 г. – туда же прибывает группа западных ученых на посвященную Дидро конференцию и поиски его библиотеки, выкупленной Екатериной. Брэдбери обыгрывает исторические «повторы», его занимает воздействие прошлого на настоящее и будущее.

Дидро пишет для императрицы «фантастический» меморандум и предлагает ей отменить крепостное право. Петербург видится ему как порождение фантазии, напоминающее ирреальные города-гротески Свифта. Другому персонажу Брэдбери – английскому писателю (alter ego автора) Петербург 1993 г. кажется гоголевским «призрачным городом», выстроенным «по линейке», расчерченным как шахматная доска; городом –театром, городом двойного измерения: реального и символического. Все повторяется в России: неспокойно было в ней во время визита Дидро, неспокойно и в 1993 г.: Дума распущена, ее здание обстреливается. Однако английский писатель воспринимает действительность в основном сквозь литературную призму. Его маршрут в Петербурге – литературные: музеи Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Достоевского; в кафе на Невском он знакомится с Русланом Чичиковым – гоголевский персонаж в новые времена в новом обличье по-прежнему одержим идеей: как получить прибыль «из воздуха». Писатель сопоставляет русских и англичан, и в литературе отдает предпочтение русским: в их прозе он находит страдания, страсти, размах; хорошо написанной западной прозе не хватает, по его мнению, духовной глубины и мощи. Вместе с тем и Дидро, и английский писатель замечают, каждый в свое время, «странное варварство» России.

[1] Там же.

И вновь наиболее привлекательные персонажи романа – русские женщины: амбивалентная и незаурядная Екатерина, княгиня Дашкова, сотрудница Эрмитажа Галина, они – лучшее в России, они – ее «оправдание».

Образ России, созданный М. Брэдбери, основан на традиционном для англичан представлении о ней как стране контрастов между свободой ее просторов, бедным, забитым населением и роскошью европеизированного Петербурга, что свидетельствует о неизменности существующих с XVI в. «русских стереотипов». Ощущается в романе и характерный для «цивилизованных» англичан взгляд на Россию сверху вниз.

Образ России возникает, хоть и косвенно, в романе «История мира в 10½ главах» (1989) одного из наиболее ярких современных английских писателей, лауреата двух Букеровских и нескольких французских литературных премий – Джулиана Барнса (р. 1946). Название «роман» в данном случае скорее мистификация «жанра», чем определение его. В коллаже из десяти эпизодов, образующих канву повествования, объединенного воедино представлением автора об истории как о цепи «провалов», о проигрыше человека, оказавшегося не просто неадекватным хранителем мира, а его губителем, в одной из глав описана авария на Чернобыльской АЭС как катастрофа мирового значения (сквозь призму восприятия героини – 38-летней женщины).

Россия вновь «косвенно» присутствует и в романе Дж. Барнса «Дикобраз» (1992), воссоздающем мрачную картину жизни одной из соцстран (Болгарии) в переходный период от коммунистического режима к новому «свободному миру», и устами бывшего президента страны, представителя «старой коммунистической номенклатуры» Стойо Петканова (прототипом послужил Тодор Живков), зло и гротескно «разоблачающего» Горбачева и его «перестройку»: «Истлевшими душами воняет нынче Россия-матушка». Писатель показывает ситуацию в стране-сателлите СССР сквозь тройную призму восприятия: бывшего президента; «нового болгарина» (генерального прокурора страны и бывшего члена компартии) и трех молодых людей (единая позиция), не «комментируя» их суждения и давая понять, что мир плюралистичен и в каждой точке зрения есть доля истины.

В одном из интервью Дж. Барнс признался, что изучал русский язык в школе и два семестра в университете и является глубоким почитателем русской литературы. «Пожалуй, замечает он, «Дядя Ваня» – моя самая любимая пьеса в мировой литературе. Я ценю ее больше

"Гамлета". Ключевым романом для себя считаю "Героя нашего времени" Лермонтова. Я читал и читаю, и буду читать Чехова, Тургенева, Толстого, Гончарова, Булгакова, Гоголя, Пушкина, Пастернака... Недавно меня попросили назвать десять моих любимых романов, и четыре из них были русскими»[1].

* **

Особого внимания заслуживает творчество Дона Майкла Томаса (р.1935) – его принято называть Д.М. Томас, иногда Дон Томас), – автора более дюжины романов и шести сборников стихов, переводчика на английский поэм и стихотворений А.С. Пушкина («Медного всадника», «Бориса Годунова» и др.), А.А. Ахматовой («Реквиема», «Поэмы без героя»).

Д.М. Томас широко известен в Англии и за ее пределами, особенно в США, но отношение к нему в Англии довольно осторожное: он – корнуоллец (запад Великобритании), живет в главном городе Корнуолла – Труро. И стоит особняком в британской литературе. Тема России в его творчестве постоянна: его волнует Россия как страна «предельных ситуаций», восприятие ее эстетизировано; явно, что русская литература и шире – культура совершенно обворожили его.

«Когда я теперь оглядываюсь на свое детство, – вспоминает он, – в том, что стал изучать русский, в моей любви ко всему русскому явно просматривается рука судьбы. А иначе почему моим первым сохранившимся в памяти воспоминанием была картинка о русско-финской войне в журнале *Picture Post,* когда мне едва исполнилось пять лет? Фотография, на которой похожие на призраков солдаты в белых маскировочных халатах, пробираются сквозь березовую рощу, казалась мне таинственной и будила воображение – я разглядывал ее, сидя в маленьком корнуэльском домике, обычном для семей рабочих. Смутно я понимал, что Красная Армия – вражеская. Но всего лишь через год, она уже стала нашим храбрым союзником, что моему отцу понравилось гораздо больше – он был социалистом и восхищался всем, что знал о советской системе <...>. Мы вместе следили за продвижениями Жукова <...>. Вместе, с одобрением, слушали по радио беседы о

[1] *Барнс Дж.* «Роман – это живая материя...» // Лит. газета. М., 2003. 26 нояб. – 2 дек. №47 (5950). Перепечатка интервью из белорусского журнала «Всемирная литература». 2003. №3 Бесед. Ю. Сапожков.

Советском Союзе сэра Стаффорда Криппса[1]: "Эти люди выглядят так, будто их улицы принадлежат им", и его окружение поддакивало ему: «Да, именно так!»[2].

Потом семья Д.М. Томаса на некоторое время переехала в Австралию и там от русских белоэмигрантов отец узнал «оборотную» сторону советской власти, а сын в это время открыл для себя Рахманинова, произведения которого каждый вечер исполнялись по радиопрограмме «Популярная классика». Когда семья вернулась в Англию, Д.М. Томасу было шестнадцать, его приняли в Оксфордский университет, но с отсрочкой – *после* двух лет военной службы. Так он оказался в «русской» лингвистической школе в Бодмине (Корнуолл), затем по той же линии в Кембридже, где изучал русский язык и культуру[3]. Школа, по словам, Д.М. Томаса, была создана для практических военных целей – защиты от казавшейся тогда вполне вероятной советской агрессии, но в итоге, «что гораздо важнее, она воспитала поколение молодых и влиятельных британцев, испытывавших глубокие, исполненные уважения, трогательные чувства к России – вечной России Толстого, Пушкина и Пастернака»[4].

---

[1] С. Криппс (1889 – 1952) – один из лидеров левого крыла Лейбористской партии, выступал за создание единого фронта левых сил, включая компартию. В 1940 – 1942 – посол в СССР. В 1942 – 1950 гг. – в правительстве.

[2] *Thomas D.M.* Introduction // Elliott G., Shukman H. Secret Classrooms. A memoir of the Cold War. L.: St.Ermin's press, 2003. P.1.

[3] В 1951 г. премьер-министр Великобритании (Клемент Эттли) распорядился создать школу для изучения русского языка (Joint Services School for Linguistics – JSSL), – «холодная война» была в разгаре и могла превратиться в «горячую», а в Великобритании мало кто знал русский. За десять лет существования этой школы через нее прошли пять тысяч молодых людей, среди них будущие известные драматурги – Майкл Фрейн и Алан Беннет, художники, актеры, дипломаты, разведчики, университетские преподаватели, священнослужители, даже глава Банка Англии – сэр Эдвард Джордж. Джон Драммонд, впоследствии директор Эдинбургского фестиваля писал о своем пребывании в Школе: «Мне трудно даже сегодня не почувствовать, что где-то там в глубине души я частично русский <…>. Как при крещении, это было полное погружение». Цит. по: Elliot G., Shukman H. Secret classrooms. P. 3-4.

[4] Ibid. P.5. Тут следует учитывать роль преданных русской культуре эмигрантов, приглашенных преподавателями в Школу. Возглавлявшая «русские курсы» в Кембридже эмигрантка Елизавета Хилл (курсанты звали ее между собой «Лизой») делала акцент на изучении не только языка, но

Д.М. Томас вспоминает, как позднее, готовясь к экзаменам в Оксфорде (там его руководителем был профессор Джон Бейли, известный специалист по английской и русской литературе), подрабатывал в библиотеке и открыл для себя только что вышедший на Западе роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», пробудивший в нем творческие силы: «Я читал его по-английски, еще не в полной мере понимая русский текст, но мне казалось, я ощущал русский под английским и понимал русскую душу. Русский язык был моей Ларой – таинственной, сводящей с ума и неизменно любимой»[1].

Памяти Ахматовой, Мандельштама, Пастернака и Цветаевой посвящен ранний роман Д.М. Томаса «Играющая на флейте» (1979) – о стойкой русской женщине Елене, выживающей и сохраняющей живую душу в тяжелейших условиях в Петрограде, в жестоком иррациональном мире. Широкую известность принес ему роман «Белый отель» (1981), в центре которого история жизни прекрасной, родом из России женщины – певицы Лизы Эрдман (урожденной Морозовой), пациентки Зигмунда Фрейда. В повествовании сочетаются глубокий психологический анализ, эротические фантазии и кошмар XX в. – история Бабьего яра, в котором трагически погибает Лиза; она не еврейка, но, выйдя замуж за киевского оперного певца Виктора Беренштейна, сгинувшего потом в недрах ГУЛАГа, оказалась в Киеве во время немецкой оккупации и не захотела расстаться со своим пасынком Колей Беренштейном и таким образом сохранить свою жизнь.

В романах «Арарат» (1983), «Ласточка» (1984), «Сфинкс» (1986), «Саммит (Совещание в верхах)» (1987), которые писатель назвал «Русским квартетом» и посвятил А.С. Пушкину, Д.М. Томас следовал, по его словам, древней традиции, когда серьезную трилогию

и русской культуры (литературы, музыки), в отличие, скажем, от Рональда Хингли, который возглавлял в 1950-е лондонское отделение школы и считал достаточным изучение лишь языка. В этой связи любопытен вспоминаемый Д.М. Томасом эпизод, когда курсанты должны были прочитать какое-нибудь стихотворение. Когда Д.М. Томас прочел Пушкина (или Лермонтова) у одной из его преподавательниц – Веры Греч, бывшей актрисы Художественного таетра, работавшей со Станиславским, появились на глазах слезы, и он слышал, как она сказала, что, наверное, у него – русские родители, что прозвучало как комплимент ему, но «на самом деле было комплиментом нашим учителям <...>, потому что они передали нам свою любовь к России и ее языку» (Ibid, p.3).

[1] Ibid. P. 5.

завершает фарс, сатира[1]. В «Саммит» гротескно изображено знаменитое женевское совещание Михаила Горбачева (в романе Гробичев – говорящая фамилия для лидера страны, ставшего могильщиком советского строя) и Доналда Рейгана (в романе О'Рейли). Наибольшая доля гротескности достается американскому президенту и его советникам. Гробичев и его жена – красавица Лариса (перифраз «Раиса») представлены с бо́льшей симпатией, хотя писатель явно с иронией относится к политике как к миру холодной игры, далекой от поэзии.

В романах Д.М. Томаса речь идет о геноциде армян, об уничтожении русских крестьян в XX в., о Сталине, Ежове, Берии, Гитлере, архипелаге ГУЛАГе, Бабьем яре. Это компоненты художественного мира писателя. Художественная ткань его романов охватывает стихи, прозу, сны, импровизации, эротические фантазии и эротизированные пейзажи, сексуальные сцены. Порой писатель вносит элементы непоследовательности, заразительной свободы от мира причинности и следствия.

Роман «Лежа вместе» (1990) превращает «Русский квартет» в квинтет «Русские ночи», объединяемый в целостное произведение «сквозным героем» – литератором Сергеем Розановым, который воплощает представления автора о «русском характере»: талантливом, искреннем, щедром, широкой одаренной натуре, любителе женщин и выпить. Действие происходит то в Москве, то в Горьком, то в Армении; то в XIX в., то в период «холодной войны», то после нее. Романы Д.М. Томаса построены «на игре» забавного, смешного, остроумного и отталкивающего, даже отвратительного, реальности и воображения, спасающего героев от кошмара истории. Писателя интересует «взаимодействие» истории и поэзии; изображение ужасов бытия сочетается с метафорическим поиском гармонии души. Но целом в основе всех романов «Квинтета» – исследование природы «русского» (Russianness), требующей импровизационного метода, передающего поэтичность, непредсказуемость, привлекательность, широту, щедрость «русской души». По мнению английского писателя Мартина Эмиса, «Томас, возможно, первый писатель, сумевший перевести мир поэта (с его хаотичными, теневыми, скрытыми и ускользающими элементами) на более понятную, доступную сцену романа»[2].

---

[1] *Thomas D.M.* Author's note // Thomas D.M. Summit. L.: Abacus, 1987. P. 5.

[2] *Amis M.* The War Against Cliché/ Essays and reviews 1971 – 2000. L.: Jonathan Cape, 2001. P. 145.

Д.М. Томас – автор книги «Александр Солженицын. Век его жизни» (1998), где сквозь призму биографии писателя представлена история России XX в. Это своего рода исторический роман или, как пишет Д.М. Томас, «история поистине более необычная, чем любой вымысел»[1]. «Все повторяется, размышляет он в эпилоге, – во всяком случае в России»: Борис Ельцин был на своей инаугурации в «бледном виде», так же «бледно и печально» выглядел сто лет назад – сразу после коронации последний русский царь – Николай II, ибо на празднике коронации в сутолоке погибло полторы тысячи москвичей; начинался XX век с ужасной, катастрофичной «маленькой» войны против Японии и закончился ужасной, катастрофичной «маленькой» войной против Чечни. «Унизительное отступление армии из Грозного московская пресса сравнивала с гибелью русского флота у островов Цусима в 1905 году. Ходили слухи о поездах, стоящих на путях в Ростове, набитых трупами, что напоминало о Гражданской войне и коллективизации. Солженицын чувствовал, что вновь наступила демоническая эпоха. На семейной встрече Нового года в 1996 году он побыл лишь пятнадцать минут, сказав, что Святой Дух оставил Россию <...> В России XX века остались Пастернак, Ахматова, Блок, Шостакович, Мандельштам, Цветаева – и Солженицын; возможно, не столь великий, как они, принадлежащие вечности, но великий высочайшим пересечением своего искусства и личного мужества с историей». В свое время, как замечает Д.М. Томас, – он был «единственным лучом надежды для порабощенных коммунизмом. <...> Русская литература вступает в новую фазу, оставив плодоносный чернозем, невольно вспаханный деспотизмом, и оказавшись в неведомой Сибири свободы – ситуация, в которой, как заметил Натан Щаранский, трудно сохранить экзистенциальную глубину. Статус русской литературы, начиная с рождения Пушкина в 1799 году до конца эпохи коммунизма был уникальным, неповторимым»[2]. В этом лаконичном реквиеме по русской литературе Д.М. Томас невольно обыгрывает традиционные «русские стереотипы»: восходящие на трон по крови правители и порабощенный народ, трагически погибающий при «коронациях» и в ненужных, нелепых войнах; возникает образ Сибири как метафоры неведомого и, возможно, страшного. Звучит и новый мотив: оплаки-

[1] *Thomas D.M.* Alexander Solzhenitsyn. A century of his life. L.: Little, Brown a. Co, 1998. P.XIV.

[2] Ibid., p.534, 535.

вания великой русской литературы, ибо она осталась в прошлом, а настоящее туманно.

* * *

Немало русских аллюзий, ссылок, цитат из Набокова, Солженицына встречается в не связанных прямо с Россией романах известного прозаика, журналиста, киносценариста, книжного обозревателя Лондон Обсервер, в 1973 – 1979 литературного редактора крупнейших британских изданий *Таймс Литерери Сапплемент* и *New Statesman* (в 1980-е его имя неизменно присутствовало в списке лучших английских прозаиков молодежного авангардного журнала «Гранта») сына К. Эмиса – Мартина Эмиса (р.1949). Он – автор большого историко-литературного эссе «Ужасный Коба, смех и двадцать миллионов» (2002), написанного, как он сам признается, не без влияния прочитанной им еще в юности знаменитой книги друга его отца, историка Роберта Конквеста «Большой террор» (1968), она произвела сильное впечатление на английское общество. М. Эмис в книге о Сталине, русской революции и трагедии русского народа пытается, не очень успешно, «выйти за свои пределы» – постичь боль «других», примерить (порой наивно) ее «на себя». Россия трогает, даже потрясает его, но явно это тот случай, когда, перефразируем Т.С. Элиота, человек «не может вынести слишком много реальности». Подсознание М. Эмиса, неизбежно проявляющееся в его эссе, явно не может перенести ту меру страдания, которая выпала на долю народа России.

Гораздо свободнее М. Эмис рассуждает «на рациональном уровне» – о литературе в одном из интервью: «То, как в Советской России расправились с поэтами и романистами, как в Советской России убили поэзию и роман и как смогла после всего этого кошмара, сквозь заслоны прорваться когорта талантов – Замятин, Булгаков, Бунин, – меня это потрясает. Русский роман явно обладает неимоверной силой и здоровьем... А потом все снова куда-то ушло, исчезло. И чтоб все это восстановить, требуется колоссальная работа. Вернется ли это с Солженицыным, не знаю... Мне он нравится и как человек, и как писатель, но, по-моему, героем он стал, прежде всего, в жизни. Это такая величина, фигура такого масштаба! <...> Здесь встретились на равных, лицом к лицу две силы – советское государство и один человек. Это внушает мне надежду, что Россия выберется и обретет свою культуру. Обретет традиции. <...> В России же традиций свободы нет.

А от них, как вы знаете, зависит очень многое. Если вы не сумеете создать их и увязать друг с другом, вы всегда будете страшно уязвимы перед лицом очередного психопата или зверя»[1]. Последняя фраза объясняет обращение М. Эмиса к теме психопата, параноика Сталина. И, конечно, примечательна типично английская апелляция к традициям – «без традиций ничего невозможно».

***

Русская литература порой оказывает воздействие на английскую литературу на уровне прямого интертекста. В качестве примера приведем написанную английским поэтом Джоном Столлворти (J. Stallworthy) поэму «Гость из будущего» – по мотивам ахматовской «Поэмы без героя», в частности ее образа «гостя из будущего», прототипом которого послужил известный философ и историк культуры сэр Исайя Берлин, встречавшийся, как известно, в 1945 г. с Ахматовой в Ленинграде. Как заметил В.Н. Ганин, Столлворти заимствует у Ахматовой не только образность, но и трехчастную композицию, при чем вторая часть – это довольно точный перевод отрывка из первой главы «Поэмы без героя» и своеобразный композиционный стержень поэмы Столлворти, «мост» между «смысловыми пространствами двух произведений». Перечислив города, имеющие отношение к содержанию поэмы – Ленинград, Ташкент, Москва, Оксфорд, поэт расширяет географические границы исходного текста и намеренно выявляет неразрывное родство с ним своей поэмы. Вслед за Ахматовой он «мифологизирует события», придавая им вневременной характер[2].

Ориентация на классику, в том числе русскую в эпоху постмодернизма со свойственным ему ощущением относительности всех ценностей, характерна для англо-ирландского писателя Уильяма Тревора, автора романа «Читая Тургенева» (1991). В центре романа – в «духе Тургенева» – история женщины, «женской души», проблемы любви, смерти, одиночества. Живущая в ирландской провинции героиня – Мэри Луиза, открывает благодаря своему кузену Роберту, в которого

---

[1] Цит.по: *Рейнгольд Н.* Мартин Эмис: Реальность покорно следовала за мной // Вопросы литературы. М.: 2001, сентябрь-октябрь. С.170-171.

[2] См.: *Ганин В.Н.* «Неужели он придет ко мне в самом деле, повернув налево с моста» (Дж. Столлворти «Гость из будущего» и А. Ахматова «Поэма без героя») // XX Пуришевские чтения. Россия в культурном сознании Запада». С.37 – 38.

влюблена, мир русской прозы, он завораживает ее своей магией, музыкой и преображает ее тривиальную повседневную жизнь, внося в нее поэзию, служит ей поддержкой и опорой после смерти Роберта. Так русский писатель, которого Тревор считает «экзистенциалистом до экзистенциализма», дал героине, живущей в глубокой ирландской провинции, важнейшие жизненные ориентиры – понимание того, что «единственно ценное в этой разбивающейся на мелкие осколки жизни – это любовь», что помогает ей преодолеть трагизм одиночества, отчужденности человеческого экзистанса.

***

В английской русистике наблюдается традиционный интерес к русской классической литературе и литературе Серебряного века.

Русская литература XIX и XX вв. (Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бродский) до сих пор сохраняет в Англии свою магическую силу – конечно, это относится не к массовому, но, по крайней мере, образованному англичанину с университетским образованием, а таких немало. Занятно, что в кинокомедии «Рыбка по имени "Ванда"» (Великобритания – США) один из персонажей – английский профессор: завоевывает свою даму, читая «Молитву» («В минуту жизни трудную») Лермонтова: «...С души как бремя скатится, / Сомненье далеко – / И верится, и плачется, / И так легко, легко».

Более пятидесяти лет существует в Лондоне Пушкинский дом (Пушкин-хаус на Лэдброк-гроув), где собираются любители российской словесности, читают лекции по искусству, богословию, устраивают музыкальные вечера, презентации новых книг, то есть говорят о России, по-русски и по-английски.

Особое событие – выход к 2003 г. первого полного – 15-томного собрания сочинений (стихи, проза, письма) А.С. Пушкина. Автор проекта и председатель редсовета – Ян Спроут (в прошлом государственный министр по делам национального наследия), создавший специальную «пушкинскую комиссию» из поэтов, переводчиков, ученых из разных стран: от Д.С. Лихачева до профессора Оксфордского университета Бейли. «Пушкин, по его словам, известен меньше, чем Толстой или Достоевский. Помню, один из депутатов парламента, услышав о моем плане, спросил: «Это он написал либретто к опере "Евгений Онегин"»? <...> Конечно, при переводе кое-что в сравнении с оригиналом потерялось, потускнело, но в целом

Пушкин предстает перед читателем во всем своем величии <...>[1]. Я. Спроут теперь намерен взяться за издание полного собрания сочинений Лермонтова.

Известный английский литературовед Джон Бейли (муж ныне покойной Айрис Мердок), автор исследований о Пушкине, Шекспире и др., в своего рода подводящей итоги его литературоведческой деятельности книге (2005) в разделе «Матушка Русь», особое внимание уделяет Ахматовой и Цветаевой. В статье «Поэмы с героиней» он анализирует «Реквием» и «Поэму без героя» (последнюю он ставит в один ряд с «Бесплодной землей» Т.С. Элиота) Ахматовой, как произведения сочетавшие эпическое и интимное начала; у Ахматовой трагизм судьбы поэтессы органично вписывается в страдания целого народа. Особенность русского склада ума Дж. Бейли считает «масштабность мышления и щедрость чувств, порой безбрежных». Это свойственно особенно М. Цветаевой, которую Дж. Бейли называет самым русским из поэтов России».

Традиционные рамки исследований русской литературы (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Л. Толстой – в XIX в., Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак – в XX, расширились: например, в Школе славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета занялись изучением В.В. Розанова – вероятно, это результат его полномерного нарастающего признания на родине в 1990 –2000-е годы. Увеличился интерес и к классике советского периода – появились переводы произведений А. Платонова, исследования о его творчестве (Ф. Буллок и др.).

Современные российские авторы (В. Пелевин, Т. Толстая, Вик. Ерофеев и др.) переводятся на английский, однако англичане привыкли к другим стандартам русской словесности (к тому же у самих англичан, «литературной нации», даже средний уровень прозы очень высок).

Значительное внимание уделяется изучению творчества русских женщин – поэтов и прозаиков (исследования Катрионы Келли, Валентины Полухиной и др.). Тут следует учитывать очень сильную традицию женщин – писательниц в самой Англии – от Дж. Остин до современных: А. Картер, А. Брукнер, Ф. Уэлдон, Э. Теннант, М. Дрэббл, Дж. Байет и др.; и модную в последние десятилетия волну гендерных

[1] *Озеров М.* Весь Pushkin на английском // Литературная газета. М., 2003. 26 нояб. – 2 дек. № 47 (5950).

исследований, возникшую частично на основе мощного феминистского движения (хотя в Англии и здесь своя традиция – еще со времен суфражисток, т.е с конца XIX – начала XX в.

Лондонское издательство «Вираго пайонирс» специализируется на публикации книг о выдающихся женщинах. В этой связи характерны книги историка и журналистки левой ориентации Кэти Портер (р.1947) «О революционерках и дипломатах Александре Коллонтай, о Ларисе Рейснер» (1988) как «воплощении героического идеализма русской революции 1917 г.», в их числе и исследование «Отцы и дочери: Русские женщины в революции» и др. К. Портер известна и переводами на английский прозы М. Цветаевой и А. Коллонтай.

***

Англичанам свойственна *двойственность* в отношении к России. Они без иллюзий воспринимают современную российскую жизнь, в основном в русле сформировавшихся с XVI в. стереотипов (государство, политика далеки от народа, чужды ему; люди живут тяжело, трудно), и вписывают образ России и русских в свой историко-культурный контекст (конституционная монархия, парламент как все более укрепляющийся институт демократической власти, развитие общества по траектории ограничения государственной власти, защиты прав личности); в России они наблюдают иную траекторию общественного развития. Как показывает исследование, на всех этапах восприятие России, русских происходит в Великобритании в соотнесении с национальными ценностными установками (парламент, монархия, права личности).

На карте современного англичанина Россия – одновременно и далекая страна на востоке, в силу своего характера, традиций, истории, современной ситуации слишком уж «другая», своеобразная, не вписывающаяся в Европу, но в то же время не такая уж далекая: в современном мире все стало ближе (авария в Белоруссии, а гибнут северные олени в Норвегии; о чем пишет Дж. Барнс (см. выше).

Вместе с тем, образ России воспринимают по-разному. Существует имидж России, создаваемый официозным Лондоном. Тут неважно, кто у власти – консерваторы или лейбористы, и те, и другие находятся в сильной зависимости от США. Для них, с их западоцентризмом, Россия – «чуждый» объект, вечный конкурент, опасное, непредсказуемое государство.

Многолика «картина России», создаваемая британскими СМИ: разумеется, в центре внимания все важные события российской политической жизни – от шагов Горбачева, Ельцина (наиболее негативную реакцию в его период вызвали война в Чечне и, особенно, «расстрел Парламента», что для англичан равноценно святотатству, не говоря уж о «шоке» распада СССР) до колеблющегося «в выборе политического курса между монархизмом и утилитаризмом» «патриота Путина» (М. Николсон)[1]. В английских СМИ много «горьких пилюль» в адрес России. Сохраняется (не без оснований) стереотип о государстве, не дружелюбном к своим подданным; о благоденствующих, живущих в роскоши власть имущих и бедном, несчастном, бесправном народе. Россия, как и прежде, в глазах англичан страна беззакония, социальной несправедливости.

Для английских писателей, основа восприятия России, как и мира в целом – этические ценности, и в этом плане некоторые, делая ставку на человеческую личность, человеческие отношения, отдают предпочтение русским, прежде всего русским женщинам, обладающим красотой, умом, искренним, благородным, способным к самопожертвованию (сам образ России как женщины обретает в этом контексте особый смысл).

Фонд Общественного Мнения провел в Великобритании в 2003 году опрос населения на российскую тематику. В нем приняло участие 1005 англичан. У 25% опрошенных Россия прочно ассоциируется с холодом, снегом, меховыми шапками и прочей теплой одеждой, для 13% респондентов Россия – это, прежде всего, длинные очереди и поголовная нищета (старые стереотипы). Еще 21% не забыли коммунистов и прекрасно знают имена Сталина, Ленина, Троцкого. Про Москву и Кремль вспомнило лишь 8%.

Самые знаменитые россияне, по мнению британцев, это те же Сталин и Ленин, а также Горбачев и Путин. Правда, о том, что действующий президент – Путин знали лишь 45%; 2% полагали, что эту должность занимает Ельцин, а 50% вообще не знали, кто возглавляет Российское государство. Рядовых россиян англичане представляют себе дружелюбными, трудолюбивыми, общительными и добросердечными. И подавляющее большинство отвело России одно из ведущих мест в мировой культуре[2].

---

[1] *Nicholson M.* Putin's Russia: slowing the pendilum without stopping the clock // International affairs. L., 2001. Vol.77. P.867-884.

[2] Источник: Travel.ru.Дата: 26.06.2003 (по материалам сетевых СМИ).

Очевидно, что во многом современное представление о России и русских сформировалось в Англии на основе восприятия русской классической литературы. «Романами великих русских писателей зачитывались все образованные англичане, – отмечает Р. Брейтуэйт, хотя большинство из них не прочитали ни одной страницы Гёте, Данте или Расина и не имеют ни малейшего представления о существовании великой индийской, японской или китайской литературы».

Явно и то, что в Англии репутацию России как великой страны спасает ее литература и шире – культура. Конечно, у англичан «захватывает дух», когда в лондонском соборе Святого Павла звучит (во время пасхальных фестивалей) «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова или произведения Мусоргского, Балакирева, Шостаковича, Чайковского, Рахманинова; когда они видят «жемчужины» русской иконописи от XV века и до современности.

Наиболее ярко свойственную, по крайней мере, образованным англичанам *двойственность* в отношении к России выразил Р. Брейтуэйт. По-прежнему, по его словам, неотъемлемым элементом общественной жизни в России остается Вранье, или Большая Русская Ложь: и в большой политике, и на бытовом уровне. Он увидел в России много негативного: убожество и запущенность городов и деревень, бомжей, помойки, пьянство, коррупцию, наркоманию. Но не упускает повода отметить положительные стороны российской действительности. «Россия – великая страна. Ее величие не только в ее необъятных размерах, но и в духовных качествах ее жителей. В государстве, где ложь стала правилом поведения, такие категории, как Правда, Честь, Верность, Смелость, имеют реальное значение для большинства простых людей – ведь им все время приходится делать нравственный выбор».

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев М.П. Очерки истории англо-русских литературных отношений (XI-XVII вв.). Тезисы докт. диссертации. Л., 1937.

2. Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX). М.: Наука, 1982.

3. Барнс, Джулиан История мира в 10 ½ главах (1989)/ Пер. с англ. М, 1994.

4. Барнс, Джулиан «Дикобраз» (L.: Jonathan Cape, 1992), рус. пер. Е. Храмова, 1995.

5. Барнс, Джулиан. «Роман – это живая материя…»// Литературная газета. М., 2003. 26 ноября – 2 декабря. №47 (5950).

6. Беринг М. Вехи русской литературы / Пер. В. Базилевской. С предисл. Н.А. Хомякова. М., 1913.

7. Бэринг М. Русский народ / Пер. Т. Красавченко // Отечественные записки. М., 2007.№3. Т.38. С.215-220.

8. Вулф В. Русская точка зрения. Перевод К. Атаровой // Атарова, Ксения. Англия, моя Англия. М.: Радуга, 2006. С.236-244.

9. Галинская И.Л. Рецепция творчества М.А. Булгакова в англоязычной критике / Сост. и отв.ред. Красавченко Т.Н. // Михаил Булгаков: современные толкования. К 100-летию со дня рождения 1891 – 1991. Сб. обзоров. М.:ИНИОН РАН, 1991. С.184-209.

10. Гарднер Дж. Золотой глаз. Пер. с англ. М.: Мир, 1997.

11. Голдсмит О. Гражданин мира, или Письма китайского философа. М., 1974.

12. Голсуорси Дж. Русский и англичанин // Голсуорси Дж. Собр. соч.: в 16 т. М.: Правда, 1962. Т.16.

13. Горсей, Джером. Записки о России. XVI – начало XVIII в. М.: Изд-во МГУ, 1990.

14. Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Ленинград: Наука, 1977. С. 302. Раздел: Англия: С. 65-87.

15. Грэм, Стивен. Неведомая Россия / Пер. Т. Красавченко// Отечественные записки. М., 2007. №3. Т.38. С.215-220.

16. Жантиева Д.Г. Эстетические взгляды английских писателей конца XIX – начала XX веков и русская классическая литература// Из истории литературных связей XIX века. М.: Наука, 1962.

17. Иностранцы о древней Москве. Москва XV-XVII веков. М., 1991.

18. Карацуба И. Россия и Англия в зеркале книги Джайлса Флетчера: из истории общественного самосознания и национальных комплексов// Отечественные записки. М., 2007. №3. Т.38. №5. С.53-70.

19. Красавченко Т.Н. Чехов в зарубежном литературоведении// Вопросы литературы. М., 1985. №2. С.210-227.

20. Красавченко Т.Н. Взгляд английской критики на Пушкина/ Сост. Николюкин А.Н., Дьяконова Е.М. // Новые зарубежные исследования творчества А.С. Пушкина. Сб. обзоров. М.: ИНИОН РАН, 1986. С.116-142.

21. Красавченко Т.Н. Традиция против «теории»: Английская литератур-

ная критика // Наука о литературе в XX веке (история, методология, литературный процесс). Сб. ст. М.: ИНИОН РАН, 2001. С.166-179.

22. Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России. Л.: Наука, 1984.

23. Лурье М.М. Ф.М. Достоевский в английском литературоведении первой трети XX века // Некоторые вопросы теории современного английского языка и литературы. Архангельск. Ученые записки №522 Ленинградского пед. Института им. А.И. Герцена, 1971.

24. Макензи Уоллес Д. Россия. Пер. с англ. СПб., 1880.

25. Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений. Т. XIII. История Англии. СПб., 1865.

26. Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX-XIX вв. М.:МПГУ, 1995.

27. Мороз С. Русечер. Россия: взгляд со стороны Запада. СПб.: Крылов, 2005.

28. Моэм С. Из записных книжек. Пер. с англ. Е. Нарышкиной. М.: Вагриус, 2001.

29. Никифоров Л.А. Русско-английские отношения при Петре I. М., 1950.

30. Образ России (Россия и русские в восприятии Запада и Востока) / Редкол. В.Е. Багно (отв. ред), П.Р. Заборов, Н.Н. Скатов. СПб: Ин-т русской литературы РАН, 1998. С. 435-442.

31. Николюкин А.Н. Достоевский в переводе Констанс Гарнет // Русская литература. Л., 1985.№2. С. 154-162.

31. Павловская А.В. Англия и англичане. М.: МГУ, 2003.

33. Рассел Б. Практика и теория большевизма. Черчилль У. Вторая мировая война. Избранные страницы. Пер. с англ./Предисл., послесл. И примеч. Б. Гиленсона, А. Орлова. М.: Панорама, 1998.

34. Россия в культурном сознании Запада: Сб.ст. и материалов/ Отв. ред. М.И. Никола. – М., МПГУ, 2008.

35. Русская литература в зарубежных исследованиях 1980-х годов (Розанов, Хлебников, Ахматова, Мандельштам, Бахтин)/ Отв.ред. Красавченко Т.Н. М.:ИНИОН РАН, 1990.

36. Тэтчер, Маргарет. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. М.: Альбина Паблишер, 2003.

37. Уайльд О. «Униженные и оскорбленные» Достоевского // Уайльд О. Избранные произведения. В 2-х т. М.: Республика, 1993. Т.2. С.151-152.

38. Флетчер Д. О Государстве Русском. СПб., 1906.

39. Форсайт, Фредерик. Собр. соч.: В 4-х т. Т.3: Дьявольская альтернатива / Пер. с англ. Меркурьева А.И. – М.: Натали, 1993.

40. Форсайт Ф. Икона / Пер.с англ. Ананичева К.В. М.: АСТ, 1998.

41. Форстер Э.М. Заметки об английском характере // Избранное. М., 1977. С 294-298.

42. Хьюитт, Карен. Понять Британию. Реальности западной культуры для озадаченного гостя из России. Пер. с англ. Пермь: Книжный мир, 1992.

43. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 –

1991) / Пер.с англ. Нарышкиной Е.М., Никольской А.В. – М.: Независимая газета. 2004.

44. Хоскинг Дж. Россия и русские: В 2 кн. Пер.с англ. М.: АСТ, Транзиткнига, 2003.

45. Хуснулина Р.Р. Английский роман XX века и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Очерки о прозе О. Уайльда, В. Вулф, С. Моэма, Б. Хопкинса, Э. Берджесса, Дж. Фаулза. Казань: изд-во КГУ, 1998.

46. Хуснулина Р.Р. Английский роман XX века и наследие Ф.М. Достоевского. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2005.

47. Черчилль У. Мускулы мира. М., 2002.

48. Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965.

49. Элиот Т.С. Заметки к определению понятия «культура» // Элиот Т. Избранное: Религия, культура, литература / Пер. с англ. под ред. А.Н. Дорошевича; сост., науч. ред., послесл., коммент. Т.Н. Красавченко. М.: РОССПЭН, 2004. С.73-185.

50. «Я берег покидал туманный Альбиона...» Русские писатели об Англии. 1646 – 1945 / Сост. Казнина О.А., Николюкин А.Н. – М.: РОССПЭН, 2001.

На английском:

51. Amis, Kingsley. Russian Hide-and-Seek. L., 1980.

52. Amis, Kingsley. The Russian Girl. L., 1992.

53. Amis, Martin. Koba the Dread, Laughter and the Twenty Million. L., 2002.

54. Anderson M.S. Britain's Discovery of Russia: 1553-1815. London & New York, 1958.

55. Arnold M. Count Leo Tolstoy // The Forthnightly review. L., 1887. Vol. XII.

56. Baring M. The Russian people. L.: Methuen, 1911.

57. Baring M. The Mainsprings of Russia. L., 1914.

58. Baring M. An outline of Russian literature. L., 1914/15.

59. Bayley J. The order of battle ar Trafalgar and other essays. L.: Collins Harvill, 1987.

60. Beevor A. Stalingrad. L.: Viking, 1998.

61. Bennett A. Introduction to: A. Gide. Dostoevsky. L.: J.M. Dent, 1925.

62. Boyd W. Restless. L.: Bloomsbury, 2006.

63. Bradbury M. The Modern World. Ten Great Writers. L.: Secker and Warburg, 1988.

64. Bradbury, Malcolm. To the Hermitage! L., 2000.

65. Braithwaite, Roderick. Across the Moscow River: The World Turned Upside Down // New Haven: Yale University Press. 2002.

66. Brewster D. East-West Passage: A Study in Literary Relationship. L.: George Allen and Unwin, 1954.

67. Buckley, Mary. (ed.) Perestroika and Soviet Women. Cambridge: Cambridge univ.press, 1992.

68. Bullock, Philip Ross. The feminine in the prose of Andrey Platonov. – L.: Legenda, 2005.

69. Campbell J. An Interview with John Fowles // Contemporary Literature. 1976. Vol.17.N4. P. 463, 466, 468.

70. Churchill W.S. Collected speeches. L.: Hodder and Stoughton, 1965.

71. Conquest, Robert. The Great Terror. L., 1968.

72. Conquest, Robert. Old souls // Times Literary Supplement. L., 2006. May 19. No 5381. P. 10.

73. Cross A.C. The Russian Theme in English Literature. L., 1985.

74. Cross A.G. Anglo-Russica: Aspects of Cultural Contacts between Great Britain amd Russia in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: Sel.Essays. Cambridge, 1992.

75. Davie D. (ed.) Russian Literature and Modern English Fiction. Chicago; L., 1965.

76. Davie D. Slavic excursions: Essays on Russian and Polish Literature. L., 1990.

77. Dimbleby J. Russia: A Journey to the heart of a country and its people. L.: DDC, 2008.

78. Dimbleby J. All for the motherland // The Times. L., 2008. October 4. P. 8.

79. Elliot G., Shukman H. Secret classrooms. A Memoir of the Cold War. L., St.Ermin's press, 2002.

80. Ferguson N. Empire: How Britain made the modern world. L.: Lane, 2003.

81. Figes O. A People's Tragedy: Russian Revolution, 1891-1924. L., 1996.

82. Figes, Orlando. Natasha's dance: A cultural history of Russia. L., 2003.

83. Freeland, Chrystia. Sale of the century: The inside story of the second Russian revolution. L.: Little, Brown, 2000.

84. Fry R. M. Larionow and the Russian Ballet (1919) // A Roger Fry Reader. Ed. Reed C. Chicago; London, 1996. P.291..

85. Graham S. Undiscovered Russia. L., 1911/1912.

86. Graham S. Russia in division.L.: Macmillan and co., 1925.

87. Graham S. Summing-up on Russia. L.: Ernest Benn Lmtd, 1951.

88. Herspring, Dale (ed.). The Putin regime. Lanham, Md.: Rowman Littlefield, 2002.

89. Hewlett, Johnson. Soviet Success. L., 1948.

90. Hingley, Ronald. Under the Soviet skin. An untourist report. L.: Hamish Hamilton, 1961.

91. Hingley, Ronald. The Russian Mind. L., 1978.

92. Hingley, Ronald. Russian writers and Soviet society 1917 – 1978. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1979.

93. Holmes, Stephen. What Russia teaches us now: How weak states threaten freedom // The structure of the Soviet Union. Essays and documents / Ed. by Suny R.G. – N.Y.; Oxford, 2003.

94. Hosking, Geoffrey. A History of the Soviet Union. L.: Fontana, 1985.

95. Hosking G. The Awakening of the Soviet Union. L.: Heinemann, 1990.

96. Hosking G. Rulers and Victims. N.Y.: Belknap press, 2006.

97. Jack A. Inside Putin's Russia: Can there be reform without democracy? – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2004.

98. Kaye P. Dostoevsky and the English Modernism. 1900-1930. Cambridge: Cambridge univ.press, 1992.

99. Kelly, Catriona; Makin, Michael; Shepherd, David (eds.) Dicontinuous Discourses in Modern Russian Literature. London: Macmillan, 1989.

100. Kelly, Catriona. A History of Russian women's writing 1820 – 1992. Oxford: Clarendon press. 1994.

101. Kelly, Catriona. A History of Russian Women's Writing 1820 – 1992. Oxford: Clarendon press, 1994.

102. Kelly, Catriona and David Shepherd (eds.) Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881-1940. Oxford: Oxford Univ. press, 1998.

103. King Ch. Cultures, context, violence: Eurasia in comparative perspective. Oxford, 2005.

104. Le Carre, John. The Russian House. L., 1989 (рус.пер.1990).

105. Lawrence D.H. The Grand Inquisitor by F.M. Dostoevsky L.: Elkin, Mathews and Marrot, 1930.

106. Marsh, Rosalind (ed.) New perspectives on Women and Gender in Russian Literature. Cambridge: Cambridge univ.press, 1996.

107. May R. The Translator in the text: On reading Russian literature in English. Evanston, 1994.

108. Merridale C. Ivan's war. The Red army 1939 – 45. L.: Faber, 2005.

109. Milton J. A Brief history of Moscovia. L., 1929.

110. Moser C.A. The Cambridge History of Russian literature. Cambridge: Univ. press, 1989. IX, 685 p.

111. Neumann I. B. Russia and the Idea of Europe. London: Routledge, 1996.

112. Perestroika: The Historical perspective. Ed. By C. Merridale and C. Ward. London. 1991.

113. Pares, Bernard. A History of Russia. L.: Methuen, 1955.

114. Phelps G. The Russian novel in English fiction. London, 1956.

115. Protopopova D. Dostoevsky, Chekhov, and the Ballets Russes. Images of Savagery and Spirituality in the British response to Russian culture, 1911 – 1929 // The New Collection. Oxford: New College, 2008. Vol.3. Trinity. P. 28-41.

116. Ransome, Arthur. Six Weeks in Russia in 1919. L., 1919.

117. Reinterpreting Russia / Ed.G. Hosking & R.Service. L., 1999.

118. Russia through foreign eyes, 1553 – 1900. L., 1970.

119. Shelley, Louise. Crime and corruption // White S., Pravda A., Gitelman Z.(eds.) Developments in Russian politics. Basingstoke, 2001.

120. Smith, Hedrick. The Russians. L.: Sphere, 1976.

121. Stites, Richard. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York and Oxford: Oxford univ.press, 1989.

122. Thomas D.M. The Flute-player. N.Y., 1982. 224 p.F.p.1979 .

123. Thomas D.M. The White Hotel. L.:Abacus, 1981.

124. Thomas D.M. Ararat. L.: Abacus, 1984.191 p.

125. Thomas D.M. Swallow. L.: Abacus, 1985.

126. Thomas D.M.. (transl.) Anna Akhmatova. You Will Hear Thunder. L.: Secker & Warburg. 1985.

127. Thomas D.M. Sphynx. L.:Abacus, 1987.

128. Thomas D.M. Memories and Hallucinations. A memoir. Harmondsworth: Penguin books, 1988.195 p.

129. Thomas D.M. Summit. L.: Abacus, 1988. F.p.1983 (Victor Gollanz)

130. Thomas D.M. Lying together. Victor Gollanz, 1990.

131. Thomas D.M. Pictures at an Exhibition. N.Y.: Charles Scribner's, 1993.

132. Thomas D.M. Alexander Solzhenitsyn. A century of his life. L., Little, Brown and Co, 1998.

133. Walker, Martin.The Waking Giant. The Soviet Union under Gorbachev.L.: Michael Joseph, 1986.

134. Wells H. 42 to 44. A Contemporary Memoir upon Human Behaviour during the Crisis of World Revolution. L., 1944.

135. Whitefield S. (ed.) Political culture and postcommunism. Oxford, 2005.

137. Woolf V. Modern fiction // Woolf V. The Common Reader. L.: Penguin books, 1938.

138. Woolf V. The Diary of Virginia Woolf. In 5 vols. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

139. Woolf V. The Essays of Virginia Woolf. Ed. A.McNeillie. Vol.3. L.: 1988.

Т.В. Балашова

ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ И ПОСТ-СОВЕТСКОЙ РОССИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ ФРАНЦИИ

1. Франция – «старшая сестра»

В 1997 году президент Франции Жан Ширак, выступая в Москве, счел необходимым отметить, что «отношения между Францией и Россией уникальны», и мотивировал это определение тем, что «Франция многим обязана русской душе, духовному миру русских поэтов, прозаиков, художников»[1]. К этой мотивации уникальности французские историки нередко добавляют преемственность в выдвижении революционных стратегий переустройства общества.

Во Франции события февраля-октября 1917 года воспринимались более обостренно, чем в иных странах (почти «по родственному»). Значение для судеб всего человечества событий Французской революции конца XVIII века неоспоримо. Отношение французской интеллигенции к Октябрьской революции отличалось от отношения интеллигенции других стран именно потому, что в сознании французов жив и сегодня дух 1789 года. (Кстати, эту яркую национальную составляющую – «Наша родина – Революция» – подчеркнул еще сильнее балет Бориса Асафьева «Пламя Парижа», возобновленный на сцене Большого театра.) Французская революция – которая – даже при критическом пересмотре в дни празднования ее двухсотлетия – оценивается во Франции как решающий этап развития всего человечества, когда права человека и гражданина были подняты выше кастовых приоритетов.

---

[1] «Международная жизнь». 2000, № 6, С.55.

Юбилейная дата 1789 года отмечалась по всей территории Франции как первая победа, узаконившая права Человека вместо права касты, клана, государственной власти. И насколько бы ни ослабла роль Франции в нынешнем мире, достаточно прослушать одну за другой речи ее государственных деятелей, чтобы не осталось никаких сомнений: Франция и сейчас осознает себя страной, по примеру которой надо строить цивилизацию XXI века.

В книге министра иностранных дел Франции Доминика де Виллепена Франция предстает «страной-пионером демократии в Европе, сумевшей дать отпор национализму и тоталитаризму <...>. Франция сохраняет понимание своей ответственности, защищая свои принципы, согласно которым Идея Личности превыше всего». Переходя к системе построения международных отношений в условиях глобализации и угрозы терроризма, Доминик Виллепен вынужден констатировать, что за время, прошедшее «после падения берлинской стены», отчуждение и конфронтация между странами усилились, ощущение страха возросло. Франция, по его словам, предлагает «самый демократический» выход из этой ситуации: «трудиться над сближением культур и религий», поскольку «взаимопонимание – самое эффективное оружие против риска раскола, вражды». Причину особой ответственности своей страны Виллепен видит в том, что авторитет ее высок: ее «слушают и слышат в сегодняшнем мире»[1] и она не может не оправдать надежд, раз первая шагнула к активной защите прав человека.

Тогда, более двух веков назад, революционная Франция, притянув к себе взоры либерально настроенной интеллигенции России, вошла в конфронтацию с российской государственностью.

С 1785 по 1800 г. «полномочным министром» (послом) России во Франции был князь И. Симолин (отозван в 1792 году, но пост сохранил), именно ему пришлось «участвовать» в революции: по своей собственной инициативе, не испрашивая разрешения российской императрицы, он оказал помощь семье пытавшегося бежать Людовика XVI, в частности, передал воспитательнице детей короля паспорт на

[1] *Villepin D.* Un autre monde (collection Théorie et Stratégie) P., 2003, P. 29-30, 31, 27. Значительная часть материалов, на которые опирается эта глава данного коллективного труда, получена благодаря содействию Фонда «Дом наук о человеке», благодаря приглашению которого появилась возможность провести несколько недель в Париже и ознакомиться с новыми поступлениями парижских библиотек.

имя подданной Российской империи баронессы Корф, затем успел получить от Марии Антуанетты письма для ее брата, австрийского императора и Екатерины II. В отместку за такое «участие» революционное правительство конфисковало имущество И. Симолина (сам он, отозванный императрицей, успел вернуться в Россию несколькими месяцами раньше), а слугу, охранявшего дом, отправило на гильотину. Революционная «инфекция» охватила и часть русских, находившихся тогда во Франции. Поэтому Екатерина II в 1790 году выпустила распоряжение – разыскать по французским городам и весям всех российских граждан (особенно участвующих в революции или сочувствующих ей) и немедленно заставить их вернуться на родину.

Тогда в докладных, отправляемых из Франции в Россию, прозвучало это непривычное выражение «права человека». О священнике русской миссии П. Криницком И.М. Симолин сообщал, негодуя: «Со времен здешней революции *право человека*, вступив ему в голову, закружило его до такой степени, что он забывает о своих обязанностях».[1]

Сам термин «права человека» приобрел, по сути, сегодняшнее звучание именно в дни Французской революции и сразу начал бурно обсуждаться в кругах российской аристократии.

«Революция, Директория, приход к власти Наполеона побудили правительство России изолироваться от культурного влияния этой страны»;[2] после победы над Наполеоном постепенно культурные отношения вошли в нормальное русло и авторитет французской философии, науки, художественного слова оставался всегда очень высоким. Взаимное притяжение культур, перекрестные переводы, восхищение во Франции Толстым и Достоевским, а в России неослабевающий интерес к французской драматургии эпохи классицизма, поэзии и прозе романтизма, циклам Бальзака, Золя, новаторским исканиям Флобера, Гюисманса и, наконец, к поэзии французского символизма – было одной из серьезных причин постоянного взаимного диалога.

Поэтому, когда Россия свершила свою революцию, «старшая сестра» ее, Франция (ее либерально настроенная интеллигенция), восприняла эти события как продолжение начатого Францией в 1789 году и поверила, что русским удастся осуществить то, что далеко не полностью удалось во Франции.

---

[1] Россия и Франция XVIII –XX веков. М., Наука, 2001 (выпуск 4). С.67.

[2] Там же. С. 119.

В 1920-е годы и в первой половине 1930-х трудно было назвать авторитетного французского писателя, который не интересовался бы опытом молодой России, не стремился бы ее увидеть. Силен был интерес к новой России и в других странах. Образ транссибирского экспресса, символизирующего бескрайние просторы и мощь России, появлялся не только у Блэза Сандрара, но и у Луиса Бунюэля. В книге «Мой последний вздох» Луис Бунюэль охотно вспоминал, как семилетним ребенком сочинил сказку, действие которой происходит в транссибирском экспрессе, прорезающем снега Сибири. Хорхе Луис Борхес в начале 1970-х годов подчеркивал, что его стремление писать в юности стихи, посвященные революционной России, было абсолютно искренним, естественным и он этого вовсе не стыдится: та Россия «не имеет ничего общего с сегодняшним советским империализмом. Нам виделось в русской революции начало мира между людьми <...>, начало мира для всех, событие, ничего общего не имеющее с империализмом нашего времени»[1].

Возможность достижения социального равенства всегда волновала человечество и поэтому возникновение государства, провозгласившего такой идеал своей целью, вызвало бурный интерес во всем мире. На примере Франции может быть воссоздана своеобразная модель восприятия тех исторических контрастов, которые – проходя разные этапы – определили развитие общественных отношений в России от 1917-го года к XXI веку.

Во Франции издана полная библиография книг (и она обширна!), осветивших в 1920-1930-е годы ситуацию в новой России. Среди наиболее ярких: «Путешествие в Москву» (1927) Жоржа Дюамеля, «Другая Европа. Москва и ее вера» (1928) Люка Дюртена, «Московский дневник» Ромена Роллана, воспоминания Жана Геено «Трудная вера» (1957), «Записные книжки» (1978) Луи Гийю, нашумевшие книги Андре Жида («Возвращение из СССР», 1936; «Дополнения к моему возвращению из СССР», 1937; «Записные книжки путешествия по СССР»[2]), «Mea culpa» (1937) Луи-Фердинанда Селина после его недолгого пребывании в Ленинграде.

---

[1] *Борхес Х.Л.* Тайнопись. СПб., 2001. С. 409.

[2] Изданы в составе его Дневника 1926-1956 гг. (Париж, 1997), а в русском переводе в составе книги «Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей XX века» (М., ИМЛИ, 2002).

В 1990-е годы философ Жан Деррида охарактеризовал эту серию «книг о возвращении» как «жанр, которого ранее не было»: каждое путешествие превращалось в размышления о путях дальнейшего движения человечества.

«Гости», приезжая, часто видели то, что отличало жизнь СССР от жизни Запада *к лучшему.* Такие черты, конечно, присутствовали и, как известно, ряд социальных программ, введенных в СССР, был с коррективами, вполне уместно перенесен в законодательство Франции.

Один из видных государственных деятелей Франции русского происхождения Константин Мельник (в 1958-1962 гг. – советник президента де Голля), констатируя неудачу России в реализации провозглашенных Октябрьской революцией задач, считал необходимым тем не менее помнить, что выработанные молодой Россией «некоторые формы социальной справедливости» сыграли и свою *международную* роль». Только в 1936 году, с победой Народного фронта, рабочие и служащие Франции получили право на оплаченный отпуск – в требованиях трудящихся постоянно упоминалось тогда, что этой возможностью давно пользуются в СССР. «Опасениями, вызванными Октябрьской революцией, Россия, – по определению советника де Голля, – способствовала гуманизации капитализма, по крайней мере, в Европе»[1]. Александр Зиновьев, проводивший в ряде своих книг сопоставление советского, пост-советского и западного менталитета, также убежден: «Вся система западного мира испытала влияние СССР»[2].

Итак, то, что стало лучше непредвзятый взгляд фиксировал быстро, но они не могли уравновесить того, что в жизни Советского Союза стало хуже.

2. Этапы разочарований и вспышки надежд

Книги наиболее беспристрастных, стремившихся к объективности, французских литераторов, прочитанные сегодня, позволяют реконструировать, чего могла бы избежать Россия, если бы ненавязчивые советы были восприняты.

Вспомним некоторые, звучавшие в первой половине 1930-х годов советы хотя бы только в сфере культуры. Очень выразительна, напри-

---

[1] *Мельник К.* Взгляд на нынешнюю Россию с парижских высот // «Международная жизнь», 2000, № 6, С.52.

[2] Коммунизм. Еврокоммунизм. Советский строй. (Беседа А. Зиновьева с Антонио Фернандесом Ортисом.) М., ИТРК. 2000. С. 13-14.

мер, позиция Андре Мальро. Мальро был в СССР с июня по сентябрь 1934 года, выступал на Первом съезде советских писателей, дважды приезжал в СССР позднее. Дружба с Мейерхольдом и Эйзенштейном дала толчок к совместному проекту – переносу романа Мальро «Удел человеческий» на театральный подмостки и на экран. Проекту не суждено было реализоваться[1], но внимание Мальро к литературному/театральному/кинематографическому процессу в СССР позволило ему прийти к некоторым обобщениям, которые как бы корректировали основную линию советского искусства на этом этапе. Мальро обозначил различия между современной советской и французской прозой, которая – с точки зрения Мальро – ближе была русской классике, чем советская литература 1920–1930-х годов. «Мы открывали героя преимущественно в своем собственном внутреннем мире. Советские романисты открывают его в том мире, который их окружает. <...> Жесткий экспрессионизм Достоевского приучил нас ожидать от русских писателей психологической и в то же самое время возвышенной литературы, которая, как и наша, занимается преимущественно человеком»[2].

Отсутствие «приближения» к человеческой душе – вот что удивляло Мальро в советской литературе 1930-х годов, словно «забывшей» уроки классики. Одновременно настораживало постоянное напоминание о «традициях» при полном равнодушии к возможным поискам нового художественного языка для выражения новой реальности.

Мальро в своих сомнениях, по сути, впервые обнаруживает в советском искусстве то, что много позднее назовут «лакировкой». «По-моему, вообще в советском искусстве, в том числе в литературе, слишком мало трудностей. <...> Всегда оказывается, что все происходило легко». В одной из сцен фильма Е.Л. Дзигана «Мы из Кронштадта» «все пленники объявляют себя коммунистами. Не могло не быть у некоторых из них просто человеческих колебаний, волнения, и это неизбежно отразилось бы в походке, в том, как они выходили», зная, чем грозит им в этой ситуации их решение[3].

Много позднее о том же сказал Хорхе Луис Борхес: «Недостатком русских фильмов явилось то, что в них не было оттенков, полутонов;

---

[1] Cahiers de la Comédie Française 1997, № 22 (Статья Беатрис Пикон-Валлен «Мейерхольд – Мальро – Эйзенштейн. Нереализованные проекты»).

[2] РГАЛИ. Фонд 631. Опись 14. Ед.хр. 725. Л.3.

[3] Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей XX века, М., 2002, С. 396-397.

есть лишь добрые и злые»[1]. Жан-Поль Сартр иронически назвал тогда культуру СССР «цивилизацией инженеров», но Симона де Бовуар с ним спорила: «Страну, где создается такая литература, а в кинематографе шедевры, подобные «Броненосцу Потемкину» или «Буре над Азией», все-таки нельзя сводить к «цивилизации инженеров»[2].

Выступавший вместе с Мальро на Первом съезде советских писателей Клаус Манн к той же художественной слабости – все легко и просто – подошел не со стороны эстетики, а со стороны философии. Как он вспоминал позднее, его встревожили не столько явные симптомы культа вождя, милитаристские настроения или чрезмерное самодовольство, сколько «одна административно предписанная философия», что лишало интеллигенцию всякого выбора и пресекало любые размышления, сомнения, прогнозы. А главное, такая «философия» существовала как бы отдельно от внутренних потребностей и тревог человека и отменяла и категорию трагического, и сферу таинственного, словно экспроприация в экономике полностью меняет – и обязательно к лучшему – все координаты бытия. «Интеллигент в коммунистическом государстве, – иронизирует Клаус Манн, – должен верить, что именно этой полезной, или даже необходимой мерой *решена проблема человека,* устранен трагизм нашего земного бытия»[3] – такой уверенности, естественно не было ни у Клауса Манна, ни у других литераторов, пытавшихся понять задачи, которые ставила себе советская страна.

Многие суждения тех лет звучат более чем актуально и в наши дни: касаясь советского искусства, они задевали самый болезненный нерв общественной системы СССР – «культурная политика» выдавала опасный вектор политической стратегии государства. В середине 1930-х годов еще не формулировались напрямик идеи тождества тоталитаризма Германии и Советского Союза, а на поле искусства такое тождество уже было отмечено. В одной из статей Жюльена Бенда, которая примыкает к тексту его выступления на Первом Международном конгрессе писателей в защиту культуры вопрос этот постав-

---

1 *Хорхе Луис Борхес.* «Новая встреча». Неизданные беседы. СПб., Симпозиум, 2004, С. 182.

2 *Н.И. Полторацкая.* «Симона де Бовуар и Россия» (по книгам воспоминаний писательницы// Наваждения. К истории «русской идеи» во французской литературе XX века. М., 2005, С.115.

3 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, С.377.

лен в очень резкой форме. Мысль автора движется к объяснению, чем коммунистическая концепция культуры приближается к фашистской. Во всех анкетах левой прессы на вопрос «Для чего вы пишете?» – ответ, как правило, одинаков: «Чтобы служить революции». Но при сравнении этого ответа с рекомендациями, появлявшимися в прессе фашисткой Германии, писателю абсолютно ясно: это единая концепция. Автор цитирует германские издания: «До тех пор, пока в Германии существует аполитичное, нейтральное, либеральное, индивидуалистическое искусство, наша задача не выполнена. Не должно быть ни одного художника, творчество которого вырастало бы на ином фундаменте, чем фундамент нации или было направлено к иной цели, нежели защита нации. Художника, который уклоняется от такой цели, необходимо преследовать как врага нации до тех пор, пока сопротивление его не будет сломлено». И Жюльен Бенда делает вывод: «Стоит в процитированном тексте заменить слово «нация» на слово «революция», мы получим именно то, что предложено концепцией коммунистической»[1].

К концу первого послеоктябрьского десятилетия прозвучал вывод, отменившей сравнение младшей сестры – революционной России с ее старшей сестрой – Францией. Уважительно отозвавшись о русском народе, «способном удивлять и вести к свершениям», Дрие ла Рошель очертил опасность, которая угрожает и России, и Западу из-за торжества коммунистических критериев. «Недалекие буржуа считают, что социалисты убивают в человеке интерес, но социалисты убивают с еще большей настойчивостью, чем буржуазия, бескорыстие. <...> Конец русской революции предлагает европейцам серьезный ультиматум, в чем они еще не отдают себе отчета; *романтизм убит окончательно.* Политическое воплощение этого романтизма – *революционный дух французского образца* – умер естественной смертью в Москве»[2].

Но на том этапе подобный вывод был единичным, интерес к происходящему в СССР и оптимистические надежды еще превалировали. Интеллигенция Запада настойчиво пыталась понять специфику пути молодой России, что нашло отражение в творчестве ряда романистов, поэтов, драматургов. Масштаб значимости образа России для

---

[1] *Benda J.* Précisions 1930–1937. P, 1964, P. 157-158.

[2] *Drieu La Rochelle P.* Le jeune européen suivi de Genève ou Moscou. P. 165, 282.

судеб крупнейших писателей Франции убедительно продемонстрирован в книге С.Л. Фокина «Русская идея во французской литературе XX века»[1], где рассмотрены интеллектуальные контакты с Россией Поля Валери и Андре Жида, Андре Мальро и Пьера Дрие ла Рошеля, Андре Бретона и Жоржа Батая, Мориса Бланшо и Луи-Фердинанда Селина, Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар. Но этот ряд, конечно, не полон без имен Эдуарда Эррио, Ромена Роллана, Арагона, Роже Мартен дю Гара, Жоржа Дюамеля, Поля Морана, Анри де Монтерлана, Владимира Познера, Роже Вайяна, Мориса Дрюона... Морис Дрюон написал в 2000 году книгу «Францией командует мертвец» (La France aux ordres d'un cadavre, 2000), где анализируется губительное влияние идей «марксисткого социализма» (формулировка Дрюона) на развитие общества как в России, так и во Франции.

Французские писатели действительно упорно, порой вдохновенно создавали – вне научных дефиниций – свой образ России, на скрещении разных – логических и эмоциональных – векторов. Среди таких векторов следует принимать во внимание следующие:

a) твердая, не расшатанная по сей день, опора на массив русской классической литературы с ее этическими принципами;

b) постоянные колебания между интерпретациями, почерпнутыми из ежедневной прессы, и эмоциональными впечатлениями, полученными от французских переводов книг современных авторов («Россия остается нашей главной заботой» – эта реплика одного из ведущих деятелей культуры Франции[2] выявляет, насколько тесно и постоянно была «подключена» французская интеллигенция к происходящему в России;

c) подведение итога лишь после личного знакомства с далекой, но столь притягательной страной;

d) значительна в этом процессе поиска адекватного образа страны роль личных дружеских контактов с деятелями российской культуры. Ведь приходится с научной серьезностью относиться к ситуациям, когда во всем и очень резко критикуя политику советского государства, многие деятели культуры Франции имели *островки* полного доверия и взаимопонимания: Альбер Камю, порвавший все офици-

---

[1] *Фокин С.Л.* Русская идея во французской литературе XX века. СПб., Издательский Дом СПб-кого Университета, 2003.

[2] Слова Жоржа Дюамеля из письма, отправленного в СССР – См. – Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей XX века. М., 2002, С.184.

альные связи с СССР, вел постоянную, очень теплую, переписку с Борисом Пастернаком; английский философ русского происхождения Исайя Берлин признается: «Ахматова и Пастернак вернули мне родину». Эренбургу, как другу, писали авторы решительных деклараций в дни августовского вторжения 1968 года советской армии в Прагу.

Такие оппозиции оценок – приязни и неприязни – обязательно надо иметь ввиду, расшифровывая, каким же складывался образ России в сознании западной интеллигенции. Дело в том, что негативное отношение к политике страны при позитивном восприятии определенных личностей, эту страну представляющих, создает двояковыпуклый взгляд вообще на ситуацию в России – данную оппозицию предстоит еще осмыслить.

По сути, перечисленные закономерности при построении «своего» образа России продолжали функционировать на каждом историческом этапе: в первые послеоктябрьские годы; в середине 1930-х; при первых известиях о массовых репрессиях; в годы войны и сразу после нее; на протяжении «холодной войны»; с момента «оттепели» до «перестройки»; наконец, на этапе возникновения пост-советского экономического, культурного, психологического пространства. В процессе действия этих профилирующих закономерностей, естественно, менялись составляющие, их наполнение и соотношение, что определялось сменой событий в самой России.

Логика событий в СССР вела к тому, что с каждым десятилетием (исключение представляют годы Отечественной войны и самые первые послевоенные) круг «защитников страны Советов» катастрофически сужался. Книги очевидцев в первые десятилетия еще достаточно отчетливо противостоят друг другу (например, контрастны близкие по времени книги Поля Вайяна-Кутюрье и очерки Поля Морана, воспоминания Селина и репортажи Владимира Познера или Арагона. Ряд подобных оппозиций можно продолжать). Картины, открывающиеся в этих книгах, обнажали контрасты восприятия (что совсем, по сути, исчезнет из эссеистики, посвященной России 1990-х годов и позднее). Полярность позиций существовала долго и была тесно связана с ситуацией литературно-идеологической борьбы в самой Франции. Предвзято негативных воспоминаний немного. Причем, самая известная из критических публикаций («Возвращение из СССР» и «Дополнения к моему возвращению из СССР» Андре Жида) вовсе не была самой «черной». Более того, десятилетия спустя автора обвиняли не более не менее как ... в романтизации увиденного (например, Жак Деррида

и даже Арагон). Подобная двойственность требует внимания и объяснения; не случайно же Андре Жид на закате своих дней занесет в дневник такую фразу: «Ни одно другое путешествие не оставило во мне столько глубоких впечатлений... И надо признаться, нет другой страны, где мне так хотелось бы еще раз побывать»[1].

Гипнотическое притяжение непонятной, далекой России преломляется в творчестве многих французских писателей, в том числе и дореволюционной поры. С.Н. Зенкин, проведя сравнение кадров сновидений из художественных текстов Жоржа Батая (1935 года) и Жерара де Нерваля (1855 года), переносящих авторов в Россию, где они никогда не бывали, позволяет подметить единство не только в восприятии революционного взрыва как конца света, но и в самоощущении рассказчика: и тот, и другой видят себя в роли защитника – либо России, либо ее несчастных детей от нее самой. «Я увидел в этом знак, что наша родина становится посредником в восточной распре и что от нее ждут помощи» (Жерар де Нерваль). Аллегорически такое самоощущение – если перейти на уровень отношений двух стран – означает, что «старшая сестра» готова помочь младшей. Но в данном контексте помочь не в осуществлении завещанного 1789 годом, а в развенчании революции как феномена противоестественного. Для Батая интерес к революционным идеям и осознание их губительности составляет внутреннюю драму. Как заключает С.Н. Зенкин, «принимая катастрофическое крушение старого мира, он <...> полон тревоги и сострадания к тем, кто вовлечен в революцию – в России, Испании и во всем мире. Эта двойственность определяет собой сложный символический образ революционной России, приковавшей к себе в 1930-е годы взгляды французской интеллигенции»[2].

Этапы разочарований и вспышки надежд имели свою, парадоксальную, хронологию, побуждающую предложить экспериментальное решение – очертив три хронологические периода, первый представить как самый длительный (1917–1968), а второй (1968–1985) и третий (от 1985 до настоящего времени) более краткими; причем третий, на наш взгляд, нецелесообразно делить на «годы перестройки» и «пост-перестройки», так как границы *изменения восприятия* с

[1] *Gide A.* Journal 1939–1949. Souvenirs. P., 1954. P. 1212 .

[2] *Зенкин С.Н.* Русский сон Жоржа Батая. // Наваждения. К истории «русской идеи» во французской литературе XX века. М., 2005, С. 148-149.

границами историческими не совпадают, хотя, естественно, от них зависят.

В таком решении есть, конечно, много спорного, но если вести речь о восприятии образа России, приходится быть внимательным к границам изменений именно *восприятия*, а не границам событий, то или иное восприятие породившим. Восприятие в известном смысле отстает от события и зависит часто от иных привходящих факторов. Так, если проследить это движение в течение условного первого периода, смысл негативного рубежа имели, конечно, и политические процессы 1937 года, и, например, советско-германский пакт о ненападении 1939 года. Но эти события разворачивались на фоне возраставшей угрозы фашизма, национально-революционной войны в Испании и, собственно, начала Второй мировой войны. Необходимость противостоять фашизму «гасила» – выражаясь метафорически – психологическую реакцию негодования по поводу репрессий в СССР. С началом Второй мировой войны образ России обрел героические черты – Советский Союз реально спасал мир от фашизма и открытого торжества расизма.

Роль Советского Союза в победе над фашизмом вернула западной интеллигенции, шокированной политическими процессами 1937 года и германо-советским пактом, доверие к стране, провозгласившей когда-то построение социализма своей целью. Преступления 1930-х отошли в прошлое; значимость победы отодвинула их в тень. К тому же на литературную арену вышло новое поколение, сформировавшееся в подполье, в противостоянии гитлеровскому вермахту, основная надежда на победу для которого была связана с Советским Союзом.

В первые послевоенные годы теневые стороны образа России, открываемые общественному сознанию Франции и нашумевшей тогда книгой Кравченко о советских концлагерях, и публикациями о волне антисемитизма в СССР, не приковали к себе внимания широкого круга интеллигенции – по прежнему красноречивым оставался патетический образ Советского Союза, победившего гитлеровскую Германию.

Разоблачения, прозвучавшие на XX съезде КПСС, в сознании одних окончательно укрепили негативное отношение к так называемому «реальному социализму», а в других, напротив, породили надежду, что там, в далекой России, социализм, наконец, обретет человеческое лицо. О решительном изменении восприятия России говорить было еще рано. Венгерский кризис и ввод советских во-

йск в Будапешт, вызвав громкий протест, по времени совпал с началом «оттепели», которая снова дала художественной интеллигенции Франции надежду, что Россия повернула на путь обретения свободы. В течение следующего десятилетия (вплоть до 1968 года) вокруг трактовки образа России шла постоянная полемика в печати, в художественной эссеистике (книги Клода Руа, Роже Вайяна, Франсуа Мориака, Жана д'Ормессона, Франсиса Кремье, Жана Дютура, Антуана Витеза и др.). Если в 1920-е годы книги «путешественников», приносивших свидетельства о стране Советов, довольно резко делились на негативные и позитивные (последних было неизмеримо больше), то и в 1950-е годы, даже в начале 1960-х весы оценок бурно колебались. Приходится держать в поле зрения весь сложный контекст этих литературных и идеологических споров. Западная интеллигенция давно разочаровалась в *капиталистических* ценностях, она с надеждой воспринимала всякий проблеск «чего-то иного», что могло бы, поддерживая высокий уровень цивилизации, охранять права социально незащищенных. Все это давало основание писателям, не считавшим капиталистическую систему образцом, постоянно держать в фокусе внимания перемены, происходящие в Советском Союзе и часто оправдывать – даже на этих хронологических рубежах – «неизбежные ошибки» трудного «исторического эксперимента». Многие из зарубежных деятелей культуры не хотели вставать на один уровень с откровенными противниками социальной справедливости. В течение долгих лет сохранялась ситуация, которую заметил и оценил в качестве опасной Андре Жид: «Правда об СССР преподносилась с ненавистью, а ложь – с любовью»[1]. Так что и в это время к границе *решительного изменения* восприятия образа России большинство интеллигенции еще не подошло. Следует, однако, отметить характерный момент: прямая полемика началась на поле эстетики – это имеет прямое соответствие в том прочтении проблемы «культура/политика», которое предложат книги французских литераторов и социологов в 1990-е и последующие годы.

Необратимое приближение перелома в общей оценке России угадывалось по ряду тенденций. Речь идет не только о количественном сокращении ее «несмотря ни на что» защитников, но и качественном изменении их аргументации. Красноречивым примером может

[1] *Gide A.* Notes de l'URSS. Journal 1926-1956. Edition établie présentée et annotée par Martine Sagaert. P., Gallimard, 1997, P. 551.

служить стратегия авторитетного еженедельника левой ориентации (руководимого Арагоном) – «Леттр франсез». После 1956 года круг публикуемых имен и смысл эстетических позиций был кардинальным образом пересмотрен. При сохранении даже отдельных публикаций, не отвергающих термин «социалистический реализм», началась планомерная переориентация критериев и предпочтений. Книга Арагона «Я открываю карты» (J'abats mon jeu, 1959) и его предисловие к книге Роже Гароди «Реализм без берегов» (как и сама книга Réalisme sans rivages, 1963) по сути, шли открыто в наступление на схемы «советской эстетики», нанося ей ощутимые удары. Именно поэтому эти издания вызвали такой переполох в Отделе культуры ЦК КПСС. Книга Гароди была издана малым тиражом «для служебного пользования», в печати дали автору отповедь, а Арагона перестали издавать.

Так или иначе, кардинальное изменение в восприятии России становилось неизбежным; осенью 1968 года оно стало непреложным фактом. После этого рубежа вся левая интеллигенция встала уже на позиции решительной критики «реального социализма».

В эссеистике самых разных горизонтов Россия виделась неоднотонной: критической оценке власти сопутствовало сочувствие к «зажатому в тиски» народу. В том числе интеллигенции, которая снова подверглась репрессиям. Книги «путешественников» носили теперь то подчеркнуто субъективный характер (книга Бернара Ноэля), то строго документированный («Досье Пастернака», подготовленное Жаклин де Пруайар[1]).

Книга Ноэля 1980 года названа нейтрально: «СССР /туда и обратно», а заглавие фрагмента книги, переданного им одному журналу для публикации, имело отчетливый смысловой оттенок – «Le regard désajusté sur USSR» (Взгляд, утративший свою ось, разлаженный). «Правдивость несостоявшегося рассказа» – так откликнулся на книгу Бернара Ноэля один из рецензентов. Ноэль старательно протоколирует все детали встреч, бесед, обедов, передвижений, как бы сознательно не разрешая себе даже намека на оценку. Рецензент оправдывает такой тип речи: в дни, когда советские войска в Афганистане и идет охота на диссидентов, все увиденное и услышанное никак не совпадает с личным восприятием происходящего.

[1] Le dossier de l'Affaire Pasternak. Archives du Comitée Central et du Politburo. Préface de Jacqueline de Proyart P., Gallimard, 1994.

Перу Б. Ноэля принадлежат философские книги о сложном процессе контакта глаза и мозга человека с окружающим миром, о преображении, которое претерпевает увиденное, проходя сквозь мозг человека (Journal du regard, 1988; роман «19 октября 1977», 1979), где автор сосредоточен на доказательстве беспокоящей его мысли: «Глаза превращают увиденное в мысль, таким образом, что похожее начинает выглядеть как истинное»). Поэтому вполне естественно, что свое путешествие по Советскому Союзу Б. Ноэль пытается объяснить в терминах ему близких: «Мой взгляд не может приспособиться (s'ajuster) к тому, что он видит»[1]. Рецензент полагает, что таков единственно возможный «портрет» страны в текущий исторический момент: «История приговорила нас к полному молчанию».

И тот, и другой жанр имел отличие от книг более ранних периодов: вопросы о смысле социальных преобразований авторы не ставили и не пытались намечать виртуальные перспективы; они просто добавляли «свои краски» в картину для всех уже ясную. Но чтобы понять резонанс даже таких, приглушенных, оценок, следует уточнить вообще степень политизированности французских литераторов и представить себе, какова же их роль в общественной жизни собственной страны.

Существует широко распространенная точка зрения, что именно русская литература всегда осознавала свою особую миссию (писатель больше, чем писатель; поэт больше, чем поэт), а художники Франции и других западных стран предпочитают держаться в рамках проблем эстетических. Данное наблюдение требует серьезной корректировки. Частично оно верно для романных и новеллистических жанров, причем скорее последних десятилетий. Что же касается эссеистики (а жанр этот в минувшем столетии радикально расширил свои границы), публикации писательских манифестов и *персонального участия* деятелей культуры в решении жизненно важных для страны проблем, то здесь писательская активность легко выдержит соперничество с русской литературой. Если рассмотреть творческую и общественную деятельность французских мастеров слова – Франсуа Мориака, Жан-Поля Сартра, Альбера Камю, Андре Мальро, Анри де Монтерлана, Жюля Руа, Мориса Дрюона, Жака де Лакретеля, Дрие ла Рошеля, Ромена Гари, Макса Галло (а на более поздних хронологических рубежах также Клода Мориака и Алена Роб-Грийе, представлявших

[1] *Noel B.* L'URSS. Aller- retour. P., 1980, P. 77.

школу «нового романа») – утверждение об «особых путях» русской литературы сильно сместится. Чрезвычайно знаменательно, что вышедшие «Мемуары» (рус. пер., 2002) известного политолога Раймона Арона буквально «пересыпаны» фактами непосредственного участия ряда известнейших писателей в обсуждении политически острых для страны проблем; приводятся конкретные ситуации, когда их голоса одерживали верх и правительственные решения принимались с учетом мнения «художественной интеллигенции».

Красноречивы рассказы о дискуссиях Раймона Арона и Клода Мориака с де Голлем, который по ряду вопросов внял аргументации оппонентов-писателей; или о споре Жака де Лакретеля с Антуаном Сент-Экзюпери о сути голлизма: «столкнулись два высоких ума, два выразителя сознания французов».

Не случайно, Раймон Арон, завершая свои «Мемуары», настойчиво проводит мысль, что влияние Сартра было неизмеримо сильнее, чем его собственное – то есть сильнее влияния авторитетнейшего политолога, близкого властным структурам. А однажды Раймон Арон обронил с некоторой даже обидой: «Во Франции, чтобы считаться компетентным, надо быть романистом». Когда Анри де Монтерлана спросили, почему, проявляя такой интерес к конфликтам разных государств прошлых веков, он не заинтересовался «состязанием планетарного разлома – Советского Союза с США», романист ответил: «У войн, в которые втянуты сотни миллионов людей, уже нечеловеческий масштаб». Даже в такой реплике не пробилось сомнение, а нужно ли писателю вообще заниматься политическими «разломами».

Такие издания, как «Фигаро», «Экспресс», «Комба», «Монд», по сути, целиком держались (и держатся) на публикациях авторитетнейших мастеров слова; почти у каждого из французских писателей есть как минимум три-четыре книги, трактующие глобальные проблемы европейских или международных отношений («Европейское воспитание», 1945, Ромена Гари; «Письма европейцу», 1970, «Будущее в растерянности», 1968, «Слово и власть», 1974, Мориса Дрюона). Да и выход специальных изданий, обобщающих отношение французских писателей к политическому спектру проблем («Литература и ангажированность. От Паскаля до Сартра»[1], «Литература и политика»[2],

[1] *Denis B.* Littérature et engagement. De Pascal à Sartre. P. 2000.

[2] *Guichet Y.* Littérature et politique. P. 2000.

«Литература и политика. Два века политической жизни сквозь призму художественной литературы»[1], «Литература и политика во Франции XX века»[2], «Ангажированность в литературе»[3]) говорит о постоянстве таких контактов.

Одно из отечественных изданий[4] тоже специально сосредоточено на проблеме соотношения художественного слова и публицистического дискурса. В главе «Журналистика, литература и культура современного Запада» автор, отмечая, что «художники регулярно заявляли о пагубной зависимости культуры от экономики, политической власти, даже от аудитории», далее убедительно демонстрирует, как корректируются подобные заявления на практике, особенно применительно к эссеистике и непосредственным выступлениям художников слова в периодике. Если же учесть продолжающуюся релятивизацию жанра «эссе», то противоречие между пренебрежением аудиторией и поиском ее трудно опровергнуть.

При такой вовлеченности в обсуждение стратегии мирового масштаба, конечно, нет ничего удивительного, что общественные и культурные процессы, идущие в СССР, постоянно находились в поле зрения французской интеллигенции. Фраза Дюамеля – «Россия остается нашей главной заботой» – сохраняет свою эмоциональную силу; на другом историческом этапе близкое утверждение выдвигает Антуан Витез («У любого из нас в душе хранится образ России – благородной или преступной, христианской или языческой»[5]). По сути, и сегодня горькая утрата иллюзий и резкое осуждение негативных тенденций на разных этапах истории СССР не снизили интереса к России, но значительно изменили его направление. Раньше смещение акцентов в оценках французских интеллектуалов объяснялось скорее их собственными колебаниями. Парадоксы культурного дискурса играли порой злые шутки с писателями Франции, судившими о тех или иных чертах российской действительности. Так, эссеистика Ж.-П. Сартра невероятно противоречива, «слова» разных статей (не столь уж хро-

---

1 *Mopin M.* Littérature et politique. Deux siècles de vie politique à travers les oeuvres littéraires. P., Direction de la documentation française, 1996.

2 *Zorgbine G.* Littérature et politique en France au XX siècle, P., 2004.

3 Engagements littéraires P., 2005.

4 *Хорольский В.В.* Западная литература и публицистика XX века. (Культурологический подход), Воронеж, Геракл, 2005, с. 27, 34.

5 *Vitez A.* La Russie //Vitez A. Ecrits sur le théâtre, P., 1998, P. 213.

нологически отдаленных) вступают друг с другом в спор; временами кажется, что это пишет другой человек или о другой стране. Такая «кривая» суждений о ситуации в СССР обнаруживается и в последних публикациях Луи Арагона, который, в серии своих предисловий-мемуаров[1], меняя вектор оценки, предпочитает уходить от прямых пояснений; в результате наблюдается как бы наложение одного пласта на другой, и оба так или иначе «подают свой голос». При анализе эссеистики 1960-1980-х годов необходимо принять во внимание и подобную, «внутреннюю», эволюцию позиции художника, не всегда зависящую от новых изменений внешних обстоятельств.

Рухнувшие стены (как берлинская, так и идеологических стереотипов, запретов) прежде всего изменили качество контактов между интеллигенцией Франции и России, качество информации. До этого момента все уехавшие на запад советские писатели (художники, скульпторы) составляли в сознании «западного» человека особый сектор – диссидентов, активных борцов с режимом, вынужденно покинувших коммунистическую страну (такие оттенки сохранялись и в том случае, если эмигрировавшие не имели отношения к правозащитной деятельности). В новых – «без стен» – условиях французские издатели, писатели, редакторы журналов получили возможность приглашать на коллоквиумы, конгрессы, на стажировку любую интересующую их в СССР (еще СССР) творческую личность, и первые перестроечные годы во Франции, с французской интеллигенцией активно общались совсем иные слои российской интеллигенции, чем пять-десять лет тому назад. Параллельно шел процесс эмиграции в Европу российской творческой интеллигенции уже не по «диссидентскому» руслу, без мотива поиска политического убежища – Россия начинала жить по западным законам, и любой художник имел право выбрать себе местом жительства любую страну, оставаясь, при этом российским писателем. В сознании французского интеллигента не так легко шел процесс выстраивания некоего единства, поиска черт целостности совсем нового конгломерата современной (после провозглашения перестройки) российской культуры, где не было границ между недавними диссидентами и художниками, продолжавшими творить в России или переехавшими во Францию по причинам, с политикой никак не связанным.

---

[1] Подробнее см. *Балашова Т.В.* Изменение автобиографического пространства в процессе генезиса текста. (Россия и авторское «я» в автобиографических зеркалах Арагона) // Автобиографическая практика в России и во Франции М., ИМЛИ РАН, 2006.

Этот новый исторический период принес французским коллегам и неожиданности; например, необходимость осмыслить разлад среди бывших диссидентов (Александр Солженицын, Владимир Максимов, Андрей Синявский) и попытаться соотнести «смысль» этого разлада с теми ожесточенными спорами, которые развернулись в открытой прессе перестроечной России вокруг новейших художественных публикаций. Приходилось искать и прочерчивать совсем иные, чем ранее, границы.

Характер интереса к России последних десятилетий ушедшего века и начала нынешнего имеет определенно свои особенности: эйфория надежд конца 1980-х годов свидетельствовала о существенной составляющей западного менталитета: несмотря на разочарование в «реальном социализме», в сознании французской интеллигенции не умерли идеалы справедливого общественного устройства. В 1985 году ожидания вспыхнули с новой силой. Россию снова начали воспринимать как страну, готовую открыть совершенно новые, неизведанные пути мировому сообществу.

Но этот период был очень кратким, поэтому двадцатилетие 1985-2005 целесообразно рассматривать в единстве (с точки зрения именно *восприятия* французской интеллигенцией). После недолгой эйфории от возникших с началом перестройки перспектив образ России – если выразиться метафорически – быстро «потускнел»; исчезли световые градации между поведением правительства и поведением тех, кто еще недавно олицетворял демократические надежды.

Темой книг, посвященных России, теперь стало не описание того, что происходит «здесь и сейчас», а сопряжение этого «здесь и сейчас» с предыдущими этапами истории и культуры России, поиск ответа на вопрос, какой спецификой российского общества и какими чертами русского или советского менталитета можно объяснить крушение проекта перестройки – перехода к новым экономическим отношениям и демократическим принципам мирным путем.

3. Поиск ответов в истории России

В дискуссиях российских социологов, культурологов условно можно выделить три группы: первая считает образцом до-октябрьскую Россию, резко критикуя и советский опыт, и последующие планы его основательной корректировки. Вторая пытается удержаться в русле апологетики советского режима при этом, естественно, отвергая и

царскую власть, сметенную февралем/октябрем 1917 года, и планы формирования пост-советской идеологии и экономики. Третья, варьируя негативные и позитивные интонации в оценке двух предшествующих формаций, считает неизбежным и целесообразным дальнейший путь преобразования страны в русле западного опыта.

Пытаясь сопоставить «российский взгляд» на историю с интерпретациями политологов (и художников) Запада, можно констатировать, что там не поддерживаются (по существу, никем) взгляды ни первой, ни второй из наших условных групп. Полное несовпадение взглядов интеллигенции Франции со взглядами этих групп требует известных объяснений, ведь после Октября и апологетика царской России, и апологетика «первого социалистического государства» вполне отчетливо себя проявляли в литературе. Объяснение имеет два уровня. Что касается приверженцев «старой России», они утратили голос, так сказать, биологически – поколение французов, которое знало до-октябрьскую Россию, любило ее и всеми силами поддерживало в русских эмигрантах мечту о скором крахе большевиков и возвращении на родину, покинуло земную юдоль. Новые поколения настолько твердо усвоили мысль о преимуществах парламентаризма, что вероятность (либо желательность) царской власти для России никто и не рассматривает. Что же касается защитников социалистической идеи, их голос имеет сбивчивые обертоны: от России открытия новых путей они уже не ждут, но цель построения социализма в ее историческом значении (и конечно, «с человеческим лицом») вовсе не отвергают.

Несовпадение взглядов на перспективы выхода России из кризиса поддерживалось, естественно, и разными критериями оценки культуры как таковой. Обе из обозначенных отечественных групп строили свои представления о развитии общества на традиционных моделях повествования, где разум берет верх над иррациональным, композиция выстраивается логически-стройно, общественные коллизии значимы не менее, чем личность, ее внутренний мир. Подтверждение тому, сколь тесно соединялись суждения о культуре и, собственно, общественном устройстве, находим, например, в коллективном труде «Самосознание европейской культуры XX века»[1]. Вводная статья,

[1] Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Составитель Р.А. Гальцева. Перевод и примечания – С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин, С.Л. Воробьев, Р.А. Гальцева, П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов, В.В. Ошис, Н.Л.Трауберг, А.И. Фрумкина.М., 1991.

предпосланная книге, подвергает, по сути, резкой критике многое из бесспорных достижений западной культуры XX века. Высказывается предположение, что «философия жизни» (а вокруг этого понятия сформировалось важнейшее течение экзистенциализма) незаконно вытеснила «философию мысли» и, взывая «не к рассудку, а к эмоциям», «отреклась от разума». Не фиксируя специально столь явные «передержки», все равно трудно не понять, что авторы вводной статьи (Р.А. Гальцева и И.Б. Роднянская) идут à contre courtant основному движению западной (да и не только!) культуры, причем напрямую связывают эту «негативную» культурную тенденцию с «порчей» сознания современника: «Входя в союз с бессознательным, она сообщала кризисному сознанию европейца еще один деструктивный импульс», – пишут авторы. Более того: недвусмысленно заявлено, что если культура становится «полем приложения бессознательного», то она попросту перестает быть культурой: – «какая же при таких условиях может быть ответственность за судьбу культуры?». Подмечая, что Шпенглер утверждал «невозможность постижения чужих культурных миров»[1], авторы вводной статьи отнюдь не собираются доказательно продемонстрировать какими путями это «постижение» все-таки возможно. Они сосредоточены на «предвзятости» тех зарубежных литераторов и философов, чьи работы составляют основу выпущенной им книги, суммарно обозначая их как представителей «философского модернизма».

Кардинально расходясь с зарубежными (и не только, конечно) коллегами в оценке возможностей и философского, и художественного познания мира, авторы предисловия к данному изданию в известной мере искаженно трактуют и собственно исторический процесс последних лет.

Третья из условно выделенных отечественных групп, считающая целесообразным вести преобразование страны в русле западного опыта, в ином ракурсе видит и движение западной культуры, находя достаточно много ценного в творческих поисках писателей, художников, кинорежиссеров. Сопоставление российского опыта с западным идет в исследованиях французских ученых тоже при теснейшем соположении культуры и общественного выбора. Само по себе это вполне традиционно, однако настойчивость сближения/соположения и акцентировка теснейшей взаимозависимости культуры и общественной

[1] Там же. С. 12, 22, 13.

ситуации в России стала для большинства научных работ французских исследователей принципиально необходимой, а это уже требует к себе особого внимания.

Условная «третья» группа наших социологов и литераторов обстоятельно изложила свои позиции в двух коллективных изданиях – «Иного не дано. Судьбы перестройки» (Москва, Прогресс, 1988) и «Иное. Хрестоматия российского самосознания» (М., Аргус, 1995)[1]. Хронологически между этими двумя обобщающими трудами вышла книга «Куда идет Россия. Альтернативы общественного развития (М., Интерпракс, 1994), основанная на материалах международного симпозиума, состоявшегося в 1993 году. Выступления зарубежных коллег (Алексис Берелович, И. Бирман, Тамаш Пал, Теодор Шанин) порой противоречили друг другу, но общей была в них критическая оценка бездействия российской интеллигенции, которая, столкнувшись с «острыми углами» перестройки, предпочла отойти в сторону, храня гордое молчание. В дебатах поднимались болезненные вопросы и о критериях принадлежности к интеллигенции, и о мифической «вине» народа, который, мол, сам на парламентских выборах привел к власти консервативные силы. Французский опыт, – подчеркнул А. Берелович, – учит нас всегда анализировать ситуацию и «искать ответ на вопрос, почему так произошло», даже если фашиствующий кандидат в президенты Ле Пен «получил ошеломляюще большое число голосов». Характеристика «глупый народ», мелькавшая на страницах российских СМИ, показалась всем зарубежным участникам дебатов признаком вопиющего непрофессионализма.

Ошеломила зарубежных участников и попытка отдельных российских политиков предложить в качестве наиболее целесообразного – путь, пройденный Пиночетом и Франко. Призыв использовать формулу авторитаризма для «спасения» демократии был признан зарубежными исследователями крайне опасным. В результате, во многих выступлениях была поставлена под сомнение способность российской интеллигенции начала 1990-х годов играть исторически выстраданную ею роль. «Интеллигенция потеряла монополию на ценности, на их утверждение»[2].

---

[1] Труд состоит из трех частей – «Россия как предмет», «Россия как субъект», «Россия как идея» с приложением четвертого выпуска-Путеводителя.

[2] Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. Под редакцией Т.И. Заславской и Л.А. Арутюнян. М., Интерпракс, 1994. С. 217.

Венгерский ученый Томаш Пал раздвинул границы критики «перестроечных» действий правительств, которые первыми получили право руководить страной после крушения «социалистического блока». «Совершенно очевидно, – отметил он, – что те литераторы, представители гуманитарной интеллигенции, которые в 1988-1989 годах пришли к власти в ряде стран Восточной Европы, за три года не только потеряли власть, но вылетели из парламентов, исчезли из публичной жизни»[1]. Поскольку в данном случае никак нельзя было говорить о «руке Москвы», помешавшей Польше или Венгрии, здесь следует предположить существование более глубокой закономерности, подготовленной схожим историческим опытом предшествующих десятилетий.

На этом этапе французские исследователи еще активно выдвигали свои предложения «куда идти России», и их советы совпадали с концептуальными построениями отечественных ученых (условно выделенной третьей группы). Однако реальная российская ситуация вносила столь резкие коррективы, что подобрать адекватные определения оказывалось и для тех, и для других необычайно сложно. Программы, предлагаемые зарубежными участниками дискуссии, порой были вполне четкими (сформулированные на основании опыта собственных стран с определенными поправками), но малейшая попытка приложить их – хотя бы виртуально! – к реальной ситуации нынешней России терпит полную неудачу: реалии современной российской ситуации – нечто определенно новое и неожиданное для западноевропейского общественного устройства – будь то Швеция, Франция, Германия, Великобритания...

Неожиданно и потому необъяснимо в современной России для западных славистов сейчас слишком многое: а) двойная смена власти – сначала от партийных функционеров к демократически настроенному кругу молодых профессионалов экономистов и политиков, затем обратно – к партийным чиновникам, почти инстинктивно возрождающим ту схему отношений между ветвями власти, которая существовала при Советском Союзе. Неожиданно, подобно стрессу, подействовало превращение страны, хотя бы провозглашавшей (и частично осуществившей) идеалы социальной справедливости в страну, узаконившую невиданный разрыв между роскошью и нищетой. Подобный «курс» левым литераторам Франции сразу показался крайне опасным,

[1] Там же. С.240.

несовместимым с искомым недавно еще образом социализма с человеческим лицом.

Симптоматично для всех периодов и это остается доминантой встреч с Россией последних лет: знания о России – при всей обширной информации – отступают на второй план перед эмоциональной встречей с Россией. Закономерность эта касается не всех «путешественников», но настолько многочисленных, что слова «J'adore la Russie», – как ни странно, повторяются в ряде книг, посвященных сегодняшней России. Наиболее адекватный образ современной России стоит искать именно на пересечении *эмоционального* восприятия пост-перестроечной реальности после встреч с нею и *научного* изучения основных характеристик общественной, культурной, психологической ситуации.

На поле художественном обращение к теме России происходит и в мемуарах, дневниках, записях о путешествии, и (реже, конечно, но количество таких произведений сейчас, пожалуй, больше, чем лет 15-20 назад) в романах, новеллах, художественных биографиях, посвященных Толстому, Лермонтову, Чайковскому, Эйзенштейну, Пастернаку... Причем, даже в биографиях, обращенных к иным векам, бывает, явственно ощущается «присутствие» новой, только что увиденной России. (Это относится, например, к книгам Доминика Фернандеса об Эйзенштейне, о Чайковском.) В жанре биографий грань между писательским очерком и литературоведческим этюдом явно стирается. Есть на художественном поле и еще один жанр, где мысли о России, воспоминания о ней присутствуют, но как бы в скрытом виде. Речь идет о книгах размышлений, не имеющих никакой определенной «темы», сосредоточенных на проблемах метафизических или социально-этических, затрагивающих вопросы жизни и смерти, права и долга, личности и общества, отношений между поколениями или между людьми разных вероисповеданий. Весьма характерен в этом плане тип дискурса члена Французской академии Жана Дютура, бывавшего в СССР, неплохо знакомого с литературной средой (в том числе андеграундной), не написавшего о России ни одной книги, не опубликовавшего ни одного специального очерка. Однако в его книгах-исповедях («Эссе и автобиографические записи», Essais et autobiographies, 2000; «Дютуриана», Dutouriana, 2002) то и дело появляются суждения, в которых сквозит его отношение к той или иной противоречивой ситуации в России, а глубоко запавшее впечатление

поднимается на поверхность, помогая обобщениям. Именно российскими впечатлениями напитаны его рассуждения о негативном смысле любого мессианизма, о «глупо вводимых свободах», в результате чего «исчезают нравственные тормоза и общество приближается к катастрофе»[1].

Подобная конструкция, как бы попутного, но вполне естественного включения размышлений о российском опыте в общую панораму кризисных явлений современной цивилизации, характерна и для многотомных «Записных книжек» франко-швейцарского поэта Филиппа Жаккоте[2]. Примеры можно продолжать.

Книги «путешествий-возвращений», книги о встречах с постперестроечной Россией, конечно, сильно отличаются от книг этого жанра более ранних лет. В них правит бал все-таки более холодный взгляд аналитика, оберегающего себя и своего потенциального читателя от новых иллюзий, но прежняя (можно сказать многовековая) симпатия к России все равно отчетливо ощутима.

Основной интонацией большинства публикаций, появившихся с конца 1980-х гг. является характеристика ситуации в России как хаоса, который невозможно объяснить. Авторы книги «Россия во всех ее ипостасях» (La Russie dans tous ses états. Bruxelles, 1996, под редакцией Фредерика Грара) концентрируют внимание на невозможности объяснить, что в России происходит, понять логику ее колебаний «между нео-империализмом и laisser faire». (laisser faire – «пусть идет как идет» весьма близко в этом контексте к русским арготизмам вроде «а мне до лампочки», «до фени» и т.п.). Еще одна из книг 1996 года и в заглавии имеет слово «хаос»: Жак Сапи «Русский хаос: экономический развал, политические конфликты, разложение армии», P., 1996). Некоторые авторы пытаются разобраться, в чем причины такой хаотичности процессов, происходящих в России перестроечных и постперестроечных лет. Колетта Бек ищет объяснение в неопределенности экономической (а тем самым и социальной) политики. Эпиграфом к своей книге «От социального государства к государству прав человека» (2007)[3] она выбрала слова французского революционера Гамбетты – «Подлинная демократия – это не признание равенства, а осущест-

[1] *Dutourd J.* Dutouriana, P., 2002, P, 84,122.

[2] Jaccottet Ph. La Semaison (1984), La Seconde semaison (1996).

[3] *Bec C.*: De l'Etat social à l'Etat des droits de l'Homme Paris, 2007.

вление его». Речь у Колетты Бек, конечно, вовсе не о примитивной уравниловке, а о социальной справедливости в обществе, защищающем права человека. И ей кажется, что непоследовательность на обоих направлениях принесла России много вреда. Стратегия – то укрепление власти государства, то полная свобода вне-государственных образований – менялась столь непредсказуемо, что даже завоевания новой России больше похожи на «весьма обременительный успех»[1].

Жан Радвани, который в заголовок одной из своих книг тоже выносит знак непредсказуемости развития страны («Новая Россия после 1991 года – Новая эпоха потрясений». – La nouvelle Russie – après 1991. Un nouveau temps de troubles » P, 1996), пытается распутать клубок непонятно как скрещивающихся стратегических и тактических нитей. В начале 1980-х годов он пытался объяснить, почему СССР кажется гигантом («Парадоксальный гигант: географические мотивации могущества» 1982[2]), спустя четверть века он ищет объяснения настроениям неуверенности, царящим в России. Этой задаче подчинена книга «Новая Россия» (два издания – 2000 и 2004 гг.) и «Россия между двух миров» (2005)[3]. В отличие от многих своих коллег, остерегающихся пользоваться термином «революция» (и полагающим, что эта форма преобразования общества себя изжила) Жан Радвани инициативы перестройки называет именно революционными, считая, что произошла «тройственная революция – политическая, экономическая, геополитическая»[4]. Трудности при переходе от формации к формации возникают у любой страны, это нормально. Но у России, – пришел к выводу автор, – «совсем ничего нормального», напротив, правильнее говорить о «русском исключении»[5]. Одной из причин особого, но негативного развития страны Радвани считает своеобразный психологический (подкрепленный и государственными институтами) «статус великой державы при весьма посредственном уровне

---

1 Ibid., P. 76.

2 *Radvanyi J.* Le Géant aux paradoxes : fondements géographiques de la puissance. P., Ed . soc. 1982.

3 *Radvanyi J, Wild G.* La Russie entre deux mondes. P., Documentation française, 2005.

4 Ibid., P. 2.

5 Жан Радвани использует заглавие книги российского дипломата и политолога А. Грачева – «L'exception russe» (1997), увидевшей свет в Париже на французском языке.

экономического развития»[1]. Отдельные разделы двух последних книг Жана Радвани обращены к проблемам культуры. Снова употребляется термин «революция»: «культурная революция, которая призвана была изменить представление о манере поведения, социальных отношениях, о целых пластах познаний, оставшихся от прошлого...»[2] Посетовав на торжество «рыночной логики», автор констатирует, что теперь культурные слои делятся не на официальное искусство и диссиденсткое, а на интеллектуальное и массовое. Торжество рынка в сфере культуры спровоцировано, по мнению Жака Радвани тем, что государство «самоустранилось, бросив на произвол судьбы такие сектора как культура, наука, здравоохранение»[3]. «Болезненный эксперимент», «катастрофические результаты», «более, чем противоречивые итоги» – таковы определения, звучащие в книге, подводящей к выводу: «В целом итог последних десяти лет для населения России надо признать горестным. То, что достигнуто, очень сильно отличается от того, на что надеялась значительная часть общества, дружно поддержав реформы 1990-х гг. Поэтому большинство не верит больше в демократию и либерализм. Поэтому возникла ностальгия по сильной власти»[4]. Хаотичность, непоследовательность «движений» российского государства французские коллеги отмечали еще до того, как проявились негативные последствия. Весьма красноречиво свидетельство философа Жака Деридды, который очень любит своего русского читателя и находит с ним взаимопонимание, встречая, по его словам, «быструю, живую, дружественную реакцию» на свои работы[5]. Но как раз посещение Москвы во время «перестройки» привело ученого в замешательство. В 1990 году он был приглашен Институтом философии РАН, имел возможность общаться с коллективом ученых, от которых надеялся услышать ответы на свои вопросы. Показав способность «формализовать матричную логику» рассказов о путешествии типа «возвращение из Москвы», он сразу отодвинул ее в сторону и обозначил только вопросы, которые его интересовали: «отношение к традиции и Западу, гласность, национализм, память и

---

1 *Radvanyi J*, Wild G. La Russie entre deux mondes, P. 5.

2 Ibid., P. 66.

3 *Radvanyi J.* La Nouvelle Russie. P., Armand Colin, 2000, P. 102.

4 Ibid., P.105.

5 См. его суждения, опубликованные в журналах – «Europe», 2004, mai; HERNE-DERRIDA, 2004.

политика памяти, женский вопрос и феминизм, еврейский вопрос. Что же касается сути перемен, сколько ни ставил он вопросов, ответы удивляли полной расплывчатостью. «Никто не знает, что есть, что значит и во что выльется перестройка. Ее природа, единство ее смысла остаются предельно темными в том числе и для тех, кто считает себя решительным сторонником перестройки»[1]. Возможно, для себя философ как-то сформулировал частично ответ на этот, главный, вопрос, но выразить свое понимание (или догадки) не захотел. Более того – неясность, что же в конце концов предпринято, непредсказуемость результатов побуждает его провозласить принципиальный отказ что-либо предполагать. «Кто предвещает будущее, ослепляет себя самого, претендуя на прозрачную интуицию присутствия, на видение вещи, самого референта за дальними пределами спекуляции, интерпретации, идеологии»[2]. Новизна «путешествий» в Россию ныне в том, считает Деррида, что никто не ждет от России счастливых «откровений» или жеста, указывающего путь человечеству. «Теперь едут <...> чтобы убедиться, идет ли перестройка, <...> надеясь, что перестройка выкует общество по модели западных парламентских демократий». Но парадокс ожиданий в том, что французским писателям вовсе не нравится их тип парламентаризма или вернее реальное осуществление провозглашенного. Следовательно, восприятие раздваивается: плохо, что Россия еще далека от парламентаризма и демократических завоеваний западных стран, и плохо, что она не может «исправить» западный опыт, не отменяя его в принципе. Так или иначе, перестройки или серьезного реформирования путешественники не улавливают. Бесспорным признается лишь процесс деконструкции в действии, развернувшийся в России.

Жак Деррида пытается классифицировать некоторые черты этого, особого, с его точки зрения, жанра «возвращений», сложившегося уже в последние годы. Старые варианты такого жанра больше невозможны. «А если возникают, – оговаривается Ж. Дерида, – то при условии излишней самонадеянности». «Теперь едут *туда, а не сюда*» – так передает автор ощущение степени *родства* со страной, которую считали советской, и утрату ощущения родственной близости с ней после того, как иллюзии умерли. Подобно тому, как ученые-социологи

---

[1] Жак Деррида в Москве. Деконструкция путешествия. М., Ad marginem, 1993. С. 41.

[2] Там же.

начали исследовать движение советской системы к крушению задолго до 1985 года, так и свидетели-путешественники пересекали границу СССР уже совсем с иными «установками». Теперь было необходимо «воздержание субъекта, нейтрализация любой теоретической констатации» (Жак Деррида).

Если Бернар Ноэль в своей книге воздерживался от оценок по причине двойственной ситуации в стране эпохи «застоя» (внешне спокойная благополучная обстановка, но за фасадом – война в Афганистане и политические процессы), то Деррида выбрал «молчание» (отказ от любых обобщений) потому что ни линии фасада, ни возможные «глубины» за ним недоступны пониманию – все смешалось в хаотическом бурлении, не поддаваясь никакой классификации.

Соотечественник Жака Деррида Фредерик Бегбедер принадлежит как раз к тем «самонадеянным», что решаются делать выводы. В своем романе-эссе «Идеаль» (русское издание 2007 г.) он предстает судьей, которому ясны все основные константы существования нынешней России. Эта позиция производит впечатление разудалого легкомыслия, но многие констатации Фредерика Бегбедера трудно оспорить. Как и ряд других наблюдателей, он считает главным изъяном российского социума нежелание пройти через очищение покаяния («Россия – страна безнаказанных преступлений и сознательной амнезии»); как и принято во многих книгах, посвященных России, он пытается включить ее противоречия в общий контекст противоречий современной цивилизации. Когда он утверждает, что «ключевые слова для описания системы, которая царит в наши дни на планете, не «капитализм», а «плутократия хотизма»; что «коллективистская утопия, а следом коммерческая не оставили и мокрого места от нескольких столетий европейского гуманизма», он сопрягает ситуации, сложившиеся в разных и удаленных друг от друга странах. К болезням собственно российским в стране, которую он посетил и о которой пишет, добавились теперь болезни всеобщие, охватившие весь мир. Фредерика Бегбедера, как и других его соотечественников удивляет, зачем было России, обремененной своими заботами, прививать к своему организму еще чужие хворости.

С удивлением, смятением воспринял события в России и автор книги «Горбачев и реформы в СССР»[1]. Пьер Навиль: он подробно описывает все позитивные стороны политики Горбачева и

[1] *Naville P.* Gorbatchev et les réformes de l'URSS. P., 1992.

не может понять, почему к 1992 году все позитивное обернулось негативом.

Жорж Нива, славист, за плечами которого многие годы изучения русской культуры, несмотря на то же ощущение хаотичности происходящего, пытался его прояснить для себя и для читателя. В двух выпущенных им книгах он поделился своими впечатлениями от посещения России в 1992 и 1998 гг., попытавшись подвести некоторый итог.

В книге 1993 года «Русские впечатления. Год первый»[1] Жорж Нива излагает предысторию своего увлечения русской темой, русской культурой, вспоминая учебу в Московском Университете (с 1956 по 1960 гг.), недовольство властей его «подрывной» деятельностью, высылку на родину. Но задолго до перестройки (с 1972 года обвинения с него были сняты) он стал снова посещать страну регулярно. Путешествие 1992 года открыло ему полное смешение общественных форм и режимов. «Весьма характерная для России ситуация: в ней сосуществуют системы сталинская, брежневская и гайдаровская. А искусство все чаще обращается к прошлому, пытаясь там найти объяснение, почему так долго Советы «терпели» насилие. «Расшифровывая пьесу Фридриха Горенштейна «Детоубийца», увиденную в «Малом театре», Жорж Нива в истории конфликта Петра Первого со своим сыном видит стремление драматурга трактовать ее как «предвестие разложения всего народа, всей страны в советскую эпоху. <...> Подлость и страх пронизывают каждое слово, каждый жест»[2]. Такую трактовку Нива разделяет лишь частично, полагая, что каждый этап истории имеет свои особенности, не прямо переносимые в будущее, да и в границах одной исторической эпохи сплетаются разные тенденции. Уже в 1992 году Нива заметил, что открытых дискуссий его собеседники в России стали снова избегать, снова предпочтение отдают «кухням». Во втором звене своей дилогии («Взгляд на Россию. Год Шестой»[3]) Нива пытается мотивировать, почему здесь смешение разных общественных форм принимают как должное, почему ситуация в России не поддается классификации. Он с горечью констатирует, что за эти годы научных исследований, которые описали бы, объяснили, положение в России, во Франции не появилось. Почти ностальгическая нежность слышится в его оценках давних книг французского

---

1 *Nivat G.* Impressions de Russie l'An Un. P., 1993.

2 Ibid., P. 84.

3 *Nivat G.* Regards sur la Russie de l'An V1 . P., 1998.

историка Леруа-Болье (два тома его исследования «Царская империя и русские» 1881–1882 гг.) – «образец глубины и деликатности». При появлении ту книгу не все оценили по достоинству, причина как раз в ее преимуществах: автор стремился все время «позволить увидеть разные грани проблемы».

Приняв как непреложный факт, что сегодняшнюю Россию объяснить еще труднее, чем во времена Леруа-Болье, Жорж Нива выдвигает предложение: «Россия достойна того, чтобы ее изучали вне всяких систем, потому что ее национальный облик остается необычным, свидетельствуя о мощной индивидуальной энергии, выпущенной на волю реформами». Некоторые свои обобщения Жорж Нива тем не менее формулирует. Ему кажется, что в данный момент Россию снова какие-то силы хотят вернуть к деспотическому прошлому, а объективно стране предстоит интегрироваться в Европу. Нива считает, что этот процесс благотворен, но может пройти безболезненно только в том случае, если Россия сумеет предложить «разумное сопротивление» определенным позициям интеграции. Он хотел бы видеть Россию вполне европейской, «но без наших недостатков». Собрав в единый узел многие проблемы, поднимаемые в публикациях его соотечественников, Жорж Нива формулирует свое понимание наиболее естественного для России пути к своему будущему: «Нескончаемые дискуссии о русской душе и ее специфике должны в конце концов вывести к констатации ее родства (с западным миром *Т.Б.*), родства, чем-то и противостоящего, но в разумных пределах»[1].

Как видно из публикаций Жоржа Нива, он совсем не склонен накладывать на негативные феномены советского и пост-советского времени негативную сетку давнего прошлого России, черпая там все объяснения. Однако именно такое стремление ведет авторов довольно многих книг, появившихся во Франции за последние годы. Иногда прошлое предлагается в качестве образца, чаще, напротив, как источник всех будущих зол.

Член Французской Академии и ее постоянный (пожизненный) секретарь Элен Каррер д'Анкосс посвятила себя изучению истории России задолго до перестройки («Расколотая империя», 1978, «Сталин, порядок средствами террора», 1979). В 1980-е годы вышли ее книги «Ни войны ни мира» (Ni guerre ni paix, 1986), «Великий вызов» (Le grand défi, 1987); в 1990-е – книга «Победившая Россия»

[1] Ibid., P. 14, 23, 26-28.

(Victorieuse Russie, 1992). Во всех ее работах так или иначе на первый план выдвигается мысль о стремлении России (ее наиболее передовых общественных сил) преодолеть экономическое и техническое отставание от Запада, встать вровень с основными европейскими странами. В книге, вышедшей в 1996 году, эта мысль получает весьма актуальное заострение: книга названа «Николай II – прерванное движение»[1] и основной ее тезис – необходимость возобновления в пост-перестроечной России реформ, «лениво» начатых Николаем II и резко прерванных мировой войной и революцией. Поскольку условия, как прекрасно понимает Элен Каррер д'Анкосс, ныне совсем другие, то и способы их проведения будут сильно отличаться; но что остается неизменным – так это во-первых, вечный закон реформаторской деятельности («Переход всегда требует длительного времени, а его всегда не хватает»); во-вторых, давно назревшая необходимость решительно пересмотреть метафорические (но столь крепко впечатанные в сознание) формулы Фёдора Тютчева («Умом Россию...») и Александра Блока («Да, скифы мы...»), потому что они тянут Россию вспять, «оправдывают» ее недоверие к Западу, настраивая соответственно и Запад на отказ от глубинного анализа российской ситуации. «Пора сделать из России страну, поддающуюся разумному анализу. Только так она обретет свою нормальную судьбу и вернется в Европу»[2]. Знаменательно, что автор этой книги (повторяя в чем-то стратегию ряда своих коллег) подходит к оценке виртуальных реформ, опираясь не на экономическую логику, а на художественное сознание, вобравшее в себя определенные мифы разных периодов жизни российской интеллигенции. К мысли о необходимости для России продолжить свое движение к Западу Элен Каррер д'Анкосс вернулась, давая интервью в преддверии 90-ой годовщины Октябрьской Революции. «В тысячелетней истории России, – считает она, – есть два периода разрыва: монгольское иго и советский период. А все остальное – путь в Европу». Но, подобно другим французским историкам, Элен Каррер д' Анкосс критически относится к тому, что предложено было России на этапе перестройки западными странами. Этот путь навстречу Западу должен учитывать специфику России, прежде всего ее многонаци-

[1] Carrière d'Encausse H. Nicolas II: La transition interrompue. P., Fayard, 1996. (Более близкий перевод подзаголовка – «прерванный переход», «несостоявшийся переход». *Прим. Т.Б.*).

[2] Ibid., P. 16-17.

ональный состав и длительность советского периода, который отметил своей печатью сознание. Начав после книг о Екатерине II и Николае II монографию о царе, чью попытку «вырвать Россию из тисков отсталости» она считает самой успешной, – Александре II, Элен Каррер д'Анкосс как бы завершает свой обзор истории России с точки зрения взаимоотношений с западными странами, корреляции с западными ценностями. Ее книга о Сталине рассматривала период изоляции страны от внешнего мира; все остальные ее исторические биографии концентрировали внимание на моментах «прорыва». И она выражает надежду, что теперь уже России «назад дороги нет»[1] и ничто, никто не прервет ее движение в нужном направлении, несмотря на досадные тупиковые ответвления от основной дороги.

Сквозь призму прошлого, причем именно давнего российского, а не советского, предлагает интерпретировать менталитет современника и автор книги «Цена человеческой жизни в России. 1836–1936» Тристан Ландри[2]. Но он в отличие от Элен Каррер д'Анкосс, именно в «традициях» имперского прошлого России находит корень недуга, поразившего и Россию советскую. Оппонентами Ландри избирает составителей «Черной книги коммунизма»[3]. Именно они объявили насилие неотъемлемым качеством коммунизма (violence immanente au communisme) и любого тоталитаризма. Автор этой книги из своего экскурса в российскую историю делает иные выводы. Нижний рубеж (1836) обозначен произвольно. Но – опять чрезвычайно знаменательно! – пограничными точками выбраны не столько события, сколько... произведения писателей. «Первое философское письмо» Чаадаева для 1836 года; «Как закалялась сталь» Н.Островского для 1936 года. Торжество насилия в СССР, полагает Тристан Ландри, обусловлено «совпадением большевистской идеологии и эстетики социалистического реализма»: ведь в произведениях этого направления «человеческая жизнь обретала смысл только в границах «пользы, которую приносила обществу»[4]. Она являла собой лишь функцию ради достижения «великой» цели. Впрочем, надо помнить, что даже на ранних этапах

---

1 Назад дороги нет. Интервью, взятое Александром Бангерским для газеты «Московские новости», 2007, 2-8 ноября.

2 *Landry T.* La valeur de la vie humaine en Russie. 1836–1936. P., 2001.

3 Livre noir du communisme : crimes, terreur, repressions. P., Robert Laffont, 1997.

4 *Landry T.* Op.cit. P. 77.

развития марксистской идеологии, когда еще грезились радужные революционные перспективы, ради которых стоило «жертвовать», находились умы, пытавшиеся остановить движение общественного сознания к оправданию любых жертв во имя цели (позиция Анатолия Луначарского, Александра Богданова). После стольких лет «большого террора» стало уже окончательно ясно, что результаты социального развития ни в малейшей степени не могут компенсировать гибель миллионов и среди них таких ярких личностей, которые действительно могли бы принести немало пользы своему отечеству. Своеобразная стратегия приближения «конца мира», когда человеческая жизнь теряет всякую ценность, восторжествовала в советские времена именно потому, – по мнению Тристана Ландри, – что имела глубокие исторические корни.

Анализируя этап советского прошлого, авторы ряда эссе обращают внимание на то, что идеи социализма быстро подверглись девальвации, происходила мутация, которая предопределила с одной стороны быстрое крушение «коммунистической державы», а с другой – подготовила сознание к примирению с торжеством коррупции и беззакония.

Следует учитывать, что ряд суждений, появившихся в постперестроечный период, звучал достаточно отчетливо еще во времена так называемого «застоя». Ведь канун 1985 года отражал борьбу антагонистичных сил и в кругах власти, неявную, но отражавшуюся на общей культурной ситуации. Именно в эти годы стали легко, без протестов со стороны издателей и цензуры, появляться переводы зарубежных авторов, чьи имена еще недавно были под строгим запретом. Автор книги «Современное советское общество» (1977) как раз обращал внимание на «благоприятную» для культуры двойственность так называемой «культурной политики»: «Установился определенный компромисс между полнотой индивидуального выражения и социальным кодом»[1], потому что «код» этот зыбок и «политика власти по отношению к литературе или искусству менялась прямо по ходу дела, будучи сама по себе весьма противоречива». Кстати, близкую характеристику последним годам «застоя» давал и Антуан Витез в упоминаемой ниже главе его книги о русском театре: он демонстрировал, что грань между позициями диссидентов и некоторых партийных

[1] *Kerbay B.* Société soviétique contemporaine. P., Arman Collin, 1977, P. 280, 282.

деятелей, помогавших либерализации культуры, была весьма зыбкой. Базиль Кербе анализирует не просто конфликт «власть/общество», но перерождение, мутацию самого общества. Его уже трудно назвать советским, так как заданные когда-то цели отодвинуты, забыты, им никто не придает значения. Алексис Берелович тоже выделяет в культуре пред-перестроечных лет некую «серую зону», находящуюся меж официозом и диссидентством. В каком-то смысле то был, по его мнению, краткий момент «идеального» для культуры состояния – уже свободная, но еще финансируемая государством. Внутренний отказ от «советских ценностей» был так глубок, что вполне объясним быстрый развал коммунистического порядка и распада СССР – в сознании homo sovieticus ничего, собственно, советского не осталось. Кстати, заглавие книги Эмманюэля Тодда, «La chute finale» (1977) тоже весьма характерно. Строка Интернационала «C'est la lutte finale» – «последний и решительный бой» – заменена на «chute finale» последнее, то есть окончательное поражение: автор пишет о разложении не советского режима, а «советской сферы», иначе говоря всей системы идеалов и понятий, составляющих смысл слова «советский». Ту же мысль развивает Эм. Тодд в своей книге, названной «Изобретение Европы» (Invention de l'Europe, 1990).

От периода «застоя» к периоду пост-перестройки невозможность понять и объяснить происходящее в России декларируется все настойчивее.

Смешение всех критериев, пассивный отказ от «выбора» и интеллектуальную апатию подчеркнуто демонстрирует книга Анны Нива, которая провела анкетное «обследование» дома на Котельнической набережной. Книга называется «Высотный дом. Русские сегодня»[1]; автор беспристрастно записывает суждения квартиросъемщиков о новых, перестроечных и постперестроечных временах. Так сложилось, что состав поселившихся здесь имеет глубокий внутренний контраст: с одной стороны квартиры тех, кто составлял основу именно советского строя; с другой – писателей, актеров, художников, открыто оппозиционных к этому же строю. Конечно, десятилетия между датой заселения дома и временем написания книги смазали контраст – беседу с Анной Нива ведут иногда уже дети или внуки прежних «столпов» режима. Различия в оценках новой ситуации, конечно, выявляются, но и внук Дзержинского, и семья Василия Аксенова возмущаются кор-

[1] *Nivat A.* La Maison haute (Des russes d'aujourd'hui) P., Fayard, 2002.

рупцией, уличным бандитизмом. Только если Феликс Дзержинский (носит имя деда) уверен, что следует вернуться к тем формам беспощадной борьбы с бандитами, которые существовали в 1920-1930-е годы, то другие соседи полагают, что возвращение некоторых примет атмосферы прежних десятилетий, бесправие перед законом создают не меньшую угрозу, чем бандитизм на улицах.

Анна Нива не услышала беспощадных инвектив в адрес России – ни сегодняшней, ни советской. В беседах-интервью соблюдался определенный баланс (политкорректность?) между критикой негативных тенденций и аргументацией права России выбрать свой, особый, путь. «Говорили с любовью о своем доме и своей стране. Даже, если в сердце некоторых любовь давно превратилась в ненависть. Без иллюзий, скорее циничные, – как кажется Анне Нива, – они и есть образ страны – распятые двумя реальностями – советской, еще их не покинувшей, и нынешней, пост-коммунистической, не поддающейся пониманию Запада, настолько она зыбка, вне любых определений»[1]. Анализ Анны Нива подтверждает, что в сознании, как ее коллег на Западе, так и российской интеллигенции, произошла не смена угла зрения, не замещение одного образа другим, а их наслоение, мешающее отграничить отвергаемое от принимаемого.

Споры о соотношении (или слиянии) уходящей в прошлое национальной традиции и укрепившейся советской шли еще задолго до перестройки. В них принял, например, участие известный режиссер Антуан Витез, поставивший в своем театре и «Баню» Маяковского, и «Цаплю» Аксенова, и спектакль по поэтическим текстам Геннадия Айги. В главах, посвященных России, своей книги «Заметки о театре» (1998) он пытался прояснить для себя вопрос, насколько тесно связан феномен советского менталитета с менталитетом русским, сформированным давным-давно. «Каждый, кто интересуется Советским Союзом, его судьбой, судьбой коммунистического движения в связи с нашей историй, не может избежать раздражающей альтернативы: что там главное, русская древность или социалистические перемены? «*Все как раньше*», говорят одни; «*все изменилось*» (курсив авт.), говорят другие. <...> Я долго думал, что *все как раньше*, просто продолжение русской империи: КГБ – сын охранки, а идеология не более, чем предлог. <...> Конечно, в отчаянии, в одиночестве ты держишься за нити, связывающие тебя с родиной, с религией отцов, с зеленым садом, цен-

[1] Ibid., P. 192, 303-304.

ностями, спасенными в дни катастрофы для лучших времен. Но мне недостаточно тех ценностей, я упрям, лучшие времена не наступят, пока мы полностью не поймем, что происходит там»[1]. Витез старался уловить, что же «происходит там», читая русские романы, ставя русские пьесы, и признается, что за образом «врага, грубого, властного, безграмотного я вижу Россию, которую люблю – отбросившую иконы религиозного или политического культа, Россию атеистическую, мирскую, демократическую, открытую всему миру. Она существует, хотя *пока не у власти (курсив Т.Б.);* западный мир не говорит о ней (потому что мистицизм больше подходит к затверженным истинам), но она существует, она упорно идет вперед, подавая пример»[2]. И вот Россия, которую с надеждой стремился разглядеть Антуан Витез, пришла как будто к власти. Но оказалось, что на пути к власти она преобразилась и далека от представления, которое возникало в сознании ее истинных друзей: вокруг атеизма или религиозности идут ожесточенные споры; демократия изуродована диким социальным неравенством, открытость миру то и дело ставится под сомнение вспышками национализма. Размышления о росте национализма в России часто включаются французскими социологами в общую картину национальных конфликтов в мире, а в некоторых книгах – у Цветана Тодорова, например, – «русский национальный вопрос» соотнесен с попыткой дать определение самому понятию «нация» и выработать стратегию, которая вела бы к сотрудничеству, а не размежеванию.

Целесообразно проследить, как развивается мысль в книге Цветана Тодорова «Мы и другие»[3]. Исследователь просматривает всю шкалу оценок этой проблемы «мы и другие» начиная от Монтеня и завершая Леви Строссом, включив в эту орбиту и современных путешественников – Антонена Арто, Ролана Барта, Виктора Сегалена и др. Подводя последней главой своеобразный итог и отдавая предпочтение выводам, которые не получены готовыми, а формируются в диалоге, в обмене мнениями, пристрастиями, Тодоров стремится проклассифицировать принципы по которым образуются группы, ощущающие себя «мы» по отношению к «другим». Он подчеркивает,

---

1 *Vitez A.* Russie. // Vitez A. Ecrits sur le théâtre, P.,1998, P. 212. (Этюд «Россия», опубликованный в этой книге, датирован 1984 годом.)

2 Ibid. C. 215.

3 *Todorov Tz.* Nous et les autres . La réflexion française sur la diversité humaine. P., Seuil, 1989.

что предпочтение, отдаваемое своему ребенку, своей семье, своему городу, еще не несет в себе никакой вины, оно естественно, но к этой естественной симпатии не должно добавляться чувство вражды: «Открытость по отношению к другим, отказ осудить их раньше всякого анализа и обретения опыта – такая позиция говорит о высоких душевных качествах»[1]. Наиболее «опасное» групповое деление – на нации – Тодоров поворачивает двумя разными гранями. Нация часто идентифицируется с расой, с родством по крови и в этом случае, как метафорически заключает автор, «за живых решают мертвые», то есть все предопределено цепочкой предков. Другое понимание нации – результат своеобразного контракта между жителями, например, одной страны при множестве смешанных рас. Эти интерпретации в теоретическом (и практическом) плане имеют много противоречий. Преодолеть их помогает, по мнению Цветана Тодорова, восприятие нации как *культурной* (курсив авт.) общности. Последняя так или иначе соотносится и с традициями «предков», и с современным общественным устройством страны, местом проживания, географическими условиями, образованием и т.п., соединяя в себе как бы обе изначальные интерпретации («раса», «контракт»). Характеризуя весьма негативно этноцентризм, Тодоров считает куда более опасным «наукоцентризм». Автор имеет ввиду псевдо научные теории (марксизм, фашистская идеология), которые проводили демаркационные линии, избирая критерием идеологию, представляя ее в качестве единственно «научной», единственно правильной. Как это свойственно многим зарубежным исследованиям обобщающего теоретического порядка, книга Тодорова тоже вовлекает в орбиту рассуждений опыт Советского Союза и России. И также, как бывает в других книгах, в книге Тодорова связь между «русской нацией» и социальным режимом страны Советов обретает гиперболическое искажение. Едва ли правомерно полагать, как это получается у Тодорова, что «на определенном отрезке русской или германской истории концентрационные лагеря принадлежат национальной традиции»[2]. Кстати, подобные парадоксы имагологии часто имеют источником «нестыковку» различных типов сознания, определяемых многовековым историческим опытом. Именно об этом писал Иосиф Бродский, объясняя, почему столь мучительно создавал он книгу воспоминаний в англоязычном варианте: «У меня, по край-

[1] Ibid. P. 422.

[2] Ibid. P. 427.

ней мере, такое впечатление, что все пережитое в русском пространстве, даже будучи отображено с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности никакого заметного отпечатка. Конечно, память одной цивилизации не может – и, наверное, не должна – стать памятью другой. Но когда опыт языка отказывается воспроизвести негативные реалии другой культуры, тут возникают тавтологии наихудшего свойства. <...> Я не обвиняю английский язык в бессилии; не сетую я и на дремотное состояние души населения, на нем говорящего. Я всего лишь сожалею о том, что столь развитым понятиям о зле, каковыми обладают русские, заказан вход в иноязычное сознание по причине извилистого синтаксиса»[1].

Ц. Тодоров, сам попадая в такой капкан «разночтения», пытается, тем не менее – на теоретическом уровне – найти общий знаменатель восприятия. Описывая преимущества и издержки «универсализма» (один из терминов, адекватных «глобализму»), Тодоров предлагает в качестве критерия применять «критический гуманизм», который позволил бы любому индивидууму, не отвергая полностью ценностей «своей группы», уметь от них отстраняться («вырываться» – термин Тодорова – *Прим. Т.Б.*), приближаясь к пониманию ценностей другой «группы». В этом случае, как надеется Тодоров, универсализм был бы защищен от сползания и к этноцентризму, и к идеологическому псевдо-научному «центризму».

Книга, вышедшая несколько лет спустя, посвящена уже специально проблеме национализма в России. Она названа – «Русский вопрос. Заметки о русском национализме» (1992). К современности обращены как минимум две главы – глава Александра Буйместера («Русскость и русофобия») и большая вводная статья Жоржа Нива («Национальность и русский национализм»). Позиции Жоржа Нива и А. Буйместера открывают значительные «разночтения». А. Буйместер сосредоточен на негативных явлениях последних лет, напрямик связывает с оголтелым национализмом и эссеистику Солженицына, и ряд иных литературных текстов, подчеркивая, что почти в каждом случае в процессе определения «русскости» возникает опасность грубой русофобии, «русскость» сама заряжена многочисленными фобиями. Подход к этой проблеме Жоржа Нива отличается взвешенностью и стремлением к максимальной объективности. Ему удается предложить

[1] *Бродский И.* Сочинения. Екатеринбург , У-Фактория, 2003. С.724-725.

исторический ракурс изменчивости понятий патриотизма и нации. Обращаясь ко времени споров западников со славянофилами, Жорж Нива заставляет поверить, что обе оппозиционные друг другу группы старались преодолеть националистические взгляды. Первые – во имя соблюдения прав человека; вторые – во имя христианских идеалов. В понимании Франции и иных западных стран нация – это (вспомним рассуждения Цветана Тодорова) всегда некий договор свободных граждан; для России это чаще общество православных христиан с оттенком мессианства. Но несмотря на это изначальное различие в царской России сохранялась толерантность по отношению, например, к исламу (она была, по мнению Жоржа Нива, куда определеннее, чем по отношению к католицизму) и «максимальная открытость ко всему западному». Недоверию к самому понятию патриотизма (часто сопрягаемому с национализмом) способствовала и влиятельность идей толстовства – непротивления злу насилием. Положение изменилось, как считает Жорж Нива, только в дни Первой мировой войны и ненадолго, так как интернационалистский дух лозунгов большевиков скоро вывел из употребления в официальных документах вообще слово «русский». Успех ленинской национальной политики (без принудительной русификации) был сведен на нет в эпоху сталинизма, когда вехи и фигуры русской истории стали использоваться для возвеличивания «отца всех народов», годы Отечественной войны ознаменовались высылкой вглубь страны народов, которым было оказано «недоверие», а вскоре после победы начались преследования граждан еврейской национальности. Рассматривая вспышки национализма в годы перестройки (общество «Память»), Жорж Нива не считает нужным придавать большого значения «оживлению этих давних дьявольских искушений». Определенных националистических тенденций в народе, по мнению Жоржа Нива, нет, да и вообще «русская нация и по сей день не имеет завершенного портрета, поскольку долго носила одежды, которые были ей великоваты, одежды имперские и ей пока трудно найти себя самое». Вину за это Жорж Нива возлагает и на неясную политику правительства: ведь «работа сочувствия и покаяния <...> не проделана. В России не реализована задача, которую выполнила Германия – задача денацификации сознания и социального организма»[1].

[1] *Nivat G.* Nationalité et nationalisme russe // La question russe. Essais sur le nationalisme russe. Sous la direction de Michel Niqueux P., 1992. P. 11- 13.

Увлеченно размышляет о национальных особенностях, контрастах и романист, эссеист Доминик Фернандес, неутомимый путешественник, посвятивший России несколько книг[1]. Его внимание к России объяснено так: «Меня всегда гипнотизировали встречи между культурами» (интервью журналу «Opinions»). Что же побуждает Фернандеса «обожать» (его термин) Россию? Основной позитивный мотив – «русские не материалисты. Деньги тратят, но не копят... <...> Притягательная страна. Страна неисчерпанных еще моральных, духовных ресурсов, полностью утраченных на Западе». Парадоксально объясняет Фернандес привычку русских все время переписывать свою историю («Прошлое здесь всегда непредсказуемо»). Фернандес в качестве шутливого объяснения предлагает увидеть связь с русской грамматикой: «Для русских прошлое не имеет большого значения. У них для всех вариантов прошлого лишь одна глагольная форма»[2]. Это слишком однообразно, вот русские и придумывают себе a posteriori все новые и новые лики прошлого.

Конечно, в подобных подходах мало научного, интуиция и игра парадоксами превалирует, но «образ России» вообще часто выстраивается по законам алогичным, демонстрируя субъективизм интерпретации. Именно так можно рассматривать книгу «Трибунал чести», принадлежащую перу Доминика Фернандеса, решившего сквозь призму судьбы композитора Чайковского увидеть русский характер. В этой книге, как и в книге о творчестве Сергея Эйзенштейна, Фернандес делает стержневой сексуальную ориентацию художника, приходя к совершенно неожиданным парадоксальным выводам. Описывая благожелательную атмосферу, которая окружала Чайковского, его многочисленных поклонниц (в том числе знаменитую артистку балета Матильду Кшесинскую), корректность друзей, мудрую терпимость царя, Доминик Фернандес предлагает взять Россию в этом отношении за образец: «Это в стране Мольера все надеются изменить человеческую природу, а в России ее принимают такой, как есть – главное обеспечить художнику наилучшие условия для творчества». Таким образом, суд над Чайковским воспринимается как противоречащий

[1] Un héros de notre temps. Précédé de «Michel Lermontov». P., 1976; Les enfants de Gogol., P., 1971; Eisenstein., P., 1987, 1996; La magie blanche de Saint-Petersbourg., P., 1994; Nicolas., P., 1999.

[2] Ce que les russes ont à dire à un écrivain français aujourd'hui. (Лекция, прочитанная в Москве 28 ноября 2000 года. М., Издание Французского культурного Центра, 2000, С. 11-12).

русской терпимости, как резкий контраст континентального климата, обозначенный метафорой: «Подлинное русское чудо – этот переход от полярной зимы к яркому итальянскому небу»[1]. Именно постижение этих контрастов и считает Доминик Фернандес самым важным при посещении России. О психологических контрастах, которые открывает Россия, говорил Фернандес и в своем докладе, прочитанном в Москве в 2000 году – «Что могут сказать русские сегодня французскому писателю» (Ce que les Ruisses ont à dire à un écrivain français d'aujourd'hui 2000).

Идя наперекор часто демонстрируемой тенденции увязывать нынешний день России с ее историческим прошлым, ряд авторов, напротив, настаивает на полном разъединении понятий «русский» и «коммунизм». Так в коллективном труде «Пост-коммунистическая Европа» это сопротивление проявляется в нескольких работах, в частности, в статье редактора издания Доминика Кола и в статье Жоржа Минка, рисующего абрис пост-коммунистического общества. Доминик Кола проводит параллели между схожими ситуациями в разных «социалистических» странах и приходит к выводу, что национальных черт такой социализм не имел; следовательно абрис коммунистической формации не следует связывать с понятием «русский». Жорж Минк в своей работе тоже решительно возражает против привычки большинства исследователей «крутиться» (его термин – *прим. Т.Б.)* вокруг прошлого России, не вникая в новизну новых общественных отношений. Впрочем, их новизну он определяет (вслед за другими своими коллегами) как «соединение элементов разрыва и наследования при отсутствии определенных оппозиций между прежним общественным организмом и нынешним»[2].

Пожалуй, к несогласию мотивировать все (и быстроту крушения коммунистического режима, и неудачи перестройки) спецификой истории присоединяются авторы, детально разбирающие, какую роль в осуществлении (или крушении) планов перестройки играли западные страны.

Можно без преувеличения сказать, что признание «вины Запада» в трудностях реализации проектов перестройки появляется в качестве аргумента в большинстве материалов (если иметь ввиду достаточно объективные материалы), анализирующих крушение плана перехода

---

1 *Fernandez D.* Le Tribunal d'honneur P., 1996, P. 58, 54.

2 *Mink G.* La société post-communiste. Théories et données sociales. // L'Europe post-communiste P., 2002, P. 459.

к демократическому обществу всеобщего достатка. Парадокс обманутых ожиданий заострен в результате того, что от России ждут не просто повторения путей, например, Франции, но серьезной их корректировки. «Говорят, им надо учиться свободе, – иронично пишет один из молодых исследователей, – и добавляет: « Хранит их бог от наших свобод!»[1]. Социологи и писатели Франции пытаются вычленить «западную» составляющую – те советы или условия, которые выдвигают коллективные организации европейских стран, чтобы понять, чем они помогают и чем мешают России.

Специальный номер журнала «Геоэкономика», посвященный теме «Куда идет Россия?» (2000, № 13 *Où va la Russie?)* приходит к выводу, что после краткого периода надежды Россия возвращается к состоянию фрустрации (вину за это авторы также возлагают и на политику западных стран в отношении России), причем на этот раз (в отличие от перестроечных лет) выход из трудной ситуации представляется все более проблематичным.

Развернуто формулирует мысль о вине Запада государственный деятель Франции Константин Мельник: «Запад вместо того, чтобы помогать России как помогали США Европе после Второй мировой войны, навязал России ультралиберальную политику дикого капитализма»[2]. Известный славист Жорж Нива именно этот «дикий капитализм», очевидно, имеет ввиду, когда пишет (в двух своих книгах о посещении России за последние годы) о необходимости обозначить свое несогласие со многими предложениями общеевропейских организаций. Ошибкам в помощи России со стороны Запада, по сути, специально посвящена книга Лоры Делькур «Политика европейского сообщества в отношении России». Автор отмечает разрыв между быстротой принятия срочных мер и медлительностью в выработке общей долговременной стратегии: «Европейское сообщество не готово к сотрудничеству с распавшимся Советским Союзом. <...> Европа сообщающихся сосудов не наметила никаких определенных целей».[3]

Еще до начала перестройки резко критические, предвзятые оценки «застойной» России встречали возражения французских же кол-

---

1 *Chambaz Ch.* De l'Est, de la peste et du reste. P., 1993, P. 306.

2 «Международная жизнь» 2000, № 6. С.55.

3 *Delcour L.* La Politique de l'Union européenne en Russie P., 2001, P. 269, 275.

лег: чтобы убедительно возражать противнику, требуется корректная точность, без размашистых огульных обобщений. В этом отношении показательна книга Жана Сарра «Железный занавес на Бульваре Сен-Мишель»[1]. Автор приводил, например, многочисленные цитаты из прессы 1981 года, построенные таким образом, чтобы убедить читателя, будто советские войска в Польшу были введены, а Ярузельский полностью подчинился советскому командованию. Тяжелый компромисс, на который пошел тогда Ярузельский, чтобы как раз не допустить перехода советской армии через границы Польши, не пытались даже анализировать. Прямая ложь сопрягалась с отказом исследовать ситуацию. Приводит автор и примеры иронических сообщений французской прессы по поводу полета первого французского космонавта на российском корабле, так что научная новизна программы осталась полностью сокрытой, а участие Франции в ней приравнивалось едва ли не к коллаборационизму лет Второй мировой войны: «Вот тебе и сотрудничество, которое состоит в том, чтобы выпросить у одной из самых насильственных («оппрессивных») диктатур планеты местечко на орбите»[2].

Составив свою книгу, по сути, из таких вот журналистских казусов, Жан Сара и считает себя в праве назвать книгу так, как он ее назвал: железный занавес, не дающий возможности видеть всю картину происходящего, опускают не только «с той стороны», но с этой, западной, преследуя во многом те же цели.

Во Франции последних лет (в отличие от США) исследователи стараются разобраться в запутанных отношениях России и Запада, отмечая, что, стараясь попасть в фарватер западной общественной модели (и экономики в том числе) правящие круги России переносят на ее почву (либо извне ей навязывают) и то, что переносить не следует. Мотивация несогласия с таким «переносом» вполне ясна: не потому что «славянская» составляющая к этому не готова или вообще никогда не сможет воспринять демократию; скорее потому, что и для Запада многие из тенденций, перенимаемых Россией, вовсе не благо: с ними и там французская интеллигенция старается бороться.

В сфере культуры такие «ненужные» заимствования западных штампов отмечают с горечью и Алексис Берелович, и Шарль Шамбаз,

---

[1] Jean Sarat Rideau de fer sur le Boul'Mich., P., 1985.

[2] Автор ссылается на статью под заглавием «Жан-Лу Кретьен заработал себе на орбиту» из газеты «Либерасьон» 1982, 25 июня.

посвятивший этому свою книгу «Восток, чума и все прочее»[1]. Шарль Шамбаз в ходе анализа «новой» массовой культуры обращает острие критики к деятелям культуры России, которые принимают за новизну банальное западное чтиво или фильмы «черной серии».

С какой бы стороны ни подойти к необходимости выработать иные методы заимствования западного опыта (критикуя европейское сообщество за непонимание ситуации в России, или критикуя российскую сторону за неразборчивость в восприятии чужого), тема выбора, отбора, *отстранения* ради более гармоничного вхождения России в объединенную Европу звучит в большинстве исследований и писательских эссе.

Исторические параллели почти всегда сопрягались в трудах зарубежных ученых с параллелями литературными. Об исторических событиях часто судили по их отражению в литературных произведениях (как, впрочем и в России нашествие Наполеона видится сквозь призму романа «Война и мир»), а главное, в скрещении сюжетов и художественных образов старались понять, раскрыть настроение личности и настроение общества, угадать идеал, к которому стремилась та, давняя, Россия. Русская классика всегда была благодатной почвой, на которой вырастали серьезные и вполне оригинальные обобщения. Последние двадцать лет изучение русской классики продолжалось во Франции с не меньшим энтузиазмом, чем ранее, а подтекстом часто оказывалась реальность современной России (например, многочисленные театральные постановки пьес Чехова на французских сценах за последние годы; или новый подход к наследию Достоевского в книгах такого видного слависта Франции как Жак Катто). Не касаясь интерпретации произведений современной российской литературы и не пытаясь представить противоречивую картину описания французскими литературоведами советского периода, целесообразно посмотреть, как читается сегодня русская классика прошлых веков, в каком ракурсе предстают неожиданные аспекты прошлого, не попадавшие в поле зрения ранее. В интерпретации зарубежных культурологов будущее современной России и прошлое ее культуры соединяются почти мистическими нитями. Один из государственных деятелей Франции высказал предположение, что именно Россия могла бы указать в нынешнюю эпоху «третий путь», избежав крайностей капитализма

[1] *Chambaz Ch.* De l'Est, de la peste et du reste. P., 1993: Во французском оригинале рифмующиеся слова заглавия создают иронический эффект.

и коммунизма, но именно «опираясь на свои традиции, огромную территорию, природные богатства и, *на свою ни с чем не сравнимую культуру*» (*Курсив – Т.Б.*). Так, довольно неожиданно, – надежда, что Россия все-таки выберется из противоречий, ее опутавших, тоже возлагается в значительной мере на культуру, на сам факт существования русской классической литературы.

4. Перечитывая русскую классику

На парижском книжном салоне весной 2005 года Россия была почетным гостем. Выпущенная к этому событию книга содержит обширную библиографию переводов с русского и критических изданий почти за полвека. Из обобщающих этюдов наиболее глубокий характер имеет эссэ Никиты Струве, которому принадлежит пальма первенства в публикации основного массива русской поэзии и прозы за многие десятилетия, с момента создания им издательства Ymca-Presse. Мнению ученого, владеющего солидной «личной» базой для сопоставления восприятия русской литературы на разных этапах, стоит, очевидно, доверять: Никита Струве, обращая взор к российской литературной продукции последнего времени, приходит к выводу, что для Франции «Россия утратила своеобразие, она уже не объект постоянного внимания или борьбы мнений, как это было в течение трех десятилетий холодной войны»; однако, при этом, интерес к русской классике даже возрастает – в частности Comédie Française «впервые начала ставить Островского, русского драматурга XIX века, практически неизвестного французской публике»[1]. Ту же неравномерность интереса отмечают в своей совместной статье Ирина Сокологорская и Ришар Руа, которые, перечисляя многочисленные переводы русских книг 1990-х годов, замечают: «Тем не менее, складывается общее впечатление, что литература 1990-х годов по-настоящему не проникает во французское культурное пространство <...> Можно лишь констатировать, что в глазах большинства просвещенных читателей Россия остается, прежде всего, страной великих классических романистов и известного числа поэтов»[2].

Как можно видеть из многих российских публикаций (См., например, работы К. Резника и И. Волгина в рамках Проекта РГНФ «Образ

[1] France-Russie, Salon du Livre, P., 2005, P. 36.

[2] Ibid. P. 84.

России в национальном самосознании: исторический и современный контекст»), в США «перечитывание» русской классики чаще оборачивается политической атакой; властители умов – Пушкин, Лермонтов, Толстой – объявлены вдохновителями русского империализма, носителями имперского сознания, этики насилия.

Таким образом, прежнее представление о русской литературе, как носительнице гуманного отношения к человеку вывернуто наизнанку, а обаяние положительных героев (например, в «Войне и мире») трактуется как мимикрия, призванная затушевать инстинкт захватчика.

Во Франции «покушения» подобного свойства редки, хотя включение концентрационных лагерей в сферу традиции национальной жизни (как в анализируемой выше работе Цветана Тодорова) соприкасается с «открытиями» американских славистов. Общая тенденция возвращения к русской классике и ее переосмысления во Франции имеет свои параметры. Для французских литературоведов, перечитывающих русскую классику сегодня, характерно, напротив, отношение к ней, как к своеобразному маяку, помогающему найти верный путь даже в кромешной тьме, нравственному ориентиру, необходимому сегодня еще больше, чем вчера. Речь идет не только о «целенаправленном переиздании классиков»[1], но и – что не менее существенно – о новом их осмыслении. Почти все переиздания снабжены специально для них подготовленными предисловиями и комментариями, которые в известной мере отражают стремление «перечитать» русскую классику, соотнося поднимаемые там вопросы с российскими событиями самого последнего времени.

Центром притяжения остается имя Достоевского, которого на этом этапе стремятся понять, привлекая недоступные ранее материалы, не столько через психологию созданных им персонажей, сколько с максимальным приближением непосредственно к личности художника, находящей противоречивое отражение в его статьях, дневниках, переписке. В 1988 году на родине Достоевского завершен выпуск пяти томов его писем. Спустя десять лет в Париже начали выходить тома переводов (с 1996 по 2003 год изданы все письма в трех томах). Французы-энтузиасты не только перевели, издали этот массив, но и сопроводили его предисловиями и обстоятельным научным аппара-

[1] Ibid., P. 84.

том. Издание французского варианта переписки составил авторитетный специалист по творчеству Достоевского Жак Катто.

Первая книга Жака Катто («La création littéraire chez Dostoievski» на основе докторской диссертации), увидевшая свет в 1978 году, была удостоена сразу четырех знаков отличия различных научных организаций – бронзовой медали Национального центра научных исследований (CNRS); Большой премии литературной критики; Премии Французской Академии (по специальности «литературоведение», Fondation Bordin) и премии Ассоциации психологов, отметивших подлинно научный подход ученого к исследованию изменчивых «состояний души» героев Достоевского и психологических мотиваций кропотливой работы русского писателя над своими произведениями – от черновика к изданному варианту. (Ж.Катто опирался на анализ рукописных материалов Архива Достоевского.)

Уже тогда, в 1978 году, французский ученый четко определил свою позицию по отношению к тем общественным проблемам, которые беспокоили русского писателя, и выразил полное согласие (подкрепленное собственными наблюдениями) с его оценкой разрушительных перспектив приложения социалистических утопий. «У капитализма и социализма – общий бог – *материальность*; общая пружина действий – личный *интерес* (*курсив автора*) – будь то одинокий хищник или «стадо»; одинаковые последствия – у значительной части общества полностью отнята свобода; власть в руках либо Ротшильдов, либо Великих Инквизиторов; оба режима действуют одним и тем же методом: метафизическое, трансцендентное объявлены устаревшими, они принесены в жертву эффективному сциентизму, утилитарности, математическому порядку и экономическому реализму»[1].

«Общее предисловие к Переписке» Жак Катто построил таким образом, что оно обращено к читателю, хорошо знающему художественные тексты русского писателя – французский ученый стремится соотнести «прямые» суждения Достоевского, звучащие в письмах, с тем или иным художественным решением, поворотом сюжета, эволюцией персонажа и т.п. Представляя личность Достоевского во всей сложности его отношений к православию, русскому народу, западной цивилизации, Ж. Катто делает акцент на диалогичности не только произведений Достоевского, но и его собственного сознания; речь писателя

[1] Diagonales dostoevskïennes. Textes réunis par Marie-Aude Albert, P. Presses de l'UNIVERSITé de Paris-Sorbonne, 2002, P. 72.

почти всегда исповедальна, но это исповедь мучительно ищущего человека, исповедь, не имеющая абриса проповеди. Обращаясь к адресату, Достоевский обращается одновременно к самому себе, меняет логику мысли, уточняет ее, делится сомнениями.

В коллективном труде «Диагонали Достоевского» (выпущенном к юбилею научной деятельности Жака Катто) сделана интересная, хотя, быть может, излишне настойчивая попытка оспорить (или хотя бы смягчить) мнение о принципиальной отстраненности Достоевского от ценностей западной цивилизации, прочертить, «укрупнить» признаки его интереса к новейшим течениям западного искусства. В этом смысл статей Мари-Од Альбер («Полвека с Достоевским. Максимилиан Волошин»), Жан-Клода Ланна («Будетлянское прочтение Ф.М. Достоевского: Хлебников и достоевскография») и – особенно – Рудольфа Нейхаузера («Олимпиа и Олимпиада: Федор Достоевский и Эдуард Мане»).

Мари-Од Альбер, цитируя то Достоевского, то Волошина, с таким же опасением относившегося к перспективе революционных перемен, развивает свои собственные идеи о своеобразии исторических судеб России. Центром ее статьи является как бы сон Раскольникова – именно здесь, по мнению М-О Альбер, отчетливо предстают самые опасные персонажи истории – «до такой степени инфицированные (enragés) идеей истины и справедливости, что яростно уничтожают друг друга во имя единственной истины и единственной справедливости», которую только они воплощают. Достоевский, по выражению автора статьи, – предает проклятию «дьявольскую разрушительную силу, которую сегодня мы называем идеологией, анализируя нравственный и психологический кризис, завершающийся, как правило, революцией и гражданской войной»[1]. Прямое соединение здесь понятия «идеология» с понятиями «разрушение», «распад», «насилие» не вполне корректно, но поскольку автор имеет ввиду определенную идеологию, то его умозаключения не противоречат «прочтению» Достоевского российскими учеными.

Рассматривая эволюцию взглядов Волошина, свидетеля буйства дьявольских сил, предсказанного Достоевским, Мари-Од Альбер подчеркивает, что для Волошина (и она с этим вполне согласна) революция – не столько политический кризис, сколько кризис психологический, «крах понятия справедливости», крах совести, подсказы-

[1] Ibid. P. 65.

вающей, «что каждый / за всех во всем / пред всеми виноват». Общей для Мари-Од Альбер и Волошина является и следующая мысль: «Общество, выстроенное по социалистическим лекалам, не менее эгоистично, чем капиталистическое», а если привести, как это делает Мари-Од Альбер, пророчество Волошина, то даже намного опаснее. Тоталитарное общество удобно «тем, кто не привык разговаривать со своей душой; тому же, кто живет интенсивной внутренней жизнью, будет очень тяжело»[1]. Вслед за Достоевским и Волошиным Мари-Од Альбер предвидит возрождение России – после всех революционных мук: «Так семя, дабы прорасти /Должно истлеть/ Истлей, Россия // И царством духа расцвети!» (стихотворение Волошина «Преосуществление», 17 января 1918 г.). Основой для надежды являются как бы вечные качества русского характера: совестливость (conscience morale) и «покаянный дар» (propension à repentir) – так прочитано автором статьи стихотворение Волошина «Россия»).

По ходу этого анализа появляется и дополнительный оттенок веры в силу и благородство русского характера: утверждение мессианской роли России, которой предстоит распространить христианские ценности далеко за свои границы и тем самым спасти погрязший в безбожии мир. Как ни парадоксально это соединение, идея мессианства сопрягается автором с «западным» вектором интересов Достоевского. Вспоминая фразу Достоевского о «питательных лучах»[2] , которые излучала культура Европы в прошлом, Мари-Од Альбер полагает, что эта «приязнь» не менее значима для взглядов Достоевского, чем его осуждение революционного насилия. И выражает сожаление, что вскоре «Россия, презрев совет Достоевского, решительно отгородится от питательных солнечных лучей старой Европы»[3]. А смерть в 1929 году Дягилева, продемонстрировавшего Западу мощь русского искусства, признана почти символической: именно с этого момента Россия начнет отворачиваться от Европы. В рассмотренной выше статье автор лишь мельком касается проблемы «Достоевский и Запад». Другие авторы коллективного труда уделяют этой задаче, напротив, особое внимание.

Так, Рудольф Нейхаузер, автор статьи «Олимпиа и Олимпиада: Федор Достоевский и Эдуард Мане», скрупулезно собирает свиде-

---

1 См.: *Купченко В.П.* «Странствия Волошина. «Подъем», 1992, Воронеж, С.157. (Письмо от 25 января 1918 г.)

2 Diagonales dostoevskïennes, P. 64.

3 Ibid. P. 64.

тельства интереса Достоевского к современным художникам и литераторам («Мадам Бовари» Флобера, «Дама с камелиями» А. Дюма) и находит отзвуки этого интереса в произведениях Достоевского – «Вечном муже», «Униженных и оскорбленных, «Записках из подполья».

«Диалог» Достоевского и Мане представлен Рудольфом Нейхаузером довольно парадоксально: он цитирует резкие суждения Достоевского в адрес Эдуарда Мане, упоминает о его неприятии отдельных аспектов современной живописи, но полагает, что интерес, который Достоевский проявлял к европейской живописи, в известной мере «уравновешивает» или даже «пересиливает» звучавшую критику. Подчеркнув, что Достоевский неплохо знал французский язык и в европейских городах обязательно посещал художественные галереи, автор почти уверен, что все «провокационные» полотна (и «Олимпию», и «Нимфу с сатиром», о которой Достоевский писал; и «Завтрак на траве», и «Современную Олимпию», и серию «Купальщиц» Сезанна) Достоевский видел и находился под сильным впечатлением от увиденного. Автор «Олимпии и Олимпиады» дает понять, что неприятие форм современной живописи при одновременном интересе к ней – своеобразное проявление диалогичности сознания русского писателя. Высказывания Рудольфа Нейхаузера в ряде случаев определенно кажутся основанными скорее на желаниях, чем на фактах, но общую стратегию французских коллег можно понять; их стремление найти в Достоевском (и факты подбираются старательно) личность, которой не чужды их собственные предпочтения, заслуживает уважения и определенно идет вразрез со стратегией американских литературоведов, «перечитывающих» русскую классику ради предвзятой идеологической цели.

Работы, включенные в книгу «Диагонали Достоевского», объективно имеют общую задачу – показывая противоречивость позиции русского писателя по отношению к основным координатам своей эпохи, максимально высветить те моменты, которые его сближают с ценностями западного мира. И даже если путь к этой цели излишне спрямлен исследователями, не всегда дает ощутить иную сторону проблемы, увлеченность, заинтересованность в диалоге с Достоевским, бесспорно, может принести пользу для понимания всей полноты картины.

Избрав противоположную задачу, гораздо легче сделать эту картину совсем одномерной. Так получилось у литературоведа Берна-

ра Крайза[1], подготовившего первое французское издание «Дневника писателя». Соглашаясь, что мысль русского романиста строится на «внутреннем диалоге», Б. Крайз подразумевает, что внутренний оппонент избран Достоевским только ради того, чтобы бороться за свои идеи «с полной несокрушимостью и постоянной озлобленностью»[2]. По мнению Бернара Крайза, позиция Достоевского как раз абсолютно непоколебима, определена раз и навсегда: «Россия должна быть вне торжествующего в остальной Европе капитализма. <...> Достоевский не сомневается: Россия – не Европа и ей там нечего делать <...> Окно в Европу, открытое Петром, давно пора закрыть»[3]. Православие чуждо католицизму еще и потому, – так излагает Крайз мотивацию Достоевского, – что последний связан с идеями социализма, а Россия выбрала «русскую автократию; монархическая Россия под знаменами православия и царя – свободнее любой другой страны в мире»[4].

Рудольф Крайз формулирует, конечно, крайнюю точку зрения, но так или иначе, выход в свет почти одновременно книг, столь явно антагонистичных по своим внутренним задачам, свидетельствует о продолжающейся (и усиливающейся) борьбе вокруг наследия Достоевского: его личность и творчество остаются чрезвычайно актуальными и воспринимаются творческой интеллигенцией Франции не холодно, «со стороны», а весьма эмоционально. Там часто цитируют парадоксальную реплику Поля Леото, писателя первой половины XX века, прославившегося восемнадцатитомным изданием своих Дневников: «Ради собственной интеллектуальной гигиены лучше от Достоевского держаться подальше, не стремиться к знакомству с ним»[5]. Тот же, кто ради той же интеллектуальной гигиены считает, напротив, необходимым пройти через горнило поднятых Достоевским проблем, становится еще более эмоциональным «соучастником», заболевая всем, что мучило русского писателя и от чего надеялся уберечь свой внутренний мир Поль Леото.

Среди участвующих объективно в этой дискуссии можно назвать, например, Пьера Паскаля (книга «Достоевский и Бог», 1995), Фре-

---

1 Fedor Dostoevski Carnets 1872–1881. Traduits et présentés par Bernard Kreise, P., Payot, 2005.

2 Ibid. P. 9.

3 Ibid. P. 10.

4 Ibid P. 10-11.

5 Цит по: *Fedor Dostoevski.* Correspondance V. 1, P., Bartillat, 1998, P. 14.

дерика Буайе (эссе-предисловие «Недоразумение» к книге Пьера Паскаля), придающего первостепенное значение спору Достоевского с излишне оптимистическим пониманием человеческой природы («Этакий невинный, добрый герой от Дон Кихота до Жана Вальжана»[1]), когда черные бездны человеческой души остаются незамеченными. («А в нашем мире и впрямь все происходит и обдумывается как бы посреди бесконечных преступлений, в которых повинны обе враждующие стороны, посреди хоровода вселенских злодеяний, призраков, взаимных обвинений» – констатирует Фредерик Буайе, как бы продолжая мысль Достоевского[2].)

В неутихающей дискуссии принимает участие и Мишель Нике (исследование «Достоевский, русские секты и старообрядцы», 2002), который сосредоточен на выявлении в творчестве Достоевского «поиска путей к единству, к преодолению разрыва между интеллигенцией и народом»[3], между современной цивилизацией и народной культурой.

Среди тех, кто погрузился в творчество Достоевского и пережил настоящее творческое потрясение, надо назвать известного французского романиста Мишеля Дель Кастийо: его художественный текст, озаглавленный «Мой брат идиот» критики определили как «проникновенный дружеский диалог с Достоевским»[4], а сам Мишель Дель Кастийо пытался объяснить таинственный «контакт душ» следующим образом: «Мои странные, родственные – как у близнецов – связи с Федором пронизывают самую ткань моего существования», потому что «поднятые им вопросы, его внутренние муки, его распятая вера отзываются эхом в моих собственных тревогах <...> Мне кажется, я его понимаю, он заражает меня паническим страхом, он увлекает меня своим порывом»[5].

Специфика обращения к творчеству Достоевского на последнем этапе состоит в том, что среди прежних тем, давно привлекавших французскую критику (в том числе и пророчество в «Бесах» о грядущем 1917 годе) акцентируется столь актуальная именно для современной России проблема выбора пути – с учетом позитивного опыта

---

1 *Pascal P.* Dostoievski et Dieu, P. 1995. Préface de F. Boyer P. 19.

2 Ibid., C. 15.

3 Diagonales dostoevskïennes; P. 152.

4 Ibid. P. 42.

5 Ibid. P. 43.

Запада или, напротив, в принципиальном противостоянии ему. Точки зрения формулируются контрастные – во многом в зависимости от того, как самому исследователю видится возможность и целесообразность диалога России с западной Европой.

Сама же тема революции, многосторонне разработанная на материале творчества Достоевского, теперь расширила свои рамки, получив у французских литературоведов за последние десятилетия определенно новые оттенки. Многие творческие судьбы или отдельные произведения русской литературы перечитываются в лучах отношения писателя к революции или революционным преобразованиям.

В критических работах середины века жизнь Советского Союза, отраженная в зеркале литературы, освещалась как продукт искажения целей революции, продукт того социализма, что не обрел человеческого лица. Первое десятилетие XXI века (последовавшее за дискредитацией высоких целей, заявленных перестройкой), все чаще рождает сомнения в целесообразности вообще «резких перемен» и крутых поворотов. Перечитывая русскую классику, французские коллеги хотят заново осмыслить отношение мастеров слова XIX века к феномену по имени «революция».

Наряду с Федором Достоевским предметом анализа – под новым углом зрения – становятся произведения Пушкина – и «Борис Годунов», «первое размышление начинающего поэта о драматических отношениях между народом и властью», и «Капитанская дочка» в сопоставлении с ранее изданной им «Историей пугачевского бунта». Мишель Окутюрье, написав к изданию «Капитанской дочки» 2005 года новое предисловие,[1] предложил поразмышлять, каким же представлялся Пушкину «идеальный» путь Истории. Известно, что фраза Пушкина «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный»[2] осталась в главе, не печатавшейся в авторской редакции «Капитанской дочки». Фрагмент был обнаружен в черновиках с пометкой – «Пропущенная глава». Это могло бы навести на мысль, что Пушкин предпочел отказаться от такого прямого обобщения; если подобная гипотеза имеет под собой основания, то скорее только из-за слова «русский» – любой бунт, любое насилие снизу ли, сверху, все

[1] Pouchkine. La fille du capitaine. Edition présentée et annotée par Michel Aucouturier P., Gallimard, 2005.

[2] *Пушкин А.С.* Сочинения в трех томах, М., Худож. Лит., 1971. Т.3. С.544.

равно – для Пушкина, по мнению автора предисловия, нежелательны. Мишель Окутюрье, сравнивая «Историю пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку», констатирует, что различия в трактовке «бунта» значительны. «Бандиты» в «Истории», «бунтовщики» в повести – это сдвиг к попытке искать мотивацию. Впрочем, и автор «Истории пугачевского бунта» находил вину «местных властей», не сумевших вовремя понять причину нарастающего недовольства. Сама нестабильность ситуации в стране[1] Пушкину видится как «живое» проявление народных чаяний: народ не безмолвствует, в отличие от финала «Бориса Годунова». Последовательно излагая события повести, Окутюрье повторяет, что в ней все оценки «пугачевщины» смягчены, но тем не менее движение вовсе не идеализируется – именно потому, что через казни, виселицы, издевательства (сцены в захваченных Пугачевым городах, крепостях) для Пушкина нет дороги к справедливому мироустройству. Мишель Окутюрье, вступая в прямой спор с советской историографией, окружавшей Пугачева ореолом героя, спасающего русский народ, напоминает, что у Пушкина Пугачев ни в малейшей мере «не является борцом за дело народа»[2]. Пугачев может проявить – в локальном эпизоде или серии эпизодов – расположение к юному дворянину, но такое «добродушие» явно за границами основных нравственных координат: он «изверг, злодей для всех, кроме одного меня»[3] – понимает обласканный Пугачевым Гринев. Автор предисловия считает необходимым отметить, что зверства русских военноначальников показаны Пушкиным тоже без стыдливого флера и именно после этих сцен в «Капитанской дочке» появляется обращение повествователя к читателю: «Как вспомню, что это случилось на моем веку, <...> не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространения правил человеколюбия. Молодой человек, если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят *от улучшения нравов без всяких насильственных потрясений» (курсив автора предисловия)*. Цитирует Мишель Окутюрье и еще одно предостережение Пушкина (тоже не вошедшее в окончательную редакцию повести): «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, – или молоды и не знают нашего народа,

---

1 «Russie apparement soumise, mais souterainement tourbulente» (Pouchkine La fille du capitaine, P. 17).

2 Ibid. P.34

3 *Пушкин А.С.* Указ. соч. Т. 3. С.518.

или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка – копейка»[1]. Историческую панораму века, воссозданную Пушкиным, Мишель Окутюрье соотносит с более поздними «кадрами» революционных движений в русской литературе, подчеркивая, что каждый раз «истинным сюжетом являлась «глубинная Россия, завораживающая тайна русского Сфинкса, к которому обратит свой взор – сквозь снежный вихрь Революции – и другой поэт, Александр Блок»[2]. Называя Блока вслед за Пушкиным, вспоминая «Двенадцать» рядом с «Капитанской дочкой», Окутюрье подчеркивает, что для русского писателя размышления о путях исторических преобразований всегда были болезненными.

Обобщающий итог темы «Пушкин и революция» предлагает юбилейный труд, выпущенный парижским Институтом славянских исследований по случаю 200-летия со дня рождения поэта. Труд, озаглавленный «Универсальность Пушкина» и имеющий посвящение памяти ярких российских пушкинистов – Ефима Эткинда и Вадима Вацуро – готовился под руководством Мишеля Окутюрье и Жана Бонамура на базе материалов коллоквиума, состоявшегося в 1999 году «под почетным патронажем Жака Ширака, Президента Французской республики» – согласно уточнению на титульном листе.

Больше всего шума, когда вышла книга, наделала статья Сержа Ролле: стремясь сбить юбилейный глянец, автор решил представить Пушкина чудаком, который сам рвался к неудачам и конфликтам («Он просто специалист по созданию разных инцидентов»[3] и сам повинен в собственной гибели. Серж Ролле вроде бы пишет о книге известного французского романиста Патрика Бессона, посвященной жизни Пушкина – и появившейся под заглавием «Статуя командора»[4]; однако Серж Ролле, демонстрируя солидарность с абсурдными посылками Патрика Бессона, пытается придать этим обобщениям наукообразный характер.

К счастью, присутствие этой странной статьи в данном коллективном труде не смогло резко снизить его значение: в ряде работ рассматривается взаимодействие пушкинского мировидения с развитием французской культуры (интересна, в частности, статья Леона Робеля

---

1 Там же. С. 544.

2 *Pouchkine A.* Op . cit. P. 37.

3 L'Universalité de Pouchkine. P., Institut des études slaves, P., 2000, P. 243.

4 Год издания – 1988; переиздана в 1990 и в 2008 гг.

«Пушкин в творчестве Арагона»). А главное, мысль, вынесенная в заглавие («Универсальность Пушкина») получила характерное преломление в работе Мишеля Нике «Антиутопизм Пушкина». К ней сходятся нити от разных докладов, прозвучавших на коллоквиуме, так что работу Нике по праву можно считать ключевой; универсальность Пушкина, по мнению французского исследователя, берет начало в широте взгляда на историческое развитие. Поясняя название своей статьи, М. Нике предполагает, что такой ракурс взгляда подведет «к новому прочтению» текстов Пушкина[1]. Антиутопизм, в трактовке Нике, почти идентичен «антиреволюционности», но первое понятие шире: утопия ведет к революции, отнюдь не всегда благотворной, но и для эволюционного развития утопические надежды создают немалые препятствия. Пушкин, питая уважение к мужественным людям, жертвующим собой ради других, придерживается, по мнению Нике, умеренности, «отказывается перескакивать через этапы, что обычно свойственно всем утопистам»[2]. Восхищаясь мужеством Радищева, Пушкин вступает с ним в серьезную полемику, настаивая на том, что без насилия любые реформы будут эффективнее.

Обращение к текстам Пушкина позволяет Мишелю Нике отделить в рассуждениях русского писателя понятие «стабильность» (в записях Пушкина по-французски – stabilité) от понятия «консерватизм». Последнему противостоит у Пушкина термин «progressisme». По разным сочинениям собирает Нике суждения Пушкина о вреде резких преобразований, настойчивых – вопреки всему – действий. Первым безумцем, «порабощенным идеей» (forcené de l'idée), считает М. Нике Германа из «Пиковой дамы». Суммируя выводы, основанные на анализе тех текстовых фрагментов Пушкина, где есть термин «улучшение» (amélioration), М. Нике выражает уверенность, что в лексике Пушкина это понятие противоположно понятиям «насилие», «революция». «Нельзя торопить время», – постоянно напоминает Пушкин[3]. Завершая свой этюд, М. Нике еще раз окидывает взором диапазон антиутопизма Пушкина: «Антиутопия отрицает всесилие человеческой воли, исключает возможность мгновенно изменить ход Истории, перескочив в иную реальность»[4].

---

1 L'Universalité de Pouchkine, P. 94.

2 Ibid., P.94.

3 *Пушкин А.* Указ.соч. Т. 7, С. 147, 291.

4 L'Universalité de Pouchkine, P. 99.

Новое прочтение произведений Пушкина Мишелем Нике и другими авторами коллективного труда «Универсальность Пушкина» объективно имеет две задачи – во-первых, выразить кредо самих французских ученых-славистов, по настоящему «болеющих» за Россию, страну, изучению которой они отдали десятилетия жизни и которой искренне желают успеха; во-вторых, показать, сколь прозорлив был русский гений, предвосхитивший крутые повороты новейшей истории России.

Среди тех проблем, которые беспокоят современную Россию, межнациональные отношения играют не последнюю роль. Не удивительно, что, издавая книги XIX века, которые затрагивают эту тему, французские ученые фокусируют в анализируемых сюжетах самые актуальные, с их точки зрения, аспекты. Так, повесть Гоголя «Тарас Бульба», прочитанная заново Мишелем Окутюрье (к изданию 1999[1] года им написано новое предисловие), не просто разворачивает панораму сложных межнациональных и межконфессиональных противоречий (Украина, Россия, Польша, Литва, расслоение казачества между русским и украинским векторами), но и выстраивает систему координат, которая могла бы обеспечить, если не дружественный, «братский», то хотя бы договорно-правовой мир. В этой повести, буквально наэлектризованной непримиримостью героев к иноверцам, автор предисловия находит тем не менее точки позитивной энергии, появляющиеся, по его мнению, на путях межконфессиоальных компромиссов. Наперекор этой цивилизованной позиции компромиссов поднимается, по сути, низменная, нутряная агрессия, желание «размяться в драке»: «пора погулять запорожцам», нельзя, чтобы «пропадала даром казацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака без доброго дела, чтобы ни Отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы»[2]. И когда к концу повествования варварские набеги на польские города, где заживо сжигали в костелах женщин и детей, названы «войной, поднятой за веру», автор предисловия, с такой симпатией описавший и русских, и украинцев, снова выдвигает виртуальную стратегию компромисса, договора.

Так, конкретный исторический эпизод столкновения запорожцев с Польшей и Турцией (одна из сюжетных линий) осмыслен автором предисловия, как поучительный пример загубленной самими же людьми возможности сохранить мир, жизнь себе и своим близким.

---

[1] *Gogol.* Taras Boulba. Traduit et préfacé par M. Aucouturier P. Gall., 1999.

[2] *Гоголь Н.* Тарас Бульба М., Русская книга, 1992, С. 41-42.

Еще более определенно под новым углом зрения прочитаны за последние годы книги, воссоздающие национальные конфликты царской России на Кавказе. В качестве такого примера наиболее красноречивой оказалась повесть Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат».

Предыдущие издания отличались нейтральностью и не предполагали никаких параллелей. Издание 2004 года (до этого повесть издавалась в 1992 и 1995 гг.) снабжено весьма обстоятельным (44 страницы убористого шрифта) предисловием Мишеля Окутюрье[1]. Оно основано на кропотливой научной работе, в процессе которой опубликованная повесть Толстого сопоставлялась Мишелем Окутюрье с черновыми вариантами и различными редакциями текста. Толстой работать начал в 1896 году и возвращался к рукописи вплоть до 1905 года. Повесть имеет 10 редакций, причем автор часто восстанавливал фрагменты более ранних редакций, отбрасывая написанные для более поздних, менял стиль. Так, Толстой дважды переходит к стилю изложения от лица Хаджи Мурата, стремясь как бы с максимальной полнотой показать характер изнутри. Но, посчитав невозможным убирать все эпизоды, о которых Хаджи Мурат не мог знать, писатель возвращается к манере повествования от третьего лица, однако, расширяет сцену, где Хаджи Мурат рассказывает о себе и своих отношениях с Шамилем. Одной из причин невозможности привести кавказский конфликт к мирному разрешению становится у Толстого противоречие (к которому Мишель Окутюрье привлекает внимание читателя), между декларациями царя и реально проводимой на Кавказе политикой. В изданном варианте повести сохранены колебания Александра I между разными методами «усмирения»; в рукописном варианте Окутюрье фиксирует резкий контраст между провозглашенным намерением базировать отношения с народами-соседями не на жестокости, а на мягком убеждении, и, с другой стороны, практикой, оформленной в репликах непосредственно военноначальников: «Только с помощью предельной жестокости можно установить корректные отношения между русскими и горцами»[2]. В полном согласии с внутренней идеей Толстого Окутюрье не ставит вопроса «кто прав?» или «кто начал первым?» – он поднимает свой анализ «над схваткой», чтобы приблизиться к пониманию психологических импульсов, толкающих людей (народы) к абсурдной вражде

[1] *Léon Tolstoï.* Hadji Mourat.Traduit et préfacé par Michel Aucouturier, Paris, Gallimard, 2004.

[2] *Толстой Л.Н.* ПСС, том. 35. С. 457.

и дикой, бессмысленной жестокости, – и с той, и с другой стороны. Для Окутюрье важно, что Толстой придает своему повествованию психологическую глубину, не просто выстраивает цепочку эпизодов, но «рассказывает эту историю, привлекая инструментарий романиста, постигая психологию, с помощью воображения раскрывает состояние души через внешние проявления – жесты, особенности поведения»[1]. А главное, чем ценна, с точки зрения Окутюрье, повесть, – Толстой намерен пойти в психологическом анализе дальше исследования «частного сознания», он хочет *«показать психологические пружины войны (Курсив автора)* за умиротворение Кавказа»[2].

Необычайно существенны для французского ученого и те аспекты повести, которые вообще не имеют отношения к военному конфликту, а соотносятся с «вечными» дилеммами человеческого бытия. Во-первых, опасность «абсолютной власти»: в этом отношении Николай I идентичен предводителю повстанцев Шамилю – «возможность навязать другому свою волю силой, заставить принять капризы или предрассудки за выражение истинной справедливости»[3], неизбежно ведет к преступным действиям – будь то самодержец или самоуверенный сын кавказских гор. Второй аспект, на который Окутюрье обращает внимание, это необходимость различать в мотивации поведения индивидуума с одной стороны – идеологически сформулированную цель; с другой – спонтанную устремленность к свободе. Первую Окутюрье считает губительной для личности; вторую – даже, если она приносит вред другим – более естественной. Поведение Хаджи Мурата «не поддается никакому идеологическому определению», его «крутые повороты» (voltes-faces) – «это не предательство, а спонтанная реакция на ситуации»[4], (когда под угрозой, например, его собственная жизнь или жизнь его семьи). Тип личности, подчиняющейся «спонтанному поведению» представлен здесь Мишелем Окутюрье если не как пример для подражания, то как характер достойный восхищения – «неукротимая энергия, мятежное упорство – эти качества не объяснить никаким кодексом (идеологическим, нравственным), не объяснить даже доводами разума»[5].

---

1 *Léon Tolstoï* Hadji Mourat , Préface P. 28.

2 Ibid., P. 32.

3 Ibid., P. 38.

4 Ibid., P. 39-40.

5 Ibid., P. 42.

Трактовка двух взаимосвязанных аспектов отношений личности с «другими» (право на абсолютную власть, поддержанную псевдоцелью во имя вроде бы общества; право на личную свободу) приобретает в предисловии ключевой смысл, открывая простор обобщающим размышлениям о Личности, Власти, Свободе.

Имена Достоевского, Толстого, Пушкина, Гоголя давно (хотя и в разной степени), пожалуй, постоянно привлекали внимание французских литературоведов. То же можно сказать и о Чехове, которого они давно уже назвали «французским драматургом» («Чехов, французский драматург» – заглавие работы писателя Армана Лану). Но постоянство внимания к этим фигурам не исключает особого угла зрения на последнем этапе. Различия открываются при «перечитывании» французскими учеными и «Хаджи Мурата», и «Капитанской дочки», и даже Бунина.

Существуют, однако, фигуры русской культуры XIX века, интерес к которым вроде бы угас и вдруг, сегодня, внезапно оживился. В первую очередь это касается Александра Герцена.

В 1997 году, в швейцарском городе Фрибурге увидел свет внушительный коллективный труд, собравший статьи, посвященные Герцену – «человеку с русским сердцем, европейским складом ума, выбравшим Швейцарию своей приемной матерью»[1].

Открывает книгу приветствие Фазиля Искандера, словно сразу поясняя, почему данное издание начало формироваться именно в это время: «Все время перестройки нам остро нехватало мыслителя такого масштаба, такого величия духа и отваги, такой прозорливости»[2]. Жорж Нива в своем эссе «Герцен и русский плавильный котел», развивая эту мысль Искандера, видит в облике Герцена «самый выразительный образ Русского – универсального по своим воззрениям, альтруиста, готового к борьбе»[3]. Его планетарная мысль востребована сегодня «потому, что страна крепостничества была прологом страны ГУЛАГ'ов; побег из нее давал возможность возвысить свой голос в ее защиту, будил «уснувшее множество», пробивая толщу пессимизма Словом Надежды. По определению Жоржа Нива, «все русские мыслители – от Достоевского и Толстого до Солженицына – припадали к живительному источнику мысли Герцена»[4]. В чем была привлекатель-

---

1 Alexandre Herzen. 1812–1870. Fribourg, 1997, P. 5.

2 Ibid. P. 5.

3 Ibid. P. 117.

4 Ibid. P. 118.

ность его мысли? Может быть, именно в том, что ни в России, ни на Западе Герцен не нашел не только идеального общественного устройства, но даже стратегических программ, которые гарантировали бы благополучие общества и объяснял, что готов ссориться с Западом по тем же причинам, из-за которых покинул Россию. Революция 1848 года, поначалу пробудившая его интерес, быстро охладила, хотя «не привела ни в один из враждующих лагерей. Привела к самому себе», – как пишет Ж. Нива. Герцен все решительнее отдалялся от Бакунина, Нечаева, потому что в их поведении видел слишком много фанатизма – питательной среды терроризма. Герцен категорически против насилия, терроризма – именно это своеобразие его «революционной» концепции и делает ее особенно актуальной сегодня. «Террор, одобряемый революционерами во имя Идеи, слепое повиновение, отказ от основных нравственных критериев, осмеянных террористами, попранных ими» – все это казалось Герцену, услышанному сегодня Жоржем Нива, – диким извращением намеченной задачи, неким «тяжким бредом». Дальнейший ход истории предложил в изобилии образчики подобного «тяжкого бреда», и поэтому к сегодняшнему дню мысль Герцена обретает еще большую конкретность. Перечитывая «Былое и думы», исследователи направляют взор именно к этой развилке пути – какую дорогу выбрать, чтобы решительного социального переустройства достичь, а фанатизма, террора, насилия избежать. Изучая все грани общественной позиции Герцена с интенсивностью, которая раньше в подобных работах совсем не ощущалась, французские ученые экспериментально сопоставляют Герцена с его антиподом Достоевским. (Одна из двух включенных в данный труд статей Жоржа Нива так и называется – «Достоевский и Герцен сегодня».)

Сначала обозначены оппозиции. Встречаясь со своими соотечественниками либеральных взглядов в Европе, Достоевский «диву дается, до чего же они отстали от событий, до чего же ничего не понимают, совсем не понимают, а все пыжатся, пыжатся...» Но социализм, который отбросил Достоевский, столь же неприемлем Герцену; он ведь «за социализм антидогматический» и поэтому не столь уж антагонистичен Достоевскому – обоих ужасал террор. «У этих двоих, бесспорно, есть общая почва. В Достоевском Герцена восхищал энтузиазм, его вера в русский народ», а Достоевский для Версилова из «Подростка» взял прототипом Герцена, обрисовав «изящество эмигранта по рождению». Пропасть – если она есть – между позициями Герцена и Достоевского «отнюдь не идеологического свойства; она

– экзистенциальная: по убеждению Достоевского, основным разрушителем человеческого сообщества является атеизм; Герцену же вера представляется второстепенной. А вот если вернуться на социальную развилку, от которой требуется выбрать дорогу к благополучию общества, оба, очевидно, устремились бы в одном направлении. 1917 год не решил спора Герцена с Достоевским: «Не выиграл ни тот, ни другой; идеи и Герцена, и Достоевского были попраны»[1].

Жорж Нива восстанавливает нелегкую судьбу изданий Достоевского и Герцена в Советском Союзе. Достоевский после Собрания сочинений конца 1920-х годов попал в немилость и вернулся к своему русскому читателю только с оттепелью. Герцена после 1917 года издавали много, но «чудовищно искаженным»[2], а сейчас о нем почти забыли: Жорж Нива сетует на полное равнодушие к урокам, которые разбросаны по страницам книги «Былое и думы»: « Нынешняя эпоха словно специально ориентирована на Герцена – на его стремление к толерантности и ответственности скорее за индивидуальный, чем за коллективный выбор»[3]. Сблизив, таким о образом, правдоискателей-антагонистов Достоевского и Герцена, Жорж Нива делает обобщающий вывод о значимости русской культуры для сознания человека Запада. «Россия Герцена и Достоевского неизбежно располагает к взаимному общению и симпатии, причем в самом глубинном значении этого понятия»[4].

Если сопоставить принципы «перечитывания» русской классики во Франции и США, не будет преувеличением утверждать, что честь международной славистики защитили в последние, «смутные» десятилетия, прежде всего, слависты французские. Думается, не в последнюю очередь благодаря особой интенсивности культурных взаимодействий и притяжений, которые существовали в предыдущие века, еще тогда, когда русская классическая литература только начала формироваться и постепенно к концу XIX века (знаменитая книга Мишеля де Вогюэ «Русский роман) покорила французского читателя, а затем, в начале XX века, необыкновенно расширила этот круг поклонниками русской живописи, музыки, театрального искусства... И

[1] Ibid. P. 113-118.

[2] Ibid. P. 115.

[3] Ibid. P 116.

[4] Ibid. «Etre en sympathie avec qn» – сочувствовать кому-либо.

если первое явное сближение эстетических интенций обозначилось в координатах символизма, то десятилетия подъема искусства авангарда открыли еще более выразительное взаимодействие культурных составляющих. Во многом уже этим прошлым, этой памятью о действительно общих поисках новых художественных дорог вызвано, видимо, внимание французских коллег (бесспорно, возросшее за последние годы) к тем росткам поэтики, характерной для XX века, которые пробиваются в произведениях русских писателей века предыдущего. Достаточно значимо, что переосмысляется не только то, о чем написано произведение, но как оно написано, то есть возрос интерес к некоторым сторонам поэтики классической русской литературы, воспринимаемым в перспективе движения к нашим дням.

В принципе, перечитывание произведений русской литературы XIX века под углом зрения вклада, который литература той эпохи внесла в культуру рубежа уже других веков, характерно именно для последних двух десятилетий. Творчество Достоевского – в перспективе именно поэтика – приковало к себе интерес давно и поэтому об этом здесь можно не распространяться. Но зато творчество других русских писателей никогда под таким углом зрения не прочитывалось. Внимательнее присматриваясь к поэтике, французские исследователи сегодня обнаруживают в русской классике много примет более чем современного художественного языка, объективно сглаживая тем самым границу, которую ранее проводили между «классикой» и современностью. Так, анализ, например, «Хаджи Мурата» неожиданно поражает тем, что автор предисловия к изданию 2004 года соотносит толстовское упорство (зафиксированное черновиками) максимально активизировать форму изложения от первого лица – с монологической манерой, восторжествовавшей во французской литературе XX века. Работа русского писателя над вариантами становится как бы вехой на общем пути движения к приоритетной роли в нарративной манере – таинственного, ускользающего «я».

Именно теперь в творчестве многих русских писателей обнаруживают, активно интерпретируя ее, эстетическую роль сновидения. Причем отмечается, что «таинственное онирическое, разлитое где-то в пространстве, недоступное даже психоаналитикам, но подвластное великим творцам», хронологически очень рано «и со всей отчетливостью выявилось в литературе русской, пронизанной религиозной идеей»[1].

[1] *Sémon M.* Le sacré onirique // Diagonales dostoevskïennes. P. 383.

Первый раз становится объектом глубинного эстетического анализа рассказ Тургенева «Живые мощи» (хотя он сразу был встречен во Франции, в частности Жорж Санд, с восхищением). Три провидческих сна парализованной Лукерьи, соединяющие мученический финал ее земной жизни с началом иной, потусторонней, образуют канву, сквозь которую проступает нерасторжимость двух миров. «Образы и ситуации, описанные страдалицей, воскрешают то, что было раньше, все обстоятельства ее деревенского существования. Но ординарная каждодневность перетекает в экстраординарное, которое сначала похоже на золотые сны русских фольклорных сказок, <....> но потом возвышается до «чудес» христианства и обретает мистический смысл[1]. Столь необычный для Тургенева «символический реализм»[2] этого его рассказа притягивает к себе взор французских исследователей именно потому, что русская классика «перечитывается» сегодня и на уровне означаемого, и на уровне означающего.

Весьма оригинально сопрягает означаемое с означающим при исследовании творчества Чехова известный французский романист и новеллист Роже Гренье. Прежде всего, надо отметить, что Гренье сам очень «чеховский» писатель: та же недосказанность, то же отстранение от обязанности «судить», «давать оценки» поступкам героев, та же тихая интонация, настраивающая на раздумья о противоречивости жизни, о сложности судеб, которые сразу не дают ответа на вопрос, негодяй перед тобой или жертва. Гренье полюбил Чехова с юности и написал за свою долгую жизнь огромное колличество эссе, посвященных Чехову, издал со своими предисловиями ряд самых любимых своих чеховских произведений. В своей последней литературоведческой книге «Посмотрите, как падает снег. Впечатления от чтения Чехова» (1992) он с увлечением размышляет о ключевых проблемах чеховских сюжетов и о ключевых художественных приемах, русским классиком избираемых. Анализу подвергнуты такие понятия как «судить другого» или столь привычное, как «русская лень». Напомнив, что о собственной лени постоянно говорил великий труженник Чехов, Роже Гренье советует помнить, что слово это в русской практике имеет массу оттенков; ленью русский назовет и свой недолгий отдых, и свое (или чужое) неумение взяться за дело и довести его до конца; и негодование против «народа», который согласен принять все, как

[1] Ibid. P. 386.

[2] Ibid. P. 386.

есть, без возмущения, без сопротивления... На этом моменте Гренье останавливается подробнее и как бы продолжая чеховские слова об угнетающем его равнодушии, пишет: «Чехов затрагивает здесь проблему, которая и меня всегда беспокоила: среди миллиардов жителей планеты столь немногие имеют свое собственное, независимое мнение, что можно подумать, будто все или почти все принимают правила игры»[1]. Напоминая, что Чехов уверял, будто в России революции никогда не будет, Гренье развивает свою мысль, из которой следует, что революции, в том смысле, как понимал ее Чехов, в России действительно не было. Поэтому-то столь активным, по оценке Гренье, было стремление советского литературоведения «в годы торжествующего коммунизма» сделать из Чехова (и некоторых его героев) борцов за то самое «светлое будущее», которое обнаружило свою полную несостоятельность[2].

Перечитывая русскую классику, французские критики находят в ней ответы, помогающие понять и болезненные проблемы современной истории, и специфику формирования различных моделей языка XX века.

5. Итоги встречи с новой Россией

Принимая во внимание весь спектр оценок новой России в сопоставлении с предыдущими этапами ее развития, приходится признать, что в целом картина предстает более однотонной, чем в десятилетия «советского времени». Если вернуться к мысли о противоречивости происходящего, что подчеркивается в книгах последнего времени, становится очевидным, что «хаотическое» состояние новой России пугает французского интеллигента ничуть не меньше, чем раньше ядерная мощь СССР.

Очередное разочарование побуждает западных исследователей «предъявить счет» по двум основным статьям. Первое. Получив «все свободы», Россия оставила в стороне идеалы «социализма с человеческим лицом» и почти смирилась с коррупцией, фантастическим расколом страны на миллиардеров и бедняков, ей уже не до прав человека, не до тех идеалов, которые вроде бы и породили перестройку.

---

1 *Grenier R.* Regardez la neige qui tombe. Impressions de Tchékhov P., Gallimard, 1992, P. 82.

2 Ibid. P. 82.

Известно, что социал-демократия французского типа имеет сильные обертоны левизны; за президента Франсуа Миттерана, представлявшего социалистическую партию, голосовало подавляющее большинство; французская интеллигенция не собирается отказываться ни от перспективы построения более справедливого общества в своей стране, ни – в теоретическом плане – от самой идеи социализма. Развернутую аргументацию противостояния России по этой проблеме дает книга «Как можно еще быть социалистом?». Ее автор – Жюльен Дрэй – утверждает, что мечта социалистов-утопистов не устарела, а само понятие социализма нельзя считать анахронизмом. «Социал-демократия для всей нашей планеты представляет собой оптимальное решение»[1]. Ценность и достоинство теоретического социализма «в том, что он означает дух сопротивления, отказ от принятия фатальности. Такая нравственная позиция уходит корнями в осуждение неравенства и несправедливости»[2].

Но в этом опыте «отступления» от идеалов социализма находят одно позитивное зерно: Россия излечила мир от увлечения идеей революции. Социалистическую перспективу никто уже больше во Франции не связывает с идеей революции. (Когда этот термин появляется в исследованиях, он соотносим скорее с реформаторством, чем с насильственной сменой формаций.) Кажется, путь, пройденный Россией от 1917 года к нашим дням, окончательно избавил от подобных иллюзий. Если мир и цивилизация хотят сохранить себя, о революционных методах переустройства мира следует забыть и следовать мудрому предостережению французского философа Алена: «Цивилизация – это тонкая пленка, которую легко прорывает любой удар, а в прорехи проглядывает варварство. Революция, как и война, рискует прорвать пленку цивилизации, медленно образовавшуюся за долгие века». Россия предстает уже не жертвой тоталитарного гнета (как в книгах 1935-1980 годов), а отступницей от общих задач, которые ставили раньше и «старшая», и «младшая» сестры.

Второе. В ряде работ, как видно из анализа книг, счет предъявлен не столько власти, сколько народу. В исследовании, названном им «Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе» (1999) Жорж Нива пытался соотнести нынешний момент существования России с тем, что сказала о России литература XIX века. Он передает ощу-

[1] *Dray J.* Comment peut-on encore être socialiste? P., Grasset, 2003, P. 267.

[2] Ibid. P. 272.

щение тревожной смятенности, дисгармонии, в которой никак не прослушивается контрапункт ближайшего будущего, осмысленного, обдуманного движения к нему. Эти, вполне эмоциональные, впечатления рождаются как бы в pendant к картине противоречивого, хаотического движения новой России, которую рисуют социологи и культурологи. Жорж Нива сталкивает два образа России, которые покорили его сознание, но с трудом находят переклички: в 1970-е годы «тогдашняя Россия, скрытая под скучной, уродливой оболочкой, жила удивительной, подпольной, пламенной духовной жизнью. Как можно было не любить этого Сократа с его даймоном?»; Россия 1990-х утратила мечту о пророке, «пришло время антипророка... Трудно поверить в антипророческую Россию. Просто не верится, что хаос и эгоизм установились навсегда в стране Толстого и Достоевского»[1]. Снова, таким образом, поставлен болезненный вопрос о *феномене «русского народа»* или русского характера; события 1990-х годов и последующих, заставляли французских коллег все чаще задавать во всеуслышание вопрос: «Так чего же хочет русский народ?» Эти болезненные сомнения начали звучать еще в до-перестроечные годы.

Известный славист Пьер Паскаль в своих публикациях и беседах не раз выражал тревогу: «Разумеется можно говорить, – размышлял он, – о полном поражении в области политики, о крушении революционных иллюзий и мечты о том, что народ собственными силами, стихийно, взявшись всем миром, способен создать совершенно новый, идеальный строй. <...> Но вопрос в другом: надо понять, сохранил ли русский народ те качества, которые я в нем видел. <...> И еще вопрос: может быть, эти достоинства были связаны с этапом цивилизации, который ушел в прошлое? Для тревоги есть основания»[2]. Жорж Нива, выпустив книгу под красноречивым названием «К завершению русского мифа. Эссе о русской культуре от Гоголя до наших дней» (1988), назвал своего учителя Пьера Паскаля «настоящим антиподом Астольфа де Кюстина» и, конечно, не мог скрыть огорчения, что даже такие влюбленные в Россию исследователи начинают ставить подобные вопросы[3]. Предчувствия подтвердились реальностью пост-

---

1 *Nivat G.* Retour en Europe: Essais sur la littérature russe, P., 1999, P. 151.

2 Цит. по кн: *Nivat G.* Vers la fin du mythe russe. Essais sur la culture russe de Gogol a nos jours. Lausanne, 1988, P. 128.

3 *Nivat G.* Vers la fin du mythe russe. Essais sur la culture russe de Gogol à nos jours., P., 1988.

перестроечной атмосферы. Одной из профилирующих линий интерпретации происходящего стало не столько глубочайшее сожаление, что и этот эксперимент, который мог еще спасти «честь» русской революции, потерпел крах, сколько болезненное сомнение, а действительно ли русскому народу присущи те благородные черты, которые открывает русская классическая литература? Эта утрата кажется некоторым гораздо опаснее, чем неудача в осуществлении программ перестройки.

Таким образом, крушение перспектив, открытых перестройкой, приводило французскую интеллигенцию к более глубоким метафизическим размышлениям, к тревожным вопросам, а какие же качества вообще человеческого характера соответствуют современному уровню цивилизации?

В обобщающем труде «Пост-коммунистическая Европа» (2002) один из авторов Жорж Минк считает необходимым признать определенное поражение не только российской, но и французской исторической и социологической науки в обобщении российских событий последних лет. «К сожалению, не предложено никакой новой парадигмы, которая помогла бы описать и сделать понятной нынешнюю российскую ситуацию, скажем прямо, невиданную и имеющую первостепенное значение для социальной истории в мировом масштабе»[1]. Если литературоведы «перечитывают» русскую классику, то западные историки – чтобы понять год 2007-й – возвращаются к «перечитыванию» событий 1917 года[2].

«Никогда ранее не сказывалось с такой силой стремление зарубежных историков пересмотреть написанное о революциях и по-новому взглянуть на события 1917 года», – констатирует ученый из России[3]. Задача пересмотра стоит и перед историками России. В публикации, названной «Непреодоленное прошлое» Юрий Афанасьев поддерживает это стремление к переосмыслению событий Октябрьской революции, которая в свете пристального анализа «не была Великой, не была социалистической, не была революцией», и ни в коем случае не является «прошлым», потому что противоречивым наследием его от-

---

[1] L'Europe post-communiste. Sous la direction de Dominique Colas. Paris, PUF, P. 444.

[2] См. коллективные труды – Reinterpreting Russia. London, 1999; The Russian Revolution. The Essential reading. London-Toronto, 2001.

[3] *Шевырин В.М.* Революция 1917: переосмысление в зарубежной историографии // «Россия и современный мир» 2007, № 1. С. 54.

мечен сегодняшний день России. Возникшее движение по активному пересмотру разных периодов России получило терминологическое определение – «новая культурная история». Этот термин объективно соединяет «перечитывание» русской классики и «перечитывание» событий истории.

Но следует обратить внимание еще на один поворот интерпретации настоящего: во Франции началось перечитывание **совсем недавнего прошлого советской** культуры. Ведут его те же специалисты, которые отдали изучению российской культуры многие годы своей жизни. Их новые исследования, не отбросив прежние критерии, принципы, поднимают новые слои фактов, сопоставляют тенденции, которые раньше не «напрашивались» на сопоставление. Беды советской культуры уже не объясняются политическим давлением «сверху»; напротив, в эволюции литературы советского периода выявляют приметы, позволявшие это давление сверху делать все более развязным.

Одной из характерных книг, предлагающих парадоксальный взгляд из сегодняшнего дня в прошлое Советского Союза, является книга под редакцией Владимира Береловича и Лорана Жеверо «Россия /СССР: Другой взгляд»[1].

В основных статьях книги – «Власть символов» (Владимир Берелович), «Авангард советского искусства в поисках нового предназначения искусства» (Жерар Коньо), «Живопись перестройки» (Мэтью Келерн), «Путешествие сквозь эмблемы» (Ален Бросс) – проводится мысль, появившаяся, пожалуй, во французской культурологии только в последние годы, что тотальное управление страной осуществлялось в СССР в основном через культуру. Акцентировку этой, как бы обратной, зависимости и тем самым вины советской культуры за негативные стороны советского опыта можно считать одной из новых черт рассмотрения образа России. «Эмблемы» и «символы», вынесенные в заглавия статей, показывают, что авторы интересуются в первую очередь образами, которые навязывались массовому сознанию; навязывались целенаправленно с первых дней революции и столь настойчиво, что глубоко входили в подсознание, мешая многим видеть, что же реально происходит вокруг. Владимир Берелович приводит ряд фактов, убеждающих, что «большевизм был феноменом не столько политическим, сколько культурно-логическим». В. Берелович называет СССР театральной площадкой, «где происходило слияние культуры

[1] Russie/URSS: 1917–1991: Changements de regard, P., 1991.

с пропагандой, приобретшее <...> в этой стране весьма оригинальную форму». Именно действуя через подсознание, власть довольно быстро внедрила фальшивое представление о происходящем. «Мифология оттеснила реальность»[1]. Сознание как бы раздваивалось. Кстати именно таким раздвоением, условным признанием успехов социализма вне реальных фактов и без глубокой в том внутренней убежденности, автор статьи объясняет и быстроту, с какой рухнула коммунистическая идеология – раздвоение чем дальше, тем становилось глубже, и уровень «игры» в успех достиг уже такой грани, когда взрывная «переоценка» была неизбежна. «Тотальное искусство», которое выстраивал Сталин (одноименная книга Бориса Гройса Staline, oeuvre d'art totale », Париж, 1990; Мюнхен, 1988), обернулось тотальной ложью, хотя и строилось на двух коренных требованиях современного авангарда – «синтез стремления переделать мир и переделать человека»[2]. Ж. Коньо рассматривает социалистический реализм как логическое завершение советского авангардного искусства, приводя ряд доказательств, что многие представители авангарда 1920-х годов стали такими же апологетами сталинской России, какими они были по отношению к Октябрьской Революции. Единственным исключением Ж. Коньо считает группу ОБЭРИУ. Истоком столь странного сближения автор называет «демиургические проекты и тиранов, и художников».

В итоге основной вектор этой книги – через культуру понять и объяснить политическую стратегию – приобретает неожиданный смысл. В течение долгих лет культура советского периода («официальная» или андерграундная) представала как бы жертвой советского режима. Оппозиционные художники и литераторы не имели достойной аудитории; официозная литература – в той или иной степени «убивала» себя, вынужденная разрабатывать предложенные официозом темы. И, уже в период «застоя», зарубежные исследователи советовали не проводить резких разграничений между этими слоями культуры. (см. выше аналитические материалы Антуана Витеза, Алексиса Береловича, Ирины Сокологорской).

Выводы, предложенные коллективным трудом «Россия / СССР: Другой взгляд» и подхваченные затем во многих публикациях, окончательно переворачивают «пирамиду»: именно на культуру советско-

[1] Ibid. P. 10, 16.

[2] Ibid. P. 101.

го времени возлагается вина за идеологический курс, принятый тогда страной. Литература формирует читателя и если читатель в массе своей охотно клеймит «врагов народа»; – значит, литература не сумела (не захотела, не имела мужества?) выполнить свою миссию. Во всех книгах, посвященных России, политика теснейшим образом увязана с культурой. Более того, в ряде случаев роль культуры (когда позитивно, когда негативно) оценивается как превалирующая по отношении к экономическим и политическим факторам. Само определение тоталитаризма дается часто через выбранные им, особые приемы использования языка. (Одна из книг французского поэта и теоретика культуры Жан-Пьера Фая так и называлась «Языки тоталитаризма»[1]. При описании тоталитарных режимов они характеризуются, в частности, стратегией «организованной лжи», которая исключает естественную «борьбу слов». (См., например, упоминавшуюся книгу Алена Безансона, сопоставившего «пророчества» Владимира Соловьева и Оруэлла). Так рождались обобщения о роли культурного дискурса в формировании идеологии и политики Советского Союза.

При настойчивом переосмыслении того, *что предшествовало* перестройке и что, соответственно, могло предопределить ее неудачу, появлялись, пожалуй, наиболее ценные научные наблюдения-обобщения, сделанные к данному моменту французской социологией и культурологией.

[1] *Faye J-P*, Les langages totalitaires, P, 1972. См также его книгу: Le langage meurtriere, P., 1996.

ЛИТЕРАТУРА

Jean Guéhenno Journal d'une révolution. P., 1939.

André Gide Journal 1939-1949. Souvenirs. P., 1954

Jean Guéhenno. La foi difficile. P., 1957.

Vercors Pour prendre congé. P., 1957.

Benda J. Précisions 1930–1937. P, 1964.

Jean-Pterre Faye Les langages totalitaires P, 1972.

Dominique Fernandez

Un héros de notre temps – Lermontov. P, 1970.

Les enfants de Gogol. P, 1971

Eisenstein. P, 1987

La magie blanche de Saint-Petersbourg. P, 1994

Le Tribunal d'honneur. P, 1996

Nicolas. P, 1999.

Kerbay Basil La Société soviétique contemporaine. P., Arman Collin, 1977

Jean Sarat Rideau de fer sur le Boul'Mich., P., 1985.

André Glucksmann, Thiéry Wolton. Silence. On tue. P., 1986.

Todorov Tzvetan Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. P., Seuil, 1989.

Emmanuel Todd L'Invention de l'Europe P., 1990.

Pierre Naville Gorbatchev et les réformes de l'URSS. P., Pensée Universitaire, 1992.

George Nivat Nationalité et nationalisme russe // La question russe. Essais sur le nationalisme russe. Sous la direction de Michel Niqueux P., 1992.

Georges Nivat Impression de Russie l'An Un . P., Ed.de Fallois, 1993.

Ch.Chambaz De l'Est, de la peste et du reste. P., 1993.

Blanche Kriegel La Politique de la raison. P., Payot, 1994.

Carrière d'Encausse H. Nicolas II: La transition interrompue. P., Fayard, 1996.

Jean Radvanyi La nouvelle Russie – après 1991. Un nouveau temps de troubles. P, 1996.

Jean Radvanyi La Nouvelle Russie. P., Armand Collin, 2000.

Jean-Pirree Faye Le langage meurtrière P., Hermann, 1996.

Cahiers de la Comédie Française 1997 № 22 (Статья Беатрис Пикон-Валлен «Мейерхольд – Мальро – Эйзенштейн . Нереализованные проекты»).

André Gide Notes de l'URSS. Journal 1926–1956. Edition établie présentée et annotée par Martine Sagaert. P., Gallimard, 1997.

Livre noir du communisme: crimes, terreur, repressions. P., Robert Laffont, 1997.

Georges Nivat Regards sur la Russie de l'An VI. Considérations sur la difficulté de se libérer du dispotisme. P., Ed. de Fallois, 1998.

Benoit Denis Littérature et engagement. De Pascal à Sartre. P., Seuil, 2000.

Maurice Druon La France aux ordres d'un cadavre. P., 2000.

Yves Guichet Littérature et politique, 2000.

Michel Mopin Littérature et politique. Deux siècles de vie politique à travers

les oeuvres littéraires. P., 1996.

Landry Tristan La valeur de la vie humaine en Russie. 1836–1936. Construction d'une esthétique politique de fin du monde P., 2001.

Laure Delcour La Politique de l'Union européenne en Russie P., 2001.

Jean-Yves Guérin Art nouveau ou Homme nouveau P., Champion, 2002.

Jean Dutourd Dutouriana, P., 2002.

Nivat Anne La Maison haute (Des russes d'aujourd'hui) P., Fayard, 2002.

Georges Mink La société post-communiste. Théories et données sociales. // L'Europe post-communiste P., 2002.

L'Europe post-communiste. Sous la direction de Dominique Colas. Paris, PUF. 2002.

Les cultures politiques en France. Sous la direction de Serge Bernstein. P., Seuil, 2003.

Dominique Villepin Un autre monde. (collection Théorie et Stratégie) P., 2003.

Julien Dray. Comment peut-on encore être socialiste? P., Grasset, 2003.

Guillaume Zorgbine Littérature et politique en France au XX siècle, P., 2004.

Derida. Europe. N spécial, mai 2004.

Derrida. HERNE, 2004.

Engagements littéraires P., 2005.

Jean Radvanyi Gérard Wild La Russie entre deux mondes, P., 2005.

Jacques Audinet Visage de la mondialisation. Du multiculturalisme au métissage. P., Ed. ouvrières, 2007.

Colette Bec De l'Etat social à l'Etat des droits de l'homme, 2007.

Многоязычие и литературное творчество. Под редакцией М.П. Алексеева. СПб., Наука, 1981.

Устами Буниных. Дневники. Франфурт-на-Майне, 1981, т. 2.

Духовная культура славянских народов. Л., Наука, 1983.

Проблемы истории взаимосвязей русской и мировой культуры. Саратов, Изд-во Саратовского Университета, 1983.

Взаимосвязи русской и зарубежной литературы. Под редакцией М.П. Алексеева. Л., Наука, 1983.

Русская литература и зарубежное искусство. СПб., Л., Пушкинский дом. 1986.

Пушкин и мировая литература. СПб., Наука, 1987.

Иного не дано. Судьбы перестройки. М., Прогресс, 1988.

Алексеев М.П. Русская литература и ее мировой значение. СПб., Наука, 1989.

Самосознание европейской культуры века XX века.

Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. (Составитель Р.А. Гальцева. Перевод и примечания – С.С.Аверинцев, В.В.Бибихин, С.Л.Воробьев, Р.А.Гальцева, П.П. Гайденко, Ю.Н.Давыдов, В.В.Ошис, Н.Л.Трауберг, А.И.Фрумкина.) М., 1991.

Купченко В.П. Странствия Волошина. «Подъем», Воронеж, 1992.

Жак Деррида в Москве. Деконструкция путешествия. М., Ad marginem, 1993.

Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. Под редакци-

ей Т.И. Заславской и Л.А.Арутюнян. М., Интерпракс, 1994.

Багно Вс. Пути и миражи русской культуры. СПб., Пушкинский дом, 1994.

Иное. Хрестоматия российского самосознания. М., Аргус, 1995.

Россия. Запад. Восток. Встречные течения. Отв. Редактор Д.С. Лихачев. Л., Пушкинский дом, 1996.

Россия. XX век. Советская историография. М., 1996.

Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., Пушкинский дом, 1998.

Пограничное сознание. СПб., 1999.

Коммунизм. Еврокоммунизм. Советский строй. (Беседа А. Зиновьева с Антонио Фернандесом Ортисом.) М., ИТРК. 2000.

Дрие Ла Рошель П. Дневник 1039–1945. СПб., Владимир Даль, 2000.

Мельник К. Взгляд на нынешнюю Россию с парижских высот // Международная жизнь», 2000, № 6.

Россия и Франция XVIII –XX веков (выпуск 4). М., Наука, 2001

Борхес Х.Л. Тайнопись. СПб., 2001.

Дубин Б.В. Слово- Письмо- Литература. М., НЛО, 2001.

С.Л.Фокин Русская идея во французской литературе XX века. СПб., Издательский Дом СПб-го Университета. 2003.

Геллер Л. Нике М. Утопия в России. СПб, Гиперион, 2003.

Борхес Х.Л. Новая встреча. Неизданные беседы. СПб., Симпозиум, 2004.

Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., Наука, 2004.

Н.И.Полторацкая Симона де Бовуар и Россия (по книгам воспоминаний писательницы). // Наваждения. К истории «русской идеи» во французской литературе XX века. М., 2005.

В мире других. Образы русских и европейцев в СМИ. Под редакцией Е.Л.Вартановой.Tampere (Finland) 2005.

С.Н.Зенкин Русский сон Жоржа Батая. // Наваждения. К истории «русской идеи во французской литературе XX века. М., 2005.

В.В. Хорольский Западная литература и публицистика XX века (Культурологический подход), Воронеж, Геракл, 2005.

Республика словесности. Франция в мировой интеллектуальной культуре. Отв. редактор С.Н. Зенкин. М, Новое литературное обозрение, 2005.

Т.В. Балашова . Изменение автобиографического пространства в процессе генезиса текста. (Россия и авторское «я» в автобиографических зеркалах Арагона) // Автобиографическая практика в России и во Франции. М., ИМЛИ РАН, 2006.

Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и реальностью. СПб., 2006.

Назад дороги нет. Интервью, взятое Александром Бангерским у Элен Каррер д'Анкос для газеты «Московские новости», 2007, 2-8 ноября.

В.М.Шевырин Революция 1917: переосмысление в зарубежной историографии // «Россия и современный мир» 2007, № 1.

А.Б. Базилевский

«ТРУДНОЕ СОСЕДСТВО»: ОБРАЗ РОССИИ И РУССКИХ В ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ

Тогда лишь в полном торжестве
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша помирится.
Ф.И. Тютчев

Поляки – крупнейшая западнославянская нация, обладающая древней, мощной, своеобразной культурой и весьма специфическим национальным преданием, обремененным тяжелым историческим багажом. Постоянное пребывание в географической зоне противоборства различных идеологий, политических и экономических притязаний «чуждых сил» в сочетании с мощными духовными, художественными, интеллектуальными импульсами, идущими и с запада, и с востока, вели у поляков к напряженному поиску собственной этнокультурной идентичности. Страх перед ассимиляцией боролся со страхом перед провинциальностью, тема родины приобретала особую экзистенциальную значимость. Восприятие и западных, и восточных соседей всегда было производным от военно-стратегической ситуации в регионе. Тесной культурно-географической смежностью и совместностью обусловлено давнее соперничество поляков и русских. Веками – меняя названия и границы – их государства существовали на сопредельных и пересекающихся территориях, из-за чего, при постоянном влечении родственных племен друг к другу, неизменно и неизбежно воспроизводился жесткий конфликт интересов. Оптика различных классово-национальных интересов по-разному высвечивала факты.

Образ России неотъемлемо – часть польской картины мира. К польским мифам о России принадлежит множество давних и новых

убеждений, верований и легенд. При этом противопоставление польского и русского начал в национальном самосознании крайне остро. Каждый период истории отмечен своеобразием польского взгляда, его несовпадением с русской точкой зрения. Вековое взаимонепонимание, отчуждение властных верхов обеих стран от задач общеславянского единения вызывало в обществе рост постоянно распаляемой русофобии и, соответственно, полонофобии, ориентаций, по сути, антиславянских, деструктивных для национального самосознания. Контакт культур в ситуации противостояния народов был двусторонне негативно отягощен, во многом являя собой столкновение мифов. Отношение Польши и поляков к России и русским имеет многовековую историю, дает богатейший материал к изучению межнациональной и межгосударственной конфронтации, диалектики отторжения и притяжения. Эмоциональная основа этого отношения – ощущение трагического разлада. Для того, чтобы разобраться в нем, необходимо поднять целые этногеологические пласты: залежи застарелых «взаимных болей, бед и обид» (если воспользоваться словами Маяковского, сказанными, конечно, по другому поводу).

«Трудное соседство» – так, банально, но совершенно справедливо, называлась краковская фотовыставка рубежа XX-XXI веков, посвященная визуальному сопоставлению Польши и России за последние сто лет. Чуть позже в Варшаве, Москве и Петербурге, в рамках серии «Наши соседи – новый взгляд», была показана подготовленная Национальной библиотекой Польши выставка «Отвергая и восхищаясь: из истории культурных отношений между Польшей и Россией». На ней было представлено зафиксированное в знаках культуры, прежде всего в произведениях письменности и печати (летописи, мемуары, дневники, переводы, филологические штудии, периодика...), видение поляками России на протяжении веков. Обе экспозиции служили отчетливым индикатором особенностей национального характера. Как фон проступал неизжитый шляхетский патернализм и полоноцентризм, и в то же время было заметно стремление к отходу от предубеждений, тактики обличения, к пересмотру инерционных схем (что особенно важно во времена, когда власти Польши, невзирая на оттенки правящих партий, проводят политику «европейскую» по форме, но «ягеллонскую» – восходящую к ностальгически-имперским образцам – по содержанию).

Исторические условия формирования польского образа России и русских

Польский патриотизм издавна был по преимуществу антирусским. Его подпитывало внушенное традицией необоснованное чувство цивилизационного превосходства. Для радикально-польского (демонстративно антирусского) национального самосознания, что системно проявилось и в литературе, характерно представление о Польше как о бастионе «истинного христианства», человечности и либерализма на стыке с диким востоком. К вере здесь всегда подмешивалась политика, стремление католической церкви к доминирующему влиянию на культуру и общество в целом. Римская христианизация Польши в 966 году привела к тому, что эта страна, оказавшись в сфере латинской цивилизации, а впоследствии став авангардом католицизма, была выдвинута в качестве форпоста перед «схизматиками», и это дополнительно «освящало» ее конфликт с восточным славянством. Поэт Збигнев Морштын в XVII веке писал о «польской доблести», которая – «всей Европе оборона». Содержанием национальной гордости поляков стало столетьями взлелеянное восприятие себя как народа – полномочного представителя Европы, самоотверженно сдерживающего натиск диких орд Востока.

Во времена Киевской Руси сосуществование родственных племен – при неизбежных распрях – еще не было омрачено стойкой взаимной неприязнью. Необоснованная гордыня, привнесенная в польское сознание инородными корыстными манипуляциями, еще не принесла своих отравленных плодов. Польские князья брали в жены русских княжен, вместе с которыми перебирались в Польшу и книжники, и ремесленники, и живописцы. Через них этих пределов достигало влияние русско-византийской культуры. Основной источник сведений о ранней польской истории – «Хроника» Галла Анонима (начало XII века) – сообщал об отношениях Польши с древней Русью в духе объективизма. Однако последующие памятники письменности – уже свидетельства колонизаторского интереса, накопления негативной инерции взгляда на соседей и братьев. В 1517 году историк Магей из Мехова в латинском «Трактате о двух Сарматиях» впервые в Европе представил этногеографический обзор Московии, содержавший зачаточную схему ее дискредитации и демонизации. «Хроника» Мартина Бельского (1564) – очерк всеобщей истории, включавший главу о Руси, и «Хроника польская, литовская, жмудская и всея Руси» Ма-

чея Стрыйковского (1582) содержали сведения об устройстве жизни в Московии, изложенные достаточно добросовестно. Однако XVI-XVII века – время польских военных походов на Русь – дали волну дневниковой и мемуарной литературы, трактующей восточную тематику в манипулятивно-мистифицирующем ключе.

Опора на традиции рода и веру предков в сочетании с апологией «золотой вольности» шляхетского сословия и католическим мессианизмом (согласно этой доктрине Польша – не что иное, как истинный «Новый Израиль») испокон веков служит обоснованием польской национально-культурной исключительности. Отголоски сарматской мифоидеологии гибко адаптируются к новым историческим условиям, пронизывая все уровни стереотипизации. Попытки понять и принять соседей, со всем их несовершенством, уживаются в национальном сознании с полоноцентристскими упрощениями и автоапологетикой. Такое сложное умонастроение сочетается с тщательно скрываемым комплексом провинциальности и ревностно отрицаемым, изгнанным в подсознание пониманием вины за многовековое экспансионистское самоуправство на славянском востоке (спровоцированное контрправославным самоопределением властвующей части нации). Сформировался сверхположительный защитный автостереотип польского этноса: в предельном случае персонального отождествления с ним пороки ищутся только у других («чужих»). Поляки, охотно предавая забвению собственные исторические грехи, привыкли считать себя народом возвышенным, неправедно гонимым за честность и доброту свою по причине чужой неуемной алчности и лютости.

А ведь временам русских «захватов» и «разделов» предшествовала самозабвенная кровавая экспансия Речи Посполитой, ее «натиск на восток». Католические крестовые походы на Русь и интернациональные карательные экспедиции под эгидой польских феодалов (XIII–XVI вв.), двухсерийная «лжедмитриада» (1604-1612), сожженная Москва, многолетний кровавый разбой в исконно-русских землях, колонизация русинских территорий, преследования православных на восточных «кресах»... Речь Посполитая поглотила русские земли от Галича и Волыни до Смоленска и Псковщины, зарилась на земли тульские и рязанские. Были уничтожены сотни тысяч русских людей и разорены десятки городов (Кострома, Вологда, Углич, Орел...). «...Мы не желаем помнить, сколько зла мы причинили России в прошлом: ведь Наполеон и Гитлер пошли тем путем, который проторили

поляки...»[1] Жестокое крепостное право на завоеванных землях (начавшееся на двести лет раньше, чем в России), в сочетании с национальным и религиозным гнетом, в середине XVIII века привело Польшу к краху. Последующие разделы Польши были логическим следствием подобной политики. При этом экспансия на Русь вновь и вновь грезилась Польше. В наполеоновском воинстве «двунадесяти языков», шедшем на Москву в 1812 году, был кавалерийский корпус Понятовского – более ста тысяч бойцов. В ноябре 1830 восставшая польская шляхта призывала к очередному умиротворению «диких орд Севера» (осторожная Европа не вняла, взвесив силы)...

Русские для поляков (если использовать терминологию Л.Н. Гумилева) – этнос с «отрицательной комплиментарностью». Стереотипное паническое представление о России, не слишком изменившееся за прошедшие десятилетия, еще сто лет назад сформулировал поэт Болеслав Лесьмян: Россия – край тирании, всеобщей незавершенности и «полукультуры» (в западноевропейском понимании), всюду хаос и дисгармония, ведущая к духовному раздвоению, делающая невозможной свободу человеческого «я»; русская душа разрываема крайностями, нигилистична, страшится жизни, «инстинкт уничтожения» влечет ее к смерти[2]. Противостояние и противодействие русским – метафизически-экзистенциальный миф, на котором базируется польская ментальность (стойкости этого ее элемента изумлялся даже де Кюстин, склонный записывать русских и поляков в одну шайку варваров). «Москаль» для поляка издревле – жестокий азиат с душою раба, Московия – ад земной, край кнута и холопского повиновения, извечно враждебный Польше, как вода враждебна огню, а тьма свету.

Не вникая в сложность исторического развития России, поляки демонизировали ее, внушая себе и миру, будто русские – исконные носители имперского генотипа – органически неспособны к свободе. Со славянского востока (и с севера, и с Балкан) грозят дикость, бесчеловечность, непредсказуемость, – таков стойкий фон и фольклора, и литературы. (Справедливости ради следует напомнить, что и русские «ляхов» не больно жаловали, а в XIX веке образ поляка – кичливого, неблагодарного шляхтича, коварного смутьяна, иуды славянства – был хрестоматийным шаблоном нашей литературы.) Среди польских мыслителей и художников, разумеется, были и есть люди, дале-

[1] *Занусси К. Я* – чужой // Новая Польша. 2006. N 11. С.37.

[2] См.: *Leśmian B.* Dookoła Sfinksa // Twórczość. 1995. N 12.

кие от ксенофобии. Их идеи служат раскрытию широких горизонтов гуманистической солидарности, евразийского и славянского единения, геополитической ориентации Польши на Россию. Однако общую культурную тональность задает иной подход.

Гегель в «Истории философии» приводил пример Польши как страны, где свобода каждого уничтожила свободу всех. И все же либералистская прозападная поза хоть и привычна для польского духа, в то же время стеснительна для него, поскольку слишком уж противоречит глубинным пластам народного сознания. Вот тут-то и возникает нечаянный соблазн, и видится Русь – и как мистическая общность, и как земная территория – противовес раздражающе рациональному, утилитарно-упорядоченному, эгоистически-холодному западу. Немалое количество исторических романов о России – один из признаков, выдающих «стыдливую» любовь поляков к русским (столько раз оболганным и обманутым) и иррациональную надежду на них (чаще всего не принятую русскими всерьез). Демонстративное презрение к русской власти и заискивание перед русским политическим классом, нарочитые уходы к другому покровителю и стремление всегда быть где-то рядом с русскими, знать о них больше, чем прочие, показное мнение о них как о диком быдле и страстная приверженность русской культуре, – пары обморочно-изменчивых, рационально не контролируемых состояний суть не что иное как знаки польского болезненного пристрастия, ревности к русскому вниманию. Напряжение между государственно-националистической идеологией (насаждаемой в до- и постсоциалистический период) и неугасающим бессознательным тяготением к восточнославянскому культурному ареалу порождает в Польше специфические, причудливые варианты самосознания.

Национально-историческая «причастная вненаходимость» (Михаил Бахтин) России и Польши после Средневековья более всего проявилась применительно к четырем драматическим периодам: Смутному времени начала XVII века; концу XVIII – XIX веку (разделы и восстания); эпохе Второй мировой войны и ее последствий; эпохе развала социализма, рыночной трансформации, перехода обеих стран в зависимость от иных центров силы. Былая польская великодержавность имела в основе убеждение польской шляхты в собственном духовном превосходстве, в благодеянии, несомом ею варварам. В основе нынешних негативных рефлексов поляков по отношению к России – давнее имперское прошлое Польши, память об успешных кондотьерских рейдах на Русь и временном владычестве над ее терри-

ториями. На польскую мифологию последних двух столетий сильно повлиял опыт национальной травмы – утраты государственности в конце XVIII века: гордыня усилилась многократно. В силу уязвленности национального самосознания фактом последующей многовековой внешней зависимости страны у поляков сложился мессианистский стереотип патриотизма. Весь польский романтизм – а это определяющая для менталитета поляков культурная формация – настаивал на том, что родина не конкретное общество, а духовная соборность, которой приписывалась исключительная, оздоровляющая роль в истории человечества. При этом подразумевалось, что личность ради ценностей нации обязана жертвовать всем вплоть до жизни.

«Всемирный солдат революции», – назвал Маркс польский народ, и это приложимо к беспокойной, пассионарной части данного народа (хотя инертную, этнообразующую базу его составляет население благонамеренное, осмотрительное и прагматичное). В XIX веке именно польские восстания сформировали в глазах Европы образ России как символа деспотизма и отсталости: героические поляки («двадцать миллионов героев», по Марксу) преградили путь в Европу «азиатскому варварству под предводительством москалей» (снова Маркс). Извечной бедой было то же, что и у всех других народов: «Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости»[1]. Оказавшись между прусско-австрийским молотом и русской наковальней, утратившая политическую субъектность Польша в XIX веке вошла в новую роль: быстро привыкла быть в центре внимания мира как воительница свободы («нашей и вашей»), заступница всех угнетенных деспотизмом народов. Будто она никогда не вела захватнических войн, а утраченные земли на востоке не были польским трофеем во времена экспансии на ослабленную Русь (сразу после избавления ее от татар), не говоря уж о более поздних, многих и многих «смутных временах».

Из поколения в поколение шляхтой, особенно нобилитированной, пестовался и передавался миф о древнепольской «державе согласия», оплоте терпимости и свободы – так называемой Речи Посполитой Обоих Народов (XVI – XVIII вв.). Ощущение невос-

[1] *Черчилль У.* Вторая мировая война. Кн. 1. М., 1991. С. 147.

полнимой утраты идеализированной Польши «от моря до моря» на фоне последующего унижения многократными разделами (1772, 1793, 1795, 1815), всегдашнее опасное положение на славяно-германском пограничье, прельстительное воспоминание о многовековой вознесенности польской шляхты над литовским, белорусским и украинским простонародьем, ревнивое соперничество с русскими и бессознательная тяга к реваншу («граница за Смоленском», а то и «под Серпуховом»), – все это болевые точки коллективной психики польского этноса. Мотивы неприязни к Руси – России – русским, нарочитое разделение русской культуры (дескать, как ни странно, богатая) и русской страны, государства многократно теоретически обосновывались, исходя из узко понятых польских исторических интересов (скажем, патологическим ксенофобом был романтик-визионер поэт Зигмунт Красинский). «Я, как большинство поляков, люблю русских и не люблю Россию», – обронил как-то нобелевский поэт-лауреат Чеслав Милош, автор книги эссе «Поиски родины», сквозь панъевропейский пафос которой проступает ностальгия по старой «федеративной» литовско-польской Речи Посполитой XVI-XVII веков. Милош, разумеется, не считает, что он «проговорился», однако ясно, что его «нелюбовь» к России есть выражение неприятия русской государственности как таковой.

Между тем, медали «За усмирение польского мятежа» жаловались в 1863 году отнюдь не только русским, а в центре Варшавы был воздвигнут монумент погибшим польским генералам и офицерам, сохранившим верность русской державе. Польская культурная публика охотно селилась в русских столицах и губернских городах, а сибирские ссыльные по отбытии срока становились преуспевающими купцами и промышленниками. «Потомки повстанцев... чувствовали себя превосходно под защитой русского царизма» (Ю. Мархлевский). И все же прорусская, панславистская линия была в Царстве Польском политически относительно слаба. Лишь национал-демократы начала XX века ориентировались на Россию (выбирая «наименьшее зло» – перспективу соединения польских земель под российской короной). Манифест, изданный в начале Первой мировой войны великим князем – наместником Польши – апеллировал к идее русско-польского братства и единения. Однако формула Николая II по поводу польского вопроса – «никаких мечтаний, господа!» – не оставляла иллюзий: независимости не будет. Наконец одним из первых декретов Советской власти Польше была предоставлена искомая государственность.

Октябрьская революция изменила все – кроме отношения поляков (тех, кто творит гумус стереотипов и кует политику) к России.

В 1920-е – 1930-е годы Польша – самый сильный и враждебный сосед России. После первой мировой, в 1918 году, в Польше был осуществлен идеал «национального государства». «Вторая Речь Посполитая», возникшая на исконно польских землях, не соответствовала образу утраченной империи; роль ее на международной арене была невелика. Лишь развязанная Пилсудским на исходе гражданской войны в России интервенция против «Советов» и «чудо под Варшавой» в августе 1920 года (когда была разбита армия Тухачевского), заставила мир заметить державные амбиции страны. Во время антибольшевистской кампании, имевшей целью новый захват земель на славянском востоке, попали в плен десятки тысяч красноармейцев; многие из них погибли и пропали без вести в польских концлагерях. Большевизм представлялся «красным царизмом», угрожающим самому существованию польского народа, поэтому из Польши постоянно устраивались диверсионно-разведывательные рейды на советскую территорию. Официальной идеологией правящих классов Польши была патриархально-шовинистическая доктрина национал-мессианизма, неколебимой позицией – военно-политическое противостояние с Россией, а нескрываемым твердым намерением – ее расчленение и разгром, воссоздание своей империи «от моря до моря».

На протяжении всего межвоенного двадцатилетия Польша стремилась к перекройке восточных границ, претендуя на полноправное участие в сокрушении Советской России. В 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти, Польша заключила с Германией договор о ненападении, фактически став ее союзницей. В польской прессе 1930-х годов было немало восторженных статей о великом единстве и динамичном развитии немецкой нации, не были редкостью дружеские визиты гитлеровских функционеров в Варшаву. В октябре 1938 года Польша в альянсе с фашистской Германией, по словам Черчилля, «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого государства», оккупировав Тешинскую Силезию с преобладающим чешским населением. Она была связана с Германией системой договоров и готовилась к совместной войне против СССР, обольщаясь надеждой, что принята за равноправного союзника. Во Второй мировой войне в составе вермахта против Советского Союза воевало более ста тысяч поляков (свыше шестидесяти тысяч из них попало в советский плен).

Запад хладнокровно разыграл польскую карту. Шок сентября 1939-го, новый, на сей раз германо-советский «раздел» Польша пережила в одиночку, не дождавшись помощи от бывшей Антанты. В результате гитлеровской сентябрьской кампании западные земли были присоединены к Рейху, а на остальной оккупированной территории учреждено «генерал-губернаторство» под германским правлением. После освободительного похода Красной Армии восточные области Польши, аннексированные в межвоенное двадцатилетие, вернулись к Украине, Белоруссии и Литве (вскоре также вошедшей в СССР). Уже 30 сентября 1939 г. во Франции было сформировано польское правительство в изгнании (СССР, следуя соглашению с Германией, не признавал его вплоть до нападения гитлеровцев на свою территорию). В ноябре 1939 года оно объявило войну Советскому Союзу, затем организовало против него ряд террористических актов. Польская армия, созданная во Франции, в 1940-м приняла участие в обороне этой страны и вместе с правительством эвакуировалась в Англию. Там участвовала в воздушных боях, в британском десанте в Норвегию, в открытии второго фронта в Нормандии. В свою очередь, 30 июля 1941 года польское правительство заключило с СССР соглашение о совместной борьбе с нацистами. Советско-германские договоры 1939 года признавались утратившими силу. Поляки, военнопленные и интернированные в советские трудовые лагеря, были амнистированы, из них была создана и оснащена на советские средства почти стотысячная армия генерала Андерса. В августе 1942-го, уклонившись от участия в боевых действиях против Германии, эта армия ушла через Иран и Ирак в Палестину (впоследствии она вместе с войсками союзников освобождала Италию).

Тем временем на оккупированных землях росло движение Сопротивления, возникло целое подпольное «государство» с разветвленной иерархией подчинения и соперничества. Большинство партизанских вооруженных сил составляла Армия Крайова, подчинявшаяся лондонскому правительству. Действовали независимые национал-радикальные формирования Народовых Сил Збройных. Под эгидой Польской рабочей партии (ППР) были созданы боевые отряды Гвардии Людовой, которые в 1943 году перешли в подчинение альтернативному левому подпольному правительству – Крайовой Раде Народовой – и преобразованы в Армию Людову. В апреле 1943 года дипломатические отношения между Москвой и польским Лондоном были разорваны в связи с поддержкой эмигрантским кабинетом немецкой

версии катынского преступления (факт убийства – якобы советскими спецслужбами – тысяч польских офицеров, интернированных в сентябре 1939 года, был предан гласности нацистами; СССР признал его полвека спустя). И все же интересы совместной борьбы привели к созданию в СССР Союза польских патриотов, сформировавшего летом 1943 года дивизию имени Костюшко, выросшую затем в корпус, а впоследствии – в две армии. Войско Польское с боями вступило в Польшу вместе с Красной Армией. К лету 1944-го наступление достигло Вислы, 22 июля Комитет национального освобождения провозгласил в Хэлме программу реформ социалистической ориентации. Армия Крайова 1 августа подняла в Варшаве восстание, к которому примкнули и части Армии Людовой. Войско Польское пыталось, форсировав Вислу, прийти на помощь повстанцам, но отступило, не поддержанное измотанной в боях Красной Армией. После двухмесячных боев (при участии русских карательных формирований), в которых с польской стороны полегло более двухсот тысяч человек, восстание было разгромлено, население столицы депортировано, а ее центр стерт с лица земли. Таков скорбный эпизод – один из пунктов польского «обвинения» России.

Зимой 1945 года советские войска смели гитлеровцев со всей территории Польши. Суммарно польские вооруженные силы (находившиеся под разным командованием в разных странах) составляли в то время четвертую по величине армию антигитлеровской коалиции. Через пять лет нацистской оккупации государственность была возвращена Польше победой советского народа над германским фашизмом. Германия проводила здесь политику искоренения «низшей расы». План экстерминации не осуществился вполне, но за годы войны погибло более шести миллионов польских граждан (половина из них – евреи). Нацисты планировали расширить Рейх, а поляков переселить в Западную Сибирь; им ни к чему было самостоятельное, пусть даже коллаборационистское правительство «недочеловеков» (потому оно и не возникло, хотя соответствующие письменные предложения от польских эмигрантских кругов поступали). А ныне польская пропаганда уверяет, что в 1945-м в результате «ялтинского сговора» началась-де «новая оккупация» Польши. Реплики здравомыслящих людей напоминают об истине: «Что-то не припомню, чтоб после 9 мая 1945 года людей хватали на улицах, ставили к стенке и отправляли в газовые камеры, или закрывали польские школы и университеты, поскольку польским полулюдям довольно научится читать и считать.

Не помню также, чтоб тогда рушили города и дома, вместо того чтоб их заново отстраивать»[1].

Утратив шансы возврата украинских, белорусских и литовских земель, воссоединенных с соответствующими странами, Польша взамен, по предложению СССР, приобрела обширные западные области, несколько веков принадлежавшие Германии («возвращенные земли»), в том числе также часть Восточной Пруссии. В те времена Черчилль ворчал, что «польской гусыне» грозит «немецкое несварение желудка»; если б не упорство России, западная граница Польши прошла бы гораздо восточней. Новую границу мог гарантировать только Советский Союз. В стране было создано правительство национального единства во главе с коммунистами. Ожесточенное сопротивление новой власти оказали только лесные отряды АК. В последующие десятилетия Польша, декларировав переход к строительству социализма, постепенно приобретала черты урбанистически-индустриального общества. Польская Народная Республика, о «вассальности» которой столько сокрушались антикоммунисты, во второй половине XX века, до уничтожения СССР, была бастионом европейской системы нерушимости границ и активным членом Варшавского оборонного договора. Казалось, система создана на века. Взаимоотношения России и Польши не были беспроблемными и в послевоенное время, однако это был период двусторонне провозглашенной и реализуемой взаимной доброжелательности (сконцентрированной в лозунге «Польша – страна друзей»), позитивной эволюции образов русского и польского народов в глазах друг друга.

Традиция взвешенного уважения к России и русским в польской культуре

Культурный обмен между Россией и Польшей всегда развивался на драматически изменчивом историческом фоне. Несмотря на сложности взаимоотношений русская культура многообразно присутствовала в жизни Польши. В XVIII веке появились первые переводы сочинений русских писателей (пьесы Хераскова, Сумарокова, Капниста, Екатерины II). Весь XIX век – время интенсивных контактов, дружеского общения, сотрудничества между польскими и русскими учеными, поэтами, художникам, композиторами. В польской

[1] *Toeplitz K.T.* Zdziwienia pana K. // Trybuna. 2005. N 35. S.2.

культурной традиции существует мощный прорусский и панславянский пласт, к которому, в частности, принадлежат концепции Августа Цешковского, Кароля Либельта, Бронислава Трентовского, идеи Адама Мицкевича, Анджея Товянского, Циприана Камиля Норвида, Тадеуша Мицинского. В парижских лекциях Мицкевича о славянской литературе, где дана обобщенная сжатая история русской словесности, сформулированы и принципы равноправного взаимопритяжения двух славянских народов. Польское «всё» – автор «Дзядов» – утверждал: «Славяне – значит народ Слова Божия. Народ этот сохраняет до сих пор чистую традицию понимания слова, которая у него включает понятия праведности и творческой мощи» (Седьмая лекция). То есть: славяне избраны к высшему, сакральному служению. Мицкевич был убежден, что славянское единство во имя свободы нерасторжимо, так как «славянский люд» сохранил «веру в постоянное влияние невидимого мира на мир видимый», способность к изумлению, непосредственному переживанию мистического откровения. В рамках такого адоративного подхода Мицкевич, всю жизнь возвращавшийся к книге, которую так и не окончил – «История Польши», видел родину свою в провиденциальном ореоле. При этом он развивал концепцию спасения мира руками и умами славян, в которой России отводится отнюдь не вторая роль.

Всемирной солидарности деспотических властей Мицкевич противопоставлял идеал «Союза Народов». Он приветствовал грядущие революции, социализм представлялся ему новым христианством, а Польша – надеждой мира. Нация для него – лишь оттенок общечеловеческой сути («кто говорит об интересах одной нации, тот враг свободы»). Он – патриот человечества, провозвестник «всеобщей войны за свободу народов». На смену мифу Польши – крепостной стены запада – приходит у Мицкевича понимание единства взаимодополняющих культур, славянскую общность он воспринимал как прообраз всемирного братства. «Польша и Россия – не два земельных надела, но две мысли о славянщине, которые, желая перейти в действительность, стремятся к исключительному господству и сталкиваются одна с другой». Россия, по его мнению, благодаря своей силе и экспансивности разовьет «осязаемую и внешнюю сторону правды». Поэтому условие движения – русская революция, которой Польша даст идеал, направив ее на освобождение всех народов. «Россия, – уточняет Мицкевич, – нуждается в нас, Россия никогда не сможет сбросить с себя ярмо без Польши». С поправкой на чисто

польское смещение оптики в свою пользу – перед нами приемлемое, в духе разумного эгоизма, обоснование союза (не важно, что жизненный путь Мицкевича увенчался сколачиванием в Малой Азии антирусского легиона).

Лев Толстой, искренне сочувствовавший всем страждущим, в том числе лишенным государственности полякам, мечтал о временах, когда «любовь заменит отживший закон насилия», и предполагал, что ведущий к новому мироустройству «переворот начнется среди славянских народов». В том же был убежден и духовный наставник Мицкевича, религиозный мыслитель-мистик Анджей Товянский, который проповедовал общеславянский мессианизм, а условием «христианизации» политических отношений считал избавление поляков от ненависти к России. Из этого постулата исходил и поэт Тадеуш Мицинский, которого ругали за то, что он и националист, и русофил, и панславист. Он выступал в начале XX века за будущую унию народов, остро критиковал царизм, но питал дружеские чувства к русским. Сетовал, что у его соотечественников исконную праславяно-арийскую культуру подавила чуждая латинско-римская. Балтийское море и горы Татры для Мицинского – сакральные польские топосы, воплощение генетической мечты о грядущем возрождении «Орлицы-Польши» в общеславянском единении. По его убеждению, полное развитие и самораскрытие поляков возможно лишь в крупной славянской национально-родовой общности.

Русомания и русофилия (как идеализация, игнорирующая сложность реальной картины) для поляков малохарактерны. Дружественный взгляд воспринимает Россию и русского человека в свете автостереотипов русской культуры. На этом фланге сформирован патетический образ. Согласно ему, русские – живы душой, они обаятельны, искренни, терпеливы, миролюбивы, благородны, совестливы, милосердны, альтруистичны, жертвенны. Глубоко чувствуют и тонко мыслят. Их поглощенность проблемами духа, способность к умилению, приверженность добру и простоте, поиску общественной гармонии отвечают традициям изначального христианства. Замечаются и теневые стороны русской жизни и умонастроения: пограничность, вненормативность, предельность русского опыта, противоречивость и стихийность, максимализм и фатализм национального характера. В стране лютой стужи и безмерной деспотии естественны тоска, безумие, юродство, бунт. Рядом икона и топор, соборность и раскол, мир и смута. Русская культура притягательна объемом освоения противо-

речий и масштабом образных свершений, в силу своей человечности и жизненности она способна оказать духовную помощь всему миру. Так мыслили многие писатели Польши и в XX веке. Они учились у русской культуры, впитывали ее импульсы.

Конец XIX – начало XX века – время, ознаменованное неминуемым и решительным сближением обеих культур. На польский тогда переводится поток русской классики (Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Горький), о ней пишутся сотни статей. Популярна и современная литература (особенно Леонид Андреев). В Петербурге в 1882-1913 годах выходит польский еженедельник «Край», имевший огромную аудиторию во всей империи. Импульсы единения были сильны, дело неотвратимо шло к братскому примирению. Увы, процесс славянской консолидации был прерван мировой войной. Однако поистине внушительно было присутствие русской культуры в Польше и после обретения страной независимости. Сюда репатриировалось множество интеллигентов, воспитанных на русской культуре. Именно на их знаниях и опыте базировался тот деятельный интерес к России, который характерен для всего межвоенного двадцатилетия. Крупнейшие поэты (Юлиан Тувим, Константы Ильдефонс Галчинский, Владислав Броневский), блестяще владевшие русским языком, переводили русскую поэзию. Переводы с русского по количеству изданий прочно занимали четвертое место (после английской, французской и немецкой литератур), а качество их таково, что они переиздаются и теперь. Крупнейшие критики (к примеру, Тадеуш Бой-Желенский) рецензировали советские пьесы. Немало было советских фильмов; прошли крупные выставки советского изобразительного искусства, фотографии, книг. В книжных магазинах Польши продавались новинки советских издательств. Комиссия по возврату культурных ценностей, созданная в соответствии с условиями Рижского мира, добилась возвращения в Польшу из России многих тысяч предметов старины. Польская общественность благосклонно относилась к культурным инициативам русских эмигрантов (Дмитрия Философова, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского и других), среди которых были: литературный салон «Домик в Коломне», издательство «Священная лира», еженедельник «Меч», Русская драматическая студия, Союз русских литераторов и журналистов в Польше.

Интерес к русской культуре, желание найти общность не угасали в Польше и в трагические годы Второй мировой войны. В книгах Юзефа Чапского («Старобельские воспоминания», «На бесчеловечной зем-

ле»), Александра Вата («Мой век»), Густава Герлинга-Грудзинского («Иной мир»), Беаты Обертынской («Из дома неволи»), наряду с нелицеприятными картинами сурового быта и насилия в ссылке, лагерях и тюрьмах, много свидетельств духовной и душевной сопричастности, взаимопомощи поляков и русских. Так, Чапский выше всего ценил «тот присущий русским моментальный человеческий контакт, которого я нигде не встречал и уже, наверное, никогда не встречу»[1]. После войны серьезное внимание русской проблематике уделяли эмигрантские издательства, в частности парижский «Литературный институт» Ежи Гедройца, издававший журнал «Культура». Более других здесь писали о России Чапский, Герлинг-Грудзинский, Милош, Вацлав Ледницкий. Позднее в библиотеке «Культуры» выходили сочинения Солженицына, Синявского, Сахарова, а польские неподцензурные издательства 1970-1980-х годов массово тиражировали эмигрантские публикации и советский самиздат (сотни книг).

В конце 1940-х – начале 1950-х годов неумеренная советизация официальной польской культуры под надзором варшавского Главного управления контроля прессы и зрелищ, когда подражание СССР возводилось в обязанность, на время охладила интерес к русской культуре. Однако при начале «оттепели» в Польше одна за другой пошли вызывавшие горячее сочувствие поляков публикации Виктора Некрасова («В родном городе»), Владимира Дудинцева («Не хлебом единым»), Александра Солженицына («Один день...»), Константина Симонова, Юрия Бондарева, Булата Окуджавы, Василия Аксенова, Юрия Казакова, Василия Шукшина. В 1957 году в первом номере ежеквартальника «Опинье» («Мнения»), посвященного советской культуре, был напечатан фрагмент «Доктора Живаго» Бориса Пастернака (первая публикация произведения), вскоре после чего журнал был закрыт. В 1950-1980-е годы присутствие советской культуры в Польше было весьма заметным, культурное сотрудничество с СССР интенсивным и плодотворным. Поляков восхищали Высоцкий и Окуджава. Ставились советские пьесы, шли советские кинофильмы, проводилось огромное количество выставок. На телевидении были поставлены сотни спектаклей по русским пьесам и инсценировок прозы (больше всего – Чехова, Достоевского, Горького, Гоголя).

Во времена коммерциализации культуры и обнищания интеллигентской прослойки масштабы культурного обмена стали скромней,

[1] *Czapski J.* Na nieludzkiej ziemi. Warszawa, 1990. S. 46.

однако контакты не прерваны. Гастроли русских артистов неизменно имеют успех, проводятся фестивали советских и русских фильмов. На телевидении есть специальная рубрика, в которой идут только советские и русские фильмы. Польские режиссеры ставят в Польше и в мире русскую классическую драму. Возрожден фестиваль русской песни. Продолжает издаваться русская литература: рекорды по-прежнему бьет Михаил Булгаков с «Мастером и Маргаритой»; вечный хит номер два – «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Издаются Пушкин, Лермонтов, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Бродский, новые авторы. Выходят тематические «русские» номера журналов. Переводы произведений русских писателей, в том числе новых пьес, публикуются и анализируются в журналах, нередки материалы о русской драме, театре и музыке.

Поэт и эссеист Виктор Ворошильский, автор документально-беллетризованных биографий Салтыкова-Щедрина, Маяковского, Пушкина, Есенина, всю жизнь переводил русскую поэзию; симпатия к России, увлечение ее культурой стали для него личной судьбой. В рецензии на посмертно изданную книгу Ворошильского «Мои москали: избранные переводы из русской поэзии от Пушкина до Ратушинской»[1] Адам Михник относит ее автора к «великолепной плеяде польских антитоталитарных русофилов», открывших полякам «дух русской свободы»[2]. К тем же «истинным антисоветским русофилам», беспорно, относится и чета польских русистов – исследователей и переводчиков – Виктория и Рене Сливовские. Их книга воспоминаний о встречах с Россией и русскими «Россия, наша любовь» (2008)[3] продиктована глубоко личной привязанностью к стране Герцена, Чехова и Платонова, «неустанным восхищением ее достижениями как минувших веков, так и современности» (с. 482). Крупнейшие польские русисты всю жизнь заботливо открывали «другую Россию» – отторгающую деспотизм, противостоящую системе, создающую свою ценностную иерархию и канон «неповиновения». Их книга «словно призывает к тому, чтобы независимо от того, кто и как правит в Кремле, не отдаляться совсем уж от России и уж тем более не отдаляться от русских и их культуры»[4].

---

1 *Woroszylski W.* Moi Moskale. Wrocław, 2006.

2 *Michnik A.* Przyjaciel Moskali // Gazeta wyborcza. 2006. N 217. S. 27.

3 *Śliwowski R., Śliwowska W.* Rosja, nasza miłość. Warszawa, 2008.

4 *Войцеховский М.* Лучшая Россия // Новая Польша. 2009. N 1. С. 33.

Образ России во многом формируется через профессиональную рецепцию, изучение и представление ее культуры. Для гуманитарных наук 1990–2000-е годы – время пересмотра и реинтерпретации истории и культуры. Такого рода публикациями насыщена специальная периодика по русистике и славистике, издаваемая университетами и Польской Академией наук[1]. Весьма значителен вклад польских ученых и литераторов в исследование и популяризацию русской художественной культуры. Поляки ценят мировоззренческое богатство русской философской и общественной мысли и достижения русского искусства. Явления русской культуры стремятся рассматривать в многообразии, без апологетической избирательности и негативистских упрощений. На польском языке существуют десятки монографий о классиках русской литературы (об одном только Достоевском их более сорока), издаются специальные исследовательские серии. По-прежнему сильна польская школа русистики, в орбите которой возникли многие существенные труды (книги Анджея Валицкого, Северина Полляка, Анджея Дравича, Люциана Суханека, Базилия Бялокозовича, Анджея Андрусевича, Валентия Пилата и других). Примыкают к позитивистскому направлению содержательные работы по истории русской культуры и философии Гжегожа Пшебинды, Адама Поморского и других.

Взаимное видение «ляхов» и «москалей» также много раз подвергалось рассмотрению, и все же остается неисчерпаемой проблемой. В академических кругах изучаются закономерности польско-русских коллизий, это модная тема симпозиумов и ученых трудов. Объективистской каталогизацией взаимных претензий русского и польского этносов занимается коллектив ученых под руководством Анджея де Лазари (издан, к примеру, громадный «Каталог взаимных предубеждений поляков и русских»). Все вроде бы делается в интересах объективности, однако нередко служит антирусской суггестии. Образ России в польской литературе вписан в традицию, осложненную исторически конфликтным соперничеством двух крупнейших славянских этносов и, соответственно, имеет тенденцию к идеологической заданности, которая лишь отчасти снимается (или маскируется)

[1] Важнейшие издания: «Slavia Orientalis» (Варшава), «Slavica Wratislaviensia» (Вроцлав), «Opuscula Polonica et Russica» (Лодзь), «Studia Russica Thoruniensia» (Торунь), «Studia Litteraria Polono-Slavica» (Варшава), «Przegląd rusycystyczny» (Варшава), «Polska i jej wschodni sąsiedzi» (Жешув), «Almanach myśli rosyjskiej» (Варшава).

славистикой. Высоколобая аудитория обеспечена чтением достаточно высокого класса. «Для народа» же массовыми коммуникациями сервируется избирательно-упрощенная картина.

Новейшая общественно-политическая ситуация как фактор оживления негативных стереотипов

Польше принадлежит сомнительная честь перворазрушителя статус-кво в послевоенной Европе: перегретая «солидарностью» страна послужила запалом общественного регресса, в который был ввергнут постсоциалистический мир. Ее приветствуемое западом отступничество расчетливо вознаграждено (к примеру, полным списанием внешнего долга), однако Польша страдает комплексом измены, чувствует себя провинцией и стыдится этого (чем пытается заразить и Россию). В 1990–2000-е годы, когда было разрушено все, что создавалось десятилетиями, когда Россия (ее правящий класс) без боя отдала все, что отдавать не имела права, ни одна из облагодетельствованных ею бывших стран «народной демократии» не сочла нужным сделать в ответ хоть какие-то дружественные шаги. Напротив, потрясающие разрушения последних двух десятилетий в поверженной и фактически оккупированной транснациональным капиталом бывшей советской стране вызвали в среде экс-союзников, в том числе и в славянском мире, волну злорадного ликования. Реставрация капитализма, приведшая в Польше, как и повсюду, к неоправданным страданиям народа, выявила неприемлемость для правящей верхушки нормальных, добрососедских отношений с Россией.

«Время надежды», «Парадоксы перестройки», «Контролируемый взрыв» – назывались книги о России, изданные в Польше во времена, когда западные инструктора одобрительно «хлопали по плечу» разваленную под их диктовку страну. Затем книги стали носить названия, более соответствующие настроениям мирового лобби: «Планета злодеев», «Имперская баба», «Ад с видом на небо», «На руинах тоталитаризма», «Империя абсурда»... На рубеже XX-XXI веков польско-русское противостояние обрело новую остроту. Официальная политическая позиция Польши – преданного клиента США, информационной базы кавказских сепаратистов и enfant terrible Евросоюза – в этот период являет собой воплощенное отрицание мирного взаимодействия и дружественного сотрудничества с Россией. Фактически именно польская пропаганда наиболее ревностно воплощает фултон-

ские заветы Черчилля, реализуя линию жесткой, грубой конфронтации в духе «холодной войны».

Вступив в Евросоюз и НАТО, Польша, стиснутая между Одером/Нейсе на западе и бывшей линией Керзона на востоке, стала заложницей геополитических интересов новых могущественных доноров-покровителей. В эпоху либерально-атлантистского кибериндустриализма Польша для запада – всего лишь транзитная территория для размещения боеголовок, но призрачная самостоятельность страны подпитывает гонор местной бюрократии, ее тоску по державному статусу. В «свободной Польше» последовало спровоцированное охлаждение к России, началась ее вторичная демонизация со стороны властных структур, СМИ, «неправительственных организаций» и т.п. «гражданских институтов» в интересах саморекламы для достижения внутриполитического успеха, а в перспективе – и внешнеполитического реванша. Обязателен стиль настороженности в публичных высказываниях о России, эксплуатируются расхожие тривиальные образы, делаются размашистые выводы, основанные на измышлениях. Позитивные стереотипы планомерно вытесняются и предаются забвению, транслируется преимущественно негативная информация: упрощенный имидж заменяет объект. Трепетно охраняя свою «приватность», поляки, как и весь запад, бесцеремонны по отношению к «чужим» – русским, в частности. На Россию смотрят свысока, требуя от нее «модернизироваться», сбросить «бремя имперского прошлого».

НАТО-европейская интеграция Польши, ограничив ее суверенитет, изощренно противопоставила страну славянству, стала опорой новой дезинтеграционной идеи: славяне без России и против нее. Антироссийская пропаганда имеет целью навсегда поссорить поляков и русских, разделив славянство в интересах запада. Антирусские установки – казалось бы, обветшалые и отжившие – ежедневно внушаются, вдалбливаются массам населения как догма. Давних препятствий для сближения славян, неугодного западу, остается немало, а новых возводится еще больше. По-прежнему, как и во времена Тютчева, понятны его строки: «Вам не прощается Россия, России не прощают вас». Идеи Сэмюэля Хантингтона, признающего особую роль России как центра православного мира, в Польше непопулярны. Новые мифотворческие стихии, общие для всего мира, включая Польшу и Россию, стремятся углубить цивилизационный разлом, догматизировать примитивные решения, демонизировать критическую мысль, где бы

она ни рождалась. Ничто действительно независимое и «самоуправляемое» не по нраву новым претендентам на мировое информационно-экономическое господство.

Восточная политика Польши после 1989 года делается по рецептам Бжезинского, с его патологической русофобией и алчной нетерпимостью (как известно, на «великой шахматной доске» России отводится роль сырьевого резервуара-колонии). Не случайно именно поляк Бжезинский – самый яркий пример развития американского гегемонизма, чья геостратегия воплощает исконный польский вектор соперничества с Россией. Новый антисоветизм совместился с атавистическим польским антирусизмом и традиционным лицемерием запада по отношению к России – вечному конкуренту. В декоммунизации, люстрации и прочих навязчивых идеях польского обывателя скрыт остро заточенный антирусский клинок. Неустанное серийное низложение советизма стало коньком польской журналистики. Идеологическая доктрина – при любых лево-правых вариантах режима – обязывает аппаратчиков высказываться о России холодно, спесиво и нагло (с большей неприязнью говорят здесь только о Белоруссии). Стандартные дипломатические модусы «добрососедства» и «невмешательства» к восточным сопредельникам неприменимы, соответствующие клише исключены из пропагандистского речевого обихода. В иерархии врагов, при всей германофобии польского национального самосознания, первое место принадлежит русским (заметим: польская формула примирения «прощаем и просим простить нас», ныне с легкостью адресуемая, к примеру, Германии или Украине, никогда не предлагалась России). Бесконечно перебираются четки претензий к «поверженному дракону» за былые грехи, от него требуют покаяния, публичных извинений, самоотречения и авансом выставляют счета за новые, потенциальные угрозы. Производится подмена культурной памяти польского народа, дабы навязанные потребительские псевдоценности были им приняты как свои. Этим занята вся пресса – бумажная и электронная, – обслуживающая частные политические интересы.

Отсюда нервная тяга постсоциалистической Польши к западу, маниакальная идея возвращения «к нормальности», «в Европу», а равно и желание вынести Россию (включающую в себя часть этого континента) за скобки той же Европы. По сути, через внедрение анахроничных штампов ведется информационная подготовка новой волны экспансии на восток под прикрытием исторических мифов. Укреплению враждебности служит практически вся, ориен-

тированная на индоктринацию польского общества, нынешняя пиар-публицистика (на фоне этой лавины неприятия одинокие здравые голоса не в счет). Россия тут оценивается по шкале эстетствующего либерал-примитивизма, в фетишизированных, утративших смысл терминах и отождествляется с демонизированной советской «империей зла». Ослабление, бедственное положение современной России констатируется с нескрываемым удовлетворением, а признаки хотя бы малых перемен к лучшему раздраженно трактуются как игра мускулами, возврат к имперскому прошлому. Негативно маркированный априорный образ «чужого» реанимирует любые подходящие к случаю архаичные схемы, дабы внушить императив неискоренимой цивилизационной конфронтации между Россией и Польшей (как делегатом запада). Лишь немногие воспринимают новый русский опыт как часть общемирового кризиса.

Версии образа России в современной польской журналистике

Суммарно-целостное представление о России и русских, отраженное новейшим польским имагологическим зеркалом, дает образ искривленный и монотонный. Посредничество СМИ направленно деформирует образ, придавая ему «надлежащий» геополитический крен, содействуя нагнетанию негативных стереотипов. В эссеистике и репортажной публицистике «дежурными» русофобами выступают корреспонденты и обозреватели из возглавляемой Адамом Михником и стремящейся монополизировать общественное мнение «Газеты выборчей», а также многие авторы распространяемого в России на русском языке ежемесячника «Новая Польша» (главный редактор Ежи Помяновский). Прошли времена иллюстрированного журнала «Польша», с 1955 по 1990 год ежемесячно выходившего на русском языке (тиражом до 250 тысяч экз.). Среди официозной шелухи там было много материалов, говорящих – через реальные эпизоды и факты – о действительном братстве польского и русского народов. На смену «Польше» в 1999 году явилась «Новая Польша» – претендующий на интеллектуализм пропагандистский орган закамуфлированно-реваншистского направления, рупор нынешнего государства, стоящего на страже евро-атлантистских стратегических интересов. Понятно, что этот журнал задает деструктивно-разобщающий модус восприятия России и русских, хотя и помещает немало информативных,

основанных на источниках материалов по частным вопросам истории польско-русских культурных отношений.

Старые мифы – оружие обоюдоострое. Взваливание своих недостатков и вин на чужие плечи – нечто вроде магического ритуала, который, однако, не столько усиливает творческую энергию, сколько ослабляет сопротивляемость новым стрессам, гасит энергию развития. В интересах этноса – критика мифов, их эволюция, постоянное преобразование мифологической парадигмы. Даже ничтожное изменение объема мифа почти невозможно, поскольку это консервативная, защитная структура – ответ на стресс, глубоко укорененный в национальном подсознании. Возможна лишь трансформация – нейтрализация или активизация той или иной стороны, смысловой составляющей мифа. Те, кто оказывает сопротивление привычным мифам, нередко слывут изменниками. Это в полной мере испытали художники на всех широтах земного шара. Политики «правы», когда не доверяют людям искусства. Ведь у тех, чьими усилиями создается культура, – собственные мотивации и предпочтения. Личный креативный миф для них иной раз более весом, чем какие угодно коллективные мифы.

Польская эссеистика всегда изобиловала текстами о России. Последние два десятилетия – не исключение. В период крушения Советского Союза котировки русской темы на глобальной информационной бирже достигали невиданных высот. На мутной волне коммерческого бума всплыло немало грязи и дряни, изобличающей напластования историософской психопатологии в сознании и подсознании как отдельных авторов, так и целых – наднациональных – литературно-журналистских школ. Лишь кое-что – скажем прямо, весьма немногое – из опубликованного имеет приметы не то чтобы человечного, сочувственного взгляда на Россию и ее народ, но хотя бы суждения умеренного, сдержанного, взвешенного хоть по жалкой букве слогана «толерантности». Многие польские наблюдатели мелочно, подчас со злорадным удовлетворением, запечатлели свое видение от погибели «бесчеловечной земли». Объективных высказываний мало, и тем не менее эссе, репортажи, путевые очерки, даже книги, содержащие частичную истину, есть и в польской словесности.

Крупный успех польской литературы рубежа тысячелетий в осмыслении русской темы – книги из северного цикла Мариуша Вилька (р.1955): «Волчий блокнот» (1998), «Волок» (2005), «Дом

над Онегой» (2006)[1], «Тропой оленя» (2007). Вильк приехал в Россию в 1991-м как корреспондент и с тех пор, с малыми перерывами, обитает здесь, «в стихии русской речи, другими словами – в реальности, сформированной русским языком и одновременно этот язык формирующей» (В, 174). Продолжает писать для польской периодики корреспонденции, из которых потом складываются его книги. Десять лет он прожил на Соловецких островах, затем перебрался в Карелию. По его словам, он настолько «увяз в теме» (В, 140), что уже «ловит себя на том, что все чаще думает по-русски» (В, 154). Да и не всякий русский сравнится с ним в знании языка, а еще более – отечественной истории. Вполне резонен риторический вопрос одного из его собеседников: «Кто из нынешних русских писателей с такой любовью пишет о России?» (ДО, 29). Конечно же, он прибыл сюда, в российскую глубинку, со всем своим прежним духовным багажом. С ним Виткевич и Гомбрович, Кавабата и Басё, Томас Мертон и Николя Бувье... Но в новой жизни его собеседниками становятся прежде всего русские: Аввакум, Пушкин, Гоголь, Пришвин, Блок, Набоков, Клюев, Шаламов (а еще – Пелевин, читать которого, считает он, лучше в оригинале, как Платонова)... Полночные рубежи России обретают в польском писателе вдумчивого и уважительного следопыта. «Капризная тропа» (В, 13) провела его по Соловкам и Белому морю, через прионежский водораздел, по древнему маршруту волока, на который в XX веке наложился Беломоро-Балтийский канал, – в Заонежье.

Всякое он повидал, прежде чем прибыть сюда – проехал Дальний Восток, Алтай, мятежную Чечню, Абхазию. Но многого не осознавал, пока было не с чем соотнести: «Опыта не хватало. Воображение дремало» (ВБ, 58). Целостная картина, соединившая нагромождение форм («Россию видимостей») и живую сущность «матушки-Руси» (ВД, 13), сложилась у него, только когда он стал не прохожим, а жителем этой земли. Вильк ищет Россию на ее географической окраине, руководствуясь очевидным соображением: в этническом русском сплаве смешались гены славян-кривичей, угорской чуди и варяжской руси, русский мир соткан из многих традиций, оттого суть «русского духа» отчетливей на стыках с другими культурами. Так и в словесную ткань книг Вилька вплетено множество нитей. Перемежаются повествование о текущих житейских событиях, исторические сведения,

[1] Далее при цитировании, соответственно: ВБ, В (русские переводы), ДО (польский оригинал), с указанием страницы.

очерки людских судеб и медитативные зарисовки. Автор погружается в давние предания. Изучает летописи, жития святых, путевые заметки своих предшественников и сжато сообщает о них. Размышляет о старообрядчестве. Вникает в сюжеты о скоморохах – старорусских шутах-бунтарях. Осторожно прикасается к теме шаманства. Бережно разматывая клубок впечатлений, пишет многотомный дневник-репортаж с лирическими вкраплениями, глоссами, комментариями. Жанр литературного дневника, предполагающий сдержанность и дистанцию, видоизменен экспрессией стиля, выдающего искреннее волнение автора.

Вильк – не залетная птица. На русском севере, где «природа лично экзаменует человека» (В, 190), происходит его жизнь. Здесь он ощутил наступление зрелости – «внутреннее согласие на одиночество». Под его пером возникает картина севера – края света и вершины мира, откуда все видно «в надлежащем масштабе» (ДО, 47), с предельной ясностью – «как с того света» (ДО, 45). Автор пребывает в мире духовных событий и обыденной мистерии выживания в жесткой среде. Ибо северный пейзаж органичен, скудный быт естествен и суров, ничто не отвлекает от тишины и уединения, от жизни как таковой (особенно зимой, когда дороги непроезжие и почти не бывает гостей). «Здесь наконец можно жить без свидетелей, можно укрыться. По-настоящему» (В, 191). Зато природа раскрывается сосредоточенному созерцанию, подобно иконе, и в человеке пробуждается исконное видение, глубинное естество. «Вокруг простирался первобытный мир. Никаких следов цивилизации, культуры, истории. Полное отсутствие прошлого. Ни руин, ни памятников архитектуры. Совершенно пусто – в пространстве и во времени. Отсюда, возможно, это особое чувство, знакомое лишь странникам далекого севера: ощущение конца – мира, жизни. Реальности» (ВБ, 194). Вильк замечает, что нашел прибежище в мире, где зеркально отражено небытие: пустота этого мира объемлет все, она и есть полное бытие. Взгляд редкий для европейца.

Обыденность, проживаемая вместе с русскими северянами, помогает автору преодолеть барьер чужести. «По паспорту я оставался для них иностранцем, но, прожив долгое время бок о бок, стал своим. Одно дело, если ты обосновался в гостинице, имеешь «удостоверение иностранного корреспондента», иммунитет, предоставляемый аккредитацией, и кучу баксов, – и совсем другое, когда сам окучиваешь картошку, умеешь подо льдом сети поставить и в тундре в одиночку не пропасть» (В, 189-190). В то же время в сознании остается ценный

оттенок отрешенности – помогающей более интенсивно воспринимать непосредственную жизнь. «У меня тут положение особое – ни с кем особенно не сближаясь, я со всеми знаком» (ВД, 118). Писатель всегда немного «вне», всюду чужеземец, но и повсюду дома, если он «на своей тропе» (ВД, 89). Впрочем, чужим он не мог быть изначально – язык его славянской родины слишком близок русскому, через него он «глубже проникает в свой родной – польский» (В, 172). Теперь он знает говор русских буден и поморские имена ветров и рифов, нередко пользуется в тексте русскими словами, которые иногда совпадают с польскими архаизмами, но обозначают и явления, отсутствующие в польской языковой картине мира. Одно из таких слов – «изба». Русская изба с ее сердцем, печью – модель духовного и материального устройства вселенной. Вильк усваивает азы избяного букваря вслед за русской народной традицией, и это знание становится частью его души. Он смотрит в устье печи, и ему кажется, что он заглядывает «в бездну праистории и в собственную глубь» (ДО, 37). Когда его страсть к старинным жилищам «начинает приобретать тревожные черты мании» (В, 147), он покупает невдалеке от Кижей приозерный дом в стиле «северного модерна» и поселяется в нем. Восстанавливает в своем доме русские печки, проводит электричество в вымирающее село, реставрирует часовню, добивается ее освящения, занимается огородничеством...

Вильк слагает гимн былому, не знавшему крепостного права и татарского ига, русскому северу, где Россия видна, «словно в капле воды – море» (ВБ, 15), хотя не раз отмечает, что этот край не всегда был русским и – в силу непреодолимых причин – может перестать им быть: «Русские появились на севере относительно недавно, и из моих наблюдений следует, что скоро они отсюда исчезнут...» (ДО, 154). Он вовсе не апологет России – ни прошлой, ни нынешней, а ее тщательный и осторожный, часто скорбящий, наблюдатель. Ключ к культуре он видит в религии и знает, что православная церковь оппонировала власти во все века. В то же время соловецкие казематы были старейшим застенком империи, а обитель веками процветала не только трудами монашеской братии, но и благодаря щедрым податям, дармовой работе и пожертвованиям паломников. В монастырской традиции труда и послушания Вильк усматривает корни «идеологии рабства XX века» (В, 81), трудовых лагерей эпохи перековки и коллективизации. В то же время он отвергает либеральное отождествление коммунизма с фашизмом. Заключенные-каналоармейцы не могут быть, по

его мнению, приравнены к жертвам нацистских лагерей уничтожения (поэтому есть папиросы «Беломорканал», но немыслимы сигареты «Освенцим»). Путешествуя по каналу, он видит оживленную, веселую реку-труженицу (искусственное русло пробито лишь на одной пятой пути, остальное – старые реки и озера). Помня о страшном, Вильк не затушевывает итога: «беседуя со множеством людей, в том числе с детьми ссыльных и бывших зэков, я с изумлением обнаружил, что все они гордятся этой стройкой – словно египтяне своими пирамидами» (В, 60). Ибо утраты – неизбежные спутницы истории, а волны времени выравнивают все.

На «северах» еще есть углы, где жизнь веками не менялась. Но многого нет – это было когда-то. «Глядя на дореволюционные фотографии, понимаешь, сколь преуспела Россия в истреблении собственного культурного пейзажа» (ВБ, 28). Уже не плывут над бесконечной равниной перезвоны колоколов. Где прежде были раскольничьи «гари», нынче запойные мужики сгорают в халупах. Смелые, свободные, предприимчивые поморы остались в прошлом. В похмельном тумане исчезает быт, отшлифованный веками. Заезжий поп спьяну крестит в озере коня. В гибнущих селах – сектанты да бичи-алкаши, привычными элементами пейзажа стали бесчувственные от спирта «пейзане». Народ не вяжет лыка, работать не хочет и не умеет. Люди, не помнящие предков дальше деда с бабкой, вешаются от тоски и безнадеги. Тем, кто утратил веру, остается только бред. Гибель деревни Вильк справедливо считается главной катастрофой XX века, радикально изменившей Россию. Для того, чтобы понять, что же происходит, он считает необходимым «заглянуть в лица тем, кто уцелел на месте гибели. Посмотреть в их пьяные, обезумевшие глаза» (ДО, 21). Продолжается вековая нещадная эксплуатация туземцев – «самоедов»: пришельцы с «большой земли» спаивают их и грабят. Хищники новой породы сводят леса, выкачивают газ, снимают слой заповедного шунгита, подбираются к ванадию и урану... Природа вот-вот не выдержит возросшей силы уничтожения. «Одичавший капитализм, который нагрянул на Россию, как татарская орда, не считается ни с чем, что не пахнет деньгами» (ДО, 164). Над ограбленным народом глумится «толпа жуликов, авантюристов, взяточников, а также обыкновенных ворюг, хозяйничающих повсюду, от метрополии до последнего уезда» (ВД, 147). Повальное вырождение людей, запустение земли, постсоветская разруха. Повсюду свалка и грязь – «пятая стихия России» (В, 115). Фактически происходит агония русского севера.

Вильк ощущает приближение бунта, зреющего в недрах долготерпения. Из хмельного трепа мужиков он узнал о здешней жизни больше, чем из книг, написанных чужими. Узнал и полюбил живущих здесь людей, научился понимать «не только то, о чем они говорят по пьянке, но и то, о чем молчат трезвые» (ДО, 14). Он не скрывает удовлетворения оттого, что «моральному позерству членов "Мемориала", их категоричному требованию коллективно покаяться за отцовские и дедовские грехи молодые россияне противопоставляют идею существования на свой страх и риск» (ВБ, 71). Точное действие в экстремальной ситуации – единственная надежда на выход. Крестьяне «были и остаются солью этой земли. Наблюдая их нечеловеческий труд, я наконец понимаю, благодаря чему Россия до сих пор существует» (ДО, 99). Редки примеры работящих, инициативных людей – но они все же есть. Не погас последний свет в глубинке – живы сельские библиотеки, возводятся храмы. Вильк смотрит вокруг без отчаяния – «видимо, привык к местным ужасам» (ВД, 146). Он, последователь самурайского кодекса «бушидо», знает, что север пожирает энергию, его пустоту невозможно заполнить. Здесь можно только вкалывать вахтенным методом или кочевать – поселения это стоянки номадов среди бесконечных пустых форм, белизны, игры света, миражей. Это пустота экзистенциально неизбежная – совладать с ней способно мужество. Тревожней пустота иного рода. Когда-то Вильк прибыл в Россию из-за океана: «После Штатов я жаждал общения, а не безупречных зубов, оскаленных в безупречной улыбке. Москва компенсировала мне США с лихвой» (В, 178). Увы, по прошествии лет он фиксирует нарастающую вестернизацию столичной жизни: «Излишество жратвы и тел, слов, поз, жестов. Книг и лаптопов, священнодействия и церемоний» (В, 180). Провинция – пока – дело иное.

Перед лицом добровольно покинутой им Польши автор «Волчьего блокнота» вступается за Россию, уличает тех, кто прежде писал о ней, в недоброжелательности, безответственных россказнях, передаче слухов с чужих слов. «Современная Европа в своих рассуждениях о России редко выходит за пределы стереотипов первой половины XVI века. <...> Запад смотрит на Россию извне, с европейской точки зрения, перекраивая увиденное на свой лад» (ВД, 50-51). Константы беспредельности, неустроенности, бесправия и безысходности, – как правило, только это и видит внешний взгляд. Бесконечно варьируется много раз сказанное, выращиваются, вслед за Дюма, все новые сорта «развесистой клюквы». «Образ России в заграничных СМИ и

собственно Россия – это две разные страны. <...> Львиная доля журналистских сообщений о сегодняшней России не выходит за рамки стереотипов, штампов или легенд» (ВД, 57). Вильк ощутил неприложимость внешних мерок к русской действительности и изменился сам («Ибо многие из нас, чужеземцев, подольше пожив в России, начинают чувствовать себя в Европе, как в шкафу: теснота на полках, какие-то ящики, ящички, и всюду пахнет нафталином», ДО, 18). Из вынужденной отлучки за границу писатель возвращается с облегчением: «Европа это мираж. Фатаморгана – и все» (ДО, 91), всего лишь отпавший «осколок Азии, что видно в корнях ее языков» (ДО, 94). Ему надоела самонадеянная, суетливая, переедающая Европа, чьи газеты, «как гиены», выносят трупы на первые полосы (ДО, 95), а телевидение «терроризирует миллионы зрителей» хроникой насилия, превращает кошмар в реалити-шоу для развалившихся перед ящиком обывателей (ДО, 109). Брутальные сцены «разогревают тепленькую кровь в жилах, заплывших жиром от благосостояния» (ДО, 110).

«Мир за Бугром» не без оснований напоминает ему Римскую империю периода упадка (ДО, 95). «Польша с Соловков видится маленькой, тесной, раздраженной» (ВД, 60). Вильк вспоминает Милоша, который констатировал, что после России поляки не могут найти себе места на родине с ее «мелочностью и маразмом» (ВД, 60). Въезжая в Польшу, он видит из окна вагона «землю, нашинкованную полосками», и ощущает, как «пространство съеживается» (ДО, 101). Его мутит от делячества, избыточности, бесстыдства, от вида «жующеболтающих ртов» в безостановочном движении: «прав был дед Петр, когда утверждал, что всякая чрезмерность ведет к тому, что человек, как стружка, скручивается вокруг собственной пустоты» (ДО, 101). Он игнорирует выборы и референдум о вступлении Польши в Евросоюз: «В обоих случаях я выбрал иное направление. Сел в поезд и поехал к себе – на север» (ДО, 95). Вскользь, но неоднократно, Вильк упоминает о польских бандах Смутного времени, разорявших и грабивших русские города и монастыри. Он думает об «иронии судьбы и слабой памяти поляков» (ДО, 116), искони приходивших на Русь с огнем и мечом. Вот слова, выражающие суть его понимания «русской проблемы»: «...Меня возмущают голоса, доносящиеся время от времени с польского “базара” о Европе, о том, что, находясь между Евроунией и Москвой, мы должны как можно скорее слиться с первой, дабы вторая нас не съела. Эти голоса повторяют, как мантру, один и тот же затертый штамп об имперских кознях России. Однако – на-

поминания ради! – ведь польский король Болеслав Храбрый первым взял Киев, не говоря уж о том, что на следы польских панов от Дмитрия Самозванца я по сей день натыкаюсь в Заонежье. Разделы были потом. Наполеон тоже первым занял Москву, Александр I вошел в Париж позже. То же самое было и с Гитлером. Так о чьих же имперских кознях речь применительно к отношениям "Россия – Европа"?» (ДО, 95). Не типичный для поляка трезвый взгляд. Взгляд *непростительный*, с точки зрения русофобской еврокорысти.

Писатель отдает себе отчет в том, что в варшавских салонах может быть вычеркнут из списка «своих», но упрямо гнет свою линию: «Дело в том, чтобы не дать себя свести с ума миру биржевой игры и звонкой монеты и не плясать под дудку их медиа и мод, но держать собственный ритм... самому стелить себе жизнь» (ДО, 100). Вильк с отвращением рассказывает о давнишних тоталитарных проектах поляка-скопца Еленского. А о времени «Солидарности» ее бывший активист пишет: «Чудес не припоминаю, зато мерзостей выше крыши» (ВД, 101). Ему скучны визитеры-соотечественники, самоуверенно толкующие об отвлеченных понятиях: «Они болтают о демократии в западном стиле (с сарматским акцентом), я ее смягчаю по-русски (чуть деформируя). А ведь контекст, выговор или ударение для каждого понятия необычайно важны...» (В, 155). На вопрос земляка, почему он осел на севере, писатель отвечает презрительным афоризмом: «Полярный круг – именно то расстояние от польской политической сцены, которого следует держаться» (В, 182). Правда, Вильк не чужд мечтательных предположений о том, что – сложись история иначе – «быть может, русский север оказался бы сегодня Северной Польшей» (В, 32), однако в контексте его прозы это звучит, скорее, иронически. На родине Вилька ценят как особый случай вчувствования в иное, но уже «поварчивают», что он «теряет контакт» с миром, а заодно и «хорошие манеры», что из-за русизмов его речь порой невнятна. А ему «жаль, что знание русского в Польше умирает» (В, 172). И воспринимает он себя, между прочим, как продолжателя польского дела – «плетущего общий текст» (В, 229) с теми, кого считает соратниками: Герлингом-Грудзинским и Гедройцем (чьей памяти посвящен «Волок»).

В России он обрел ясность взгляда, вышел на свою тему – бесконечного приближения к сути непрерывно становящейся реальности. Не терпит ярлыков, ищет подлинности, без конца задаваясь вопросом: «где правда?». В поисках «последней истины» о человеке

Вильк особо отмечает Шаламова (В, 214), хотя оговаривается, что и его «лагерная правда» относительна – как у всех, кто писал о лагерях: все «подгоняли» реальность под свою биографию (В, 220). Ибо реальный мир сложнее, чем любые рассуждения о нем. Польский писатель стремится – подобно Шаламову – стать субъектом «прозы, пережитой как документ». Ему дороги «формы русского бытия», он ценит многоликий русский мир и не видит причин «разделять его лишь потому, что сегодня от Российской империи отпочковываются новые побеги» (В, 48). Аскетизм севера помогает сосредоточиться, сообщить письму достоверность. Вот русский спутник Вилька беззлобно «разоблачает» его: «Интересный казус: "поляк" (а также "мар") означает на фене "вора-одиночку". – Ты, Мар, как настоящий «поляк», воруешь нашу русскую действительность и продаешь ее в Париже, как свою собственную...» (ВБ, 197). В сущности, это парадоксально выраженная высокая оценка. Вильк-читатель не любит вымысла, предпочитает «тексты, в которых писатель живет» (ДО, 87), и сам дает честный отчет о пережитом. Вылавливает «лоскутки сюжетов» из «полифонии судеб» (ВД, 192), собирает «крупицы русского мира» (В, 29). Хотя он среди нас уже так давно, что у него даже «порой возникает искушение вообще перестать говорить о России» (В, 154). Однако северный цикл продолжается – есть основания ждать от писателя новых проницательных суждений.

По ассоциации с фамилией автора и названием его первой книги о России, взгляд Вилька можно уподобить умному взгляду вольного «степного волка». Этот поляк, осевший на русском севере, провел в нашей стране почти двадцать лет, глубоко освоил ее язык, культуру, обычаи, вжился в ее проблемы и практически полностью освободился от удручающе стандартной, «ясновельможной» польской оптики. Как точно заметил Вильк о своих пишущих соотечественниках: «На Россию смотрят то издалека, то свысока...» Репортажные книги самого Вилька – редкое и отрадное исключение: «чужое» пространство становится у него своим, он искренен и не патетичен, а просто исходит из убеждения: «Россию нужно пережить». «Россия же так огромна, что ее не только умом не понять, но жизни мало, чтобы пережить – всю. Вот почему любое обобщение выходит бледным, а прогнозы попадают пальцем в небо» (ВД, 65-66). Ему удалась попытка взглянуть на свою тему изнутри, «глазами русского человека» (ВД, 50), а не иностранца. Прожив не один год в России, он даже чувствует себя «русским писателем, пишущим по-польски» (ДО, 22). Впрочем, он откры-

то признает: «моим идеалом является язык, не требующий перевода с польского на русский. И наоборот. Правда, идеал недостижим... Я лишь указываю направление моих поисков – не цель. Это как в Дао: тропа и есть цель. Путь в глубину» (В, 173). Свободно связанные фрагменты его повествований «образуют единое течение познающего чувства и переживающей мысли»[1]. Рассказ Вилька не бестелесен, порой раблезиански чувствен. И все же на выбранной им земле он прежде всего пребывает в духе, безгневно представляя родную Польшу малохарактерным для нее подвигом тихого покаяния и смирения. Среди писателей – быть может, он один.

Присмотримся к другим недавним произведениям польской эссеистики на русскую тему.

Вот два больших текста, написанных примерно в одни годы, во всяком случае – в одну эпоху: «Империя» Рышарда Капустинского (1993) и «Планета Россия» Кароля Врубеля (2005). Книги примерно равного объема (стандарт бестселлера – около 15-ти листов), почти совпадающие по жанру. И то, и другое – репортажная публицистика, фиксация личных впечатлений от посещений СССР, затем – России. Плод длительных, самостоятельно предпринятых, хотя и оплаченных западными информагентствами, путешествий. Замечу сразу, что ни одна из книг по охвату реальности, уровню и методологии анализа, перспективности мышления отнюдь не видится образцом философской документалистики. Капустинский – не Достоевский, а Врубель – не Чехов. Впрямую выраженные ими суждения и оценки порой напоминают ярлыки, смущают банальностью, а размышления страдают несфокусированностью, слабостью логической связи с изложенными фактами.

Однако добротность, «сочность» образной подачи, сама по себе расшатывающая идеологический шаблон, обязывают принять во внимание обе избранные книги. После поморских хроник Вилька это, пожалуй, важнейшие в современной польской «литературе факта» тексты, связанные с Россией. Общая, демонстративная, черточка обеих книг, придающая им «стрингерский» оттенок, – пунктирно намеченная линия автогероизации «настоящего мужчины» (у Капустинского еще и «вестника среди необращенных»). Попытаемся, рассмотрев проблемную композицию и основные идеи авторов, выявить, в чем различны, если различны, их позиции, и кто из них в большей степе-

[1] *И. Адельгейм.* Предисловие переводчика // Вильк М. Волок. СПб., 2008.

ни свободен от стереотипной антирусской заданности, которая является – примем как аксиому – константой (то открытой, то затаенной) почти всякого польского взгляда с давних пор и надолго.

Рышард Капустинский (1932-2007), автор высшей лиги мировой публицистики; в 2006 г. был номинирован на Нобелевскую премию. Как пишет он сам, «то, что интересует меня более всего, – это ментальная и политическая деколонизация мира» (309). По его словам, побывал на дюжине фронтов и был свидетелем трех десятков революций. Снискал авторитет «волшебника репортажа» еще в 1970-е годы. Его корреспонденции из «горячих точек» «Третьего мира» (Индия, Африка, Латинская Америка), книги политических эссе об Эфиопии («Император» – о временах Хаиле Селассие через исповеди анонимных царедворцев) и об Иране («Шахиншах» – о крушении режима Реза Пехлеви) стали классикой жанра, изданы на многих языках. Лестные отзывы о Капустинском принадлежат Г. Гарсиа Маркесу («лучший журналист XX века»), Дж. Апдайку, Дж.ле Карре, С. Рушди. Последняя книга Капустинского – «Путешествия с Геродотом» – дала рецензентам повод прославить его не более и не менее, как «Геродота нашей эпохи». Его риторически выверенный, деловитый, но эмоциональный стиль служит образцом не только для польских журналистов. Он также автор пяти томов под общим названием «Лапидарий» – пример того, что в Польше называют «сильвической» прозой: род ассоциативного дневника-воспоминания – обо всем, что приходит в голову. Помимо прочего, Капустинский – еще и поэт, писавший сжатые, афористичные верлибры на темы повседневности и истории. Неплохо владел русским языком.

Его «Империя» перепечатывается в Польше ежегодно – старым, престижным издательством «Чительник» (2007 – дважды; а в 2008 вышло 18-е издание в отчетливо пропагандистской прозападной «Библиотеке "Газеты выборчей"»); переведена во всем мире (в России пока в отрывках, в журнале «Знамя»). Абсолютный хит, текст уже хрестоматийный – своего рода «установочный» опус о России, выдержанный в духе либерально-романтической критики, идущей от клича времен декабризма и польских восстаний: «за вашу и нашу свободу». На нем воспитываются юные поколения поляков. Этот текст, по-своему основательный, местами остроумный, соблюдает правила рассуждений, установленные традицией парижской «Культуры». Он предложен господствующей идеологией в качестве альтернативы грубому прагматизму (схеме Збигнева Бжезинского), эталона учтивой

«политкорректности» по отношению к восточному соседу. Разумеется – той «политкорректности», которая неявно, но безусловно все равно предполагает «национальный интерес» Польши в ослаблении и расчленении России и альянсе с расплывчато понимаемым «иудеохристианским» западом.

«Империя» включает воспоминания детства (1939 год) и впечатления от поездок в СССР в 1950-е, 1960-е и 1989–1993 годы. Автор – арбитр и эксперт – свидетельствует во имя высших ценностей: все у него служит разоблачению тирании и варварства. Книгу открывают девять эпиграфов (от Достоевского до Войновича), лейтмотив которых – нелепость и невнятность русской жизни. Завершает выписка из Толстого: «Едем Бог весть куда, и Бог весть что с нами будет» («Война и мир»). В предисловии Капустинский именует свою книгу «полифонической» в особом смысле: финал приносит не синтез, а дезинтеграцию и распад («поскольку распаду подвергся главный предмет и тема»). По сути он занят только одним: в разных ракурсах экспонирует отталкивающие лица Советской и постсоветской России – этого «анахроничного» (87) воплощения коммунистической идеологии и его «немощного пережитка» (87), стремящегося к неизбежному краху. Не скрывает ликования по поводу того, что на дне «последней империи на земле» (87) «оживает вулкан» (172). Но высказывает опасения, ибо русские арсеналы пока еще могут «взорвать нашу планету» (87).

«Первые встречи» с Россией – в родном городе Пинске, оккупированном Красной Армией: дикость, жестокость, голод, депортация, Сибирь, холод, вооруженное насилие. «Транссибирское» путешествие через двадцать лет столь же безотрадно. Русский народ предстает безвольным, лишенным порыва к свободе. Империю населяют странные люди – одинаковые, замкнутые, закрытые перед чужими. Люди здесь раздражающе безропотны. «Если есть нечто такое, как национальный гений, то гений русского народа выражается, в частности, именно этим изречением: “Ох, такова жизнь!” (40). Капустинский приводит целый словарик идиом покорности: «Да ладно! Да что там! Все возможно! Ну и пусть! Будь что будет!.. Поживем – увидим!» (150). Вот, по его наблюдению, «самая суть русской философии жизни»: на вопрос «Как живете?» сибирская бабушка отвечает «голосом, в котором была и гордость, и смирение, и страдание, и радость: “Дышим!”» (189). Капустинский разделяет тезис В. Соловьева о том, что человек востока подчиняется высшей, сверхъестественной силе (218), при этом не стремясь к индивидуальной самореализации.

Жизнь на этой земле не приспособлена к потребностям человека. В магазинах пусто. Ни мыла, ни обуви, ни скобяных товаров, ни еды. Все неудобно и некрасиво. Везде бедность, зловоние, грязь, неуют. Улицы служат не для прогулок, а только для того, чтобы поспешно прошмыгнуть домой (275). Отталкивающие города – режим поставил целью уничтожить все, что имело свое лицо. (Ни слова о выжженной гитлеровцами русской земле). Колыма – «геенна», которая «вместе с Освенцимом, Треблинкой, Хиросимой и Воркутой перейдет в историю величайших кошмаров XX века» (204). А на картах у нас, оказывается, Америку режут пополам (как, впрочем, в Америке – Россию) – «чтобы русский ребенок не подумал: «Боже! Ну и большая эта Америка!» (167). Такие карты, при убожестве русской жизни – «визуальная компенсация, своеобразная эмоциональная сублимация, предмет нескрываемой гордости» (167). Следует подробное, полное сарказма, описание патриотического театрального представления «Слово о России» в Иркутске (176-183).

В натуре русского человека затаена бессмысленная жестокость и тяга к страданию. «Суть этого общества: глумление сильного над слабым» (198). В России, как нигде более, существует целый «уголовный слой» (202). Вся энергия русских, обитающих на «безграничной территории», уходит на содержание «безграничного государства» (ссылка на Бердяева), которое их «порабощает и угнетает» (44). Спрашивать здесь искони имели право лишь карательные органы. «В результате в Империи было все меньше и меньше людей, задающих вопросы, и все меньше и меньше каких-либо вопросов» (149). Вся страна – в лагере. Все устроено так, что простой человек постоянно ощущает свою вину (191). В то же время – общение всегда на грани срыва, истерики, любой пустяк может привести к выплеску «разрушительных энергий» (192). В коллективной памяти «закодирован призрак голода» (193), поэтому едят быстро и жадно. Только в купе поезда со случайными попутчиками, за общей трапезой, оттаивают души.

Еще через десять лет, уже на Кавказе, Капустинский с облегчением замечает, что другие – более ему симпатичные – народы империи с трудом, но все же отчасти сохранили себя вопреки «казарменному корсету советской власти» (43). Хотя, конечно же, украинская культура лучше сохранилась в Торонто, чем в Харькове (279). Русские хозяйничают всюду, за ними – «Калашников, танк, ядерная бомба» (140). Россия грабит «внутренние колонии», ничем не платя (171), а сокровища их недр бездарно тратятся на оплату агрессивной полити-

ки империи. И все же в «колониях» уютней – как проницательно замечает Капустинский, русские, лишаясь колоний, обычно не желают возвращаться в Россию. После распада СССР естественная стадия – «деколонизация Российской Федерации» (176). Нарастает «движение национальной эмансипации» среди «веками преследуемых, угнетаемых и русифицируемых народов и племен» (176). Русских охватывает «тревога, неуверенность и фрустрация» (176).

Обветшалый «Третий Рим» рубежа 1980 – 1990-х годов держится только на инерции насилия и страха, на тирании внушенных стереотипов. Все верят в мафии и заговоры как мотор обыденности и истории (203). Власть здесь веками – тайна. Поэтому тщательно охраняемый Кремль – средоточие непостижимой власти – изолирован от «живой ткани города» (222). Огромна роль верховного деспота – бого-царя. Структура и характер имперской власти: «Монарх и его армия – не потому ли российский орел, герб и символ государства, имеет две головы, а не одну?» (295). Разросшаяся столица и заброшенная провинция. По проторенным дорожкам Капустинский совершает экскурсы в историю. Большевизм – очередной самозванец времен хаоса и смуты, объявивший себя Богом (110). «Большевия» семьдесят лет стирала память. «Величайший призрак советизма» – сознательно формируемое в народе «чувство безысходности и безнадежности» (281). Недаром Сталин разрушает храм Христа Спасителя. Руководит умерщвлением десяти миллионов людей на Украине. В подручных у него – бывший лодзинский аптекарь Ягода. Следя по телевизору за съездом нардепов в 1989 году, «русские впервые испытывают ощущение участия в чем-то важном» (98). «Московский демократ» озабочен только борьбой с коммунизмом, не помышляя о том, как строить жизнь дальше. Что ж, оно и понятно, и простительно. Так же, как то, что, получив свободу слова, манифестанты эпохи продвинутой перестройки скандируют всего лишь: «Кока-кола – ура!» (231).

Вообще Капустинский с удовольствием приводит анекдотические ситуации, а ля «История одного города». А мимоходом мечет жемчуг мудрых мыслей. «Значительная часть советской металлургии это промышленность, производящая колючую проволоку» (88)». Только европейская цивилизация оказалась способна переломить свой эгоцентризм» (38). «На нашей планете утвердился тогда [в 1989 году] климат, благоприятный для демократии и свободы» (87). Гротеск основан на убеждении: российская реальность – чудовищный узел, «суть которого – странное смешение наиболее противоречивых логи-

ческих систем, которые иногда ошибочно называют нелогичностью или алогизмом» (238). Ничего позитивного – кроме Новгородской республики – на всем протяжении истории России не просматривается (297). Из немногих исключений – почтительный рассказ о группе профессора Грекова, заново собравшей из тонн цветной крошки фрески новгородской церкви Преображения Господня, разрушенной нацистами (конечно же – по вине русских, которых угораздило устроить здесь штабной бункер) (300). Капустинский вышивает инфернальный узор по заранее готовой канве. В финале он горячо говорит о своем сочувствии простому русскому человеку в его противостоянии вечно враждебной державе, словно нарочно не замечая, что государство российское, при всех его несовершенствах, было и есть – условие существования и развития русской нации.

Фактически именно для автора «Империи» Россия – другая планета, населенная тварью иной природы, нежели поляки и прочие цивилизованные существа. Однако книгу «Планета Россия» написал другой автор. Описанная им планета движется по орбите, гораздо более близкой остальному миру.

Кароль Врубель (р.1947) – автор неизмеримо менее «маститый» и признанный, чем Капустинский. Однако у него тоже есть имя. Это журналист-профессионал, на чьем счету масса очерков и репортажей, опубликованных в прессе разных стран. Он не политический публицист, а пытливый и дотошный репортер, пишущий на самые разные темы. Кажется, впервые Врубель собрал часть своих работ в книгу. Его бесспорное преимущество – в великолепном знании русского языка и постоянстве обращения к русской тематике (на протяжении почти двух десятилетий). «Планета Россия», вышедшая в 2005 году, подробно следует за сюжетом его многочисленных посещений России с 1988 по 2005 год (за исключением 1993 и 1999, когда автор то ли у нас не бывал, то ли почел за благо об увиденном не писать). Автор настолько «в материале», что его произведение во многих фрагментах представляет интерес и для русского читателя. Книга вышла в библиотечке женского иллюстрированного ежемесячника «Твой стиль» (где издается отнюдь не только легкомысленное чтиво), что обеспечило ей благополучную судьбу на рынке. Она стала обязательным чтением для русофилов, которых, вопреки усилиям официальной пропаганды, в Польше совсем немало.

Композиция книги бесхитростна и органична: вступление, 16 очерков, расположенных в хронологии их написания, эпилог. Фор-

мально – почти повтор «Империи», где кроме предисловия – 19 главок, сведенных в три части (а еще, наукообразия ради, – список цитированных источников). Казалось бы, хаотичный коллаж, калейдоскоп. Среди тем – в порядке изложения: гласность и «неформальщина» в перестроечном Ленинграде; золотодобыча в Якутии; дальневосточные и уральские лагеря; Байкало-Амурская магистраль; русская баня; дачная «элита» с Николиной Горы; история и современность Троице-Сергиевой лавры; судьба Камчатки; Амур – рубеж России и Китая; двойники Ленина, позирующие для фото; дефолт 1998 года; политтехнологии в новой буржуазной России; русская водка; портрет олигарха Абрамовича; бизнес и криминал; тайные службы и бюрократия. В сумме – своего рода социологический срез, пестрая живописная картина сложной действительности. Серия моментальных снимков периода мучительной трансформации, исторического урагана создает смысловую динамику, объем проблемы, заставляет задуматься: как удалось все это вынести и доколе можно терпеть?

Врубель наблюдает процесс распада страны с позиции сбитого с толку, простого человека, чаще всего – жителя провинции, который пытается обрести почву под ногами в новой реальности, которая (как, впрочем, и всегда в России) «без алкогольной анестезии была бы невыносима» (266). «Планета Россия» – часть советского космоса, который далеко не весь исследован (до этого была лишь недурная «Планета Кавказ» Войцеха Турецкого). В этой стране много тайн и неожиданностей, ее противоречивый образ не разложить по полочкам. Автор пишет: «Россия – это приключение и вызов. Она притягивает и отталкивает. Она сама – и преследователь, и жертва. Трудно ее понять и о ней рассказать» (347). Врубель постигает состав бытия страны через ее обыденность, но отдает себе отчет в грандиозности русской культуры, величии православия. Иногда автор сравнивает происходящее в России с тем, что переживала в те же годы Польша. Он ценит народную жизнь, поэтому вольно или невольно оказывается выразителем интересов русского народа, хотя, разумеется, не исходит из такой сверхзадачи.

«Падение империи совершилось при открытом занавесе, в блеске юпитеров» (7), – пишет Врубель. Возразить невозможно – так оно и было. Так называемый «свободный» мир» рукоплескал русскому театру жестокости и катастроф. Как теперь очевидно – не без расчета попользоваться. Ослепленная Россия долго не могла прийти в себя. Борзописцы всех стран подливали масла в огонь и щипали конту-

женного медведя. Но были и другие книги. Ни одна из двух рассмотренных репортажных книг не претендует на полноту. И та и другая – россыпь знаков, мозаика, тематически случайная, в значительной части обусловленная заказом издателей, финансировавших поездки журналистов. Ни тут, ни там не найти рецептов спасения и ключей к пониманию сегодняшней российской трагедии. Но обе книги, пускай по-разному, расширяют горизонт представлений. Хотя в главном Капустинский и Врубель, при внешнем сходстве, – антиподы. Между ними – простая грань. Как между взглядом почти только снаружи – и взглядом также и изнутри.

С одной стороны, перед нами разум, в котором драматический опыт современности не только вызвал вполне мотивированный национально-оборонный рефлекс, но и сформировал навык отстраненно-холодного абстрагирования, рассудочного, а потому бесплодного просветительства. Избирательная бесстрастность (неспособность – вопреки декларациям – признавать и уважать «чужое») лишает его повествование глубины. Мелкие неточности и крупные умолчания – изобличают в нем более увлеченного визионера, чем добросовестного фактографа. При множестве справедливых частных наблюдений, Капустинский мыслит монологически – с позиции представителя несомненного блага, которое есть метафизический противовес ошибочной жизни заблуждающегося народа исторически порочной страны. Таков, при всех оговорках, миссионер либерального романтизма в непонятом им русском четвертом мире. Ему нечего предложить этому страдающему миру, кроме избитых глобализаторских схем и неубедительных заверений вроде «Запад откажет другим, но России поможет всегда» (последняя фраза «Империи»). Его напор вызывает протест и наводит на подозрения. Импозантный спецкор оказывается неожиданно груб и лукав, корыстно тенденциозен. Его взгляд – это хитрый взгляд лисы.

Но вот перед нами другой автор, не скованный преданностью раз и навсегда выбранным атлантистским ориентирам. Мыслитель едва ли менее рафинированный, стилист едва ли менее мастеровитый, чем его предшественник, он обладает главным преимуществом – способностью сопереживать не только тем, кто ему «классово близок». Врубель почувствовал Россию, «заразился» ею, судьба ее принята им близко к сердцу, он стремится мыслить диалогически, вместе с героями своего повествования, говорит их словами, подчас перевоплощаясь в них, хотя и не отождествляясь с ними. Порой, подобно

Капустинскому, увлекается пустяками, недотягивает фабулу, его захватывает речевая инерция, он бросает проходные клише – как дань рыночной конъюнктуре. Однако он не передергивает. Сохраняет ироническую дистанцию по отношению к тому, что этого требует. В том числе к самому себе. Есть в нем даже некая застенчивость, не свойственная журналистскому племени. Он отдает себе отчет в том, что многого не понял. Его взгляд – это сопереживающий взгляд собаки. В последних строках книги Врубель признается: к России «трудно остаться равнодушным» (347). Он равнодушным не остался – и это вызывает уважение, желание прислушаться.

Вместе с Россией Врубель прошагал по лживому безвременью, простился с прекраснодушным «перестроечным» идеализмом, осознал кошмар «великого хапка» и абсурд его итогов. Правда, так же, как Капустинский, он не придает значения октябрьскому путчу 1993 года, видя в нем лишь рядовой эпизод распада империи. А об агрессии «мирового сообщества» против «малой России» – Сербии – в 1999 году ухитряется не упомянуть вовсе (как, впрочем, и о ряде других важных политических событий). То есть – о точках нравственного поворота, которые определили будущее России, он умолчал. Возможно из цензурных соображений («иначе не издадут»); возможно, оттого, что осмыслить их не сумел или не решился. Однако само бескорыстное стремление польского интеллигента – понять сопредельный славянский народ душой и совестью – кажется подходом единственно достойным и справедливым. А значит – художественно верным.

Россия традиционно видится полякам как «особая планета», населенная «иными» существами. За пределами понимания большинства польских эссеистов остается многоликость пограничной, евразийской русской цивилизации, она не воспринимается как равноценно значимая полемическая альтернатива западной. Ее представляют (и судят) антиномично, тиражируя имидж русского бесправия, деспотии, абсурдности и бесперспективности русской модели. Старинная вражда к «кацапизму» и «москальству», к «москалям» и «москевкам» воскресает во многих путевых хрониках, которые тонут в тенденциозно подобранных случайных подробностях, в анекдотических казусах, сообщаемых с чуть подретушированным злорадством и брезгливостью (нередко скрываемыми за показной «симпатией»). Как правило, раздраженным тоном варьируются привычные фикции. Вроде того, что русские порывисты, непредсказуемы, способны на что угодно и готовы на все, когда напьются. Существуют в антисанитарных и

антиэстетичных условиях, не годных для проживания цивилизованного человека. Великую польскую нацию не уважают, обзывают «полячишками». Их речи нелепы, мечты безумны, а дела ужасны. Хотя отдельные особи неожиданно могут оказаться похожими на людей. И так далее.

Такова, к примеру, «Россия, Россия...» Збигнева Жакевича (2006)[1] – путевые записки и воспоминания профессионального литературоведа-русиста, посещавшего нашу страну с 1960-х годов. Книга, написанная с позиций этноцентрической нормативности, полная набивших оскомину штампов, главным образом посвящена будничной бытовой неустроенности советской жизни и развенчанию русского мессианизма, запечатленного в нашей литературной классике. Таковы книги Кристины Курчаб-Редлих «Пандрёшка» (2000) и «Головой об стену Кремля» (2007)[2], написанные пером фрондерствующей барышни, борющейся против общественной апатии россиян, против кремлевского «террора лжи», за «права человека» и независимость кавказских народов[3]. За четырнадцать лет, проведенных в «стране, где ничто не похоже на то же самое где бы то ни было» (10), она мало что поняла, однако не поленилась скомпилировать свои поверхностные репортерские заметки в два пухлых тома, претендующих на то, чтобы «показать, какой путь прошла Россия от коммунистического небытия до демократии и... обратно. Только не прямо, а в сторону. Куда?» (10). Прислушаемся к впечатлениям Мариуша Вилька. Он фиксирует у автора «Пандрешки» брезгливый «московский взгляд на Россию» (В, 176), замечая, что у него возникло «ощущение, будто книга написана острым наманикюренным коготком» (В, 175). «Потому что, – продолжает Вильк, – если я обычно вижу Россию зимой – белой, а летом – зеленой, то пани Кристина видит Россию преимущественно черной. По-русски это называется "гнать чернуху". <...> Но черный цвет в России – не доминирующий. Разве что взирать на страну через темные очки от Армани» (В, 175-176). К сожалению, подобных невнятно-банальных книг, с симптомами «антирусской истерии» (ДО, 112), – большинство.

---

1 *Żakiewicz Z.* Rosja, Rosja... Gdańsk, 2006.

2 *Kurczab-Redlich K.* Pandrioszka. Warszawa, 2000; Głową w mur Kremla. Warszawa, 2007.

3 Первое из этих сочинений подробно описано в статье В. Хорева «Русский европеизм и Польша» // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004.

Отрадное и удивительное исключение – капитальный труд Марии Янион «Невероятная славянщина» (2007)[1]. Авторитетная исследовательница романтизма ясно дает понять, что польский комплекс неполноценности перед западом есть производное от привычной русофобии, замешанной на снобизме. Опирающееся на «ориентализацию» России представление о том, что это «не Европа», игнорирует тот факт, что поляки – тоже славяне. По мнению Янион, ее соотечественники, забыв о своем славянстве, стали «сами себе чужими». Кроме того им свойственна «постколониальная ментальность»: замкнутый круг ощущения своей недостаточности, периферийности и в то же время – мессианистский синдром превосходства над аморальным западом и варварским востоком; в сумме – «национальная фигура тотального бессилия» (12). Возвеличивание Польши как благородной «невинной жертвы» неизбежно ведет к сатанизации России (93). Это – симптомы патологии национальной идентичности, консервирующей де-кюстиновский взгляд на Россию. Подобный «монолитный образ» иной – чуждой Европе – фаталистичной и бесформенной России (по убеждению Янион, он запечатлен и в «Империи» Капустинского) создает фиктивную преграду между «нами» и «ими», тогда как и те, и другие «тревожно близки» друг другу (235). Совершенно другой взгляд на Россию – взгляд идущего своей тропой внимательного и сострадательного следопыта – запечатлен в книгах Вилька, которые Янион оценивает чрезвычайно высоко (240).

Россия и русские в новейшей польской беллетристике

Художественные образы гораздо богаче смыслом, чем понятийные структуры, они содержат потенцию критического переосмысления стереотипов, хотя далеко не всегда эта возможность реализуется. В поэзии – после шквального обстрела русофобскими стереотипами в фольклорной и авторской «военной» лирике 1980-х годов – тема России практически угасла. То немногое, что издавалось, не блещет новизной и вполне сводимо по содержанию к тому, что сказано Адамом Загаевским в стихотворении «Россия входит в Польшу»: «<...> Россия входит в Польшу, срывая/ паутину и листья, переговоры/ и веревки с бельем,/ разрывая узы и нити/ дружбы, союзы, бинты и артерии,/ взрывая мосты и ворота, будущее и надежду;/ <...> срывает афиши и

[1] *Janion M.* Niesamowita słowiańszczyzna. Kraków, 2007.

сеймы, разбивает дороги,/ топчет мостки, договоры, ручейки и тропинки./ <...> корчует печные трубы, деревья и дворцы,/ гасит свет, жжет большие костры/ в английских садах, мутит родники,/ рушит библиотеки, ратуши и костелы,/ развешивает на небе пурпурные знамена <...>». В другом стихотворении («Если б Россия») Загаевский мечтает: «Если б Россия была основана/ Анной Ахматовой, если бы/ Мандельштам был законодателем,/ а Сталин – третьестепенным/ персонажем забытою грузинского/ эпоса, если б Россия сбросила свою/ ощетинившуюся медвежью шкуру,/ если б она могла жить словом, а не/ кулаком, если б Россия, если б Россия...». Дихотомия прекраснодушных грез и кошмарной реальности: для действительной сложности жизни места нет.

Примерно в том же кругу стереотипов пребывает и Ярослав Марек Рымкевич со своей «Зимней сказкой...»: «<...> Старый советский Дед Мороз пускается в пляс/ На Красной площади лютая стужа с ним обнялась/ <...> // Ставят приговоренных прямо к кремлевской стенке/ Зимушка-мать в кокошнике да Дед Мороз пьяный в стельку // <...> Здравствуй Мороз-Кощеюшка страшный ты наш Дедок// Что же ты наших белочек запер-то под замок/ Ан Мороз ухмыляется, хватает за ворот Дед/ Ну-кась их на Лубяночку да допросить как след <...>». И так далее. Русско-советский молох пожирает и своих и чужих – как в тексте Рымкевича 1980-х годов «Стихи на торжественный акт по случаю 38-й годовщины договора о взаимопомощи и дружбе»: «По вагонам – как скот – насильно/ Исполать тебе мать Россия// Твоим детям мы – братья поляки/ И для нас вот эти бараки// Там над Обью, над Енисеем/ Лютый ветер наш прах развеет/ / Все там будем, конец приходит/ Глупым польским снам о свободе/ / Счастлив тот, кто найдет покой/ В мерзлом грунте под красной звездой/ / Ох наплачутся те, кто выжил/ Коль свинец им очей не выел// А сердца не выжгло ураном/ Кто нас ждал – забудут, устанут// Эти нары да этот барак/ Вот твоя отчизна поляк»[1]. Для поэзии, как и для публицистики всей второй половины XX – начала XXI веков характерен культ тематики расчета с советизмом, мартирологии, репрессий, знаковых фигур противостояния советской системе (Мандельштам, Ахматова, Бродский, Солженицын...).

В прозе, тематически и проблемно связанной с Россией и русскими, есть тексты, являющиеся словно образцовой иллюстрацией к ка-

[1] Переводы автора статьи.

талогу польских фобий и предубеждений. Так, Евстахий Рыльский выпустил психологический детектив «Человек в тени» (2004)[1], где продемонстрировано, как зло рождается из скуки, неуважения к традиционным ценностям и жажды острых ощущений. Зло воплощено в образе нотариуса Ранского, который манипулирует неким бандитом, доводя его до параноидального состояния. Ранский – хоть и поляк – чувствует себя русским, что выражается в его двояких наклонностях – к сентиментальной рефлексии и садистской жестокости. Примерно ту же картину видим во многих сочинениях, где тема русских и России проходит пунктирно, сообщая текстам дополнительный колорит. Типичная картинка абсурдного «советского рая», созданного по проекту «людоеда с бородкой», дана в рассказах Януша Андермана[2]. В повести Павла Хюлле «Мерседес Бенц» (2004)[3] в жанре хохмы проскакивают эпизоды: реквизиции и гульба советских офицеров в оккупированном Львове, их грабежи и разбой в «освобожденном» от немцев Гданьске, хрущевская выволочка польским партчиновникам за «несчастный десант, с пьяных глаз высаженный на гэдээровской земле» во время учений войск Варшавского договора (59). Общий знаменатель появления русских: «темная и зловещая сила вдруг ворвалась в пространство, ранее не ведавшее аннексий или вторжений и потому казавшееся безопасным» (94). Так что – никаких «братских» сантиментов и никаких компромиссов с «москалями». Анджей Стасюк в повести-эссе «Дойчлянд»[4], посвященной, в основном, впечатлениям от Германии, пишет, что его «славянство» кончается, «замирает» сразу за восточной границей Польши – «так же, как оживает и разбухает сразу за западной» (76): на западе он готов скорее представляться русским, чем поляком. Славянство для него это «Словакия и Словения. Даже гораздо более славянщина, чем Омск» (75). Его поражает, что русские воспринимают поляков как блудных детей славянства, вечных бунтовщиков, «отпавших братьев», он теряется в «имперской» беспредельности холодной и пьяной России.

В художественной литературе Польши, так же, как в эссеистике, количественно преобладает привычный бытовой миф о России, поко-

---

1 *Rylski E.* Człowiek w cieniu. Warszawa, 2005.

2 *Андерман Я.* Два рассказа // Новая Польша. 2008. № 2. С.47-50.

3 *Хюлле П.* «Мерседес-бенц»: Из писем к Грабалу / Перевод И. Адельгейм. М., 2004.

4 *Stasiuk A.* Dojczland. Wołowiec, 2007.

ящийся на безрассудных гиперболах и банальной бутафории «русскости». Бескрайняя «проклятая земля» противостоит уютной «родной Европе» – краю достатка и искони реализованных прав человека, и Польше, частице ее, – как мир деспотии, нищеты, нечистоты, невежества и безвкусицы, отсутствия меры и стиля. В целом в польской литературе, как и в масс-медиа, происходит консервация и канонизация антирусских стереотипов. Предубеждения присутствуют как аксиомы. В беллетристике последнего двадцатилетия мало произведений, полностью или хотя бы отчасти посвященных русской теме, позволяющих говорить о полемическом диалоге в духе непредвзятого познания родственной культуры. Почти невозможным делом оказалось отыскать здесь позитивную трансформацию представлений о России. Продолжается пасквильно-карикатурная линия, хотя черной краски теперь меньше в силу вялости постмодернистского темперамента новых авторов. Но есть и книги, где – пунктирно, поскольку русская тема в них не становится осевой, – русские поданы уже без ненависти, с юмором, слабым интересом и даже долей сочувствия. Некоторые упоминания вскользь, фрагментарные образы, рассеянные тут и там, также позволяют судить об эволюции стандартных мифологем, связанных с Россией в польском национальном сознании. Те редкие авторы, что вышли за рамки наследственных предубеждений и пропагандистских клише к открытому контакту со славянским востоком, от этого только выиграли.

Развертка и преодоление мифостереотипа России в художественном образе интересны немногим писателям. Оригинальностью видения выделяется трехактная драма Славомира Мрожека «Любовь в Крыму» (1993)[1], построенная на игре со смыслами стилизация в духе чеховского театра. Автор, по его словам, попытался, ни много, ни мало, на примере России обобщить исторический опыт XX века, и, возможно, в чем-то это ему удалось – во всяком случае, русская проблематика претворена здесь в многомерные образы, не сводимые к черно-белым противопоставлениям. Интересен в плане очищения взгляда на Россию написанный в духе «альтернативной истории» роман-дистопия Эдварда Редлинского «Кроветечение» (1998)[2]. Действие его происходит в гипотетической Польше, пережившей в нача-

[1] *Мрожек С.* Любовь в Крыму / Перевод Л. Бухова // Мрожек С. Тестариум. М., 2001.

[2] *Redliński E.* Krfotok. Warszawa, 1997.

ле 1980-х годов войну с СССР. «Солидарность» предельно взвинтила обстановку, но власти погрязли во внутренних интригах, военное положение не было введено, началась гражданская война, а затем советская интервенция. «Должен был быть ремонт – кончилось пожаром!» (165). Эта война разрушила Польшу и лишила ее самостоятельности, но спасла и возродила мобилизовавшуюся и реформировавшуюся Страну Советов. И вот в 1990-х в Польшу возвращаются эмигранты с запада и каторжане из Сибири; в польских семьях ведутся долгие разговоры о житье-бытье: переоценивается новая история, и многим ключевым моментам польско-русских отношений дается трактовка, разрушающая окаменелости стереотипов.

Яцек Дукай – из числа немногих прозаиков, активно работающих с русским материалом. Его повесть-дебют «Ксаврас Выжрин» (1997)[1], написанная в жанре фантастического боевика, исходит из допущения: война 1920 года окончилась победой русских. Через несколько десятилетий террористическая группа «Армии освобождения Польши» с боями прорывается к столице врага, чтобы уничтожить ее ядерным зарядом. Действие происходит в Европейской военной зоне, многое напоминает о балканских и кавказских конфликтах. Рассуждения героев о русско-польских счетах страдают шаблонностью и начетничеством. Годы спустя, в остросюжетном и в тоже время интеллектуальном романе «Лед» (2007)[2] Дукай возвращается к русской теме на неизмеримо более высоком уровне. В библейских размеров (77 листов) томе, написанном в реалистической манере, развернут еще один несбывшийся сценарий истории. Перед нами альтернативная реальность 1920-х годов. Тунгусская катастрофа привела к абсолютному исчезновению тепла в ее эпицентре, волны холода заливают всю Российскую империю – словно замораживая и историю. Климатическая аномалия вызвала образование новых минералов и руд («тунгутит», «зимнезо», «маростекло»), обладающих удивительными свойствами, возникли новые отрасли промышленности и науки («черная физика» льда). Империя укрепилась. Не было ни мировой войны, ни революции, на престоле Николай II. Польша – по-прежнему часть России. Очередное польское восстание подавлено в 1912 году, его бывший вождь Пилсудский – ныне изгой-террорист, союзник японцев, вяло воюющих с Россией.

---

[1] *Dukaj J.* Xavras Wyżryn. Kraków, 1997.

[2] *Dukaj J.* Lód. Kraków, 2007.

Лед передвигается под землей «дорогами мамонтов» и вымораживается на поверхность в виде диковинных кристаллических квазисуществ – «лютых». Варшава, как и Одесса, скована льдом. Чиновники Министерства зимы отправляют в Сибирь с тайной миссией вечного студента-математика и игрока Бенедикта Гераславского: он должен отыскать своего ссыльного отца, который, по агентурным данным, умеет управлять морозом. И вот – транссибирский экспресс, затем Иркутск – «город льда», столица новой экономической империи (стремящейся стать независимыми Соединенными Штатами Сибири). Областники-холодопромышленники, в том числе польские дельцы, сколачивают состояния. Фактическая власть принадлежит концерну «Сибирьхожет». Химеры отделены от реальности: история мира представима без Польши. Герой-повествователь (сомневающийся в своем существовании и изъясняющийся в неопределенно-личной форме) критически размышляет о своем народе и ставит «кощунственный» вопрос: необходима ли Польше независимость, если многонациональная Россия способна дать поляку, действующему в пределах права и политической лояльности, и успех, и смысл, и стабильность бытия?

Умело архаизованный (даже орфографически) текст содержит множество русских вкраплений и культурных аллюзий. Автор глубоко осведомлен о русской истории и философии. Детективно-приключенческий сюжет совмещен с диалогами и тирадами о хаосе и энтропии, о судьбах мира и свойствах человеческой души. Холод, принесенный таинственным метеоритом, тормозит историю и упрощает логику событий. Он консервирует вековую неизменность отношений в российском обществе и общую атмосферу – жажду крепкой руки и тоску по абсолютной истине. Мир на перепутье, в предчувствии катастроф, хотя еще не вкусил их. Но стуже сопутствует черный свет – «тьмет», в лучах которого прозревается будущее. В «мире зимы» столкнулись «оттепельники» – сторонники реформ, и сектанты-«ледняки», которые считают «лютых» гарантами порядка и благополучия, а стужу – предвестием духовного возрождения. Однако император желает прогнать зиму. По его приглашению прибывает великий Никола Тесла и создает «боевую помпу», способную обращать лед в жидкий гелий. Наступает искусственная оттепель, оживляющая тектонику. Начинается хозяйственный спад, хаос, революция, голод... История выруливает с бездорожья фантазии на дорогу фактов. Роман Дукая заставляет задуматься над коренными вопросами национального бытия Польши и России без ущемления достоинства сторон.

Роман Дороты Масловской «Польско-русская война под бело-красным флагом» (2002)[1], как точно сказано в аннотации к русскому изданию, – «сюрреалистическая аллегория упертого национального самосознания, ехиднейшая карикатура на всякую ксенофобию». В сдвинутом мире, увиденном глазами повествователя-наркомана, происходит гротескное накопление ядов уже не русофобии, а русофагии. Польша изнемогает от нашествия наглых, нахрапистых деляг – пришельцев с востока: «нельзя шагу ступить, чтоб не наткнуться на русских» (82). Они «опускают польскую музыкальную промышленность и раскрадывают польский песок» (148-149), травят коренных поляков своими паршивыми сигаретами и мечтают их «прокинуть», чтоб основать здесь свое государство: «мы тут базарим, а русские вооружаются» (240). Все заполонил халтурный «русский сайдинг», даже бело-красный флажок купить у русских дешевле, растет прослойка «прорусских антиполяков». Вопрос стоит ребром: «...или ты поляк, или ты не поляк. Третьего не дано. Или поляк, или, наоборот, русский. А попросту говоря, или ты человек, или чмо позорное» (119). Во спасение нации учреждается праздник «День Без Кацапов», проводится анкетирование – психотест на национальную зрелость, где высшая мировоззренческая ступень – «радикально антирусские взгляды с праворадикальным уклоном» (241). Галлюцинаторный бред выливается в апокалиптические картины: «бело-красные волны рвоты захлестывают город, девятый вал рвоты, который хорошо виден из космоса, чтобы русские знали, где наше государство, а где их, и на какую всеобщую демонстрацию национальной солидарности против хищных захватчиков способна Польша» (154). В романе обыграны и спародированы шовинистические рефлексы: вымученную анахроничную пропаганду сметает конвульсивный смех.

Перспективы преодоления конфронтационных шаблонов

Отношения польского и русского народов омрачены взаимооговорами и предубеждениями. Для того, чтобы научиться жить рядом, понимание сути разногласий важнее, чем упрощенное представление о дружбе. Во времена нарастания глобальной конфронтации, бурных интеграционно-дезинтеграционных процессов, хаотичных поисков

[1] *Масловская Д.* Польско-русская война под бело-красным флагом / Перевод И. Лаппо. М., 2005.

национальной идентичности и новой дележки территорий проблемы взаимного восприятия славянских культур становятся все острее. От подхода к ним, от степени осознания культурно-языковой общности зависит выживание славянского этноса, разобщенного как никогда прежде. Все славяне – в силу геополитических причин – оказались в ситуации национального обезличивания. Половина славян – русские, те, кто все же не столь массово поддаются космополитической перелицовке. Между тем, русофобия остается, к несчастью, «раковой опухолью славянского мира»[1]. Образ России в славянских литературах последних десятилетий амбивалентен, ибо основан на длительном историческом опыте совместных обретений, утрат, взаимных предательств, надежд и разочарований.

Для ряда национальных литератур (особенно сербской) русская проблематика является сущностной, экзистенциально неизбежной, особенно в свете геополитической катастрофы и Советского Союза, и Югославии. Советская Россия – попытка воплотить идеал социального равенства – осталась в истории героическим прорывом в грядущее, так и непонятым миром. Но, как и другим славянам, полякам «не прощается Россия», явившая в истории уникальные примеры бескорыстия, жертвенности, великодушия. «Реальный социализм» вытеснен эгоистическим хаосом, страна, изнуренная депопуляцией и хозяйственным развалом, на ладан дышит. А «домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою», не умолкает, как в пушкинские времена. «Славянские ручьи» все так же упрямо не желают слиться в еще не иссякшем, хотя уже изрядно обмелевшем «русском море». На разобщение славян продолжают работать старые фобии и новые, часто вымышленные, обиды. Впрочем, любая «внешняя» враждебность по своей деструктивной энергии слабее, чем собственный русский национал-мазохизм, самоуничижение, патриофобия, стремление дистанцироваться от «этой страны».

Тема России как эксплицитно, так и «латентно» присутствует в творчестве многих прозаиков и поэтов славяно-балканского региона, стремящихся осмыслить слом прежней, «оптимистической» культурно-цивилизационной парадигмы, замену ее матрицей выживания и этосом мученического возрождения. Однако печальная истина заключена в словах: «О России братья-славяне вспоминают, когда их

[1] *Волков В.* Русофобия – раковая опухоль славянского мира // Лит. газета. 2004. 14-20 янв. N 1. С.2.

начинают поджаривать на сковородке»[1]. При этом, если у балканских славян доминирующая тональность – осознание единства исторических судеб с восточными славянами, то у славян западных это так лишь отчасти. Сколько бы ни говорилось о преимуществах диалога (дискуссий, совместного поиска истины) над конфронтацией, увы – все это лишь слова, вопреки кропотливым трудам любых смешанных польско-российских экспертных «групп по сложным вопросам». Трудно поверить и в то, что «если бы отношения между русскими и поляками зависели от славистов <...>, русско-польская дружба цвела бы как сад»[2]. Именно фразеология и аргументация ангажированных идеологов-интеллектуалов, становясь пищей массового сознания, создает барьеры в общении культур. Активизируемые давлением политических обстоятельств деструктивные мифы выражают не столько убеждения отдельных личностей, сколько интересы различных групп, характеризуя не духовность, а актуальную практическую сметку нации. Эти образы – часто неосознанные, неполные, не приемлющие иного – становятся реальностью и долго влияют на нее.

Когда-то Витольд Гомбрович признал высшей задачей польского художника личностное «преодоление польскости». Пожалуй, и «преодоление русскости» – задача не менее важная. Однако общая для обоих народов следующая ветвь древа человечества – славянство. «Преодоление» этой ветви ради так называемых «общечеловеческих ценностей» (которые являются ширмой чужих интересов) может привести лишь к тотальной унификации и утрате самосознания. Полякам и русским жизненно необходимо преодолеть другое – разрушительный миф о вечном взаимном антагонизме. Язык – известное дело – мудрее всех. Роль перевода оказывается иногда поразительной. Недаром ведь, по воле судьбы, польская средневековая «Беседа мастера со смертью» сохранилась только на русском языке. Как-никак, славяне, как виделось Мицкевичу – «народ слова божьего» (впрочем, как, по-своему, всякий иной народ). Конфликты не задевают корневой сути родового культурного единства. Благотворное взаимовлияние польской и русской культур никогда не сходило на нет, даже возрастало в моменты наибольших разногласий между властями предержащими.

---

[1] *Чванов М.* Наши писатели всегда не только книги писали //Лит. газета. 2004. 21 июля. № 29. С. 8.

[2] *Волосюк С.* Цит.соч. С. 22.

Необходимость сближения и взаимопонимания с русскими – идея, глубоко, вопреки вековым раздорам, укорененная в сознании мыслящих поляков, – имеет в основе генетический и протокультурный императив, подчас неосознаваемую фундаментальную общность духовных и нравственных ценностей (неизмеримо более существенную, чем конфессиональные расхождения между православием и католицизмом). Н. Бердяев справедливо полагал: «Эти две разные народные души могут не только понять и полюбить друг друга, но и ощутить свою принадлежность общей расовой душе, и осознать свою славянскую миссию в мире». Король Польши Ян III Собеский в 1786 году заключил с Россией «вечный мир», выражавший глубинные чаяния двух славянских народов: «в братской дружбе и любви быть паче прежнего и учинить вечный мир и союз на отвращение от всего христианства общих неприятелей». Никто этого договора не отменял, однако его духу – отчасти за исключением советского периода – политики почти никогда не следовали.

Призвание культуры – исключать крайности, прочищать каналы межчеловеческой коммуникации. Общества, измученные историей, жаждут неистеричного разговора. Суть в том, чтобы – познавая правду – вновь отыскать в себе толику доверчивой наивности, выдвинуть на первый план сходство, а не различия. На историческом переломе – рубеже третьего тысячелетия, в условиях глобального цивилизационного кризиса, образ России в польской культуре становится, вопреки информационному прессингу, более многоаспектным, разнообразным, чем прежде. Картина динамичней, оттенки тоньше, меньше зависимости от абсолютизируемых отдельных фактов. Образ, возникающий в польской культурной реальности, коррелирует с «внутренним» самообразом, сложившимся в культуре русской, с немалой дозой критицизма, но и подспудной верой в то, что России суждено первой среди славянства опомниться, подняться с колен «и весть на подвиг просвещенья единомысленную рать» (Тютчев). Отчетлив поиск синтезирующей картины, стремление уйти от эгоцентричного расчета к естественному равновесию, интегрирующему восприятию России как основы славянского самостояния.

Тенденции разобщения, несомненно, вызывают и все большее отторжение – обычным людям давным-давно «изрядно надоел истошный вой, поднятый вокруг жгучих проблем нашей общей истории»[1].

[1] *Петров А.С.* Полонез по-русски, или Заграница.pl.ru. М., 2006.

«Народные витии» все так же взвинчивают общественное мнение. Однако тенденциозный, внушаемый прозападными масс-медиа образ России теряет в глазах населения Польши достоверность, так как поляки традиционно не доверяют официальной (а равно и приватно-коммерческой) пропаганде. Социологи прогнозируют эффект с точностью до наоборот: поворот к доброжелательности в отношении восточного соседа (по силлогистической схеме: правительство враждебно собственному народу; правительство негативно относится к другому народу; следовательно, другой народ заслуживает положительного к себе отношения). Для того, чтобы сформировать мало-мальски реальное представление об ином (чужом), необходимы бескорыстие, открытость, готовность к непредвзятому познанию, отказ от сокрытия неудобной правды. А это качества редкие. В межнациональных отношениях – редчайшие. И все-таки, хотя попыток преодоления инерции немного, они неизменно появляются (отсюда постоянная качка позитивных и негативных тезисов, обратимая двойственность любого рассуждения о польском взгляде на Россию).

Вряд ли полякам удастся в обозримом будущем отделаться от предрассудков в отношении России, однако ненависть к восточному соседу, даже активно реанимируемая, едва ли может стать польской «национальной идеей». Слишком многое объединяет, слишком много положительных связей создано культурой. Отличает же, помимо несовпадения экзистенциальных приоритетов и частных интересов, представление о собственной значимости в глазах друг друга. Премудрый писатель и футуролог Станислав Лем, призывая к примирению и единению, мимоходом расставляет характерные польские акценты: «Многие годы Польша жила в тени могущественного соседа, которым была Россия. Порой это соседство было тягостным и подавляющим. Сложно удивляться тому, что мы страдаем от своего рода российского комплекса. <...> Россия для нас ближе всего как в геополитическом, так и в культурном плане. Нет смысла обижаться друг на друга и ворошить прошлое, за что немалую долю ответственности несут экстремисты с обеих сторон»[1]. Признание близости двух народов в высказывании Лема важнее, чем крен в польский травматический эгоизм.

Схематизирующие, постыдные стереотипы уже не владеют массовым сознанием безраздельно. Остается верным, внушающим надежду

[1] Интернет-конференция 16.01.2006 <http://www.inosmi.ru/press/224888.html>

суждение Мицкевича: «Язык и литература составляют естественное связующее звено между нашими народами; благодаря литературе мы все чувствуем себя братьями и сынами одной отчизны». Конечно, за всем стоит интерес – но ведь не только материальный. Глубинное единство – гораздо более крепкое, чем любые политико-дипломатические, военные и хозяйственные союзы, – есть гарантия бесконечного взаимного тяготения, симпатии и познания, не омрачаемого никакими ссорами. В свете этой аксиомы интересны трансформации «русского» этностереотипа в польской художественной литературе. Здесь можно наблюдать нейтрализацию отрицательно маркированных аспектов за счет иронического снижения конфронтационных шаблонов, а порой и позитивного насыщения образа. Родственно-культурное взаимообогащение русского и польского народов продолжается на почве искусства – разгоняющего траурную муть серых ярлыков и черных меток.

ЛИТЕРАТУРА[1]

I. Источники

1. Эссе, репортажи, дневники, путевые очерки.

Вильк М. Волчий блокнот / Перевод И. Адельгейм. М., 2006.
Вильк М. Волок / Перевод И. Адельгейм. СПб., 2008.
Помяновский Е. К востоку от запада: Очерки. М., 2006.
Redlich J. Moskiewskie ABC. Wyd. 3. Warszawa, 1980.
Strońska A. Motyw wschodni. Warszawa, 1981.
Krall H. Na wschód od Arbatu. Wyd.2. Kraków, 1983.
Wino argonautów i inne reportaże. Warszawa, 1984.
Redlich J. Wybuch kontrolowany. Warszawa, 1988.
Drawicz A. Spór o Rosję. Warszawa, 1987. Wyd. 3. Warszawa, 1992.
Berberiusz E. Człowiek z innego świata. Warszawa, 1989.
Chrzanowski M. Żołnierz niepotrzebnej wojny. Warszawa, 1989.
Pruszyńskli K. Noc na Kremlu. Warszawa, 1989.
Siwiński W. Czernobyl: Od katastrofy do procesu. Warszawa, 1989.
Drawicz A. Pocałunek na mrozie. Łódź, 1990.
Kapuściński R. Kirgiz schodzi z konia. Wyd. 4. Warszawa, 1990.
Żebrowska A. Portrety z Arbatu. Rzeszów, 1991.
Maksymowicz J. Planeta złoczyńców. Wrocław, 1993.
Kapuściński R. Imperium. Warszawa, 1993. Wyd. 18. Warszawa, 2008.
Pająk H. Zabijałem aby żyć. Lublin, 1995.
Turczyński A. Rzeki popiołu. Warszawa, 1995.
Michałowski W.S. Tranzytowy przekręt stulecia. Warszawa, 1997.
Pomianowski J. Ruski miesiąc z hakiem. Wrocław, 1997.
Rozwadowski A. Syberia raz jeszcze: Rowerem z Kazachstanu do Polski, szlakiem powrotu z zesłania. Wyd. 2. Łódź, 1998.
Wilk M. Wilczy notes. Gdańsk, 1998.
Wróblewski A. Przejażdżka po Rosji: Na kanwie opowieści Marka Z. Warszawa, 1998.
Suchar H. Polski James Bond – Zenon Kuchciak. Warszawa, 1999.
Kurczab-Redlich E. Pandrioszka. Warszawa, 2000.
Górecki W. Planeta Kaukaz. Warszawa; Poznań, 2002.
Pomorski A. Imperialna baba. Warszawa, 2003.
Wiśniewski G. Od Puszkina do Michałkowa: Muzy stolic Rosji. Warszawa, 2003.
Jagielski W. Wieże z kamienia. Warszawa, 2004.
Łubieński T. Wszystko w rodzinie. Warszawa, 2004.
Pomianowski J. Na wschód od Zachodu: Jak być z Rosją? Warszawa, 2004.
Przebinda G. Piekło z widokiem na niebo: Spotkania z Rosją, 1999-2004. Kraków, 2004.
Uzelac A. Dzieci z Putino. Sejny, 2004.

[1] Указатель включает только книги (изданные в 1980-е – 2000-е годы).

Wilk M. Wołoka. Kraków, 2005.
Woroszylski W. Moi Moskale. Warszawa, 2005.
Wrubel K. Planeta Rosja. Warszawa, 2005.
Wilk M. Dom nad Oniego. Warszawa, 2006.
Wojtczak M. Zdobywanie Moskwy. Warszawa, 2006.
Żakiewicz Z. Rosja, Rosja... Gdańsk, 2006.
Kurczab-Redlich K. Głową w mur Kremla. Warszawa, 2007.
Wilk M. Tropami rena. Warszawa, 2007.
Śliwowski R., Śliwowska W. Rosja, nasza miłość. Warszawa, 2008.
Новая Польша. Ежемесячный журнал. Варшава, изд. с 1999.

2. Художественные произведения.

Мрожек С. Любовь в Крыму / Перевод Л. Бухова // Мрожек С. Тестариум. М., 2001.

Масловская Д. Польско-русская война под бело-красным флагом / Перевод И. Лаппо. М., 2005.

Домино З. Польская Сибириада / Перевод Н. Г. Вертячих. М., 2006.
Redliński E. Krfotok. Warszawa, 1997.
Bajon F. Cień po dniu. W., 2005.
Rylski E. Człowiek w cieniu. Warszawa, 2005.
Dukaj J. Lód. Kraków, 2007.

II. Интерпретации

1. Культурология, имагология.

Культурные связи России и Польши XI-XX вв. М., 1998.

Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2000.

Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А. Липатов, Ю. Шайтанов. М., 2000.

Россия – Польша: Образы и стереотипы в литературе и культуре / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2002.

Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.

Сокол К.Г. Русская Варшава. Справочник-путеводитель. М., 2002.

Польская и русская душа: Современный взгляд / Ред.-сост. А. де Лазари, Р. Бекер. Лодзь, 2003.

Отвергая и восхищаясь: Из истории культурных отношений между Польшей и Россией. Варшава, 2003.

Миф Европы в литературе и культуре Польши и России / Ред. М.В. Лескинен, В.А. Хорев. М., 2004.

Польская и русская душа: От А. Мицкевича и А. Пушкина до Ч. Милоша и А. Солженицына. Материалы к каталогу взаимных предубеждений между поляками и русскими. Варшава, 2004.

Куняев С.Ю. Шляхта и мы. Изд. 3. М., 2005.

Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки. М., 2005.

Русские и поляки глазами друг друга / Ред. А. де Лазари, О.В. Рябов. Иваново, 2007.

Поляки и русские во взаимной карикатуре. Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze. Warszawa, 2008.

Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой / Ред. М.В. Лескинен, В.А. Хорев. М., 2008.

Русская культура в польском сознании / Ред. Н.М. Филатова, В.А. Хорев. М., 2008.

Z dziejów kontaktów polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich / Red. W. Piłat, T. Zienkiewicz. Olsztyn, 1989.

Kępinski A. "Lach i Moskal": Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990.

Czapski J. Swoboda tajemna. W., 1991.

Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów: Sztuka rosyjska w Warszawie, 1815-1915. Warszawa, 1991.

Orłowski J. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917. Warszawa, 1992.

Przebinda G. Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Kraków, 1992.

Tuszyńska A. Rosjanie w Warszawie. Warszawa, 1992.

Giza A. Polaczkowie i Moskale: wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800-1917). Szczecin, 1993.

Opacki Z. Barbaria Rosyjska: Historia w historiografii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego. Gdańsk, 1993.

Andrusiewicz A. Mit Rosji: Studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit. Rzeszów, 1994.

Kultura i polityka: Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego (1772-1915). Warszawa, 1994.

Mentalność rosyjska: Słownik / Red. A. de Lazari e.a. Katowice, 1995.

Narody i stereotypy / Red. T.Walas. Kraków, 1995.

Polska – Rosja: Czas przewartościowań / Red. S. Bieleń. Warszawa, 1995.

Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej / Red. E. Dubas-Urwanowicz etc. Białystok, 1995.

Pomorski A. Duchowy proletariusz: przyczynek do dziejów łamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa). Warszawa, 1996.

Przebinda G. Mikołaj Czernyszewski – późny wnuk Oświecenia. Katowice, 1996.

Brzezina M. Stylizacja rosyjska: Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów. Warszawa, 1997.

Dmitrów E. Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933-1945: Stare i nowe stereotypy. Warszawa, 1997.

Michalski R. Obraz bolszewizmu i Rosji sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1939. Toruń, 1997.

Rozumieć Rosję: Tropy / Red. M. Figura, G. Kotlarski. Poznań, 1997.

Polska i jej wschodni sąsiedzi / Red. A.Andrusiewicz. T.1-7. Rzeszów, 1997-2006.

Polacy i Rosjanie: Czynniki zbliżenia / Red. M. Dobraczyński. Warszawa, Toruń, 1998.

Polska i Rosja: Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu / Red. A. Magdziak-Miszewska. Warszawa, 1998.

Przebinda G. Od Czaadajewa do Bierdiajewa : spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej. Kraków, 1998.

Tazbir J. W pogoni za Europą. Warszawa, 1998.

Wokół słowianofilstwa / Red. J. Dobieszewski. Warszawa, 1998.

Zielińska M. Polacy, Rosjanie, romantyzm. Warszawa, 1998.

Oblicza Wschodu w kulturze polskiej / Red. G. Kotlarski, M. Figura. Poznań, 1999.

Idee w Rosji. Идеи в России. Ideas in Russia: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 1-7. T.1-5 / Red. A. de Lazari. Warszawa, Łódź, 1999-2003; T. 6-7 / Red. J. Kurczak. Łódź, 2007-2008.

Przebinda G., Smaga J. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku: leksykon. Kraków, 2000.

Michalski R. Polska między Niemcami i Rosją: Obraz świata, Rzeczypospolitej i jej sąsiadów na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948. Toruń, 2000.

Polacy w oczach Rosjan. Rosjanie w oczach Polaków / Red. R. Bobryk, J. Faryno. Warszawa, 2000.

Polacy a Rosjanie: Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń / Red. T. Epsztejn. Warszawa, 2000.

Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII–XX w.) / Red. J. Rzońca. Opole, 2000.

Zagadnienie rosyjskie: Myślenie o Rosji – oglądy i obrazy spraw rosyjskich / Red. M. Bohun, J. Gołckowski. Kraków, 2000.

Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych / Red. J. Łukszyn e.a. W., 2001.

Polska – Słowiańszczyzna wschodnia / Red. K. Iwan, S. Krzywicki. Szczecin, 2001.

Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami / Red. A. de Lazari. Łódź, 2001.

Polskie stereotypy i uprzedzenia / Red. J.Jarco, G.Dolińska. Wrocław, 2002.

Pogonowska E. Dzikie biesy: Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932. Lublin, 2002.

Polacy i Rosjanie: 100 kluczowych pojęć / Red. A. Magdziak-Miszewska e.a. Warszawa, 2002.

Polska w Rosji – Rosja w Polsce: Dialog kultur / Red. R. Paradowski, S. Ossowski. Poznań, 2003.

Polska w Rosji – Rosja w Polsce: Stosunki polityczne / Red. R.Paradowski, S.Ossowski. Poznań, 2003.

Dusza polska i rosyjska: Od A. Mickiewicza i A. Puszkina do C. Miłosza i A.Sołżenicyna: Materiały do katalogu wzajemnych uprzedzeń Polaków iRosjan / Red. A. de Lazari. Warszawa, 2004.

Lipatow A.W. Rosja i Polska: Konfrontacja i grawitacja: Historia, kultura,

literatura, polityka. Toruń, 2003.

Oblicza Wschodu: Religia, ideologia, polityka, gospodarka: Praca zbiorowa / Red. M. Broda, M.M. Dziekan. Łódź, 2004.

Andrusiewicz A. Cywilizacja rosyjska. T.1-2. Warszawa, 2005.

Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan / Red. M. Dobroczyński, J. Marszałek-Kawa. Toruń, 2005.

Polacy i Rosjanie: przezwyciężanie uprzedzeń; Поляки и русские: преодоление предубеждений / Red. A. de Lazari, T. Rongińska. Łódź, 2006.

Janion M. Niesamowita słowiańszczyzna. Kraków, 2007.

2. Политология, история; мемуаристика.

Paradoksy przebudowy / [Tł. z ros.]. Warszawa, 1988.

Czas nadziei / [Tł. z ros.] Oprac. R. Jurczakowski. Warszawa, 1988.

Mackiewicz J. Gdybym był chanem: Antologia. Warszawa, 1989.

Mackiewicz J. Zwycięstwo prowokacji. Warszawa, 1989.

Rogowski W. Pieriestrojka od wewnątrz: Wywiady z radzieckimi intelektualistami. Warszawa; Moskwa, 1991.

Dmowski R. Niemcy, Rosja i kwestia polska. Warszawa, 1991.

Wilczyński S. Czy Rosja stanie się państwem demokratycznym. Warszawa, 1991.

Ostrowski Z. Pożegnanie z armią / Rozm. M. Szczepański. Warszawa, 1992.

Piątkowski L. Związek Radziecki w publicystyce polskiej 1922 – 1928: Społeczeństwo, polityka, gospodarka. Lublin, 1992.

Michalski A. Na gruzach totalitaryzmu: Rozmowy o odradzaniu się chrześcijaństwa w Rosji. Warszawa, 1993.

Opacki Z. Barbaria Rosyjska: Rosja w historiografii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego. Gdańsk, 1993.

Andrusiewicz A. Mit Rosji: Studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit. T.1-2. Rzeszów, 1994.

Dobrecki K. Imperium absurdu. Konin, 1994.

Zieliński E. Współczesna Rosja: studium polityczno-ustrojowe. W., 1995.

Dobroczyński M. Między mocarstwami: Niemcy – Polska – Rosja. Toruń, 1996.

Kościuk L. Prognoza reakcji Rosji na rozszerzenie NATO / Прогноз реакции России на расширение НАТО. Toruń, 1996.

Grudziński P. Raport Polska – Rosja: Niezgoda i współpraca. Warszawa, 1997.

Międzynarodowa przyszłość Niemiec, Polski i Rosji / Red. M. Dobraczyński. Warszawa, 1997.

Rosja 1996 – przełom czy kontynuacja? / Ananicz A. etc. Warszawa, 1997.

Nowak A. Polacy, Rosjanie i biesy: Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku. Kraków, 1998.

Kucharzewski J. Od białego caratu do czerwonego / Red. A. Szwarz, P.P. Wieczorkiewicz. T.1-7. Warszawa, 1998-2008.

Dobroczyński M. Stulecie przyspieszeń: Świat a Rosja. Warszawa; Toruń, 1999.

Nowak A. Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921). Wyd.2. Kraków, 1999.

Rosja Putina: Leksykon / Red. A. Głowacki. Łódź., 1999.

Współczesna Rosja: Leksykon. Łódź, 1999.

Fertacz S. Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej. Katowice, 2000.

Piecuch H. Czas generałów: W. Jaruzelski tego nigdy nie powie. Warszawa, 2000.

Piecuch H. Kim jest Putin?: Wielki blef generałów. Warszawa, 2000.

Przebinda G. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku: Leksykon. Kraków, 2000.

Szkice o Rosji / Red. A. Stępień-Kuczyńska; J. Adamowski. Łódź; Warszawa, 2000.

Walicki A. Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Kraków, 2000.

Walicki A. Polskie zmagania z wolnością. Kraków, 2000.

Marciniak W. Rozgrabione imperium: Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej. Kraków, 2001.

Przebinda G. Większa Europa: Papież wobec Rosji i Ukrainy. Kraków, 2001.

Emigracja rosyjska: Losy i idee / Red. R. Baecker, Z. Karpus. Łódź, 2002.

Strzelczyk J. Ucieczka ze Wschodu: Rosja w polskiej polityce 1989-1993. Warszawa, 2002.

Przebinda G. Między Moskwą a Rzymem. Kraków, 2003.

Stadtmueller E. Pożegnanie z nieufnością?: Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego. Wrocław, 2003.

Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej / Red. P. Timofejuk. Warszawa, 2004.

Skrzypek A. Druga smuta: Zarys dziejów Rosji 1985-2004. Warszawa, 2004.

Zackiewicz G. Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego: 1918-1939. Kraków, 2004.

Bratkowski S. Pan Nowogród Wielki. Warszawa, 1999.

Bazylow L. Historia Rosji. Wyd. 4, popr. i uzup. [przez P. Wieczorkiewicza, autora tekstu o 1917-1991]. Wrocław, 2005.

Kłusak M. Meandry polityki. Gdańsk, 2005.

Kosicka-Pajewska A., Pajewski J. Polska – Rosja. Poznań, 2005.

Głębocki H. Kresy Imperium. Kraków, 2006.

Pamięć i polityka zagraniczna / Red. P. Kosiewski. Warszawa, 2006.

Rosja / Red. M.C. Sokołowski. Cz. 1-4. Warszawa, 2006.

2.1. Поляки в России.

Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир: Советские записки / Перевод Н. Горбаневской. М., 1991.

Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 roku / Red. M.Zakrzewska-Dubasowa. Lublin, 1990.

Jarosiński M. Tajemnice, które wyszły na jaw. Warszawa, 1991.

Renik K. Podpolnicy: Rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie 1990-1991. Warszawa, 1991.

Grzybowski J. Wy jesteście solą ziemi: chrześcijanie za wschodnią granicą. Warszawa, 1992.

Mucha B. Artyści polscy w nowożytnej Rosji. Łódź, 1994.

Dzwonkowski R. Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i kościele w dawnym ZSRR / Rozm. J. Pałyga. Warszawa, 1993. Wyd. 2. Warszawa, 1995.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie / Red. M. Szczerbiński, T. Wolsza. Gorzów Wlkp., 2001.

Jonkajtys-Luba G. "...was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli": Kazachstan 1940-1946. Wyd.2. Lublin, 2002.

Matelski D. Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR: Próby restytucji: Archiwa, księgozbiory, dzieła sztuki, pomniki. Poznań, 2003.

Pikus T. Katolik w Rosji. Warszawa, 2003.

Narymska zsyłka: Antologia relacji zesłańczych / Oprac. Cz. Bazan. T.1-2. Lublin, 2003.

Cybulski K. Przerwany bieg życia: Syberyjskie wspomnienia nastolatka. Wyd.4. Lublin, 2006.

М. Карасева

ОБРАЗ РОССИИ В СЕРБСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ РУБЕЖА XX – XXI ВЕКОВ

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ РОССИИ В СЕРБИИ В 1980–1990-е ГОДЫ.

Образ России в сербском культурном сознании в конце XX – начале XXI века подвергся всем превратностям этой смутной эпохи. С одной стороны, предельно политизированный в XX веке ввиду долгого господства в обеих странах марксистской идеологии (затем слома этой идеологии и всех известных последовавших за этим событий), он, с другой стороны, имел в Сербии слишком долгую историю своего сложения и весьма сильные «надземные и подземные ключи», которые его подпитывали независимо от всех перипетий политической истории. Вопрос о России в Сербии выходит далеко за идеологические рамки, имеет гораздо более широкий контекст, нежели банальный интерес к чужой, хотя и родственной культуре. Он является составной частью сербской картины мира, и поэтому каждый раз, когда происходят события исторического масштаба, и особенно в переломные моменты национальной истории, он снова актуализируется, поляризуется, приобретает экзистенциальную остроту и подлежит пересмотру вместе со всем комплексом других мировоззренческих проблем.

Сформулировать этот мировоззренческий контекст в самом широком виде можно, обратившись к «проклятым» славянским вопросам, неотступно следовавшим за славянскими народами на протяжении многих столетий. В силу известных исторических причин (слом СССР, югославские войны) в 1990-е годы перед славянскими страна-

ми с новой силой встал вопрос о самоидентификации. «Кто мы?» (название поэтического сборника сербского поэта Зорана Костича, издан в 1989 году, сербское название по своей ассоциативной насыщенности звучит еще многозначнее – «Ко смо?»). Имеют ли славяне собственный внутренний стержень для своего развития, или они, как это часто приходится о них слышать со стороны, являются всего лишь периферийными, «пограничными» народами в глобальном разделе мира на «Восток» и «Запад», «Европу» и «Азию», Европу и «задворки» Европы и т.д.? Чем они отличаются от других народов, и, если отличаются, то как эти отличия сформулировать? Каковы ценности славянской культуры, и полностью ли они соотносятся с западноевропейскими ценностями? Очередное возрождение этих вопросов в конце XX века говорит о крайнем напряжении национальных сил славянских народов, оказавшихся перед лицом новых глобальных конфликтов.

Казалось бы, история и наука уже множество раз на протяжении веков давали ответы на эти вопросы в благоприятном для славян ключе, однако, как оказывается, для многих людей на Западе этого все равно оказывается недостаточно, и они раз за разом продолжают сомневаться в национальной состоятельности славян, которым, так уж получается, на каждом новом витке истории приходится свою состоятельность доказывать заново. Образ России в этом смысле как самой сильной славянской державы, и к тому же на протяжении веков дававшей повод к подтверждению самых смелых чаяний славянских народов и даже к мифологизации самой проблемы славянства, тесно встроен в этот мировоззренческий контекст, а поэтому подвержен всем ветрам этой зыбкой сферы человеческого восприятия и имеет самый широкий спектр ответов на поставленные вопросы.

То, что в конце XVIII – начале XIX века среди славянских народов сложилось в течение панславизма, а в России затем вылилось в философские концепции славянофильства и западничества, имеет продолжение и в нынешней Сербии, принимая форму то национализма и глобализма, то национализма и либерализма, то европеизма и «варваризма», то других идеологических схем, и от степени идеологизации национального вопроса в рамках этих схем зависит взгляд каждого отдельного серба на Россию. Как ни странно, югославская война 1990-х годов, распад страны и бомбардировки Белграда резко качнули общественное мнение в сторону Запада. Сербские «западники» сочли, что, раз власть в этот период принадлежала Слободану Милошевичу, то эта власть и ответственна за все югославские

катастрофы последнего десятилетия: военные, экономические, даже цивилизационные (точка зрения высказана в книге Д. Жунича «Национализм и литература», 2002). При этом за аксиому принимается давно опровергнутый и «выброшенный на чердак истории» взгляд о том, что русская и другие православные культуры по самой своей сути являются «средневековыми», то есть закрытыми, инертными, архаичными и недемократичными, а европейские католические и протестантские культуры априори являются демократичными, динамичными, общественно и экономически прогрессивными. Говорить об объективности такого взгляда бессмысленно, однако именно он в значительной мере определял расстановку мировоззренческих сил на всем посткоммунистическом пространстве, в том числе и в Сербии. В этом смысле образ России в части сербского общественного сознания был в последнее двадцатилетие катастрофически обрушен, унижен, выброшен на периферию сознания, к нему стали относиться, как к позорному прошлому. Ему всячески пытались (и, разумеется, пытаются) найти альтернативные мифы, идеологемы, дефиниции и концепции (например, в культурологической сфере концепции «культурного единства ареала Средней Европы» или «новый иллиризм», актуализирующий средиземноморское ядро сербской культуры, ее «пастушеско-иллирийские» корни, которые совершенно отрицают общеславянское единство как таковое и, соответственно, сводят на нет русский миф). В 1990-е годы в идеологическом лагере западников Россия стала в лучшем случае «фигурой умолчания», а в худшем – на гребне диссидентского протеста и идеологического шквала с Запада – ее образ был сатанизирован и противопоставлен «благотворному», «цивилизаторскому» влиянию западноевропейскому. Как известно, цивилизационные мифы необычайно устойчивы. События последних десятилетий показали, что не умер даже осужденный международным трибуналом фашизм. Тем более над славянскими странами, не желающими «поклониться сильному», еще долгое время будут нависать псевдонаучные западноевропейские концепции социал-дарвинизма и социал-фрейдизма, а значит в ближайшем будущем им не приходится рассчитывать на спокойное и мирное развитие.

Что касается более глубокой рецепции, то здесь образ России выстоял, хотя – вместе со всем комплексом других исторических стереотипов, констант и мифов и на фоне вновь возникших во всей своей обнаженной грубости проблем национальной самоидентификации – потребовал безотлагательного уточнения, углубления, пересмотра

и проверки на жизнеспособность. Как нечто, встроенное в мировоззренческую картину мира, образ России в Сербии несет на себе все тяготы переходного периода.

Главное, что до сих пор подпитывает положительный образ России в Сербии, это мысль о том, что – несмотря на все коллизии XX века – идея славянского единства до сих пор не потеряла своей актуальности. Как ни пытаются дискредитироваться эту идею ее противники и как нисколько не благоприятствуют ее развитию современные исторические условия, все же она жива, и поддерживает ее не только языковое и конфессиональное родство двух славянских народов, не только мифы и исторические факты прошлого, но и современная ситуация: русские и сербы в последнее десятилетие XX века снова оказались в сходных политических, экономических и цивилизационных условиях, и снова для решения собственных вопросов каждой славянской стране приходится оглядываться на другую. Многие сторонники идеи славянского единства, защищаясь от агрессивного западноевропейского влияния и в борьбе за свою самоидентификацию, пытаются найти объяснение исторических коллизий в XX веке в том, что они гибельно размежевались между собой, забыли о своих общих корнях и о прошлых исторических связях, а одновременно с этим удалились от традиционной славянской морали, от понятий о добре и справедливости, чему прекрасный пример дает как раз-таки русская культура с ее правдолюбием, свободолюбием, богоискательскими и православными корнями, и «продались» за чечевичную похлебку красивой и удобной жизни в некой мифологизированной Европе, которая на протяжении веков несла в себе (и несет до сих пор) понятия о своем превосходстве и всячески пытается колонизовать славян, а «цивилизованная» Германия во время Второй мировой войны даже пыталась уничтожить их как низшую расу. Эти двойственные отношения с классическими западноевропейскими странами, одновременно притяжение и отталкивание, желание быть с Европой в равноправных отношениях и одновременно не потерять своего лица, сохранить свои национальные особенности и уклониться от нивелирующего западноевропейского влияния, – вот чем питается русский миф в настоящее время, и в этом смысле история его развития в Сербии еще далеко не исчерпана, и, очевидно, может быть исчерпана только с полным перерождением самой сербской истории (что на первый взгляд может показаться абсолютным нонсенсом, однако все же не совсем абсолютным, если принять во внимание остроту современных цивилизацион-

ных проблем, на переднем крае которых оказалась Сербия).

Сербия – страна, в которой национальное сознание на протяжении веков османского ига в значительной степени поддерживалось, благодаря богатству фольклорного и мифологического творчества. Именно фольклор традиционно играл здесь роль носителя национального сознания, и внедренный в фольклор положительный образ России до сих пор не может быть вытравлен оттуда никакими средствами, – хотя фольклор в роли национального стержня давным-давно уступил здесь место другим видам художественного и общественного творчества. Со страниц печатных издания и с экранов телевизоров на людей может обрушиваться любая информация и пропаганда, но в трудных жизненных обстоятельствах или в минуты особого творческого и патриотического подъема серб чаще всего почувствует своеобразное умиление, восторг, который неизменно будет обращен к России. При этом реальная Россия и эта внутренняя, фольклорная мифологизированная страна скорей всего будут иметь между собой мало общего, однако все же и реальной России в некоторой степени достанутся лавры ее мифологизированного прообраза. Любопытно, что современные сербы – далекие от сказок, европейски образованные люди, – тоже несут в себе это фольклорное, утопическое сознание и, с неизменным интересом наблюдая за всем, что происходит в России, переживают за русских едва ли не больше их самих, и со всей искренностью – в разговорах, в стихах, в песнях, – словно бы на разные лады восклицают: «Русские! Вы сами не знаете, каким волшебным богатством владеете! Вы не имеете права забывать и предавать все, что для всех нас свято!»

В 2006 году вышел прекрасный поэтический сборник Небойши Иваштанина, поэта и дипломата, «Влюбленное солнце», в котором он передает свои живые впечатления о России, «ветвящийся» во всех спектрах красоты русский дух, одновременно религиозный и созидательный, исполненный природной красоты и естественности, – и в то же время распознанный Варламом Шаламовым, двойственный и жестокий, одновременно зимний и раскаленный. Россия – «больше всех стихов», это «книга непрочтенная», она не поместится ни в какой вавилонской библиотеке, она «сама себе в душе липы снится», и чтобы ее описать, «не хватит целой Волги чернил». Ее овевает «златокрылый степной ветер», пересекают «набухшие сабли рек», внутри нее покоятся «алмазные недра», а на полях цветет «василек, водой освященный». Сборник Иваштанина – геопоэтическое путешествие

по России, захватывающее и проникающее сквозь внешнюю материальную атрибутику, оно поражает своей влюбленностью в нашу страну и болью за нее одновременно.

В то же время необходимо отметить, что кроме фольклорно-мифологического и поэтического, существуют и другие выраженные источники положительного образа России в Сербии: это, прежде всего, православная культура, и в том числе высшая церковная иерархия, которая поддерживает с русской православной церковью давние и тесные связи; это, во-вторых, носители коммунистического сознания и их последователи, которые не могут забыть прежних общих битв Второй мировой войны, и, настроенные в высшей степени идеалистически, считают, что титовская Югославия была далека от истинного воплощения коммунистических идеалов и что ее расхождение с Россией оказалось для страны катастрофической ошибкой; это, наконец, та интеллигенция, деятели искусства и культуры, которые обладают острым национальным и политическим чутьем и прекрасно осознают, чем грозит для Сербии ее полное растворение в западноевропейской культуре и цивилизации. «Пограничный» характер своей культуры они воспринимают не как необходимость отказа от собственной идентичности, но как соединение и развитие этой идентичности в согласии с универсальными, общекультурными ценностями.

2. НЕКОТОРЫЕ ВЕХИ СЛОЖЕНИЯ «РУССКОГО МИФА» В РОССИИ И В СЕРБИИ

Образ России в сербском космосе складывался на протяжении веков. Его трансформации в последние десятилетия не могут быть отделены от этого длительного пути развития, и поэтому без истории сложения «русского мифа» в сербском сознании его современное понимание невозможно. «Русский» миф, наряду с государствообразующим, основным национальным мифом – Косовским, укоренен в глубине национального сознания и тесно с ним связан, так что его разрушение влечет за собой фактически отказ от национального героического прошлого и угасание самой национальной идеи в ее веками вынашиваемых формах.

Источником для своего развития русский миф имеет уходящую вглубь веков мысль о родстве и единстве всех славян, что имело под собой идеальную, религиозную почву, и в конкретных исторических условиях вылилось в долго культивируемое сознание единства всех

православных славян. Этому процессу всячески способствовала Византия. С другой стороны, родственность языков и единоверие сербов и русских благоприятствовали непрерывному вековому соприкосновению, культурному взаимовлиянию и сотрудничеству. В IX веке не без помощи южных славян – сербов и болгар – на Руси была привита кириллическая письменность. В науке этот период носит название первого южнославянского влияния. В конце XII века при дворе сербского правителя Стефана Немани его сын Растко Неманич встретился с русским афонским монахом и под воздействием его бесед принял постриг в русском афонском монастыре св. Пантелеймона. Он стал знаменитым сербским просветителем и крестителем св. Саввой. После этого сербские князья и цари активно покровительствовали русскому монашеству на Афоне, а князь Лазарь, согласно его грамоте, подарил русским храм и близлежащие деревни в Метохии.

Что касается самого «русского мифа», то, судя по всему, он берет свое начало в Византии в XIV веке, и даже имеет своих конкретных родоначальников – императора Иоанна VI Кантакузина и константинопольского патриарха, знаменитого исихаста Филофея Коккина. По каким-то загадочным для современных историков причинам, эти два политические деятеля провидели будущее восхождение Московского княжества (в тот период далеко не самого сильного среди других претендентов на великое княжение, и к тому же весьма строптивого по отношению к духовной власти константинопольских патриархов) и путем очень сложных и дальновидных дипломатических шагов (например, миссии митрополита Киприана, не совсем понятой даже современниками) всячески поддерживали сплочение раздробленных русских земель на ниве православия и установили для них единого духовного владыку – киевского митрополита (давно жившего не в Киеве), который отныне именовался митрополитом «Всея Руси» (политически тогда не существовавшей и по всем признакам не предвидевшейся). Перед лицом угрозы турецкого завоевания патриарх Филофей связал воедино «мобилизацию» православных сил на северо-восточном фронте (Золотая Орда) и на юго-восточном фронте (Османская империя), и в качестве центра этой борьбы указал на Москву. Фактически это он своим активным вмешательством в «русские дела» и через посредство своих монахов-единомышленников в России (того же митрополита Киприана – «духовного посланника гибнущей Византии», по словам современной риторической публицистики, позже канонизированного; Сергия Радонежского, тоже канонизиро-

ванного, Федора Симоновского, Дионисия Суздальского и др.) как бы благословил объединенные русские рати на войну с Ордой. Именно в голове прозорливого патриарха идея единства православных народов (под духовным руководством Константинопольского патриарха) и их миссии по отражению нашествия «безбожных агарян» начала приобретать конкретные очертания. Все последующие события уже непроизвольно нанизывались современниками на эту незримую духовную нить.

Другие православные народы (сербы и болгары) тоже оказались под пристальным пастырским руководством Филофея Коккина и перед лицом общей для всех угрозы были приведены к каноническому единству. Стремление к подтверждению престижа и власти Константинопольской патриархии в историческом масштабе означало, что она брала на себя ответственность за духовное наследство светской империи. В тот период в политический союз православных народов это не вылилось. Распавшееся на две половины единое сербское царство было завоевано в двух битвах: южное на реке Марице в 1371 году, северное – на Косовом поле в 1389 году. Вместе с утратой независимости возросло значение культурных связей с другими православными народами.

Спасаясь от турецких властей, ученые сербы и болгары покидали родину и искали благоприятные условия для своей литературной и научной деятельности на Московской Руси, которая укреплялась и успешно отражала набеги магометан. В XV веке в Москве работал плодовитый книжник священноинок Пахомий Серб (Логофет), афонский монах, составивший множество сказаний, похвальных слов и служб русским святым (преп. Варлааму Хутынскому, преп. Сергию Радонежскому, преп. Кириллу Белозерскому и др.). Он же отредактировал сочиненное выдающимся русским книжником Епифанием Премудрым житие Сергия Радонежского. Пахомий Серб стал самым ярким представителем так называемого второго южнославянского влияния на Руси.

На рубеже XV и XVI веков здесь складывается известная концепция всемирной истории «Москва – третий Рим», и Москва – после падения в 1453 году «второго Рима», то есть Константинополя, – подтверждает тем самым свою ответственность за судьбы православия во всем мире. Именно теория «Москва – третий Рим» получила широкое распространение на Балканах, где она служила символом общеславянского единства и идейным знаменем борьбы с Турцией. В самой

же России она не получила в тот период практического применения, – несмотря на весь свой идеологический потенциал, – так как сложные политические отношения с Западом и с Турцией не способствовали немедленному принятию Россией византийского наследства.

Мать Ивана Грозного – Елена Глинская – по материнской линии была сербкой, внучкой воеводы Стефана Якшича. Царь сознавал свои сербские корни, очень благосклонно относился к Афону и к сербам и выдал сербским монахам, которые в 1550 году приехали к нему за помощью, грамоту для турецкого султана, в которой объявлял себя покровителем Афонских русских и сербских монастырей и разрешил сербскому Хиландарьскому монастырю иметь в Москве подворье. Это было серьезным дипломатическим шагом, попыткой заступиться за своих единоверцев на международной арене. В 1603 году Борис Годунов подтвердил право Хиландаря на подворье в Москве. Московские государи постоянно оказывали Афону материальную поддержку.

Но кроме духовных интересов, наши народы связывала также борьба против общего врага – Турции. В XVI веке Россия в основном отражала набеги крымских татар (находившихся в вассальной зависимости от Турции) и стремилась защитить свои южные степные рубежи превентивными ударами. Такая политика Москвы задолго до прямых столкновений с Турцией всемерно поддерживала среди южного славянства легенду о русской освободительной миссии, в то время как для самой России балканские дела долгое время оставались в разряде политически неактуальных. В XVII веке, спасаясь от преследования турок, сербы массами уходили в гайдуки и эмигрировали из страны (в Венецию, Далмацию, Австрию).

«Русский миф» в то время уже пустил глубокие корни и не только не иссякал, но и укреплялся. Его «западную» версию можно найти в трудах известного славянского мыслителя и политика Юрая Крижанича (хорвата по происхождению). После учебы в Болонском университете, посещения многих европейских столиц и работы в коллегии Св. Афанасия в Риме он в 1658 году приехал в Россию, в которой видел оплот и спасение для всех славян. Здесь он прожил два десятка лет, стараясь «труд мног подъять» на пользу Московского государства и указать ему пути, как встать вровень с другими европейскими державами, излечиться от «чужебесия», то есть крайнего пристрастия ко всему чужеземному, и почувствовать свое славянское достоинство. Объединение всех славян было его самой заветной мечтой. Он одним из первых заговорил о самобытности славянства, его силе и само-

достаточности, которая может благодаря объединению многократно увеличится. Поэтому славянским народам не следует придумывать себе какие-то унизительные теории своего происхождения от римских кесарей и других иноплеменников (теории четырех монархий, «Москва – третий Рим», «Сказание о Вавилоне-граде», «Сказание о князьях Владимирских», сказание о призвании на царство Рюрика и так далее), которые ставят славян в зависимость от Западной Европы или Византии. Среди главных врагов славян Крижанич числил, прежде всего, немцев, склоняющих их ко всему новому, и греков, решительно осуждающих всякую новизну. И те, и другие, по его мнению, одинаково презирают и ненавидят славян и постоянно сеют между ними вражду. Интересно, что в XX веке на теорию Крижанича опирались такие выдающиеся деятели хорватской культуры, как М. Крлежа и А. Цесарец, которые считали славянство «третьим компонентом» Балканской истории, «молодой крестьянской нацией», которая развивается вопреки всем внешним влияниям Востока и Запада и имеет собственную внутреннюю динамику развития.

Существенным шагом в становлении русского мифа стало воссоединение Украины с Россией в 1654 году, которое имело значение не только для России, но и для всех славян. В этом событии сталкивались враждебные интересы России и Польши, так что между этими двумя странами немедленно вспыхнула новая война. Со второй половины XVII века Россия начала активную борьбу за выход к Черному морю, и, соответственно, вошла в прямые столкновения с Крымским ханством. Второй поход Петра I (1696 года), как известно, увенчался успехом, и крепость Азов в устье Дона был взят. В 1711 году Петр I сделал попытку начать войну с Турцией, но потерпел поражение на реке Пруте.

Политика Петра I в отношении южных славян отличалась искренней заинтересованностью. Он вошел с ними в прямые контакты, покровительствовал австрийским сербам. Его имя было чрезвычайно популярно на всем Балканском полуострове, особенно в Черногории, Далмации и Дубровнике (Рагузе). Этому во многом способствовала деятельность серба Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского, который был главным советником царя по балканской политике. Знаменитый сербский поэт первой половины XX века Йован Дучич, сам крупный дипломат, написал о нем прочувствованное и доскональное историческое исследование. Савва Владиславич неоднократно посещал Дубровник и извещал его Сенат о победах русского оружия. Петр I

также неоднократно обменивался с дубровницким Сенатом письмами. В то время Далматинские земли принадлежали Венецианской республике, которая относилась к славянам свысока и православия категорически не поддерживала. Православные сербы, сохранявшие сознание своей принадлежности к единому сербскому народу, неоднократно на протяжении XVIII века с оружием в руках выступали против экономических и политических решений венецианского сената. При этом все свои надежды они возлагали на Россию. То же самое происходило и в Сербии. В 1718-1739 годах ее северная часть была оккупирована Австрией. Положение сербов по сравнению с турецкой зависимостью не улучшилось. Кроме разорительных налогов, они стали объектом принудительного окатоличевания.

С середины XVIII века участились переезды больших групп сербского населения в Россию (они были поселены на берегах Днепра и Донца). Указом царицы Елизаветы Петровны эти места стали называться Новой Сербией или Славяносербией. Упование сербов на Россию и отношение к ней как к земле обетованной показано в знаменитом романе М. Црнянского «Переселения» (часть 1 опубликована в 1929 году, часть 2 – в 1962 году). Хорошо изучена деятельность в России далматинских сербов, вынужденных покинуть родину: М. Змаевича, И. Крушала, епископа С. Концаревича. На службу в российский флот записывалось много славянских добровольцев.

В 1768 и в 1787 годах, в царствование Екатерины II, произошли две победоносные русско-турецкие войны. При этом Екатерина II добилась от Турции признания за Россией официального покровительства над балканскими славянами. В то время русская политика давала себя знать в разных частях Балканского полуострова. В 1780 году венецианский сенат признал право православных сербов на свободу вероисповедания. В 1785 году в Дубровник был назначен русский консул. Создание централизованного государства в Черногории также осуществлялось при поддержке России. К концу XVIII века, одержав несколько побед над турками, Черногория фактически освободилась от их владычества. Русские субсидии были важным фактором ее экономики и политики. Павел I наградил духовного владыку Черногории Петра I Петровича Негоша высшей наградой России – орденом Александра Невского, а 15 старейшин – золотыми медалями. После Кампоформийского мира 1797 года Далматинское побережье отошло к Австрии. Черногория оказалась зажатой с одной стороны турками, с другой австрийцами. Если бы не материальная помощь России, она

вряд ли сохранила бы свою независимость. В начале XIX века в России получили поддержку черногорские проекты (в ответ на экспансионистскую политику Наполеона) превращения Черногории в оплот освободительного движения на Балканах и вооружения ее с помощью России.

Именно в конце XVIII – начале XIX веков на гребне освободительного движения среди западных и южных славян и их борьбы за создание национальных государств возникает течение панславизма, которое у разных народов принимает разные формы, но общим для них было стремление к взаимному сближению, раскрытие и изучение общих языковых и культурных корней и осмысление своего места среди крупнейших европейских стран. В России панславизм тесно увязывался с политическими интересами государства и также имел разные редакции – от имперски-монархической (создание единой общеславянской федерации под эгидой русского царя) до либерально-буржуазной и романтически-мистической. В Сербии панславизм нашел благодатную почву, хотя укреплению русского мифа способствовал лишь косвенно – на фоне внутренних политических событий и, как правило, в православной клерикальной среде, то есть без поддержки имперски-монархических притязаний русского правительства. В то же время духовное содержание панславизма и зарождение науки славистики сыграло огромную роль в культурной и политической истории всего XIX века и в своем мистически-романтическом облике не противоречило укреплению «русского мифа» среди православных славян. В России панславизм дал импульс для развития славянофильства, которое – наряду с обоснованным стремлением ученых-славянофилов изучать славянство, исходя из его внутренних, аутентичных закономерностей развития, – способствовало мифологизации некоторых сторон жизни и быта славянства. Славянофилы особенно подчеркивали родство русских и Балканских православных славян и резко противопоставляли их культуру и менталитет западноевропейскому миру.

Как известно, с конца XVIII века в северных сербских землях также началось массовое движение за освобождение. Восставшими руководил Кара-Георгий. В 1804 году под его руководством были уничтожены гарнизоны янычар в разных городах, а затем взят Белград. Успехи русских в войне с Турцией очень способствовали победам восставших. В 1812 году по Бухарестскому миру между Россией и Турцией последняя предоставила Сербии полунезависимое автоном-

ное управление. Сербы стали управляться по своим законам и своими начальниками; власть турок ограничивалась лишь признанием за султаном верховных прав над Сербией и денежными налогами, собиравшимися теперь сербскими чиновниками. Кроме того, турки имели право содержать в некоторых городах свои военные гарнизоны. Кара-Георгий был назначен верховным правителем Сербии, однако в гражданских делах он оказался мало успешен. Не в силах противостоять новой экспансии Турции, он обращался за помощью то к России, то к Австрии, но везде получил отказ. Россия была занята борьбой с Наполеоном, и новое восстание сербов было легко подавлено. Кара-Георгий бежал в Австрию, где его принуждали признать за австрийцами верховную власть над Сербией. Он отвечал отказом, и за это его заключили в тюрьму. Только благодаря вмешательству России сербского вождя освободили и вместе с другими сербами разрешили уехать в Россию.

Права Сербии были урезаны, но не отменены. В 1820 году Милош Обренович – единственный из сербских воевод, оставшийся в стране после бегства Кара-Георгия, – добился от Турции подтверждений прежде установленных сербских прав и был провозглашен наследственным князем. По Адрианопольскому миру между Россией и Турцией Милош увеличил свои владения (практически достигая границ исторической Сербии, за исключением земель, присоединенных в 1913 году). С этого времени Сербия пользовалась свободой веры, самостоятельным управлением, свободой торговли, правом постройки церквей, школ, больниц. Бесчисленные турецкие налоги были объединены в один. Все турецкие военные гарнизоны, за исключением Белграда, были удалены из Сербии. Учреждалось постоянное сербское войско.

Сербские восстания не остались незамеченными русским просвещенным обществом. Пушкин посвятил сербам цикл своих стихотворений, навеянный сборником народных песен Вука Караджича. Современник Пушкина, господарь Черногории Петр II Петрович Негош, следуя завету своего предшественника «молиться Богу и держаться за Россию», два раза побывал в России. В 1833 году в Санкт-Петербурге он был возведен в сан епископа, причем на церемонии присутствовал сам царь. В 1837 году после гибели Пушкина он приехал на его могилу в Святогорском монастыре под Псковом и в парадном епископском одеянии сам отслужил на ней панихиду.

В XIX веке Сербия становится ареной борьбы между сторонниками двух династий: Обреновичей и Карагеоргиевичей, которые по-

переменно заискивают то у Австрии, то у России. Россия же в тот период действовала в сербских делах неэнергично, и Австрия постепенно начала играть там первенствующую роль.

В русско-турецкой войне 1877-1878 годов Сербия принимала самое активное участие. После нее Россия заключила с Турцией весьма удачный для Сербии Сан-Стефанский мирный договор, по которому та получила полную независимость и некоторые земельные приобретения. Вместе с тем, желание Сербии присоединить к себе всю Боснию и Герцеговину осталось неудовлетворенным, так как Россия еще до войны была связана с Австрией обещанием уступить ей эти земли во временное управление. Австрия воспользовалась уступчивостью нашей дипломатии, и по ее настоянию Сан-Стефанский договор был пересмотрен на Берлинском конгрессе, в результате чего Сербия не получила ничего, кроме признания за ней полной независимости. Босния и Герцеговина были отданы Австрии.

После войны в Сербии появилась так называемая радикальная партия, самым известным главой которой был Н. Пашич. Эта партия твердо стояла на национально-патриотических, антиавстрийских и прорусских позициях и пользовалась неизменной поддержкой народа. В 1903 году, после очередного государственного переворота, Скупщина избрала на престол Петра – внука Кара-Георгия. Россия немедленно признала его права, чего нельзя сказать об Австрии и Германии, которые своих планов не отменяли: рано или поздно Австрия собиралась присоединить к себе Сербию.

Для начала она продолжила начатое еще при прежних правителях экономическое закабаление Сербии. Между двумя странами завязалась так называемая экономическая война, Босния и Герцеговина были отданы под управление Австрии, а после проигранной Россией войны с Японией и вовсе аннексирована ею.

В Сербии начался подъем патриотических настроений. В какой-то момент она готова была самоубийственно в одиночку бросить вызов Австрии, однако страсти удалось утихомирить дипломатическим путем. В 1910 году образовался сербо-болгарский комитет единения, который ставил себе задачу культурного сближения двух народов. Затем между двумя странами был заключен военный союз, к которому вскоре примкнули Греция и Черногория. Союз ставил себе целью освобождение из-под турецкого владычества тех христианских земель, которые все еще находились под властью Турции. В 1912 году Балканский союз объявил войну Турции и одержал победу, но Австрия

всячески препятствовала закреплению Сербии на Адриатике и потребовала образования независимого Албанского государства. Австрию поддержала Германия, другие европейские державы (в том числе Россия), которые не желали всеобщей войны из-за сербо-албанского вопроса и уговорили Сербию согласиться. Несмотря на раздоры между союзниками (так называемые Балканские войны 1912-1913 годов), Сербию не оставляла мечта объединить в одном государстве всех своих соотечественников, разбросанных по разным странам: то есть, австрийских сербов и сербов Боснии и Герцеговины. Австрия занималась активным онемечиванием этой территории, заселяла сюда немецких колонистов, отдавала им лучшие земли. В руках австрийцев находилась почти вся торговля и промышленность Боснии и Герцеговины. Следуя общему подъему освободительной борьбы, славянское население этой области активно боролось за свои права, восстания учащейся молодежи следовали одно за другим. 15 июня 1914 года члены террористической организации «Молодая Босния» убили австрийского наследника престола Франца-Фердинанда с супругой. Воспользовавшись тем, что убийцей оказался молодой серб, Австрия обвинила в этом преступлении Сербию (якобы нити заговора вели туда) и потребовала допустить в Белград австрийских чиновников, чтобы те расследовали дело о заговоре. Сербия отказалась, и Австрия получила хоть и надуманный, но предлог, чтобы начать войну. Русские требования мирного разрешения вопроса были поддержаны Францией и Англией (Антантой). Но все же Австрия надеялась, что Россия, как и раньше, во время аннексии Боснии и Герцеговины, как и в случае албанского вопроса, пойдет на уступки. Россия на уступки не пошла. Началась Первая мировая война. Таким образом, клубок Балканского кризиса снова был тесно завязан на России.

Между тем, в годы Первой мировой войны в среде разных южнославянских народов укрепились стремления к объединению. 1 декабря 1918 года в Белграде было провозглашено объединение Сербии, Черногории и югославянских областей бывшей Австро-Венгрии во главе с династией Карагеоргиевичей. В конце 1918 года вопрос о вхождении в объединенное государство положительно был решен хорватами.

После Октябрьской революции Сербия приютила у себя русских эмигрантов, среди которых были крупные ученые, церковные деятели, художники. В 1932 году в Белграде иеромонах Николай Велимирович (будущий епископ) выступил с речью, в которой сказал: «Велик наш долг перед Россией. Должен может быть человек человеку. Но

и народ может быть должен народу. Долг Сербии перед Россией за помощь сербам в войне 1914 года огромен: все будущие поколения за многие века не смогут его возместить. ... Царь Николай II выбрал небесное царство, за что положили головы его чада и миллионы подданных. Еще один Лазарь! Еще одно Косово! Этот новый косовский завет открывает новую глубину славян!»

Сложность национальных отношений в новом государстве – объединенной Югославии – ослабляла ее позиции как внутри, так и на международной арене. После аншлюса Австрии в марте 1938 года ее соседом на северо-западе стала гитлеровская Германия. В предвоенной обстановке Югославия предпочитала политику лавирования между разными западными державами. Внутри страны на повестку дня вышел хорватский вопрос. В августе 1939 года была создана Хорватская бановина, в которую вошли все территории с преобладающим хорватским населением. Тем самым Югославия вступила на путь федерализации, однако развитию этих тенденций помешала война. После разгрома Франции, когда Германия приступила к подготовке нападения на Советский Союз и созданию «нового порядка» в Европе, встал вопрос о месте в нем Югославии. Под нажимом Германии югославское правительство дало согласие на присоединение страны к фашистскому Тройственному пакту и подписало 25 марта 1941 года в Вене соответствующий протокол. Известие об этом вызвало возмущение в стране, особенно в Сербии, где он был расценен как национальное предательство. Часть высшего офицерства совершила государственный переворот, принц-регент Павел был свергнут, на престол возведен несовершеннолетний король Петр II.

6 апреля 1941 года Германия напала на Югославию, в короткий срок югославская армия была разбита, вся территория страны оккупирована и поделена между Германией и ее союзниками (Италией, Венгрией и Болгарией). Так называемая «первая Югославия» закончилась. Опорой оккупационного режима на территории бывшей Югославии стало независимое государство Хорватия, в которое нацисты включили также Боснию и Герцеговину, а также созданная под эгидой Италии «Великая Албания», куда кроме собственно Албании вошли Косово и Метохия, часть македонских и черногорских земель и греческий Эпир. Отличительной чертой оккупационной системы был ее антисербский характер, а на территории Хорватии и Великой Албании был развязан настоящий геноцид сербов. Расстановку сил в войне изменила народно-освободительная борьба под руководством комму-

нистов. Уже в ходе войны Коммунистическая партия Югославии приступила к осуществлению своей национальной программы, которая сложилась на основе советского опыта. Особенно это отразилось на решениях второй сессии Антифашистского веча освобождения Югославии в ноябре 1943 года, которое заложило основы федеративного устройства «второй Югославии» по советскому образцу. Решающую роль здесь сыграло освобождение Югославии советскими войсками в тесном контакте с югославскими партизанами. 29 ноября 1943 года Антифашистское вече народного освобождения Югославии приняло решение о создании югославского демократического федеративного государства. С согласия Национального комитета и верховного командования Югославии в октябре 1944 года на территорию страны вступили части советской армии. К концу октября совместными усилиями советской и югославских армий был освобожден Белград. 29 ноября 1945 года провозглашено создание Федеративной народной республики Югославии.

Политические события середины XX века соединили в Сербии «русский миф» с освободительной миссией русского народа во Второй мировой войне, а также с верой в справедливое социальное устройство СССР, который, как казалось, воплотил многовековые утопические мечты угнетенных народов в реальность и сам представлял собой сильную и непобедимую славянскую державу, способную беззаветно встать на сторону слабого и дать отпор мировому злу.

3. СИТУАЦИЯ 1948 ГОДА И «РУССКИЙ МИФ»

В связи с глубокой укорененностью образа России в национальном самосознании ситуация последнего двадцатилетия XX века не стала в Сербии чем-то новым, в корне отличным от предыдущего восприятия. Явное разобщение сербского общества на «русофилов» и «западников» показали события 1948 года. Попытки послевоенной Югославии вести самостоятельную политику встретили резкое неприятие со стороны СССР. Образованное в 1947 году Информационное бюро коммунистических и рабочих партий одно из своих заседаний (июнь 1948 года) полностью посвятило «положению в КПЮ». С этого момента председатель КПЮ Йосип Броз Тито перешел в глазах советского руководства и других членов Информбюро в разряд «фашистов», «раскольников», «агентов (или наймитов) англо-американского империализма», «изменников дела рабочего класса»

и т.д. Югославия была исключена из содружества социалистических стран. В результате в стране начались процессы, противоречивость и непоследовательность которых закладывала бомбы замедленного действия под само существование страны. С одной стороны, в Югославии развернулась инициированная партийным руководством КПЮ критика сталинизма и советской модели социализма (включая и культурную политику СССР), а с другой – запрещалось всякое оппозиционное отношение к югославскому варианту экономики и политики и к вождям КПЮ. Под табу подпадали также темы межнациональных конфликтов в прошлом Югославии, исторические события военного времени и гражданской войны 1941-1945 годов, а затем решения Информбюро и последовавшие за ними репрессии в самой Югославии. Провозглашенный плюрализм мнений в области идеологии остался скорее на бумаге, однако в области искусства он получил некоторое развитие и поддержку свыше. Литературные журналы охотно знакомили своих читателей с современными зарубежными философскими, политическими, эстетическими и культурологическими теориями, в издательствах выходили произведения современных европейских и советских писателей разной идейной направленности и запрещенных в других социалистических странах – А. Солженицына, Б. Пастернака, Ч. Милоша, М. Кундеры и многих других. В историю югославской литературы возвращались имена, по тем или иным причинам запрещенные в первые годы установления социалистической власти (например, Т. Уевич и М. Црнянский); со своеобразными оговорками, «подправленные» под требования новейших эстетических метров – целые художественные направления (в частности, модерн рубежа веков, символизм и экспрессионизм). Исключение из этих направлений составляет сюрреализм, который еще раньше оказался в привилегированном положении, переняв приемы идеологической борьбы у партийного руководства страны и присвоив себе знаки канонизации наряду с официально признанным социальным реализмом. В условиях мнимой политической свободы для обсуждения волновавших общество проблем писателям приходилось избирать мифологические и параболические формы повествования, прибегать к зашифрованным, иносказательным, символическим или авангардным приемам. Развернувшаяся в публицистике критика сталинизма и России часто камуфлировала критику собственных, внутриюгославских проблем. Этот период подробно обрисован и проанализирован Г.Я. Ильиной.

В 1968 году в Югославии, на первый взгляд «благополучной», разразился новый общественно-политический кризис. Массовые студенческие волнения и забастовки рабочих, поддержанные частью творческой интеллигенции, проходили под флагом защиты «истинного социализма», «гуманного общества», свободы печати и отмены всяческих привилегий. Монополия коммунистической партии в области идеологии и культуры к тому времени значительно ужесточилась и потеряла свой мнимо терпимый характер. С другой стороны, «низам» надоело молчать, и вместе с открытыми выступлениями против тоталитарной партийной власти в Югославии закончилась эпоха скрытого, закамуфлированного протеста. После смерти И. Б. Тито (1980) этот протест начал выходить на другой уровень, приобретать социальные, «системные» формы. В обществе поднялось движение за «очищение» от прежней лжи, за ликвидацию последствий режима Тито. Все формы общественной деятельности в этот период крайне политизировались, в том числе и литература, роль личной гражданской позиции того или иного деятеля культуры выходила на передний план. Художественная литература стала «носителем критического и альтернативного сознания» (по словам П. Палавестры). Общественно-политическое противостояние захватило ее в полной мере.

Наряду со многими другими темами югославской истории в этот период снимается запрет и на тему 1948 года. Противостояние пролегло между приверженцами так называемой «югославской правды» и «информбюровцами». Круг последних оказался весьма широк. В него входили не только те, кто находил в резолюции Информбюро много справедливого, но и те, кто симпатизировал России и Красной Армии, освободившей Югославию от фашистской оккупации, и те, кто считал пагубным разрыв исторически сложившихся русско-югославских связей. Все конкретные политические распри 1940-х годов как будто потеряли в этот период свою остроту и ушли на задний план, зато на передний план выступили вопросы нравственности, благородства и верности высшим гуманистическим идеалам. Именно в это время литература начинает культивировать – подспудно или прямо – разные взгляды на Россию, втягивая своих героев в политические коллизии той далекой эпохи, ставшей для Югославии судьбоносной. Характерно, что сербские писатели, как правило, придерживались «прорусской» позиции (роман Др. Михайловича «Когда цвели тыквы», 1968, роман Сл. Селенича «Мемуары Перо-калеки», 1968), а хорватские – прозападнической. В романе «Айсберги» (1969) хорват-

ского писателя Й. Барковича выведен герой, серб по национальности, который высказывает мнение о том, что сербы, в отличие от хорватов, тяготеющих к Западу, всегда видели в России свою защитницу. После разгрома информбюровцев он встал на защиту идеалов коммунизма, от которых, по его мнению, отступило руководство страны. В результате он оказался на Голом острове – югославском варианте ГУЛАГа. В конце романа главный герой признает свою вину и справедливость наказания, так как, по мнению хорватского автора, по сравнению со сталинскими чистками, расправа с политическими противниками в Югославии была более мягкой, а если бы победили информбюровцы, то эти чистки приняли бы сталинский размах.

В 1970-1980-е годы эта тема получает в литературе новое развитие. Так или иначе ее касаются все крупнейшие писатели того периода – А. Исакович, Сл. Селенич, П. Угринов, и др. Вместе с ней крайне политизируется и литературный образ России, тесно связанный со сталинизмом и коммунизмом, с проблемой путей развития социализма в разных странах и ответственности тоталитарных режимов за сломленные судьбы своих граждан. Больше всего югославских писателей волновала проблема сталинизма, они исследуют, как насилие (с любой стороны) влияет на жизненные основы общества, разрушает его мораль и основополагающие человеческие ценности. Информбюровцы – в отличие от оказавшейся у власти «красной буржуазии» и партбюрократии – показаны людьми идеи, но они же открывают для себя горькую истину: убийство во имя истории – все равно преступно. Снимая запрет с темы Голого острова, литература и общество в целом перед катаклизмами 1990-х годов пытались найти какую-то твердую платформу под ногами, которая могла бы всех снова сплотить, победить вызванный репрессиями страх и сломить в людях тоталитарную психологию.

В качестве иллюстрации можно привести наблюдения за творчеством одного из крупных сербских прозаиков периода «сербской оттепели» – Борислава Пекича. Теоретик литературы Н. Милошевич назвал его творчество «мифоборчеством», а самого Пекича – писателем серьезного философского размаха. В романе «Время чуда» (1965) Пекич борется с легендой о Христе, показывая, что всякая идеология рождается в полемике с другой идеологией, всегда отличается по отношению к ней нетерпимостью, а по отношению к большинству своих приверженцев – подозрительностью. В повести «Взлет и падение Икара Губелкияна» (1975) происходит пародирование мифа об Икаре, снижение его на людской, тривиальный уровень. Действие происходит в окку-

пированной Сербии. Главный герой забавляет немецкую и «чистую» коллаборационистскую публику катанием на коньках, и когда падает и ломает позвоночник, то вызывает кругом исключительно смех. Пикантность ситуации в том, что мысленно Икар вынашивает грандиозные освободительные планы, а в жизни добровольно берет на себя роль шута перед оккупантами своей страны и виновниками смерти своих родителей. В романе «Как успокоить вампира» (1977) происходит, по словам самого автора, «грандиозная попытка найти модус вивенди со своим прошлым, что-то в нем искупить, что-то сгладить». Главный герой, бывший оберштурмфюрер СС с целью освобождения от своего прошлого прибегает к помощи многочисленных философских реминисценций и к тому, что автор называет «самоманипуляцией» и «самоиндоктринацией». В данном случае тем мифом, с которым борется автор, является нацистский миф сверхчеловека, обладающего необыкновенной силой и могуществом. Однако при этом автор обобщает свои разоблачения на все современные тоталитарные мифы. Живые, полнокровные, пронизанные сатирой и юмором произведения Пекича не касаются темы России напрямую, но тем красноречивее кажется в тексте россыпь многочисленных оговорок и замечаний персонажей.

Особенно это характерно для грандиозной эпопеи Пекича, начатой романом «Паломничество Арсения Негована» (1970) и продолженной пятитомной сагой «Золотое руно» (1976), где под прицелом автора оказывается миф собственности. Семья Негованов показана на протяжении нескольких столетий, и среди ее членов находятся своеобразные «выродки», которые, изменяя страсти основных действующих лиц к стяжательству, вступают с ними в любопытные полемики. Россия в этих полемиках (имеется ввиду Россия XX века) упоминается в двух аспектах: во-первых, как страна, откуда в Сербию в межвоенное двадцатилетие хлынула многочисленная эмиграция, которая по своей бедности вызывает у богатых торговцев разве что снисходительное презрение, а, во-вторых, как страна коммунизма и сталинизма, что в любом варианте представляет для семейной философии Негованов угрозу. Один из героев «Паломничества», полковник, все студенческие волнения 1968 года, и вообще все социальные потрясения в обществе последних лет, объясняет управлением извне, существованием неких тайных агентов, специально созданных для этого фондов и т.д. И когда его спрашивают, что он конкретно имеет в виду, считает ли он студентов московскими наемниками, он уклончиво отвечает: «Не только московскими, есть разные».

М. Карасева

4. ГЛУБИННОЕ ТЕЧЕНИЕ РУССКО-СЕРБСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА – ПЕРЕВОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СЕРБСКОЙ ПОЧВЕ

Пока на поверхности политической и культурной жизни второй Югославии клокотали страсти, ее глубинные культурные течения, не останавливаясь, двигались в обозначенном долгосрочными историческими и цивилизационными импульсами направлении. Что касается России, то в XX веке ее глубинное восприятие определялось, в основном, двумя идейно и политически противоположными факторами: во-первых, монархической межвоенной иммиграцией, которая активно участвовала в научной и культурной жизни Сербии 1920-1930-х годов и оказала существенное влияние на консервативные слои сербского общества, в том числе и после Второй мировой войны; и, во-вторых, пристальным вниманием всего сербского общества к происходящему в России социалистическому эксперименту. Кроме откровенной критики большевистской диктатуры, сталинизма и коммунизма, связанной во многом с внутренними югославскими коллизиями, в сербском обществе – как среди славянофилов, так и западников, – осознавалась острая необходимость осмысления русского эксперимента во всей его объективности, противоречивости и полноте, и для этого с повестки дня никогда не снимался вопрос о знакомстве и изучении русской культуры, в том числе социалистической. В межвоенное двадцатилетие модернистски настроенная художественная молодежь Сербии жадно интересовалась новейшей русской поэзией и литературой, и это интерес вспыхнул с новой силой после Резолюции Информбюро, когда в Югославии прежние модернистские и авангардные художественные течения заново начали восстанавливать свои права. В Сербии, например, в 1950-е годы как бы вдруг возник пристальный интерес к Есенину, интимная лирика которого привлекала сербов тем, что была кровно связана с событиями социальной истории. В 1959 году вышел сборник эссеистики А. Блока, В. Брюсова и В. Маяковского «Поэзия и революция», в 1958-м году переведены и изданы стихи Б. Пастернака, в 1961-м вышла крупнейшая антология «Современная русская поэзия». В последующие годы поток переводов с русского только возрастал: Мандельштам, Маяковский, Цветаева, Ахматова, Хлебников, Брюсов, Белый, снова и снова Пастернак, Заболоцкий... Начиная с 1971 года – И. Бродский, Ахмадулина, Вознесенский, Евту-

шенко... Не обходятся вниманием имена второго и третьего порядка. В числе переводчиков – крупнейшие сербские поэты и литераторы: С. Винавер, Р. Зогович, Д. Максимович, Сл. Маркович, И. Раичкович, Б. Милькович, А. Бечкович, Д. Киш и многие другие. Русская проза также охотно переводилась, особенно та, которая помогала осмыслить сложный исторический опыт XX века: Б. Пастернак, И. С. Солженицын, Л. Леонов, В. Замятин, А. Платонов, В. Шаламов, и др. Поток переводной продукции с русского не иссяк и в 1990-е годы, и продолжается до сих пор. Его характерной особенностью можно считать высокий уровень перевода, а также тот факт, что в числе переводчиков встречаются имена крупных поэтов и прозаиков (например, Б. Мильковича и Д. Киша), известных своей твердой и непреклонной западнической ориентацией. Очевидно, поверхностное восприятие русской культуры как «большевистской» и антидемократической не совсем совпадало с ее реальным значением в сербском культурном пространстве, а также не отменяло того безусловного факта, что русская культура традиционно отличалась многообразием и правдоискательской глубиной. И еще: русская культура традиционно, с незапамятных времен, воспринималась в Сербии как одна из форм западной культуры, так как раздел на Запад и Восток для порабощенных Турцией сербов проходил не между Россией и Западной Европой, а между христианскими и исламскими народами. Глубинное восприятие России в современной Сербии это четко фиксирует.

5. ЛИТЕРАТУРА 1980-1990-х ГОДОВ

В 1980-1990-е годы накал политических и идеологических страстей в Югославии доходит до точки кипения. Если следовать югославским библиографическим справочным изданиям, то среди самых читаемых сербских книг конца 1980-х – первой половины 1990-х годов большинство посвящено именно историческим и политическим вопросам. Роман остается главным художественным жанром этого периода: очевидно, он давал возможность осмыслить историю и все то, что произошло со страной в 1990-е годы. Вообще, следует подчеркнуть, что сербская литература, как и все сербское искусство этого периода, и вся общественная жизнь в целом, были чрезвычайно политизированы. По словам некоторых критиков, сербскую литературу 1980-1990-х годов в массе отличала выраженная тенденциозность и популизм, доходящие до нелитературности. Это создавало своего

рода «паралитературу» (по словам Д. Жунича), натуралистически документирующую определенные общественные взгляды и идеи, что подразумевало, что главная литературная продукция в Сербии 1980-2000-х годов чаще всего была посвящена осмыслению исторического прошлого страны, извлечению из него уроков, попыткам объяснить современное состояние страны и найти из него выход. По своей серьезности, реалистичности и ответственности перед своим народом и обществом сербская литература такова, что в ней можно найти весь спектр общественных и политических взглядов XX века и даже использовать ее в качестве исторического источника.

Принимая во внимание эти отличительные особенности, сербская художественная, и особенно массовая, литература выработала свой образ России, который в основном ассоциировался со сталинизмом и коммунизмом и – шире – с ответственностью тоталитарных режимов за сломленные судьбы своих сограждан. Если бы первая (то есть межвоенная, версальская) Югославия оказалась более прочным государственным образованием, то, возможно, на первый план в общественном сознании со временем выступили бы другие составляющие русского мифа. Однако традиционное тяготение сербов к России сказалось в XX веке, кроме всего прочего, в том, что после Октябрьской революции здесь были очень сильны позиции коммунистической партии, которая поддерживала тесные связи с Советским Союзом и в своей деятельности следовала в русле Коминтерна. Во время Второй мировой войны именно коммунисты смогли поднять всенародное движение сопротивления, а после войны встали во главе новой Югославии. Все это стало причиной того, что во второй половине XX века образ России как бы сросся с понятием коммунизма, постоянно сравнивался с титовской системой, в которой виделись причины катастрофических событий конца века. В произведениях разной идейной направленности на разные лады варьируются сюжеты застенков Лубянки, большевистского террора, коммунистического кошмара, ввезенного в страну на советских танках и, как оказывается, неудобоваримого для Сербии, затем события 1948 года, когда Тито поссорился со Сталиным, и Югославия была исключена из содружества социалистических стран, осмысления правомерности, или – наоборот – ущербности такого варианта «югославской правды», влияния ее на катастрофические события рубежа XX–XXI веков.

* * *

Так, «Гробница Бориса Давидовича» Данила Киша (1976) состоит из «семи историй одной общей судьбы»: шести историй о страдании человека, столкнувшегося со сталинской «инквизицией» (сфабрикованные процессы, мнимый шпионаж и саботаж, вынужденные признания, шантаж и моральные искушенья, каторжные работы, сумасшествие) и одной истории о страдании человека, столкнувшегося с католической инквизицией во Франции XIV века. Киш стремился показать, как обращаются тоталитарные режимы с человеком, как они влияют на его психику и судьбу. Его роман – это стремление осмыслить сталинизм, к которому сербская власть в послевоенный период имела, по его мнению, самое прямое отношение. Герои, приезжающие в Москву в предвоенное время, без суда и следствия оказываются в застенках Лубянки. (Впрочем, в этом романе все полемично и многие факты извращены: например, само словосочетание «сербская власть» весьма полемично, так как во главе правительства в послевоенной Югославии стоял хорват Тито, и белградская власть отнюдь не противодействовала этническому хорватскому сепаратизму и развязанной хорватами разнузданной идеологической войне против Сербии).

В Сербии есть писатель масштаба А. И. Солженицына: Добрица Чосич. С 1985 по 1990-й год он издал грандиозную эпическую трилогию под названием «Время зла», которую можно назвать «энциклопедией сербского гражданского общества XX века». Первая часть этой трилогии называется «Грешник». Ее составляет исповедь интеллектуала Ивана Катича, который после Первой мировой войны становится «попутчиком» Коммунистической партии (находящейся в подполье). Оказавшись перед альтернативой: фашизм или коммунизм? – он выбирает последний, затем из-за своей нелегальной деятельности попадает в застенки, а затем, изверившись в человечности и смысле большевистского террора, оказывается изгнанным и опозоренным своими же бывшими товарищами. Параллельно писатель прослеживает судьбу остальных членов идеологически расколотой семьи Катичей, в которой сталкиваются судьбы революционного левака-интернационалиста, коминтерновского активиста, сербского националиста и республиканца, бывшего министра и разочарованного югослава-идеалиста. Все эти герои спорят до хрипоты, сомневаются, совершают поступки согласно своей вере. На первом плане в романе «Грешник» стоят проблемы сталинского террора и внутрипартийных

чисток, столкновения идеологической убежденности человека и его права на сомнения, партийной дисциплины и личной свободы членов партии, а также проблема идеологического разделения в одной семье и в одном народе.

Характерная черта: Первую мировую войну главный герой (и автор) считает для Сербии проигрышем. После нее остались довольны только «дезертиры, контрабандисты и те, кто вернулся из Франции, где провел войну». После войны сербы не получили ни мира, ни свободы, только новую мировую религию – коммунизм, где церковью является комитет, главой – генеральный секретарь, а инквизицией – московская Лубянка. Впрочем, точно такой же религией, по мысли автора, является и нацизм. Со стороны немцев, венгров и хорватов (то есть европейцев и католиков) во время Первой мировой войны сербы встречали только ненависть и отношение к себе как к скотам – только из-за того, что они «неевропейцы» и православные. В семействе Катичей обсуждалась коммунистическо-коминтерновская концепция решения национального вопроса. Один из героев считает, что советская власть на Балканах может утвердиться не только путем классовой борьбы, то также в результате подъема национальных движений «угнетенных югославских народов»: хорватов, македонцев, венгров, албанцев..., то есть путем разрушения Королевства Югославии, «которой управляет сербская милитаристская клика». Таким образом, согласно это точке зрения, в борьбе за власть в Югославии коммунистическая партия считала своими союзниками врагов сербского народа. Другая позиция гласит, что война действительно велась за свободу и объединение всех сербов, хорватов и словенцев, и сербы справедливо заняли в новой державе главенствующее место, так как это послужило им моральной компенсацией за все понесенные в войне жертвы. И все хорватские спекуляции вокруг объединения, согласно этой точке зрения, направлены на обессмысливание победы в войне и являются вопиющей несправедливостью по отношению к сербским страданиям и жертвам. Впрочем, имеется и третья точка зрения: «Мы, сербы, со времен святого Саввы идем от заблуждения к заблуждению», и «все, что мы получили в войне, потеряли в мирное время. А в войне мы получили только новых врагов». Югославия – самое дорогое и самое трагичное заблуждение сербского народа. Ей они пожертвовали своей идентичностью и демократией. Югославская идея, согласно этой точке зрения, потерпела поражение, едва родившись, а объединение сербов, хорватов и словенцев, – несмотря на вековую мечту, – было

продиктовано всего лишь страхом перед Австро-Венгрией, и еще страхом хорватов и словенцев оказаться в числе проигравших. Сербы в своем духовном бреду, в трагическом несовпадении со своими возможностями, временем и миром, сразу не поняли иллюзорности своей военной победы и никак не могли взять в толк, почему их так ненавидят те, за чью свободу они положили столько жизней.

Получается, что Югославия – политическое проклятие всех входящих в нее народов. Это месть распавшейся Австро-Венгрии, которая проявляется даже в ненависти к этой «тюрьме народов» самих сербов – коммунистов коминтерновского толка. Жизнь в объединенной державе – это «духовная и материальная гибель сербского народа, его историческое гниение» и банкротство. Автор приходит к выводу, что разделяющая народы Югославии пропасть вер, целей и союзников непреодолима.

В романе «Отступник» в центре стоит судьба героя, порвавшего с партией и революцией. Действие романа происходит в 1930-е годы. Описываются идеологические раздоры внутри самой коммунистической партии, а также продолжение раздоров внутри семьи Катичей. Иван говорит, что терпеть не может «перенос противоречий между отцами и детьми на социальный и национальный план», добавляя при этом, что никогда не любил русскую литературу. Другой герой, Богдан Драгович, интернационалист, с сожалением констатирует наличие межнациональной розни в самой партии. Руководители Коминтерна стоят на точке зрения, что в Югославии власть находится в руках великосербской «милитаристской клики», которая осуществляет террор над «угнетенными народами», и что даже сами сербские коммунисты – тайные «великосербы», отмеченные «проклятым сербским пьемонтизмом», который по существу является «буржуазной подменой» истинного освобождения и объединения югославских народов. Решение Коминтерна – убить короля Александра и разбить версальскую Югославию на советские республики. Страдания сербского народа в Первую мировую войну, по его мнению, ничего не значат, а сербские солдаты виноваты в том, что «убивали австрийских рабочих и болгарских крестьян – своих классовых братьев». При этом неудивительно, что позиция европейского пролетариата и социалистов, которые «по первому зову трубы» мигом забыли о своих широковещательных интернационалистских обязательствах и встали на защиту своих поработителей, вызывает в нем глубокое разочарование. Точно такое же разочарование вызывают в нем хорваты, мусульмане и другие югос-

лавы, «с которыми мы хотели объединиться и освободиться от кнута и сапога Вены и Пешта» и которые как один встали под знамена габсбургского царя и пошли на Сербию ради мести за престолонаследника. Драгович глубоко страдает оттого, что ему пришлось воевать «с братьями», стыдится своего сербства, считает себя ответственным за «сербский террор» и готов вместе с хорватскими, словенскими и другими коммунистами (а также националистами, сепаратистами и фашистами) объединиться ради достижения общей цели – уничтожения Югославии. В письме к сыну он писал: «Коммунистическая партия – моя семья. Советская Россия – родина. Революция – жизненный смысл и цель. Вера – марксизм-ленинизм».

С другой стороны стоят националисты, «спасители сербского народа», которые говорят, что «Первая мировая война еще не завершена, потому что те, кто потерпел поражение, превратили мирное время в войну против сербов». По мнению Чосича, решение сербскохорватского вопроса – дело не только прошлых войн, но и войн будущих (которые он, очевидно, предчувствовал). Всю Европу он видит как массу людей, каждый из которых ортодоксально служит какой-нибудь религии: белой, серой, коричневой, черной, красной или какой-нибудь другой. При этом большевистская религия, наравне с фашистской, кажется ему наибольшим злом. Если интеллектуал Иван Катич приходит к выводу, что все идеи и идеалы либо неосуществимы, либо являются средством обмана и подчинения других людей, потому что зло – это «историческая природа человека», то его родственник, агент Коминтерна, вполне оправдывает войны и убийства, если они ведут к социализму. Если в начале Катич сомневается в том, заслуживает ли «гармония и счастье человечества, чтобы за них была пролита детская слеза», то после московского процесса и заключения этот вопрос переходит для него в разряд наивных, относящихся к какому-то другому, несуществующему миру. Человеческая история представляется ему временем Зла с большой буквы: «Наше Зло – это коллективное дело и продукт веков, особенно прогресса. По существу оно сверхчеловечно».

В романе «Адепт», последней части трилогии, Добрица Чосич прослеживает судьбу фанатика Коминтерна Богдана Драговича до Второй мировой войны. Поняв пагубность сталинизма, Драгович публично от него отрекается. Из Коминтерна его выгоняют, однако от коммунистической идеологии он не отрекается, за что попадает в полицию, а затем в гестапо. Во время войны, когда он уходит в партиза-

ны, его убивают агенты Коминтерна. Главный герой показан человеком, который даже под пыткой не отрекается от своей веры, и хотя он сомневается в праведности партийных религиозных институтов, но только не в самой вере. В системе координат романа Сталин рассматривается (и главным героем, и автором) вселенским главарем красной религии. Катич дает Драговичу совет не бунтовать против своей веры и церкви и с достоинством принимать все, что творит Сталин. Потому что вера не терпит истины, фактов и доказательств, и верному последователю остается только умереть в своей вере, с которой он прожил всю жизнь и без которой он не может вынести ни саму жизнь, ни самого себя.

Что касается сербского вопроса, то, по мнению автора, главная проблема сербов в том, что они часто забывают о своих национальных интересах и легко расходятся по разным идеологическим лагерям. Так, один персонаж, коммунист, цинично говорит, что сербские коммунисты убивают других сербов «ради русских». Другой персонаж становится четником и оправдывает свое решение желанием спасти сербов и Югославию «от немцев, хорватских усташей и коммунистов». Некий профессор считает, что его народ могут спасти только «разум и совесть, истина и знанье», а не политические «фанатики и обманщики», в представлении которых сербы похожи на «побитых цыган, которые под палками готовы продать жену и детей». Профессор считает, что сербы находятся в состоянии полной дезориентации: освобожденные народы считают их своими поработителями, страна, за которую они воевали, постепенно перестает быть их страной, профессиональные политики используют их в своей борьбе за власть, а в хорватском вопросе обманывают, в то время как молодежь устремилась в революцию по французскому и русскому образцу. Он напоминает своим собеседникам строку из поэмы Негоша «Горный венец»: «Пусть будет то, чего быть не может...», считая, что она может служить эпиграфом ко всем сербским бедам XX столетия. В марте 1941 года начались демонстрации под лозунгами «Лучше война, чем пакт! Лучше смерть, чем рабство!» Многие герои романа, воодушевленные гордостью за свой народ, который единственный в Европе открыто выступил против Гитлера, присоединяются к демонстрациям, но в то же время с ужасом понимают, что сербы «потеряли чувство реальности», вступили на путь «национального донкихотства» и самоубийства, и что для них «политика стала метафизикой», и «Сербия по каким-то причинам решила исчезнуть с карты мира». Воодушевленные своим

типично сербским, аффективным свободолюбием, сербы перепутали историческую реальность и царство небесное и выбрали смерть вместо жизни. По мысли Ивана Катича, сербы, выбирая достойную смерть вместо унизительной капитуляции, тем самым показали, что являются «самым наивным народом в Европе».

В годы войны сербы снова оказались разъединенными, фактически в состоянии не только внешней, но и гражданской войны. Четники, коммунисты и «югославы» по-разному понимали, как надо действовать в сложившихся обстоятельствах. Сначала Катич не находит в себе сил умирать «за сербство», которое обречено на смерть не только от руки «своих братьев и соседей», но и самой Истории. Ему кажется, что хоть теперь его соотечественникам следует хоть в малой степени взяться за ум. Тот же самый ум должен им показать, что Россия, которая является «надеждой три сербских века» (имеется ввиду с конца XVI века, когда сербы начали восставать против турок), как раз теперь может спасти их от уничтоженья. Но при этом принесет она с собой не свободу, а все ужасы коммунизма. Коммунисты сосут двух маток – Россию и Сербию, и тем самым снова обрекают его страну на страдания. Потом Катич все-таки решает идти в партизаны – чтобы «бороться против великого Зла, которое хочет нас уничтожить только за то, что мы славяне и сербы». Однако в партизанском отряде коминтерновские коммунисты его не принимают, считая троцкистом и антисоветским агентом, который не может бороться против фашизма. Один из персонажей резюмирует: и четники, и коммунисты – только ставка в игре великих держав, Англии и России, «неблагосклонных к сербскому народу и защищающих его противников». При этом Англия олицетворяет силу Запада, способную втянуть в войну Америку, а Россия, пусть и большевистская, тем не менее, остается для сербов «матерью Россией», опорой и защитницей от османского и австро-венгерского рабства.

Один из главных вопросов всех трех романов Чосича: как относиться к Югославии, которая, как становится ясно во время войны, не нужна никому из составляющих ее народов? «Сербы отреклись от себя, словенцы струсили, хорватам вообще не нужно объединенное государство. Да и все национальные меньшинства против Югославии, а их немало…». Получается, что Югославия нужна только Коминтерну, чтобы с ее помощью бороться против Германии и Англии. Германию поддерживают в Югославии все «национально-сепаратистские и антибольшевистские силы», то есть хорваты, венгерские и албанские

меньшинства, а также антибольшевистские силы в самой Сербии, ее политики и генералы, которые прекрасно понимают неспособность Югославии противостоять Германии. Французы делают ставку на сербскую буржуазию, а авторитет Сталина очень высок среди рабочих и молодежи. Основная задача Коминтерна и Советского Союза – воспрепятствовать пакту между Югославией и Германией, то есть вовлечь Югославию в войну ради удержания немецких сил на Балканах. Кажется, вывод из всего этого клубка автор делает следующий: народ в истории может выжить только с помощью верности собственной традиции, духу и судьбе. Особенно это касается малых и слабых народов. По мысли автора, сербов не следует спасать (по четническому монархическому или коммунистическому рецепту), а просто оставить их в покое, чтобы они отдохнули и от самих себя и от Югославии. Один из героев романа считает, что если и можно сохранить Югославию, то при условии, что ее придется спасать и от четников, и от коммунистов, действия которых он расценивает как равные самоубийству. Впрочем, гораздо реалистичнее, по его мнению, признать как свершившийся факт исчезновение Югославии, набраться терпения и мудро ждать, как ее судьба будет решена в ходе войны, которую ведут великие силы современности. Сербы должны создать свое собственное государство, границы которого должны простираться только до «ненависти наших соседей».

В 1994 году Добрица Чосич выпустил еще один роман – «Время власти», где продолжил тему раскола сербского общества, начиная с 19 века, на этот раз на примере сербского села. Литературная критика называет все творчество этого писателя, состоящее из тринадцати романов, «единым романом-рекой», то есть масштабной эпической сагой о Сербии, которую писатель создавал всю свою жизнь.

Этот взгляд – отождествление России и коммунизма – фактически является общим местом в большинстве произведений сербской исторической прозы второй половины XX века. Еще один очень серьезный сербский прозаик более либеральных и прозападнических взглядов Слободан Селенич в романе «Деды и отцы» (1985) выводит героя – серба Стефана Медаковича, который в 1920-е годы учился в Англии, женился на англичанке, привез ее в Белград и сделал здесь успешную университетскую карьеру. Во время Второй мировой войны его единственный сын, носитель двойного культурного наследства, неспособный слиться с основной массой сербских сверстников, неожиданно вступает в ряды коммунистической партии, а затем идет добро-

вольцем на фронт и там гибнет. После этого отношения Медаковича с женой полностью разлаживаются и принимают форму мертвящего и бессмысленного сосуществования. Такая фабула позволяет автору досконально рассмотреть вопрос различия культур – западноевропейской и сербской, – по мнению автора, одурманенной вопросами политики, коммунизма и Югославии. Вообще, сербская культурно-историческая позиция вызывает у автора критическое отношение.

Стефан приезжает в Англию в 1924 году, будучи представителем маленького, однако в тот период славного и победоносного народа. На нем как будто лежит отблеск его культуры – патриархальной, крестьянской, но одновременно эпически стойкой и жертвенно героической. Не в силах быстро адаптироваться в чужой среде, главный герой испытывает гордость за свой морально высокий, способный к жертвенности народ, считая, что в этом смысле он стоит гораздо выше англичан, отмеченных легкомыслием, капризностью и небрежностью поведения. Любовь к Элизабет настигает его, как удар, и становится тем импульсом, который побуждает его к внутреннему развитию и более глубокому осмыслению своих жизненных позиций. Постепенно он освобождается от своей национальной пристрастности и приходит к выводу, что сербы – вовсе не лучший народ на свете, что их маниакальный национализм – не признак гениальности, неряшливость – не следствие озабоченности высокими идеями, а «героическая природа» не что иное, как бездумное «разбазаривание людских жизней». Сербство, приходит он к выводу, вовсе не то, о чем толкует героическая эпика. Диктатура короля Александра, направленная прежде всего против стремления хорватов к автономии, только уничтожает сербскую политическую жизнь (в которой нет достойного представителя большинства сербского народа), отчего сами сербы постепенно впадают в равнодушие, или даже испытывают ненависть к белградскому правительству. И все из-за потери собственной культурной, церковной и образовательной автономии. Герой задается вопросом: что же случилось с прежними идеалами национальной державы, политических прав, свобод, союзной гармонии, с активным духом жертвенности и предпринимательства, которые отличали предвоенную Сербию и привели к созданию Югославии? Впрочем, эта несогласованность между той действительностью, которую породил и в которой живет сербский народ, и тех патетичных заявлений, которые делают его политики, не заставляет героя отрекаться от своего сербства, которое он считает своей судьбой.

Что объединяет и сербов, и англичан, так это нетерпимость к «другому», восприятие «другости» как предательства и чего-то недостойного. Особенность сербов состоит в том, что они хотят больше, чем могут, и как правило никогда не доводят до конца то, что должны. Крестьянское происхождение большинства населения и турецкое рабство вместо индустриальной революции привели к тому, что сербам остались чужды конвенции и узусы городской жизни. Еще один вопрос, который постоянно волнует героев романа – политика. Стефан приходит к выводу, что в Сербии невозможно остаться вне политики, даже если от нее бежать; но что эта политизированность вовсе не стремление к рациональному и справедливому устройству общества и к согласованию в нем всех интересов, а некий вид наркомании, «восточно-византийское» стремление к власти, фракционности и личному успеху. Устрашенный наглостью сербских коммунистов, он начинает думать, что их понимание политики совершенно чуждо сербскому народу, которому скорей естественны варварские, бессистемные и маргинальные политические традиции. Заключение Стефана, что политика для сербов – всего лишь алиби для национальной беспомощности и цивилизационной незрелости, что Сербия должна порвать пуповину с Востоком и приблизиться к Европе. «Только так мы сможем стать серьезным народом и государством». Он считает, что коммунизм не может пустить глубоких корней в Сербии, что это всего лишь младенческий революционный снобизм молодежи, модный импортный товар, завезенный вместе с разными художественными –измами в «нашу илирийско-пастушескую жизнь». Это переодетые патриархальные люди, демагоги с негативной энергией, сектанты, мстительные ортодоксальные леваки в марксистской рубахе. После войны Стефан, как известный юрист, вынужден служить новой коммунистической власти, которой было нужно несправедливое законодательство – по большевистской модели, – только для того, чтобы защищать свою власть, пропагандировать свои идеи и создавать юридические основания для расправы над политическими противниками. Его задача заключалась в том, чтобы «тирании придать вид законности» и «всевластие представить в либеральном облике парламентской демократии». Все прочие интеллектуалы и политики – всего лишь униженные и церемониальные фигуры, макиавеллисты, и для них герой находит бесчисленное число ругательных наименований: уличный сброд, толпа разбойников, гунны, орды, которые нагло уничтожают мир и имущество солидного гражданского дома, превра-

щают его в «революционный постоялый двор», и т.д. В ответ на это Стефану поставили на вид, что он должен выбирать: с одной стороны коммунисты, «избранный народ, который перешел Красное море, пролетарии и победители», а с другой – гражданские интеллектуалы, или просто граждане, «лишенная власти буржуазия, бывшие люди, сомнительные и подлежащие скорому уничтожению».

Книга Вука Драшковича «Ночь генерала» (1994) принадлежит перу ярого националиста. В ней осуществляется попытка романизировать суд коммунистов над вождем четников Драже Михайловичем, описываются события, начиная от его ареста, затем слушанья в суде, пытки, систематическое накачивание наркотиками и кончая жестоким убийством в тюремной камере. Михайлович представлен как национальный борец, пострадавший из-за проклятия сербских конфессиональных разделений (окатоличевания, исламизации), к чему была причастна даже православная церковь, которая «ставила знак равенства между народами и верами». Историю сербского раскола продолжают коммунисты («коммунизм сегодня, потурченство вчера...»). Преданный национальному единству и веря, что «когда раскол идет через сердце», победителей нет, одни побежденные, он стремился любым способом спасти сербство и Сербию. Коммунисты ставят ему в вину приверженность «семени великосербскому», в связи с чем в книге рассказывается история о том, как партизаны уничтожили двадцать тысяч молодых жителей Шумадии, которых четники мобилизовали в последний год войны. Отношения к России главного героя не отличается от его отношения к Англии и определяется фактами их неверного и ненадежного союзничества. «Русский для сербов то же что англичанин без фрака и без фраз». Черчиль предал сербов и выкопал им могилу, сплел со Сталиным заговор против сербов (вместе с американцами и французами), предал их коммунистам-большевикам в руки, а под конец их еще и подверг бомбардировкам. Если бы не было коммунистического нападения со спины, саботирования, уничтожения сербского народа, колаборационизма с немцами и усташами, рокового сговора союзнических сил, то, считает Михайлович, он бы сам справился с немецкими оккупантами и усташами. Со стороны союзников Михйлович был предан на милость коммунистов, которые решили построить «светлое советское завтра» с налета и скока. Он, который некогда верил в обещанья русской революции, наконец понял «страшную истину об этой великой стране», потерял свою веру и отказался от всякого упования на коммунизм, который в Югославию

был привезен «на танках Красной Армии». Он категорически был не согласен с утверждением коммунистов, что «наша родина, как и родина всего международного пролетариата – это Советский Союз». Генерал считает коммунистов сектантами, которые сеяли зло в собственном доме. Именно они начали кровавую гражданскую войну внутри страны, действовали, как террористический отряд иностранной державы. Михайлович утверждает, что «после советско-партизанской оккупации Сербии здесь было ликвидировано больше двухсот тысяч человек мирного населения». Коммунистические идеологические шоры и злодеяния совершались во имя «красивых снов».

По мнению генерала, Югославия может существовать только как федерация сербов, хорватов и словенцев, с общей короной и верховным командованием, однако с отдельными национальными армиями для защиты своих территориий. Однако в Первую мировую войну перевес был на стороне романтиков, которые твердили народу о триедином народе и унитарной державе. Во время Второй мировой войны генерал попытался создать условия для демократической унии Балкан, в которых Сербия и Югославия была бы стержнем. Однако такой сценарий привел в бешенство английских и советских руководителей, которые не желали иметь сильные Балканы, но отстаивали здесь свои колониальные интересы и отдали Югославию на откуп Иосипу Броз Тито – с естественным ослаблением Сербии и принесением в жертву его, генерала Драже Михайловича.

Тот же взгляд на Россию можно найти в романе Драгослава Михайловича «Сапожники» (1983), Светланы Вельмар-Янкович «Лагум» (1991), в романе Слободана Селенича «Преднамеренное убийство» (1993), Живоина Павловича «Рухляк» (1992), Владимира Арсениевича «Разжигание» (1994).

Необыкновенно читаемый в Сербии и в мире автор – Милорад Павич, несмотря на таинственную многозначность, «трансформизм» и «открытую» форму его произведений, тоже был вовлечен в политические дискуссии своего времени и своей страны. В романе «Хазарский словарь» (1984) речь идет о народе, который бесследно исчез, был вычеркнут из истории после того, как отрекся от своих корней, от религии и традиции. В романе «Пейзаж, нарисованный чаем» (1988) главные герои – русские, Федор Алексеевич и Афанасий Федорович Разины. Первый – выдающийся математик, отказывается вступать в коммунистическую партию и попадает из-за этого в Сибирь. Он довольно часто размышляет о сербах, об их судьбе и страданиях, считая,

что «есть на свете такие несчастные места, где все верят, что все нажитое не может долго оставаться в их руках...» Его сын Афанасий, оказавшийся в эмиграции в Сербии, архитектор и бизнесмен, проявляет странный интерес к многочисленным резиденциям Иосифа Броз Тито. Конец жизни он посвятил созданию в Америке реплик этих резиденций и воспроизведению в них образа жизни самого Тито. Постмодернистский сюжет, как правило, плохо поддается комментированию, и разные критики подходят к таким произведениям по-разному. Но в романе есть рассуждение о том, что на свете существуют птицы, которые в своем полете, одержимые страстью к свободе, вдруг встречают на своем пути невидимые преграды. Например, если такая птица попала в комнату, то она может биться в окно или в стекло, за которым находится нарисованный чаем пейзаж. Птица разбивает стекло и пролетает сквозь него. Но она не знает, получила ли она от этого свободу, потому что после преодоления преграды она вся в крови, и эта кровь течет по другой стороне преграды, в то время как она пытается своими ранеными крыльями поймать для взлета ветер. Такая символическая картина в сочетании с национальностью главного героя навевает пессимистические мысли об относительности, иллюзорности, а может быть и о бесперспективности идеалистического порыва к свободе. В романах Павича все зыбко, все фаталистично, все двусмысленно и зашифровано (а, может быть, сновидчески психоделично или попросту бессмысленно?). Действительность предстает тем сфинксом, который задает человеку загадки: стоит ему отгадать, и она исчезает. (Хотя тут же возникает вопрос: а если человек не отгадает, то действительность его поглотит?) Персонажи таких произведений – это некие притчевые фигуры, которые делают не то, что делают в жизни живые люди, а то, что требуется от них в рамках условий заданной загадки. После ее разгадки они вместе с действительностью исчезают без следа. Впрочем, даже и из такого текста ясно одно: для Павича, как и для многих других его соотечественников, русские представляются весьма странными созданиями, одержимыми утопиями и обреченными неизвестно для чего «разбивать невидимые стекла», часто ценой собственной жизни. Павич как бы обиняками задает вопрос: стоит ли сербам опираться на страну, которая ведет их в выдуманный, утопический или потусторонний мир? Впрочем, это всего лишь одно из толкований.

Уже из сказанного можно сделать некоторые выводы. В результате особенностей исторического развития Югославии во второй по-

ловине XX века, острейших межнациональных противоречий (реальных и подогреваемых извне), приведших к ее распаду в 1990-е годы, образ России в этот период оказался тесно связан с политическими коллизиями в самой Югославии. Многие сербы, пытаясь осмыслить свое поражение в конце века, связали причину его с Идеей – именно с утопической идеей коммунизма, которой они заразились от русских. Идея потерпела крах, а вместе с ней низринулся в бездну образ страны, которая была ее главной цитаделью и символом. Многие сербские националисты отвернулись от России, считая, что верили в нее зря, и вместо растрачивания сил на пустые химеры, им следовало больше думать о собственных насущных проблемах. Не добавила популярности России и ее «измена» – согласие на вывод из Косова сербской армии в 1998 году и политика невмешательства, когда возникла угроза бомбардировок. Последние обстоятельства даже для твердокаменных сербских коммунистов стали шоком.

Другое дело, что само это представление о России как о химере и тупике зиждится часто на идеологически искаженных, иррациональных фобиях и мифах, а также на непроверенных или подтасованных фактах. Серьезная литература это четко фиксирует: во всем виноват не только коммунизм, но и прошлые исторические беды, предопределившие судьбу Югославии. Но этого в пылу борьбы и под влиянием массированной (часто истерической) западной пропаганды многие ухитряются не замечать.

Впрочем, таков «синдром поражения». В данном вопросе есть и более взвешенная сторона. Она не столь «кричит» о себе, но зато задевает гораздо более глубокие основы народного мировоззрения. Стоило схлынуть первой эмоциональной волне, как на поверхность вышли другие факты: собственное бедственное положение России в 1990-е годы, ее видимое поражение в борьбе с мировым капитализмом, последовавший после роспуска Советского Союза экономический и духовный нокаут и так далее, – и на этом фоне все же волна резкого народного протеста в России против уничтожения Югославии и солидарность россиян с явно подвергавшимися геноциду сербами, усилия российской дипломатии по улаживанию конфликта без бомб и санкций, известный марш корпуса российской армии на аэродром в Приштине... В сербском обществе постепенно вызревает сочувствие и взвешенное отношение к России и осознание того, что наши страны снова оказались союзниками по одну линию фронта и что наша общая история еще не завершена.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII-XVII веков. Москва, 1973.
2. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII – первая четверть XVIII веков. Москва, 1976.
3. Бажова А.П. Россия и югославяне в конце XVIII – начале XIX века. М., 1996.
4. Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. Москва, 1944.
5. Воиновић Р. Тајна Русије и тајна безакоња. Нови Сад, 2006.
6. Вулевич М. Р. Косово и Метохия. Очерк историко-правовой истории и современное положение. Киев, 1999.
7. Гудков В.П. Сербская лексикография XVIII века. Москва, 1993.
8. Гудков В.П. Сербистика. Славистика. Москва, 1999.
9. Данојлић М. Велики испит. Хронике 1996 – 1998. Београд, 1999.
10. Дворкин А. Очерки по истории вселенской православной церкви. Нижний Новгород, 2003.
11. Драшковић В. Ноћ ђенерала. Београд, 1994.
12. Дучић Ј. Сабрана дела. Београд, 1933 – 1940, кн. 5.
13. Иванов И.Е. Возрождение Сербского государства и интриги Австрии. Москва, 1914.
14. Иваштанин Н. «Заљубљено сунце». М., 2006.
15. История южных и западных славян. (Матвеев Г.Ф., Минашева З.С.) Москва, 1998.
16. Јеротић Вл. Дарови наших рођака. Београд, 2002.
17. Југословенске земље и Русија за време Првог српског устанка 1804-1813. Београд, 1983.
18. Кудрявцева Е. П. Россия и Сербия в 30 – 40-е годы XIX века. М., 2002.
19. Миличевић Д. Немири даљине. Београд, 2004.
20. Милошевић Дж. Русија на раскршћу. Нови Сад, 2003.
21. Милошевић Н. Књижевност и метафизика. Београд, 1996.
22. Михајловић Др. Кад су цветале тикве. Београд, 1968.
23. Михајловић Др. Чизмаши. Београд, 1983.
24. Образ мира – структура и целое. Лосевские чтения. Москва, 1999.
25. Очерки истории культуры славян. (Волков В.К. и др.). Москва, 1996.
26. Павић М. Хазарски рјечник. Београд, 1984.
27. Павић М. Предео сликан чајем. Београд, 1988.
28. Павич М. Хазарский словарь. Спб., 1997.
29. Павич М. Пейзаж, нарисованный чаем. Спб., 1998.
30. Палавестра, Пр. Историја модерне српске књижевности. Београд, 1986.
31. Пашић М. Сусрети са књигама. Ужице, 1998.
32. Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII веке. Документы. М., 1984.

33. Попович Н. Сербия после Парижского мира. Москва, 1871.
34. Пресняков А.Е. Образование великорусского государства. Очерки по истории XIII-XIV столетий. Пг., 1920.
35. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Ленинград, 1978.
36. Радуловић М. Обнова традиције. Београд, 1994.
37. Русские о Сербии и сербах. Спб., 2006.
38. Свој и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима. Београд, 2006.
39. Сибиновић М. Руски књижевни источници. Ниш, 2000.
40. Сибиновић М. Словенски импулси в српској књижевности и култури. Београд, 1995.
41. Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. Москва, 1998.
42. Содомов А.И. Сербия. Москва, 1915.
43. Србија у модернизацијским процесима XX века. (Научни скуп). Београд, 1994.
44. Стојнић, М. Руска цивилизација. Београд, Центар за геопоетику, 1994.
45. Стојнић М. Руско-српски преплитања. Београд, 1994.
46. Толстой Л.И. Славянская лексикология и семасиология. Москва, 1997.
47. Човић Б. Руско-српске, српско-руски књижевни паралеле. Београд, 2002.
48. Чосић Д. Време власти. Београд, 1994.
49. Чосић Д. Време зла. Београд, 1985 – 1990. (Грешник. Отпадник. Верник.)
50. Югославия на пороге 2000 года. Белая книга. Москва, 1999.
51. Genij Jugoslovenstva. Ivan Meštrović i njegov Hram. N.Y., 1915.
52. Flaker A. Književne poredbe. Zagreb, 1968.
53. Žunić D. Nacionalizam i književnost. Srpska književnost 1985-1995. Nis, 2002.
54. Kiš D. Grobnica za Borisa Davidovića. Beograd, 1976.
55. Kramarić Z. Diskursne razlike. Rijeka – Osijek, 1994.
56. Lukšić I. Nova ruska poezija. Zagreb, 1998.
57. Noris D. Balkanski mit. Beograd, 2002.
58. Palavestra P. Književnost kao kritika ideologiji. Beograd, 1991.
59. Pekić B. Vreme čuda. 1965.
60. Pekić B. Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana. Beograd, 1975.
61. Pekić B. Kako upokojiti vampira. Beograd, 1977.
62. Pekić B. Hodocašče Arsenija Njegovana. Beograd, 1970.
63. Pekić B. Zlatno runo. Beograd, 1978-1986.
64. Selenić Sl. Memoari Pere Bogalja. Beograd, 1968.
65. Selenić Sl. Očevi i oci. Beograd, 1985.
66. Selenić Sl. Ubistvo s predumišljajem. Beograd, 1993.
67. Todorova, Marija. Imaginarni Balkan. Prev. sa bugarskog. Beograd, 2000.
68. Velmar-Janković S. Lagum. Beograd, 1991.

О.Ю. Панова

ОБРАЗ РОССИИ В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Первые контакты. Россия в отзывах американских путешественников и деятелей политики и культуры в XVIII веке. Формирование стереотипов.

В конце 1775 г. Томас Пейн, составляя свой знаменитый памфлет «Здравый смысл» (Common Sense, 1776) размышлял о тех странах, с которыми предстоит выстраивать отношения будущему американскому государству. При этом Россия, по его мнению, совершенно не важна для Америки. С точки зрения Т. Пейна, Россия, не будучи морской державой, играет незначительную роль в международных делах и ничем не может быть полезна молодой американской республике: «Обширная Российская империя практически отрезана от морского побережья; поэтому ее бескрайние леса, деготь, железо и канаты – единственное, чем она может торговать с другими странами»[1].

Взгляд Пейна в общем адекватно отражает представления американских колонистов. Долгое время американцы не чувствовали потребности установить контакты с Россией. Для них это была неведомая и удаленная страна – гораздо в большей степени, чем для европейцев[2]. «Не принадлежа к культуре Западной Европы, Россия в глазах американцев не была тем фактором, который влиял на формирование образа Старого Света»[3]. Американцы воспринимали Рос-

---

[1] *Пейн Т.* Избранные сочинения. М., 1959.

[2] См. напр. *Strout C.* The American Image of the Old World. N.Y., 1963.

[3] The American Image of Russia. 1775–1917. Ed. E.Anschel. N.Y., Frederick

сию через статьи в английских газетах и записки английских путешественников, в большинстве которых уже сложились основные стереотипы восприятия России, как страны, чуждой европейцам,— «варварство», «восток», «деспотия».[1] Благоприятную почву для возникновения стереотипов создавали географическая удаленность и глубокие социально-культурные отличия между Россией и Америкой. Особенности исторического развития и возникшей в США политической системы также придавали образу России, возникавшему в культурном сознании американцев, специфический колорит. Менталитет нации и ценности формировались под влиянием идей эпохи Просвещения: рационализм, вера в прогресс человека и общества, в развитие науки, которое приведет в процветанию, стабильности, гармонии и разумным справедливым законам. Американцы обнаруживали в России резкие контрасты между богатством и нищетой, пассивность, отсутствие предпринимательской инициативности, застойность и архаичность российской экономической и политической системы. Все это раздражало американцев, стремившихся к переменам, прогрессу, обновлению. Сложность и «непрозрачность» общественных отношений в России, непредсказуемость изменений и путей, по которым может пойти Россия, воспринимались как угроза стабильности, гармонии и процветанию. Пуританский дух побуждал американцев оценивать российские реалии с моралистической точки зрения, а достижение независимости и экономический рост сопровождались чувством превосходства и националистическими настроениями[2].

О складывании и развитии представлений о России в XVIII–XIX вв. можно судить по обширным печатным и письменным свидетельствам – книгам, журнальным и газетным статьям, письмам и личным архивам. Россию в конце XVIII – первой половине XIX века посещали американские путешественники и официальные представители – правда, русско-американские контакты не могли сравниться по обширности и частоте с русско-европейскими связями[3].

Ungar Publishing Co. 1975. P. 4.

[1] См. напр. Rude and Barbarous Kingdom: Russia in the Accounts of Sixteenth-Century English Voyagers. Ed. Lloyd E. Berry, Robert O.Crummy. Madison (Wisc.), 1968.

[2] См. напр. *Merk F.* Manifest Destiny and Mission in American History: a Reinterpretation. N.Y., 1963, P. 237-247.

[3] Первые контакты и складывание русско-американских отношений достаточно хорошо изучены и российской, и американской стороной. См.

Рассказы о России и русских в американских записках XVIII века в целом отвечают канонам литературы путешествий: русские воспринимаются как экзотический полуварварский народ, дается подробное описание их быта, нравов, одежды, верований и т.д. Так, например, в 1797 г. в журнале Literary Museum под псевдонимом Historicus была опубликована статья «Нравы и обычаи русских крестьян»[1], где подробно описывается национальная еда («капустный суп» и квас – «желтоватое некрепкое пиво»), жилища (изба – «деревянная хижина»), утварь, способы обработки земли. Крестьяне невежественны, у них много «дикарских» обычаев, однако это существа дружелюбные, честные, общительные, гостеприимные (в отличие от «угрюмых и нелюдимых» немецких крестьян), трудолюбивые, опрятные в быту. Сообщая, что русские крестьяне принадлежат к «греческой церкви», автор отмечает, что они очень суеверны (доказательством служит обилие икон в домах, привычка креститься и повторять как заклинание «ghospodi pomiloni»), а «их священники так же невежественны, как и они сами»[2].

В том же духе описывает русских и Джедайдия Морз – священник, увлекавшийся географией, автор сочинения «Американская всеобщая география». Он никогда не бывал в России, и глава, посвященная русским, строится как «сумма» сведений, почерпнутых из разных отзывов очевидцев. Русские – это сильный, крепкий, выносливый народ, только начинающий подниматься из полу-варварского состояния. Морз отмечает храбрость и патриотизм русских, их упорство в борьбе с суровым климатом, терпение и трудолюбие, с которым они обрабатывают скудную почву. Автор отражает стереотипное представление о допетровской России, как варварской стране, которая была совершенно отделена от Европы.

Подобные описания представляют «экзотического другого» и являются прообразом культурно-антропологических штудий XX века. Будучи лишены прямого морализма, отличаясь доброжелательным стремлением познать другого, претендуя на объективность, эти описания, тем не менее, отнюдь не свободны от стереотипов. Более того, они вообще становятся возможны именно благодаря убеждению, что

напр. Болховитинов Н.Н. «Становление русско-американских отношений, 1775–1815», М., Наука, 1966; Saul N.E. Distant Friends: The United States and Russia, 1763–1867. Lawrence (Kansas), 1991.

[1] Historicus. Manners and Customs of the Russian Peasants // Literary Museum (West-Chester, Penn.), March, 1797.

[2] Цит. по: The American Image of Russia. 1775–1917. P. 47.

перед наблюдателем – представителем высокоразвитой цивилизации, предстает цивилизация примитивная, варварская, и это убеждение носит характер аксиомы.

Обратимся к описаниям другого типа, примером которых могут служить записки Джона Ледьярда, побывавшего в России в 1787–1788 гг. Ледьярд добился разрешения императрицы проехать по Сибири к Тихому океану, проехал по глухим российским провинциям, видел Барнаул, Иркутск, Якутск; однако на полдороге он был взят под стражу по подозрению в шпионаже, этапирован обратно в Петербург и выдворен из России в Кенигсберг. Возможно, нелюбезный прием сыграл свою роль в нелестном мнении о русских, которое высказывает Ледьярд в своих записках и письмах[1]. Однако более справедливым представляется утверждение А.М. Зверева о том, что Ледьярд ехал в Россию с уже сформированными стереотипными представлениями, почерпнутыми из записок европейских, в том числе английских путешественников: «Любопытно, что сетования на азиатские российские порядки прозвучали у Ледьярда еще в письме из Петербурга, то есть у него уже было определенное представление о России, которую он практически не видел»[2].

Ледьярд описывает суеверия, грязный и неустроенный быт, грубые нравы, моральную развращенность русских, в первую очередь «низших классов» (lower orders). Причиной этого он также считает существующие в России социальные установления, прежде всего, самодержавие, являющееся, по сути, азиатской деспотией[3].

Ледьярд с гораздо большей симпатией описывает «татар» (то есть якутов, бурят) – в которых он видел сородичей американских индейцев. В отличие от русских, «татарин» оказывается у Ледьярда «простодушным, однако временами даже возвышенным». Этот язычник, поклоняющийся природе, «гостеприимен и человечен, терпелив и жизнерадостен»[4]. А.М. Зверев объясняет эту разницу в оценках тем, что в сознании автора присутствует руссоистский миф о «естествен-

---

1 John Ledyard's Journey through Russia and Siberia 1787–1788. The Journal and Selected Letters. Ed. Stephen D.Watrous. Madison (Wisc), 1966.

2 *Зверев А.М.* Стереотипы России: варварство и Восток. // Россия и США: формы литературного диалога. РГГУ – Гос. ун-т шт. Огайо, М., 2000. С. 11.

3 John Ledyard's Journey through Russia and Siberia, P. 181-182.

4 Там же. P. 176, 181.

ном человеке», нравственно превосходящем цивилизованных людей[1]. Так у Ледьярда возникают две оппозиции. Первая основана на руссоистском стереотипе: условный «русский», выступающий как представитель порочной развращенной цивилизации по отношению к «татарину» – «благородному дикарю». Вторая оппозиция основана на сложившемся просветительском стереотипе «варвара», «азиата», каким выступает русский по отношению к западному, европейскому миру, воплощающему собой высшую цивилизацию. Любопытно, что при этом каждый стереотип живет в записках по собственной логике, никак не будучи связан с другими. Так, например, не возникает попытки расширить оппозицию «порочная цивилизация» – «благородный дикарь» за счет включения сюда Запада. Точно так же «татарин» никак не включен в поле стереотипа «варварства» и «Востока». Такова сила инерции, создающая предвзятое видение и диктующая тенденциозный отбор фактов, соответствующих уже готовым ожиданиям. В оппозиции «Восток-Запад» Ледьярд – «западный человек»; в России (на «Востоке») он был представителем более развитой, утонченной, прогрессивной цивилизации, где знают, что такое свобода, добродетель и достоинство человека[2].

Одним из первых американских путешественников, оставивших записки о России, был юный Джон Квинси Адамс, приехавший в Петербург в качестве переводчика с первым посланцем американской республики в России Фрэнсисом Дейной[3]. В своем описании Адамс также воспроизводит стереотипы, уже сформированные к тому моменту в европейских записках о России.

«Государственный строй в России – это деспотия. Монарх полностью властен над всей страной, все люди, их собственность, даже имущество знати, целиком зависят от его прихоти. <...> Знать также

---

1 *Зверев А.М.* Стереотипы России: варварство и восток. С.11.

2 John Ledyard's Journey through Russia and Siberia, P. 228.

3 Поскольку Дейна не владел французским языком, он взял с собой в качестве секретаря и переводчика четырнадцатилетнего юношу Джона Квинси Адамса, сына второго президента США Джона Адамса. Эта поездка в Россию была началом его большой дипломатической карьеры. В октябре 1809 г. он вернулся в Петербург уже в качестве официального посланника США. Годы его пребывания в России совпали с наполеоновским нашествием. Высокообразованный Адамс, владевший несколькими языками и много времени проведший в Европе, сумел установить дружеские отношения с канцлером Николаем Румянцевым и с императором Александром I.

целиком зависит от монарха, знатные люди постоянно находятся под угрозой того, что их собственность будет отнята, а сами они сосланы в Сибирь <...> Народ пребывает в ужасающем невежестве... очень суеверен, все постоянно крестятся, повсюду здесь изображения Девы Марии, разных святых. В этом отношении русские хуже католиков. Проходя мимо церкви они падают на колени, стукаются лбом о землю, крестятся, и все это занимает не меньше пяти минут <...> В целом эта нация еще очень далека от цивилизации; их обычаи, их одежда и даже их развлечения имеют вид грубый и варварский»[1].

Юный Адамс оценивает увиденное с точки зрения ценностей, привитых ему с детства. Это культ просвещенного разума, вера в общественный договор, в то, что все люди рождаются равными, убеждение, что абсолютная монархия и традиционная церковь (католичество или, как в данном случае, православие) – это дикие пережитки средневековья, периода исторических заблуждений и ошибок. Можно сказать, что устами юного американца Россию осуждает эпоха Просвещения, детищем которой была становящаяся американская демократия. В силу присущего просветительской мысли европоцентризма, эти ценности, естественно рассматриваются как синоним понятия «цивилизация»; следование другим моделям – как «варварство», «дикость», «азиатчина».

Практически все негативные черты, перечисленные Ледьярдом и Адамсом, будут постоянно воспроизводиться в высказываниях американцев о России до XX века включительно. Это российское государство как деспотия, бесправие всех подданных – от низов и до верхов; отсутствие просвещения, развращенность и безнравственность народа (причина этого усматривается в деспотическом режиме, лишившим подданных человеческих прав и человеческого образа). Совершенно справедливым представляется утверждение А.М. Зверева: «Некоторые самые устойчивые мифологемы, касающиеся России, появились в западных записках уже с XVIII века. Со временем к ним прибавлялись другие тезисы, не менявшие, однако, общего характера системы, всегда строившейся по принципу оппозиции: Восток – Запад, варварство – цивилизация. Россия в этой оппозиции всегда ассоциируется с первым компонентом»[2].

---

[1] *Adams J.Q.* Essay on Russia // The American Image of Russia, 1775–1917. P. 29-32.

[2] *Зверев А.М.* Стереотипы России: варварство и Восток. Указ. соч. С. 10.

О.Ю. Панова

Образ России в XIX веке 1810–1870-е гг.: эпоха гармоничных отношений. «Образ друга».

К концу наполеоновских войн в 1814 г. Россия стала одной из самых влиятельных держав в Европе, а США добились гегемонии в Западном полушарии. Обе страны сохраняли нейтралитет в отношении друг друга, хотя в первой половине века уже начались некоторые трения, связанные с территориальным вопросом (например, в связи с продвижением русских колонистов в Орегоне и Калифорнии). Подавление польского восстания 1830 г., участие в Священном Союзе способствовали восприятию России как оплота европейской реакции, но серьезных трений между Россией и США не возникало, поскольку не были затронуты жизненные интересы стран.

В ходе Крымской кампании общественное мнение США было на стороне России: англо-французская коалиция симпатий у американцев не вызывала[1]. В свою очередь, когда в США началась гражданская война, Россия была единственной из европейских держав, с самого начала симпатизировавшей американскому Северу[2]. Внезапное появление русского флота в нью-йоркской гавани в 1863 г. было воспринято северянами как доказательство поддержки со стороны России. Определенное сходство усматривалось между реформами, одновременно произведенными в США и России: отмена рабства и крепостного права соответственно. Дружественные отношения двух стран достигли апогея в 1867 г. в связи с продажей Аляски Соединенным Штатам.

В целом в XIX веке три основных фактора определяли развитие отношений Америки и России: географическая удаленность, отсутствие серьезных конфликтов, затрагивающих жизненные интересы обеих стран, и, наконец, участие их в европейской политике[3]. Немецкий историк Эрвин Хельцль, рассматривая доктрину Монро и участие России в наполеоновских войнах и Священном Союзе, выдвинул

---

[1] См. *Пономарев В.Н.* Крымская война и русско-американские отношения, М., 1993.

[2] См. напр. Малкин М.М. Гражданская война в США и царская Россия. М.-Л., 1939, Hofstadter R. The Age of Reform. N.Y., 1955.

[3] Развитие российско-американских отношений в первой половине XIX в. подробно рассмотрено в известных монографиях Н.Н. Болховитинова «Русско-американские отношения: 1815-1832», М., Наука, 1975 и «Русско-американские отношения и продажа Аляски: 1834–1867», М., Наука, 1990.

тезис, согласно которому в XIX веке Россия и США уже вступают на арену мировой политики как две будущие сверхдержавы, чьи интересы постепенно начинают выходить за рамки национальных государств и приобретать характер «глобального мессианства». С этого времени Европа постепенно уступает свои ключевые позиции двум новым мощным государствам, чьи интересы должны были неизбежно столкнуться сначала на Дальнем Востоке, а затем – на европейском континенте. Согласно Хельцлю, уже к первой половине XIX века относится начало эры глобальной мировой политики и уже вырисовываются контуры будущего «биполярного мира», отмеченного противостоянием двух сверхдержав[1].

Образ России в записках путешественников и публицистике

В 1856 г., то есть в год окончания Крымской войны американские газеты предложили включить Россию в перечень стран, входивших в «гранд-тур». Например, New York Herald утверждала: «После установления мира в Европе наши перелетные птицы, каждое лето устремляющиеся за океан, вряд ли смогут устоять перед искушением посетить Константинополь, Крым, Гельсингфорс, Кронштадт и Санкт-Петербург, не ограничиваясь только старыми, вдоль и поперек исхоженными тропами в Германии, Альпах, Италии»[2]. К середине XIX века число американских путешественников значительно возросло, все больше публиковалось заметок о России, составленных людьми самых разных профессий – дипломатами, политиками, исследователями, предпринимателями и т.д.

Уже после окончания наполеоновских войн образ России в культурном сознании американцев начинает заметно меняться. Интенция первой половины XIX века – включение России в европейскую цивилизацию, конструирование образа друга, а не образа врага[3]. Важную

---

[1] См. *Holzle E.* Russland und Amerika: Aufbruch und Begegnung zweier Weltmachte. Muich, 1953.

[2] New York Herald, April 4, 1956. Цит по: The American Image of Russia, 1775–1917. P. 4.

[3] См. напр.: *Saul N.E.* Distant Friends: The United States and Russia, 1763–1867. Тж. Сол Н.Э. Простаки за границей или Как американцы и русские открывали друг друга. 1867–1881 // Американский ежегодник. М., Наука, 1993.

роль в знакомстве с Россией играли иллюстрированные еженедельники – такие, как, например, Harper's Weekly Illustrated Newspaper, выходивший под редакцией Фрэнка Лесли. В 1870–1880-х гг. здесь было немало «русских сюжетов» – заметки, иллюстрации, фотографии, устные «репортажи».

В это время широкую популярность в Америке приобретают книги о России «профессиональных туристов» – Эдны Проктор, Самюэля Прайма, Томаса Нокса (который был, к тому же, корреспондентом «New York Gerald») и др.[1] Самые заметные фигуры в российско-американских отношениях – инженер Джордж Кеннан, дипломат Иеремия Кэртин, переводчик и литератор Юджин Скайлер также оставили свои описания России. Кеннан, стартовавший с Камчатки, проехал всю Россию с востока на Запад и сделал описание Сибири[2]; Кэртин опубликовал ряд статей о Кавказе, Скайлер – о Центральной Азии. Книга Ю. Скайлера о Туркестане[3] – показательный пример того, как под влиянием потепления отношений между двумя странами меняется восприятие России американскими путешественниками. Дружелюбие, искреннее стремление понять другую культуру бросаются в глаза в книге Скайлера. Стремление преодолеть искушение «экзотизма» часто выливается у Скайлера в попытку сближения другого со своим: далеких реалий Средней Азии со знакомыми, родными американскими картинами: «... в дневное время Ташкент напоминает скорее какой-нибудь американский городок на Западе, например, Денвер, но без той деловитости, которая придает особый облик нашему городу, а вместо индейцев и шахтеров – сарты в тюрбанах и халатах»[4]. Скайлер отмечает цивилизаторские усилия российского правительства: организацию школ, системы медицинской помощи, предоставление

---

1 *Proctor E. A* Russian Journey, Boston, 1872; Prime S. The Alhambra and the Kremlin: The South and North of Europe. N.Y., 1873; Nox T. Overland through Asia: Picture of Siberian chines and tartar life. Hartford, 1870.

2 *Kennan G.* Tent Life in Siberia: Adventures Among the Koryaks and Other Tribes in Kamchatka and Northern Asia, N.Y., Putnam and Sons. 1870. Рус. пер. – Кеннан Дж. Кочевая жизнь в Сибири. Приключения среди коряков и других племен Камчатки и Северной Азии. СПб., 1872. Об этой книге см. ниже.

3 *Schuyler E.* Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara and Kuldja. N.Y., 1877.

4 *Schuyler E.* Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan. P. 76. Цит. в пер. А.Н.Николюкина.

кредитов для строительства и развития торговли. Однако неизменной остается критика американским путешественником самодержавного правления и соответствующих сторон деятельности российской администрации на национальных окраинах.

Ю. Скайлер был одним из тех людей, которые внесли огромный вклад в знакомство американцев с Россией. Его деятельность переводчика, критика и дипломата способствовала распространению увлечения русской литературой – и это был еще один важный вклад в конструирование «образа друга».

Русская литература в США: национальный характер и «русская душа».

Знакомство американцев с русской литературой начинается с 1920-х годов XIX века. Важную роль в открытии русской поэзии сыграли переводы англичанина Джона Бауринга: его антология, включавшая стихотворения Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хемницера, Дмитриева, Крылова, Карамзина и др., была издана в Бостоне в 1822 г., а в 1823 г. несколько переводов Бауринга вошли в хрестоматию для школьников Джона Пирпонта[1], ежегодно переиздававшейся до 1860 г. Долгое время антология Бауринга была основным источником знаний американцев о русской поэзии, а оду Державина «Бог» и «Кладбище» Карамзина американцы прочитывали еще будучи детьми в школьных хрестоматиях.

В 1830-1840-е гг. в США выходит ряд переводов русской прозы – романы Ф.В. Булгарина «Иван Выжигин» (1832), «Юрий Милославский» Загоскина под названием «Юный московит или Поляки в России» (1834). В 1840-х гг. выходят переводы Густава Клеменса Хебба: «Аммалат-бек» А. Бестужева-Марлинского («Татарский вождь, или Голова русского полковника в приданое», 1846) и «Капитанская дочка» Пушкина («Капитанская дочка, или Великодушие русского бунтовщика Пугачева», 1849) и «Бахчисарайский фонтан» (1849): в переводе поэмы, сделанном Уильямом Д. Льюисом, предпринимателем и путешественником, отчетливо слышны байроновские интонации. Ряд упоминаний о Пушкине уже появился в нескольких английских и аме-

[1] *Pierpont J.* The American First Class Book: or, Exercises in Reading and Recitation. Boston, Fowlie, 1823. О переводах Бауринга см. Николюкин А.Н. Литературные связи России и США: становление литературных контактов. М., Наука, 1981, С. 347-356.

риканских изданиях. Зная о его африканском происхождении, поэт и аболиционист Джон Уиттьер в очерке, посвященном десятилетию гибели великого русского поэта, написал о нем, как о выдающемся представителе черной расы[1].

К середине века появилось первое исследование русской литературы в США – известная книга «Историческое обозрение языков и литератур славянских народов с очерком их народной поэзии» (1850), вышедшая под псевдонимом «Талви». Под вымышленным именем скрывалась Тереза Альбертина Луиза фон Яков, славистка, некоторое время жившая в России[2].

В России в первой половине XIX века самыми читаемыми авторами были Вашингтон Ирвинг и Фенимор Купер, русские знакомства которых подробно рассмотрены А.Н. Николюкиным[3]. Фенимор Купер, например, был дружен с Д.И. Долгоруковым, в письмах к которому он не уставал восхищаться щедростью, любезностью и добротой, которую русские неизменно выказывают американцам в Европе. В своей книге «Воспоминания американца о Европе», он утверждал: «Америка связана в настоящий момент с Россией более тесно, чем с какой-либо другой европейский страной»[4]. Характерно, что Купер, не колеблясь, признает Россию европейской страной, русских – полноправными европейцами; здесь, безусловно, сыграл свою роль тот факт, что Купер знал только тех русских, которых он встречал в Европе; это были «сливки общества», впитавшие европейскую культуру. Тем не менее, главная причина, несомненно – сближение России и США, отношения между которыми становятся все более дружественными и теплыми: «По отношению ко мне лично англичане, францу-

---

1 *Wittier J.G.* Pushkin // The National Era, Washington, 1847, Feb. 11, vol.I, № 6. Цит. по: Николюкин А.Н. Литературные связи России и США: становление литературных контактов. С. 358. См. Александров В. Американский поэт о Пушкине // Вопросы литературы, 1979, № 6, С.159-164.

2 *Talvi.* Historical View of the Languages and Literature of the Slavic Nations; with a Sketch of their Popular Poetry. N.Y., Putnam, 1850. Об этой книге см. Николюкин А.Н. Литературные связи России и США: становление литературных контактов. С. 359-370.

3 см. *Николюкин А.Н.* Литературные связи России и США: становление литературных контактов. М., Наука, 1981.

4 *Cooper F.* Recollections of Europe. Paris, Baudry's European Library, 1837. Цит: по: Николюкин А.Н. Литературные связи России и США: становление литературных контактов. С. 264.

зы, итальянцы и русские были равно любезны – все нации, исключая немцев,— но русский проявляет уважение к самому имени американца, чего не делает никто из европейцев»[1].

Настоящее знакомство американцев с русской литературой начинается в последней трети XIX века, благодаря деятельности переводчиков, критиков и культуртрегеров, среди которых особое место принадлежит Юджину Скайлеру. Очерки Скайлера об истории русской литературы и его ежегодные обзоры текущего литературного процесса в России для журнала «Atheneum», которые писал, находясь в России (1869–1877 г.), знакомили американского читателя с именами Гончарова, Писемского, Л.Н. Толстого, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Кольцова и многими др. По творчеству этих писателей американцы составляли себе представления о «русской душе», национальном менталитете, культуре, традициях.

В своих обзорах Скайлер стремится следовать вкусам и предпочтениям американской аудитории: чтобы пробудить симпатии американцев к русской литературе, Скайлер подчеркивает ее демократизм, обращенность к нуждам народа и появление ярких талантов, вышедших из демократических низов. Рассказывая о Л.Н. Толстом, он подчеркивает, что «величайший русский романист занялся вопросами народного образования», выпустил «Азбуку» – книгу для детского чтения», в которую сам написал рассказы, исполненные художественного достоинства»[2].

Выпускник Йельского университета, Скайлер изучил русский язык и был направлен консулом в Москву. Незадолго до его отъезда в Россию, в 1867 г. был опубликован его перевод романа Тургенева «Отцы и дети»[3]. Скайлер сравнивал романы Тургенева по силе воздействия и актуальности поставленных проблем с великим аболиционистским романом – «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу. В своей рецензии на роман Тургенева «Дым» в Athlantic Monthly в 1872 г.[4] У.Д.Хоуэллс также

---

[1] Неизданные письма иностранных писателей XVIII-XIX веков из ленинградских рукописных собраний. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960. С. 276.

[2] Цит. по: *Николюкина А.Н.* Литературные связи России и США: становление литературных контактов. С. 90.

[3] Личное знакомство и переписка Скайлера и Тургенева представляют собой интересный материал по истории русско-американских контактов в период, когда симпатия между русскими и американцами достигают пика. См. переписку И.С. Тургенева и Ю. Скайлера. Публикация писем А.Н. Николюкина // Вопросы литературы, 1983, № 9.

[4] Atlantic Monthly. 1878. Aug. Vol 30, # 178.

писал о сходстве между Россией и Америкой: рабство негров и крепостное право; их одновременная отмена; географический простор, представление о России и США как о «молодых странах», устремленных в будущее. Хоуэллс усматривал и определенное сходство в национальном характере – острый, насмешливый ум, любовь к рассказам.

Популярности Тургенева в России способствовал Генри Джеймс, который, как известно, был дружен с Тургеневым. Наверное, естественно, что знакомство с русской классикой XIX века началось в Америке с самого «европейского» из великих русских писателей. Постепенно, однако, на примере Тургенева начинается постижение русского национального сознания и национальной картины мира. У.Д. Хоуэллс находил существенные отличия между Тургеневым и французскими романистами: во-первых, он отмечает ярко выраженное нравственное начало у русского писателя – при отсутствии явной дидактики и морализма[1]: Хоуэллс говорит о «таинственной серьезности» славянской души, выраженной в прозе Тургенева: «Моя веселая американская натура погружалась в безбрежную печаль славянина»[2].

Генри Джеймс отмечает пристрастие Тургенева к изображению неуравновешенных героев, эксцентриков, чудаков и «отчаянных». В его произведениях появляется «целый полк бродяг, убогих на жизненном пути», которые присутствуют «как смутное напоминание о непостоянстве счастья и человеческого разума»[3]. Говоря о чертах сходства между американской и русской жизнью, Джеймс усматривает определенное сходство между «тургеневскими девушками» и характерами новоанглийских героинь Готорна.

Россия и США на рубеже XIX-XX веков: от «гармоничного наследия» к «расходящимся интересам».

Парадоксальным образом, именно продажа Аляски – момент, когда дружба двух стран достигла апогея, обозначила и момент перелома в отношениях России и США. С этого момента отношения стали ухудшаться, и эта тенденция в дальнейшем только набирала силу. Приобретение Аляски создало мощный плацдарм для усиления

---

1 *Howells W.D.* My Literary Passions: Criticism and Fiction. N.Y., Harpers and Brothers. 1910. P. 170.

2 Там же. P. 172

3 *James H.* French Poets and Novelists. L., 1904. P. 212.

влияния США на Тихом океане. Интересы двух стран в этом регионе неизбежно должны были столкнуться. В итоге США заняли открыто анти-российскую позицию в русско-японской войне 1904-1905 гг., что было особенно заметно на мирных переговорах в Портсмуте. Когда в 1911 г. США аннулировали договор о сотрудничестве и торговле 1832 г., отношения двух стран достигли низшей точки. Н.Н. Болховитинов считает, что «наиболее обоснованным рубежом в смысле усиления русско-американского соперничества в политической, идеологической и экономической сферах» следует считать два последних десятилетия 19 века: «усиление реакции в России после убийства Александра II в 1881 году, сближение США в конце XIX века с Англией и Японией, рост русско-американских противоречий на Дальнем Востоке». В отличие от «гармоничного наследия» XIX века, с конца XIX века наступает период «расходящихся интересов» [1].

Эту ситуацию несколько смягчила Первая мировая война, вновь сблизившая США и Россию. В США, которые вступили 6 апреля 1917 г. в войну на стороне Антанты, приветствовали Февральскую революцию и установление в России парламентской республики. Однако последовавший за этим Октябрь 1917 года привел к резкой поляризации сил в США и формированию двух лагерей: сторонников и противников новой, коммунистической России.

Страна сибирской ссылки и черты оседлости. Записки о России рубежа веков.

Нарастание политических противоречий сопровождается формированием негативного образа России. Основные претензии к России в этот период – это самодержавный строй; судебная и вообще чиновничья бюрократия; ссыльно-каторжная система и наличие большого числа политических заключенных; дискриминация национальных меньшинств и черта оседлости. Пожалуй, самое значительное произведение, во многом определившее образ России этого периода для иностранцев – фундаментальная книга Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка»[2], переведенная на основные европейские языки. Впервые

[1] Россия и США: архивные документы и исторические исследования. М., ИНИОН РАН, 1984. С.80.

[2] *Kennan G.* Siberia and the Exile System, 1891. Книга начала выходить в журнальном варианте как серия статей в журнале Century (1888–1891). Первый русский перевод появился в 1890 г. Полный перевод был опу-

Кеннан попал в Россию в 19 лет, когда компания Западного союза решила провести телеграфную линию через Аляску, проложив кабель по дну Атлантики. Исследовательская экспедиция продлилась два года: 1865-1867 гг. Кеннан провел в суровом арктическом климате, на Камчатке и малозаселенной территории Восточной Сибири. В 1870 г. в Нью-Йорке вышла его первая книга о России «Кочевая жизнь в Сибири», содержавшая точные и живые описания, интересные и разнообразные сведения о жизни, быте, верованиях коренных обитателей Сибири. Эта книга более двадцати раз переиздавалась в США. Будучи написанной в духе «гармоничного периода», книга внесла немалый вклад в преодоление предрассудков и враждебных стереотипов. В 1880-е годы Кеннан убежден в либерализме русского правительства, выступает в его защиту, утверждая, что Сибирь не так страшна, а нигилисты и террористы, сосланные туда – опасные фанатики. Это было в то время, когда американская пресса была заполнена статьями о русских нигилистах и бомбометателях, где они изображались опасными разрушителями и убийцами[1]. Впрочем, вскоре в Америке раздаются голоса в защиту «русских бунтовщиков», которых преследует «деспотическое варварское правительство». По этому поводу возникла полемика Кеннана с Д. Армстронгом, торговым агентом, несколько лет прожившем на юге России. Армстронг сравнивал народовольцев с американскими патриотами времен войны за независимость, а царизм – исторически обреченной, бесчеловечной формой правления[2]. Как раз в это время нью-йоркский иллюстрированный журнал The Century Illustrated Monthly Magazine просит Кеннана, как «специалиста по России» и художника Джорджа Фроста отправиться в поездку по Сибири для исследования вопроса. В 1885 г. началось долгое путешествие Кеннана по Сибирскому тракту, результатом которого стал труд «Сибирь и ссылка», где Кеннан придерживается уже совсем других взглядов. В книге описаны 27 городов – столичные, крупные сибирские (Иркутск, Пермь, Семипалатинск) и совсем маленькие

бликован в 1906 г. «Сибирь и ссылка» СПб., издание Врублевского. Последнее переиздание – Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. В 2-х тт. СПб, Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 1999.

[1] См.: *Меламед Е.* Джордж Кеннан против царизма. М., Книга, 1981. С. 16-23.

[2] Об этом подробнее см.: *Меламед Е.* Джордж Кеннан против царизма; Laserson M. The American Impact on Russia, Diplomatical and Ideological. 1874 – 1917. NY, 1950. P. 307.

(Верхне-Ундинск, Троицкосавск). Главный итог встреч и разговоров американского путешественника с политическими ссыльными – молодые люди и женщины, сосланные за «неблагонадежность» обладают прекрасным образованием и выдающимися личными качествами и «при других обстоятельствах оказали бы неоценимые услуги своей родине»[1]. Он узнает о страданиях ссыльных, издевательствах и избиениях, о самоубийствах, болезнях, нищенской обстановке. Так в нем возникает презрение к русскому правительству и негодование против «сатрапов»: «Если бы я был царь, в распоряжении которого находится целая армия солдат и полицейских, и из боязни перед подростками-девушками не мог бы все-таки спать, пока они не сосланы в Сибирь, то я лучше бы отказался от престола»[2]. Теперь Кеннан возлагает вину за то, что в России существуют подпольные организации и терроризм целиком на царское правительство. В дальнейшем Кеннан оказывал множество личных услуг русским политическим ссыльным – передавал книги, письма, разыскивал знакомых и т.д. Американский исследователь Ф. Трэвис утверждает, что если Кеннан «изменил факты и сгустил атмосферу страха и подозрительности в своем рассказе... то сделал это, будучи уверенным в том, что сохранил дух правды и что драматизация оправдывалась потребностью привлечь симпатии мира к положению русских политических ссыльных в Сибири»[3].

То, что возможен был другой взгляд на вещи ясно демонстрирует посещение Кеннаном Ясной Поляны в 1886 г. Американский публицист беседовал с Толстым о положении политзаключенных в Сибири и об учении непротивления злу насилием[4]. Толстой, высоко оценивший деятельность Кеннана и собранные им потрясающие факты, тем не менее, не разделял его точки зрения на политзаключенных. Хотя Толстой искренне сочувствовал их страданиям и осуждал бесчеловечные условия содержания, но порицал народовольцев за применение ими жесткого насилия в борьбе с царским режимом. По его убеждению, это не уменьшало зло, но вело к его увеличению. Кеннан, предпри-

---

1 *Кеннан Дж.* Сибирь и ссылка. СПб, Русско-балтийский информационный центр «Блиц», 1999. Т. 1. С. 90.

2 Там же. С. 101.

3 *Travis F.* George Kennan and Russia. 1865 – 1905. Atlanta, 1974. P. 285.

4 О встрече Дж. Кеннана с Л.Н. Толстым см: *Гусев Н.Н.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828 – 1890. М.: ГИХЛ, 1958. С. 638. и статью Кеннана о своем визите в Ясную Поляну в Century Magazine, 1887, # 34, P. 253-265.

нявший поездку к Толстому по просьбе своих друзей – политических ссыльных – уехал из Ясной Поляны отчасти разочарованный.

Книга Кеннана имела огромный резонанс и в России, и в Европе, и в США. Что касается Америки, то принципиально важным здесь был следующий момент: выводы Кеннана и нарисованная им картина ссыльно-каторжной системы в России, во многом субъективная, попала в резонанс с духом времени. Освещение темных сторон русской жизни, симпатия к революционерам-террористам, которые предстают как лучшие сыны отечества, борцы за демократию и свободу, убежденность, что русское правительство является врагом собственного народа – все эти моменты оказываются ключевыми для конструирования образа России как «сатрапии», в отношении которого международное сообщество может и должно применять санкции. О том, насколько искренним было возмущение «варварской сатрапией» в США, говорит, например, реакция Марка Твена, присутствовавшего на одной из лекций Кеннана о карийской каторге. Возмущенный до глубины души, знаменитый писатель воскликнул: «Если динамит – это единственное средство в подобных условиях, то да будет благословен Господь Бог за динамит!»[1]. Таковы были веления времени, когда от эпохи «гармоничных отношений» совершается переход к расхождению интересов и политическому соперничеству двух стран. Противопоставление «негодного правительства» и «страдающего русского народа» в XX веке стало удачным пропагандистским ходом, который стал постоянной характеристикой образа России (СССР) и постоянным приемом ведения идеологической войны.

На рубеже веков происходит оживление старых стереотипов «варварства» и «Востока», которые вновь оказываются эффективными инструментами в стремлении представить Россию как отсталую страну, к которой нельзя относиться так же, как к другим западным странам. После периода гармоничных отношений вновь возникает образ другого – чужого, с которым необходимо вести идеологическую и политическую борьбу. К началу XX века снова доминирует устойчивая парадигма в восприятии американцами России. «В ее основе лежат понятия Востока и варварства, отделивших Россию от мира цивилизации, который принадлежит только Западу[2].

---

[1] Цит по: *Меламед Е.* Джордж Кеннан против царизма. С. 73.

[2] *Зверев А.М.* Стереотипы России: варварство и Восток. указ. соч. С. 13.

Русская революция

Как неоднократно подчеркивалось, самодержавный строй в России изначально вызывал неприятие и острую критику в США. Дискутировался вопрос о том, произойдет ли смена режима мирным или насильственным путем. Революция 1905 года вызвала смешанные чувства – энтузиазма, связанного с надеждой на свержение самодержавия в России, и страха перед возможным кровавым хаосом и разрухой, в которую может погрузиться гигантская Россия, и в эту воронку будет вовлечен Запад. Об этом писал Карл Шурц в 1900 году[1] и Генри Адамс в 1904-м: «Я готов сойти с ума от ужаса при мысли, что Россия движется к чему-то, подобному новой Французской революции, которая может смести Европу и нас вместе с ней. Серьезные потрясения в России могут смести с лица земли весь цивилизованный мир. Кто-то увидит в этом безумие; я вижу разрушение. Россия просто потеряла голову»[2]. Были и те, кто отрицал возможность революционных потрясений в России, считая эту страну слишком отсталой для демократической революции. Такова, например, была позиция Эндрю Диксона Уайта, который был посланником в России в 1892–1894 гг. В 1905 году он писал: «Революция в России? Не будет никакой революции. Крестьяне едва вышли из животного состояния. Вероятность восстания русских крестьян против царя так же мала, как возможность бунта стада коров против своего пастуха»[3]. Накануне революций 1917 года юрист, дипломат и литератор Ричард Уошборн Чайлд пишет в своем очерке о России: «Нет, только не революция... России нужно что-нибудь менее драматическое. Бизнес!.. Именно бизнес поможет привести Россию к либерализму. И это будет путь не революционный, но эволюционный»[4].

Когда революция стала реальностью, отношение в США к новой, большевистской России достаточно отчетливо поляризуется: американские левые проявляют симпатии и интерес к «большевистскому эксперименту»; есть и непримиримые враги «красной России». На рубеже 1920–1930-х годов, с началом Великой депрессии и наступле-

---

1 *Schurz C.* Reminiscences. N.Y., 1907, V.2, P. 53-56.

2 *Adams H.* The Letters. Boston, 1930. V.2, P. 419-420.

3 A Day with Andrew Dickson White at His Home in Ithaca // The Craftsman. Eastwood, N.Y., 1905, # 8, P. 733.

4 *Child R.W.* The Better Half of Russia // Century Illustrated Monthly Magazine. N.Y., 1916, # 92. P. 622.

нием «красных тридцатых» влияние левых заметно увеличивается, растет интерес к марксизму, троцкизму и к стране социализма. Однако уже с середины 1930-х начинается разочарование в сталинской России: в США складывается убеждение, что свержение царизма привело к новым формам автократии – военному коммунизму, сталинской диктатуре, а СССР, по сути, является модернизированной формой Российской империи.

Друзья Октября

Восприятие Октября американскими левыми – тема, подробно изученная в отечественной истории литературы в советские годы, поэтому мы не станем подробно останавливаться на этом вопросе[1]. Перечислим лишь некоторые важнейшие моменты.

Важную роль в восприятии Октября сыграла известная книга очевидца революционных событий в России Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Общественная и литераторская активность была существенным моментом в укреплении дружеских связей между новыми хозяевами России и американскими левыми: писатели и журналисты из «Клуба Джона Рида» посещали Россию и оперативно освещали все актуальные новости. В числе преданных друзей СССР оказались Альберт Рис Уильямс, Луиза Брайант, Линкольн Стеффенс, Ларс Лоренс, Майкл Голд – автор поэмы о России «120 миллионов». В США в эти годы активно печатаются апологетические материалы о России – прежде всего в газете Daily Worker, журналах Workers' Monthly и в органе левой интеллигенции The New Masses. В 1926 г. в Workers' Monthly опубликован перевод статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», в 1925 г. Daily Worker печатает материал о пребывании в США Владимира Маяковского. В начале 1930-х выходят документальные книги об СССР Анны Луизы Стронг «Я меняю миры», Карлисс и Маргарет Ламонт «Россия день за днем», Уолдо Франка «Заря над Россией». Чтобы представить себе, какой об-

[1] См. напр.: Писатели мира. Октябрь и литература. М., Прогресс, 1978; Октябрь в литературе США. 1917–1920. М. Высшая школа, 1968; Кубанев Н.А. Литературные связи между Россией и США и проблемы взаимовлияния литератур. 1917–1991. Арзамас, 1993; Сушкова В.Н. Советско-американские литературные связи. 20–30-е годы. Владивосток, Гос. Дальневосточный ун-т, 1986; Глазами друзей. Зарубежные писатели о Советском Союзе. М., Художественная литература, 1982.

раз СССР вырисовывается у американских левых, остановимся чуть подробнее на творчестве Майры Пейдж. В 1933 г. после посещения СССР М. Пейдж издала книгу «путевых заметок» о советской России «Советская главная улица». В конце ее она даже поместила глоссарий русских слов, отражающих новую реальность России – «Comsomol, culak, Pyatiletka, UDARNIK, Spetz, O.Q.P.U». Вскоре появляется ее роман «Московские янки» (1935)[1], тема которого – строительство советского автомобильного завода «Красная звезда» в годы первой пятилетки. Герой романа Фрэнк Андерсон (Энди), рабочий из Детройта, лишившись работы, решается поехать в СССР – страну, о которой он ничего не знает, кроме слухов о том, что там свирепствуют болезни и «все может случиться». Энди, как и некоторые другие американцы, в том числе негр Эдвард Фомон (Нед), постепенно начинают чувствовать себя частью коллектива, болеть за общее дело. Образ СССР, создаваемый М. Пейдж, в точности соответствует советским пропагандистским штампам. Вот письмо, которое пишет Энди домой в Америку: «Я никогда не вернусь... Здесь совершается великое... Здесь нет грейпфрутов, бананов, но здесь, дорогая, есть мороженое, кино, цирк, радио... Тебе надо приехать сюда и увидеть все собственными глазами, тогда ты оценишь и поймешь, что жизнь здесь ничем не похожа на нашу»[2].

«Проклятие большевизма»: прообраз «империи зла».

Резкое неприятие нового режима часто совсем не означало неприятия России вообще или непременной приверженности негативным стереотипам. Это доказывает пример Эммы Кокрейн-Понафидиной, американки, ставшей женой русского дипломата Петра Понафидина, и прожившей с ним в тверском имении двадцать лет (1900-1910-е гг.). В своем дневнике Понафидина рассказывает о том, что в день свадьбы ее родственники показали ей статью Дж. Кеннана в газете и умоляли «не соединять свою судьбу с народом, живущим в подобных условиях»[3]. Эта красноречивая деталь многое говорит о сложившемся в конце прошлого века восприятии России. Оказавшись на новой

---

1 *Page M.* Moscow Yankee. Van Rees Press, 1935.

2 *Пейдж М.* Московские янки. М., 1935. С. 35.

3 Ponafidine-Cochrane E. Russia – My Home. An Intimate Record of Personal Experience Before, During and After Bolshevist Revolution. Indianapolis, The Dods-Meml Co., 1931. P. 26.

родине, Эмма убедилась, что слухи о варварском состоянии России необоснованны. В своем дневнике она рассеивает целый ряд предрассудков: о поголовной неграмотности крестьянства, об отсутствии медицины, о бесправии крестьян, лишенных земли (Понафидина описывает земледельческие товарищества, которых в России накануне Первой мировой войны было немало).

Революция и гражданская война стала для Эммы катастрофой. Пережитый ужас заставил ее идеализировать дореволюционную Россию. Она показывает 1917 год как настоящий «конец света»: это резкий разрыв с прошлым, так что после Октября следует говорить о двух странах, ничего общего не имеющих между собой. Так в воспоминаниях Понафидиной выдвигается тезис, ставший общим местом во многих западных записках и воспоминаниях о России – «тезис о тотальном разрыве между двумя формами русского исторического существования»[1]. Это прямая антитеза: «прекрасные грезы – чудовищный кошмар»[2]. Исследуя причину поразившей Россию катастрофы, Эмма Понафидина объясняет это, опираясь на те ценностные представления, которые были впитаны ей из родной культуры. Так, она упрекает русских либералов, дворянских просветителей в том, что, хлопоча о простонародье, они оказали стране медвежью услугу, развратив крестьянство: «Не испытывая необходимости проявлять инициативу, крестьяне в конце концов вообще отвыкли от самостоятельности... Чрезмерная отеческая опека во многом способствовала развитию в народе черт, которые потом помогли утвердиться большевистской тирании»[3].

Американская писательница Эйн Рэнд, уроженка Петербурга, также отличалась резким неприятием большевистской России. Ее письма 1930-х годов, пьеса «Красная пешка» и роман «Мы, живые» (1936)[4] выражают негативное отношение к советской России. В романе «Мы, живые» две, а точнее, три России. Главная героиня Кира Аргунова и ее семья представляют обыкновенную Россию, простых людей. И уже в первых сценах романа происходит столкновение между этой простой Россией (Аргуновыми) и другой Россией – красным государством, которое воплощают солдаты, служащие ОГПУ, советские чиновники и

---

1 *Зверев А.М.* Стереотипы России: варварство и Восток. С. 9.

2 Ponafidine-Cochrane E. Russia – My Home. P. 30.

3 Там же. P. 54.

4 *Rand A.* We the Living. N.Y., Signet, 1987.

государственные лица. Их атрибуты – кожаные куртки, тяжелые сапоги, «стальные клинки». Они обыскивают дома и арестовывают простых граждан. В партию попадает два рода людей: те, кто наивно верит в идеалы, и беззастенчивые карьеристы. Однако карьеристы и воры благоденствуют и помыкают рядовыми, честными членами партии.

Образ Петербурга в романе связан с образом еще одной, «третьей» Россией – дореволюционной. Красота города – великолепие парков, каналов и проспектов, величественные здания, памятники передают идею неуничтожимости русской культуры. Один из лейтмотивов города – золотой шпиль Адмиралтейства: «Вдалеке в серой дымке слабо блестел тонкий золотой шпиль Адмиралтейства, похожий на длинную руку, поднятую в торжественном приветствии»[1]. Петроград – «высокомерный город-аристократ», дома которого «были построены прошлыми поколениями для поколений будущего»[2], упорно сопротивляется захватчикам. К концу романа Кира все меньше думает о величии Петрограда. Вместо веры в этот город и в Россию, ее все чаще посещают мысли об отъезде за границу. Только на Западе можно найти свободу и счастье, которой нет в красном Петрограде. По мере того, как укрепляется советская власть, «красная» образность начинает доминировать и в облике Петрограда. Кира, как и автор романа, не находит другого выхода, кроме бегства за границу от ужаса и безнадежности советской жизни. Сама Рэнд, покинув Петербург, сохранила непримиримую ненависть к большевизму.

Драйзер смотрит на Россию

Обозначив «крайние точки» в отношении к советской России, хотелось бы обрисовать более сложный ее образ, который связан с фигурами великих американских писателей первой половины XX века. В конце 1920-х годов нашу страну посещают Теодор Драйзер и Джон Дос Пассос. Они видели Россию в очередной переломный момент ее истории – заканчивался нэп, постепенно сворачивались последние «свободы», на интеллигенцию и художников надевали «строгий ошейник». Сложные и неоднозначные впечатления от России Драйзер и Дос Пассос изложили в своих рассказах о пребывании в СССР.

---

1 Там же. P. 31.

2 Там же. P. 241, 239.

Теодор Драйзер посетил СССР в конце 1927 г. Он провел там два с половиной месяца. Некоторое время он жил в – Москве и Ленинграде, потом проехал по стране, побывав в Перми, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, Сталино (Макеевка, Украина), Ростове, Тифлисе и на черноморском побережье от Баку и Батума до Одессы.

В книге Драйзера подспудно возникают символические структуры, имеющие старинные корни. Это, в первую очередь, образ загадочной, экзотической страны. Так, например, Драйзер прямо апеллирует к стереотипу России как «Гипербореи», страны вечного холода и мрака: «Приехав с Запада... я смотрю на Россию как на страну вечного холода, где постоянно надо заботиться о судьбе всего живого. Разъезжая по России, я не раз проникался глубоким сочувствием к людям, которым приходится возделывать столь необъятную землю в столь суровых условиях»[1].

В книге Драйзера о России немало черт, напоминающих о записках путешественников XVIII-XIX веков. Это описание экзотических видов Москвы – «азиатской столицы» (глава II «Столица государства большевиков») в выражениях, почти буквально воспроизводящих топику, сложившуюся в предшествующие два века: церкви с «изумительными чешуйчатыми как ананас куполами», пестрая толпа – «бородачи в тулупах и валенках», люди в меховых шубах, «похожие на пухлые матрасы», женщины в платках. Здесь и описание «красочных палат» Кремля – «неповторимое соцветие остроконечных башен, куполов, колоколен», огромное количество галок, «птиц с чисто русским темпераментом: упитанных, беспечных, благодушных, склонных к созерцанию и общительных, как и все русские» (С. 29). Здесь и красочные зарисовки колоритных представителей национальных окраин – узбеков, грузин, камчадалов и др. («Туркмены живут где-то за Кавказским хребтом и носят огромные мохнатые шапки и яркие подпоясанные кушаком халаты») (С. 128).

Тема «экзотического иного» легко переходит в тему иного как чуждого, отталкивающего и в конечном итоге враждебного или опасного. Одна из граней образа России у Драйзера – это черты «азиатчины», полудикой, варварской отсталой страны. Со смесью юмора и раздражения рисует Драйзер убогость быта: здесь и «ревущие, плюющие, источающие зловоние» примусы (С. 30), и «прелести коммунальной

[1] *Драйзер Т.* Драйзер смотрит на Россию // Драйзер Т. Жизнь, искусство и Америка. М., Радуга. 1988. С. 9-10. Далее все цитаты приводятся из этого издания.

кухни», и чудовищные опоздания поездов, и жуткие условия вонючих «теплушек», и «немытые двери, пыльные окна, чудовищно грязные туалеты» (С. 51). Вывод – «...русский – это не американец. Это даже не европеец. Я бы все-таки отнес его характер к азиатской разновидности» (С. 56).

Анализу русского национального характера Драйзер посвящает целую главу (глава IV «Характер русский и характер американский»). Он подчеркивает общинный характер русской жизни, полагая, что коммуналки свидетельствуют о склонности к «коммунистическому общежитию». Драйзер противопоставляет «медлительность и беззаботность» русских энергичности и предприимчивости американцев, их прагматизму: «...энергия и напор, без которых западному человеку не обойтись, совершенно не свойственны русскому темпераменту... житель России представлялся мне олицетворением вялой покорности» (С. 67).

Особенности национального характера и традиций Драйзер, вполне в духе тэновско-спенсеровского позитивизма, выводит из средового фактора – социальных, климатических и географических особенностей: «условия, при которых народ жил при царе, гнет трудящихся, высокие налоги, рабская закабаленность. И все это приправлено азиатским фатализмом, с безразличием воспринимающим жизнь и смерть. К тому же по большей части страна представляет собой протянувшуюся на сотни километров голую равнину...» (С. 72)

Так возникает образ, буквально начиненный удивительно живучими стереотипами. Но Драйзер чужд односторонности: он показывает столкновение старого и нового, «отсталой варварской азиатчины» и «европейского прогресса». Все, связанное с модернизацией страны, рисуется Драйзером с энтузиазмом, в соответствии с канонами жанра утопии. В таком духе описываются условия жизни шахтеров Донбасса и Новокузнецка: «Когда шахтер поднимется наверх после шестичасовой рабочей смены, его ждет не только комната отдыха, но и теплый душ... И еще: шахтеры, как почти все категории промышленных рабочих, живут в новых трех- и четырехкомнатных домах с ванной, верандой и небольшим садиком. В качестве развлечений и отдыха существуют прекрасные дома-клубы с бассейном, с площадкой для игры в городки, бильярдной, актовым залом, читальней, библиотекой, спортивным залом и столовой» (С. 13-15).

Представляя американский практицизм и технический прогресс в качестве позитивного ориентира, писатель далек от того, чтобы

считать американскую модель идеальной. В его книге содержится довольно проницательная критика родной культуры: «Порой, сдается мне, я чрезмерно идеализировал прошлое и будущее Америки.... мы материалистически приземленная и в большинстве своем инфантильная нация. В России все иначе! Здесь я обнаружил поразительную духовную жизнь, безграничное, неподдельное, лишенное всякой меркантильности стремление к духовному обогащению!» (С. 220). Наиболее важным и ценным в России представляется Драйзеру «загадочная славянская душа», готовая предпочесть устойчивой и надежной прагматике материального прогресса стремление к заоблачным духовным высотам.

С этой стороной образа России связаны страницы драйзеровской книги, посвященные культуре дореволюционной России. Драйзер размышляет о сути учения Толстого, призывавшего отказываться от роскоши, от удобств, питаться скромной растительной пищей, посвящать себя добру и любви (это очень по-русски), описывает толстовцев – «...высокие лбы, продолговатые, восковые русские лица; шелковистые, с проседью, крупные бороды; глаза – задумчивые, часто запавшие ...здесь собирались люди, которые с медлительностью, присущей русскому характеру, стремятся жить в соответствии со своей духовной верой» (С. 189–190). Религиозно-мистическая составляющая толстовства чужда Драйзеру, но таинственная русская душа вызывает в нем невольный трепет: «Таинственный народ русские. Их влечет к такому невероятному идеалисту, как Толстой. Во всех произведениях Достоевского об этом говорится» (С. 192). Драйзер усматривает нечто общее между толстовством, продолжающем традиции христианской мистики и аскезы и атеистическим коммунизмом. Общее между ними то, что обе эти идеи – порождения «русской души» с ее неукротимым стремлением к духовным высотам и мессианскими устремлениями.

Так возникает еще одна грань образа иного. Здесь инаковость предстает как потенциальный резерв для восполнения собственной неполноты, как чужой опыт, который может быть плодотворно осмыслен и усвоен.

В свою книгу Драйзер включает описание поездки в Ясную Поляну, которое построено как отдельный маленький очерк, завершающий рассказ об искусстве новой России (гл. XV). Идиллическое описание этого заповедника старой культуры заметно контрастирует с критическим тоном, превалирующим в описании культуры современной большевистской России. Ему посвящены две главы XIV и XV под об-

щим названием «Изобразительное искусство, литература и музыка в стране большевиков». Сразу постулируя, что «большевистское искусство – явление не простое» (С. 166), Драйзер, тем не менее, называет гораздо больше его недостатков, чем достоинств. Прежде всего, он отмечает тенденцию превращать искусство в пропаганду, проникнутость «классовым сознанием и коммунистической идеологией». Следующая претензия – вторичность авангардистского эксперимента в живописи, театре, кино и литературе по сравнению с современным искусством Западной Европы и Америки.

Современной советской литературе писатель выносит суровый приговор: «В сравнении с Гоголем, Тургеневым, Достоевским, Толстым, Чеховым, – словом, со всей знаменитой плеядой русских писателей прошлого – современные советские литераторы выглядят гораздо скромнее. Я неоднократно говорил о том, сколько горя и страданий перенесла Россия, и именно потому так бросаются в глаза невнимание, равнодушие писателей, на мой взгляд, весьма пагубное, к стране и ее судьбам» (С. 177). Несомненно, Драйзер имеет ввиду всепроникающую коммунистическую идеологию и утрату высокого гуманистического пафоса, который был свойственен русской литературе XIX века. Для него культура России – это прежде всего культура XIX века; этих вершин пока не удается достичь деятелям культуры новой России.

Как американец и убежденный демократ, Драйзер не испытывает никакого пиетета перед монархией. Рассказывая о посещении Царского Села и Екатерининского дворца, он выказывает общее для всех американских путешественников пренебрежительное отношение ко всему, связанному с самодержавием: царь – «маленький, ничтожный недоумок», царевич – «жалкий калека, свидетельство вырождения царского рода», будуар царицы похож на уборную «третьесортной актрисы». Писатель восклицает: «До чего, должно быть, ничтожны были люди, окружавшие престол! Как легко они упустили из рук эту бескрайнюю, великую империю, уступив власть над своими владениями другому самовластью!» (С. 99–100).

Однако с концом царизма авторитарная власть не исчезла. Драйзер неоднократно называет режим советской России самовластьем, новым самодержавием. В роли нового самодержца Драйзеру видится Сталин, создавший новую тайную полицию – ГПУ и новые эффективные технологии овладения умами. Американскому писателю бросилась в глаза заидеологизированность, вездесущая навязчивая

пропаганда (глава VII «Избыточность пропаганды»). Драйзер пишет о «нескончаемом потоке пропаганды», о сотнях агитационных книжек и брошюрок, о нескончаемых лекциях и тысячах «красных уголков», о вездесущих плакатах. «В России плакаты повсюду. Прямо нет спасения» (С. 79). Если описание модернизации России тяготеет у Драйзера к жанру утопии, то описание политического строя и идеологической обработки близко к антиутопиям XX века.

К числу черт антиутопии относится описание реалий начинающейся эры сталинизма (гл. IX «Самовластье коммунизма»): царящая в России «шпиономания», «система контроля, «атмосфера подозрительности, кое-где даже страха». Посещение Драйзером СССР происходило как раз в разгар печально знаменитого «шахтинского дела». Он рассказывает о допросах в ГПУ, о странных процессах, не укладывающихся в представления западного человека о законности и судопроизводстве. Советский суд и закон «никак не отождествляется ни с правосудием, ни со справедливостью». Писатель постоянно задается страшными вопросами: «а бывало ли, чтобы при такой системе вообще оправдывалось или освобождалось сколько-нибудь человек из невиновных?» «что же такое правосудие и существует ли оно?» (С. 103).

Дос Пассос: от приятия к отвержению

Джон Дос Пассос, воспитывавшийся в интеллигентной рафинированой среде (он был сыном известного адвоката, а предки матери происходили из лучших мерилендских и виргинских семей), рано познакомился с русской культурой. В его ранних письмах[1] есть упоминания о глубоком впечатлении, которое произвели на него романы Достоевского и Толстого, в Париже в середине 1910-х годов он – поклонник дягилевской труппы, он дружен со Стравинским, интересуется современной русской живописью. Военный опыт только усилил романтический идеализм и левые симпатии юного Доса, который видит в социализме путь к исправлению изъянов капиталистической системы через уничтожение собственности, свободное развитие личности. В 1921 г. Дос Пассос, совершая поездку по Азии, впервые попадает на территорию России. Он едет в Константинополь, а оттуда по Черному морю в Батум, посещает Тифлис, Нахичевань, где видит разрушительные последствия революционных событий. И тем не ме-

[1] См. The Fourteenth Chronicle. Letters and Diaries of John Dos Passos. Boston, Gambit Inc, 1973, Part I.

нее в его письмах этой поры и в мемуарах «Путешествия между войнами» (1938) Закавказье описывается как полуфантастическая страна, где разворачивается грандиозная битва старого и нового. Живые зарисовки, описание экзотического местного колорита сочетаются с символикой и метафоричностью, записки полны романтики.

Дос Пассос снова вернулся в Россию в 1928 году. На этот момент приходится пик «левизны» писателя: в Америке только что были казнены Сакко и Ванцетти, в деле которых Дос Пассос принимал активное участие. Разочарование в американской политической системе обострили желание Дос Пассоса познакомиться с альтернативным государственным строем и разрешить сомнения, которые были у писателя, так и не определившегося окончательно в своем отношении к советскому эксперименту. Дос Пассос побывал в Ленинграде, где познакомился с В. Стеничем и К. Чуковским, заинтересовался научной работой И.С. Павлова и постарался уяснить себе причины его резко негативного отношения к советской власти. Он съездил в Ярославль, попутешествовал по Волге, вместе с делегацией Наркомпроса посетил Дагестан и увидел жизнь голодных нищих окраин: это заставило его всерьез задуматься о сути революционных перемен.

В Москве внимание Дос Пассоса прежде всего привлекли советский театр и кино. Его поразил смелый эксперимент Мейерхольда, Он обратил внимание на «народные театры» – то есть самодеятельность: «живые газеты», под впечатлениям от которых Дос Пассос создавал «экраны новостей», ставшие составляющей трилогии «США». Самым ярким событием стало знакомство с Сергеем Эйзенштейном: писатель и режиссер прекрасно поняли друг друга, у них обнаружилось полное единство во взглядах на кино и увлечение «общим монтажным принципом». Сходство в композиции между романом «Манхэттен» и фильмом «Броненосец Потемкин» не случайно: это параллельное развитие тем, самостоятельность голосов, ритм меняющихся кадров, в каждом из которых спрятан микроконфликт; независимость кадров – и сочетание их в единую художественную систему.

Дос Пассос познакомился и с советскими коллегами по цеху, побывал у них в гостях. После общения с Фадеевым, Алымовым, критиками С. Динамовым, А. Тарасенковым и др. он делает вывод: советская интеллигенция полна энтузиазма в отношении к режиму, однако он не мог не заметить и страх расправ, репрессий, начавшиеся аресты. Можно сказать, что сомнения, с которым Дос Пассос ехал в Россию, так и остались неразрешенными, а напротив, стали еще более мучительными.

Переписка Дос Пассоса 1930-х годов показывает постепенное нарастание в нем неприятия сталинской России: тон писателя становится все более резким. Конфликтные ситуации, порой возникавшие у него с советскими друзьями, катализировали его отход от прокоммунистических позиций и формирование негативного отношения к СССР[1]. Уже с 1935 г. Дос Пассос твердо убежден: лучше несовершенство американской капиталистической системы, чем пресс коммунистической идеологии. Эти идеи отражены в его переписке 1935 г. с критиком и литератором Э. Уилсоном[2], который готовился к поездке в СССР, и в романе «Бешеные деньги», где все персонажи, в первых частях трилогии следовавшие коммунистическим идеалам, терпят нравственный крах, погрязая во лжи и предательстве. Динамика взглядов Дос Пассоса заметна и в его мемуаристике: если в книге «Путешествия между войнами» (1938) путешествие в Россию в главе «Русская виза» описано с энтузиазмом и в целом доброжелательно, то в поздних мемуарах «Лучшие времена» (1966) реалии, указывающие на приближение сталинизма, отмечены категорическим и враждебным отрицанием[3].

В целом Дос Пассос и Драйзер рисуют сложную картину российского общества и исторического периода, переживаемого Россией: с одной стороны, страна переживает бурные процессы модернизации, в техническом и индустриальном отношении становится ближе в западному образцу. В экономической и социальной области немало достижений, хотя в целом социально-экономическая модель принципиально отличается от западной и скорее напоминает прежнее самодержавие. В области политического строя – это настоящее тоталитарное государство со всеми своими существенными признаками: слежка, репрессии, авторитарная диктатура, массированная идеологическая обработка, построенная на демагогии и даже откровенной лжи. На периферии оказываются остатки прежней России – страны высокой культуры, великой литературы XIX века.

---

1 См. напр. переписку Дос Пассоса с С. Динамовым и У. Кармоном. Публ. Е.М. Салмановой. Новоле литературное обозрение, 1993, № 4.

2 См. The Fourteenth Chronicle. Part V.

3 Dos Passos J. Journeys Between Wars. N.Y., 1938; Dos Passos J. The Best Times: An Informal Memoir. N.Y., New American Library. 1966. Путешествию в Россию посвящена глава Commitment: Uncommitment.

Вторая мировая: союзники поневоле

Вторая мировая война, ее исход и новые реалии первых послевоенных лет определили новый вектор развития отношений СССР и США на фоне глобальных геополитических перемен, совершившихся в 1940-начале 1950-х гг. В Америке война отодвинула на задний план Великую Депрессию тридцатых и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. В международной сфере она покончила с изоляционизмом США и заложила основу ведущей роли США в мировой политике. Кардинально изменилось и положение СССР: «сталинской России» также удалось преодолеть изоляцию, окружив себя странами-сателлитами и утвердив свое влияние в Восточной Европе.

В ходе Второй мировой войны отношения США и СССР оставались хорошими. После того, как в декабре 1941 года и сами США подверглись нападению со стороны Японии, между СССР и США был подписан союзнический договор и начато осуществление программы ленд-лиза, в рамках которой в Советский Союз поставлялась американская военная техника, имущество и продовольствие. В основе советской стратегии президента США Франклина Делано Рузвельта лежало представление о Советском Союзе как о проблемной, но отнюдь не по определению враждебной Соединенным Штатам стране: считалось, что антизападные настроения в России коренятся в ее тяжелом историческом наследии; однако есть и вина Запада в том, что эти элементы в России оказались столь живучими. По мнению Рузвельта, они со временем могут быть изжиты – при условии правильного подхода к развитию взаимоотношений. Эти предположения о гибкости «советского поведения» подкреплялись позитивным опытом военного сотрудничества. Рузвельт не сомневался в том, что Западу удастся «приручить» и «перевоспитать» Россию[1].

Конечно, рузвельтовская политика включала в себя серьезные элементы своекорыстия и подстраховки (затягивание с открытием второго фронта, сохранение «манхэттенского проекта» в секрете от союзника и др.), однако в ее основе лежали оказание помощи СССР в годы войны и надежда на продолжение сотрудничества в послевоенном мире.

Тем не менее, именно в годы войны закладывается основание для будущего противостояния вчерашних союзников. Не случайно именно договоренности между членами антигитлеровской коали-

[1] *Bell J.* Making Friends with the Soviets in the Era of Stalin // Diplomatic History, Vol. 32, issue 2, April 2008. P. 269-271.

ции, достигнутые в ходе и после окончания войны, в конечном итоге предопределили возникновение биполярного мира, в котором объединенный Запад при лидерстве США противостоял так называемому социалистическому сообществу, сплотившемуся вокруг Советского Союза.

Сложные реалии последних предвоенных лет представлены в деятельности видного американского дипломата, посла в СССР в 1954–1963 гг., аналитика, советолога, автора многочисленных трудов по американской дипломатии и внешней политике Джорджа Ф. Кеннана-младшего. В своей книге «Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР»[1] Кеннан повествует о драматическом периоде мировой истории: это канун Второй мировой войны и ее начало, вступление в войну СССР, послевоенный передел Европы и начавшаяся конфронтация двух политических систем. Книга человека, который признан главным «архитектором» холодной войны в США, позволяет увидеть «оборотную сторону» союзнических отношений и вызревание послевоенного противостояния.

Джордж Фрост Кеннан родился 16 февраля 1904 года в Милуоки, штат Висконсин, в обеспеченной семье. Его день рождения справляли вместе с днем рождения его внучатого дяди – Джорджа Кеннана, журналиста, путешественника и этнографа, снискавшего себе немалую известность трудами о России и, в особенности, о сибирской каторге. Своего сына родители Кеннана-младшего решили назвать в знак уважения к именитому родственнику. Во время учебы в Принстонском университете Дж.Ф. Кеннан-младший заинтересовался отношениями между США и Россией. Изучение русского языка и культуры давалось ему легко и приносило много радости. Он вспоминал: «Мой учитель принес мне буквари для первого класса русских школ в Эстонии. Мне пришлись по душе эти книжечки с красивым славянским шрифтом… Там можно было прочесть русские сказки и отрывки из русских классиков, восторженно писавших о зиме и о катании на салазках. Я даже заучил наизусть несколько таких стихов. С тех пор я увлекся великим русским языком, богатым интонациями, музыкальным… порой — классически суровым…»[2]

---

[1] *Kennan G.* Memoirs 1925–1950. – Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1967.

[2] *Кеннан Дж.* Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. М.: Центрполиграф, 2002. С.23.

Кеннан с юных лет с горячим интересом изучал загадочную страну, о которой большинство американцев имели самое смутное представление. Он был знаком с русскими эмигрантами в Америке, и научился от них преклонению перед дореволюционной Россией с ее высокой культурой. Он очень полюбил русскую литературу, особенно Чехова и Толстого. Кеннан несколько раз посещал Ясную Поляну, а творчеством Чехова занимался углубленно и посвятил ему несколько работ. Ему импонировала православная культура – он посетил Новый Иерусалим, церковь Покрова на Нерли и ряд других святынь. В православии пресвитерианин Кеннон находил такие безусловные ценности, как традиционализм и патриархальность. Он пытался понять менталитет русского человека, казавшегося ему представителем доиндустриального мира, ностальгия по которому в Америке того времени была весьма распространена. Кеннан идеализировал аграрную, патриархальную Америку и не принимал «машинизацию» США. Поэтому индустриализация СССР, свидетелем которой он стал, также не вызывала у Кеннана никакого восторга. Строительство нового мира на земле Толстого представлялось ему абсолютно неорганичным для российского общества. Любовь к русской культуре обусловила его непримиримое отвержение марксизма и большевизма. – именно «большевистское варварство» было повинно в гибели высокой культуры и нравственной литературы дореволюционной России[1].

Взгляды Кеннана носили последовательно антисоветский характер. С самого начала он был убежден, что компромисс с советским режимом невозможен. СССР для него был средоточием зла, страной варварского большевизма, человеконенавистнической идеологической доктрины: «<...> я всегда чувствовал глубокую неприязнь к русскому марксизму. Я не могу принять бессердечного фанатизма тех, кто считает, что можно преследовать или «ликвидировать как класс» большое число людей — буржуазию и значительную часть крестьянства — просто потому, что эти люди родились с определенной классовой принадлежностью»[2].

В 1933 году Кеннана направили в посольство США в Москву. Он оставил живые зарисовки облика и быта России первой половины

---

[1] О Дж..Ф. Кеннане см.: *Botts J.* «Nothing to Seek... and Nothing to Defend». George F.Kennan's Core Values and American Foreign Policy 1938-1993 // Diplomatic History, Vol. 30, issue 5, November 2006. P. 839-866.

[2] *Кеннан Дж.* Указ. Соч. С. 49-50.

1930-х. Все эти зарисовки выполнены в духе описаний «экзотического другого» и культурно-антропологических штудий. В этом жанре Кеннан выказывает наблюдательность, живой и в целом доброжелательный интерес к российской действительности и истории. Там, где его взору предстают картины бедствий и опустошений, вызванных войной, он живо демонстрирует сочувствие и симпатию к страданиям русского народа. Свои записи о посещении в июле 1944-го разрушенного Сталинграда он завершает знаменательной фразой: «К русским начинаешь относиться с симпатией, когда забываешь о пропаганде их правительства»[1].

Интерес к истории России и увлечение русской литературой побуждали Кеннана оставаться непримиримым врагом советской идеологии и СССР. Кеннан осуждал Рузвельта за его «многочисленные уступки» Кремлю, за иллюзии в отношении большевистского правительства[2]. В тридцатые годы Кеннан видит именно Россию, а не нацистскую Германию в качестве самого опасного потенциального агрессора. В цитируемых им служебных записках и резюме 1930-х годов отчетливо заметно, как в ситуации идеологического противостояние вновь актуализируются культурные различия и старинные стереотипы «другого-чужого»: «В политическом плане нужно *учитывать исторические традиции России, коварство и подозрительность части ее правителей, продолжительный контакт с азиатскими ордами, влияние Византии, взаимосвязь климата, характера и географического положения страны, не располагающих к организации нормального административного контроля и национальной солидарности* (курсив – авт.)»[3].

После нападения нацистской Германии Кеннан подчеркивает: нельзя отождествлять себя с воюющей Россией политически и идеологически. Россию нужно расценивать как «попутчика», но не как политического союзника[4]. Кеннан постоянно подчеркивал отсутствие принципиальной разницы между гитлеровской Германией и сталинской Россией. Кеннан был яростными противником Нюрнбергского

---

1 Там же. С. 121.

2 Кеннан также критиковал Запад за равнодушное отношение к русской эмиграции, оказавшейся в США на положении в буквальном смысле бедных родственников.

3 Там же. С. 53-54.

4 Там же. С. 88.

процесса: он полагал, что участие в этом процессе явится демонстраций солидарности с русскими и оправданием их «зверств», которые они учиняли в захваченных ими странах Восточной Европы до и после нападения Гитлера.

Главная забота Кеннана – как с наибольшой выгодой воспользоваться ситуацией начавшегося послевоенного передела мира. Здесь русские видятся ему как самые опасные, сильные, коварные и мощные соперники. Рассматривая все буржуазные страны как явных или потенциальных врагов, кремлевские лидеры следуют принципам эгоистичной, вероломной и «непрозрачной» для демократического Запада «византийской» политики[1].

Кеннан убежден: большевистская идеология укоренилась в России, благодаря исторически сложившимся традициям русской государственности – «дикого феодализма», варварства, деспотизма. Он приводит сохранившуюся у него в дневнике запись разговора с «одним московским знакомым», который честно признался: «Да ведь нам нельзя без диктатуры. Если наших людей предоставить самим себе, то они станут неуправляемыми»[2]. Коварный «византинизм» во внешней и внутренней политике, закрытое общество, полное подозрительности, ненависти к «чужакам», антигуманная идеология, которой фанатично преданы руководители страны и большинство населения – все эти черты педалируются Кеннаном в его книге, которая наглядно демонстрирует нам, как образ «чужого» постепенно превращается в образ врага, с которым в принципе невозможны отношения союзничества и партнерства, как невозможно и найти общий язык.

Книга Кеннана убедительно показывает, что уже в ходе войны, когда между СССР и США существовали союзнические отношения, сложились все необходимые предпосылки холодной войны[3].

Холодная война: эра мифотворчества

Из анализа отношений России и США после 1917 года и особенно в ходе Второй мировой становится очевидно, что холодная война

---

1 Там же. С. 148

2 Там же. С. 125-126.

3 Тех же взглядов придерживаются и многие другие американские авторы. См. напр. статью *Lundestad G.* American Grand Strategy since 1940: Political Science and History // Diplomatic History, Vol. 31, issue 4, September 2007. P. 787-791.

– длительный и многомерный процесс, который начинался и разворачивался постепенно. До сих пор нет единого мнения о том, с какого момента начинать отсчет холодной войны – с октября 1917 года, с перелома в ходе Второй мировой войны, с Фултонской речи Уинстона Черчилля, с доктрины Трумэна или с плана Маршалла. В знаменитой Фултонской речи Черчилль обозначил контуры наступавшей эпохи: биполярный раскол мира, центральная роль англо-американской «оси» в западном мире, идеологическая конфронтация с СССР и стремление достичь силового превосходства[1].

В США концептуальной базой для поворота послужила известная «длинная телеграмма» от 22 февраля 1946 года временного поверенного в делах США в СССР Джорджа Кеннана. С его точки зрения «советская угроза» для Запада складывалась из сочетания сталинской системы и мессианских претензий ее вождей с огромной военной мощью и возможностями Кремля расширять сферу своего влияния в результате победы во Второй мировой войне.[2]. Уязвимыми сторонами «коммунистической системы» Кеннан считал экономическую неэффективность и политическую неукорененность в обществе. Он был убежден, что кремлевская правящая группа отчуждена от своего собственного народа; поэтому в критический час властям будет не на кого опереться. Эта мысль вполне подтвердилась на рубеже 1980-1990-х годов.

Во внешней политике слабая сторона советской системы связывалась с неспособностью сугубо силовыми методами обеспечить долговременную лояльность своих стран-сателлитов в Европе и Восточной Азии.

Подход Кеннана и других идеологов холодной войны (прежде всего Пола Х. Нитце и Эндрю Дж. Гудластера) стал антитезой рузвельтовскому: утверждалась агрессивность Кремля (вместо рационального поведения великой державы), «неисправимость» Советов (вместо гибкости мотивов и поведения), целью провозглашались «слом» или «размягчение» советской системы – вместо ее постепенной интеграции в западное сообщество. Обсуждавшийся в Вашингтоне сценарий «превентивной войны» был отклонен как слишком рискованный, и

---

1 См. напр. *Devin M.J.* From World War to Cold War // Diplomatic History, Vol. 32, issue 1, January 2008. P. 149-152.

2 *Etheridge B.C.* The Desert Fox, Memory Diplomacy and German Question in Early Cold War America // Diplomatic History, Vol. 32, issue 2, April 2008. P. 207-238.

ставка была сделана на постепенное изматывание противника. Эта доктрина получила название «сдерживания».

Цели «сдерживания» получили конкретное воплощение в ключевых документах американской стратегии – директивах совета национальной безопасности (СНБ) № 20/1 (1948), № 68 (1950) № 162-2 (1950 г.) и в проекте «Солярий». Таких целей было две: ограничение влияния Кремля и коренной пересмотр правительством СССР своего подхода к международным отношениям[1]. Под ограничением влияния имелся ввиду вывод из-под советского контроля стран Восточной Европы и подрыв влияния СССР на другие страны через их компартии. Решающее значение придавалось необходимости положить конец советскому присутствию в центре Европы, которое рассматривалось как историческая аномалия, вызванная Второй мировой войной.

Под коренным пересмотром Кремлем своего видения международных отношений подразумевался отказ от классово-идеологического подхода к внешнему миру. Кеннан рассматривал вариант «краха» системы в результате внутреннего кризиса или войны, но предпочтение отдавал ее постепенному «размягчению», как более безопасному для США и мира в целом. «Размягчение» подразумевало постепенную деидеологизацию и плавный переход к новому типу отношений с внешним миром.

С чем же был связан подобный поворот в американской стратегии в отношении недавнего союзника? По официальной версии, принятой в Америке, такова была естественная реакция на отказ Советского Союза от сотрудничества с Западом и на его возвращение к «коммунистической экспансии». Однако истинной причиной была глубокая озабоченность американского руководства послевоенным возвышением СССР, появлением сопоставимой мировой державы, к тому же представлявшей альтернативную модель развития[2]. Как пишет историк-американист В.Л. Мальков, Соединенные Штаты оказались перед очень серьезной дилеммой: сохранить ли тесные партнерские отношения с Советским Союзом (тем самым добровольно соглашаясь с уравнением в правах с советской сверхдержавой) или, опираясь на экономическое и военное (ядерное) превосходство, постепенно от-

[1] *Gaddis J.L.* Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy. NY, Oxford University Press, 1982.

[2] См. *Gaddis J.L.* The Cold War: a New History. Penguin Press, 2005.

воевать геополитическое пространство, оказавшееся под контролем СССР[1].

Почему США в начале «холодной войны» не вступали в серьезные переговоры с СССР и даже и не рассматривали такую возможность всерьез? Этим вопросом задается представитель нового поколения американских историков «холодной войны» Фредрик Лоугволл в своей статье «Критика доктрины «сдерживания»[2]. На первое место он поставил морализм, убеждение в «американской исключительности» и мессианском комплексе превосходства. Согласно Лоугволлу, американская политика строилась на убеждении, что «Америка представляет собой высшую форму цивилизации, светоч надежды для всего человечества».

Отсюда вытекала и склонность к демонизации противника, выражением чего стала антикоммунистическая истерия и паранойяльный страх «советской угрозы»[3].

Холодная война – это прежде всего война психологическая и информационная, важным элементом которой был образ врага, в основных своих чертах сложившийся в первое послевоенное десятилетие (1945–1954 гг.)[4]. К концу 1954 г. образ врага приобрел то содержание и формы, которые сохранились вплоть до современности. А.В. Фатеев в своей фундаментальной монографии[5] описывает принцип зеркальности создания образа врага в СССР и США и предлагает выделить в процессе его формирования четыре этапа, которые отражают основные направления внутренней и внешней политики сверхдержав после войны. 1. Возникновение образа врага (1946–1947 гг.): от победы в войне и Фултона до плана Маршалла. 2. Кристаллизация образа врага (1948–1953): от создания Бизонии/Тризонии и Берлинского кризиса (1948) до смерти Сталина и конца маккартизма.

---

1 *Мальков В.Л.* «Манхэттенский проект»: разведка и дипломатия. [Атом. секреты начала холодной войны]. М., Наука, 1995.

2 *Logevall F.* A Critique of Containment. Diplomatic History, Vol 28, issue 4, September 2004. P. 473-499.

3 *Hamby A.L.* Red Spies Everywhere // Diplomatic History, Vol. 30, issue 3, January 2008. P. 565-570.

4 См. напр. известную монографию Лайнбарджер П. Психологическая война. М., 1962.

5 *Фатеев А.В.* Образ врага в советской пропаганде 1945–1954 г. М., Институт российской истории РАН, 1999.

3. Эскалация психологической войны и стабилизация образа врага (1954–1961): от разрядки международной напряженности в 1954 г. до избрания Джона Кеннеди. 4. Современный образ врага (1962–1988): от Карибского кризиса до «Горбачев-бума» и окончания холодной войны.

Образ врага также можно разделить на два типа: внутренний враг и внешний враг. Становление образа внутреннего врага связано, прежде всего, с «охотой на ведьм» 1950–1953 гг., когда под влиянием «красной истерии» начинается беспрецедентное для США преследование инакомыслящих. Но все же главная форма образа врага в годы холодной войны – враг внешний: «советский коммунизм», «большевизм», олицетворявший все ужасы тоталитарного и агрессивного строя. Как показывает интересный анализ этой проблемы, проведенный Р. Робином[1], для работы над созданием образа «врага» привлекались ведущие специалисты – психологи, социологи, кинорежиссеры и, разумеется, военные специалисты.

Содержание образа советского врага составил ряд устойчивых мифов и традиционных предрассудков. Представление о русском как «чужом», сложившееся еще с XVIII века, было снова востребован в годы холодной войны для создания образа врага: русские как «не-европейцы», Россия как государство геополитически, исторически и культурно не принадлежавшее западному миру («варварство и Восток»). На основе этих стереотипов производится демонизация и, в конечном итоге, дегуманизация врага, который становится недочеловеком или даже нечеловеком. Кроме того, образ врага также начинает приобретать космические масштабы, возможности его начинают восприниматься как почти беспредельные. Он воплощает мировое зло, а потому проникает везде и всюду («мировой коммунистический заговор»).

8 марта 1983 года Р. Рейган в речи перед Национальной ассоциацией евангелистов ввел в оборот политическое клише «империя зла» (Evil empire)[2]. Этот образ, восходящий к библейским «Гогу и Магогу», в эсхатологических представлениях диспенсациалистов еще с XIX века связывался с Россией: в годы Крымской войны евангелист

[1] См. *Robin R.* The Making of the Cold War Enemy: Culture and Politics in the Military Intellectual Complex. Princeton University Press, 2003.

[2] См. напр. *Яковлев А.Н.* От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного века. М., 1984.

Джон Камминг отождествил Николая I с царем Гогом. В своей речи Рейган суммировал основные составляющие мифа «империи зла»: СССР – тоталитарное государство, где отсутствуют основные свободы – религиозная, слова, печати и т.д.; это общество атеистического коммунизма и принципиального аморализма.

«Русский дневник» Стейнбека: образ врага и его демонтаж

Джон Стейнбек и фотограф Роберт Капа были командированы в Советский Союз от «Gerald Trubune» с заданием сделать репортаж с фотографиями о Советском Союзе. Они посетили СССР летом 1947 года. Это был поворотный исторический момент: всего два года назад окончилась Вторая мировая война, и воспоминания о союзнических отношениях были еще живы. Однако вчерашние союзники уже превратились в противников – начиналась холодная война.

С самого начала Стейнбек устраивает настоящий «парад стереотипов», показывая уже бытующие предрассудки, на основе которых и конституируется «образ врага». Путешественники выслушивали советы и предостережения от людей, которые никогда не были в России, но при этом твердо знали, что Россия это страна, где иностранцы «пропадают без вести», едва успев пересечь границу; там всех «сажают в ужасную тюрьму и пытают», «выкручивают руки и морят голодом». Некоторые то ли в шутку, то ли всерьез предлагали «взять с собой парочку бомб и сбросить на этих красных сволочей» [1].

Все эти предположения, как известно, имели под собой какое-то основание. Слухи о тайных расправах, исчезновении людей, о лагерях и тюрьмах сталинской России, как и сведения о послевоенном голоде и разрухе достигали Соединенных Штатов. Вероятно, современному читателю эти представления о тогдашней России не кажутся столь уж дикими и нелепыми, однако автор «Русского дневника» юмористически изображает слухи о России, продиктованные страхом и незнанием: «Получив всю эту информацию, мы пришли к заключению, что в мире сэра Стереотипа ничего не изменилось, что многие верят в двухголовых людей и летающих драконов... Нам кажется, что самая опасная тенденция в мире – это готовность скорее поверить слуху,

[1] *Стейнбек Дж.* Русский дневник. М., Мысль. 1989. Пер. Е.Р. Рождественской. С. 11. Далее по тексту все цитаты приводятся из этого издания.

нежели удостовериться в факте» (С.11). Стейнбек даже ставит юмористический «диагноз», описывая болезнь, порожденную холодной войной – «острый московитис» – состояние, при котором «человек готов поверить в любой абсурд, отбросив очевидные факты». Образ врага отличается свойством зеркальности: «Со временем, конечно, мы убедились, что русские в свою очередь больны вашингтонитисом, аналогичным заболеванием. Мы обнаружили, что, в то время как мы изображаем русских с хвостами и рогами, русские в свою очередь так же изображают нас» (С. 11).

Книга Стейнбека получилась добродушной, юмористической и в целом доброжелательной. Он настроен не на критику, а на приятие и понимание. Так, например, отмечая различия между русским и американским характером, он стремится подыскать удовлетворительное объяснение всему непонятному и чуждому. Говоря, что русские, особенно москвичи необщительны, слишком серьезны, он делает вывод: очевидно, это из-за бытовых трудностей и тяжелой работы. Стремление оставаться доброжелательным наблюдателем приводит Стейнбека к объяснительно-оправдательной стратегии. Довольно часто американский гость принимает за чистую монету фасады предъявляемых ему потемкинских деревень. Приводя описания «лукулловых пиров» в российских и украинских колхозах, обильных застольев в Грузии, продуктового изобилия в больших центральных магазинах Москвы, Стейнбек не пишет о том, какая нищета и голод скрывались за этими пышными приемами. Однако горы деликатесов в Елисеевском магазине не мешают американцам заметить, что рядовых покупателей больше занимают простые товары – хлеб, капуста, картошка, а торговля ведется по продовольственным карточкам.

Немалое место в книге отведено бытовым неудобствам, ужасам советского быта. Однако дефицит, отсутствие комфорта изображаются автором с юмором, без злобы или возмущения – он постоянно помнит о том, что находится в стране, разоренной страшной войной. Описывает ли Стейнбек безвкусную обстановку гостиницы, щербатую ванную, в которой приходится мыться в белье, чтобы не оцарапать кожу, – все завершается юмористическим «снятием напряжения» или указанием на какие-либо достоинства, хотя бы отчасти уравновешивающие изъяны. Так, например, после описания «непроницаемых водостоков» и вечно текущих кранов, он дает по-американски практичный рецепт: «Поменяйте весь процесс: поставьте краны на место водостоков, а водостоки на место кранов – и вопрос будет решен» (С. 23).

Стейнбек употребляет приемы комического и при описании советской бюрократии – однако это уже не добродушный юмор, а ирония или сарказм. Бюрократия – серьезный дефект государственной системы, и терпимость здесь неуместна. Такие проявления абсурда, как цензура, запрет на свободное перемещение по стране для иностранцев, ограничение контактов русских с иностранцами, запрет на браки с иностранцами, Стейнбек списывает на холодную войну. По его мнению, в Америке немало схожих проявлений русофобии. Однако несмотря на холодную войну, все увиденное побуждает Стейнбека сделать вывод, который до него неоднократно делали американские путешественникиXVIII-XIX веков – «Россия не слишком приветлива к иностранцам» (С. 34).

Прямой критики в репортаже Стейнбека немного. Примером может послужить рассказ о посещении музея Ленина. Американского гостя удивляет полное отсутствие каких-либо упоминаний о Троцком: «Троцкий, как учит русская история, перестал существовать и вообще никогда не существовал... Это та история, которую хотелось бы иметь, а не та, которая была на самом деле» (С. 33). Культ Сталина вызывает у американцев непреодолимое отвращение. Пытаясь разобраться в этом непостижимом и пугающем явлении российской жизни, Стейнбек выдвигает разные варианты объяснений. Первое объяснение: преклонение перед Сталиным – это «родимое пятно» долгих веков царизма. Второе объяснение апеллирует к свойствам «русской души» с ее наклонностью к религиозности и мистицизму: поклонение изображениям Сталина сравнимо с поклонением иконе. Так или иначе, отношение к сакрализации власти у американца однозначно: «Концентрация власти в руках одного человека и его увековечение внушают американцам чувство неприязни и страха, им это чуждо и ненавистно» (С. 42).

Именно здесь, по мнению Стейнбека – глубинная причина противостояния и начала идеологической войны.

О царящей в сталинской России шпиономании Стейнбек также повествует юмористически. Это – явление знакомое автору по Америке, где уже близилась эпоха «охоты на ведьм» и всюду отыскивались коммунистические лазутчики, так что шпиономанию писатель воспринимает как стереотип холодной войны. К знакомым проявлением холодной войны относится и страх вооруженной агрессии со стороны американцев – точно также и американцы боятся советской военной угрозы. Стейнбек отмечает феномен зеркальной ситуации,

сложившейся в обеих странах. Однако если американский страх советской угрозы кажется Стейнбеку абсурдным, то беспокойство русских насчет возможной войны с США вызывает скорее сочувствие: русский народ только что пережил ужасы нацистской оккупации. Одна из самых ярких глав (глава 6) «Русского дневника» посвящена Сталинграду – описания разрушенного города, людей, живущих в подвалах собственных домов, их самоотверженного труда не могут оставить читателя равнодушным. Заключительные абзацы «Русского дневника» суммируют сверхзадачу книги – стремление противостоять стереотипам холодной войны и дегуманизации образа идеологического противника. Автор при этом исходит из соображений гуманизма, утверждая общность человеческой природы независимо от национальных, классовых, культурных различий. Апелляция к безусловным вечным гуманистическим ценностям, к единству человеческой природы («биология против идеологии») с этих пор всегда использовалась американскими авторами, выступавших против засилья стереотипов и образа врага.

Сол Беллоу: левый интеллектуал в годы холодной войны.

Классик литературы США XX века Сол Беллоу (1915–2005) происходил из еврейской семьи, которая в 1913 году эмигрировала из Петербурга в Новый Свет. «Русские корни», причастность к еврейской или славянской культуре всегда была значимой составляющей как самосознания писателя так и его художественного мира. Сол Беллоу неоднократно подчеркивал, что философичностью и вниманием к нравственным вопросам его проза обязана традициям русской литературы XIX века. Говоря о «русском контексте» Беллоу нельзя не упомянуть о рассыпанных на страницах его романов и рассказов упоминаниях и ссылках на русскую культуру. Прежде всего, это касается его вершинного произведения – романа «Герцог»[1]. Американский критик А. Лелчук назвал это произведение «величайшим романом со времен Второй мировой войны, произведением, по-русски глубоким». Оно написано писателем, «натура которого широка, сердце великодушно, как у Чехова»[2]. «От русских, от Достоевского (в част-

[1] *Bellow S.* Herzog. N.Y., Viking Press, 1964. Рус. пер.: *Беллоу С.* Герцог // Джон Апдайк «Кентавр», Сол Беллоу «Герцог». М., АСТ, 2003. Далее все цитаты приводятся их этого издания.

[2] *Лелчук А.* Памяти Сола Беллоу // Иностранная литература. 2005, № 5.

ности, из «Записок из подполья») он воспринял идею, что человек – не инструмент, на котором можно играть, нет, ему дана внутренняя свобода, право выбора всегда остается за ним»[1]. Главный герой Мозес Елкана Герцог, как и сам автор, происходит из семьи русских евреев, эмигрировавших после революции в США. Немалое место в романе занимают детские воспоминания Мозеса Герцога, рассказ о его семье и близких, в которых постоянно возникает тема Российской империи и русской революции. Отец героя, Джона (Иона) Герцог привез в Америку остатки былой петербургской роскоши – полотняную спальную рубаху с плиссированной грудью. Однако райская жизнь еврея-предпринимателя в царской России – «стране черты оседлости» – не могла продолжаться долго. В Петербурге он жил по подложным документам, и после «десяти лет призрачного счастья» попал в тюрьму с уголовниками.

Образ России возникает в романе и в связи с женой Герцога, «недоучившейся слависткой» и новообращенной католичкой Маделин. Истерическая особа, склонная к демонстрациям, скандалам и демаршам, Маделин подвергает своего мужа изощренным духовным пыткам, что дает Герцогу повод порассуждать об антагонизме русского и еврейского духа. Для описаний комплекса палача-жертвы, который довлеет в отношениях Герцога с женой, используется тема русского «погромного антисемитизма». В припадке раздражения Мозес обвиняет свою жену в солидарности с русскими антисемитами: «Она оттородилась стеной из русских книг. Владимир Киевский, Тихон Задонский. В моей постели! Мало они травили моих предков!» (с. 336).

Однако позже, оставшись один после измены и ухода Маделин, герцог обнаруживает в чулане десяток русских книг, среди которых философы Серебряного века – Шестов, Розанов. Под влиянием прочитанного, Герцог пишет Розанову письмо, делясь с ним сокровенными мыслями о том, что двадцатый век – эпоха, когда экзистенциальную истину можно открыть только в частной жизни, в жизни души.

«Дорогой Розанов! <...> Громовая истина, которую вы высказываете и какой не говорил еще никто из пророков, это – частная жизнь выше всего. Это – общее религии. Правда выше солнца. Душа есть страсть. «Аз есмь огонь поядающий». <...> Бог всего меня по-

---

С. 213, 217.

[1] Там же. С. 216. О Беллоу и Достоевском см. Fuchs D. Saul Bellow and the Example of Dostoevsky. N.Y., 1986. P. 211-233.

золотил. Чувствую это... Боже, до чего чувствую». (С. 617-618)

Так «работает» у Беллоу двойственный образ России – утраченный эдем и страна «черты оседлости», родина высокой духовной культуры, глубокой религиозности, святости – и родина «погромного антисемитизма». Есть у России и третий лик – революция, большевизм, марксизм. В катаклизме 1917 года сгинула прежняя Россия, были исковерканы судьбы людей, многие пропали без вести.

В романе содержатся многочисленные указания на реалии холодной войны. Это, прежде всего, страх ядерной войны – дамоклов меч, под которым выросло целое поколение американцев: «Давайте все накроемся саваном и двинемся на Вашингтон и Москву. Давайте все ляжем – мужчины, женщины и дети – и станем кричать: «Пусть продолжится жизнь, может, мы ее не заслуживаем, но пусть она продолжится!» (С. 327)

В своем эссе «Американские интеллектуалы в эпоху холодной войны»[1] Беллоу вспоминает о своем детстве, которое было тесно связано с Россией: Беллоу и его одноклассники, дети чикагских эмигрантов, сохраняли ощущение «русскости» – изучая в школе Шекспира, они одновременно читали Достоевского и Толстого, «Государство и революцию» Ленина и памфлеты Троцкого.

Левые взгляды были характерны для эмигрантов во втором поколении. Для их родителей большевистская Россия была проклятым местом, где погибли или пропали друзья и родные. Однако молодое поколение ощущало «магнетизм революции»: «...для миллионов молодых людей Октябрьская революция превратилась в символ недостижимой свободы и справедливости»[2]. Беллоу описывает умонастроения, характерные для молодежи «красных тридцатых» – сам будущий писатель, как и его сверстники, «запоем читал о прибавочной стоимости», а в колледже стал троцкистом.

Совсем иное отношение было к Сталину – оно было сформировано статьями и памфлетами Троцкого. Реальность сталинизма стала первым шагом к разочарованию в русской революции, которое наступило вместе с концом «красных тридцатых». Так постепенно Беллоу приходит к отказу от «левизны». Он лапидарно, но убедительно объ-

---

[1] *Bellow S.* Intellectuals in the period of the Cold War. Public Lecture at Collegium Budapest. Рус. пер. – Беллоу С. «Писатели, интеллектуалы, политики: воспоминания о главном». Пер. с англ. М. Штейнман. – «Иностранная литература», 2005, № 12. С. 191-205.

[2] Там же. С. 129.

ясняет свою антисоветскую позицию в годы холодной войны: цели, которых стремилась достичь Октябрьская революция, так и не нашли в России воплощения. Россия более семидесяти лет жила при Сталине, типичном восточном деспоте. Беллоу пишет об уничтожении цвета российской культуры, о страшной судьбе писателей, выступавших против тоталитаризма – Солженицына, Шаламова и польского поэта Александра Вата. Вместе с тем, говоря о русских, польских и еврейских писателях, которые прошли через сталинские тюрьмы и гитлеровские концлагеря, Беллоу припоминает Достоевского с его «Записками из Мертвого дома» и утверждает, что в России издавна существует традиция мученичества, «шкала страданий, где на вершине – концлагеря». Это свойство «русской души», познавшей последние глубины страдания, позволяет ей игнорировать «бесполезные теории» и отличать «липу» от истины».

Сейчас времена изменились. В начале XXI века «восточный деспотизм» России и героическая борьба против него уходят в прошлое. Беллоу оптимистически заключает, что теперь, после окончания холодной войны, Россия, «практически окончившая с гнетом тирании и лишений» наконец имеет шанс «повернуться лицом к свободному рынку и стать союзом свободно торгующих республик»[1]. Тогда ее ждет мирная интеграция в «дивный новый мир» США (Запада).

Нон-конформист и антикоммунист: русская тема у Джека Керуака

В начале романа Джека Керуака «Ангелы одиночества» (1965)[2] рассказчик, повествующий о своей уединенной жизни на Пике Одиночества, внезапно погружает читателя в атмосферу холодной войны: «У меня есть книга воспоминаний бывших коммунистов, которые отказались от своих убеждений, поняв звериную сущность тоталитаризма, она называется «Рухнувший идол»... и мысль об этом мире вгоняет меня в депрессию (О что же это за мир, мир в котором дружбы сменяются самой черной ненавистью, люди борются за то, чтобы было за что бороться, и так везде, везде...) Мир всех этих ГПУ, шпионов и диктаторов, и чисток, и полуночных убийств...»[3]

---

1 Там же. С. 204, 205.

2 *Kerouac* J. Desolation Angels. N.Y., Coward McCann, 1965.

3 *Керуак Дж.* Ангелы одиночества. Пер. с англ. М.Шараева // Керуак Дж.

Эти «мрачные размышления «о всех Россиях и планах убийства душ целых народов»[1] удивительно созвучны высказываниям С. Беллоу – хотя во всем остальном между этими авторами крайнемало общего. Впрочем, есть и еще одна точка сходства – убеждение, что им выпало счастье жить в лучшей стране мира – Америке, противостоящей угрозе коммунистического тоталитаризма: «...я почувствовал, что «Америка свободна как этот дикий ветер снаружи, все еще свободна, свободна как в те времена, когда у этой границы еще не было имени Канада <...> и до Сибири миллионы миль и Америка все еще та же добрая, старая страна»[2].

Очевидно, что это сходство вызвано тем, что в сознании обоих авторов запечатлелись широко бытующие представления и стереотипы эпохи холодной войны. Однако если Беллоу стремится подвергать свои убеждения рефлексии, Керуак выражает эти стереотипы как феномены «коллективного бессознательного»; не случайно его образы нередко напоминают образы и сюжеты продуктов массовой культуры: «Скоро возникнет новый вид убийцы, который станет убивать без всякой причины <...> Церкви падут, монгольские орды помочатся на карту Запада, короли-дегенераты будут рыгать на костях и всем будет наплевать когда земля сама превратится в атомную пыль»[3]. Этот пассаж вызывает в памяти фильмы о «коммунистическом нашествии» вроде «Красного рассвета». Здесь в концентрированном виде выражены столь характерные для поколения 1950 – 1960-х годов навязчивые страхи – красной агрессии, ядерной войны.

Известно, что «король битников», нон-конформист, отрицавший ценности «тучных пятидесятых», по воспоминаниям близких знакомых, отличался «истерическим страхом» перед коммунизмом и «русской угрозой». Керуак верил в мировой коммунистический заговор, во всепроникающую сеть «красных агентов». Этот страх порой принимал «паранойяльную форму»[4]. Свидетельства очевидцев находят

Подземные. Ангелы одиночества М.: Просодия, 2002. С. 172. Далее все цитаты приводятся из этого издания.

1 Там же.

2 Там же.

3 Там же. С. 231.

4 См. напр.: *Nicosia, G.* Memory Babe: a Critical Biography of Jack Kerouac. N.Y. 1983. P. 457; Tytell, J. Naked Angels. The Lives and Literature of the Beat Generation. N.Y., 1973.

подтверждение и в текстах Керуака. Так, например, в романе «Биг Сур» (1962) автобиографичный повествователь описывает нахлынувший на него приступ такой «паранойяльной подозрительности»: ему чудится, что окружающие его приятели жаждут его смерти. Герой жалуется на то, что в мозгу у него включается радио, его мучает «жаргон громких сообщений» и «спор церебральных комитетов». Это состояние безумия, одержимости «чужими мыслями» ярко передает психологический прессинг эпохи холодной войны.

Одновременно со штампами, порожденными холодной войной и «охотой на ведьм», в сознании Керуака присутствует и другой образ России, связанный с ее литературой и культурой, с «загадочной русской душой». «Русский» возникает здесь как специфический вариант экзотического другого. «Русский» обычно означает у Керуака «эксцентричный», «безумный», «иррациональный», «аномальный», словом, нон-конформистский; в этих случаях мы обнаруживаем безусловно положительные коннотации. Эти русские «аномалии», странности и причуды подаются как проявления «загадочной русский души». «Русская душа» обнаруживается у «русских братьев Дарловски», в особенности у Саймона Дарловски – «белокурого парнишки русских кровей»[1]. У него «чистокровная русская голова» (323), с ним случаются приступы «причудливой русской эксцентричности» (437): «Иногда на него находила тоска и «во время этих шизофренических приступов он избегал людей и сидел у себя в комнате, ничего не делая» (говорю вам, это были настоящие русские братья!)» (С. 424). «Русская душа» связана с экзотической русской православной верой и вообще со всеми глубокими и нон-конформистскими формами духовности. Взбалмошный поэт Рафаэль (Лоуренс Ферлингетти) мечтает: «Ах, если бы я жил в России на хорах древней церкви, слагая гимны на органе!» (440). Ирвин Гарден (Ален Гинзберг) предстает в образе «большого бородатого Константинопольского Патриарха, вышедшего из мрачных русских глубин» (297).

В текстах Керуака часто можно встретить отсылки к русской литературе XIX века, прежде всего к Чехову и Достоевскому, и при всей краткости этих упоминаний, они всегда эмоционально заряжены и образны. Так, например, герои едут в автомобиле в веселом настроении, потом внезапно их беседа смолкает, словно «чеховский ангел тишины

[1] *Керуак Дж.* Ангелы одиночества. С 178, 419. Саймон Дарловски – поэт-битник Питер Орловски, русский по происхождению, был пятым ребенком в семье и имел двух психически нездоровых братьев.

и печали пролетел над нашей машиной» (с. 259). Описывая неудачный поиск работы, Керуак иронически замечает: «Я даже зашел в бюро по трудоустройству, и вышел оттуда, словно персонаж Достоевского» (с. 565). С персонажами Достоевского – писателя, раскрывшего всему миру глубины русской души – Керуак сравнивает своего друга поэта Питера Орловски (Саймона Дарловски): «Саймон, настоящий русский, хочет, чтобы весь мир преисполнился любви, возможно он потомок безумных Ипполитов и Кирилловых Достоевского из царской России XIX века. Он даже выглядит похожим на них <...> Саймон Дарловский, Русский Псих» (320–321).

Как русские Чехова и Достоевского, Дарловски возвышен и непрактичен, он «страдает за все человечество». Прочитав «Сон смешного человека», Саймон переживает озарение: «...любовь возможна в чертогах сердца, моего...понимаешь, я увидел проблеск жизни, наполненной любовью, такой же, как мощный свет любви, который Достоевский видел в своей темнице, и у меня слезы на глаза навернулись, когда в сердце своем я смог подняться до этого блаженства, понимаешь, а потом у Достоевского был сон, понимаешь, он пред сном положил в ящик стола пистолет, чтобы проснуться и застрелиться... но ощутил искреннее и острое желание любить и молиться – да Молиться – так он сказал – «Жить и Молиться за Истину Которую Я Знаю Хорошо» (С. 318).

Образ России у Керуака двойствен и даже тройствен: 1. «Красная Россия» – СССР, оплот зловещих коммунистов, плетущих мировой заговор; 2. Мистическая Россия – страна великих писателей, «русской души» и духовной культуры; 3. Экзотическая Россия, духовная родина нон-конформистов, бунтарей и эксцентриков. Подобное «двоение» образа России, возникшее после Октябрьской революции во многом благодаря общению американцев с русскими эмигрантами, сохраняется в годы холодной войны и доживает до настоящего времени.

Кризис советологии: ревизия холодной войны, «Горбачев-бум» и «перестройка»

Конец холодной войны стал серьезным вызовом для американской советологии[1]. Комплексные исследования СССР приобрели колос-

[1] Обзору американской советологии посвящены работы Е.В. Лаптевой: Американское россиеведение: образ России. Екатеринбург, Изд-во Урал. гос. ун-та ; Пермь, Перм. гос. пед. ун-т, 2004; Американское россиеведе-

сальный размах и авторитет в годы холодной войны, ведь изучение противника стало одной из приоритетных задач в годы великого противостояния. Распад советского блока и СССР стал для советологии неожиданностью – и уже на рубеже 1980-1990-х начинается не только анализ этих кардинальных перемен, но и попытки пересмотреть прежние представления об СССР. Почему многочисленная армия советологов не смогла предвидеть близящегося конца холодной войны? Этим вопросом задавались в США и СМИ, и публицисты, и ученые. Коллективный труд «Переосмысление холодной войны»[1] стало своего рода «суммой» разнообразных исследований, авторы которых в течение десяти лет стремились отыскать причины досадной «слепоты» американских советологов, развенчать «мифы о холодной войне» и скорректировать образ СССР, который сложился за годы противостояния великих держав.

В статье «Конец холодной войны»[2] Майкл Кокс приводит список «ошибок» советологии и утверждает, что к искажению перспективы приводили, во-первых, мифы, возникавшие в ходе холодной войны, и во-вторых, проекция американских реалий на СССР («американизированное видение»). Прежде всего, это неадекватные представления о могуществе СССР и о той степени опасности, которую он может представлять для США. По мнению Дж.Л. Гэддиса[3], во второй половине 1940-х годов взгляд на СССР был еще вполне реалистическим: Дж.Ф. Кеннан в своей «длиной телеграмме» отмечал, что Советский Союз по определению слабее Америки. Однако в 1950-х-1960-х в силу ряда причин (появление у СССР ядерного оружия, революция в Китае, события в Корее, Карибский кризис и пр.) возникла тенденция к «чрезмерному преувеличению советской угрозы». Все это привело к неспособности вовремя предвидеть конец холодной войны, считает Дж.Л. Гэддис[4].

В этих условиях советология сделала целый ряд ошибочных предположений и выводов. В том, что касается внешней политики, счита-

---

ние 1970–2000 гг.: характерные черты социокультурных исследований : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Тюмень, Тюмен. гос. ун-т, 2005.

1 Re-thinking the Cold War. Ed. A.Hunter. Philadelphia, Temple University Press, 1998.

2 *Cox M.* The End of the Cold War // Re-thinking the Cold War. P. 157-192.

3 *Gaddis J.L.* The Cold War: A New History. Penguin Books, 2005.

4 *Gaddis J.L.* The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations. N.Y., Oxford University Press, 1992.

лось, что СССР непременно будет и далее расширять сферу своего влияния, поскольку его естественными союзниками являются страны третьего мира, сочувствующие антикапиталистической идеологии. При этом не принимались во внимание другие факты, как то: Москва всегда действовала взвешенно и осторожно; были случаи односторонних уступок со стороны СССР[1]. Анализируя внутреннюю ситуацию в СССР, советология делала акцент на тоталитарном советском строе, полагая, что в СССР «люди могли недовольно бурчать, интеллигенция – жаловаться, но безраздельное господство спецслужб и разобщенность населения никогда бы не позволили проявиться противоречиям и недовольству»[2]. В итоге налицо была недооценка дестабилизирующих факторов внутри страны. Иллюзия стабильности и мощи врага не позволяла увидеть, что в республиках нарастали центробежные тенденции.

Анализируя советскую экономику, «большинство западных экономистов признавало, что плановая экономика уступает рыночной; что к началу 1980-х годов советская экономика переживала значительные трудности. Но почти никто не верил, что эти все возраставшие проблемы могут привести к распаду. Многие ученые-советологи верили в возможность проведения эффективных реформ[3], в то, что руководству СССР удастся отыскать «третий путь» и миновать «Сциллу авторитаризма» и «Харибду свободного рынка»[4]. Любопытно, что точный прогноз распада СССР в силу экономических причин сделали не советологи, а некоторые историки, как, например, Пол Кеннеди, занимавшийся сравнительным изучением великих империй и указавший на признаки скорого экономического упадка и разрушения СССР[5].

Исследования социальной сферы либо акцентировали жесткий тоталитаризм, который консервирует советскую модель, беспощадно подавляя всякое недовольство[6], либо, напротив, «американизирова-

---

1 См. напр. *MacAuley M.* Soviet Politics: 1917–1991. N.Y., Oxford University Press, 1991.

2 *Cox M.* The End of the Cold War. P. 163.

3 *Colton T.* The Dilemma of Reform in the Soviet Union. N.Y., Council on Foreign Relations, 1984.

4 См. напр. T*icktin H.* Origins of the Crisis in the USSR: Essays on the Political Economy of a Disintegrating System. N.Y., M.E.Sharpe, 1992.

5 См. напр. *Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London, Fontana Press, 1989.

6 См. *Shapiro L.* Totalitarianism. London, MacMillan, 1979.

ли» положение внутри страны, предполагая наличие «общественного договора» между руководством и народом: в обмен на молчаливую покорность предлагались всеобщая занятость, бесплатные медицина и образование, гарантированный минимум жизненных благ[1]. Кроме того, предполагалось, что подавляющее большинство советских людей разделяет официальную идеологию, что также обеспечивает внутреннюю стабильность[2]. Таким образом, «Советский Союз рисовался гораздо менее отталкивающим, чем он был в реальности; кроме того, многие, изучавшие СССР приходили к казавшемуся закономерным выводу об относительной стабильности советской системы»[3].

Поначалу в США допустили ошибки в оценке «фактора Горбачева» и горбачевских реформ. Вначале (в 1987 году) советологи заняли осторожную позицию, полагая, что в конце концов, Горбачеву, как и его предшественникам, придется принять экономическую модель, которая основана главным образом на эксплуатации природных богатств страны, а не на развитии творческого потенциала[4]. Но уже с 1988 года «эра Горбачева» стала восприниматься в США как «новый золотой век России», энергичный лидер-реформатор казался современным гибридом Петра Великого и Сталина; предполагалось, что «мир станет безопаснее, если у Горбачева получится провести задуманные им реформы»[5]. «Горби-мания» рубежа 1980–1990-х охватила не только советологов; постепенно она распространилась и в СМИ, проникла в массовое сознание, и в первую очередь, в среду интеллигенции и студентов. «Впервые за много лет внимание всего западного мира оказалось приковано к Советскому Союзу <...> Как минимум до конца 1989 года в глазах большинства американцев, в том числе и экспертов, Горбачев был почти героем... В течение двух-трех лет в Аме-

---

1 См. *Fainsod M.* How the Soviet Union is Governed. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1979.

2 См. влиятельную среди американских советологов работу Lane D. Politics and Society in the USSR. London, Weidenfield & Nicholson, 1970; его же The End of Inequlity? Stratification Under State Socialism. London, Hammondsworth, Penguin Books, 1971.

3 *Cox M.* The End of the Cold War. P. 165.

4 См. *Goldman M.I.* Gorbachev's Challenge: Economic Reform in the Age of High Technology. N.Y., 1987.

5 *Aslund A.* Gorbachev's Struggle for Economic Reform. London, Pitner, 1989. P. 195.

рике было просто не принято отрицательно отзываться о Горбачеве»[1]. Это время было отмечено усилением позиций левых сил в политике и в научной мысли.

Параллельно с анализом «промахов советологии», совершается пересмотр прежних представлений о холодной войне. Разоблачаются многочисленные «мифы», в первую очередь, о том, что холодная война сдерживала агрессивные устремления обеих сверхдержав, что гонка вооружений исключала применение ядерного оружия, что биполярный мир обеспечивал стабильность и мирное сосуществование[2]. Чарльз У. Кегли также отмечает насущную необходимость развенчания мифа о том, что «США обеспечивали мир»: достигнув гегемонии, США начали действовать, как «мировой жандарм, выстроив концепцию Pax Americana и объявив о начале «века Америки». Американское мировое господство представляет собой экономический империализм и долларовую дипломатию. <...> Бесспорно, усиленные попытки Америки сохранить нужный ей порядок и расстановку сил были разрушительны и никоим образом не обеспечивали мира, процветания и демократии в тех странах, которые стали жертвами американского вмешательства. <...> Всерьез предполагать, что США в одиночку способны обеспечить мир, можно только в фантастическом романе»[3].

1990-е: Россия в новом мировом порядке

По окончании холодной войны предпринимаются многочисленные попытки предугадать, каков будет новый геополитический баланс сил в мире. Место и роль России (как и США) в складывающемся новом мировом порядке видится американским политологам по-разному. В настоящем параграфе мы обратимся к трем моделям будущего мироустройства, предложенным крупнейшими американскими политологами, и попытаемся проанализировать, какая роль в каждом случае отводится России.

---

1 *Cox M.* The End of the Cold War. P. 168.

2 См. напр.: *Kegley Ch.W. Jr., Blanton Sh.L.* Mythmaking about the Character of the Cold War // Re-thinking the Cold War. P. 175-191.

3 Там же. P. 185.

О.Ю. Панова

Россия – «черная дыра»: Збигнев Бжезинский

Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский, известный своей пропагандой мировой гегемонии США, стал одним из главных разработчиков модели униполярного мира, которая должна утвердиться после победы Запада в холодной войне. Самое известное сочинение Бжезинского, посвященное этой теме – «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы»[1] (1997).

Для США, обоснованно претендующих на всемирную гегемонию, главным «геополитическим призом» становится Евразия: именно она в настоящий момент является «большой шахматной доской», на которой продолжается борьба за мировое господство. Полвека холодной войны были эпохой двухполюсной американо-советской борьбы за мировое господство. «В некоторых аспектах соперничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом представляло собой осуществление излюбленных теорий геополитиков: оно противопоставляло ведущую в мире военно-морскую державу... крупнейшей в мире сухопутной державе, занимавшей большую часть евразийских земель» (с. 16).

По мнению автора, советская военная мощь и страх, который она внушала представителям Запада, в течение длительного времени скрывали существенную асимметрию между соперниками. Америка была гораздо богаче, гораздо дальше ушла в области развития технологий и в военной сфере, и, кроме того, была «более созидательной и привлекательной в социальном отношении» (с. 19). Говоря о слабости «советского блока», Бжезинский отмечает «неестественность» и историческую неоправданность гегемонии России в Центральной и Восточной Европе, а в качестве дополнительного аргумента выдвигает стереотип об «отсталости России» по сравнению с центральноевропейскими народами: «Америка широко воспринималась как представитель будущего, как общество, заслуживающее восхищения и достойное подражания. <...> И наоборот, Россия в культурном отношении вызывала презрение со стороны большинства своих вассалов в Центральной Европе» (с. 19). Россия стоит на одном уровне развития с «варварскими» ази-

[1] *Brzezinki Z.* The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. N.Y., Basic Books, 1997. Рус. пер.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. Пер. с англ. О.Ю.Уральской. М., Международные отношения, 1998. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

атскими и кавказскими народностями: по словам Бжезинского, внутри самого Советского Союза половина его населения, не принадлежавшего к русской нации, также отвергала «господство Москвы».

Развал многовековой великой Российской державы стал колоссальным событием в геополитическом плане. Он создал вакуум силы в самом центре Евразии, который Бжезинский называет «черной дырой»: «Распад в конце 1991 года самого крупного по территории государства в мире способствовал образованию «черной дыры» в самом центре Евразии. Это было похоже на то, как если бы центральную и важную в геополитическом смысле часть суши стерли с карты земли» (с. 108).

«Черная дыра» в середине Евразии представляется явлением крайне опасным и дестабилизирующим. Соединенным Штатам необходимо воспользоваться ослаблением и замешательством России, чтобы направить ее на тот путь, которые будет спасительным для самой России и, разумеется, выигрышным для Америки. Миссионерская роль США в отношении России состоит в том, чтобы помочь ей быстрее отречься от своих «геополитических заблуждений». Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком сильна, чтобы быть просто ее сателлитом. Чтобы избежать проблем с Россией (например, ее союза с Китаем и Ираном), Америке необходимо убедить ее, что наилучший выбор – это укрепление связей с «трансатлантической Европой». Россия должна осознать, что лучший выбор для нее – «современная, богатая и демократическая Европа, связанная с Америкой» (с. 143). Для этого необходима историческая и политическая самопереоценка России, проще говоря, – ее «покаяние» и решительное отречение от «имперских амбиций».

«Стержневая страна» «православной цивилизации»: С.Ф. Хантингтон.

Развивая свою концепцию мирового господства Америки, Бжезинский апеллирует к авторитету выдающегося гарвардского политолога Сэмюэля П. Хантингтона. Однако по вопросу о «мировом господстве» знаменитый историк и политолог придерживается совершенно иного мнения, что со всей очевидностью следует из его самой известной работы «Столкновение цивилизаций»[1].

[1] *Hantington S.P.* Clash of Civilizations. Cambridge. (Mass.), Harvard University Press, 1996. Рус. пер. Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. М, АСТ, 2003. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

В первой части своего труда «Мир цивилизаций» Хантингтон полемизирует с распространенным взглядом, согласно которому окончание холодной войны приведет к униполярному миру с гегемонией Запада и мировым господством США. Он разоблачает глобалистскую концепцию «универсальной цивилизации» как «идеологию, принятую Западом для противостояния не-западным культурам» (с. 90-91) и утверждает, что после холодной войны неизбежно должен совершиться переход не к униполярному, но к многополярному, «полицивилизационному» миру.

Концепция Хантингтона, восходящая к шпенглеровскому видению истории, органически чужда мессианскому видению США как особой державы, предназначенной играть роль мирового властелина. Говоря в части второй о «смещающемся балансе цивилизаций», Хантингтон утверждает: на смену искусственному разделению мира времен холодной войны приходит традиционное, исторически и культурно обусловленное цивилизационное разделение, в котором у России появляется новая роль.

В мире неизбежен процесс «индигенизации» – подъем не-западных цивилизаций, отторгающих Запад и его «светскую, релятивистскую, вырождающуюся культуру» (с. 149). Хантингтон перечисляет семь основных цивилизаций, которые складываются в многополярном мире вокруг своих «стержневых стран». С окончанием холодной войны эти цивилизации составят самостоятельные центры силы. В этой схеме России отведено место «стержневой страны» «православной цивилизации», объединяющей Украину, Белоруссию, Молдавию, Сербию, Грецию и другие православные восточноевропейские нации. Но на данный момент Россия входит в число «разорванных стран», и ей предстоит снова обрести свою цивилизационную и культурную идентичность. Хантингтон противопоставляет «расколотые» и «разорванные» страны. «В расколотой стране основные группы из двух или более цивилизаций словно заявляют: “Мы различные народы и принадлежим к различным местам”. Силы отталкивания раскалывают их на части и их притягивают к цивилизационным магнитам других обществ» (с. 209). СССР был расколотой страной, и этим он принципиально отличался от России.

«Разорванная страна, напротив, имеет у себя одну господствующую культуру, которая соотносит ее с одной цивилизацией, но ее лидеры стремятся к другой цивилизации. Они как бы говорят: “Мы один народ и все вместе принадлежим к одному месту, но мы хотим

это место изменить"» (с. 209). Россия стала «разорванной страной» со времен Петра Великого: тогда перед ней встал вопрос – стоит ли ей присоединиться к западной цивилизации или она является осью («стержнем») евразийской православной цивилизации?

Историю отношений России и Запада Хантингтон разделяет на четыре фазы. Во время первой фазы Киевская Русь и Московия существовали отдельно от Запада. Русская цивилизация развивалась как «отпрыск» византийской, а затем ей пришлось перенести татаро-монгольское иго. В этом причина иного исторического опыта России. Тезис об «инаковости» допетровской России сочетается у Хантингтона и с представлением об ее отсталости от Запада: «К концу семнадцатого века Россия не только отличалась от Европы, но отстала от нее, что выяснил Петр Великий во время своего путешествия по Европе в 1697–1698 годах. Он был полон решимости как модернизировать, так и вестернизировать свою страну» (с. 212).

Говоря о второй фазе отношений с Западом, Хантингтон отмечает: Петр не только сделал страну более современной и западной, но, действуя насильственными методами, одновременно усилил азиатские черты России: деспотизм и подавление всех потенциальных источников политического и общественного плюрализма. После реформ Петра общество стало «гибридом»: «...если не считать небольшой элиты, то в российском обществе господствовали азиатские и византийские модели, институты и убеждения, и это воспринималось как должное и европейцами, и россиянами» (с. 213).

Начало третьей фазе взаимоотношений России с Западом положила большевистская революция. «Коммунизм нашел идеальное решение проблемы <...>: революция позволила России перепрыгнуть Запад... Первой осуществив пролетарскую революцию, Россия стала воплощением не отсталого азиатского прошлого, а прогрессивного будущего». (с. 214-215) Парадоксальным образом «коммунизм» позволил советским лидерам отгородиться от Запада, но также создал и тесную связь с Западом. Холодную войну Хантингтон понимает как проявление максимального за всю историю сближения России и Запада: это была политико-идеологическая борьба соперников-близнецов. «Хотя идеологии либеральной демократии и коммунизма значительно различаются, обе партии, в некотором роде, говорили на одном языке» (С. 216). Крах коммунизма и Советского Союза завершил это взаимодействие между Западом и Россией.

Четвертая, современная фаза отношений Запада с Россией связыва-

ется у Хантингтона с дрейфом России в сторону «евразийства» и отдалением ее от Запада. В России с неизбежностью должны возобновиться споры об истинной идентичности: «Нужно ли России перенимать западные ценности, институты, практики и попытаться стать частью Запада? Или Россия воплощает отдельную православную и евразийскую цивилизацию, которая отличается от западной и имеет уникальную судьбу – стать связным звеном между Европой и Азией?» (216-217).

Исходя из полицивилизационного принципа разделения мира, Хантингтон полагает, что позиции России должны остаться незыблемыми на территории бывшего СССР. Россия, будучи стержневой страной, возглавляет блок государств, имеющий православный центр, в котором она продолжает доминировать и куда постарается не допустить другие державы. «Если Советский Союз был сверхдержавой с глобальными интересами, Россия – это крупная держава с региональными и цивилизационными интересами» (с. 252). Хантингтон подчеркивает историческую бесперспективность вмешательства Запада и его попыток расширить сферу своего влияния за счет российского «ближнего зарубежья».

Хантингтон решительно исключает Россию из числа западных стран, из Европы, подчеркивая, при этом, что никакой цивилизационной отсталости у России по сравнению с Европой нет, и это является дополнительной гарантией безопасности: У России с Европой имеются давние исторически сложившиеся связи, и Западу нужно постараться сделать из России надежного союзника, хотя в данный момент отношение России к США и Западу окрашено сильным негативизмом: «Жители не-Запада также не упускают случая указать на расхождение между принципами и поступками Запада. Лицемерие, двойные стандарты, излюбленный оборот “да, но…” – вот цена претензий на универсализм» (с. 282).

Ф. Фукуяма: «русские – не пациенты сумасшедшего дома»

Если С. Хантингон считал, что после холодной войны относительно простая двухполюсная картина мира уступает место намного более сложным отношениям в многополюсном, полицивилизационном мире, то бывший чиновник Госдепартамента США Фрэнсис Фукуяма убежден, что мир движется к глобальному торжеству либеральной демократии и свободного рынка, которое ознаменует собой конец эволюции

человеческих обществ – «конец истории». В своем знаменитом сочинении «Конец истории и последний человек»[1] Фукуяма выражает уверенность в том, что стирание исторических различий неизбежно в постисторическом мире свободного рынка и либеральной демократии.

Примером тому служит и обращение к историческому опыту России (и СССР), к которому неоднократно апеллирует автор для доказательства и иллюстрации своей концепции. Размышляя о социалистическом строе и советской идеологии, он подчеркивает, что эта альтернатива либеральной демократии принадлежит еще к «историческому миру». Тоталитарный строй и коммунистическая идеология были актуальны для уходящего двадцатого века; отказ от «коммунизма» стал закономерным шагом на пути России к постисторическому миру. Давая подробный анализ «коммунистической утопии» и причин ее краха (глава «Слабость сильных государств или поедание ананасов на Луне»), Фукуяма использует стандартный ход – сближение и даже полное объединение в одно целое нацистской Германии и СССР как тоталитарных государств.

Рассматривая концепцию «легитимности» советского тоталитаризма, сложившуюся в трудах американских советологов 1960–1980-х годов, Фукуяма отмечает, что советский коммунизм считался «пригодным вариантом для русских с их традицией автократии и централизации» в силу бытующих на Западе стереотипов восприятия русских как представителей «варварских» «восточных» отсталых культур. Сам же Фукуяма убежден, что такое мнение о русских совершенно ложное: «...западные комментаторы, которые вполне были готовы поверить, что польский народ желал бы сбросить коммунизм, русскому народу в такой вере отказывали. Иными словами, они считали, что русские – пациенты сумасшедшего дома, которых удерживают не решетки и смирительные рубашки, а собственная тяга к безопасности, порядку и власти и еще некоторым благам, которые советский режим им бросал, – например, имперское величие и статус сверхдержавы» (с. 61).

Приводя «хронику» распада коммунистической системы, Фукуяма стремится развенчать миф о силе тоталитарного государства и «непригодности русских» для демократии. Первым шагом к демонтажу советской системы стала «хрущевская оттепель», когда «режим перестал использовать террор без разбора» (с. 70). В брежневском «пост-

[1] *Fukuyama F.* The End of History and the Last Man. N.Y. Free Press, 1992. Рус. изд. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. Пер. с англ. М.Б. Левина. М., АСТ: Ермак. 2005. Далее цитаты приводятся по этому изданию.

тоталитарном» государстве шли процессы ослабления централизации, происходила подспудная «ползучая» вестернизация брежневского социализма. При Горбачеве последовал «авторитарный переход» к рыночной экономике и «демократизация»: «...после 1989 года на выжженной земле тоталитаризма стало восстанавливаться гражданское общество» (с. 69) – политические партии, церковь, профсоюзы и т.д. Таким образом, русские продемонстрировали отсутствие своей «инаковости». Идеолог «конца истории» убежден – русские, как и все остальные нации, неизбежно придут к универсальной модели либеральной демократии, поскольку иного пути история человеческому обществу не предоставила. «Пограничная линия между историческим и постисторическим миром быстро меняется... Советский Союз сейчас совершает переход из одного лагеря в другой...» (с. 417)

Таким образом, возникает противопоставление уходящего в прошлое «исторического мира», в котором существуют значимые различия, и мира «постисторического», где эти различия исчезают. Универсалистская концепция Фукуямы предполагает кооптацию и растворение «другого», отрицание его «инаковости», как чего-то незначимого, преходящего.

«Экзотический другой»: популярная наука о России.

Советология оказывала заметное влияние на славистику и культурно-антропологические исследования, причем особенно заметным это влияние было в популярной науке, где подход к изучению России был основан на стереотипе «экзотического другого». В понятие «популярная наука» мы включаем не серьезные академические узкопрофессиональные штудии, но в первую очередь те, что адресованы широкой аудитории и связаны с какой-либо прагматикой, будь то рыночная востребованность, «государственный заказ» или политическая ангажированность. В популярной науке можно выделить ряд приоритетных направлений. Прежде всего, это культурная антропология – сфера исследований, которая уходит корнями в давнюю традицию описания «другого» (записки путешественников, популярные очерки о географии, нравах и обычаях других народов, распространенные в XVIII – XIX вв.). Культурно-антропологические описания охватывают разные периоды в истории России – революция и 1920-е годы, сталинская эра, брежневский «застой»[1].

[1] Напр. см. *Brooks J.* When Russia Learned to Read. Princeton, Princeton Univ. Press, 1985; ряд книг известного историка СССР Р. Пайпса, напр. Pipes R.

Сталинизм – отдельная и особая по значимости тема: популярная наука эксплуатирует интерес к «империи зла», прочно укрепившийся в американском культурном сознании со времен холодной войны и даже раньше. В числе самых заметных направлений исследования назовем изучение «больших стилей» в литературе (соцреализм) и пластических искусствах (монументализм)[1], «фольклор» сталинской эпохи[2], а также изучение «сталинской повседневности»[3]. Одна из излюбленных тем – феномен «ностальгии по Сталину» в постсоветской России: например, книга левого журналиста А. Хохшилда «Неотступный фантом: русские вспоминают Сталина»[4] построена на интервью с самыми разными людьми разных убеждений и живущими в разных уголках России. Книга В. Данэм «В сталинское время»[5] посвящена «кристаллизации» нового советского человека – «мещанина», который приходит на смену типу «непримиримого фанатика» 1920 – 1930-х гг. В ходе «перестройки» и в 90-е гг. возникает новая тема – изучение «постсоветской России[6] с такими ее характерными чертами, как ирония, деидеологизация с одной стороны, и ностальгия по ушедшей «великой эпохе», – с другой.

Есть и немало «обобщающих работ», посвященных «вообще» советскому человеку, советскому быту. Приведем в качестве примера книгу Светланы Бойм «Общие места. Мифологии повседневной жиз-

---

Russia under the Bolshevik Regime. N.Y., Alfred A.Knopf, 1993; *Fitzpatrick Sh.* The Russian Revolution. N.Y., Oxford UP, 1982.

1 Напр. The Culture of the Stalin Period. Ed. Y.Gunther. L., MacMillan, 1990; Lahusen T. How Life Writes the Book: Real Socialism TB Socilist Realism in Stalin's Russia. Ithaca, Cornwell UP, 1997.

2 Напр. *Miller F.J.* Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudo-Folklore of the Stalin Era. Armonk, N.Y., M.E. Sharpe, 1990.

3 Напр. *Chris Ward,* Stalin's Russia. L.-N.Y.-Melbourne-Auckland, 1998.

4 *Hochschield A.* The Unique Ghost. Russians Remember Stalin. N.Y., Viking Press, 1994.

5 *Dunham V.* In Stalin's Time. Cambridge, Mass., UP, 1976.

6 Напр. Soviet Hieroglyphics: Visual Culture in Late 20th Century Russia. Ed. N.Condee. Bloomington, Indiana UP, 1995; Kennen E. Moscovite Political Folkways // Slavic Review, 1986, # 45; Russian Culture at the Crossroads: Paradoxes of Post-Communist Consciousness. Ed. Dmitri N.Shalin. Boulder, Westview Press, 1996; Рис Н. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., НЛО, 2005.

ни в России»[1]. Подобные популярные исследования, опирающиеся на модные теории, представляют собой попытки дать анализ «мифологем», лежащих в основе советского быта и «повседневного ритуала». В центре внимания оказываются трудноопределяемые стереотипы – «русская душа», «мещанство» и т.п.; специфические явления советского уклада жизни – «коммуналка», «жилищный вопрос»; советская риторика – идеологическая речь, приемы деидеологизации, «стеб», «разговоры на кухне»; а также отражение советской реальности в разных формах искусства. С. Бойм обращается к «концептуальному искусству» (Илья Кабаков), феноменам «графомании» и «самиздату». Освещается также русская классика (Пушкин, Гоголь, Толстой), ее восприятие советским человеком через призму «школьной премудрости» и государственных установок и превращение классики в «пошлость».

Полигоном для применения западных методологий и теорий к российской действительности становится изучение массовой и популярной культуры. Прежде всего, следует отметить постоянные попытки экстраполяции понятий «массовая культура», «общество потребления» на реалии брежневского и даже сталинского Советского Союза. Такой взгляд лежит, например, в основе сборника статей «Массовая культура в Советской России: сказки, стихи, песни, кино, пьесы, фольклор»[2] (1995) и двух больших проблемных статьях А.М. Баркер, открывающих большую коллективную монографию «Потребление в России: популярная культура, сексуальность и социальные практики после Горбачева»[3]. А.М.Баркер полагает, например, что уже в сталинской России мы сталкиваемся с феноменом потребления, правда, его объектом являются не товары, а идеология[4]. По мнению исследовательницы, главное отличие постсоветской ситуации состоит в «децентрации» культуры, ее деидеологизации главным образом путем «стеба», иронии и постмодернистской игры. Особое

---

1 *Boym S.* Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambrige (Mass), London. Harvard Univ. Press, 1994. Рус. изд.: Бойм С. Общие места. Мифологии повседневной жизни в России. М., НЛО, 2002.

2 Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore. 1917–1953. Bloomington, Indiana UP, 1995.

3 Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev. Durham; London, Duke UP, 1999.

4 *Barker A.M.* Rereading Russia; The Culture Factory: Theorizing the Popular in the Old and New Russia // Consuming Russia. P. 3-11, 12-48.

внимание она уделяет «ревизии советского наследия» (новому прочтению – rereading), которое активно происходит в современных формах российского масскульта в форме иронии, ностальгии и коммерческой эксплуатации прошлого.

Разделы монографии посвящены, соответственно, популярной (массовой) культуре, девиантной сексуальности / порнографии и новым «социальным практикам», таким, как граффити (надписи на «расстрельной стене» возле Белого Дома после разгона мятежного парламента в 1993 г.), татуировки, нетрадиционные верования (секты: «Аум Синрике, «Белое Братство»). Самый большой первый раздел «Популярная культура» рассматривает в этом ключе разные явления – например, телевизионную рекламную кампанию МММ или образ России в русском роке и эволюцию рок-поэтов от критики «совка» к почвенничеству и национализму. Темы других статей – история русского детектива, коммерциализация спорта, «подрывная стратегия» в политических анекдотах; популярная детская культура и насаждение новых ценностей общества потребления.

Еще одна форма популярной науки – пропедевтические труды, предназначенные для студентов и аспирантов-славистов, специалистов-«смежников» и для «широкого круга читателей». Яркие образцы такого жанра – коллективные тематические сборники, выпускающиеся в разных университетах и посвященные русской культуре, истории и обществу[1]. Например, тематический сборник Кембриджского университета 1998 года, посвященный русской культуре [2], состоит из обзорных статей, написанных выдающимися учеными-славистами и переводных русских статей. К примеру, статья «Русская литература», написанная Д. Бетеа, строится, как и прочие статьи-главы, на перечислении основных топосов, принятых в западной славистике. Д. Бетеа дает краткую характеристика крупнейших русских писателей (Пушкин, Гоголь, Тургенев Гончаров и т.д.) и приводит существенные характеристики русской литературы, как то: духовность, максимализм, писатель как святой в миру, литература как форма общественного самосознания, устойчивые пространственно-временные характеристики (оппозиция Восток-Запад, например),

---

[1] Напр., Russian Cultural Studies. Ed. Catriona Kelly and David Shepherd. Oxford, Oxford UP, 1998.

[2] The Cambrige Companion to Modern Russian Culture. Cambridge, Mass., UP, 1998.

сращение национально-значимого и эротического начала (национальный русский миф в своей сердцевине глубоко эротичен: любовное чувство всегда стремится к сублимации, личное переживание всегда нагружено сверхличным, общественным смыслом). Подобная пропедевтика обычно оказывается, в итоге, вынужденным компромиссом между принципами научного мышления и принятыми стереотипами, которые, тем самым, освящаются авторитетом академической науки и получают статус «научного факта».

Примером жанра исследования, которое в России называется «просветительской литературой», являются некоторые книги директора Библиотеки Конгресса США и известного слависта Джеймса Биллингтона[1], в том числе и недавняя монография «Россия в поисках себя» (2004). Для Биллингтона характерен описательно-классификаторский подход и стремление избегать общепринятых стереотипных представлений. В последней книге «Россия в поисках себя» Биллингтон представляет компетентный и широкий обзор различных концепций, теорий, политических платформ, которых придерживаются различные ученые, политические партии, публицисты и государственные деятели в постсоветской России (А. Дугин, А. Проханов, С. Кургинян, В. Жириновский и мн.др.). Говоря о трудностях понимания русской культуры, с которыми сталкивается западное сознание, Биллингтон использует образ «русской матрешки» – «...демократическая оболочка снаружи, авторитарный слой изнутри. А еще глубже – равнодушие, если не сказать враждебность к идеям вообще и к политике в частности» (С. 111).

Говоря о «хаосе девяностых», Биллингтон вспоминает В. Пелевина, создавшего постмодернистский образ России. В сознании постсоветского поколения родная страна ассоциировалась не с гоголевской птицей-тройкой, летящей по степи в духовном поиске, но с поездом, несущим своих пассажиров к разрушенному мосту.

Автор сохраняет осторожный оптимизм и веру в то, что русские сумеют создать «поставторитарное правительство». Дж. Билингтон

[1] *Billington J.H.* The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture. N.Y., Random House, 1970; Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith. N.Y. Transaction Publishers, 1998; Russia in Search of Itself. Washington; London. Woodraw Wilson Center Press. 2004; Рус. изд – Джеймс Биллингтон. Икона и топор. Опыт истолкования русской истории. М., Рудомино, 2001; «Россия в поисках себя». М.: РОССПЭН, 2005. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

убежден, что прочная положительная самоидентификация России на новом этапе истории будет возможна лишь в том случае, если русские окажутся способны гармонически сочетать западные политические и экономические институты с восстановлением религиозных и моральных институтов своей собственной культуры. «Борьба за будущее России идет не между «Востоком» и «Западом» в легендарной русской душе, а между двумя способами синтеза элементов востока и запада в формирующемся политическом организме» (С. 11).

Образ посткоммунистической России в американской публицистике и литературе 1980-х-2000-х гг. Публицистика: в фарватере общественного мнения

Если сочинения политологов и социологов предназначены главным образом специалистам, то публицистический жанр ориентирован на самую широкую аудиторию. В первую очередь именно усилиями американских журналистов в культурном сознании нации формировался определенный образ России-СССР[1]. Каноны жанра были заложены работами американских журналистов 1970–1980-х годов, такими, как знаменитая книга Хедрика Смита «Русские» (1977), об эпохе застоя, построенная на интервью со многими советскими людьми, а также продолжение – книга «Новые русские» (1990) о горбачевской перестройке и гласности[2]. Также назовем книги политического публициста Роберта Г. Кайзера «Россия: народ и власть» (1977) и «Почему в России «случился» Горбачев» (1992)[3].

В специальной публикации журнала «Русский Newsweek», представляющей собой краткий рассказ об американских журналистах,

---

[1] См. напр.: *Пряничников А.С.* Американская пресса о России по итогам 2000-2002 гг // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Междунар. отношения. 2003. № 1. С. 74–89; Ужегова З.А. Образ «новой» России на Западе (по материалам американской и британской прессы) : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, ф-т. иностр. яз. – М., 1999. Компетентная подборка американских статей и эссе, посвященных образу России, собрана в антологии The American Image of Russia, 1917–1977 / Edited with an introd. and comments by B.L. Grayson. – N.Y.: Ungar, 1978.

[2] *Smith H.* The Russians. N.Y.: Quadrangle; The New York Times Book Company, 1977; The New Russians, N.Y.: Random House, 1990.

[3] *Kaiser R.G.* Russia: The People and the Power, N,Y.: Atheneum, 1976; Why Gorbachev Happened. N.Y.: Simon & Schuster, 1992.

специализирующихся на российской теме, предлагается различать среди них разные поколения, которые отличает разное видение России. Старшее поколение сформировалось в 1970–1980-е годы, и их главными темами были «таинственные кремлевские старцы, мистическое КГБ, тайные собрания диссидентов и непонятный народ, давящийся в очереди за туалетной бумагой». Ближе к 1990-м главное место заняли Михаил Горбачев, glasnost и perestroika, затем – мафия, олигархи и Чечня. «Сейчас, как и прежде, повесть о России – Путине, «Газпроме» и авторитаризме – пишет ограниченный круг авторов... Их популярность, как и российский имидж, отнюдь не на высоте: каких-то 20 лет назад специалисты по России находились в центре внимания всего мира, а теперь повесть о России перестала быть бестселлером, и им все труднее продавать свои книги и искать издание для публикаций»[1].

Американская журналистика последнего двадцатилетия на популярном уровне воспроизводит те же концепции, которые разрабатывались в сочинениях ученых, касавшихся вопросов истории, геополитики, социологии. Особенностью публицистических книг является, во-первых, насыщенность фактографией, поскольку важной задачей журналиста является информирование читателя о том или ином периоде российской (советской) истории. Кроме того, журналист старается дать живые и окрашенные субъективным отношением портреты российских (советских) руководителей и политических деятелей, сочетая историческое повествование с биографическим. Историческое повествование всегда перемежается показом «частной жизни»: перед читателем проходят судьбы обыкновенных людей, семейные истории. Тем самым публицистическая книга представляет собой сочетание разных жанров, что позволяет на разных уровнях и в разных регистрах проводить те или иные идеи – то суггестивно, то в форме прямой пропаганды, то путем логической аргументации.

Книга Фреда Коулмена «Упадок и разрушение советской империи: сорок лет, которые потрясли мир от Сталина до Ельцина»[2] (1996) готовилась на протяжении тридцати лет. Ее автор, американский журналист, начал свою работу в СССР в 1964 году за несколько месяцев

---

[1] *Илья Архипов, Антон Черменский, Александр Баунов.* Рыцари печатного образа // Русский Newsweek. 10.07.2006.

[2] *Coleman F.* The Decline and Fall of the Soviet Empire: Forty Years that Shook the World from Stalin to Yeltsin. N.Y., St. Martin's Griffin, 1996. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

до отстранения Хрущева от должности Генерального секретаря. Как явствует из заглавия, книга предполагает одновременно и следование традиции Джона Рида (Коулмен также предлагает свидетельство очевидца), и полемику с автором «Десяти дней...» – апологетом русской революции. Еще одна аллюзия, использованная в заглавии, – отсылка к роману сатирика Ивлина Во «Упадок и разрушение», предполагает критический, а не апологетический взгляд автора на Россию.

В книге немалое место занимает рассказ об ужасах сталинизма. Повествуется и о сталинской пропаганде, о культе «отца народов»: кровавому диктатору «поклонялись, как полубогу, люди умирали с его именем на устах. Тяжелое наследие сталинизма тяготеет над постсоветской Россией, корни авторитаризма здесь слишком сильны, а опыт демократии отсутствует. Вывод – «Будущее России в наступающем веке будем определяться главным образом ответом на вопрос – насколько сильно все здесь изменилось по сравнению со Сталиным?» (p. 31)

В главе «Постоянная война за власть» политика Кремля предстает у Коулмена как образец «византийской восточной политики». Во-первых, это необходимость постепенного восхождения по ступенькам иерархии и невозможность «прямого попадания на самый верх»; проявлением «византинизма» оказывается жесткая последовательность лидеров «реформатор – консерватор». Еще одна «византийская черта» – неинформативность публичных выступлений и заявлений: Кремль никогда не говорит о своих намерениях откровенно. Византийские «железные правила» кремлевской политики всегда были непонятны Западу, который не умел «верно расшифровывать сигналы, поступающие из Москвы» (p. 41), и это порождало множество ошибок в отношениях с Россией. По мнению журналиста, единственный реальный способ для Запада повлиять на Кремль – это использовать экономические рычаги.

Отдельная глава посвящена советским спецслужбам («КГБ: вето на будущее России»). Говоря об этой организации, стоящей «выше закона», Коулмен выстраивает длинную традицию – от опричнины Ивана Грозного и царской охранки до сталинского Большого Террора. Устойчивость КГБ, пережившего все реформы, «подчеркивает фундаментальное отличие России от более вестернизированных стран Восточной Европы»: «В России ни один лидер – ни до, ни во время, ни после коммунизма – не мог выжить без тайной полиции и слежки за своими потенциальными соперниками <...> Для Восточной Европы

коммунистическая диктатура была аберрацией, продлившейся четыре десятилетия. Для России коммунистический режим был в порядке вещей, логическим продолжением царского режима, тысячелетней истории самодержавного правления» (p. 170).

Еще одно отличие России от Запада – привычка не к качественным, но к количественным оценкам. Именно полагаясь на количество, русские выигрывали войны и с Наполеоном, и с Гитлером – ценой миллионных жертв. «Количественное мышление» объясняет экспансионистскую природу русской цивилизации; Колумен с восхищением отзывается о доктрине «сдерживания» Дж.Ф. Кеннана, говоря, что это была одна из редких удач в политике Запада по отношению к России, и объясняется она глубоким пониманием «русской души», которое было у Кеннана.

Коулмен настойчиво проводит главную мысль – «варварская», «отсталая», «византийская» Россия – это опасный «чужой», к которому неприложимы западные стандарты. Коулмен предостерегает американцев от очередного заблуждения – слишком оптимистичного отношения горбачевским и ельцинским реформам, которые, скорее всего, окажутся поверхностными и недолговечными. При первой возможности российские лидеры постараются вернуться назад к испытанному «византинизму» и автократии.

Для западного сознания Россия остается непредсказуемой и потому опасной – и Коулмен в заключение предлагает ряд «макиавеллиевских» принципов, на основе которой Запад сможет более адекватно моделировать свои отношения с Россией (глава «Что делать?»). В политике – использовать разногласия, препятствовать колониалистским устремлениям, прибегать к экономическому давлению. Помнить, что Америка и Россия говорят на разных языках («что для американцев является простой вежливостью, русские расценивают как слабость», p. 422). Продолжать пропагандистское вещание на Россию с целью «доносить правду». Следить за соблюдением прав человека. Словом, не складывать оружие – дракон повержен, но, по закону жанра, может снова поднять голову – у хорошего фильма ужасов всегда должно быть продолжение.

Американский журналист Дэвид Саттер с 1976 по 1982 г. работал в Москве корреспондентом газеты «Financial Times». Книга «Век безумия: распад и падение Советского Союза» (2001)[1] задумана как

[1] *Satter D.* Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union. New

ретроспективное объяснение причин развала огромной страны. Она отличается ярко выраженным налетом сенсационности, обилием «жареных фактов», которые были в основном получены из источников мюнхенского радио «Свобода».

Образ России-СССР предстает в книге Саттера как реальное воплощение антиутопии, «антимир», пребывание в котором практически невыносимо для живого человека. Саттер использует сказочный образ «королевства кривых зеркал» для описания псевдореальности, порожденной идеологической обработкой. Особое внимание уделяется атеистической советской идеологии и мифологеме «земного рая». Марксизм создал «безбожную религиозную веру» в «небеса на земле», ленинизм дал технику осуществления этой утопии, которая заключалась в создании и постоянном поддержании иллюзий. В описании Саттера это выстраивание «королевства кривых зеркал» выглядит совершенно как в знаменитой антиутопии Оруэлла (на которого американский журналист часто ссылается). ТАСС оказывается настоящим «Министерством Правды», школьная программа дает не «реальные знания о мире», но стремится доказать истинность положений марксизма и атеизма. Разрушение Советского Союза Саттер объясняет прежде всего введением гласности, которая уничтожила «гипнотический эффект» «королевства кривых зеркал» (с. 53).

Москва (как и весь Советский Союз) предстает у Саттера как мрачный, чудовищный «антимир», почти «тот свет»: город «мрачный и депрессивный», «улицы переполнены людьми, с пустыми магазинами и пропагандистскими лозунгами», «тротуары заполнены тысячами людей, но, несмотря на это, картина абсолютно лишена жизни», в магазинах «мрачные и неулыбчивые, часто с одутловатыми лицами и налитыми кровью глазами, люди из очереди больше похожи на уцелевших после гражданской войны, чем на созидателей двадцать первого века» (с. 47). Описывая советский быт, Саттер прибегает к стилистическим приемам, заимствованным у Кафки (эпиграф из Кафки предпослан книге): суховатое, «канцелярское» письмо, точность и кажущаяся объективность деталей, на самом деле эмоционально окрашенных и создающих впечатление навязчивого кошмарного сна. В жанре «триллера» написаны многочисленные «страшные истории» о преследовании инакомыслящих – диссидентов, евреев, жертв чи-

Heaven and London, Yale University Press, 2001. Рус. Изд.. Саттер Д. Век безумия: распад и падение Советского Союза. М., ОГИ, 2005. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

новничьего произвола (глава «Ходоки за правдой»); «зверствам КГБ», разумеется, посвящена отдельная глава («КГБ»).

Тщательно подобраны эпиграфы к главам: это отрывки из сочинений русских философов и писателей, которые должны выглядеть как обвинительное свидетельство «самих русских о себе». Например, к главе «Корни фанатизма» эпиграф взят из «Философических писем» П.Я. Чаадаева: «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих...» Эта глава посвящена «духовной и интеллектуальной жизни» homo soveticus. Саттер обращается к стереотипу «загадочной русской души», стремясь показать, насколько эта «душа» деградировала и обмельчала под влиянием атеистической и лживой идеологии. Отсутствие здравого смысла, мессианские ожидания, презрение к ценности человеческой личности – вот составляющие «загадочной русской души». В этой душе было некогда что-то возвышенное, но еще больше в ней жалкого, «недоразвитого», особенно с тех пор, как русские «сбросили свою психологическую зависимость от мессианской религии в пользу мессианской идеологии» – атеистического коммунизма (с. 309).

Российская советская интеллигенция – это «совершенно очаровательные эрудиты, не желающие зарабатывать деньги» (с. 310); они вносят свой вклад в советский абсурд, занимаясь «богоискательством вне религии» (с. 309). Саттер иронически описывает Мамлеева, создавшего собственный символ веры – «яйность», и прочие проявления «духовной жажды» советских людей – веру в гуру Порфирия Иванова, в йогу, целительство, астрологию, парапсихологию.

Подобные свойства «русской души» делают проблематичной возможность «исправления» России, ее присоединение к передовым (то есть западным) странам. В «Эпилоге», рисуя события 1993 года, Саттер представляет их как «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Экономические реформы разоряют страну, дети умирают в больницах от отсутствия лекарств и равнодушия врачей, «запутавшиеся и возмущенные советские избиратели» оказывают «мощную поддержку» мракобесу и националисту Жириновскому (с. 375). Эпилогу предпослана очередная меткая цитата из Чаадаева – «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», которая должна, очевидно, звучать как приговор всем надеждам Запада на модернизацию и вестернизацию «немытой России».

Книга Питера Бейкера и Сьюзен Глассер «Подъем Кремля: Россия

Владимира Путина и конец революции»[1] создана в традициях пропагандистской журналистики. Авторы провели в Москве четыре года – с 2002 по 2006 в качестве корреспондентов газеты Washington Post. В книге рассказывается о важнейших событиях этого периода – захвате террористами школы в Беслане, гибели подводной лодки «Курск», аресте Ходорковского, деле Буданова, «экспроприации государством» канала НТВ. Отдельные главы посвящены рассказу о детстве, юности Путина, о его семье, о том, как складывалась его биография, каким образом он попал в «преемники» (глава «Проект "Путин"»). Основная идея, которую открыто и настойчиво проводят авторы, сводится к следующему: в 1991 году после распада Советского Союза Россия взяла правильный курс на свободный рынок и западную либеральную демократию; однако десятилетие спустя «неизвестно откуда взявшийся» Владимир Путин, которого Ельцин избрал своим преемником, продемонстрировал твердую решимость реставрировать советские порядки и положить конец демократической русской революции. Эта реставрация и «удушение революции» проходит несколько этапов – реализация проекта «Путин» (первые президентские выборы 2000 года), «захват НТВ» и подчинение средств массовой информации, разгром олигархов, переход к «управляемой демократии» (предвыборная кампания и вторые президентские выборы).

Такой поворот в политике Кремля с приходом Путина к власти неудивителен, считают авторы книги, – бывший офицер КГБ представляет могущественную «мафию», цель которой – вернуть былое влияние и вновь сделать Россию авторитарным государством. В главах, посвященных Путину, настойчивым лейтмотивом звучит «агент КГБ», «чекист», «шпион». Авторы цитируют Дика Чейни: «Каждый раз, когда я вижу Путина, я думаю: «КГБ, КГБ, КГБ» (с. 125). В главе «Снова в СССР» выстраивается линия преемственности: между «людьми из КГБ, управлявшими Россией» Андроповым и Путиным – Путин оказался преемником не Ельцина, а Андропова (с. 257). Между ними обнаруживается много сходства – авторитарные методы, расстановка повсюду чекистских кадров, укрепление «мифа КГБ». Этот миф подробно рассматривается в книге: КГБ предстает как некий «тайный орден», принадлежность к которому наделяет его членов могуществом и тайным знанием.

[1] *Baker P., Glasser S.* Kremlin Rising. Vladimir Putin's Russia and he End of Revolution. N.Y. Scribner. 2005. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

Характерной чертой путинского времени авторы считают рост имперского реваншизма. Именно рост национализма и ксенофобии заставил Михаила Козырева, создателя «Нашего радио» покинуть свое детище. Рассказывая о трансформации «Нашего радио», превратившегося, по словам авторов, из демократически-ориентированой станции в средство имперской националистической пропаганды, Бейкер и Глассер объясняют семантику и коннотации русского слова «наше»: «наше – это удобный способ делить весь мир на «своих» и «врагов».

Настоящий, «наш» «русский брэнд» – это «калашников», «Гагарин», «самогон» (homemade vodka), черный хлеб. Самое яркое проявление идеологии «наших» в культуре – фильм А. Балабанова «Брат», главный герой которого – «ксенофоб и жестокий убийца». Авторы настойчиво повторяют, что России надо скорее искать свой «новый имидж», без которого «синонимами России остаются бедность, пьянство и мафия» (с. 65).

Авторы книги создают тенденциозный текст, постоянно апеллирующий к стереотипам, которые подаются как безусловные аксиомы. Они буквально рассыпаны по тексту и вставлены в изложение фактов, которое, тем самым, не является даже внешне нейтральным. Суммируя, можно сказать, что авторы всячески подталкивают читателя к выводу: не зря многие политики в США включают современную Россию в «ось зла» вместе с Ираном и Северной Кореей.

С сочинениями Саттера, Бейкера и Глассер резко контрастирует книга «Мавзолей Ленина: последние дни советской империи»[1] нынешнего главного редактора журнала «New Yorker» Дэвида Ремника. Материалы к этой книге, получившей в США Пулицеровскую премию, автор собирал на рубеже 1980 – 1990-х, работая в Москве корреспондентом газеты Washington Post. Это живой, интересный, компетентный рассказ о стремительных и ярких событиях переходного времени, построенный как собрание огромного числа «личных историй» и «субъективных мнений» людей разных возрастов, происходящих из разных социальных слов и придерживающихся разных взглядов. Книга отличается настоящим плюрализмом, богата фактами и почти лишена апелляции к стереотипам. Ремник не скрывает своих демократических симпатий, своего отвращения к сталинизму, но не навязывает читате-

[1] *Remnick D.* Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. N.Y., Vintage Books, 1994. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

лю своего мнения; в «полифонической многоголосице» книги голос автора звучит наряду с голосами множества героев.

Пожалуй, лучше всего свое видение России автор представляет в достаточно пространном «Послесловии». Целью книги, по его словам, было дать широкое представление о целой эре в истории «бывшей империи», переживавшей «столько триумфов, страданий, горьких разочарований» (с. 533). К уходящей в прошлое «советской империи» Ремник не испытывает теплых чувств и говорит что теперь, в ретроспекции, стала очевидной неизбежность краха СССР. Распад этой империи был событием великим, но и трагическим: он породил на огромном пространстве бывшего Советского Союза настоящую катастрофу: коллапс экономики, тяжелейшее положение двадцатипятимиллионной русской диаспоры в бывших республиках, ставших «заграницей», подъем национализма и шовинизма, экологическое бедствие, аварии на атомных станциях и т.д. Однако это лишь одна сторона «катастрофы». Другой стороной стало страшное разочарование русских в «демократии». Надежды реформаторов на то, что введение рыночной экономики приведет к появлению многочисленного процветающего среднего класса и бизнес-элиты не оправдались. «Вместо этого русские с негодованием и завистью были вынуждены смотреть, как стремительно богатеет крошечная горстка людей среди усиливающегося хаоса и растущей преступности» (с. 537). Негодование рядовых российских граждан и их разочарование в Ельцине, либералах, рыночных реформах, в демократии и капитализме кажутся Ремнику совершенно оправданными, переход России к демократии западного типа – проблематичным выбором.

Говоря об искушении западной либеральной демократией, Ремник высказывает скепсис в отношении того, что американский и, шире, западный путь – хороший выбор для России. Распространение американского масскульта уже привело здесь к печальным последствиям – оскудению родной культуры, «оглуплению» нации: «В стране, где бестселлерами были Солженицын, Оруэлл и Бродский, теперь поют хвалу масслиту: Дейл Карнеги, Джон Гришем...» (С. 539).

Демократия американского образца несет опасность неповторимой «русской душе», лишает Россию собственного лица. Коммунизм был страшен, но то, что идет на смену, едва ли не хуже: «Некогда пространство России было заполнено однотипной пропагандой – «Вперед, к ленинизму!» и т.п. Теперь телевидение, радио и газеты заполнены пропагандой другого типа... Есть что-то страш-

но раздражающее (и сугубо американское) в рекламе инвестиционных фондов и кошачьего корма – поскольку это показывают стране, где подавляющее большинство населения живет очень бедно» (с. 540).

Каков же итог горбачевско-ельцинского переворота? Чего больше – положительных или отрицательных последствий? Дэвид Ремник, журналист, который действительно стремится понять Россию и ценит ее уникальность, не решается дать окончательный ответ. Он видит Россию как особенную страну, чей исторический опыт ни с чем не сравним; ее будущее непредсказуемо, ее путь оригинален, она не может напрямую перенести на свою почву ни западный, ни «восточный» опыт.

«Красный рассвет» в «Парке Горького»: образ России в американской массовой культуре и литературе

Русская тема довольно активно эксплуатируется в массовой культуре. Стереотипы холодной войны стали почти неисчерпаемым резервуаром образов и сюжетов для американского масскульта. Из сферы политики и идеологии образ врага быстро проникает в массовое сознание – в первую очередь, через массовую культуру[1]. Холодная война была широко отражена в кинематографе. Достаточно вспомнить такие известные фильмы, как «Рэмбо II-III», «Красный рассвет», «Вторжение в США», «Рокки IV», «Красный скорпион» – это далеко не полный список удачных проектов, спекулирующих на мифах, рожденных холодной войной. Помимо боевиков, снимались и «психологические драмы», которые, тем не менее, также строились на пропагандистских стереотипах – например, известный фильм «Москва на Гудзоне» (режиссер Пол Мазурски, 1984). С девяностых годов начинают появляться фильмы, где эксплуатируется тема «русской мафии»; появляются и сюжеты, где американские и русские борцы за справедливость совместно борются против неких злодеев – террористов, мафиози. Яркий пример – российско-американский боевик «Московская жара» (режиссер – Джефф Селентано, 2004).

В массовой литературе образ врага, стереотипы, на которых он

[1] *Chapman R.* Cold War Legacies: The Migration and Transformation of Popular/Unpopular Culture // Journal of Cold War Studies. Vol. 9, # 3, Summer 2007; Weiler P. The Cultural Cold War // Diplomatic History, Vol. 29, issue 4, September 2005. P. 729-732.

построен, а также элементы образа «экзотического другого» давали и дают богатую пищу для создания шпионских романов, детективов, боевиков. Достаточно назвать, например, Тома Клэнси, известного благодаря своим бестселлерам, посвященным холодной войне. В целом ряде политических триллеров Клэнси используется русская тема. Это роман «Охота за "Красным Октябрем"» (1984), по которому в 1990 году был снят фильм-боевик (режиссер Джон Мак Тирнан). В романе «Красный шторм поднимается» (Red Storm Rising, 1986) описывается война между НАТО и СССР. «Кремлевский кардинал» (The Cardinal of the Kremlin, 1988) посвящен шпионским играм во время советско-американских переговоров по ядерному разоружению. Следующие два романа были написаны в духе «дружелюбных девяностых». «Медведь и дракон» (The Bear and the Dragon, 2000) рисует войну между Россией и Китаем, причем ВВС США помогают России отразить китайское вторжение. В романе «Красный кролик» (Red Rabbit, 2002) аналитик ЦРУ Райан помогает офицеру КГБ раскрыть план убийства Папы Римского. Интересно, что при тщательной технической проработанности романов Клэнси, в них нередко встречаются курьезные ошибки, касающиеся советской действительности. Так, в романе «Красный шторм» азербайджанский террорист почему-то носит грузинскую фамилию, а колхозы имеют не названия, а порядковые номера.

Самый яркий пример положительного образа русского в американской массовой литературе дала «русская серия» романов Мартина Круза Смита[1], начатая еще в восьмидесятых годах. Как и его предшественники, классические сыщики Холмс, Пуаро, Смайли, советский следователь-криминалист Аркадий Ренко обаятелен, наделен неповторимыми, личными черточками характера. При всем своем критицизме по отношению к советской системе, Ренко – патриот, любящий русскую историю, поэзию, музыку и русских людей. Именно поэтому в романе «Парк Горького» он не покинул Советский Союз вместе со

[1] *Smith M.C.* Gorky Park. N.Y., Random House, 1981; Polar Star. N.Y., Random House, 1989; Red Square. N.Y., Random House, 1992; Havana Bay. N.Y., Random House, 1999; Wolves Eat Dogs. N.Y., Simon & Schuster, 2004; Stalin's Ghost. N.Y., Simon & Schuster, 2007. Рус. изд.: Смит М.К. Парк Горького. Пер. с англ. В. Павлова. М.: Новости. 1993; Полярная звезда. Пер. с англ. Н. Знаменской, А. Костаняна, Ю. Кирьяка. М.: «Новости», 1993; Красная площадь. Пер. с англ. Н. Знаменской, Ю. Кирьяк, А. Костанян. М.: Новости, 1994.

своей любимой женщиной Ириной, хотя у него и была такая возможность.

«Хороший русский» Ренко завоевал симпатии американской публики и благодаря фильму «Парк Горького» (1983), в котором главную роль сыграл Уильям Херт. «Парк Горького» стал первым из шести написанных на сегодняшний день «русских» детективных романов М. Круза Смита. В следующем романе «Полярная звезда» Аркадий Ренко – уже бывший следователь московской прокуратуры. После того, как Ренко вывел на чистую воду своего начальника, ему пришлось покинуть Москву и наняться матросом на плавучий рыбозавод в Беринговом море. Действие романа происходит в ужасных климатических условиях русского Севера. Смит отдает дань «ледяному ужасу Сибири»: американский читатель знаком с этой темой по книгам Солженицына, по разным публицистическим материалам о ГУЛАГе. В романе 1992-го года «Красная площадь» Ренко выходит на банду высокопоставленных преступников, которая сбывает за границу произведения художников русского авангарда. Роман воссоздает энтузиазм и надежды ельцинского периода. Он завершается на оптимистической ноте. Возлюбленная Аркадия, Ирина, возвращается из-за границы в Россию, и они, держась за руки, участвуют вместе с толпами москвичей в борьбе за демократию у «Белого Дома».

Однако уже в романе «Волки едят собак»[1] Россия превращается в игровое поле для несметно богатых и хищных олигархов. Возлюбленная Ренко Ирина умирает в больнице, а сам Аркадий Ренко предстает в новом облике – мрачного, усталого человека, который подумывает о самоубийстве. На этот раз он оказывается в самом трагическом месте постсоветской России – Чернобыльской зоне. Однако Аркадию Ренко и здесь не изменяет гвардейское чувство чести и сдержанный юмор, который вполне созвучен черному юмору чернобыльцев. Один из них поднимает тост: «За водку – первую линию обороны против радиации!». Из этого романа создается впечатление, что новая Россия плывет в неведомом направлении «без руля и без ветрил».

В последнем «русском детективе» Мартина Круза Смита «Призрак Сталина» Смит берется за следующую веху современной российской истории – войну в Чечне. Москва в романе – город, полный

[1] После «Красной площади» появился еще один роман «русской серии» – «Гаванский залив», где Аркадий Ренко оказывается на Кубе. Здесь показаны презрение и даже ненависть к русским со стороны жителей «острова свободы» – бывших союзников СССР в холодной войне.

полукриминальных элементов и интриганов-политиков, город, где витает призрак Сталина. Детективы М. Круза Смита строятся на эксплуатации популярных негативных стереотипов России; но благодаря образу главного героя у читателя должно возникнуть убеждение, что все-таки бывают и «хорошие русские».

Яркий пример эксплуатации стереотипов России – несколько романов на русскую тему Роберта Ладлэма (1927 – 2001). Ладлэм, создатель множества коммерчески успешных политических детективов и «шпионских романов», взялся за разработку русской тематики в самом конце своей карьеры – на исходе 1990-х годов. Его детективы на русскую тему – «Заговор Кассандры» (2001), «Предательство Тристана» (2003), «Московский вектор» (2005)[1] появились уже посмертно – как и целый ряд других книг, они были изданы с помощью «литературных негров», обслуживавших брэнд «Роберт Ладлэм». В романах Ладлэма изложение детективных перипетий чередуется с «просвещением» читателя, которому предлагается стандартный набор сведений о том или ином явлении – то есть, по сути это цепочка плотно упакованных и лапидарно сформулированных стереотипов.

В более раннем романе «Заговор Кассандры» постсоветская Россия «корчится в тисках кризиса, перемен, нестабильности». Это некогда грозный, а теперь униженный, жалкий враг – «Трудно разобраться, кто сейчас правит в этой чертовой стране – политики или мафия... матушка-Россия сидит в отхожем месте...» (с. 63). И тем не менее, обескровленный враг по-прежнему опасен и от него все еще исходит опасность, как от трупа, источающего ядовитые миазмы: «Россия нарушала соглашения, которые она заключила с Соединенными Штатами и с остальным миром. Она прекрасно инсценировала свертывание программ по развитию биологического оружия, а на самом деле исследования шли в ускоренном режиме» (с. 23).

Ладлэм включает в роман и реалии новой России – это создание совместных предприятий, появление иностранного капитала. Героиня романа предприимчивая американка Рэнди Рассел успешно ведет

[1] *Ludlum, R.* The Cassandra Compact. New York, N.Y., St. Martin's Griffin, 2001; Ludlum, R. Shelby Ph. The Tristan Betrayal (2003). London, Orion, 2004; Ludlum R. Larkin P. The Moscow Vector. N.Y. St. Martin's Griffin, 2005. Рус. изд.: Ладлэм Р. «Предательство Тристана». Пер. с англ. П. Рубцова. М., Эксмо. 2004; «Заговор Кассандры». Пер. с англ. Ю. Волковой. М., Эксмо, 2002; «Московский вектор». М., Эксмо, 2006. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

дела в России, понимая, что сейчас бывшая великая держава «больше всего нуждается в твердой валюте» (с. 71). По дороге в Москву, Рэнди деловито наставляет американского агента Джона Смита: главное в новой России – деньги. Второе важнейшее условие безопасности и успеха – завести прочные связи: «У меня есть обширные контакты – и в Кремле, и в армии и даже в русской мафии...» (с. 82)

В роман органично входит еще один стереотип – гениальные русские программисты. Эти кулибины лишены возможности реализовать свои таланты на родине. В «Заговоре Кассандры» русский мальчик Саша Рублев – «первый компьютерный гений в России» (с. 157): «Этот сын контролера из московского метро, обладал неслыханно высоким ай-кью, но из-за бюрократии все еще работал в безнадежно устаревшей системе среднего образования» (с. 157). В России – этой могиле талантов – только американка Рэнди смогла «открыть» гениального юношу и предложить ему достойную работу.

Русские понемногу приобщаются к современным техническим достижениям, и в России появляется новое поколение, более или менее успешно мимикрирующее под тип homo occidentalis. В романе это Лара Телегина, секретарша и любовница генерал-майора КГБ Олега Кирова, ставшего на сторону реформаторов: «Если Киров представлял собой мост из прошлого в будущее, то Лара Телегина была лучшим воплощением этого желанного будущего. Телегина была новым типом русского технократа: она получила образование в России и в Англии, владела несколькими иностранными языками, имела западную внешность и блистательно владела новыми технологиями, разбираясь в Интернете и Windows лучше многих европейцев и американцев» (с. 93). Несмотря на ламентации агента Джо Смита, что «русские *до сих пор* (курсив мой. – О.П.) очень скрытны и подозрительны в вопросах национальной безопасности» (с. 93), Киров, Телегина и прочие представители ФСБ все же активно сотрудничают с американцами, пытаясь помешать похищению и вывозу биологического оружия из России.

КГБ возникает в «Заговоре Кассандры» как воплощение былой, советской России. Когда Джон Смит, идя на первую встречу с Кировым, попадает в здание на площади Дзержинского, пред ним встает видение страшного тоталитарного сталинского прошлого: «Теперь, когда он стоял в огромном, похожем на мрачную пещеру вестибюле здания номер три, все истории, которые он слышал от участников холодной войны, всплыли в его памяти... Смит задавался вопросом, как нынешние работники уживаются со здешними призраками? Ощу-

щают ли их присутствие? Или обо всем этом сразу же поспешили забыть из страха, что прошлое может вновь вернуться к жизни, подобно голему?» (с. 92)

Сталинское прошлое и его связь с настоящим – главная тема романа «Предательство Тристана». Повествование разворачивается в двух временных пластах. В рассказ о сталинской Москве в ноябре 1940 года вставляются «врезки», относящиеся к событиям августовского путча 1991 г. Мрачное сталинское прошлое встает перед читателем, когда американский агент Стивен Меткалф приезжает из захваченного немцами Парижа в Москву, где «повсюду шла лихорадочная стройка», «повсюду рыли землю», превращая город «в столицу тоталитарной империи»[1]. Главенствующий стиль – «сталинская готика»: «грандиозные небоскребы» (то есть знаменитые московские «высотки») и «здания, напоминающие свадебный торт».

Как и всех американских путешественников (например, Драйзер или Дос Пассос), Меткалфа удручает вездесущая пропаганда, которая не может замаскировать убожества жизни и тотального дефицита. Вот как описывается главная улица города – Тверская, переименованная в улицу Горького: «Еды не хватало, зато был избыток пропаганды. Здания были увешаны громадными красными полотнищами, на которых провозглашалось: «Мы перевыполним пятилетний план!», «Коммунизм – это советская власть + электрификация всей страны!» (с. 123).

Признаки технического прогресса сочетаются в Москве с удручающей «азиатчиной», кошмаром «тоталитарной империи»: «...из-под этой странной коммунистической личины выглядывала вечная, древняя сохранившаяся Москва – золотые луковки церквей, разноцветные яркие купола Василия Блаженного на Красной площади, бабушки с авоськами. Но на их лицах было какое-то новое выражение мучительного страха <...> Это был паранойяльный ужас, который словно окутывал всех русских плотным непроницаемым туманом» (с. 123).

Навязчиво проводится мысль о полной идентичности нацистской Германии и сталинского Советского Союза. Меткалф попадает в Москву сразу после подписания пакта Молотова-Риббентропа. В Москве нацистские дипломаты, предприниматели, политики чувствуют себя, как дома. С другой стороны, Меткалф отмечает поразительное сход-

[1] *Ludlum, R., Shelby Ph.* The Tristan Betrayal (2003). London, Orion, 2004. P. 122. В дальнейшем цитаты из романа приводятся по этому изданию.

ство «офицеров Красной Армии с нацистами»: у них были даже «одинаковые стрижки на прусский манер», так что «теперь они выглядели точно так же, как их нацистские собратья» (с. 125-126).

В массовой литературе, эксплуатирующей «русскую тему», прослеживается и преемственность с традицией описания «экзотического другого» – красочные зарисовки русских нравов, привычек, быта, национального характера. Автор делает ряд замечаний по поводу национального характера; упоминается, например, такая «азиатская черта», как неуважение к индивидуальности другого, полное отсутствие privacy: «Русские, особенно старые женщины, всегда читали нотации иностранцам, наставляя их, как себя вести... Для них не было такого понятия, как «лезть не в свое дело» (с. 132).

Характерные черты русской «славянско-азиатской» внешности воспринимаются как неприятные, угрожающие. Описывая одного из шпиков, выслеживавших Стива в Москве, автор создает стереотипный портрет «враждебного другого»: «... высокие скулы, черты лица, словно высеченные из камня, сибирский разрез глаз; это было холодное, безжалостное лицо» (с. 161).

Страшное тоталитарное сталинское прошлое может, подобно голему, ожить, если в новой, едва освободившейся от коммунизма России, возьмут верх противники реформ. Эпизоды, относящиеся к августу 1991 года, написаны в стиле откровенной пропагандистской риторики. Стивен Меткалф должен вмешаться и предотвратить реставрацию прошлого, обращаясь напрямую к «Дирижеру» – «серому кардиналу», второму лицу в государстве после арестованного путчистами Горбачева. Оказывается, больше всего всесильного «Дирижера» пугает перспектива полного хаоса, который может стать следствием внедрения демократии в России. Однако Меткалфу удается его переубедить. Вот какие аргументы он пускает в ход: если «Дирижер» решится на переворот, страна «окажется в изоляции», «не будет зерна, торговли, денег», «ваш народ будет голодать», «начнутся массовые беспорядки». Если же «Дирижер» выступит против путчистов, то лично он, Стивен Меткалф, обещает от лица Соединенных Штатов, «поддержку с воздуха», «защиту и помощь» (с. 400). Таким образом, благодаря американскому патронажу удается отстоять в России не только нарождающуюся демократию, но и цивилизацию вообще, а заодно подчеркнуть, что сама по себе Россия мало что значит – без американской «поддержки с воздуха».

* * *

Поле «масскульта» на рубеже XX–XXI вв. настолько широко и разнообразно, что само словосочетание – «массовая культуры» слишком часто «не работает», или работает плохо, будучи слишком расплывчатым и неясным. Массовая культура имеет тенденцию вбирать в себя разнообразные маргинальные и альтернативные явления, черпая, в первую очередь, из субкультур; с другой стороны, идет процесс «омассовления» культурных феноменов, ранее не принадлежавших массовой культуре. Результат такой сложной гибридизации – творчество ряда авторов, принадлежащих и к некой срединной зоне между литературой и «масслитом».

Уильям Гибсон (р. 1948) – создатель киберпанка, для которого характерно изображение высокотехнологичного мира, где гаджеты, компьютерное киберпространство сосуществуют с картинами нищеты, трущоб и социального дна. Гибсон любит писать о странах, которых не видел, превращая их в фантастические миры. Россия, которую Гибсон никогда не видел, привлекла его по рассказам знакомых, побывавших там во время перестройки и в постсоветское время. В авторском послесловии выражается благодарность его знакомой Эйлин Ганн «за фрактальную точность ее воспоминаний о Москве». В романе «Распознавание образов»[1] «отец киберпанка» отдает известную дань стереотипам холодной войны. Большая часть действия происходит в России, поскольку именно туда ведут главную героиню Кейс Поллард расследования загадочного явления: в интернете стали появляться короткие фрагменты какого-то фильма, и никто не знает, кто их снимает и для чего. Образ загадочной и страшной России вырисовывается в романе постепенно. Кейс кое-что знает об этой стране по рассказам отца, сотрудника секретных спецслужб, которому довелось некоторое время работать в Москве, где он обеспечивал безопасность английского посольства, и по письмам ее приятеля, режиссера Дэмиена, который снимает документальный фильм о «черных следопытах». «Привет из оттаявшего сердца сталинградских болот <...> Во время войны здесь была одна из самых жестоких, грандиозных и продолжительных битв.

[1] *Gibson W.* Pattern Recognition. N.Y., G.P. Putnam's Sons, 2003. Рус. изд.: Гибсон У. Распознавание образов. Пер. с англ. Н.М.: АСТ, 2004. Цитаты из романа приводятся по русскому изданию. Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/gibson-william/raspoznavanie_obrazov/read_online.html?page=1

Все изрезано окопами, линия фронта многократно перемещалась взад-вперед, поэтому останки залегают слоями. Когда начинаешь копать, натыкаешься сначала на немецкий слой, потом идет русский, потом опять немецкий. В основном, конечно, кости: темно-серые обломки, плавающие в илистой липкой грязи, которая зимой замерзает, как камень. Грязь, если я правильно понял, анаэробная <...> Визуально – просто нет слов! Пьяные бритоголовые копатели, пирамиды серых костей, вещи, которые они извлекают из-под земли...»

Этот фрагмент прекрасно демонстрирует, как Гибсон использует стереотипные и расхожие представления о России (страна со страшной историей, многомиллионные человеческие жертвы, сближение сталинской России и гитлеровской Германии, ужасный климат, повальное пьянство и пр.) и перерабатывает их, чтобы получить дистопию, характерную для киберпанка. В дальнейшем в романе Россия у Кейс всегда будет ассоциироваться с «серыми костями».

Героиня, отправляясь в Москву, готовится увидеть мир, знакомый ей по воспоминаниям отца и рассказам ее друзей – странный мир «двойных стандартов и шпионских устройств, плавающих в канализации. В России ее детства всегда идет снег, и люди ходят в темных меховых шапках».

Образ России, который возникает у Кейс, складывается из трех ипостасей. Первая из них – советская империя, характерное сочетание убожества и давящей массивности. В Москве «все объекты слишком большие – гораздо больше, чем необходимо. Циклопические сталинские здания из желтоватого камня, украшенные темно-красным орнаментом, созданные, чтобы запугивать и подавлять. И остальное в том же духе: фонтаны, площади, фонарные столбы». До сих пор на улицах много плакатов в стиле соцреализма. Кейс поражена встречей с «одной из своих детских фантазий» – «московской подземкой», «жутковатой в своей сталинской грандиозности» – «как будто все богатство таинственной страны... последней империи девятнадцатого века, влилось сюда через темные каналы тридцатых годов, чтобы превратиться в эти великолепные дворцы общественного транспорта».

Второй лик России – «сказочной страны пасхальных яиц» – связан с дореволюционным прошлым. Это «нарядный город» Москва, где Кейс чувствует себя дорогим гостем, а не лазутчиком, выполняющим опасное задание. Такой город она видит из окна «Президент-отеля» – «старые жилые дома, островерхие белые крыши и поразительная оранжево-бирюзовая зубчатая башня», «золотые луковицы куполов».

Наконец, третья ипостась – постсоветская Россия, страна колоссальной преступности, стремительной модернизации, олигархов, нефтяных спекуляций. К этому образу относятся и обилие рекламы, и приметы «американизации», и все те «язвы большого города», которые в современной Москве приняли колоссальный размах. Это и «восемь рядов забитого машинами Садового кольца», и «густой рекламный бурелом», и «неоправданно огромный "Макдоналдс„», и показушная роскошь «Президент-отеля», где «легко можно разместить небольшой военный парад, и еще для мавзолея останется место».

Постсоветская Россия – это экологические и техногенные катастрофы, «выжженная земля», расхищение ресурсов, жестокие криминальные войны. Кейс оказывается в Сибири, в районе экологической катастрофы: ее поражает безжизненность почти марсианского пейзажа без признаков жизни – «ни птицы, ни зверя, ни даже насекомого». Современную Россию представляет русский продюсер Дэмиана – ослепительная блондинка Марина Щеглова с «суперфигурой», которая «послужила моделью для кибердевочек». Она напоминает то ли совершенный автомат, то ли персонаж из «Звездных войн». Она одевается по последней моде только в черное, ее «славянские скулы» напоминают об ордах Чингисхана. Новые русские постсоветского образца – странные гибриды русской «азиатчины» и западной высокотехнологичной цивилизации, сращение организма и механизма: «Музейный экспонат, безупречный эталон белой расы. Словно манекен для новой серии «Матрицы».

Еще один персонаж, воплощающий постсоветскую Россию,— Андрей Волков, «теневой олигарх, человек-призрак», который умудрился без потерь пережить «войну банкиров в девяносто третьем». Он, разумеется, связан с организованной преступностью. Кейс смотрит на Волкова и сразу же вспоминает нацистского преступника Адольфа Эйхмана, казненного в Израиле в 1962 году. Именно Волков стоит за производством таинственных фрагментов, которые делают гениальные русские компьютерные художницы – близнецы Стелла и Нора. Кейс удается раскрыть «страшный, дикий и глубоко трагичный русский сценарий», в который были «впаяны судьбы этих близнецов». Узнав тайну, Кейс снова испытывает двойственное чувство, которое постоянно оставляет в душе «русский опыт». С одной стороны, героиня заключает, что «нет сегодня такой мерзости, для которой не могло бы служить эвфемизмом выражение «богатый и влиятельный», если речь заходит о России». С другой стороны, она навсегда уносит

в себе воспоминание о «неуловимо-трепетном чуде, блеснувшем вчера на поверхности неподвижного бледного лица» гениальной русской девушки Стеллы.

Еще один пример автора, работающего в «литературном пограничье» – писатель-фантаст Норман Спинрад (р. 1940). Спинрад начал выпускать свои книги с 1963 года. В своих романах он часто использует элементы антиутопии, политической сатиры, постмодернистские приемы. Выделяется на фоне массовой продукции и его футурологический роман «Русская весна» (Russian Spring, 1991), который вышел одновременно в России и в США[1]. Он был написан под впечатлением от горбачевских перемен еще до того как автор впервые посетил Россию. Сам автор, называющий свой роман «политико-фантастическим», утверждал, что не нарушил законы фантастического жанра, написав о стране, которую он никогда не видел: «Писатели-фантасты как правило пишут о местах, где они не бывали».

Действие романа «Русская весна» представляет собой попытку предвидеть ближайшее будущее Соединенных Штатов, Советского Союза, Западной и Восточной Европы. Горбачевская перестройка, стремительные перемены порождали самые неожиданные ожидания и предположения о том, что ждет человечество в ближайшие десятилетия. В романе Спинрада Советский Союз – самая мощная и передовая страна в области космических технологий, вооружений, промышленности – принят в Объединенную Европу, Америка же превратилась в заштатную, отсталую заокеанскую провинцию. Художественное повествование перемежается «газетными вставками», которые позволяют читателю ощутить «аромат эпохи»:

«Парламент Объединенной Европы принимает Советский Союз. Сегодня, несмотря на бессильные угрозы воинствующих политиканов из Вашингтона, Советский Союз принят в Объединенную Европу… Единая Европа, от Атлантики до Владивостока! Перед нами блестящее будущее!»

Причина возвышения СССР – совершившиеся там перемены. Спинрад рисует перестройку не как поражение СССР в холодной войне, а, напротив, как победу. Реформы принесли поразительные плоды: русские

[1] *Спинрад Н.* Русская весна. Пер. с англ. Н.А. Задорожная, А.И. Корженевский. М.: Текст, 1992. Цитаты из романа приводятся по этому изданию. Режим доступа: http://bookz.ru/authors/spinrad-norman/russkaa_863/1-_russkaa-_863.html

руководители создали диковинный, но эффективный гибрид коммунизма и капитализма. Автор рисует поистине фантастические ландшафты Советского Союза. Москва выглядит величественно, но и гротескно, совмещая в себе черты тоталитарного стиля с новейшими европейскими и японскими достижениями в области градостроительства. Например, здание гигантской корпорации «Красная звезда» – «бредовая башня», возвышающаяся над Кремлем и Москва-рекой «со стенами из розового стекла, цоколем черного мрамора и полосатой красно-золотой, как у церкви, луковицей, увенчанной огромной красной звездой. Звезда сияла по ночам неоновым светом... <...> Из огромного окна был виден древний Кремль и Красная площадь, и эти символы русского могущества казались архаичными и ненастоящими...»

«Красная звезда» – «самое агрессивное предприятие советской экономики», которое европейцы окрестили «большой Красной Машиной», а сами русские – «СССР Инкорпорейтед». Это «детище Русской Весны» – «нового мышления» и идеи «Единой Европы от Атлантики до Урала». «Красная Звезда» продавала зерно, масло, минералы, меха, мебель, станки, икру, медицинское оборудование, услуги по запуску спутников, рассекреченную аэрокосмическую технологию и даже гашиш из Средней Азии, являя собой «дьявольски успешный пример социалистического предпринимательства».

«Красная Звезда» и другие крупные предприятия влились в европейскую экономику через Большую Биржу и сотрудничество в области передовых военных и космических технологий. Советский Союз стал открытым для Запада, «железный занавес» был уничтожен, «единомыслие сменилось интеллектуальной свободой и официальным одобрением иностранной экзотики».

С образом СССР тесно связана в романе судьба Сони Гагариной, «дочери водителя троллейбуса и кассирши ГУМа». Она провела детство в двухкомнатной квартире, на десятом этаже «мрачного огромного дома в спальном районе Ленино, в районе, который и Москвой-то можно считать с трудом». Ее детство пришлось на начало «перестройки», и потому она росла, восхищаясь всем западным – американскими «мультиками», передачами Евровидения, глянцевыми журналами, словом, «всемирным Диснейлендом за границами Советского Союза». Закончив Университет имени Ломоносова, она получила работу в «Красной Звезде» и присоединилась к классу так называемых «евроруссских» – детей «перестройки», вырвавшихся на Запад. В описании Спинрада они как две капли воды похожи на «новых русских» за гра-

ницей – хотя роман появился еще до того, как Европа познакомилась с русскими нуворишами: «... свободные молодые еврорусские гарцевали по Объединенной Европе стадом, невинным в своей дикости. Добрую сотню лет они не могли устроить себе такой пикничок и теперь кутили с широко раскрытыми глазами и чарующим энтузиазмом».

По стопам Сони идет ее дочь Франя, взявшая себе звучную фамилию матери, связанную с героическими страницами советской космонавтики. Франя поступает в русскую Школу имени Гагарина, чтобы сделать блестящую карьеру в самой перспективной области – космических технологиях. Даже ее отец, американский патриот Джерри Рид понимает, что русские обладают безусловным превосходством в космосе потому, что они «всегда ставили мечту во главу угла»: «Космическая программа русских с самого начала – с идей Циолковского, с полета Юрия Гагарина – была смелой, фантастичной и шла от романтической русской души». Американцами и европейцами в «битве за космос» двигали идеи политической или экономической прагматики, потому их космическая программа выродилась, обернулась милитаристским кошмаром. Так несколько неожиданно в роман входит тема «загадочной русской души».

Джерри Рид, болея за родную Америку, пытается использовать против «загадочной русской души» свое «секретное оружие» – «американскую мечту». Болезненно переживая упадок США, Джерри стремится всеми доступными ему средствами сократить разрыв в космических технологиях, вернуть Америке ее мощь и престиж, однако этот воин-одиночка не может переломить объективного хода истории. По иронии судьбы, он получает тяжелую травму во время космических испытаний, и жизнь его поддерживают русские врачи, использующие для этого самые передовые технологии, которые существуют только в СССР. Поистине роман Спинрада весь пронизан иронией и гротеском, которые присутствуют везде – и в изображении партийно-капиталистической власти в пореформенном СССР, и в прогнозах относительного ближайшего будущего Америки. Целый ряд предсказаний писателя, сделанных в романе, уже стал реальностью – это и «новые русские» на Западе, и путч в России, и рост антиамериканских настроений в мире. Своим романом Спинрад стремился опрокинуть расхожие представления среднего американца о далекой, страшной и загадочной России: целый ряд популярных стереотипов подвергается здесь ироническому переворачиванию, осмеянию, гротескному заострению.

«Страна Гоголя, Толстого и Хармса»: образ России в новейшей американской литературе.

В массовой литературе образ России монтируется из готовых блоков – стереотипов, общеизвестных топосов, так как цель здесь – соответствовать читательским ожиданиям, причем сенсационность, свойственная массовой литературе, диктует преимущественный выбор негативных стереотипов, использование плакатной техники. В литературе традиционной, перед которой стоят иные задачи, образ России предстает, разумеется, более сложным и многогранным, однако и здесь роль исторически и культурно обусловленных стереотипов чрезвычайно велика.

Русская тема всегда была глубоко маргинальной для литературы США. Выдающиеся американские писатели XX века в основном обращаются к ней в своей публицистике или путевых записках. И тем не менее, в США находятся авторы, в силу тех или иных причин заинтересовавшиеся Россией и русскими. Мощным стимулом, пробудившим интерес к России и странам Восточной Европы стал распад СССР, окончание холодной войны и новые реалии жизни на постсоветском пространстве. Элиот Боренштейн, глава департамента русистики и славистики Университета штата Нью-Йорк отмечает, что на рубеже 1990-2000-х гг. имел место «небольшой бум»[1] – появилось немало романов, повествующих о приключениях американцев в России, Польше, Чехии, прибалтийских странах. В числе таких романов, появившихся в начале 2000-х гг., можно назвать «Полную иллюминацию» (2002) Дж.С. Фоера (приключения молодого американца Джонатана, приехавшего искать на Украину свои корни), «Поправки» (2001) Дж. Франзена – семейную сагу, где часть действия происходит в Литве, любовный роман П. Гринберга «Прощай, Катя» (2002) – историю знакомства и женитьбы молодого американца на русской девушке, дебютный роман Г. Штейнгарта «Приключения русского дебютанта» (2002) – историю русского по происхождению нью-йоркца Владимира Гиршкина, до тридцати лет «ищущего себя», и, наконец, романы А. Филлипса «Прага» (2002) и Дж. Бекмана «Зимний зоопарк» (2002), где действие происходит в Чехии и Польше (Краков) соответственно[2].

---

[1] *Borenstein E.* Was It Sexy, or Just Soviet? The Post-Communist Expat Safari Novel Has Its Day // The Nation. February 3, 2003.

[2] *Franzen J.* The Corrections. N.Y., Farrar, Straus & Giroux. 2001. Рус. изд.: Франзен Дж. Поправки. Пер. с англ. Л. Сумм. М., Иностранка, 2008; Foer

Как справедливо пишет Э. Боренштейн, подобные романы не являются результатом «погружения автора в интересующую его чужую культуру». В основном это «записки туриста» – «почти автобиографические отчеты» молодых авторов из поколения тридцатилетних, лично побывавших в «странах бывшего Варшавского договора», или рассказы о «поиске себя» американцами, имеющими русско-славянско-еврейские корни. Боренштейн также отмечает, что до распада СССР обращение к русской славянской теме в литературе США порой диктовалось не модой, но искренним интересом.

Нечастый пример искреннего интереса к России – сборник рассказов «Она хотела стать русской» (1986) Уиллиса Джонсона[1]. Уроженец Коннектикута, журналист У. Джонсон – настоящий «янки» по отцовской линии и потомок венгерских иммигрантов с материнской стороны. Будучи в командировке, он обнаружил в штате Мэн в небольшом городе Ричмонд на берегу р. Кеннебек русскую колонию, осевшую здесь с 1952 г. Именно тогда русский эмигрант, потомок знатной российской фамилии купил здесь участок земли и начал сооружение жилого комплекса. Привлеченные его объявлениями в русскоязычных американских газетах, в Ричмонд стали съезжаться русские эмигранты, уехавшие в США после революции – в основном дворяне, стремившиеся сохранять русские обычаи и православную веру. К тому моменту, когда Джонсон попал в Ричмонд, число русских составляло около 500 человек (население же городка приближалось к 2000 жителей). Американского журналиста и литератора очень заинтересовали необычный уклад жизни, традиции, кухня, язык, культура, перенесенные в Новый Свет из царской дореволюционной России. Джонсон научился играть на балалайке и стал выступать с оркестром русских инструментов в Ричмонде. За вклад в развитие русского сообщества он и его жена получили звание «почетных русских» от местной рус-

J.S. Everything Is Illuminated. Houghton Mifflin, 2002. Рус. изд. Фоер Дж.С. Полная иллюминация. Пер. В. Арканова. М., ЭКСМО, 2005; Greenberg P. Leaving Katya. Putnam. 2002. Рус. изд: Гринберг П. Прощай, Катя. Пер. Л. Виноградовой. М., Флюид, 2004; Phillips A. Prague. Random House. 2002. Рус. изд. Филлипс А. Прага. Пер. Н. Мезина. М., ЭКСМО, 2006; Shteyngart G. The Russian Debutante Handbook. Riverhead. 2002. Штейнгарт Г. Приключения русского дебютанта. Пер. Е. Полецкой. М. Фантом-пресс. 2004; Beckman J. The Winter Zoo. Henry Holt. 2002.

[1] *Johnson W.* The Girl Who Would Be Russian and Other Stories. N.Y.; London, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1986. Далее цитаты приводятся по этому изданию.

ской общины. В своем сборнике Джонсон изобразил самого себя в образе молодого американца Кристиана, полюбившего русскую культуру и научившегося играть на балалайке.

Сборник У. Джонсона написан в традициях Шервуда Андерсона – это несколько рассказов, рисующих жизнь русской эмигрантской колонии маленького городка Планктон, быт и нравы эксцентричных «людей-гротесков». Все истории сюжетно связаны между собой, есть сквозные персонажи, кочующие из рассказа в рассказ. Кроме того, книга следует традициям костумбристской региональной словесности – не случайно ее отметили в первую очередь исследователи, занимающиеся литературой штата Мэн[1].

Русские очень отличаются от местных жителей-американцев: в тихом, неприметном городке жизнь шла «за дверями высоких, прочных, деревянных домов; там рождались и умирали так, что никто вокруг не знал, что происходит внутри. Но русские жили при открытых дверях, их постоянно было видно и слышно». Закрытость (privacy), индивидуализм англо-саксонской Америки разительно контрастирует с открытостью славянской души, с общинным укладом жизни, где все происходит «на миру» – и дружба, и вражда, и даже смерть. Подробно описываются традиции русских, их праздники, отношения, связывающие людей. Русские всегда отмечают Пасху, «громко поют посреди ночи» и «ходят вокруг церкви с зажженными свечками» (p. 5). Кроме того, они часто собираются на разные праздники в большом холле методистской церкви, громко говорят, едят блины и пирожки с капустой. «Очень скоро их лица становятся красными от водки, которую они прячут под столом, потом некоторые идут плясать, а другие шумно сморкаются и утирают слезы» (p. 4). Эти описания вложены в уста простого американца, церковного сторожа мистера Фарли, он искренне симпатизирует этим людям, которые в своей непосредственности похожи на детей.

Описание эксцентрических русских характеров, рассказ о жизненных перипетиях, выпавших на долю русских жителей Планктона, – все это окрашено добрым юмором и ностальгией: русские эмигранты – последние обломки великого кораблекрушения, носители бли-

[1] См. напр. *Robbins, Rh.*C. Wednesday's Child. Maine Writers and Publishers Alliance, 1997; Hakola J. Ethnic Voices in Maine Literature. Paper Presented at the 2000 North East Popular Culture/American Culture Association (NEPCA) conference in Springfield, MA. – dll.umaine/welcome/wom/ethnic_voices.htm

стательной культуры, безвозвратно погибшей в пожаре революции. Глава общины Планктона Максим Максимович, русский аристократ, занялся в Америке бизнесом с недвижимостью и сумел привлечь в Планктон много русских: в рекламных объявлениях, размещенных им в русскоязычных газетах, Планктон описывался как место, где есть снежные зимы, зеленые леса, уютные маленькие домики, а в речках водятся осетры – совсем как в России. Эта Россия, которой нет (и вероятно никогда и не было), существует только в их мечтах и в воспоминаниях о былой великолепной жизни в великой империи. Большинство русских обитает в «гранд-отеле» «Николай II», принадлежащем Максиму Максимовичу и его супруге. По сути, это пансионат, где сосредоточена большая часть переехавших в городок русских. Они живут, словно большая семья, а точнее, племя, в котором издавна сложились узы дружбы и вражды, где есть место как зависти, интригам так и великодушию, сочувствию, взаимопомощи.

Большинство русских почему-то считают, что настоятель церкви Казанской Божией Матери о. Виктор – «советский шпион». Максим Максимович отправляется к нему домой, чтобы постараться убедить его уехать из Планктона. Однако о. Виктор оказывается добрым и милым чудаком, сентиментальным мечтателем.

В русскую общину входит балерина Мариэтта Валентиновна: каждый год на Рождество она дает «Зимнее гала-представление» в «концерт-холле», который русская община арендует в методистской церкви. В обшарпанном зальчике, при убогом освещении и нестерпимом холоде она танцует «Умирающего лебедя». Ей аккомпанируют на пианино старенькая пьянчужка Софья Андреевна и Кристиан со своей неизменной балалайкой. Но и в этой жалкой обстановке «великая Валентиновна» свято блюдет высокие традиции русского балета. Ее идеал – Анна Павлова, с которой она однажды удостоилась пообедать вместе. Жизнь Валентиновны – героическое служение искусству. Русский идеализм, неподкупность, непрактичность противопоставляются здесь американскому материализму, практицизму и благоустроенности; аристократизм, традиционность и приверженность высокой культуре – «популярному искусству», массовому непритязательному вкусу. Вместе с тем, русским свойственны неадекватность, несовременность; это люди, которые не умеют приноравливаться к обстоятельствам и жить в ладу с обществом. Их гордыня и самомнение плохо согласуются с демократизмом и эгалитарными установками американского общества.

«Великая Валентиновна», как почти все русские Планктона, живет, главным образом, в мире своих фантазий. «Русские фантазии» могут быть возвышенны, похожи на чудесную сказку; но порой они схожи с кошмарным сном. Так, погруженность в прошлое казака Григория Смольнова (рассказ «Последняя песнь изгнанника») оборачивается безумием и саморазрушением. Как и все русские, Смольнов – человек с драматической судьбой. Он помнит ужасы гражданской войны, во время Второй мировой оказался в числе «интернированных лиц» и попал в Австрию. В конце рассказа Смольнов сходит с ума. Ему кажется, что все американцы против него, они сливаются в его больном мозгу с крысами, которые наводнили его ветхий дом, и с немецкими карателями. «Русское безумие», русское отчаяние и стоящая за всем этим трагедия, уничтожившая родину несчастных изгнанников, создают непереходимую пропасть между русскими и американцами.

Несмотря на все усилия, русским не удается откреститься от кошмара большевистской революции, гражданской войны, сталинского ГУЛАГа, кровопролитной Второй мировой, от тяжкой участи эмигрантов, беженцев, «интернированных лиц». Многие из них не в силах открыто взглянуть в лицо страшной реальности, они прячутся в мир своих фантазий, мечтаний и грез. Наверное, самый трогательный и самый символичный пример «русской грезы» – рассказ «Царская наследница», героиня которого – двенадцатилетняя Соня, дочь Максима Максимовича.

Странная девочка, наследница воздушных замков и несуществующих царских владений – печальный символ упадка и оскудения русской эмиграции. Русские, бежавшие с родины – родители, которым нечего оставить детям, кроме памяти, легенд и преданий; это царство, которое «не от мира сего». Соня – единственный ребенок во всей русской общине, и в ней одной заключается хоть какая-то надежда на будущее. Невольно вспоминаются слова Ф.М. Достоевского, вложенные им в уста генеральши Епанчиной: «Все мы за границей – одна фантазия».

Высокая культура дореволюционной России, императорская семья, судьба аристократических семейств стала темой романа Николаса Б.Николсона «Ценность» (2004). В романе представлена и современная Россия, и страницы ее истории XIX и XX вв.[1] Автор романа,

[1] *Nickolson N.B.A.* Object of Virtue. N.Y. – L. – Toronto – Sydney. Simon & Schuster, 2004. Далее цитаты приводятся по этому изданию.

специалист по русскому декоративно-прикладному искусству, долгое время работал экспертом департамента русского искусства при аукционе Christie's, был куратором серии тематических выставок «Сокровища русского императорского двора». Сам автор рассказывал в интервью, играющем роль послесловия к первому изданию романа, что Россией он увлекся еще в школе, когда прочитал Толстого и съездил на экскурсию в Ленинград и Москву[1].

Роман Н.Б. Николсона написан человеком, понимающим и любящим русское искусство и блистательное прошлое России – дореволюционную эпоху, «золотой» XIX век и век «позолоченный» – три предреволюционных десятилетия. Главные действующие лица романа Николсона – потомки русских аристократических фамилий, живущие в Нью-Йорке, Париже, Лондоне; современные русские нувориши – «олигархи» и ловкие мошенники, сколотившие колоссальные состояния в переходные 1990-е. Место действия и время действия постоянно меняются. Главная линия повествования ведет нас из Нью-Йорка в обе столицы современной России – Петербург и Москву. Детективная история, разворачивающаяся вокруг ценностей, принадлежавших семейству князей Озеровских-Шутиных – статуэтки Фаберже и драгоценной броши – заставляет обратиться к разным периодам русской и советской истории. Читатель оказывается то в Санкт-Петербурге в 1913 году, то в Париже 1962 г., то в Лондоне в 1972-м, то в голодной революционной Москве 1918 года, то в послевоенном Ленинграде (1945-й). Вставки построены как мини-новеллы, в которых, наряду с персонажами романа, действуют исторические лица – последняя императрица Александра Федоровна, великая княгиня Елизавета и ее келейница инокиня Варвара, мастер Агафон Кириллович Фаберже.

Детали материального быта вообще имеют огромное значение для автора книги: русская история в романе неразрывно связана с шедеврами декоративного искусства. С одной стороны, все эти объекты (украшения, статуэтки, мебель, картины и т.д.) – только обломки исчезнувшей высокой культуры, молчаливые, но бесценные свидетели ее существования. С другой стороны, именно через историю этих ценностей воссоздается прошлое.

Безусловным позитивным полюсом в романе стал образ княгини Нины Озеровской, матери главного героя. Мать Александра Озеров-

[1] An Interview with Nickolas B.A. Nickolson // *Nickolson N.B.A.* Object of Virtue.

ского – воплощение изящества, утонченности и вкуса; именно благодаря ей Саша выбирает профессию эксперта по драгоценным изделиям и предметам декоративно-прикладного искусства. Нина с самого раннего возраста вводит Сашу в мир красоты.

Саша работает экспертом в дилерской компании «Лейтон», и ежедневно имеет дело с драгоценностями императорской семьи и русских аристократических фамилий. Но, в отличие от его американских коллег, для него эти вещи имеют душу и живо связаны с судьбой их владельцев. Разумеется, такое отношение к ценностям сильно осложняет работу Саши: «Каждая сделка заставляла его почти физически ощущать, что совесть стоит у него одесную, а выгода – ошую» (с. 17).

Расследование обстоятельств, связанных со «Снегурочкой» – статуэткой Фаберже, некогда принадлежавшей его фамилии, вынуждает Сашу отправиться в Москву и Петербург. Это дает автору возможность показать новую, постсоветскую Россию. «Снегурочку» в «Лейтон» привозит русский дилер с говорящей фамилией – Дмитрий Дураков. Он и оказывается, в конце концов, «главным злодеем» в романе, поставившим на широкую коммерческую ногу производство подделок, имитирующих работы Фаберже и других старых русских мастеров. С Дураковым входит в роман «криминальная постсоветская Россия», образ которой предстает перед читателем во всей красе, когда начинается рассказ о приезде Саши на историческую родину. Это мир заказных убийств, невежд-нуворишей, показушной безвкусной роскоши олигархов, наркотического угара ночных клубов.

Несмотря на крикливую роскошь, Москва в целом остается шумной, грязной азиатской столицей – кавказские торговцы на улицах, криминального вида подростки на вокзалах, ансамбль балалаечников в модном ресторане «У Максима». Иначе описан в романе Петербург – бывшая имперская столица, где обшарпанные убогие хрущевки «стоят плечом к плечу, как солдаты в строю» вперемежку с мрачными домами в стиле сталинского ампира. Как молчаливые свидетели былой славы возвышаются прекрасные дворцы, статуи, украшающие центр города. Саша посещает архив, где самоотверженно трудятся за нищенскую зарплату научные работники, хранители русской культуры. Они небогаты, но это настоящие интеллигенты – гостеприимные, приветливые. Такие же открытые, доверчивые и непосредственные русские люди встречают Сашу, когда он отправляется посмотреть дворец Озеровских, где до революции жили его предки.

Саша твердо решает взять «шефство» еще над одним историческим памятником – московским монастырем Марфы и Марии на Большой Ордынке, игуменьей которой была великая княгиня Елизавета. С образами Елизаветы и инокини Варвары в роман входит тема русской святости. «Саша смотрел на белую мраморную статую великой княгини. Спокойная и изящная, она стояла лицом к монастырскому саду, рука ее был поднята в жесте благословения» (С. 264). Святость и мученичество – тайный, невидимый подвиг, который в России совершали тысячи и тысячи неизвестных подвижников. В конце романа Саша и его кузина Марина отправляются на Лубянку, чтобы ознакомиться с архивами КГБ, касающимися истории семьи. Им открывается тайная история бескорыстного героизма и самоотречения. Они узнают о подвигах простых людей – крестьян, слуг, сельской учительницы, старой няни – тех, кто остался в России, но отказывался сотрудничать с властью, разорявшей дворянские имения, уничтожавшей или продававшей за рубеж произведения искусства. С риском для жизни эти незаметные герои прятали ценности, старались сберечь все, что могли, жертвовали собой во имя русской культуры.

Автор стремится представить читателю разные лики России. Прекрасные дворцы, мосты, соборы, музеи Петербурга и Москвы – памятники той духовной высоты, которой смогла достичь русская нация. Однако рядом с красотой минувшей эпохи возвышаются безобразные артефакты настоящего. В центре Москвы рядом с красиво отреставрированной Тверской, прекрасным Казанским собором[1] соседствует «колоссального размера чудовищно безобразная статуя Петра Великого на Москве-реке» (с. 186). Так в современной постсоветской России уживаются рядом возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное. Еще одна опасность – слепое копирование западных образцов, которые, не имея в России почвы, слишком часто скрещиваются с местными – «азиатскими» и «славянскими» традициями и в итоге превращаются в нечто уродливо-карикатурное. Книга построена на характерном для американского культурного сознания противопоставлении дореволюционной России, ее высокой культуры – и советской тоталитарной России. Постсоветская реальность предстает как сложная, переходная фаза истории. Роман исполнен веры в Россию, сочувственного и горячего интереса к ее

[1] Примечательно, что автор называет собор Василия Блаженного его «настоящим названием» – «Казанский собор».

истории, к ее материальной и духовной культуре, к русскому национальному характеру.

Совершенно иное отношение к России и русским выражено в творчестве уроженца Филадельфии американского писателя Кена Калфуса (р. 1954). Он провел в России четыре года (с 1994 по 1998), много путешествовал по стране, собирая материал для книги, которая появилась в 1999 г. Это сборник «Pu-239 и другие фантазии на русскую тему»[1]. Россия у Калфуса – мир дистопии, здесь царят разруха, преступность, утрачены все моральные нормы, люди почти лишены человеческого облика. В заглавном рассказе «Pu-239» описывается Россия 1990-х. Главный герой – пятидесятилетний инженер-физик Тимофей, всю жизнь проработавший на АТС в закрытом городе, название которого позаимствовано у Достоевского, – «Скотопригоньевск-16». С распадом СССР работникам реактора перестали платить зарплату, они влачат нищенское существование; колоссальная инфляция съедает все накопления, сделанные за трудовую жизнь. Все, чем владеет Тимофей – старенькие «Жигули», маленькая квартирка. Его жена Марина не работает из-за болезни сына – восьмилетний Толя страдает астмой. Однажды на АТС происходит авария. Пострадавшего Тимофея заставляют пройти «диспансеризацию», потом отправляют в бессрочный отпуск, выдав в качестве компенсации 50 рублей.

Симптомы лучевой болезни не оставляют надежды: Тимофей, понимая, что он обречен, думает только о том, как обеспечить дальнейшее существование своей семьи. На АТС Тимофей похищает 300 г. плутония-239 – «достаточно, чтобы сделать ядерную бомбу» (с. 15) и решает отправиться в Москву, чтобы продать плутоний какому-нибудь дилеру.

Столица поразила Тимофея, который не был здесь больше четверти века. Тимофей едет на своих «Жигулях» в плотном потоке блестящих иномарок, которые нетерпеливо сигналят и мигают ему фарами; его поражает, что все надписи в центре сделаны на латинице, так что возникает ощущение, что он попал за границу: «казалось, он путешествует по столице какой-то незнакомой страны» (с. 21). Автор иронически замечает: «Кириллица, видимо, стала экзотическим фольклорным пережитком» (с. 21). Тимофей видит «Белый дом», «белый

[1] *Kalfus K.* Pu-239 and Other Russian Fantasies. Minneapolis, Milkweed Editions, 1999. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

и отполированный, словно новенький зуб, только что отреставрированный бригадой турецких рабочих, после того, как войска Ельцина обстреляли и едва не разрушили его» (с. 24).

Убогий, умирающий, почти утративший человеческий облик Тимофей предлагает свой товар Шиву – «лицу кавказской национальности», безграмотному, примитивному наркодилеру и сутенеру, который даже не в состоянии понять, о чем идет речь. Между этими двумя персонажами нет ничего общего – инженер говорит, используя научные термины, наркодилер – на чудовищном криминальном жаргоне. И тем не менее, есть нечто, что их объединяет – оба они «недочеловеки», жители антимира, где царят распад и безумие, они плоть от плоти России – «черной дыры» на карте мира. Это место, где «курят абсолютно все» и все «отравлено пестицидами, ядовитыми утечками разных газов, выделениями электрических батарей, выхлопными газами, нитратами, диоксином, токсичными тяжелыми металлами ... канцерогенными ядовитыми миазмами, которые источает разлагающаяся советская империя». Воплощение homo soveticus, Тимофей приближается к краю могилы, представляя собой «клубок разрушенных хромосом, раскрошившихся костей, истрепанных клеточных мембран и крови, почти лишенной эритроцитов». По мысли автора, это расплата за грехи нации, исповедовавшей «квази-гегельянский тезис, что человек живет не в природе, а в истории» (с. 23).

Повесть «Переделкино» посвящена жизни писательской среды в начале брежневской эры. Здесь показывается быт дачного поселка «Переделкино», московские «вечеринки» – «расхристанные, неряшливые, где все пили и покуривали марихуану, с молоденькими иностранками в мини-юбках и виниловых сапогах», где «Аксенов и Етушенко рассказывали анекдоты про Косыгина» (с. 216). Писатель подчеркивает оторванность интеллигенции от народа, глубокую вражду и непонимание между ними. Главный герой повести писатель Рэм Петрович Крылов едет в Мценск, на свой авторский литературный вечер. На вокзале его встречает пьяный грязный водитель на заляпанном грузовике, по ухабистой дороге привозит к сельскому клубу. Оказавшись после выступления среди колхозных полей, Рэм ощущает прилив тоски: «Я смотрел на бескрайнее поле, и мне вдруг представилось, что передо мной расстилается бескрайний азиатский континент, который держит Московию в заложниках, приставив ружье к ее виску» (с. 220).

Рэм Крылов – настоящий homo soveticus: его отец был убит на войне, детство его прошло в детдоме в Томске. Номенклатурщик Борис

Сорокин («старый толстый ублюдок, один из основателей РАППА», (с. 231) ввел его в круг литераторов и сделал «настоящим совписом, до самых потрохов» (с. 235). Теперь у Крылова есть просторная квартира на улице Воровского и дача в Переделкино, где их соседи – Чуковский, вдова Пастернака, Лиля Брик и Константин Федин. Однако жизнь привилегированных советских писателей проходит в атмосфере страха, подозрительности, наушничества и строгого надзора.

В повести описывается реакция писателей на «пражскую весну» и ввод советских танков в Чехословакию. Писатели ограничиваются разговорами на кухнях, и только диссидентка Марина Бурчаткина, дерзнувшая издать свой роман на Западе, обнародует свое открытое письмо в Политбюро, которое напечатали все западные газеты. После этого *отчаянного поступка* ей остается только эмигрировать.

Извращенное сознание «человека советского» представлено и в рассказе «Орбита». Достижения советской космонавтики – это тема, в ходе холодной войны постоянно муссировавшаяся в прессе и довольно быстро ставшая одним из стереотипов, из которых слагается образ Советского Союза на Западе. В семидесятые годы она привлекла внимание Тома Вулфа, который в документальном романе «Битва за космос»[1] рассказывает о событиях 1950 – 1960-х гг., когда противостояние между двумя сверхдержавами вышло на новый виток и началась битва за освоение космического пространства. Книга построена на многочисленных интервью с участниками американской космической программы. Американцы искренне недоумевали, как может «империя зла» делать столь поразительные успехи в космическом кораблестроении, в запусках ракет? В рассказе Калфус дает свой ответ на этот же вопрос – все дело в человеческом факторе, рабском и заидеологизированном сознании homo soveticus.

В «Орбите» повествуется о судьбе гениального конструктора Королева, изведавшего все ужасы сталинизма – арест, десять лет колымских лагерей, труд, болезни, побои, работа в «шарашке» в годы войны, и все же продолжавшего самоотверженно трудиться ради этой страны и не утратившего веру в нее. Другой персонаж – Юрий (Гагарин), будущий первый космонавт, предстает как «советский автомат»: его голова набита идеологическими и пропагандистскими клише. Он верит, что среди команды «спецов», готовящих полет, есть агент ЦРУ;

[1] *Wolfe T.* The Right Stuff. N.Y., Farrar, Strauss, Giroux. 1979. Рус. изд.: Вулф Т. Битва за космос. СПб, Амфора, 2000.

он убежден, что полет в космос – неизбежная ступень в развитии социалистического общества: наверное, только в космосе возможно создание настоящего коммунистического общества, свободного от земных несовершенств и компромиссов.

Тайну «загадочной русской души» Кен Калфус пытается раскрыть в сказке-притче «Соль», где рассказывается о том, как Иван торговал солью с неким царством-государством, но любая плата казалась ему унизительной. Его одолевают «разные мысли»: «В чем ценность золота? Оно вещь глупая и бесполезная... Вся его ценность только в том и состоит, что мы договорились считать золото ценным. Это всего лишь эфемерная мода... Золото – это те же деньги. А деньги – это хитрая механика, придуманная иностранцами и евреями» (с. 177). Не согласен он и жениться на принцессе – женская красота тоже вещь «эферемерная» и скоропортящаяся. Ощущая себя обиженным, Иван каждый раз совершает все более опустошительные набеги на «облагодетельствованное им» царство-государство» (цивилизованный мир).

Как выясняется, свойства русской души, которые считались возвышенными, свидетельствующими об особой духовной глубине – непрактичность, склонность к философствованию, жажда справедливости – вовсе не являются таковыми. «Русская душа» есть вредоносное, разрушительное начало, несущее угрозу благоустроенному, цивилизованному западному миру порядка и комфорта.

Девяностые годы стали предметом изображения в книге А. Дж. Перри «Двенадцать рассказов о России. Что-то вроде романа», вышедшей в издательстве «Глас» в 2002 г.[1] Название книги многозначно: это не только «двенадцать историй», но и «двенадцать этажей» – герой живет в Москве в квартире на двенадцатом этаже. Впечатления эксцентричного молодого американца, приехавшего в 1991 году в Россию чтобы преподавать английский язык, написаны с опорой на традиции абсурдисткого юмора: это и английский нонсенс, и Даниил Хармс, имя которого часто фигурирует в романе, и Венедикт Ерофеев, с которым Перри сравнивает А. Генис в кратком рекламном тексте на обложке. Книга шестая в романе Перри построена по образцу книги Ерофеева «Москва-Петушки»: герой едет в метро от Выхино до Войковской с пересадкой на Пушкинской, и от станции до станции

[1] *Perry A.J.* Twelve Stories of Russia: a Novel, I Guess. M.: Glas, 2002. Далее все цитаты приводятся по этому изданию.

большие отрезки его московской жизни проходят перед его глазами. Кроме того, в тексте постоянно появляется имя Толстого (на протяжении всей своей «русской эпопеи» герой читает «Анну Каренину») и Пушкин (о котором особенно любят говорить его русские собеседники). Искренняя симпатия к России, любовь к русским друзьям, стремление разобраться в русских головоломках сочетается у Перри с убежденностью в том, что различия двух разных культур не могут быть преодолены, да это, в сущности, и не нужно: ведь именно инаковость создает разнообразие и богатство.

Отправляясь в Москву, незадачливый американец Джеймс мечтает отыскать «одиннадцать желтых слов» – самых главных, которые помогут ему постичь загадочную русскую душу. Познать язык – значит, познать душу народа. Многое в русском языке, который он постепенно выучивает, остается ему непонятным – точно так же, как он никак не может объяснить своим русским ученикам правила английской и грамматики. В споре с русскими американец говорит, что русские не умеют веселиться – have fun, но собеседник парирует: «Зато у вас, американцев, нет души» (с. 217). Последним убийственным аргументом становится неоспоримое преимущество русских ругательств.

Наивный американский гость постепенно приобщается к русской жизни: учится стоять в очередях, пить водку, сидя на кухне, вести долгие русские разговоры. Джеймс сталкивается и с жестоким русским абсурдом: это и четырехчасовое стояние в очереди за картошкой, которая при этом ему совсем не нужна; это и целая одиссея, которую пришлось пережить незадачливому путешественнику при первом выезде из России на родину: герой оказывается в милиции аэропорта «Шереметьево», его сажают в «обезьянник». Однако жестокость и кафкианская непостижимость российской бюрократии компенсируются «человеческим фактором» – сочувствием и взаимовыручкой, которые царят в отношениях между людьми.

Постепенно чтение Даниила Хармса и накопившийся опыт «русской жизни» приводят к внутренним изменениям: Джеймс все меньше похож на американца и все больше напоминает русского. Быт его становится все беспорядочней, он теряет работу, живет почти без денег, чистит зубы не каждый день, а когда его «берет тоска», может целыми днями лежать на диване, ничего не делая. Однако он сохраняет решимость идти до конца, в надежде открыть тайну русского сфинкса. Познание России он сравнивает с освоением русского алфавита: «К счастью алфавит не состоит из частей, он имеет смысл только как

единое целое. Важно, что буквы идут друг за другом в определенном порядке. И вот ты начинаешь с А и постепенно движешься вперед, и если ты не позволишь сбить себя с толку, то рано или поздно доберешься до Я» (С. 44). Перри остроумно замечает, что вначале русский алфавит похож на английский, но потом начинаются все более странные и причудливые буквы (Ч, Ш, Ц, Ы) – чем ближе к концу, тем труднее. Но главное – идти вперед, и решимость будет вознаграждена.

Иначе говоря, главное – это «гештальт», умение воспринять Россию как целое. Россия – удивительная страна, где не работает аналитический подход: ее можно любить (принимать) или ненавидеть (отвергать), но не усваивать по частям, не сортировать: это мне нравится, а вот это – нет. Только в конце русской одиссеи у него возникает «гештальт» – однако главная тайна России так и остается неразгаданной.

Прожив вместе со «своей Россией» семь лет (1991–1998) Джеймс готовится покинуть страну, где он стал почти «своим». Перед отъездом он внимательно рассматривает в метро людей и думает, что все они и каждый в отдельности и составляют Россию – «его Россию», которую он успел если не узнать, то по-своему принять и полюбить.

Джеймс задается гоголевским вопросом о будущем России: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». Он так и не отыскал самое загадочное «одиннадцатое желтое слово». Зато теперь у него есть «двенадцатое слово» вмещающее в себя все предыдущие. Это слово «Россия», сумма его знаний и опыта, итог семи лет, проведенных в Москве.

* * *

Образ России в американском культурном воображаемом – явление сложное и динамичное. Этот образ многослоен: складываясь на протяжении трех веков, он содержит различные составляющие, восходящие к разным эпохам. Важную роль в его кристаллизации сыграли ряд стереотипов и топосов – как заимствованных из других культур, так и выработанных в культуре США. Первые стереотипы и топосы возникают еще в XVII веке и связаны с образом «экзотического другого» и «другого-чужого». Это такие важные стереотипы, как «варварство», «Восток», «деспотия». Период дружественных отношений, пришедшийся на первые две трети XIX века, принес новую топику – Россия как страна высокой культуры, русские как европейцы, актуализируется стереотип «русской (славянской) души», ставший собира-

тельным обозначением другого как притягательного иного, потенциального резерва для восполнения собственной неполноты.

В XX веке образ России пополняется новыми ипостасями – возникает противопоставление / сопоставление России дореволюционной и России большевистской; с обеими ипостасями сложным образом взаимодействуют сложившиеся в XVIII и XIX вв. топосы и стереотипы. Сознательное конструирование образа «враждебного чужого» наблюдается в годы холодной войны, а также попытки (более и менее успешные) его демонтажа и преодоления власти стереотипов.

В XX веке на разных уровнях и в разных регистрах американской культуры наблюдаются множественные переклички, общие лейтмотивы, единая топика, позволяющая констатировать цельность и объемность существующего в культуре США образа России и русских. Принимая во внимание дискурсивные различия и различия в прагматике, мы, тем не менее, предприняли попытку вычленить и продемонстрировать основные слагаемые образа, обратившись к текстам, создававшимся в разных областях культуры – политологии, популярной науке, журналистике, литературе и массовой культуре.

Литература

Тексты

Adams J.Q. Essay on Russia // The American Image of Russia, 1775-1917. Ed. E.Anschel. N.Y., Frederick Ungar Publishing Co., 1975. P. 29-32.

Adams H. The Letters. Boston, Houghton Mifflin, 1930.

Baker P., Glasser S.. Kremlin Rising. Vladimir Putin's Russia and he End of Revolution. N.Y. Scribner, 2005

Bellow S. Herzog. N.Y., Viking Press, 1964. Рус. изд: Беллоу С. Герцог. Пер. с англ. В.А.Харитонова // Дж.Апдайк «Кентавр». С.Беллоу «Герцог». М.: НФ «Пушкинская библиотека»: ООО «Издательство АСТ», 2003.

Billington J.H. Russia in Search of Itself. Washington; London. Woodraw Wilson Center Press. 2004; Рус. изд. -- Биллингтон Дж. «Россия в поисках себя». М., РОССПЭН, 2005.

Brzezinki Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. N.Y., Basic Books, 1997. Рус. изд.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. Пер. с англ. О.Ю.Уральской. М., Международные отношения, 1998.

Coleman F. The Decline and Fall of the Soviet Empire: Forty Years that Shook the World from Stalin to Yeltsin. N.Y., St. Martin's Griffin, 1996

Dos Passos J. The Best Times: An Informal Memoir. N.Y., New American Library, 1966.

Dos Passos J. Journeys Between Wars. N.Y., Harcourt, Brace & Co., 1938.

The Fourteenth Chronicle. Letters and Diaries of John Dos Passos. Boston, Gambit Inc, 1973.

Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y., Free Press, 1992. Рус. изд.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. Пер. с англ. М.Б.Левина. М., АСТ: Ермак. 2005.

Gibson W. Pattern Recognition. N.Y., G.P.Putnam's Sons, 2003. Рус. изд.: Гибсон У. Распознавание образов. Пер. с англ. Н.М.: АСТ, 2004.

Huntington S.P. Clash of Civilizations. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996. Рус. изд.:. Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Ю.Новиковой, Т.Велимеева. М, ООО АСТ, 2003.

Johnson W. The Girl Who Would Be Russian and Other Stories. N.Y.; London, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1986.

Kalfus K. Pu-239 and Other Russian Fantasies. Minneapolis, Milkweed Editions, 1999.

Kennan G. Siberia and the Exile System. N.Y., The Century Co., 1891. 2 vols. Рус. изд.: Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. В 2-х тт. Пер. с англ. И.А. Богданова. СПб, Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 1999.

Kennan G. Tent Life in Siberia: Adventures Among the Koryaks and Other Tribes in Kamchatka and Northern Asia, N.Y., Putnam and Sons, 1870. Рус. изд.: Кеннан Дж. Кочевая жизнь в Сибири. Приключения среди коряков и других племен Камчатки и Северной Азии. СПб., 1872.

Kennan G.Jr. Memoirs 1925-1950. Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1967. Рус. изд.: Кеннан Дж.- мл. Дипломатия Второй мировой во-

йны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. М.: Центрполиграф, 2002.

Kerouac J. Desolation Angels. N.Y., Coward McCann, 1965. Рус. изд.: Керуак Дж. Ангелы одиночества. Пер. с англ. М.Шараева // Керуак Дж. Подземные. Ангелы одиночества М.: Просодия, 2002.

Ledyard J. John Ledyard's Journey through Russia and Siberia 1787-1788. The Journal and Selected Letters. Ed. Stephen D.Watrous. Madison (Wisc), University of Wisconsin Press, 1966.

Ludlum, R. The Cassandra Compact. N.Y., St. Martin's Griffin, 2001; Рус. изд.: Ладлэм Р. Заговор «Кассандры». Пер. с англ. Р.Волошина. М., Эксмо, 2002.

Ludlum R., Larkin P. The Moscow Vector. N.Y., St. Martin's Griffin, 2005. Рус. изд.: Ладлэм Р., Ларкин Ф. «Московский вектор». Пер. с англ. Ю.Волковой. М., Эксмо, 2006.

Ludlum, R., Shelby Ph. The Tristan Betrayal (2003). London, Orion, 2004. Рус. изд.: Ладлэм Р. Предательство Тристана. Пер. с англ. П.Рубцова. М., Эксмо, 2004.

Nickolson N.B.A. Object of Virtue. N.Y. – L. – Toronto – Sydney. Simon & Schuster, 2004.

Nox T. Overland through Asia: Pictures of Siberian, Chinese and Tartar Life. Hartford (CT), American Publishing Co, 1870.

Page M. Moscow Yankee. Van Rees Press, 1935. Рус. изд.: Пейдж М. Московские янки. М., 1935.

Perry A.J. Twelve Stories of Russia: a Novel, I Guess. M., Glas, 2002.

Pierpont J. The American First Class Book: or, Exercises in Reading and Recitation. Boston, Fowlie, 1823.

Ponafidine-Cochrane E. Russia – My Home. An Intimate Record of Personal Experience Before, During and After Bolshevist Revolution. Indianapolis, The Dods-Meml Co., 1931.

Prime S. The Alhambra and the Kremlin: The South and North of Europe. N.Y., A.D.F. Randolf & Co., 1873

Proctor E. A Russian Journey, Boston, James R. Osgood, 1872.

Rand A. We the Living. N.Y., Signet, 1987.

Remnick D. Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. N.Y., Vintage Books, 1994.

Rude and Barbarous Kingdom: Russia in the Accounts of Sixteenth-Century English Voyagers. Ed. Lloyd E. Berry, Robert O.Crummy. Madison (Wisc.), University of Wisconsin Press, 1968.

Satter D. Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union. New Heaven and London, Yale University Press, 2001. Рус. изд.: Саттер Д. Век безумия: распад и падение Советского Союза. М., ОГИ, 2005.

Schurz C. Reminiscences. N.Y., McLure Publ. Co., 1907.

Schuyler E. Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara and Kuldja. N.Y., Scribner, Armstrong, 1877.

Smith M.C. Gorky Park. N.Y., Random House, 1981. Рус. изд.: Смит М.К. Парк Горького. Пер. с англ. В. Павлова. М., Новости. 1993.

Smith M.C. Havana Bay. N.Y., Random House, 1999.

Smith M.C. Polar Star. N.Y., Random House, 1989. Рус. изд.: Смит М.К. Полярная звезда. Пер. с англ. Н.Знаменской, А.Костаняна, Ю. Кирьяка. М., «Новости», 1993.

Smith M.C. Red Square. N.Y., Random House, 1992. Рус. изд.: Смит М.К. Красная площадь. Пер. с англ. Н.Знаменской, Ю.Кирьяк, А.Костанян. М.: Новости, 1994.

Smith M.C. Stalin's Ghost. N.Y., Simon & Schuster, 2007.

Smith M.C. Wolves Eat Dogs. N.Y., Simon & Schuster, 2004.

Spinrad N. Russian Spring. N.Y., Bantam Books, 1991. Рус. изд.: Спинрад Н. Русская весна. Пер. с англ. Н.А.Задорожной, А.И.Корженевского. М., Текст, 1992.

Steinbeck J. Russian Journal. N.Y., Penguin, 1999. Рус. изд: Стейнбек Дж. Русский дневник. Пер. с англ. Е.Р.Рождественской. М., Мысль. 1989.

Talvi. Historical View of the Languages and Literature of the Slavic Nations; with a Sketch of their Popular Poetry. N.Y., Putnam, 1850.

Wolfe T. The Right Stuff. N.Y., Farrar, Strauss, Giroux. 1979. Рус. изд.: Вулф Т. Битва за космос. СПб, Амфора, 2000.

Драйзер Т. Драйзер смотрит на Россию // Драйзер Т. Жизнь, искусство и Америка. М., Радуга. 1988.

Переписка Дос Пассоса с С.Динамовым и У.Кармоном. Публ. Е.М.Салмановой // Новое литературное обозрение, 1993, № 4.

Переписка И.С.Тургенева и Ю.Скайлера. Публикация писем А.Н.Николюкина // Вопросы литературы, 1983, № 9.

Bellow S. Intellectuals in the Period of the Cold War. Public Lecture at Collegium Budapest. Рус. пер. – Беллоу С. «Писатели, интеллектуалы, политики: воспоминания о главном». Пер. с англ. М.Штейнман // «Иностранная литература», 2005, № 12, С. 191-205.

Child R.W. The Better Half of Russia // Century Illustrated Monthly Magazine. N.Y., 1916, # 92.

Historicus. Manners and Customs of the Russian Peasants // Literary Museum (West-Chester, Penn.), March, 1797.

Wittier J.G. Pushkin // The National Era, Washington, 1847, Feb. 11, vol.I, # 6.

Литература на русском языке

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения: 1815-1832. М., Наука, 1975.

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски: 1834-1867. М., Наука, 1990.

Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775-1815. М., Наука, 1966.

Бойм С. Общие места. Мифологии повседневной жизни в России. М., НЛО, 2002.

Глазами друзей. Зарубежные писатели о Советском Союзе. М., Художе-

ственная литература, 1982.

Кубанев Н.А. Литературные связи между Россией и США и проблемы взаимовлияния литератур. 1917-1991. Арзамас, 1993.

Лайнбарджер П. Психологическая война. М., Воениздат, 1962.

Лаптева Е.В. Американское россиеведение: образ России. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та ; Пермь, Перм. гос. пед. ун-т, 2004;

Лаптева Е.В. Американское россиеведение 1970-2000 гг. : характерные черты социокультурных исследований : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Тюмень, Тюмен. гос. ун-т, 2005.

Малкин М.М. Гражданская война в США и царская Россия. М.-Л., Соцэкгиз, 1939.

Мальков В.Л. «Манхэттенский проект»: разведка и дипломатия. [Атом. секреты начала холодной войны]. М., Наука, 1995.

Меламед Е. Джордж Кеннан против царизма. М., Книга, 1981.

Неизданные письма иностранных писателей XVIII-XIX веков из ленинградских рукописных собраний. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960.

Николюкин А.Н. Литературные связи России и США: становление литературных контактов. М., Наука, 1981.

Октябрь в литературе США. 1917-1920. М. Высшая школа, 1968.

Пейн Т. Избранные сочинения. Пер. с англ. А.С.Богомолова. М., изд-во АН СССР, 1959.

Писатели мира. Октябрь и литература. М., Прогресс, 1978.

Пономарев В.Н. Крымская война и русско-американские отношения, М., Институт российской истории РАН, 1993.

Рис Н. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., НЛО, 2005.

Россия и США: архивные документы и исторические исследования. М., ИНИОН РАН, 1984.

Сушкова В.Н. Советско-американские литературные связи. 20-30-е годы. Владивосток, Гос. Дальневосточный ун-т, 1986.

Ужегова З.А. Образ «новой» России на Западе (по материалам американской и британской прессы): автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. иностр. яз., 1999.

Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде 1945-1954 г. М., Институт российской истории РАН, 1999.

Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного века. М., Молодая гвардия, 1984.

Александров В. Американский поэт о Пушкине // Вопросы литературы, 1979, № 6. С.159-164.

Архипов И., Черменский А., Баунов А. Рыцари печатного образа // Русский Newsweek. 10.07.2006.

Зверев А.М. Стереотипы России: варварство и Восток // Россия и США: формы литературного диалога. РГГУ-Гос. ун-т шт. Огайо, М., 2000.

Лелчук А. Памяти Сола Беллоу // Иностранная литература. 2005, № 5.

Пряничников А.С. Американская пресса о России по итогам 2000-2002

гг. // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Междунар. отношения. - 2003. - № 1. - С. 74-89.

Сол Н.Э. Простаки за границей или Как американцы и русские открывали друг друга. 1867-1881 // Американский ежегодник. М., Наука, 1993.

Литература на иностранных языках

The American Image of Russia. 1775-1917. Ed. E.Anschel. N.Y., Frederick Ungar Publishing Co. 1975.

The American Image of Russia, 1917-1977. Ed. B.L. Grayson. N.Y., Frederick Ungar Publishing Co., 1978.

Aslund A. Gorbachev's Struggle for Economic Reform. London, Pitner, 1989.

Billington J.H. Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith. New Brunswick (N.J.), Transaction Publishers, 1998.

Billington J.H. The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture. N.Y., Random House, 1970. Рус. изд.: Биллингтон Дж. Икона и топор. Опыт истолкования русской истории. М., Рудомино, 2001.

Brooks J. When Russia Learned to Read. Princeton, Princeton Univ. Press, 1985.

The Cambridge Companion to Modern Russian Culture. Cambridge (Mass.), Harvard UP, 1998.

Coleman F. The Decline and Fall of the Soviet Empire: Forty Years that Shook the World from Stalin to Yeltsin. N.Y., St. Martin's Griffin, 1996.

Colton T. The Dilemma of Reform in the Soviet Union. N.Y., Council on Foreign Relations, 1984.

Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev. Durham; London, Duke UP, 1999.

The Culture of the Stalin Period. Ed. Y.Gunther. L., MacMillan, 1990.

Dunham V. In Stalin's Time. Cambridge (Mass.), Harvard UP, 1976.

Fainsod M. How the Soviet Union Is Governed. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1979.

Fitzpatrick S. The Russian Revolution. N.Y., Oxford University Press, 1982.

Foer J.S.. Everything Is Illuminated. Houghton Mifflin, 2002. Рус. изд.: Фоер Дж. С. Полная иллюминация. Пер. В.Арканова. М., ЭКСМО, 2005.

Franzen J. The Corrections. N.Y., Farrar, Straus & Giroux. 2001 Рус. изд.: Франзен Дж. Поправки. Пер с англ. Л.Сумм. М., Иностранка, 2008.

Gaddis J.L. The Cold War: a New History. Penguin Press, 2005.

Gaddis J.L. Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy. N.Y., Oxford University Press, 1982.

Gaddis J.L. The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations. N.Y., Oxford University Press, 1992.

Goldman M.I. Gorbachev's Challenge: Economic Reform in the Age of High Technology. N.Y., Norton, 1987.

Greenberg P. Leaving Katya. Putnam. 2002. Рус. изд: Гринберг П. Прощай, Катя. Пер. с англ. Л.Виноградовой. М., Флюид, 2004;

Hakola J. Ethnic Voices in Maine Literature. Paper presented at the 2000

North East Popular Culture/American Culture Association (NEPCA) conference in Springfield, MA. -- dll.umaine/welcome/wom/ethnic_voices.htm

Hochschield A. The Unique Ghost. Russians Remember Stalin. N.Y., Viking Press, 1994.

Hofstadter R. The Age of Reform. N.Y., Alfred A.Knopf, 1955.

Holzle E. Russland und Amerika: Aufbruch und Begegnung zweier Weltmachte. Munich, R. Oldenburg, 1953.

Howells W.D. My Literary Passions: Criticism and Fiction. N.Y., Harpers and Brothers. 1910.

Kaiser R.G. Russia: The People and the Power, N,Y., Atheneum, 1976.

Kaiser R.G. Why Gorbachev Happened. N.Y., Simon & Schuster, 1992.

Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London, Fontana Press, 1989.

Lahusen T. How Life Writes the Book: Real Socialism To Socialist Realism in Stalin's Russia. Ithaca, Cornwell UP, 1997.

Lane D. The End of Inequlity? Stratification Under State Socialism. London, Hammondsworth, Penguin Books, 1971.

Lane D. Politics and Society in the USSR. London, Weidenfield & Nicholson, 1970.

Laserson M. The American Impact on Russia, Diplomatical and Ideological. 1874-1917. N.Y., MacMillan, 1950.

MacAuley M. Soviet Politics: 1917-1991. N.Y., Oxford University Press, 1991.

Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore. 1917-1953. Bloomington, Indiana UP, 1995.

Merk F. Manifest Destiny and Mission in American History: a Reinterpretation. N.Y., Alfred A.Knopf, 1963.

Miller F.J., Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudo-Folklore of the Stalin Era. Armonk, N.Y., M.E. Sharpe, 1990.

Nicosia G. Memory Babe: a Critical Biography of Jack Kerouac. N.Y., A Fred Jordan Book, 1983.

Phillips A. Prague. Random House. 2002. Рус. изд.: Филлипс А. Прага. Пер. с англ. Н.М.Мезина. М., ЭКСМО, 2006.

Pipes R. Russia under the Bolshevik Regime. N.Y., Alfred A.Knopf, 1993.

Re-thinking the Cold War. Ed. A.Hunter. Philadelphia, Temple University Press, 1998.

Robbins, Rh. C. Wednesday's Child. Maine Writers and Publishers Alliance, 1997.

Russian Cultural Studies. Ed. Catriona Kelly and David Shepherd. Oxford, Oxford University Press, 1998.

Russian Culture at the Crossroads: Paradoxes of Post-Communist Consciousness. Ed. Dmitri N.Shalin. Boulder, Westview Press, 1996.

Russians. N.Y.: Random House, 1990

Shapiro L. Totalitarianism. London, MacMillan, 1979.

Smith H. The New Russians. N.Y., Random House, 1990.

Smith H. The Russians. N.Y., Quadrangle; The New York Times Book

Company, 1977.

Saul N.E. Distant Friends: The United States and Russia, 1763-1867. Lawrence (Kansas), University Press of Kansas, 1991.

Soviet Hieroglyphics: Visual Culture in Late 20th Century Russia. Ed. N.Condee. Bloomington, Indiana UP, 1995.

Strout C. The American Image of the Old World. N.Y., Harper & Row, 1963.

Ticktin H. Origins of the Crisis in the USSR: Essays on the Political Economy of a Disintegrating System. N.Y., M.E.Sharpe, 1992.

Travis F. George Kennan and Russia, 1865-1905. Atlanta (Ga), Emory University Press, 1974.

Tytell, J. Naked Angels. The Lives and Literature of the Beat Generation. N.Y., Atlantic Monthly Press, 1973.

Ward C., Stalin's Russia. L.-N.Y.-Melbourne-Auckland, 1998.

Bell J. Making Friends with the Soviets in the Era of Stalin // Diplomatic History, Vol. 32, issue 2, April 2008. P.269-271.

Borenstein E. Was It Sexy, or Just Soviet? The Post-Communist Expat Safari Novel Has Its Day // The Nation. February 3, 2003

Botts J. "Nothing to Seek... and Nothing to Defend". George F.Kennan's Core Values and American Foreign Policy 1938-1993 // Diplomatic History, Vol. 30, issue 5, November 2006. P. 839-866.

Chapman R. Cold War Legacies: The Migration and Transformation of Popular/Unpopular Culture // Journal of Cold War Studies. Vol. 9, # 3, Summer 2007.

Devin M.J. From World War to Cold War // Diplomatic History, Vol. 32, issue 1, January 2008. P. 149-152.

Etheridge B.C. The Desert Fox, Memory Diplomacy and German Question in Early Cold War America // Diplomatic History, Vol. 32, issue 2, April 2008. P. 207-238.

Fuchs D. Saul Bellow and the Example of Dostoyevsky // Saul Bellow. Ed. H.Bloom. N.Y., Chelsea, 1986. P. 211-233.

Hamby A.L. Red Spies Everywhere // Diplomatic History, Vol. 30, issue 3, January 2008. P. 565-570.

Kennen E. Moscovite Political Folkways // Slavic Review, 1986, # 45.

Logevall F. A Critique of Containment // Diplomatic History, Vol 28, issue 4, September 2004. P. 473-499.

Lundestad G. American Grand Strategy since 1940: Political Science and History // Diplomatic History, Vol. 31, issue 4, September 2007. P. 787-791.

Robin R. The Making of the Cold War Enemy // Culture and Politics in the Military Intellectual Complex. Princeton University Press, 2003.

Weiler P. The Cultural Cold War // Diplomatic History, Vol. 29, issue 4, September 2005. P. 729-732.

О.Е. Фалковски

ВЕКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ РОССИИ В КАНАДЕ

> Я не принадлежу к тем, кто считает,
> что будущее Канады неизбежно приведет
> к ее аннексии Соединенными Штатами.
> Канада обладает всеми признаками
> независимой великой страны. Ей предначертано
> стать Россией Нового Света.
>
> *Б. Дизраэли*

О превращении границы в точку

В 2007 году Канада отмечала 140-летие создания Канадской Конфедерации. В рамках встреч официальных лиц России и Канады постоянно делается акцент на то, что Россия и Канада – соседи и что именно по принципу «добрососедских» отношений должно строится взаимодействие между двумя странами[1].

Россия часто называет Канаду «соседом через Северный полюс», несмотря на то, что вся наша «общая граница» сегодня сосредоточена в географической точке, в которой сходятся полярные арктические сектора обеих стран[2]. Однако следует помнить, что 140 лет назад территории тогдашней России и современной Канады имели более чем

---

[1] Примечательно, что с началом установления дипломатических отношений между Россией и Канадой, в Канаде вышла книга о дружественной политике двух стран в отношении друг друга: Davies R. A. Canada and Russia. Friends and Neighbours. Toronto, 1944.

[2] В 1988 г. русско-канадская экспедиция по исследованию Северного Полюса через льды Ледовитого океана за три с половиной месяца пришла пешком из России в Канаду, не заходя в другие страны.

тысячекилометровую общую сухопутную границу. Правда продолжалось это «тесное соседство» всего три с половиной месяца.

Появление северо-американской границы России было обусловлено сугубо личными интересами. «Открыли» эту часть Северной Америки русские казаки-землепроходцы (их тогда называли «промышленниками» – в том смысле, что они пришли в Америку из Сибири промышлять пушного зверя). Имперских амбиций у казаков не было, и они начали осваивать эту землю не для России и не для «всего мира», а для себя. Позднее Петр I отправил Витуса Беринга разведать и нанести на карту «неведомую землицу» за «ледяным морем». Экспедиция Беринга в Северную Америку через Сибирь и Камчатку длилась шестнадцать лет. Лишь в 1741 году берег Аляски обнаружил корабль Алексея Чирикова – верного спутника Беринга. Именно тогда «официальные» посланцы Российского государства впервые ступили на землю Аляски и объявили ее российским владением.

В 1799 году была создана «Российско-американская компания», до 1867 года управлявшая своими землями, получившими официальное название «Русская Америка». Над северо-западной частью Американского континента взвился русский триколор, на расширенной верхней полосе которого император Павел I дал право поместить российский национальный символ – двуглавого орла. Началось экономическое и культурное освоение «Русской Америки», стали создаваться православные поселения, состоявшие, в основном, из новообращенных коренных жителей.

После неудачной для России Крымской войны 1853–1856 годов, когда британские войска попытались высадиться даже на Камчатке, Александр II понял, что малонаселенную и лишенную достаточных собственных источников продовольствия «Русскую Америку» России не удержать: слишком далекой и слишком «дорогостоящей» она была для Империи. Потенциально заинтересованных покупателей этой земли было двое: США и Великобритания, которая за три с половиной месяца до российско-американской сделки, провозгласила на границе с тогда еще «Русской Америкой», а тремя месяцами позже Американской Аляской, свой доминион – Канадскую Конфедерацию.[1] Так «общая» российско-канадская граница ужалась до точки, которая, тем не менее, остается точкой пересечения во взаимодействии двух стран.

[1] Подробнее о России и Северной Америке см.: «Россия и Америка в мировом историческом процессе XVIII–XX вв.», М.: ИВИ РАН, 2004.

Пограничная точка в политической системе координат

Политическое и экономическое сотрудничество и дружба между двумя странами наиболее существенно проявились во время Первой мировой войны, когда Канада поставляла России ледоколы. В период Второй мировой войны Канада также состояла в союзной коалиции. В Приморском Крае существует Воинский мемориал Великобритании, США и Канады, где захоронены погибшие на Севере военнослужащие союзных стран и участники северных конвоев[1]. Именно в годы Второй мировой войны (в 1942 г.) установились дипломатические отношения между СССР и Канадой[2].

Анализируя канадо-советские отношения 1940-х годов, канадский историк Дональд Пейдж не только расмматривает политичекое и экономическое взаимодействие двух стран, но и ставит своей задачей «узнать русских» через характеристику сущности жизненного уклада в СССР, через проводимую государством внешнюю и внутреннюю политику. Основным материалом исследования послужили отчеты первого канадского посла в СССР Д. Уилгресса и поверенных в делах Канады в СССР Л. Мейранда и Л. Форда, хранящиеся в архивах национальной библиотеки в Оттаве. Особое внимание историк уделяет бытовому аспекту советской действительности, развенчивая миф о «социалистическом благоденствии» и показывая многочисленные противоречия и расхождения между советской идеологией и реальной жизнью[3].

В период холодной войны Канада, как известно, также не вела откровенно агрессивной политики по отношению к СССР и заняла по-

---

[1] Взаимодействие СССР и стран-союзников в годы Второй мировой войны подробно описывается в монографии Л.В. Поздеевой «Канада в годы Второй мировой войны», М., 1986; книге британских историков А. Хога и Б. Рутта о военно-морских операциях в арктических водах 1941–1945 гг.: Ruegg, Bob and Arnold Hague. Convoys to Russia: Allied Convoys and Naval Surface Operations in Arctic Waters 1941–1945. Kendal, England: World Ship Society, 1992 и др.

[2] См. информационный бюллетень МИД РФ от 13 июня 2002 г., посвященный 60-летию установления дипломатических отношений и 10-летию подписания Договора о согласии и сотрудничестве между Россией и Канадой.

[3] *Page D.* Getting to know Russians – 1943–1948 // Canadian-Soviet relation 1939–1980. Ed. by Balawyder A. Oakville, 1981. P. 15-39.

зицию «золотой середины»[1], хотя конфронтация в канадо-советских отношениях все же имела место[2].

Сегодня Канада видит в России политического и экономического партнера, и, учитывая накопленный Россией опыт в развитии северных регионов, партнера в освоении Севера.

Пятнадцать лет назад была создана неправительственная ассоциация «Северный Форум», объединившая 17 регионов из 9 стран с целью решения общих проблем, характерных для северных регионов. Практическая деятельность «Северного Форума» сосредоточена на реализации пяти программ: охрана окружающей среды; общество и культура; устойчивое развитие северных регионов; управление на севере; реагирование на чрезвычайные ситуации.

Север и Арктика – одна из наиболее перспективных областей русско-канадского сотрудничества. Именно Север – основная точка сближения, взаимного притяжения и симпатии между Канадой и Россией, именно в этой точке пересекаются интересы двух стран («канадский сектор» занимает приблизительно 25% Арктики, «русский сектор» – 40%). Поскольку США не признают суверенитета Канады над акваторией Арктического архипелага, Россия в настоящее время рассматривается Канадой как «естественный союзник» в вопросах укрепления национального контроля (политического, экономического, экологического) над арктическими акваториями, прилегающими к каждой из стран. Кроме того, опыт освоения Севера и Арктики двумя государствами имеет «экономико-географические аналоги»[3]. Помимо того, что между двумя странами налажено тесное бизнес-сотрудничество в северном регионе[4], Канада и Россия проводят многочисленные культурные программы и академические обмены по изучению северных народностей и содействуют в осуществлении контактов между коренным населением Севера. О прямых контактах

---

1 См.: *Collins L. D.* Canadian-Soviet relations during the Cold war // Canadian-Soviet relation 1939-1980. Op. cit. P. 41-60.

2 См.: *Smith. D.* Diplomacy of fear. Canada and the Cold War. 1941–1948. Toronto, 1988.

3 Подробнее о российско-канадском северном сотрудничестве см.: Черкасов А.И. О российско-канадском сотрудничестве на Севере и в Арктике: роль Северного Форума. // Канадский паспорт. – № 1-2, 2002 г.

4 См., например, отчет по бизнес-сотрудничеству между Россией и Канадой монреальского бизнесмена Р. Димитрова: Димитров Р. Россия и Канада: путь на Север. // 60 параллель. – № 11 (Вып. 46), 2004 г.

между двумя странами в освоении северных регионов говорит и подписанное В.В. Путиным в декабре 2000 г. двухстороннее соглашение о сотрудничестве Канады и России на Севере и в Арктике, направленное на «укрепление институтов коренных народов, а также развитие прямых двухсторонних связей "Север – Север"»[1].

Именно в связи с северной границей (несмотря на то, что она является лишь точкой схождения полярных секторов) в Канаде сложилось восприятие России как северной державы. Ее «северность» зачастую и служит определяющим фактором рецепции России в Канаде. Канадские писатели, например, в отличии от своих европейских (и русских!) коллег, разрушают стереотипное восприятие Сибири как «тюрьмы». В канадской литературе XX века (см. произведения Ф.Ф. Гроува, Р. Уиба, С. Бердселл, Г. Вандерхейга и др.) Сибирь не связывается с деспотией российских правителей. Поскольку ее природные ландшафты походят на канадские, Сибирь подчас предстает как «русский Новый Свет».

Русские в Канаде: страна проживания или Родина?

В формировании образа России в Канаде участвуют не только канадские СМИ[2], литература, учебники всеобщей истории, массовая культура и т.п., но и русские, проживающие на ее территории. Поэтому вектор культурного восприятия России в Канаде, стране эмигрантов, двунаправлен, что, соответственно, требует выработки особого подхода при анализе «канадского» образа России.

Следует, однако, отметить, что в Канаде проживает относительно немного граждан «чисто-русского» происхождения: по последней полной переписи (1996 г.) – всего около 40 тыс. чел., что в 10 раз меньше, чем украинских канадцев. За последние десять лет общее число уроженцев бывшего СССР выросло с 99 тыс. до 108 тыс. чел., а число

---

[1] Сотрудничество, начатое в рамках Северного Форума, плодотворно продолжается до сих пор. В мае 2006 г. на Ямале была запущена программа парнерства между Канадой и Россией по развитию народов Севера НОРДЕП. Подробнее об этом см.: Северные вести. – 29 июня 2006 г.

[2] Здесь картина несколько усложняется, поскольку в отношении СМИ и массовой культуры следует также учитывать британское, американское и, в меньшей степени, французское влияние, что связано не столько с глобализацией, сколько с реальной исторической ситуацией, сложившейся в Канаде, находящейся между Сциллой и Харибдой Старого и Нового Света.

канадцев, считающих русский язык родным – с 35 тыс. до 58 тыс. При этом важно учитывать, что русская этническая группа в Канаде крайне неоднородна, и достаточно четкой картины о количестве русских в этой стране нет. По различным оценкам канадской прессы, в 1995 г. в одном лишь г. Торонто проживало от 50 до 75 тыс. русскоязычных, в Монреале – около 25 тысяч.

Канада испытала четыре основные волны русской иммиграции. Первая была весьма специфической и наложила заметную печать на историю освоения канадского Запада и формирование *русского имиджа* в этой стране. Речь идет о переселении в Канаду в 1898-1902 гг. более 7 тыс. духоборов[1] – русской религиозной общины, своего рода крестьянских протестантов, отвергавших церковную обрядность, поклонение иконам и вообще официальное православие, исповедовавших идеи пацифизма и раннехристианского коллективизма.

Преследовавшаяся царскими властями, община переселилась в Западную Канаду на средства, пожертвованные Л.Н. Толстым, идеи которого во многом созвучны мировоззрению духоборов (на оплату их переезда писатель отдал гонорар за роман «Воскресение»). В Канаду духоборов сопровождал один из сыновей Л.Н. Толстого – Сергей[2].

Поселившись на целинных землях степной провинции Саскачеван, духоборы сохранили общинный образ жизни и коллективную собственность на средства производства. За это они вновь подверглись преследованиям, теперь уже местных властей, которые требовали отказа от коллективистских принципов и регистрации каждой семьей своей частной собственности. Поэтому в 1908 г. большая часть духоборов покинула уже освоенные ими земли Саскачевана и переселилась в горные долины самой западной провинции Канады – Британской Колумбии, где после многолетнего периода трений с местными властями духоборы были, наконец, оставлены в покое. Сегодня они

---

[1] С.Л. Толстой писал о духоборах в своем дневнике: «Духоборы в общем по своей праведности стоят выше среднего уроня как русских, так и канадцев. [...] ... они особый народ – община всемирного братства. [...] Они честны, трезвы, трудолюбивы, благовоспитаны и чистоплотны. У них отсутствуют три порока, которыми, надо признаться, страдает русский народ: это пьянство, ругань и вороватость». Sergey Tolstoy and the Doukhobors: A Journey to Canada. Ed. by Andrew Donskov. Ottawa: University of Ottawa Press, 1998. C. 142.

[2] Подробно о поселении духоборов в Канаде см.: Russian Roots and Canadian Wings: Russian Archival Documents on the Doukhobor emigration to Canada. Manotick, Ont., 1999.

сосредоточены, в основном, в г. Гранд-Форкс и его окрестностях (поселок Бриллиант и др.). Сохранились и поселения духоборов в Саскачеване (в районе поселков Каслгар, где в настоящее время действует музей духоборов, Веригин, названный в честь духовного лидера духоборов Петра Веригина, и др.).

Сейчас в Канаде насчитывается до 30 тыс. потомков духоборов (хотя веру сохранили лишь 5 тыс.), которые составляют наиболее (если не единственную) реально сплоченную группу канадцев русского происхождения. Более половины их сохранили знание русского языка в качестве родного. За прошедшие десятилетия в их среде произошло существенное социальное расслоение, выделился ряд крупных бизнесменов, но сохранились и коллективистские сельскохозяйственные общины.

«Русские» корни во многом сохранили и исповедующие аналогичное религиозно-коллективистское мировоззрение западно-канадские сельскохозяйственные колонии российских немцев-гуттеритов (22 тыс. чел.) и в меньшей степени – меннонитов (более 200 тыс. чел.). Это протестантские секты, члены которых более столетия прожили в России и в конце XIX – начале XX вв. были вынуждены переселиться в Канаду[1]. Во многих этих замкнутых группах сохранилось знание русского языка, хотя они не учитывались переписью как «русские».

Вторая для Канады волна русской иммиграции – послереволюционная. В отличие от большинства других западных стран (где эта волна была первой) в Канаде она была не столь значительна и отличалась относительно низкой долей в ее составе интеллигенции и дворянства, которые предпочли осесть в Западной Европе или США. В Канаду направились преимущественно иммигранты с низкой квалификацией, такова была и политика канадских властей в отношении русской иммиграции тех времен: поощрялся лишь въезд «чернорабочих». Есть лишь несколько исключений – в частности, одна из ветвей графской семьи Игнатьевых (последнего царского министра народного просвещения), члены которой поселились в Канаде и играли видную роль в развитии технических и политических наук в этой стране (ныне покойный Джордж Игнатьев занимал посты постоянного представителя Канады в Совете Безопасности ООН и в НАТО). Часть «белоэмигрантов» – а вернее, их потомков, первоначально обосновавшихся в Китае,

[1] О меннонитах в Канаде см.: Toews, J. A History of Mennonite Brethren Church. Winnipeg MB, 1974; Friesen Peter M. and Toews John. The Mennonite Brotherhood in Russia. Hillsboro, Kan., 1978.

– прибыли в Канаду в 1956-1970 гг., проделав сложный путь через Австралию или Латинскую Америку.

Ко второй волне русских иммигрантов примыкают и иммигранты 1920-х – 1930-х годов, прибывшие с принадлежавших в ту пору Польше западно-белорусских земель (отчасти – и с Западной Украины), число потомков которых на середину 1980-х годов оценивалась в 60-100 тыс. человек. Перепись не относит их к лицам русского происхождения (чаще – польского или белорусского), но многие из них иммигрировали, не имея отчетливо сложившегося белорусского самосознания и, как и их потомки, считают себя русскими (а следовательно, и являются таковыми). Именно представители этой группы преобладали в составе организованной в 1942 г. «Федерации русских канадцев» (22,7 тыс. членов в 1949 г., менее 1 тыс. в конце 1980-х гг.; ныне ее деятельность практически сошла на нет).

Следующая, третья для Канады волна русской иммиграции состояла преимущественно из «перемещенных лиц», потерявших родину в результате Второй мировой войны и сталинского террора. В их составе были как бежавшие с германской армией подлинные коллаборационисты, так и пленные, либо угнанные в Германию честные люди, боявшиеся репрессий в случае возвращения домой. Это наиболее разобщенная и охотнее всего ассимилировавшаяся, целенаправленно старавшаяся по возможности скорее «раствориться» в канадском обществе, группа русских иммигрантов – недружных, не доверявших друг другу, а тем более, всяким инициативам, исходившим из тогдашнего СССР. Многие скрывали свое русское происхождение, указывая в качестве страны, откуда прибыли, Германию, Францию и т.д., что в общем соответствовало истине. Эта группа была социально очень неоднородной, с явным преобладанием мужчин относительно молодого возраста, охотно вступавших в межэтнические браки с канадками. Второе поколение иммигрантов этой группы, естественно, уже не столь травмировано и не столь недоверчиво в отношении России – но и в наибольшей степени ассимилировано. Какая-то часть этой группы стала ядром основанного в 1950 г. в г. Торонто антикоммунистического Русского культурного общества (РКО), издававшего журнал «Русское слово в Канаде». Но в целом можно сказать, что эта волна русской иммиграции отличалась наименьшим уровнем самоидентификации и наименьшей групповой активностью (в отличие от большинства других, весьма сплоченных этнокультурных групп канадцев), создав *образ «особой недружности» русских.*

Наконец, наиболее многочисленная и, несомненно, самая заметная в настоящее время группа канадцев российского происхождения – представители новейшей, четвертой волны иммигрантов из СССР, приехавшие за последние 20-30 лет. Это лица, прибывавшие в Канаду, как правило, по израильской визе, в большинстве русские еврейского происхождения, а нередко и этнически русские члены их семей. Но при этом следует отметить, что у определенной части иммигрантов этой четвертой, русско-еврейской волны, напротив, появляется тенденция к «ностальгической саморусификации», и именно они в настоящее время наиболее активно представляют русскую культуру в Канаде. Косвенным свидетельством такой «саморусификации» можно считать имевшие место в 1970 – 1980-х годах случаи перехода русско-еврейских иммигрантов в православие: по словам графа Георгия Павловича (Джорджа) Игнатьева – старосты прихода русской православной церкви в Торонто, в 1988 г. около трети прихожан составляли крестившиеся здесь русские евреи: люди тянулись к церкви как к культурному центру, связывавшему их с родиной.

Ныне положение изменилось. В 1990-х годах русская иммиграция в Канаду (например, в 1999 г. – 3734 чел.) перешла в режим нормальной экономической миграции, необязательно связанной с израильской визой или политическими мотивами. Поселившиеся в Канаде *россияне*, как правило, сохраняют активные культурные (а часто и деловые) связи с Россией.

Среди русских, удостоенных звания «компаньона» Ордена Канады (высшая форма признания заслуг перед страной) – уже упомянутый Джордж Игнатьев (в 1973 г.) и основательница знаменитой монреальской балетной труппы «Ле Гран Балле Канадьен» (Les Grands Ballets Canadiens) Людмила Ширяева (в 1984 г.)[1].

В Канаде, в отличие от других стран, как видно из приведенной статистики, не сложилось «образа эмигранта». «Русского Зазеркалья» (термин С.С. Хоружего[2]), Зарубежной России, своего рода «государства в государстве», в этой стране не было создано. Практически все русские эмигранты, за исключением небольшой общины духоборов,

---

[1] Подробно о русских в Канаде см.: *Черкасов А.И.* Русские дома и в Канаде: конфликт цивилизаций или воспитание души? // Еженедельник «Демократический выбор». № 16-17 (300-301), 2002 г. Он же: Русская эмигрантская речь в Канаде конца XX века. М., 2005.

[2] См. его лекцию «Духовная практика и духовная традиция» // «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия», 2005.

добровольно ассимилировались с канадской культурой, несмотря на то, что исходно всех их объединяло общее положение эмигранта в чужой стране и язык. Отчасти это произошло потому, что «советские» эмигранты уезжали, так как хотели порвать с советской действительностью и культурой, отчасти это объясняется невысоким культурным уровнем самих эмигрировавших. При этом роль «русских культурных центров» в больших канадских городах традиционно играют русские православные церкви – Храм Христа Спасителя РПЦ в Торонто, Кафедральный собор Святителя Николая Русской Зарубежной Православной Церкви в Монреале, Петропавловский собор РПЦ в Монреале, храм Святителя Николая РПЦ в Ванкувере, одна из старейших православных церквей Канады – Свято-Троицкий Собор РПЦ в Виннипеге, на базе которого недавно был открыт православный институт, и другие.

Кроме того, в Канаде существует несколько русскоязных периодических изданий, которые можно получать либо по подписке, либо читать в Русской Библиотеке[1]. Это печатные издания третьей и четвертой волны русской эмиграции. К ним относятся альманахи «Русское слово в Канаде» (1975–1979) и «Современник. Журнал русской культуры и национальной мысли» (1979–1980), характеризующиеся поиском самоопределения в новой стране, стремлением поддерживать русскую национальную культуру и рефлексированием на русские темы. Периодика конца 1980 – начала 1990-х гг. значительно отличается от периодики середины 1970-1980-х гг. Она носит более прикладной характер и посвящена в основном быту, обустройству в Канаде, снабжена полезной информацией по эмиграции и аннонсами культурных событий (выставки русских художников, фестивали бардовской песни и т.п.), проведение которых планируется в городах, где издаются газеты. Среди наиболее популярных русских газет в Канаде можно выделить «Карусель», «Канадский курьер», «Самовар», «Русский экспресс», «Наша Канада», «Газета+» и др., освещающих жизнь канадского общества в русской перспективе.

Анализ русских общин в Канаде представляется важным, поскольку открывает возможность «перекрестного» изучения образа России в Канаде, «русской» Канады, «России» внутри Канады, и России глазами канадцев. Двойная рецепция поможет выявить специфику воспри-

[1] Библиотека открыта в 2002 г. в Торонто при поддержке канадского правительства и благотворительного фонда «Друзья Эрмитажа», занимающегося популяризацией русской культуры и музейного дела в Канаде.

ятия России Канадой и из Канады, задавая определенную онтологическую направленность: с одной стороны, приятие русскими канадской культуры и превращение России в некое мифопоэтическое пространство; с другой стороны, превращения Канады (страны проживания) в новую родину и ассимиляции, преодоления / стирания границ отчуждения. Здесь интересно отметить одну этимологическую деталь: связь слов «друг» и «другой», во многом, на наш взгляд, раскрывающую феномен русскости. Если в ряде культур «другой» – это чужой, иной, вызывающий подозрительность / недоверие и пробуждающий чувство собственного превосходства / инаковости, то у русских, во всяком случае, на историко-лингвистическом уровне, «другой» – это друг, доброжелатель, вызывающий братские чувства и уважение[1]. Этим, возможно, объясняется и «всемирная отзывчивость» русских, которую менее русофильски настроенные исследователи называют склоннотью русских к заимствованиям, объясняя ее несамостоятельностью мышления.

Опыт России и канадский поиск самоидентичности

Премьер-министр Канады Маккензи Кинг (William Lyon Mackenzie King) заметил, что в «Канаде слишком много географии, но слишком мало истории».[2] В России и того, и другого более, чем достаточно. Как и в России, в Канаде встречаются чуть ли не все часовые пояса и климатические зоны, а на сходство природы России и Канады обратил внимание еще Н.М. Карамзин. Принцип сходства часто и заставляет канадцев с повышенным вниманием и интересом относиться к России.

Одним из свойств России, привлекающих Канаду, является, как уже отмечалось выше, ее *северность*, в чем канадские писатели видят духовное и культурное родство между двумя странами. Ряд канадских писателей и культурологов говорят об «экспансии северности»[3]

---

[1] Согласно этимологическим словарям М. Фасмера и Н.М. Шанского, В.В. Ивановой, Т.В. Шанской, «друг» и «другой» – этимологически родственные слова, восходящие к общей праславянской основе *drugъ. Первоначально значение местоимения-прилагательного «другой» возникло на базе словосочетаний типа «друг друга», «друг другу».

[2] http://www.niworld.ru/Statei/cherkasov/New/geroi.htm

[3] Размышления о северном менталитете («арктических ландшафтах духа») представлены в книге эссе Р. Уиба «Обманчиво мертвая. Размышления

в формировании сознания канадцев и русских, уделяя особое место восприятию Севера в канадской литературе и, одновременно, «открывая» Север в русской литературе и культуре, как, например, это делает Гай Вандерхейг в своей новелле «Путь в Россию» («Going to Russia») и ряд других канадских писателей, в основном меннонитского происхождения, которые разворачивают действие своих произведений в России, сравнивая ее северное сознание с канадским. К ним относятся, в частности, такие писатели, как Р. Кроетч и Р. Уиб, работающие в рамках геопоэтики, художественного направления, близкого к т.н. «экологической», или натуралистской прозе, но в отличие от нее, активно развивающего образно-географического подхода в подаче материала, ассоциативно расширяя образ собственной страны в несколько образно-географических систем, включая русскую.

Второй, не менее существенный аспект, так же связан географическим положением России. Именно географическое расположение России становится основополагающим в поиске самоидентичности канадцев и, сливаясь с культурным пространством, выступает средством трансляции, репрезентации и интерпретации культуры[1]. При изображении России в канадской литературе часто присутсвует географическая составляющая, которая помогает определить русскую культуру и русский менталитет, представляя «русскость» посредством четкой образной локализации.

По-видимому, наиболее привлекательным для канадцев в опыте самоопределения России служит то, что она «зажата» между Европой и Азией и не яввляется ни сугубо европейской, ни азиатской страной.[2] Подобно России, Канада также находится между Старым (Англия и Франция) и Новым (США) Светом и вынуждена искать свой, альтернативный путь. Таким образом, слагаемые канадской идентичности столь же неоднородны, что и русской, но при этом (что, собственно, и привле-

---

об Арктике»: Wiebe Rudy. Playing Dead. A Contemplation Concerning the Arctic. Edmonton: NeWest Publishers Ltd., 1989.

[1] О визуализации и вербализции культурно-географического пространства в современном мире см.: Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: «Языки русской культуры», 1998.

[2] Д.Н. Замятин выделяет несколько геополитических образв России: «Россия-и-Европа / Россия-как-Европа», «Остров Россия», «Россия-Евразия», «Византийско-православная Россия», «Россия = Восточная Европа». См.: Замятин Д.Н. Динамика геополотических образов России // «Человек» – № 6, 2002.

кает канадцев) России удалось создать уникальную культуру, выработать своеобразный русский бренд, который опознается во всем мире.

«Приемлющее участие»: образ России и русских в канадской литературе

Интерес к России и ее прошлому постоянно присутствует в канадской литературе. Уже в начале XX века появился первый роман на русскую тему – «Иностранец» («The Foreigner. A Tale of Saskatchewan», 1909) Ральфа Коннора (настоящее имя Чарлз Уильям Гордон, 1860–1937). Речь в нем идет о славянской общине и ее постпенном слиянии с канадской культурой и с канадским образом жизни. Автор, видимо, не очень хорошо представлял себе русских и русскую ономастику, поскольку главные герои романа обладают хотя и экзотичными, но не русскими (с русской точки зрения) именами: Майкл Калмар, образованный, говорящий на нескольких европейских языках, русский джентельмен с выправкой офицера, нигилист, бежавший с каторги и приехавший в Канаду повидаться с детьми (Калманом и Ирмой[1]) и отомстить предателю и врагу Розенблатту, повинному в смерти его жены и рабском существовании его детей.

В романе дается постоянное противопоставление канадских и русских жизненных основ, и в противовес русской дикости, необузданности, жестокости и фаталистской пассивности[2] приводится канадская сдержанность, деловитость, здравомыслие и миролюбивость. По сути, это роман воспитания[3], повествующий об обретении надежды новой жизни в новой стране.

---

[1] Имена сподвижников и друзей семьи Калмара также больше походят на немецкие и западно-славянские, нежели на русские: Саймон, Лена и Маргарет Кетцель, Джозеф Пинкас, семья Блазовски и др., хотя повествуется о русской общине и герои, как постоянно указывается автором в ремарках, говорят между собой на русском языке.

[2] *Connor R.* The Foreigner. A Tale of Saskatchewan. N.Y.: Hodder & Stoughton, 1909. P. 159.

[3] Его основная линия – детская. Именно через детей, посещающих канадскую школу и церковь, происходит «превращение» их родителей в канадцев. Дети в романе являются главными реципиентами и трансляторами новой культуры. Так, сына Майкла Калмара представляют священнику следующим образом: «Калман Калмар, мой друг из Виннипега, в более далеком прошлом – из России, а сейчас отличный канадец». Connor R. The Foreigner. P. 248.

Произведения канадских писателей конца XX века часто носят (полу)автобиографический характер, поскольку в качестве повествователя выступает вымышленное лицо, но речь идет не о мемуарах или документальной литературе, а именно о литературе художественной. Опыт героя, хотя и предполагает архивную работу автора и / или семейные воспоминания, связанные с Россией, преобладающей чертой все же остается вымысел и выстраивание возможного развития событий за счет воображения. Причем Россия и Канада в этих произведениях всегда находятся в тесной взаимосвязи, будь то ассоциативные соотношения двух стран (общая граница, северный менталитет, огромная географическая протяженность), обращение к русской литературе (обилие имен русских писателей и философов в ткани художественного повествования или их прямое / косвенное влияние на канадских прозаиков, и, как следствие, интертекстуальный диалог двух литературных традиций) и, наконец, принадлежность к русской общине в Канаде и русские корни автора.

Канадская литература с русским колоритом – это литература культурного пограничья и одновременно преодоления границ. Здесь вступает в силу так называемое «третье» (субъективное) «время-пространство», означенное не дихотомией «или / или», а антипозитивистским принципом «и то, и другое, и третье» («both / and»), который выступает не в качестве взаимоисключений (Россия – прошлое, Канада – настоящее), но скорее взаимодополнением (прошлое – неотъемлемая часть созидаемого настоящего). «Опограничиванию» мира и лишенному этнокультурного пространства индивиду, страдающему от культурной дезориентации – бытия вне национальности, вне родного языка – противопоставляется культурный диалог; «внедомности» – обретение дома. Таким образом, изначальная вынужденная маргинальность получает свой хронотоп, не всегда синхронный национальному метавремени и метапространству[1].

В центре внимания писателей – непрерывность истории, ее общность и поиск национальной / ментальной / культурной идентичности. В своей книге «Границы. Как мы говорим о Канаде» известный канадский литературовед, главный редактор «Энциклопедии литературы Канады» («Encyclopedia of Literature in Canada»[2], 2002) и многочис-

[1] *Bhabha Homi K.* The Location of Culture. London&New York: Routledge, 1994. Pp. 191, 240, 242.

[2] В частной беседе У. Нью подчеркнул, что понятия «канадская литера-

ленных учебников У.Г. Нью указывает на пограничное мировоззрение канадцев как одну из характерных черт канадской культуры. Канада, по мнению У. Нью, немыслима без своих северных пределов, двух океанов и символической сорок девятой параллели.[1] Однако любые границы, в сущности, границы вымышленные: «воображаемые линии между двумя нациями, отделенными друг от друга воображаемыми гражданскими правами»[2], нечто «хрупкое, проницаемое, незафиксированное, требующее непременного различия и подразумевающее конфронтацию и взаимодействие», а «многообразные Канады, которые обильно обсуждаются в "канадских исследованиях" не просто "используют", а *происходят* из многообразных форм пограничной риторики»[3]. Это означает, что «функции границ» признаются канадоведением и как конкретные описания, и как метафора личностных / социальных / политических отношений и их организация. Кроме того, М. Хайдеггер понимал границу не как конечную преграду, а как новое начало, становящееся настоящим[4].

В такое новое начало превращалась Канада для иммигрантов из России разного толка («русские немцы», духоборы и др.), а человек

тура» как такового не существует. В отличие от термина «американская литература», закрепившегося в XIX в. с развитием «американской литературной традиции», термин «канадская литература» пребывает в аморфном состоянии до сих пор. То же отмечает и М. Этвуд в предисловии к своему «Тематическому справочнику по канадской литературе». См.: Atwood Margaret. Survival. A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: M&S, 2004. P. vii. Заметим также, что Н. Уэбстер начал составлять «Словарь американского английского языка» в 1800 г. (опубликован в 1828 г.), в то время как «Словарь канадского английского языка» появился лишь в середине 1970-х гг. В отношении же канадской литературы следует добавить, что есть и иная точка зрения. Например, сборник под редакцией Карла Боллстадта «В поисках англо-канадской литературы» открывается заявлением о том, что «канадская литература есть. Она существует», и цель этого сборника «познакомить широкого отечественного и зарубежного читателя с канадской литературой». См.: The Search for English-Canadian Literature. An Anthology of Critical Articles from the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Edited and Introduced by Carl Ballstadt. Toronto and Buffalo: Toronto UP, 1975. P. vi.

[1] New William H. Borderlands. How we talk about Canada. Vancouver: UBC Press, 1998. P. 6.

[2] The Collected Writings of Ambrose Bierce. 1946. New York: Citadel, 1970.

[3] New William H. Borderlands. P. 5.

[4] Ibid. P. 40.

ощущал себя неотъемлемой частью своей истории. Он стал равен сказу / тексту, что особенно четко прослеживается в романе С. Бердселл «Россиянка» и постулируется Р. Уибом по отношению к своей прозе.

Влиятельный американский культуролог Х. К. Бхабха в книге «Нация и повествование» отмечал, что «понятие нации как текста определяет те культурные границы, которые содержат отрезки смыслов, что должны быть пересечены, стерты, переведены или даже уничтожены в процессе культурного воспроизводства»[1]. Для современной культуры Канады это также характерно в силу размытости национальной традиции, предстающей сегодня как некий набор не сливающихся в единое целое субтрадиций, существующих в аморфной и переходной постмодернистской культуре «разнообразия», характеризующейся предельной фрагментацией, неопределенностью, соскальзыванием с однолинейного модуса движения (например, нелинейное повествование в романе Р. Уиба «Голубые горы Китая» – «The Blue Mountains of China», 1970). Такая модель является национальным вариантом плюралистической культурной парадигмы, связанной с идеей культурной множественности и формообразующим мифом национального метаповествования, где «выживание» (название тематического справочника по канадской литературе М. Этвуд[2]) служит знаковым символом в становлении литературной традиции.

Любой художественный текст на «пограничную» тему мифологизируется и реализуется в метафорах социальной и этнической изолированности. Теоретически такой текст представляет и выражает себя как «другой», бросая вызов каноническим, или «центральным», текстам. В то же время его дискурсивная практика – «практика постоянной двусмысленности между литературой, тяготеющей к ассимиляции и интеграции (например, английской или французской), и критическим метадискурсом этничности, который стремится избежать этого движения»[3].

Рассказ А.М. Клейна «Колокола Собора Христа Спасителя» («The Bells of Sobor Spasitula») наглядно демонстрирует вышесказанное. Во-первых, речь идет об иммигранте; во-вторых, его опыт

---

[1] *Bhabha Homi K.* Nation and Narration. London&New York: Routledge, 1990. P. 4.

[2] *Atwood Margaret.* Survival. A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: M&S, 2004.

[3] *Blodget E. D.* Ethnic Writing in Canadian Literature as Paratext. // Signature. – 1990 – No. 3.

пребывания в чужой стране и ее восприятие напрямую связаны с разницей языков и менталитетов. Используемая автором метафора «мир героя = текст» соединяет в себе географическое пространство с пространством ментальным и одновременно с пространством повествовательным, с организацией текста на странице. Особый акцент придается слову «маргиналия», означающему и поле страницы, и край, грань, допускаемый предел, и разницу, разность. Широта семантики слова дает возможность многообразных трактовок и игры со смыслами. С другой стороны, присутствующее в нем значение границы, ограничения и ограничивания отражает изолированность героя, что создает ощущение пограничья, маргинализации художественного пространства, приравниваемого ментальному пространству протагониста:

The city of Paris is the most beautiful city in the world. A truth. But a patriot's truth, a tourist's truth, glib on the lips of those who come there – and depart. To the émigré, though grateful for asylum, Paris is no more than his postcard *pied-à-terre*, a milieu of silhouette and montage; the essential dimension, the dimension we Russians designate *podushi*, alongside-the-soul, this, for *us* at any rate, is always lacking ... Upon the page of Paris itself we émigrés are only marginalia – in Cyrillic print. The text is not ours, and cannot be. Except through indirection ...[1]

Из приведенного отрывка видно, что изолированность героя проявляется больше на внутреннем уровне, нежели на внешнем, хотя расширение метафоры и введение в текст русского слова «по душе» с его английским переводом делает повествование этнически маркированным, преобразуя текст в метатекст, а реальность в метареальность. Быть эмигрантом в изгнании, а следовательно, в добровольной или принудительной изоляции, фактически означает не просто находиться вдали от дома, но и быть оторванным от корней, «пересаженным» на почву другой культуры, в другой дискурс, другую действительность; быть вынесенным на периферию, за скобки чужого текста, стать маргиналией другого географического / литературного / лингвистического пространства. На примере повествования, где субъект равен тексту, синхронный аспект пограничья, связанный с феноменом «аутсайдерства», «другого», взаимоотношением культурной периферии и центра, подходом извне, показано, что «чужой» может возникнуть лишь

[1] Canadian Short Fiction, edited by W. H. New. Scarborough, ON: Prentice Hall, 1986. P. 177.

в дискурсе «чужого». Здесь же возникает проблема «диалога» / «конфликта» культур.

Сложная нарративная техника и жанровое своеобразие романа Р. Уиба «Голубые горы Китая», в котором рассказывается о судьбах российских меннонитов[1], вынужденных скитаться по миру в поисках нового дома, расщепляет повествование на несколько частных линий и вводит четыре культурных слоя (в конце появится символический образ креста): немецкий (или немецко-русский, поскольку речь идет о сибирской менонитской общине), русский, парагвайский и канадский. Герои Уиба – изгои, находящиеся в непрерывном поиске «Земли Обетованной». Фрагментированное, разорванное письмо символизирует экзистенциальный хаос, царящий вокруг. Прием многоголосия, используемый писателем, указывает на отсутствие точки опоры, единого, поддающегося классификации или укладывающегося в определенные рамки видения происходящего.

Через диссонанс и раздробленность Уиб вовлекает читателя в описываемый в романе непрекращающийся процесс дезориентации. Он

---

[1] Меннонитство возникло в начале 1930-х годов XVI века в Нидерландах. Его основателем был Менно Симонс. Он родился во фризской деревне Витмарсюм, получил богословское образование и принял сан католического священника. Его внимание к учению анабаптистов привлекли репрессии против них. Он стал сомневаться в католических догматах крещения и евхаристии. По стечению жизненных обстоятельств Менно Симонс сложил с себя священнический сан и полностью порвал с католической церковью, а в 1537 году возглавил движение «мирных», приняв от Филиппа Оббе перекрещение и рукоположение в духовные старшины. Позже он стал странствующим проповедником, организовывая общины по всей Европе. В 1543 году он принял сан епископа всех меннонитов. Первоначально меннонитство возникло как организация угнетенных масс и прежде всего крестьянства. Поражение народных восстаний в прошлом всегда вызывало повышенную религиозность у угнетенных. Тогда терялся всякий интерес к миру, в котором они живут, терялась надежда на обустройство в жизни. Отсюда появление лозунгов, призывающих к внутреннему самосовершенствованию, к готовности к Царствию Небесному, где, несомненно, будет лучше, чем здесь на земле. Владениями Христа объявлялись «духовный мир людей и потусторонние сферы». В России меннониты появились в 1763 году, после издания Екатериной II манифеста «О дозволении всем иностранцам в Россию въезжающим, поселиться, в губерниях, в которых они пожелают». По этому манифесту всем переселенцам предоставлялись особые льготы и свободное исповедание своей религии. Меннонитам для заселения отводились земли на юге Украины (в Екатеринославской, Таврической, Самарской и Саратовской губерниях). Переселение шло с 1789 по 1870 годы.

словно предлагает ему сложить мозаичный узор из внешне несвязанных между собой событий и образов: из выкатившегося глаза коровы и едва проступающей иконы Богородицы на стене заброшенного, превращенного в казарму монастыря; сочащегося из ноги черного гноя и поблескивающего паникадила; из засыпанного песком колодца в парагвайской пустыне и тихих заснеженных московских улиц; из вздыбленного льда у подножия китайских гор и канадских просторов.

Писатель нарушает не только географическое единство, но и единство языкового пространства (в словесную ткань романа вплетаются нижненемецкий диалект и отдельные русские слова), опустошая таким образом сам акт коммуникации или диалогического обмена. В этом опустошении содержится разрыв с прежним опытом героев. Однако и возможность выживания в подобной ситуации представлена Уибом в самом принципе опустошения и распада, но не путем преодоления противоречий, а через них.

Одним из таких противоречий выступает скрыто заявленный конфликт между старой и новой, советской, коммунистической Россией. С одной стороны, провозглашенные коммунистами идеалы равенства, братства, коллективной взаимопомощи сходны с общинными идеалами меннонитов, но нестыковка возникает в разном отношении к труду и по-разному добытому (своему, не колхозному) хлебу. Богородичная икона с вазой лилий (символ чистоты и символ старой России) в монастыре загажена и почти стерта. Попытка героя-меннонита смести «пыль веков» и рассмотреть за ней былое прошлое прежней России не только не поощряется русскими, но, напротив, попирается. В этом акте просматривается и нарушение коммуникации между героями, и распад связи времен – нарушение исторической коммуникации. Потускневший и изменившийся, словно увиденный в кривое зеркало русский мир проецируется на экзистенциальную перевернутость мира в целом.

Постоянно меняя персонажей, Уиб меняет оптику и перспективу, указывая тем самым на многосложность и субъективность современной действительности, ставя проблему точки зрения как таковой равно как и проблему (не)возможности аутентичного, целостного видения. Подобное расщепление (многоголосие и многомыслие) является формой интеллектуальной, артикуляционной и экзистенциальной неуверенности и тревоги. Причем чувство истории, времени и пространства предельно размыто, поэтому русский фон выступает здесь лишь как дополнение к мозаичности общего фона произведения.

Роман охватывает почти столетие (с 1879 по 1967 год) и имеет кольцевую композицию: он начинается с рассказа об эмиграции не принявшего Октябрьскую революцию в России канадского героя, а заканчивается приездом в гости в Канаду российского меннонита. Последняя глава озаглавлена «В пути». «Русский» меннонит, не говорящий по-английски, не испытывает языкового барьера, так как встречает хорошо владеющую русским языком попутчицу из менонитской общины в Канаде. От нее он узнает, что некий канадский меннонит, Пауль Раймер, добровольно возложил на себя крест и несет его через всю Канаду.

Образы пути и креста здесь весьма символичны и указывают на крестный путь всех многочисленных героев произведения. В хронотопе пути Уиб обобщил описанные ранее способы преодоления и обживания пространства: от бытовых форм путешествия (герой приехал в Канаду навестить детей) до (само)маргинализации, ухода, отшельничества, изгойничества, бегства, эмиграции и ссылки. Путь в романе – это и пространсвенно-временная ориентация в дезориентированном мире, и аспект смысла жизни, и вектор истории, и универсалия самой картины бытия; это путь к Богу, к Истине, к Другому, к спасению, что подчеркнуто крестом, который несет Пауль Раймер. Его крест расширяет движение во все четыре стороны света, что может быть прочитано в евангельском ключе как завет свободного выбора человека и жертвенной любви, не выбирающей между «эллином и иудеем», иными словами, признающей «другого» не как «чужого». В целом роман Уиба можно интерпретировать как «роман-перекресток», «гетеротопию», если воспользоваться терминологией М. Фуко[1], где происходят многократные пересечения и обыгрывание различных дискурсивных границ и культурных / психологических / экзистенциальных рубежей.

Возвращение к прошлому как поиск культурной идентичности представлен в романе Сандры Бердселл «Россиянка» («The Russländer», 2001). Попытка через воспоминания вернуться назад, воссоздать свою родину подчеркивает не только интерес к своим корням, но и интерес к другой, неизведанной, богатой и трагической культуре. При этом произведение имеет двойную ценность: с одной стороны, оно знакомит канадского (и шире – англоязычного) читателя

[1] *Foucault M.* The Order of Things. An Archeology of the Human Sciences. Trans. Alan Sheridan. N.Y.: Vintage, 1970.

с жизнью южно-русской менонитской общины, с другой стороны, открывает неизвестные страницы русской истории, обогащая и русскую культуру тоже.

Бердселл начинает книгу эпиграфом из поэмы А.А. Ахматовой «Реквием»: «Нет, и не под чуждым небосводом, // И не под защитой чуждых крыл, – // Я была тогда с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был», сразу настраивая читателя на литературный и исторический диалог с русской культурой. Кроме того, вводя эти глубоко личные лирические строки из поэмы Ахматовой, писательница как бы отождествляет и себя со своим менонитским прошлым. Поэма русской поэтессы о страшной странице русской истории, о трагедии народа, личности, семьи становится прологом к роману канадской писательницы об ужасах Октябрьской революции 1917 года, о трагедии отдельно взятой семьи и менонитской общины в целом.

Личная история и память у Бердселл становятся частью всеобщей истории, историей двух стран, Канады и России, и народа – «русских немцев», ныне осознающих себя канадцами. Писательница перемещается между двумя системами и постоянно дает понять, что взгляд на Россию идет из Канады, куда уехала чудом спасшаяся после гибели своей семьи главная героиня романа Катя Фогт. Однако ее история не подается как контрнарратив, а скорее, напротив, стирает стереотипное восприятие «другого», поскольку этот «другой» становится «своим» для обеих культур. Случай для литературы подобного рода уникальный, ломающий сложившуюся установку обязательного противопоставления и «конфликта». Немецко-русская менонитская линия органично перетекает в Канаду, где история неартикулированно получает свое продолжение.

В жанровом отношении произведение Бердселл можно охарактеризовать как «роман-трагедию»[1]. Он начинается с выдержки из газеты от 11 ноября 1917 года о зверском убийстве двух менонитских семей в селе Привольное. Кроме того, текст Бердселл можно с долей условности назвать автобиографическим и историческим, поскольку, хотя все персонажи в нем вымышленные, в его основе лежит история предков писательницы по материнской линии, эмигрировавших из Советской России в 1920-х годах. В произведение включены цитаты из периодики, рецепты из немецкой и русской кухни, личная переписка геро-

[1] Выражение «роман-трагедия» впервые употребил в 1911 году Вяч. Иванов по отношению к творчеству Ф.М. Достоевского.

ев и дневник главной героини Кати Фогт. Повествование ведется от третьего лица, в сказовой манере, и представляет собой расшифровку записанного на кассету интервью Кати, взятое канадским журналистом в Манитобе. Здесь уместно вспомнить Ж. Деррида с его концепцией «наговаривания» нации в процессе речевой репрезентации, когда сама эпистемологическая неуверенность активно способствует формированию национальной идентичности[1].

Трехчастная структура книги отражает движение от пасторальной идиллии (название первой части «Зеленые пастбища» с сопутствующим эпиграфом из Иезекииля «Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась – как сад Едемский» 36:35) к ее разрушению (вторая часть носит название «В присутствии врагов» с эпиграфом из книги Иова: «Откуда же происходит премудрость? И где место разума?» 28:20) и, наконец, от насилия к милости (третья часть «Разумеется, милость и благодать» с эпиграфом из 54-го псалма: «кто дал бы мне крылья как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы» 7). Путем библейских отсылок и явной проекцией на Ветхий Завет с его историей постепенного разрушения и падения царей и царств Бердселл выстраивает трагическую историю меннонитской семьи, показывая, что в критические времена ни принцип ненасилия, ни вера в гармонию и процветание не могут противостоять натиску жесткости.

Замкнутое пространство менонитской общины разрывается вихрем захлестнувших Россию необратимых событий. Обыденная жизнь провинциальной общины выводится писательницей на вселенский уровень, а сам «рассказанный», «наговоренный» текст романа возникает из психологической травмы и экзистенциального надлома героини; это призыв к исторической памяти современников по обе стороны океана и будущим поколениям. Несмотря на то, что Катя спасла свою жизнь, прошлое не умолкает в ней, преследуя ее, заставляя рассказывать свою историю. Актуальный смысл романа, выводящий его за рамки сугубо национальной литературы, заключается в совмещении современности и эпохи трагического звучания, рассказанной в книге. Использование Бердселл принципа «blow up», проясняющего масштаб и истинную сущность событий, переводит повествование о будничной жизни героев во вневременную плоскость, обращая вымышленную историю конкретной жизни в метаисторию. Таким образом,

[1] *Derrida J.* Declarations of Independence. // New Political Science, 1986. P. 7-15.

трагизм, выраженный через будничность, достигает в романе своего высшего экзистенциального градуса.

Для героя рассказа Ви Плотникофф характерна проблема «вживания» в новую культуру и сохранения культурной памяти предков. Ви Плотникофф происходит из духоборской общины и описывает быт и нравы этого русского поселения в Канаде.

Художественно осмысленная история этой одной из крупнейших русских общин в Канаде появилась на страницах единственного в истории канадской литературы сборника, вобравшего в себя четырнадцать рассказов и вышедшего под общим названием «Шеф-повар на свадьбах и похоронах и другие истории из жизни духоборов» («Head Cook at Weddings and Funerals And Other Stories of Doukhobor Life», 1996), написанного автором-духобором. Канадское общество предстает в них удивительно демократичным, не препятствующим сохранению национальной самобытности, хотя, например, попытка героини рассказа «Тетя Софи и солдат» («Aunt Sophie and the Soldier») ассимилироваться с основным населением и выйти из общины, заканчивается неудачей и крахом прежних идеалов. Уже в заглавии рассказа заложено противоречие: исповедующие пацифизм духоборы и военный. Однако экспансии со стороны человека в форме нет. Напротив, есть снобизм и слегка высокомерное отношение к «другому». Любовь Софи и Билла заканчивается ровно тогда, когда он случайно узнает о ее происхождении. Общество готово принять к себе нового члена как своего, если он, в свою очередь, подчинится его законам.

Вынужденным возвращением обратно в общину после «глотка свободы» и «полноценной» жизни, которой живут «другие», заканчивается и рассказ «Где улицы вымощены золотом» («Where the Streets are Paved with Gold»). В заглавие вынесены слова из популярной песни об убежавшей из дома девушке, ставшей богатой и знаменитой и встретившей свою любовь. Однако утопичность мечты не выдерживает столкновения с реальностью. Домой, в общину героиню призывает долг и необходимость ухаживать за больной матерью, сердце которой не выдержало ухода дочери. Если в первом рассказе обыгрывается нарциссисткая культура несинхронного духоборам общества, поскольку они живут по своим, исключающим активное взаимодействие с ним законам, то во втором выведена модель типичного пограничного сознания, беженки, хотя и имеющей собственный культурный локал, но чувствующей себя в нем «чужой». Таким образом, перспектива «свой» / «чужой» меняется.

В остальных рассказах передаются сходные ощущения / впечатления героев, а объектив писательницы направлен изнутри общины во вне, что подразумевает культурный диалог. «Другая сторона» не является в рассказах Ви Плотникофф новым горизонтом или отказом от своего прошлого, но точкой пересечения и взаимодействия культур.

Принципиально отличной от предыдущих произведений предстает новелла Гая Вандерхейга «Путь в Россию». В ней передан опыт канадца – читателя и знатока русской литературы и философии, через русский культурный контекст ищущего форму своей идентичности. Новелла построена на «переходах», «пограничьях» и нюансах; на балансировании между реальностью жизни и реальностью книг, на движении «a realibus ad realiora» – от видимой реальности предметов к их внутренней, более сокровенной реальности; на пребывании в состоянии экзистенциальной неопределенности и поиска. «Путь в Россию» – это ментальное путешествие в мир русской литературы.

Герой попадает в психиатрическую клинику из-за неадекватного поведения на выставке работ своей коллеги и бывшей любовницы. Его четырехлетняя дочь также находится в детской клинике для умственно отсталых. Герой выбирает способ общения с лечащим его врачом через «Переписку из двух углов» Вяч. Иванова и М. Гершензона, пытаясь через опыт писательства преодолеть экзистенциальный слом и раздвинуть рамки (не)вербального диалога, который постепенно расширяется в направлении диалога канадской и русской культур, в то время как диалог между людьми сводится на нет.

Магистральный образ «Переписки из двух углов», – образ узников Платоновой пещеры из четвертой части (книга VII) диалога Платона «Государство», где здешний мир сравнивается с пещерой (ее узники повернуты спиной к выходу и в состоянии составить представление о «реальности» лишь по теням, отбрасываемым ей от стены) и показано сколь сложно обратиться к истинному созерцанию идеи прекрасного, справедливого, доброго – переносится Вандерхейгом на восприятие окружающего мира протагонистами. Никто в новелле не слушает друг друга, все словно поворачиваются друг к другу спинами, и каждый замкнут в своем личном пространстве. Холодность и отсутствие взаимности между героями усиливается за счет монотонного зимнего пейзажа канадских прерий за окном.

Параллельно с темой невозможности вербального общения в новелле встает тема творящего и управляющего бытием слова, способного изменить этот мир. Через «Переписку» автор подводит чи-

тателя к пониманию мира как текста, составленного из фрагментов различных традиций, объединенных в единое неконфликтное целое, а русская культура в данном случае выступает его формообразующей составляющей.

Из проанализированных произведений видно, что связи между канадской и русской культурами стремительно углубляются. Это создает благоприятные условия для диффузии разных культурных парадигм и заставляет современную литературу многое переосмыслить в считавшихся раньше привычными и традиционными схемах.

Как показывает предложенная схема анализа образа России в канадской культуре, Россия и Канада проявляют в отношении друг друга устойчивый интерес, находясь в позиции некоего гармоничного диалога, или «приемлющего участия», по Бахтину.

Общие работы по имагологии (Image Studies)

1. Barfoot, C.C.; 1997. «Beyond «Pug's Tour»: Stereotyping our «fellow-creatures»»», in *Beyond Pug's Tour: National and ethnic stereotyping in theory and literary practice*, ed. C.C. Barfoot (Amsterdam: Rodopi).

2. Beller, Manfred; 1997. «Bibliogaphy of research methods in literary national characteristics», in *L'immagine dell'altro e l'identità nazionale: metodi di ricerca letteraria*, ed. M. Beller (Fasano: Schena), 147-213.

3. Boerner, Peter, ed. 1986. *Concepts of national identity – An interdisciplinary dialogue. Interdisziplinäre Betrachtungen zur Frage der nationale Identität* (Baden-Baden: Nomos).

4. Cinnirella, Marco; 1997. "Ethnic and national stereotypes: A social identity perspective", in *Beyond Pug's Tour: National and ethnic stereotyping in theory and literary practice*, ed. C.C. Barfoot (Amsterdam: Rodopi), 37-52.

5. Duijker, H.C.J., & N.H. Frijda; 1960. *National character and national stereotypes. A trend report prepared for the International Union of Scientific Psychology* (Amsterdam: North Holland Publishing Co.).

6. Fietz, Lothar; 1997. "Encrustation and liberation of the mind. The shaping and undermining of stereotypes", in *L'immagine dell'altro e l'identità nazionale: metodi di ricerca letteraria*, ed. M. Beller (Fasano: Schena), 41-8.

7. Firchow, Peter Edgerly; 1997. «National stereotypes in literature. A critical overview», in *L'immagine dell'altro e l'identità nazionale: metodi di ricerca letteraria*, ed. M. Beller (Fasano: Schena), 33-40.

8. Foster, Stephen William; 1982. «The Exotic as a Symbolic System», *Dialectical anthropology*, 7: 21-30.

9. Greenough, Chester Noyes; 1940. "Characters of Nations", in *Collected Studies by Chester Noyes Greenough*, ed. W.A. Abbott (Cambridge, Mass.: Harvard U.P.), 224-45.

10. Grew, Raymond; 1986. «The construction of national identity», in *Concepts of national identity: An interdisciplinary dialogue. Interdisziplinäre Betrachtungen zur Frage der nationalen Identität*, ed. P. Boerner (Baden-Baden: Nomos), 31-44.

11. Hayman, John G; 1971. «Notions of National Characters in the Eighteenth Century», *Huntington library quarterly*, 35: 1-17.

12. Hollander, A.N.J.; 1948. «As Others See Us: A preliminary enquiry into group images», *Synthèse*, 6: 214-37.

13. Klineberg, Otto; 1951. «The scientific study of national stereotypes», *International social science bulletin*, 3: 505-15.

14. Leerssen, Joep; 1988. «Over nationale identiteit», *Theoretische geschiedenis*,, 15: 417-30.

15. Leerssen, Joep; 1991. «Mimesis and stereotype», *Yearbook of European Studies*, 4: 165-76.

16. Leerssen, Joep; 1995. «As others see, among others, us: The Anglo-German relationship in context», in *Anglo-German attitudes*, ed. C. Cullingford & H. Husemann (Aldershot: Avebury), 209-21.

17. Leerssen, Joep; 1997. «The allochronic periphery: Towards a grammar

of cross-cultural representation», in *Beyond Pug's Tour: National and ethnic stereotyping in theory and literary practice*, ed. C.C. Barfoot (Amsterdam: Rodopi), 285-94.

18. Leerssen, Joep; 1997. «National stereotypes and literature. Canonicity, characterization, irony», in *L'immagine dell'altro e l'identità nazionale: metodi di ricerca letteraria*, ed. M. Beller (Fasano: Schena), 49-60.

19. Leerssen, Joep; 1998. «Literary history, cultural identity, and tradition / La littérature comparée aujourd'hui. Théories et réalisations.", in *Comparative Literature today: Theories and practice*, ed. M. Dimic & S. Tötösy de Zepetnek (Paris: Champion), in press.

20. Mills, Jon, & Janusz A. Polanowski; 1997. *The ontology of prejudice* (Amsterdam: Rodopi).

21. Moura, Jean-Marc; 1992. «L'imagologie littéraire: Essai de mise au point historique et critique», *Revue de littérature comparée,* 66 #3: 271-87.

22. Pageaux, Daniel-Henri; 1988. «Image/imaginaire», in *Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. Und 20. Jahrhunderts.*, ed. H. Dyserinck & K.U. Syndram (Bonn: Bouvier), 367-80.

23. Reicher, Steve; 1997. «The lost nation of psychology», in *Beyond Pug's Tour: National and ethnic stereotyping in theory and literary practice*, ed. C.C. Barfoot (Amsterdam: Rodopi), 53-84.

24. Syndram, Karl Ulrich; 1991. «The aesthetics of alterity: Literature and the imagological approach», in *National identity – Symbol and representation*, ed. J.T. Leerssen & M. Spiering (Amsterdam: Rodopi), 177-92.

25. Tamse, C.A.; 1975. «The political myth», in *Some political mythologies*, ed. J.S. Bromley & E.H. Kossmann (The Hague: Nijhoff), 1-18.

26. Zacharasiewicz, Waldemar; 1982. «National stereotypes in literature in the English language: A review

Андрей Федорович Кофман

ОБРАЗ РОССИИ В ИСПАНОАМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Образ дореволюционной России

В самосознании этноса образ «другого» возникает и актуализируется в первую очередь по отношению к соседним этносам, поскольку с ними устанавливаются постоянные межэтнические контакты, с ними приходится либо уживаться, либо воевать. В Европе территории расселения этносов относительно твердо определились после распада Римской империи, а в некоторых случаях и гораздо раньше; соответственно образы «другого» в самосознании европейских народов уходят вглубь веков, они складывались и кристаллизировались в течение долгого времени и в силу этого имеют достаточно консервативный, инерционный характер.

В Испанской Америке в силу особенностей ее исторического и культурного формирования сложилась совсем иная ситуация. В XVI – XVII вв., в эпоху конкисты и колонизации континента в роли «другого» выступали, прежде всего, индейцы, которых испанская корона поставила задачей вовлечь в орбиту западноевропейской цивилизации, то есть сделать «своими»; когда же эта задача была в основном выполнена, и по мере того, как в Испанской Америке созревали и взрастали семена креольского самосознания, роль «другого» все больше возлагалась на Испанию, затем Францию, а затем и на всю западноевропейскую культуру. К XIX в. окончательно определился тот своеобразный путь развития латиноамериканской культуры, какой можно определить формулой поиска «своего» в «чужом»: то есть, с одной

стороны, опора на европейские эстетические модели, а с другой – их переинтерпретация и как следствие – глубокий полемизм формирующейся культуры по отношению к западноевропейской.

Понятно, что при таком векторе развития интерес к России в Испанской Америке вплоть до конца XIX в. был минимальным, а какие-то сведения о России доходили через западноевропейские, главным образом, французские источники. Впрочем, имеется исключение: с сентября 1786 по сентябрь 1787 гг. в России прожил «апостол» Войны за независимость испаноамериканских колоний Франсиско де Миранда – возможно, он стал первым из латиноамериканцев, посетивших нашу страну. Его российские дневниковые записи были опубликованы лишь в 1929 г., поэтому они не могли служить опорой для формирования образа России в Испанской Америке; тем не менее, любопытно посмотреть, как просвещенный латиноамериканец, напитанный идеями Просвещения, воспринял российскую действительность эпохи правления Екатерины II.

Но прежде следует высказать несколько общих соображений о механизмах формирования образа другой нации. В них задействованы три составляющие. Первая – тот априорный образ страны, который был сформирован в сознании автора до непосредственного контакта по произведениям искусства и прочим источникам. Вторая составляющая – и ее всегда следует учитывать – это национальность, культурная и профессиональная принадлежность автора, его идеологическая ориентация и особенности его индивидуального мышления – все это во многом определяет модус восприятия, ту или иную степень тенденциозности, отбор деталей для построения образа. Наконец, третья составляющая – непосредственные впечатления, которые могут полностью или частично совпасть с прообразом, но могут его радикально опровергнуть.

В случае с Мирандой первая составляющая восприятия почти отсутствовала – то есть оно не было отягощено теми имагологическими стереотипами и предзаданными позициями, какие бывают свойственны образам «другого», устоявшимся во времени. Равным образом он не был идеологически ориентирован. К тому же Миранда был очень хорошо встречен в России; его радушно принимали высокопоставленные вельможи, ему покровительствовала сама императрица и даже предлагала ему остаться в стране. Тем более показательно, что на этом положительном фоне («О, как добры эти люди и как приветливы!») в дневнике Миранды обнаруживается ряд негативных харак-

теристик и острых оппозиций, которые впоследствии войдут в образ России, сложившийся в Америке и в странах Европы.

Одна из констант связана с восприятием природного пространства России – бескрайнего, прекрасного, изобильного и первозданного: «Боже мой, какие великолепные панорамы, какие виды открываются повсюду в этой стране! Без сомнения, это одно из самых прекрасных творений природы, ибо искусство здесь участвовало очень мало, либо вовсе не участвовало!». «Леса дают столько древесины, что люди расходуют ее поистине расточительно». Удивительным кажется этот восторг жителя Южной Америки с ее обилием первозданного природного пространства, многообразием пейзажей и бескрайней сельвой; но эти чувства будут испытывать все латиноамериканцы, побывавшие в России. Однако образ прекрасной изобильной природы вступает в глубокое противоречие с нищенским угнетенным положением народа. Сразу же вслед за восхвалением русской природы следуют горестные наблюдения и размышления: «...Я рассматривал жилища и одежду из грубого лыка этих несчастных рабов, чья жалкая судьба, как видно, немногим отличается от судьбы невольников в иных дальних пределах. У них здесь нет ни садов, даже самых маленьких, хотя они могли бы сбывать урожай в столице с немалой выгодой для себя, ни хозяина, который заботился бы об их просвещении, о совершенстве их хозяйства, земледелия, и тем самым научил бы их обеспечивать себе сносное существование. (...) Однако я замечаю, что, напротив, чем ближе расположена деревня к господскому двору, тем более убогими выглядят ее обитатели». И далее: «Я обратил внимание, в сколь неразвитом состоянии находится в этой стране такая важнейшая отрасль хозяйства, как земледелие». Так возникает оппозиция природное / социальное, которая и в дальнейшем послужит одной из «несущих конструкций» образа России.

Столь же отчетливо в дневнике Миранды обозначена оппозиция варварство / культура, столь актуальная для интеллектуала эпохи Просвещения. Важно отметить, что эта антиномия воплощается в довольно сложной системе измерений. Народ, живущий в темноте и в нищете, сохраняющий некоторые «нецивилизованные» обычаи, представляет стихию варварства; но, как видно из вышеприведенной цитаты, этому варварству потворствуют и «культурные», дворянские слои населения – тем, что держат крестьян в рабском и скотском состоянии; лишь императрица, образец просвещенного монарха, старается насаждать культуру. Кроме того, дворяне причастны к стихии

варварства в силу собственной недостаточной просвещенности, которая проявляется не только в социальном аспекте, в их отношении к народу, но также в неразвитости их эстетических вкусов. В пышных интерьерах дворцов Миранда постоянно отмечает эклектику и кричащую безвкусицу, и даже посетив Эрмитаж с его богатейшими коллекциями, он отмечает: «Рассматривая собрание этих и других картин и иных произведений искусства не перестаешь по меньшей мере удивляться тому, как можно допустить, чтобы рядом с прекрасной картиной и чудесным изобретением находилась ничтожная мазня или безвкусная поделка, а это именно так»[1].

До последней четверти XIX в. в испаноамериканской эссеистике и литературе обнаруживаются крайне редкие и мимолетные упоминания о России – еще слишком далекой, чуждой и неизвестной была для Америки эта страна, лежавшая за границами западноевропейского мира. Эта ситуация радикально изменилась на рубеже веков, и первопричиной вспыхнувшего в Латинской Америке интереса к России послужила русская литература, сыгравшая роль связующего звена между двумя столь отдаленными культурами. Подробно об этом написано в Приложении к третьей книге «Истории литератур Латинской Америки»[2]; здесь же будут обозначены лишь самые существенные моменты, необходимые для анализа темы.

Поначалу роль посредника между Латинской Америкой и Россией играла Франция, где были переведены отдельные произведения Пушкина, Гоголя и Тургенева; но с конца XIX в. эта роль перешла к Испании: в 1980-е гг. здесь вышли в переводе на испанский язык основные произведения Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского; позже – Чехова, Горького и Андреева. Крупные издательства Мадрида и Барселоны, выпускавшие русскую литературу, имели свои филиалы и магазины в ряде стран Латинской Америки, поэтому новые книги доходили до американского читателя непосредственно и практически без временного зазора. Тем же путем в Америку попало и первое исследование о русской литературе на испанском языке – книга известной испанской писательницы Эмилии Пардо Басан «Революция и роман в России» (1887). Горячая поклонница русской культуры, пере-

---

[1] *Миранда Ф. де.* Российский дневник. М. – СПб, 2000. С. 67, 50, 72, 50-51, 73, 82-83.

[2] История литератур Латинской Америки. Кн.3. М., 1994.

водчица «Слова о полку Игореве», Пардо Басан в своем труде особо акцентировала общественную роль русской литературы и характерный для нее пафос страдания и сострадания.

Огромную популярность в Латинской Америке приобрела фигура Толстого – не столько даже его художественное творчество, сколько его проповедническая деятельность. Об этом свидетельствуют как найденные в архиве Толстого полторы сотни писем от латиноамериканских читателей, так и предпринятые в Чили попытки организации толстовских колоний. Одна из них, основанная в 1904 г., объединяла интеллектуалов, среди них были в будущем известные чилийские писатели Аугусто Д'Альмар, Карлос Пессоа Велис, Бальдомеро Лильо и Фернандо Сантиван, который изменил свое имя Сант-Ибаньес на русский лад, а впоследствии написал книгу «Воспоминания толстовца» (1955) о жизни колонии. Почти одновременно в Сантьяго-де-Чили возникла колония толстовцев-пролетариев, поклонников одновременно Толстого, Бакунина и Кропоткина.

Вслед за Толстым по всей Латинской Америке прогремело имя Горького – интерес к нему не в последнюю очередь привлек великий латиноамериканский поэт Рубен Дарио, который в 1902 г. опубликовал о нем очерк и в том же году перевел с французского его роман «Фома Гордеев». Наибольший резонанс творчество Горького приобрело опять-таки в Чили – и не случайно: в этой промышленно развитой стране возник особенный тип люмпена, так называемый «рото», во многом похожий на горьковских босяков и получивший широкое отражение в национальной литературе. Горький быстро стал еще одним кумиром чилийских толстовцев. Наконец, в 1910-е гг. XX в. в Латинской Америке начинается бурное увлечение Леонидом Андреевым – по свидетельству П. Неруды, заглавному герою повести «Сашка Жегулев» «тогда подражала мятежная латиноамериканская молодежь»[1].

В Латинской Америке такое сочетание русских кумиров – Толстой, теоретики анархизма, Горький, Андреев, а к ним в интеллектуальных кругах прибавлялся Достоевский – вовсе не казалось противоестественным. С одной стороны, молодая латиноамериканская культура в силу особенностей своего формирования всегда пластично воссоединяла самые различные идеологические и культурные влияния, приспосабливая их к собственной духовной ситуации и для нужд своего

[1] *Неруда П.* Признаюсь: я жил. М., 1978. С.80.

культурного развития. С другой стороны, влияние русской литературы пришлось на эпоху расцвета испаноамериканского модернизма – течения, идеологически противостоявшего как прагматическому позитивизму, так и поверхностным романтическо-костумбристским формам воссоздания национальной действительности. Отрицавшие схемы, догмы, эстетические каноны, устремленные с поверхности явлений к глубинной сути вещей, в том числе к глубинам психологии, модернисты первыми почувствовали и сформулировали некую общность русской культуры, русского духа с латиноамериканским самосознанием, которое именно в ту эпоху ясно отмежевалось от западноевропейского и североамериканского прагматизма и рациоцентризма. Пафос антипрагматизма и антирационализма в высшей степени свойственен русской классической литературе рубежа веков – что получило формульное выражение в реплике Разумихина, героя Достоевского, о том, что человеку надобно не одного лишь «разумного хотения». Напряженный поиск смысла жизни, стремление героев выйти за свои пределы, душевные изломы, саморефлексия, социальная озабоченность, беспощадный реализм, бунтарский дух, включая «анархический евангелизм» Толстого, истовая духовность, проповедническая функция, мессианизм – все эти столь разнородные черты русской литературы соответствовали запросам латиноамериканской культуры. Это ясно осознавали сами латиноамериканские писатели и об этом прямо говорили. Так венесуэльский прозаик Артуро Услар Пьетри отмечал: «Нас сближали сокровенная близость мирочувствования, склонность к фатализму, трагическое восприятие жизни, мистицизм огромных пространств, таинственного одиночества»[1]. Кроме того, латиноамериканцы почувствовали и типологическую общность своей и русской культур, развивавшихся на обочине западноевропейской цивилизации, в тяготении к ней и в отторжении от нее.

Сказанное дает понять, что в Испанской Америке первоначальным и главным источником формирования образа России стала русская литература, и потому его «каркасом» послужили те мифологемы и константы, которые закрепились в русской культуре. Речь идет о таких стереотипах, как «таинственная русская душа», неупорядоченность русского человека (что немцу хорошо, то русскому смерть), антирационализм, мистическая особость русской цивилизации («Умом Россию не понять...»), соединившей восточный и западный культур-

[1] *Uslar Pietro* A. Letras y hombres de Venezuela. Madrid, 1978. P. 264.

ные миры, отсутствие чувства меры в душевных движениях и в моделях поведения, сочетание варварства и душевной утонченности, бездеятельность, покорность и бунтарство, презрение к материальному, мистицизм, фатализм, истовая религиозность.

Из латиноамериканских писателей конца XIX в. самый впечатляющий духовный портрет русского человека создал Хосе Марти в статье, опубликованной в аргентинской газете «Насьон» о выставке Верещагина, проходившей в Нью-Йорке в январе 1889 г. Великий кубинский поэт не бывал в России, да и вряд ли тесно общался с русскими, которых, в отличие от нынешних времен, в США, в Мексике и тем более на Кубе практически не было. А это значит, что создавался портрет на основе прочитанной русской литературы (в ранее написанной статье «Пушкин» кубинский поэт явил очень основательные познания в русской литературе XIX в.). Имеет смысл привести эти фрагменты полностью:

«Русский народ изменит мир. Патриархальный, наивный как дитя и возвышенный духом, он – то камень, источающий кровь, то – крылатый змий с железными когтями. Русский умеет беззаветно любить и умеет беспощадно разить насмерть. Этот народ – словно крепость, стены которой увиты плющом, где под замшелыми камнями таятся ползучие гады, а внутри прячется белая горлица. Русский одет во фрак, под которым – латы. Если он садится за трапезу, то это пир; если принимается пить, то уж бочками; его танец – это буря; на коне он – вихрь; его наслаждение – это неистовство; у власти он сатрап, в услужении – раб; его любовь либо окутывает негою, либо разит смертельно. Во взгляде русского человека всегда просвечивает первозданность животного мира, словно бы природа только что сотворила человека из волка и льва, дав ему в подруги обращенных в женщину лисицу и газель. Первобытная страсть светится в огневом, восточном русском взоре; эти глаза могут быть кроткими, как у голубя, предательски изменчивыми, как у кошки и гневно-мутными, как у гиены. В русском человеке есть живость и страстность, взрывы гнева и шепот неги, душевная открытость и скрытая сила. Облаченный во французское платье, он неуклюже топчется, словно Геракл, одетый в неподобающий мужу наряд. Русский надевает белые перчатки, чтобы сесть за стол, где на блюде дымится целый медведь».

В этой характеристике Марти обращают на себя внимание следующие моменты. Прежде всего, – глубокая противоречивость образа

русского человека, сочетающего в себе противоположности: начало звериное и человеческое, варварство и цивилизованность, Восток и Запад, возвышенное и низменное, доброту и жестокость. Вторая «несущая конструкция» образа связана с комплексом примитивистских идей: русский человек, по Марти, отличается особой близостью к природе, к корням, к естеству; это человек чувства, а не разума, спонтанный, наивный, как ребенок. Между прочим, те же характеристики латиноамериканские художники применяли по отношению к модельному образу латиноамериканца, противопоставляя его западноевропейцу. Третья константа, формирующая русский характер, – отсутствие чувства меры: что бы ни делал русский, он ни в чем не знает удержу, во всем старается выйти за пределы нормы. Но все это пестрое и противоречивое сочетание черт национального характера внушает веру в мессианскую роль русских, которым суждено «изменить мир», – веру, безусловно, почерпнутую из русской литературы и общественной мысли.

Но в сфере русской культуры с ее противоборством славянофильской и западнической тенденций был создан амбивалентный образ русского народа, и Марти чутко уловил западнические идеи и мифологемы. Поэтому в конце статьи он, вновь обратившись к обобщениям, добавляет неожиданный пассаж, где отмечает ряд негативных черт «младенческого неоформленного народа», и этот фрагмент, по сути, вступает в глубокое противоречие с мессианскими чаяниями: «В России... славянин-богатырь сплавляет в своем составе два типа – завоевателя и варвара, откуда и происходит столь странное сочетанье двух начал: жизненная сила, мощь характера, жажда воли и простора, которые он унаследовал от своих предков, средневековых воителей, могучих, как горные вершины, и меланхоличных, как русские равнины, и – ужасающая смятенность духа, которую переживает этот народ, испытавший извращающее влияние чужой цивилизации, но не составивший пока своей собственной. Граф и мужик, князь и извозчик, кто пьет шампанское во дворце, кто водку в избе – все одинаково никнут головою в тоске оттого, что в сердце своем они не находят свободы.

У них нет веры ни во что, потому что нет веры в самих себя; беспощадный кнут постоянно занесен не только над спиною селянина, но и над помыкающим им барином: и тот и другой одинаково ущербны, поскольку оба лишены внутренней свободы личности, и тяжесть этого страдания сильнее боли неразделенной любви, мучительнее духовно-

го одиночества поэта; вовлеченные во всемирный порыв радостной устремленности к свободе, они страдают от своей несвободы подобно скопцу, терзающемуся неизбывною мукою при виде чужого блаженства, и отчаяние свое, вызванное ощущением безнадежного увечья, и помноженное на ярость гордого народа, покорителя степей, они с жестокостью обрушивают на еще более обездоленные народы, изливая таким образом боль от своего собственного убожества»[1]. При отсутствии веры и внутренней свободы, при глубочайшей ущербности, которая вымещается в имперском насилии, – о каком обновлении мира можно говорить? Статья Марти противоречива, как созданный им образ русского народа, и фактически завершается знаком вопроса.

Западнический модус восприятия русских, породивший собственный набор стереотипов, получил развитие и углубление в книге первого известного латиноамериканского писателя, кто побывал в России и написал о ней по личным впечатлениям. Это был гватемальский прозаик, яркий представитель испаноамериканского модернизма Энрике Гомес Каррильо, который в 1905 г. вместе с директором журнала «Либераль» посетил Россию, чтобы информировать испаноамериканских читателей о ходе русско-японской войны. Репортажи Гомеса Каррильо публиковались в европейской и в латиноамериканской прессе и получили широкую известность, а в 1906 г. вышли на испанском языке в Париже отдельной книгой под названием «Современная Россия».

Гомес Каррильо попытался создать всеохватную картину российской действительности, отразив как политическую и экономическую ситуацию в стране, так и обычаи, особенности менталитета русского народа. И эта картина в целом получилась весьма безотрадной. Гватемальский писатель решительно избавляется от тех, условно говоря, «романтических» мифов и восторгов по поводу патриархальности, природности, наивности, широте русской души, какие представлены в высказываниях Марти, и претендует на трезвый социологический анализ с фактами и цифрами в руках; но его социология насквозь пропитана литературностью и поэтичностью и как следствие субъективностью, а в стихии поэтического рождаются новые мифы.

В видении Гомеса Каррильо основу основ политической, экономической и духовной жизни России составляет страх, охвативший

[1] *Марти Х.* Выставка Русского художника Верещагина. / Латинская Америка, 1995, № 5. С. 78. Перев. Ю. Гирина.

все социальные слои, от забитого крестьянина до царя. Чем выше по социальной лестнице – тем сильнее страх, достигающий апогея в царском дворце: «В этой безмерной империи ужаса более всего мучим страхом монарх. По меньшей мере, в этом отношении выявляется его верховенство над остальными. Дрожь остальных, кого на каждом шагу преследует призрак Сибири, – это всего лишь легкий озноб, в сравнении с тряской от ужаса, этой непрестанной пыткой императорской особы. (...) О, бедный властитель сотен миллионов подданных! Сколь жалок он, беспричинно дрожащий, вечно дрожащий!» По убеждению автора, в России «каждая попытка реформирования была продуктом страха. Непрекращающийся страх становится стимулом реформ. Только страх!». Но он же, страх, не позволяет проводить реформы решительно и до конца, отчего вся русская политическая система грешит непоследовательностью и половинчатостью. «Русские правители хотят быть строгими – но не чересчур, проводить реформы – но не до конца, удовлетворить тех, кто просит, и не разозлить тех, кто ничего не просит». Как видно, этот тезис прямо противоположен мифу о широте русского человека, который за что ни возьмется, все доводит до предела. Впрочем, это обобщение несколько противоречит тому, что автор говорит об авторитарном режиме России, – в нем-то как раз наблюдается полная и жестокая определенность: «Россия уже многие века находится в оковах инквизиторской полиции»; «Политический режим России отличается необыкновенной суровостью. Все запрещено, не выносится ни малейшей критики, ничего не прощается». Как видно, нарисованная гватемальцем картина политической жизни России, куда больше соответствует реальности сталинского, нежели царского режима, но именно так просвещенный латиноамериканец воспринял российскую действительность.

И даже истовая религиозность русского человека – и та, по мнению Гомеса Каррильо, проникнута страхом: «Перед иконой... православные падают на колени с бесконечным ужасом и дрожат, когда осеняют себя знаком креста... Дело в том, что они этих святых, безусловно, воспринимают как суровых блюстителей Божьих законов, блюстителей беспощадных и мстительных». (...) Эти пышные и жестокие иконы представляют христианство азиатского толка, сплавленное с мистическими теогониями Индии».

Особенно решительно Гомес Каррильо расправляется с мифом о русском крестьянине – «патриархальном ребенке» с его «естествен-

ными добродетелями». «Русские крестьяне – вовсе не такие, какими их изображал Тургенев, – пишет он. – Это гнусные, жалкие существа, грубые рабы неблагодарной земли. Лишенные романтического ореола, они предстают в своем подлинном обличье: убогие создания, чьи души непрестанный голод наполнил низменными инстинктами. Все хотят скопить денег, чтобы стать ростовщиками и эксплуатировать соседей. Также они мечтают, чтобы соседи разорились и ушли в город, и за счет их земель увеличить собственные наделы. Единственное на что уходят их умственные способности – это изыскивать ходы, чтобы платить поменьше налогов. Они всегда лгут. Единственный предмет их обожания – водка».

В столь же неприглядном обличье предстают рабочие: «Между русскими рабочими и пролетариями свободных стран, таких как Франция, Италия, Бельгия, пролегает бездна. Русские рабочие – все еще рабы, порождение темных невежественных эпох, рабы, которые просят только одного, того же, что просят звери: получать пищу, не умереть с голода, иметь гнездо, в конце концов, просто существовать!» Единственно кого превозносит Гомес Каррильо, – это террористов из среды студенчества и интеллигенции, ведущих самоотверженную героическую борьбу за свободу: их он уподобляет раннехристианским мученикам.

Если бы Гомес Каррильо воспринимал Россию взглядом латиноамериканца, то он, несомненно, отметил бы моменты сходства политической, социальной ситуации России с положением ряда латиноамериканских стран (той же его родной Гватемалы), где практиковались очень жесткие формы эксплуатации рабочих и особенно крестьян при сохранении диктаторских режимов. Но в книге нет ни единого упоминания Латинской Америки. Гватемальский писатель воспринимает Россию взглядом просвещенного европейца, поэтому центральное место в книге приобретает оппозиция Европа / Россия, которую автор, выступающий с западнических позиций, интерпретирует как оппозицию Европа / Азия. Безотрадное положение России в сравнении со «свободной Европой» он объясняет тем, что «русская душа все еще полна азиатской сущностью (arcanos asiáticos)». Фактически же Россия находится в межеумочном пространстве, на перекрестке миров – эта мысль ясно звучит при описании Петербурга. Заснеженный, он представлял собой величественное и «самое экзотическое зрелище»; но стоило снегу истаять – «и теперь, когда покровы упали, мы замечаем, что Европа осталась по ту сторону границы… и что

этот город, на самом деле, – не более чем перекресток, где проходят азиатские расы». Оппозиция Европа / Азия, разумеется, не может не затрагивать такой базовой категории, как рационализм. Если последний объявлялся принадлежностью и фундаментальной ценностью западноевропейской цивилизации, то русский менталитет выводился за рамки рационального, разумного, логики – между прочим, это был тот пункт, в котором совпадали западники и славянофилы, хотя и давали русскому иррационализму диаметрально противоположные оценки. «В России все возможно, – утверждает Гомес Каррильо. – Здесь «логика» – пустое слово, не имеющее адекватного перевода на русский язык; и выше самых серьезных договоренностей, выше самых святых обещаний остается прихоть. Единственное, с чем стоит здесь считаться, так это с неожиданностью (sorpresa). Во всех сферах национальной жизни властвует непредвиденность»[1].

Как видно, книга Гомеса Каррильо вся строится на противопоставлениях, выполненных в черно-белых тонах почти без промежуточных оттенков; в особенности это касается воссоздания политической и духовной атмосферы: на одном полюсе – страх, мрак, тирания и жестокость, на другом – свет, воля к свободе и самопожертвование революционеров. Подобная интерпретация в большой мере определила восприятие латиноамериканцами политической ситуации в России: так, мексиканский модернист, поэт С.Диас Мирон, несомненно, читавший репортажи или книгу Гомеса Каррильо, незадолго до русской революции 1905 г. написал стихотворение «Царю Российскому Николаю II», звучавшее как грозное предупреждение тирану о том, что «народ, рассвирепев, / как лава жаждет грозного исхода». Другой известный поэт-модернист, боливиец Р. Хаймес Фрейре откликнулся на кровавое воскресенье стихотворением «Россия». Русская революция 1905 г. вызвала горячий интерес и отклик в Испанской Америке. Латиноамериканские интеллектуалы, прежде всего модернисты со свойственным им духом бунтарства и интересом к иным культурам, восторженно приветствовали революционные обновления в России, видя в них пример для подражания. В марте 1905 г. Дарио сочинил и публично прочел в Мадриде поэму «Приветствие оптимиста», где превозносил «испанскую расу», включая в нее испаноамериканцев, а поскольку поэма была проникнута мессианскими идеями, то не слу-

[1] *Gómez Carrillo E.* La Rusia actual. Paris, 1906. P. 3, 14, 3, 107, 25, 26, 22, 73, 104-105, 82, 52, 194, 175.

чайно в ее финале возник образ России, которая уже взяла на себя мессианскую роль в грядущем обновлении человечества:

> Племя латинского корня увидит грядущего зори!
> В громе торжественной музыки уст миллионы
> Будут приветствовать свет лучезарный с Востока.
> Там, на державном Востоке, меняет и все обновляет
> Вечность творца, беспредельная сила вселенной[1].

Пророчество Дарио отчасти сбылось, и «свет лучезарный с Востока», пришедший в Латинскую Америку после революции 1917 г. в виде коммунистической идеологии, радикально обновил образ России. Но прежде чем говорить об этом, следует упомянуть любопытную книгу аргентинца Алехандро Кастиньейраса «Душа России». Хотя она вышла в 1923 г., идеологически она относится к дореволюционному периоду и в каких-то моментах роднится с книгой Гомеса Каррильо, но проставляет собственные акценты и содержит ряд примечательных суждений. Автор не бывал в России и свое исследование составлял по историческим и социологическим материалам, главным образам французским; но основным источником осмысления России для него послужило творчество Достоевского – его анализу посвящена большая часть книги. Поэтому вполне закономерно, что одной из «несущих конструкций» при создании образа России становится категория «страдание» (первая глава, посвященная истории страны, называется «Исторические этапы страданий русского народа»).

По мнению автора, «фундамент противоречивой психологии русских» заложил тот факт, что они долгое время оставались кочевым народом, далеким от «дисциплины и сложных механизмов управления» и склонным к стихийно коммунистической самоорганизации. Ссылаясь на мнение европейских авторов Кастиньейрас утверждает, будто первоначально русский народ был «одним из самых миролюбивых народов на земле»; тем большее удивление у него вызывает то, что «народ столь мирный и богатый добродетелями породил самую кровавую и жестокую историю, а его дух бунтарства и независимости не помешал установлению самого закрытого централизма и самого деспотичного абсолютизма». Как видно, в этих суждениях все мифично: славяне изначально были оседлыми народами, не более и не менее мирными, чем многие другие; русская история вплоть до XX в.

[1] *Дарио Р.* Избранное. М., 1981. С. 76. Перевод Ф. Кельина.

была ничуть не более, а скорее менее кровавой, чем история западноевропейских государств; как не была русская система управления ни самой закрытой, ни самой деспотичной.

Кастиньейрас объясняет это противоречие катастрофичными последствиями монгольского ига, которое раз и навсегда отделило Россию от Европы. Татаро-монголы отравили душу русского народа: если князья стали духовными наследниками ханов, восприняв их тиранию и воинственность, то народ, отлученный от государственного строительства, впал в полнейшую пассивность и в мистицизм. «Не имея возможности предаться поискам, так сказать «внешней правды», будь то политика или экономика, русский народ нашел убежище во «внутренней духовной работе», ставшей его одержимостью». Отсюда – истовая религиозность, сектантство, бродяжничество. Немалое влияние на формирование русской психологии оказал, по мнению автора, и географический фактор: бесконечность национального пространства заставляет человека чувствовать себя пылинкой и погружает его в мистику, интроспекцию.

Закономерным продуктом «внутренней духовной работы» вкупе с мистицизмом становится мессионизм – одна из наиболее характерных черт русской психологии и культуры. Мессианскими идеями, подчеркивает автор, проникнуты все без исключения русские идеологические течения: православие, социализм, нигилизм, западничество, славянофильство. В силу этого русская революционность, в отличие от западноевропейской, направлена не столько на преследование национальных интересов, сколько носит универсалистский характер: идея национального освобождения оказывается неотделима от идеи братского единения народов; революция видится лишь как шаг на пути обновления всего человечества. При этом русская тирания породила особо разрушительный революционный дух: всякий эволюционизм отвергается, надо разрушить все и до основания. Что же касается недавно произошедшей социалистической революции, то автор благоразумно воздерживается как от ее оценок, так и прогнозов и приводит знаменитые слова Гоголя о «птице-тройке» – то есть фактически завершает свои рассуждения знаком вопроса.

А.Ф. Кофман

Образ Советской России

В одном Кастиньейрас оказался, безусловно, прав, когда отметил мессианский характер социалистической революции. Она действительно рассматривалась как первый шаг на победном пути мировой революции, и этот ее посыл был воспринят левыми движениями во всем мире, и в особенности в Латинской Америке. Если в предшествующий период главным стимулом интереса к России в Латинской Америке служила литература, то теперь, несмотря на успех произведений ряда советских писателей (Бабель, Серафимович, Шолохов, Пильняк и др.) она уступила место идеологии. В процессе формирования латиноамериканской «искъерды» (леворадикализма) наблюдалось два встречных движения: непосредственное воздействие советских идеологов или их зарубежных эмиссаров и самостийное вызревание левой идеологии. Вплоть до 1950-х гг. Латинская Америка интересовала советских интернационалистов куда в меньшей степени, чем Западная Европа (если не считать спецопераций НКВД в Мексике после того, как там поселился Троцкий); эта ситуация радикально изменилась лишь в 1960-е гг. после победы кубинской революции. Поэтому можно сказать, что в Латинской Америке левые движения коммунистического толка сформировались самостийно, практически без участия эмиссаров СССР. Но они оказались не менее, а где-то гораздо более сильными, чем в Европе, и особенно прочные позиции левая идеология заняла в среде творческой интеллигенции.

Тому есть ряд причин. Во-первых, глубокая экономическая отсталость подавляющего большинства стран континента: чем больше нищеты, тем легче и действеннее коммунистические идеи проникают в сознание. Во-вторых, политические факторы: диктаторские и авторитарные формы правления чреваты революциями, которые берут на вооружение самые радикальные идеи переустройства общества. В-третьих, – довольно прочно устоявшиеся в Латинской Америке традиции анархо-синдикализма, который легко впитывал марксизм. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов характерный латиноамериканский мессианизм, глашатаями которого стали Р. Дарио, Х.Э. Родо, автор прогремевшего на всю Америку эссе «Ариэль» (1901), утверждавшего духовность Америки в противовес прагматизму США, и Х. Васконселос, автор книги «Космическая раса» (1925), который предрек континенту главную роль в духовном обновлении человечества. Так

что семена социалистической революции в России попали на благодатную латиноамериканскую почву.

Образы «другого» народа всегда в той или иной степени идеологичны. В образах России, созданных пером испаноамериканских писателей левой ориентации, идеологическая составляющая повышается многократно и предстает уже совершенно в ином, пропагандистском качестве. Важно отметить и тот немаловажный момент, что интеллектуал первой половины XX в. оказался в резко поляризованном мире, организованном по принципу «кто не с нами – тот против нас»: в этих условиях любая серьезная критика Советской России воспринималась как помощь врагам – будь то империалисты или фашисты. Все это, конечно, не могло не оказывать влияния на образ России, каким он складывался в произведениях испаноамериканских писателей левой ориентации. Радикально изменился, прежде всего, механизм создания образа, когда на место былой претензии на объективность приходит сознательная идеологическая, пропагандистская установка; и соответственно меняется сам образ: гнетущие картины дореволюционной России сменяются на радужные лубки. Образ России теперь выстраивается исключительно в противопоставлении «что было и что есть». Примечательно однако, что старые мифы и стереотипы, рожденные преимущественно в лоне русской же культуры, частично сохраняются, но дополняются новыми мифами, пестуемыми в самой Советской России. Эти тенденции наиболее ярко воплотились в репортажах и воспоминаниях трех знаменитых латиноамериканцев: один из них – перуанский публицист и политический деятель Виктор Рауль Айа де ла Торе; два других – великие поэты перуанец Сесар Вальехо и чилиец Пабло Неруда.

Айа де ла Торре побывал в Советском Союзе осенью 1924 г. – он посетил Ленинград, Москву и совершил путешествие по Волге, после чего опубликовал в Швеции и Швейцарии ряд репортажей. По духу своему они еще очень близки книге Кастиньейраса, хотя в отличие от последнего автор оценивает революцию, ее последствия исключительно в положительном ключе. Сходство же проявляется в том, что автор интерпретирует революцию через базовые имагологические мифологемы и стереотипы, почерпнутые из русской литературы. И не случайно во время своего путешествия автор постоянно обращается взором к русской культуре, освоенной весьма основательно: «Вот уже два дня, как Достоевский постоянно всплывает у меня в памяти, с того

самого вечера, когда я бродил по таинственным и мрачным переулкам старого Ленинграда. После четырехмесячного пребывания в Советской России мне захотелось перенестись в Россию **иную,** ту, что заставляла трепетать наши молодые сердца за чтением «Преступления и наказания», «Бесов» и трагической истории «Братьев Карамазовых». В Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле я уже предпринимал такие экскурсии в старую Россию, которая напомнила книги Пушкина, Толстого, Чехова и Андреева, музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и Стравинского, балет времен Анны Павловой»[1]. Хотя Айа де ла Торе выделяет слово «иной», Россию нынешнюю, постреволюционную, он воспринимает фактически точно так же, как Россию дореволюционную – в русле стереотипов, воспринятых из русской культуры. Все они, в устойчивом наборе представлены в его репортажах. Прежде всего – загадочность: эта мифологема опять-таки представлена в связи с русской литературой: «Путешествие по Волге дало мне возможность глубже проникнуть в русскую душу. (...) В памяти неоднократно всплывали сцены и персонажи из романов русских писателей, прочитанных в юности во время бессонных ночей там, в далекой Америке. Достоевский, Короленко, Горький открыли миру глубины психологии русского народа, но столкнувшись с ним лицом к лицу, обнаруживаешь его еще более загадочным, трогательным и чарующим». Следующая характеристика – противоречивость: «Этот простодушный, крепкий и спокойный крестьянин, который может быть бесконечно нежным и неистово яростным, лукавым и своекорыстным, упрямым и набожным, является хранителем жизненной силы многих поколений». Первозданность, теллуричность: он подобен мощному стволу старого дерева, от которого разрастается широкий лес. (...) Чистые и свежие соки вновь поступают через корни, уходящие глубоко в землю»[2]. Любопытно отметить, что много позже образ дерева в связи с Россией возникнет в эссе знаменитого кубинского писателя Хосе Лесамы Лимы: «Ни один народ не чувствует так остро, как русские, созидательную мощь пространства, и не случайно русское слово «деревня» происходит от слова «дерево»[3]. Между прочим в латиноамериканской литературе образ дерева в соотнесении с

---

[1] *Айа де ла Торе В.Р.* Из России. Перев. П. Тулаева. / Латинская Америка, 1990, № 12. С. 47.

[2] *Айа де ла Торе В.Р.* Указ.соч. / Латинская Америка, 1990, № 11. С. 90-91.

[3] *Lezama Lima* J. Introducción a los vasos órficos. Barcelona, 1971. P. 140.

латиноамериканской подлинностью, культурой, является одним из базовых элементов ее художественного кода[1]. Столь же близка латиноамериканцам и такая характеристика, как сила, первозданная мощь: «Россия – страна сильных. В русской породе заключается необыкновенная мощь...» Еще одна характеристика – «простота, свойственная сильным и служащая источником мощной энергии». Автор не забывает упомянуть и такие черты: «Русский легковерен и податлив, легко увлекаем и мечтателен. Ему обязательно надо во что-то верить, страдать во имя чего-то»[2]. И конечно, перуанский публицист не мог не выделить мессианский пафос русского сознания и свершившейся революции: «... Этот национальный дух, этот славянский мистицизм, это бесстрашное религиозное мессианство представляют собой главный и наиболее мощный источник силы русского народа»[3]. При таком восприятии закономерен ход мысли Айа де ла Торе: для него революция – это производное и кульминация базовых характеристик русской души: «Революция использовала открывшийся источник духовной энергии и направила его в нужное русло. По крайней мере, она пытается сделать это. Поставив такую задачу, революция придает глубокой и чистой русской душе свою форму»[4]. Как видно, главная особенность взгляда Айа де ла Торре на Советскую Россию состоит в том, что в революции он не видит «разрыва времен», напротив того, усматривает прочную связь прошлого (имманентно присущего русскому народу, этнотипического начала) с настоящим. В этом его позиция глубоко отлична от взглядов Вальехо и Неруды.

Вальехо побывал в СССР трижды – в 1928, 1929 и 1931 гг. и по личным впечатлениям опубликовал в парижских газетах серию репортажей, на основе которых издал книгу «Россия, 1931. Размышления у стен Кремля», которая имела колоссальный успех даже среди интеллектуалов, далеких от коммунизма, и была многократно переиздана. До этих поездок он основательно проштудировал марксизм, но, что примечательно, на предложение вступить в ячейку перуанской компартии в Париже ответил резким отказом: «Я не принадлежу ни к

---

1 См. Кофман А. Латиноамериканский художественный образ мира. М., 1997. Гл. 2, раздел 3.

2 *Айа де ла Торе В.Р.* Указ.соч. / Латинская Америка, 1990, № 11. С. 90-91.

3 *Айа де ла Торе В.Р.* Указ. соч. / Латинская Америка, 1990, № 12. С. 52.

4 *Айа де ла Торе В.Р.* Указ. соч. / Латинская Америка, 1990, № 11. С. 91.

какой партии... В жизни моей есть своя страсть, свой энтузиазм и своя искренность»[1]. Не будучи формально коммунистом, ведомый лишь страстью, энтузиазмом и искренностью, Вальехо оказывается чуть ли не святее римского папы и подчас защищает достижения социализма с пропагандистским напором и догматизмом, словно бы позаимствованным со страниц газеты «Правда». Но Вальехо был великим поэтом-новатором, создавшим собственный глубоко индивидуальный поэтический язык, и за агитационными пассажами иногда пробиваются поэтический взгляд и живые непосредственные впечатления.

В статье «Подлинная ситуация в России» (1929) Вальехо писал о том, что в отношении к Советской России установилось две «легенды» – условно говоря, «черная», пропагандируемая лагерем реакционеров, и «розовая», старательно поддерживаемая в стане европейских коммунистов. Отмежевываясь от этих крайностей, он заявляет о своей установке на объективность, и признает: «В общем, ситуация в России это и не ад, и не рай. Строительство социализма идет твердым шагом и по нарастающей, но трудности, порожденные самими революционными преобразованиями, весьма значительны. Русский народ все еще страдает, и страдает глубоко. Эти страдания – цена за его великую историческую миссию»[2]. Но в той резкой системе противопоставлений, в которой представлен образ России, для объективности остается мало места. Это двойная система оппозиций: Запад / Россия и прошлое / настоящее, устремленное в грядущее, при том что прошлое и Запад трактуются всегда в негативном ключе, а настоящее с его перспективой и Россия – в позитивном.

Для оппозиции Запад / Россия важен образ границы, создаваемый Вальехо: если польская граница напичкана траншеями и аванпостами, то русская – спокойный и безмятежный простор, выражение «миролюбивого духа страны Советов». «Похоже, что именно в России дух миролюбия проявляется в высших и подлинно конструктивных формах», – развивает свою мысль автор. Россия противопоставлена Западу как иной миростроЙ: не только как пространство мирное – агрессивному, но также как мир разума, распорядка, строительства, действия, гуманизма, словом, как мир будущего – хаотичному, бесчеловечному, обреченному капиталистическому миру. Будущее, причем

[1] Цит по: *Гирин Ю.* Сесар Вальехо. // История литератур Латинской Америки. Очерки творчества писателей XX века. М., 2005. С. 41.

[2] *Vallejo C.* Desde Europa. Crónicas y artículos. Lima, 1987. P. 364.

всечеловеческое, мессианское будущее – вот, собственно, та призма, сквозь которую Вальехо (и не только он) видит Россию, о чем многократно и прямо говорит: «Русский идеал, несомненно, восторжествует в будущем всего человечества»[1].

Советская Россия стоит на перепутье между прошлым и будущим. Это ощущение соположения и разрыва времен Вальехо замечательно выразил в статье о Москве под названием «Три города в одном». Один – город прошлого, и, что интересно, автор воспринимает его в поэтическом видении, при этом воссоздавая традиционные мифологемы скрещения Азии с Европой, жестокости российской истории, примитивности, патриархальности и природности русского человека. «Город, вобравший в себя черты монголо-татарской, буддийской и византийской культур, Москва – это большая деревня, из умерщвленного варварского чрева которой еще выпирают ржавчина виселиц и византийских куполов, запах ячменной водки, кровь крепостных, вино кремлевских празднеств, пот примитивных и бестиальных военных походов». Другой город – тоже тень прошлого – это старые, но реконструируемые здания; он соотносится с планом настоящего. Наконец, третий город, мысленно спроецированный в будущее, – это новые строящиеся здания. Автор не устает восхищаться современной советской архитектурой: «Она соединяет в себе комфорт и простоту, элегантность и незамысловатость, прочность и красоту», она равно далека как от «монументалистского и декоративистского мифа западноевропейской рабочей архитектуры, так и от реально существующих на Западе домов для рабочих, где люди содержатся, как тягловый скот.

Каждому из трех городов соответствует свой социальный слой. Москве прошлого – бывшие буржуа, аристократия и помещики. Вот как их описывает Вальехо: «Дореволюционный русский бродит по Москве, словно раненый и озлобленный призрак. (...) Он участвует в новой действительности бессознательно или насильно. Он проходит медленным, неуверенным шагом, подозрительно и недоверчиво осматриваясь вокруг себя. Нет центра тяжести ни в ногах его, ни в голове, ни в интересах. Советская действительность ему кажется столь странной и неприемлемой, что она его нейтрализовала и привела к полному бессилию. Его социальная роль свелась к нулю. Это не актер, а зритель в театре реальности. Он не живет, а выживает». В столь же

[1] Ibid. P. 346, 374, 313.

пренебрежительном тоне охарактеризован другой социальный слой – нэпманы, обыватели и несознательные рабочие, не участвующие в строительстве новой жизни: их удел – либо бессмысленное прожигание жизни, либо жалкое прозябание.

Цвет Советской России, залог ее великого будущего – большевики. Любопытно отметить, что, воспевая большевиков, Вальехо бессознательно, а может, и по чистому совпадению, использует некоторые из традиционных стереотипов образа русских, в частности, мифологему русской широты и отсутствия чувства меры. «Их деятельность выливается в патетические излишества и доходит чуть ли не до карикатуры. Они не знают промежуточных тонов. Большевик – это не мудрец, а человек, ни в чем не знающий удержу (desmesurado). Склонный к преувеличениям, но не к фанфаронству, он живописен и драматичен, страстен и безжалостен». В характеристике большевиков находят отражение также такие мифы, как жертвенность русского народа и его коллективистский дух: получается так, что большевики воплотили в себе эти национальные черты в самом экстремальном выражении. Но при этом большевики начисто лишены русской покорности, пассивности: «Они постоянно готовы к самопожертвованию и обладают инстинктивным органическим стремлением каждодневно свершать великие деяния. Воистину необыкновенны их самоотречение, их коллективистская страсть, их научная воинственность, спонтанное приятие советского строя, их динамизм, созидательная вера, в конечном счете, их жизненная стратегия». И в заключение – почти провидческое обобщение: «Их жизнь, полная страдания и самопожертвования, и в то же время естественности и страсти, вызывает чуть ли не религиозное почитание»[1].

Но сколько бы Вальехо ни восславлял достижения Страны Советов и деяния большевиков, он оставался поэтом, человеком, для которого свобода духа была превыше всего; и как поэт он инстинктивно почувствовал то, что его настораживало в марксизме, – тенденцию к превращению в новую религию. Его художественная практика (если не считать романа «Вольфрам», неудачного упражнения в методе социалистического реализма) была бесконечно далека от коммунистических агиток. И эта болезненная раздвоенность сознания и сердца, прорвалась в словах, сказанных им накануне второй поездки в СССР: «И вот в чем первопричина нашего беспокойства. Разрешает ли марк-

[1] Ibid. P. 407, 410, 415-416.

сизм многочисленные проблемы духа? Обретут ли все моменты и возможности исторического бытия свое разрешение в марксизме? Наконец, охватывает ли марксизм человеческую сущность жизни?»[1].

В какой-то степени эта раздвоенность присутствует и в сознании Пабло Неруды, который был последовательным марксистом и большим «другом Советского Союза», никогда не изменял своим политическим убеждениям и в конце жизни имел полное право написать о себе: «...Я – стойкий борец-революционер». Неруда, можно сказать, прочувствовал Россию прежде, чем побывал в ней фактически. Со школьных лет он увлекался Горьким, Достоевским, Толстым, к которым его приохотила школьная учительница, впоследствии знаменитая поэтесса и первый латиноамериканский лауреат Нобелевской премии Габриэла Мистраль. Затем пришло увлечение Л. Андреевым, и свои ранние произведения Неруда подписывал псевдонимом «Сашка» (имелся ввиду Сашка Жегулев). Любимым же поэтом Неруды всегда оставался Маяковский.

Впервые Неруда приехал в Россию в 1949 г. на 150-летие со дня рождения Пушкина – к тому времени он уже прочно зарекомендовал себя как сторонник коммунизма (член компартии Чили с 1945 г.), подтвердив свои политические взгляды и в ангажированном художественном творчестве (сборник «Испания в сердце», 1937; две «Песни любви к Сталинграду», 1942, получившие широкую известность в Латинской Америке, и др.). Вскоре Неруда стал членом Комитета по присуждению Международных Сталинских, затем Ленинских премий в защиту мира, и на заседания комитета он приезжал в Москву регулярно. Он также был вице-президентом Чилийско-Советского Института Культуры, тесно сотрудничал с журналами «Иностранная литература», «Новый мир», «Знамя», был желанным гостем Союза писателей, Дома Дружбы, Комитета защиты мира, Дома актеров, Московского Радио. Неруда выступал в самых различных залах Чили, рассказывая о Советской России, ее культуре, и на своей земле как гостеприимный хозяин опекал почти все делегации советских писателей, журналистов.

Поскольку политические симпатии Неруды сложились задолго до того, как он посетил СССР, они не просто определили, но, можно сказать, диктовали ему восприятие Страны Советов. Стоит привести

[1] Цит. по: *Гирин Ю.* Указ соч. С. 45.

слова, сказанные другом и переводчиком Неруды Э. Брагинской на заседании, посвященном столетнему юбилею рождения чилийского поэта: «Неруда – это одна из тех великих драматических фигур XX века, – а их немало – Альберти, Пикассо, Ромен Роллан, Арагон, Фейхтвангер, долгие годы Амаду – которые стали идейными друзьями СССР и каким-то непостижимым, роковым образом были рады обманываться, как и многие их сверстники в нашей стране, и видели у нас то, что им мечталось видеть». Именно этой мечтой рождены строки Неруды: «Ты, Советский Союз, расцветаешь / такими цветами, которым / на земле нет покуда названья».

Что неизменно поражало латиноамериканцев, побывавших в России, – это обилие пространства; вот и Неруда свои воспоминания о России начинает с образа пространства: «С самого начала меня поразило в Советском Союзе то, что в нем все проникнуто чувством простора, безбрежной шири...» Образ пространства моментально переводится в политическую плоскость и проецируется на время: как и Вальехо, Неруда оценивает советскую действительность взглядом из будущего: «Я осознал и то, что с первозданных степных широт советского континента начнется великий полет в будущее. Все человечество знает: на советской земле куется гигантская правда, и весь изумленный мир напряженно ждет того, что должно свершиться». В конструировании образа России ее защитники из левой интеллигенции используют мифы и стереотипы, утвержденные в виде лозунгов в официальной Советской идеологии. Не становится исключением и Неруда, который наряду с прочими мифами воспроизводит и тот, что был выпестован и всячески поддерживался в сталинскую эпоху, – образ страны, находящейся в окружении врагов: «Может ли писатель не быть солидарен с народом, который отражает яростные атаки захватчиков, который окружен беспощадными врагами и мракобесами всех мастей?» В создаваемый по идеологическим параметрам образ легко встраиваются и многие прочие советские лозунги – антиимпериализм, антиколониализм, братская помощь народам и прочие: «Социалистическое возрождение Армении – истинное чудо и одновременно самое веское опровержение злобных толков о некоем «советском империализме». В дальнейшем Неруда многократно выступал в защиту советского социализма, и нет нужды приводить эти высказывания. Интереснее обратиться к опыту осмысления минусов социализма.

Первым серьезным ударом по престижу России в глазах латиноамериканской леворадикальной интеллигенции стал пакт Молотова

– Риббентропа. После подписания пакта некоторые латиноамериканские деятели культуры в корне изменили свое отношение к Стране Советов – так, например, случилось с О. Пасом, ранее ортодоксальным марксистом. Но большинство пошло на поводу советской пропаганды, представляя соглашение с Гитлером как вынужденный тактический ход с целью оттянуть начало войны и т.п. Война и победа над фашизмом стерли из памяти этот позорный эпизод – во всяком случае, Неруда в своих воспоминаниях и очерках даже не упоминает о нем.

Но главным испытанием стало развенчание культа личности Сталина – на это уже невозможно было закрыть глаза: «Самая глубокая трагедия для нас, коммунистов, – вспоминает Неруда, – заключалась в том, что мы поняли, что наши противники правы в оценке некоторых аспектов деятельности Сталина. На смену открытиям, потрясшим наши души, пришло болезненное состояние умов. Одни чувствовали себя обманутыми и волей-неволей принимали доводы врагов, переходили на их сторону». В этой ситуации марксисты во всем мире вынуждены были вырабатывать стратегии самозащиты. И она была выработана – продолжим цитату: «Другие считали, что XX съезд – великое свидетельство силы и цельности коммунистической партии, которая выстояла несмотря ни на что, и, не испугавшись ответственности, явила миру историческую правду. И если мы действительно ответственны, то теперь, зная все, можем самокритично проанализировать прошлое: ведь самокритика и анализ – главные элементы нашего учения – не позволят повториться подобному». Неруда понимает, что «и революция, и те, кто ее делает, могут совершать ошибки и несправедливости». Он признает даже то, что «я, грешный, тоже внес свою лепту в культ личности Сталина». Однако под рукой всегда есть два самооправдания. Первое: «Но в те времена Сталин был для нас всемогущим победителем гитлеровских армий, спасителем всего человечества». За ним сразу же следует второе: «Перерождение его характера – какая-то непостижимая тайна, которую так и не смогли разгадать многие из нас»[1].

Впрочем, Неруда не мог не видеть некоторых изъянов социализма – прежде всего в том, что касается свободы творчества. Как и в случае с Вальехо, художник противился идеологу, хотя, в отличие от перуанского поэта, Неруда не соблюдал дистанцию между политическими воззрениями и поэзией, что и дало основание О. Пасу в ответ на

[1] *Неруда П.* Указ. соч. С. 264-265, 268, 318, 400, 310.

упрек Неруды мексиканским поэтам в недостатке «гражданственности» резко сказать о нем: «Его литература испорчена политикой, его политика – литературой...»[1] Но и при этом он на уровне инстинкта не принимал цензуры, прямого социального заказа и, думается, был вполне искренен в своем творчестве. Неруда вспоминает, как в 1951 г. во время поездки в Китай Эренбург прочел ему «одно из своих негласных стихотворений. Я назвал стихотворение "негласным,, потому что оно пришлось на ту пору, когда в стране появлялись в газетах разносные статьи, под обстрел попадал то один, то другой художник. (...) Стихотворение, в котором было столько нежности к Франции, пряталось от чужих глаз, точно скрытый в траве цветок». Конечно, эта ситуация с подпольным творчеством не могла не задеть Неруду; но в то время, говорит он, на фоне величия революции в его «душе не было места для мрачных деталей». Зато два десятка лет спустя он очень остро воспринял жалобу Гарсиа Маркеса на то, что из русского перевода «Ста лет одиночества» выкинули ряд эротических сцен, и выразил свое недовольство в советском издательстве. Неруда не может скрыть растерянности, на всякий случай вновь подтверждает свою твердую веру в социализм, но тут же признается: «...Мне все труднее разобраться в противоречиях, которые раздирают наше человечество». Свобода творчества – та грань, за которой политическая вера дает трещину. Наконец, стоит привести воспоминание Л. Осповата, написавшего первую на русском языке книгу о творчестве Неруды. На вопрос о том, можно ли в этой книге назвать его социалистическим реалистом, чилийский поэт ухмыльнулся и понимающе сказал: «Если очень нужно, то можно». То есть сам себя он к этому «прогрессивному методу» не относил, а значит, внутренне его не принимал.

Следует оговорить, что образ России в творчестве Неруды далеко не сводим к идеологическим чертежам; он намного более разнообразен и поэтичен, чем в репортажах Вальехо. Такое качество ему придает опыт тесного дружеского общения с советскими писателями и переводчиками. «Москва для меня праздник»[2], – говорит в мемуарах поэт, имея ввиду прежде всего друзей, которых он искренне и верно любил. Вспоминает Э. Брагинская: «Он отчаянно горевал, когда они уходили из жизни. Помню, как он говорил в 1970 году – у меня

[1] *Vizcaíno F.* Biografía política de Octavio Paz o la razón ardiente. Málaga, 1993. P. 74.

[2] *Неруда П.* Указ. соч. С. 277, 401, 320.

здесь почти никого не осталось. В Россию его всегда остро тянуло еще и потому, что он, как все простые смертные, мечтал о дружеских встречах и застольях с Эренбургом, с Овадием Савичем, чье имя вырезано на балке в доме в Исла-Негра, с Константином Симоновым, с Маргаритой Алигер и с Михаилом Лукониным – о чем мало кто знает – и особенно с Семеном Кирсановым. Неруда всегда слушал его, как завороженный. При мне смертельно больной Кирсанов в 1972 году читал смертельно больному Неруде свое знаменитое стихотворение «Смерти больше нет». Добавим к упомянутым именам Е. Евтушенко, Б. Ахмадулину, испанского скульптора А. Санчеса, жившего в Москве, – почти всем им он посвятил стихотворение.

Благодаря этим дружеским контактам в творчестве Неруды образ России предстает в глубоко личностном измерении. Неруда, как истинный «гражданин мира», чувствовал свою духовную укорененность во многих странах, в том числе и в Советском Союзе, и потому писал о себе:

Я патриарх моего арауканства,
кастилец по речи, свидетель
Эль Греко и его бедной родни,
я сын Аполлинера или Петрарки
а также и птица Василия Блаженного,
живущая среди цветастых куполов,
лукавых луковиц и редисок
византийского огорода, среди видений
икон и их геометрии...
(Перев. П. Грушко)

Как только в поэзии Неруды образ России изымается из идеологических схем, он тут же приобретает иное качество и, можно сказать, космический масштаб. Он насыщается мистикой, тайной, ощущением вечности; на первый план выходят мотивы самобытности, беспредельного пространства, мощи, соборности. Такой образ – по сути своей религиозно-экстатический – создан в стихотворении «Колокола России»:

Однажды я брел по безмолвной заснеженной шири,
И вот что случилось –
Послушай, родная, про случай туманный:
мороз над пустынною степью
развесил ледышки своих ожерелий,
и шкура планеты блестела,
покрыв обнаженное тело России,

а я, раздвигая скелеты берез, в предвечерье огромном
шагаю, вдыхаю пространство
и слушаю пульс одинокого мира.
Тогда-то и взмыл из безмолвия
Голос земли полуночной,
за голосом голос, вернее –
всемирное многоголосье:
глубокий басовый удар
неумолчный металл непроглядного мрака,
поток этот медленный – голос таинственный неба.
В округлые выси летел
Этот вызов небесного камня
И падал во мглу водопадом серебряной скорби, –
Вот так я в дороге и встретился
с колоколами России,
с глубинным ознобом их звона во тьме поднебесной.

(пер. П. Грушко) .

Во внеидеологическом образе России проступают мифологемы и стереотипы, сформированные в русской, а через нее в западноевропейской культуре – и эта закономерность проявляется в репортажах Г.Гарсиа Маркеса, написанных в 1957 г., после первого посещения СССР, куда начинающий писатель и журналист приехал на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В ноябре того же года он опубликовал репортаж «Я побывал в России», который два года спустя вышел в свет в несколько более расширенном варианте под названием «СССР: 22.400.000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы». Сопоставительный анализ этих двух текстов ясно показывает, что в сознании писателя за прошедшие два года никаких принципиальных изменений образ России не претерпел: добавлены лишь несущественные детали – при том, что все, скажем так, «несущие конструкции» первого репортажа сохранены; более того, они укрупнены, и некоторые мотивы вынесены в заглавия подглавок. Поэтому фактически можно говорить об одном репортаже, написанном по горячим впечатлениям.

Он интересен не только тем, что создан незаурядным писателем, будущим лауреатом Нобелевской премии. Он интересен в первую очередь **ситуационно**. Следует подчеркнуть, что Гарсиа Маркес не принадлежал ни к левому, ни к правому лагерю и при восприятии советской действительности не исходил из предзаданных идеологических установок. Ситуация первого контакта, с одной стороны, дает

особую остроту впечатлений; с другой, – заставляет упорядочить эти впечатления, выделяя главные среди второстепенных. Эти главные, самые яркие, впечатления и становятся «несущими конструкциями» образа, о которых говорилось ранее. Стоит обратить внимание еще на один момент. В тексте обнаруживается очень важная для нашей темы ремарка: по словам Маркеса, деревни выглядят «как они описаны в русской классической литературе»; и далее он замечает: «Поражает, с какой верностью русские литература и кино воссоздали это мимолетное ощущение жизни, проносящейся за окном поезда». Эти слова свидетельствуют о том, что писатель был неплохо знаком с русской культурой, а значит, в его сознании присутствовал некий образ, а лучше сказать, прообраз России. Это важно учитывать для понимания механизма восприятия. Держа в сознании некий прообраз России, писатель впервые приезжает в эту страну и формирует ее образ. Возникает сложный процесс взаимодействия: непосредственные впечатления, конечно, значительно видоизменяют или «надстраивают» прообраз; вместе с тем, последний играет далеко не только пассивную роль, ибо в той или иной степени влияет на восприятие, направляя его в определенное русло. Во всяком случае, в репортаже Маркеса чувствуется актуализация мотивов, присутствующих в русской саморефлексии и самоидентификации. Но также и в латиноамериканской саморефлексии, которая тоже влияла на модус восприятия России. Речь идет о сумме взаимосвязанных мотивов, выражающих идеологему и мифологему особости страны и народа ее населяющего.

В первых строках репортажа писатель повествует о пересечении границы. Этот рассказ полнится глубинным смыслом, и все дальнейшие впечатления автора подтверждают, что государственную границу СССР он воспринимает в расширительном, символическом, онтологическом ключе – как границу между цивилизациями. На это ясно указывает следующий пассаж: рассказав, как внимательно и по несколько раз пограничники сверяли лица пассажиров с фотографиями в паспорте, автор отмечает: «Это единственная граница в Европе, где принимается эта элементарная мера предосторожности». Показательно, что эта, уже вполне осознанная мысль о границе цивилизаций, была вынесена в ироничное заглавие переработанного репортажа: кока-кола мыслится принадлежностью западной цивилизации; ее отсутствие – это не смысловое зияние, а образ иного мироустроя.

Следует особо подчеркнуть, какую огромную значимость образ границы, воплощенный Атлантическим океаном, имеет в латиноа-

мериканском образе мира. Ведь латиноамериканская самоидентификация строится на утверждении инаковости по отношению к западноевропейской культуре. И не случайно образ границы так остро прозвучал в репортаже колумбийского писателя. Но столь же остро в подтексте был сделан акцент на принципиальном различии русской и латиноамериканской цивилизационных границ. Дело в том, что граница латиноамериканского «иного» мира не просто проницаема, а парадоксальным образом выступает в роли связующего звена между двумя мирами. Героя необходимо провести из «своего» мира в «другой» (или наоборот), чтобы, столкнув его с «чужим», дать ему точку отсчета для достижения «своего». Отчасти как раз в этом проявляется пограничная сущность латиноамериканской культуры. Русская граница в трактовке Маркеса – непроницаема. Она непроницаема в первую очередь на уровне сознания, что находит подтверждение в словах об «иной» непостижимой ментальности, которые, что примечательно, звучат как вывод в последних строках репортажа. Так, можно сказать, «обрамлен» репортаж, а вместе с ним и образ России.

Между этими смысловыми рамками и развивается тема инаковости России. Сразу вслед за мотивом границы мощно, эпически звучит лейтмотив безмерного пространства: «Человеческое воображение с трудом способно вместить в себя колоссальные размеры этой страны. (...) Эти размеры чувствуются, как только пересекаешь границу. (...) Возникает такое чувство, как будто путешествуешь к недостижимому горизонту, где надо полностью изменить чувство пропорций, чтобы понять страну». Собственно, в этих строках просматриваются начала всех тех мотивов, что получат развитие в дальнейшем.

По Гарсиа Маркесу, выходит так, что именно безмерное пространство стало почвой, на которой взросла русская инаковость. Эта идея отчетливо присутствовала как в русской литературе, так и в предшествующих текстах о России, вышедших из-под пера латиноамериканских авторов. Заявленный образ пространства проецируется на восприятие русской ментальности и русского мироустроя. В приведенных выше цитатах ясно выделяются две характеристики. Первая – «колоссальные размеры» пространства. Они-то, по убеждению Маркеса, порождают монументализм, какую-то нечеловеческую масштабность русской ментальности и жизни во всех проявлениях. По замечанию писателя, «это страна, где невозможен камерный театр». Примечателен следующий фрагмент: «Громадные портреты вовсе не есть изобретение Сталина. Это нечто, порожденное глубинной психологией

русских: инстинктом объема и количества». Очень важная и глубокая формулировка, куда не вошло понятие «качества». Действительно, объем и количество – это поле экстенсивности, то есть беспредельное количественное расширение, не переходящее в новое качество. Ярким выражением этой характеристики стал заголовок одной из подглавок репортажей: «Москва – самая большая деревня в мире» (напомним: тот же образ возникает в репортажах Вальехо). В нем вовсе нет ничего пренебрежительного по отношению к столице России; он выражает совсем иную мысль. Город – антипод природности, это пространство, создающее иное качество. Деревня же традиционно мыслилась частью природного пространства. Москва, таким образом, охарактеризована как воплощение объема и количества, не создающих нового «городского» качества. Сказанное, однако, вовсе не противоречит идее русской инаковости и тому, что говорилось о цивилизационной границе. Разумеется, Россия имеет собственное качество – только образуется оно в поле экстенсивности.

На это указывает другая характеристика, прозвучавшая при описании пространства: смещение «чувства пропорций». Сформированный безмерным пространством «инстинкт объема и количества», толкает русских к чрезмерности проявлений во всем. Автор вспоминает: «Это было, как попасть в сумасшедший дом, пациенты которого даже в гостеприимстве и в великодушии потеряли чувство пропорций». Самая яркая иллюстрация этого ощущения – сцена, когда некий русский, решив сделать подарок зарубежному корреспонденту, швыряет свой велосипед в тамбур поезда и наносит корреспонденту увечье.

Москва, по определению Гарсиа Маркеса, создана «не по человеческим меркам». «Московская толпа – самая плотная в Европе – нисколько не обеспокоена диспропорцией мер». В цитированных фразах намеренно дан пусть неказистый, но буквальный перевод, чтобы выделить понятие «пропорции», столь важное для писателя. В пространственном отношении пропорция – это замкнутый мир, структурированный по знакомым объектам: в нем все относительно устойчиво, все стоит на своих местах, расстояния отмеряны, все соотнесено друг с другом. В поведении людей пропорция – это разумное соотношение, чувство меры, здравый смысл, связь причины и следствия, четко установленная шкала ценностей. То есть, в целом, пропорция – тот рационалистический фундамент, на котором возведена западноевропейская цивилизация. Пропорция – это норма.

Безмерность русского пространства разрушает пропорции. Это

пространство неструктурированное, имеющее естественной границей лишь удаляющийся горизонт; и лишенное центра, коль скоро Москва – большая деревня. Пропорции нарушены и в поведении людей: они не переступают норму, они ее не знают, отстоят от нее – например, «прогуливаясь по улицам в пижаме с самым естественным видом» или безо всякого стыда справляя нужду в общественном туалете без кабинок. Поэтому мотив, прозвучавший при создании образа пространства («надо полностью изменить чувство пропорций, чтобы понять страну») получает развитие и дополнительный акцент: «Пребывая в Москве, честный турист быстро осознает, что ему требуется иная, отличная от нашей, система мер и весов, чтобы оценить реальность. У нас есть элементарные понятия, какие советским людям даже не приходят в голову». Прозвучавшие в вышеприведенной цитате местоимения «нас» и «наши» ясно указывают на то, что автор отождествляет себя с западноевропейцем, именно его глазами он видит нарушение меры.

Вместе с тем само повышенное внимание к понятию «пропорция», его семантическая нагруженность, выдают в авторе латиноамериканца. Ведь основой латиноамериканской самоидентификации является мифологема сверхнормативности, сверхпредельности – то есть представление о Новом Свете как мире аномальном, нарушающем европейскую норму. И между прочим, ярче всего эти представления воплотились в творчестве самого Гарсиа Маркеса, в особенности в его одержимых героях, попирающих норму на каждом шагу. Но нельзя понять аномальность, исходя из другой аномальности. Понять аномальность можно только закрепившись на плацдарме нормы. Вот почему Маркес при восприятии и создании образа России вынужден забывать о своем латиноамериканском происхождении и принимать взгляд западноевропейца.

С отмеченными несущими конструкциями образа России опосредованно связан еще один значимый мотив, вынесенный в название одной из подглавок: «Им приходилось все изобретать самим». Автор говорит о технологической отсталости СССР: «Отделенные от всего мира, не участвуя в совместном прогрессе западной техники, советские люди решают эту проблему по-своему» – изобретая порох и велосипед. Но этот мотив имеет и более глубокое наполнение, ибо он связывает пространство со временем. Получается так, что непроницаемая цивилизационная граница пролегает не только в пространстве, но и во времени. Россия выпала из времени западноевропейской

цивилизации, она живет как в первые дни творения и проходит свой собственный путь.

Между прочим, такое ощущение времени в высшей степени присуще латиноамериканской культуре, где утвердился эмблематический образ Адама, дающего названия вещам, – вспомним начало «Ста лет одиночества»: «Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия». Вновь мы видим взгляд на Россию в двойной оптике: латиноамериканца, надевшего очки западноевропейца.

В репортажах Гарсиа Маркеса достаточно много внимания уделено анализу особенностей советского социализма и различного рода внутриполитических аспектов жизни страны. В политическом отношении автор пишет очень сдержанным тоном, избегая инвектив и восхвалений; доминирующим чувством становится удивление, иногда доходящее до оторопи. В целом можно констатировать, что колумбийский писатель не принял социализма в качестве ориентира для других стран – социалистическая система осталась ему глубоко чужда, прежде всего, в силу отсутствия подлинной свободы личности, в том числе свободы слова. Но для Гарсиа Маркеса политическая система – лишь внешнее проявление неких глубинных национальных черт, которые он и пытается уловить, и строго выстраивает для себя иерархию причин и следствий. Советское – есть лишь одно из проявлений русского начала, сформированного за многие века в лоне этой инаковой (по отношению к западноевропейской) цивилизации. Об этом он прямо заявляет в последних строках репортажа: «По моему глубокому убеждению, советский феномен – как в самых необычных, так и в простейших проявлениях – это сложнейший комплекс, несводимый к упрощенным пропагандистским формулам, будь то пропаганда капиталистическая или коммунистическая. Это другая ментальность»[1].

По пути в СССР и на обратном пути Гарсиа Маркес посетил ряд стран советского блока – Венгрию, Чехословакию, Польшу, ГДР – и о каждой написал репортажи. Сопоставление с русским репортажем, оставшееся за рамками статьи, ясно показывает, что в них нет отмеченных мотивов цивилизационной инаковости, другой ментальности, смещения пропорций, отсутствия нормы. Эти страны – советская Европа. Совсем не то, что русская не-Европа.

---

[1] *García Márquez G.* Obra periodística. Vol. 4. Barcelona, 1983. P. 499, 498, 499, 505, 503, 502, 501, 503, 517, 523.

В хрущевскую и брежневскую эпохи интерес к России в Латинской Америке, как и во всем мире, не иссякал, поскольку от исхода холодной войны между СССР и США напрямую зависела судьба человечества. В Латинской Америке этот интерес подогревался тем обстоятельством, что после кубинской революции СССР начал, можно сказать, идеологическую, экономическую и военную экспансию на американский континент, взяв под свою опеку новорожденную социалистическую Кубу. Кубинский фактор, безусловно, сыграл важную роль в отношении латиноамериканской левой интеллигенции в отношении к Советскому Союзу: решительная поддержка кубинской революции сама собой подразумевала и поддержку СССР в пику США. К тому же отношение к СССР в немалой степени определялось тем образом Страны Советов, какой с подачи Москвы был выпестован в официальной пропаганде и в культуре социалистической Кубы.

Этот образ вполне определенно выражен в творчестве крупного кубинского поэта Николаса Гильена. Впервые он побывал в Москве в 1954 г. в качестве гостя на съезде советских писателей; и в том же году снова приехал в Москву получать Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами». Впоследствии он неоднократно посещал СССР, где пользовался таким же официальным признанием, как Неруда. «Совсем недавно, три недели назад, я был в Москве, – пишет он. – Если от чего-нибудь я там и «задохнулся», так это от нежности, заботы и дружеских объятий, в которые меня поспешили заключить»[1]. Вместе с тем в текстах Гильена об СССР – как прозаических, так и поэтических – вовсе нет ни человеческих, эмоциональных деталей, ни той стихии личностного, поэтического начала, какая отличает тексты Неруды; и тем более нет в них скрытых сомнений и горестных наблюдений, что время от времени проскальзывают в воспоминаниях чилийского поэта. Образ Советской России в интерпретации Гильена монолитен и своей простотой напоминает чертеж, своего рода треугольник, одна сторона которого – отсутствие расовой дискриминации, вторая – борьба за мир, третья – противостояние североамериканскому империализму, интернационализм и помощь братской Кубе. Этот образ нашел свое законченное выражение в пространном стихотворении «Советский Союз», которое завершается следующими строками:

[1] *Гильен Н.* Избранное. М., 1982. С. 438.

Советская страна! Когда пахнуло стужей,
и дули ветры севера все злее,
и петлю затянули туже
у нас на шее,
когда на медленном огне бесстрастно стали
поджаривать нам пятки,
чтоб мы сказали Вашингтону: «Все в порядке,
возьми нас, мы устали»
(сказали то, что не хотели), –
нам ветер дружеские голоса донес:
то фабрики твои и школы пели
и твой колхоз.
И вместе дали мы отпор,
и мы свободны, как и ты с тех пор,
с одним врагом сражаться нам двоим,
которого мы вместе победим.
Советский край, тебе я отдаю
всю душу пробужденную свою,
с тобою вышли мы на верный путь,
и с этого пути нам не свернуть:
нам столько волн враждебных било в борт!
Отныне знаем мы, где порт.

(Перевод П. Грушко)

Между тем, то размежевание среди латиноамериканских интеллектуалов в отношении к Советской России, о котором с горечью говорил Неруда, в связи с развенчанием культа личности Сталина, в брежневскую эпоху лишь обострялось, поделив интеллигенцию на два лагеря. Во главе тех, кто, по словам Неруды, «принимали доводы врагов, переходили на их сторону» стоял еще один будущий лауреат Нобелевской премии – мексиканский поэт, эссеист и философ Октавио Пас. Весьма показательна его идеологическая эволюция.

Еще обучаясь в Национальной подготовительной школе (1930-1932) он сблизился с марксистами и с юношеской страстью уверовал в коммунистические догматы. Свидетельством тому стала его первая публикация – статья «Этика художника» (1931), где автор резко выступает против чистого искусства и призывает художников встать на службу революции. Марксистские убеждения Паса еще больше окрепли на факультете права Мексиканского национального автономного университета. В 1936 г., по окончании университета, Пас поехал работать на Юкатан, в правительстве которого левые занимали столь прочные позиции, что Юкатан был объявлен «первым социалистиче-

ским штатом в Америке». Здесь Пас основал Комитет в защиту демократии в Испании и отсюда по приглашению Лиги революционных писателей и художников отправился участвовать в работе Второго Международного конгресса писателей в защиту культуры в Валенсии. Поэт трижды выступал на заседаниях конгресса, являя приверженность идеям социализма, и эту линию он продолжил по возвращении на родину, где публиковал статьи в прокоммунистических газетах.

Перелом в политических взглядах Паса произошел в 1939 г.: «Пакт между Гитлером и Сталиным возмутил и разгневал меня. Я ушел из газеты и порвал с коммунистами. Мне было очень одиноко. К счастью, нашлись и те, кто разделял мою точку зрения. Но разрыв с Нерудой и другими был крайне болезненным для меня. Тогда же я впутался в горькую полемику со сторонниками так называемого социалистического реализма»[1]. Это высказывание отражает коренной поворот в воззрениях Паса: отныне он навсегда отказывается от всякого рода партийности и категорически отвергает идею ангажированного искусства.

Разрыв Паса с левыми углубился в 1950 г., когда поэт опубликовал в мексиканской прессе свидетельства и документы о сталинских концлагерях, собранные французом Д. Руссе, а годом позже сам выступил с обличениями сталинского режима. Позже, в 1974 г. в статье о книге Солженицына «Архипелаг – чернилами и желчью» Пас вспоминал: «В те годы я жил в Париже. Полемика, развернувшаяся вокруг русских концлагерей, поразила и потрясла меня: под сомнением оказалась состоятельность исторического замысла, заставившего воспылать сердца и умы лучших людей нашего времени. (...) Я собрал и подготовил документы и свидетельства, которые, не оставляя и тени сомнения, доказывали существование в СССР широкой репрессивной системы, основанной на принудительном труде миллионов граждан и ставшей составной частью советской экономики. (...) Интеллигенты-«прогрессисты» в ответ промолчали. Никто не откликнулся на мое исследование, зато с новой силой разгорелась кампания клеветы и нападок на меня, начатая за несколько лет до того Нерудой и его мексиканскими друзьями. Кампания, продолжающаяся и сегодня. Правда, меняются ярлыки, но сохраняется их оскорбительный смысл: я был по очереди космополитом, формалистом, троцкистом, агентом ЦРУ, либеральным интеллигентом и даже – «структуралистом на службе у буржуазии».

[1] *Paz O, Ríos J.* Solo a dos voces. Barcelona, 1973. S.p.

Тогда, в 1950 г., сталинские концлагеря воспринимались «вывихом» советской системы, и левая интеллигенция не осмеливалась задаться вопросом: не есть ли это закономерное порождение системы? Лишь после появления книги Солженицына О.Пас и его единомышленники выносят окончательный приговор советскому социализму: «Мой комментарий повторял общепринятое объяснение: советские концлагеря порочат лицо режима, но они не воплощают собой черту, внутренне присущую системе. Да, говорить так в 1950 году было политической ошибкой, но утверждать это сейчас, в 1974-м – больше, чем ошибка». Если раньше Пас считал, что лагеря имели чисто экономическую функцию, будучи жестокой формой эксплуатации, сродни рабовладению, то позже он расширил свое видение системы: «Если экономическая выгодность лагерей более чем сомнительна, их политическая функция выглядит одновременно и странной и омерзительной. Лагеря не средство борьбы против политических противников, а форма наказания для побежденных. Тот, кто попадает в лагерь, не активный оппозиционер, а побежденный беззащитный человек, уже не способный оказывать сопротивление. Той же логике подчинялись чистки и кампании по выявлению врагов народа: это не эпизоды политических или идеологических боев, а широкомасштабные церемонии очищения от греха, ритуалы возмездия. (...) Политическая и психологическая функции лагерей проясняются: речь идет об институте, если так можно выразиться, профилактического террора. Целый народ, даже при относительно более гуманной власти Хрущева и его преемников живет под угрозой заключения. Удивительное заключение догмы о первородном грехе: каждый советский гражданин может быть отправлен в исправительно-трудовой лагерь. Социализация вины предполагает и социализацию наказания». Вывод однозначен: лагеря – органическое порождение «самой советской системы, какой ее основали Ленин и большевики»[1].

С течением времени Пас углублял свое видение советской политической системы. В статье «Марксизм и ленинизм» он выявил главный ее порок, который решительно отвращал его от реального социализма, – а именно, презрение к личностной свободе. «Все большевистские вожди сходны в своем глубоком презрении к тому, что они называли «буржуазной демократией» и к свободе личности. Тоталитарная, тер-

[1] *Пас О.* Архипелаг – чернилами и желчью. Перевод Н.Богомоловой. / Иностранная литература, 1991, № 1. С. 220-224.

роористическая тенденция, утверждает Пас, была изначально заложена в большевизме, она составляет саму суть ленинизма. «Ленинское понимание политической власти неотделимо от понятия диктатуры, а последняя, в свою очередь, приводит к террору. (...) Репрессивная советская система – это инвертированный образ политической системы, созданной Лениным. Лагеря принудительного труда под управлением политической бюрократии, аресты без предварительного следствия, суды за закрытыми дверьми, пытки, запугивание, самообвинения и самооговоры, всеобщая слежка – все это закономерные следствия диктатуры одной партии, а внутри нее диктатуры группы людей и одного человека».

Однако в своем анализе советского феномена Пас не остановился на чисто политическом аспекте и попытался заглянуть еще глубже – в историю и этнопсихологию. В статье «Культура, традиция, личность» он заявляет, что его не устраивают расхожие объяснения сталинизма следствием большевистской идеологии или экономической отсталости России. «Не менее важен другой фактор: сама история России, ее политическая и религиозная традиция, вся эта газообразная полусознательная масса верований, чувств и образов, которая и составляет то, что античные историки называли *гением* (душой) народа». Мексиканский философ усматривает определенный параллелизм между просвещенным деспотизмом Петра I и Екатерины II и деспотизмом Ленина и Троцкого, между кровавой паранойей Ивана Грозного и Сталина. Повторяемость событий приводит к мысли о том, что это проявление более древнего наследия – византийского, Восточного и языческого славянского. Множественность культурных пластов, лежащих в основании российской цивилизации, предопределила противоречивость русского характера и, как следствие, русской истории – эта мысль неоднократно звучала в рассуждениях латиноамериканцев о России: «История России – это странная смесь чувственности и экзальтированного спиритуализма, брутальности и героизма, святости и мерзостных предрассудков».

По мнению Паса, особенности российской истории нового и новейшего времени в большой степени объясняются тем, что ее современность (modernidad) неполна, поскольку у нее не было ни Реформации, ни просветителей уровня Юма, Канта, Дидро. На этом основании Пас сопоставляет Россию с испаноязычной цивилизацией: «...Ни у русских, ни у нас нет критической традиции, так как ни они, ни мы не имели ничего, что можно было бы сравнить с Просвещени-

ем и с интеллектуальным движением XVIII в. в Европе. Так же ни у них, ни у нас не было ничего похожего на протестантскую Реформацию, ставшую великим семенем свободы и демократии современного мира. Отсюда – провал попыток демократизации в России, Испании и в ее колониях». Все это, однако, не мешает Пасу признать мессианскую роль России в обновлении западноевропейской цивилизации и чуть ли не буквально повторить то, что говорили русские философы рубежа веков: «Русские создали не только самую богатую, глубокую и сложную литературу в мире, но они представляют духовную традицию, живую и уникальную в нашем мире. Я убежден, что эта традиция призвана оплодотворить, как живительный ключ, иссохший, эгоистический и прогнивший современный Запад». Любопытно отметить, что то же самое и чуть ли не в тех же выражениях говорили латиноамериканские культурфилософы Родо, Васконселос и другие о мессианской роли Латинской Америки.

Размышления Паса о России были восприняты латиноамериканской «искъердой» как «переход в стан врага»; а после того, как Пас осудил режим в Никарагуа и призвал провести там свободные выборы, по центру Мехико прошли демонстрацией около пяти тысяч человек, потребовали смерти поэта и публично сожгли его чучело. На самом деле Пас, как и многие его единомышленники, занимал позицию «над схваткой», о чем прямо заявлял: «Отрицание цезаризма и коммунистической диктатуры никоим образом не предполагает оправдание североамериканского империализма, расизма и атомной бомбы, как не подразумевает и того, что следует закрыть глаза на несправедливость капиталистической системы»[1]. Такая позиция была весьма характерна для левой латиноамериканской интеллигенции, разочаровавшейся в реальном социализме, учитывая традиционную нелюбовь латиноамериканцев к «гринго», североамериканским соседям. Более того, извращения советской системы, как оказалось, вовсе не отвратили Паса от идеи коммунизма. В одном из интервью конца 1980-х гг. в ответ на очередное обвинение в антикоммунизме он ясно заявил: «Октавио Пас никогда не был антикоммунистом, но с давних пор является врагом бюрократии, которая превратила СССР и другие так называемые социалистические страны в тоталитаристские идеократии. Думать так – вовсе не значит быть антикоммунистом: в конце концов, коммунистов убивал Сталин, а не его критики. Чтобы развеять это за-

[1] *Paz O.* El ogro filantrópico. Barcelona, 1990. P. 249, 252-255, 259.

блуждение насчет себя, я лучше процитирую отрывок из своей книги «Тетива и лира»: «Идея мирового сообщества, в котором путем уничтожения классов прекратится власть одних над другими и мораль, основанная на насилии и наказании, будет заменена личной свободой и ответственностью; сообщества, в котором с исчезновением частной собственности каждый человек станет хозяином самому себе, и эта «индивидуальная собственность» сделается всеобщей, благодаря коллективному производству; сообщества, в котором сотрется различие между трудом и искусством, – эта идея не может быть отвергнута. Отказаться от нее – значит отказаться от мечты современного человека, отказаться от своего бытия... Марксизм – это последняя попытка западного мышления примирить разум с историей»[1].

Столь же характерный идеологический вираж совершил другой крупный мексиканский писатель – прозаик Карлос Фуэнтес. В юности он увлекся марксизмом, вступил в компартию и в конце 1950-х гг. его статьи постоянно появлялись в одиозных коммунистических журналах. Он с восторгом воспринял кубинскую революцию и в январе 1959 г., сразу после свержения кубинского диктатора, прилетел в Гавану, чтобы выразить поддержку Фиделю Кастро. Поворотным моментом в его отношении к кубинскому социализму и социалистической системе в целом стало так называемое «дело Падильи» (кубинского поэта, арестованного за «контрреволюционные» стихи), которое вызвало глубокое размежевание среди латиноамериканских писателей. Если Г. Гарсиа Маркес и Х. Кортасар поддержали Фиделя, то Фуэнтес, О. Пас, чилиец Х. Доносо и перуанец М.Варгас Льоса осудили преследования инакомыслящих и стали все более критически оценивать опыт социализма, в первую очередь советского, который копировали страны-сателлиты СССР. Последние иллюзии рассеялись в 1968 г. с вводом советских войск в Чехословакию, где незадолго до этого Фуэнтес побывал вместе с Гарсиа Маркесом, – после этого мексиканский писатель навсегда порвал с идеологией левых движений. Но, как и Пас, вовсе не встал на сторону США в холодной войне, а остался «над схваткой» приверженцем демократических идеалов.

Свою позицию Фуэнтес выразил в детективно-политическом романе «Голова гидры». Его герой, будучи вовлеченым в политическую интригу, действует, как ему представляется, по собственному разуме-

[1] Иностранная литература. 1991, № 1. С. 237.

нию, но всякий раз оказывается, что его поступки, даже самые непредсказуемые и отчаянно храбрые, были заранее просчитаны агентами КГБ или ЦРУ. В современном мире, каким его представил Фуэнтес, роль божественного провидения взяли на себя эти две могущественные организации, и что бы человек ни делал, он так или иначе служит одной из этих сил. «Гидра наших страстей извивается меж лапами этого двуглавого орла, этого кровавого орла, порождающего все насилие мира... Все мы – помет этого чудовища»[1].

Итак, к эпохе перестройки в среде испаноамериканской интеллигенции сложилось два поляризованных образа России, оба идеологизированных: положительный и довольно отлакированный образ «друга», стоящего в авангарде борьбы против североамериканского империализма; и негативный образ тоталитарного режима (но не врага), столь же далекий от идеала социального устройства, как капиталистическое общество. Следует подчеркнуть, что в недрах и того, и другого образа частично сохранялись и неожиданно всплывали идеологемы и мифологемы, заимствованные из русской классической литературы и философии.

Образ России в период перестройки и в постсоветскую эпоху

Начать этот раздел следует с оговорки, на первый взгляд вступающей в противоречие с замыслом статьи: единого образа «другого», в данном случае России, не может существовать даже в рамках одной нации, поскольку он обусловлен как социальной принадлежностью тех или иных слоев населения, так и параметрами чисто индивидуальными, такими как профессиональная деятельность, уровень образования, личные взгляды и пристрастия и т.п. И тем более он диверсифицирован, когда речь идет о двух десятках стран, объединенных понятием «Латинская Америка». В данном случае разнится прежде всего актуальность современного образа России для различных стран, напрямую связанная с историческими факторами: так, мексиканцев Россия волнует куда больше, чем, скажем, боливийцев или колумбийцев, поскольку между Мексикой и Россией установились прочные культурные связи начиная с 1920-х гг. прошлого века. К странам, традиционно интересующимся Россией, относятся, по-

[1] *Fuentes C.* La cabeza de la hidra. México, 1985. P. 273.

мимо Мексики, также Куба, Аргентина (принявшая большое количество русских и украинских эмигрантов), Чили. В последнее время к ним в силу политических и экономических факторов присоединилась Венесуэла. Есть и еще один фактор, вызывающий всплески интереса к России – событийные аналогии. Те же мексиканцы усмотрели в русской социалистической революции повторение своей революции 1910–1917 гг.; расстрел Белого дома 1993 г. живо напомнил им о национальной травме – расстреле студентов в 1968 г., а проблема Чечни вызывает у них особенно болезненную реакцию в силу того, что свою проблему со штатом Чьяпас они решили совсем другими, бескровными, методами. Так же после дефолта 2004 г. аргентинцы стали изучать опыт русского дефолта 1998 г.; чилийцев по понятным причинам больше всего волнует проблема демократии в современной России; венесуэльцев привлекает антизападная риторика Путина и т. д. При этом образ современной России в странах Латинской Америки диверсифицирован также различиями национальных культур, традиций восприятия «другого» и прочими национальными особенностями. Учесть все эти факторы невозможно, как невозможно компоновать этот раздел из двадцати двух подразделов по количеству стран континента. Задача автора – выявить поверх национально-специфических модусов восприятия России некие общие тенденции и охарактеризовать их. А эти тенденции в Латинской Америке просматриваются достаточно ясно.

Для того, чтобы понять, каким радикальным модификациям подвергся в Латинской Америке образ России в период перестройки и особенно в постсоветскую эпоху, надо подчеркнуть три очень существенных особенности его функционирования в латиноамериканском (да и не только) общественном сознании. Первая и важнейшая: Советский Союз, как бы к нему ни относились, положительно или отрицательно, обладал ярко выраженным качеством «инаковости», то есть он представлял в корне иной миростой по отношению к общественным и идеологическим системам всех латиноамериканских стран за исключением Кубы и, в 1980-е годы, Никарагуа. А «инаковое» всегда вызывает к себе повышенный интерес, больший, нежели «подобное». Сказанное в полной мере относится как к США, так и к западноевропейским демократиям, внимание которых к социалистическим странам не в последнюю очередь было обострено страхом ядерного конфликта. Но, если в развитых капиталистических странах лишь небольшой процент населения в виде крохотных компартий и

различного рода маргиналов видел в СССР достойную для подражания модель общественного строя, то в Латинской Америке этот сегмент населения был несравненно более широким: вся левоориентированная интеллигенция, имевшая колоссальное влияние на рабочих и крестьян. Не стоит забывать и того, что эта интеллигенция в большой мере формировалась за счет десятков тысяч студентов, получивших высшее образование в ВУЗах СССР и прошедших здесь соответствующую идеологическую обработку. В силу этих обстоятельств советская «инаковость» для значительной части латиноамериканцев приобретала качество «альтернативности», то есть выбора направления дальнейшего развития; и эта «альтернативность» образа Советской России привлекала к нему интерес не только латиноамериканской «искъерды», но и, от противного, самых беспощадных критиков советского тоталитаризма вроде О. Паса. Наконец, третья особенность функционирования образа Советской России в латиноамериканском общественном сознании состояла в том, что СССР и на словах и на деле позиционировал себя, как противовес США, а для латиноамериканцев с их традиционной нелюбовью к северному соседу и к гринго вообще эта позиция имела колоссальную значимость. Этот момент возбуждал симпатии к России далеко не только в среде левоориентированной интеллигенции. Собственно, на этих трех основаниях и держался интерес к социалистической России, и, конечно, его дополняла культурная составляющая.

К этому следует добавить, что на закате советской эпохи осуществилось полноценное присутствие России в Латинской Америке на официальном, дипломатическом уровне. Если в 1950-е гг. основной акцент внешней политики СССР падал на отношения с латиноамериканскими компартиями, в то время как дипломатических отношений с большинством стран континента установлено не было, то к середине 1980-х гг. установлены отношения с шестнадцатью странами, в том числе со всеми южноамериканскими за исключением Парагвая и Чили. С 1960 по 1983 объем внешней торговли между СССР и странами континента вырос в шестнадцать раз. Одновременно наблюдается дипломатическая активность со стороны латиноамериканцев: в период с 1984 по 1987 в СССР побывали с официальными визитами президенты Аргентины, Уругвая, министры иностранных дел Мексики и Бразилии, президент Национальной Ассамблеи Панамы, делегация Гондураса во главе с министром экономики и др. Ответные шаги не заставили себя ждать: в 1987 г. состоялся визит Шеварднадзе в не-

сколько стран Южной Америки, вслед за чем год спустя Горбачев совершил турне по странам Латинской Америки.

Перестройка в СССР вызвала колоссальный интерес во всем мире – то было время, когда Россия стала главным персонажем театра Истории; и нисколько не преувеличивали те, кто тогда говорили, что именно в России определяется судьба всего человечества. Важно подчеркнуть, что интерес к перестройке в немалой степени диктовался тем, что ее результат был неизвестен и непредсказуем. Россия пребывала в «пороговой» ситуации, предоставляя политикам, аналитикам и футурологам широкое поле для самых различных прогнозов. Именно неопределенность судьбы России рождала необыкновенное напряжение той эпохи.

В Латинской Америке обостренное внимание к процессам, происходящим в СССР, подогревалось вышеупомянутыми специфическими особенностями восприятия Советской России. Для латиноамериканцев образ Советской России пока что в полной мере сохранял качество «инаковости»; но сохранит ли он в будущем качество «альтернативности»? Ведь если Россия встанет на капиталистические рельсы, то она это качество безвозвратно утеряет. Второй вопрос, очень остро стоящий для большинства латиноамериканцев: останется ли Россия противовесом США? Если нет, то континент может подпасть под наглый и прямой диктат могущественного северного соседа. И, наконец, третий вопрос – вопрос жизни и смерти всей латиноамериканской «искъерды»: какая идеология восторжествует в Советском Союзе и не прекратит ли он поддержку леворадикальных движений? Фактически некие предварительные ответы на эти вопросы дал Горбачев во время своего турне по Латинской Америке, сделав важное заявление о том, что «отвергает попытки навязать превратное представление, будто Советский Союз желает устраивать социалистические революции в Латинской Америке» и что «СССР не намерен нарушать связи, сложившиеся у латиноамериканских стран с США»[1]. Однако немногие уловили смысл этого послания в будущее.

Пока же перестройка вызывала к себе самое эйфорическое отношение в различных слоях латиноамериканских обществ, в том числе среди большей части левоориентированной интеллигенции. Немалое значение для пропаганды перестроечных процессов имело мнение

[1] *Boris Yopo*. Las relaciones soviético-latinoamericanos: evolución histórica y perspectivas. / Cono Sur. marzo-abril de 1988. № 2. P. 17-19.

«патриарха» латиноамериканской литературы Г.Гарсиа Маркеса, который в 1987 г. приехал в СССР, встретился с Горбачевым и имел с ним продолжительную беседу. После этого знаменитый писатель заявил, что он стал «рьяным перестройщиком» и «верит в перестройку»[1].

В том же 1987 г. мексиканское издательство «Диана» опубликовало на испанском языке книгу Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» – ее презентация состоялась в декабре того года. Тут же права на издание купили аргентинское и бразильское издательства, а затем издательства почти всех стран континента, и книга с укороченным названием «Перестройка» разошлась огромными тиражами. Корреспондент журнала «Латинская Америка» рассказывает, что застал крупнейшего писателя и бывшего президента Доминиканской республики Хуана Боша как раз в тот момент, когда тот читал книгу Горбачева, делая карандашом пометки на полях. В интервью Хуан Бош сказал: «Перестройка ценна именно своим объединяющим началом, возможностью, наконец, покончить с отношением в Советскому Союзу как к «империи зла», как к Люциферу, какое империалистической пропаганде удавалось насаждать в умах многих людей. Мы это чувствуем буквально собственной кожей, подкоркой, порой даже не желая того»[2].

Слова Боша «объединяющее начало» очень точно выразили одну существенную особенность имиджа Советского Союза в годы перестройки. Действительно, этот имидж был не просто положительным – он был универсально положительным, то есть с одинаковой силой воздействовал как на правые, так называемые «реакционные круги», так и на левых, за исключением разве что террористов-революционеров и закоренелых догматиков. Правые с изумлением обнаружили в заскорузлом тоталитаризме советского образца внутренние стимулы и способности к переформированию, эволюции; а мирные инициативы Горбачева избавляли мир от страха ядерной войны, и получалось так, что бывшая «империя зла» направляла Историю по мирному пути развития. В журнале «Вуэльта», которым руководил непримиримый враг советского тоталитаризма О.Пас, говорилось: «Недавние изменения в советском обществе по направлению к большей открытости изумили всех. (...) Газетные и частные сообщения свидетельствуют о том, что процесс либерализации советского общества не останав-

[1] Латинская Америка. 1990, № 7. С. 120.

[2] Латинская Америка. 1987, № 6. С. 89.

ливается. Еще остается многое сделать. Но, возможно, не в таком уж далеком будущем гражданские свободы станут составной частью советской жизни»[1].

Процесс перестройки импонировал и левым, которые с новой силой поверили в возможности социализма как динамичной саморазвивающейся системы и подчеркивали, что с концепцией «нового мышления» СССР опять оказался «впереди планеты всей». Этот акцент очень ясно звучит, например, в высказываниях аргентинского кинорежиссера Фернандо Бири, основоположника «нового» латиноамериканского кинематографа. Он заявил: «От имени всех прогрессивных латиноамериканских кинематографистов хочу сказать, что все, что сегодня происходит в Советской стране, находит в нашей среде полное понимание. Мы поддерживаем борьбу нового со старым, которая мешает вашему движению вперед». И далее: «Чем еще сильна концепция нового мышления? Тем, что с ней выступает Советский Союз. Важно то, что многие идеи вновь выдвинуты сегодня именно Советским Союзом, который предлагает конкретные шаги для их воплощения в жизнь»[2].

Весной 1989 г. в Буэнос-Айресе состоялся международный семинар на тему «Отношения Южной Америки с СССР. Перспективы на 90-е годы». Главное внимание в работе семинара приковала к себе перестройка, а обсуждение этого общественного процесса вылилось в ожесточенный спор: что это, крах или возрождение социализма? Для латиноамериканской интеллигенции эта дилемма стояла очень остро, куда острее, чем для интеллектуалов Западной Европы и США. Левая интеллигенция, а она, как говорилось, была в подавляющем большинстве, уверяла, что перестройка носит глубоко социалистический характер. Это общее мнение позже лапидарно выразил лидер социал-демократической партии Доминиканской республики Франсиско Пеньа Гомес: «Я верю, что реформы, осуществляемые у вас сегодня, – это возвращение к истинной концепции социализма. Нельзя представить себе подлинный социализм без свободы и демократии»[3].

Между тем развитие событий не настраивало на оптимистический лад. В конце 1980–х и в самом начале 1990-х гг. в высказываниях латиноамериканских интеллектуалов о перестроечных процессах все

---

1 *Feshbach H.* Encuentro con Sakharov. / Vuelta. 1987, № 128. P. 61.

2 Там же. С. 45.

3 Латинская Америка. 1990, № 3. С. 77.

отчетливее стали звучать тревожные нотки. Тот же Гарсиа Маркес, «рьяный перестройщик» в 1987 г., три года спустя осторожно замечает: «По-моему многое они упустили, но это неизбежно. По правде говоря, я не знаю, чем все это закончится. Надеюсь, не все будет утрачено. Происходящие в СССР беды – печальный результат не того, что делается теперь, а тех долгих лет, когда все и вся было подвержено гниению»[1]. Уже тогда, накануне крушения СССР, латиноамериканские интеллектуалы нутром почувствовали, что Россия находится не только в экономическом, но и в идеологическом тупике, и сама не знает, куда ей двигаться, что в свою очередь вызывало крайнюю обеспокоенность латиноамериканской «искъерды». Эта обеспокоенность очень ясно выражена в интервью 1990 г. с известным мексиканским социологом, профессором Национального Автономного Университета Мексики Энрике Семо. Он сказал: «У меня создалось впечатление, что в политической практике Советского Союза сделан заметный поворот вправо, что вполне понятно в условиях нынешнего кризиса. Совершенно оправданы, на мой взгляд, осуществляемые в вашей стране практические изменения. Но мне трудно понять, почему произошел такой резкий поворот и в теории?! Почему наряду с изменением политического курса (разоружение, концессии, интеграция в международный рынок) необходимо полное идеологическое разоружение?»[2].

Государственный путч 1991 г. вновь выдвинул Россию на авансцену мировой истории, но, судя по дальнейшему, это был прощальный выход актера. В августовские дни весь мир, затаив дыхание, следил за развитием событий, от которых, действительно зависела судьба человечества. Если путчисты победят, мир снова скатится к холодной войне, а там, не исключено, что и к ядерной; если же демократия восторжествует, то – ? Здесь возникал большой знак вопроса, ибо никто в мире, включая русских демократов, ясно не представлял себе, куда они пойдут. Впрочем, в Латинской Америке в среде левых догматиков путч был встречен с воодушевлением и с надеждой на то, что восстановится бывший черно-белый мир: империализм – социализм; кто не с нами – тот против нас. Надежды левых догматиков не оправдались, а дальше произошло то, что им лишь в кошмарном сне могло привидеться: распад СССР, переход России на капиталистические рельсы и крушение коммунистической идеологии. Это был страшный удар по

[1] Латинская Америка. 1990, № 7. С. 120.

[2] Латинская Америка. 1990. № 9. С. 46.

латиноамериканской «искъерде». Догматикам, не желавшим открыть глаза на реалии меняющегося мира, осталось уповать лишь на Кубу и на Северную Корею – последние оплоты реального социализма. Но те из левых, кто был способен к рефлексии и саморазвитию, начали пересматривать опыт реального социализма, а вместе с ним и основы коммунистической идеологии – и для многих этот процесс оказался нелегким, даже мучительным.

О том, что происходило в то время в умах латиноамериканских коммунистов, искренно говорится в статье Луиса Гуаставино, видного функционера коммунистической партии Чили. Своей статье он дал, пожалуй, самое точное заглавие из всех возможных – «Рушатся храмы». Приводимые ниже цитаты не требуют комментариев. «СССР был одной из самых прекрасных достоверностей, а КПСС – непререкаемым оракулом, – вспоминает автор, – мы слепо защищали все, что оттуда исходило, мы оценивали друг друга по отношению к Советскому Союзу». Переходя к сложившейся ситуации Гуаставино признает: «Правда состоит в том, что храмы обрушились на головы тысяч и тысяч коммунистов... Это такое землетрясение, которое происходит и в душе, и в сознании каждого из нас лично и всех вместе, распространяется на всю партию, потрясает ее так или иначе и ввергает в кризис. Это естественно, было бы странно, если бы с нами этого не происходило». Далее Гуаставино от себя лично, как и от лица всех коммунистов формулирует болезненные вопросы: означает ли случившееся в России смерть идей коммунизма и отсутствие альтернативы капитализму? Его выводы, похоже, дают исчерпывающие ответы: «Очень жаль, что реальный социализм был воздвигнут на таких ненадежных основах, которые не позволили ему воспринять и пережить столь необходимую и позитивную новацию, как перестройка. Но этот результат не означает, что плоха перестройка, а лишь что плох оказался реальный социализм. (...) Так называемая теория научного коммунизма повержена ниц вместе с храмом, ибо она показала, что научного в ней нет ничего». Еще более убедительным ответом стал выход самого Густавино из компартии, и тот массовый отток членов из компартий, какой произошел в Латинской Америке в начале 1990-х гг.

В своей статье Луис Густавино также ясно сформулировал глубокую озабоченность далеко не только левоориентированных латиноамериканцев: «Стал реальностью тот факт, что нынешняя ситуация на Востоке Европы оставляет Латинскую Америку на милость амери-

канского влияния»[1]. Так оно и было: вслед за путчем начался «исход» России из Латинской Америки, в том числе – что крайне болезненно было воспринято на всем континенте – из Кубы. Дипломатические связи, разумеется, сохранялись, но падали объемы торговли, а главное, Россия не проявляла ни малейшей заинтересованности в том, чтобы хоть как-то укрепить свое влияние в регионе. Следует учитывать, что при восприятии России в Латинской Америке действовала сильная инерция прошлого, когда Советская Россия служила противовесом влиянию США; к тому же Россия поддержала эту инерцию, объявив себя правопреемником Советского Союза. Но, вопреки ожиданиям латиноамериканцев, правопреемница великой державы, «посаженная на иглу» финансовой помощи Запада, сдавала позиции одна за другой и объявила себя «стратегическим партнером США». Это стало одной из причин падения интереса к России в Латинской Америке.

Этому способствовала и совершенно невнятная внутренняя и внешняя политика России, вызывавшая раздражение в Латинской Америке, как и во всех странах «третьего мира». Эти раздраженные нотки сквозят, например, в высказываниях директора Института политических наук Чилийского университета Густаво Куэваса Фаррена: «Я не увидел, и никто мне конкретно не объяснил, какова политическая стратегия на будущее? Мне кажется, ее просто нет. (...) Самым удивительным... является отсутствие ясности происходящего сегодня и того, что ожидает страну в будущем. (...) Не уверен, что кто-либо из нынешних лидеров, по крайней мере хоть наполовину обладает ясным видением изменений на будущее»[2].

При том что Россия сразу утратила качество «альтернативности», встав на тот путь развития, по которому шли западные страны и тем самым во всеуслышание признав верность и безальтернативность этого пути, она еще и начала стремительно утрачивать качество «инаковости», превращаясь в заурядное государство третьего мира. Прежний советский образ жизни, как бы его ни оценивали, был своеобразен, по меньшей мере, отличен от того, что латиноамериканцы видели у себя дома; сейчас строй жизни становился все более шаблонным и никаким. Глубоким разочарованием пронизаны впечатления от России Херонимо Карреры, члена ЦК компартии Венесуэлы, опубликованные в 1993 г. Прежде всего, ему не ясен политический строй России. Что это

[1] Латинская Америка. 1992. № 1. С. 47, 53, 51.

[2] Латинская Америка. 1992. № 9. С. 43.

– капитализм или социализм, демократия или авторитаризм? «В том же, что касается Москвы, где за последние тридцать лет я бывал более тридцати раз, то она приобретает все более ярко выраженные черты какого-нибудь крупного города третьего мира. Так называемая рыночная экономика привела к стремительному росту уличной торговли, что очень похоже, скажем, на Каракас. (...) В повседневной борьбе москвичей за выживание жизнь города меркантилизировалась. Здесь все продается и все покупается, и практически все торгуют»[1].

Разочарование Херонимо Карреры продиктовано далеко не только его коммунистическими взглядами – в сущности, так же политический и экономический строй России характеризует посол Колумбии в России Р. Истман де Ла Куэста, которого в коммунистических пристрастиях не обвинишь. Он заступил на должность в 1991 г., а четыре года спустя выпустил в Боготе книгу под заглавием «Умер ли социализм в России? Историческая хроника империи». Истман был в гуще событий в дни августовского путча и расстрела парламента и оценил их как окончательный и бесповоротный демонтаж советской системы, вслед за чем Россия выбрала какой-то «третий» путь, все более сближающий ее со странами третьего мира. Что же касается вопроса, вынесенного в заглавие книги, то Истман не дает на него четкого ответа: по его мнению, социализм как идея не был воплощен в тоталитарном государстве и оказался лишь видимостью.

Именно в 1990-е гг. ясно обозначились те общие тенденции в формировании имиджа России в Латинской Америке, которые проявлялись до недавнего времени. Следует подчеркнуть, что в большой степени эти тенденции сформированы самой Россией, ее отношением к странам региона. Выше упоминалось, что после путча начался «исход» России из Латинской Америки – и фактически он продолжился в последующие годы. Начало было положено тем, что в 1992 г. в Министерстве внешней торговли РФ произошло слияние отделов Африки и Латинской Америки, – таким образом подчеркивалась неприоритетность латиноамериканского направления, и этот сигнал уловили латиноамериканские экономические круги. В целом можно сказать, что Москва не проявляла никакой заинтересованности, никакой активности на дипломатическом поле латиноамериканских стран. При этом вела себя подчас некорректно: так, в 1995 г. пять раз и без объяс-

[1] Tribuna popular. Caracas, 1993. № 20.

нения причин в последний момент откладывался визит А.В.Козырева в Мексику. Такие демарши, конечно, не могли остаться незамеченными. А еще более заметным стал тот факт, что в оглашенной в конце 1990-х гг. внешнеполитической доктрине Российской Федерации Латинская Америка фигурировала на последнем месте. Стоит ли удивляться тому, что после этого даже Мексика вообще не упомянула Россию во внешнеполитической части послания президента Национальному конгрессу; не говоря о многих других странах континента, исключивших Россию из области своих внешнеполитических интересов. Визиты Е.Примакова в Венесуэлу, Кубу, Мексику (1996), Аргентину, Бразилию и Колумбию (1997), затем Путина в Мексику (2004) и Фокса в Москву (2005) несколько исправили положение, но не могли выправить общую ситуацию.

На этом в целом неблагоприятном фоне особенно болезненно была воспринята позиция новой России по отношению к Кубе – и не только на самом «острове свободы», но и в сопредельных странах – Мексике, Центральноамериканских государствах, Венесуэле и др. Как бы ни относились правительства этих стран к социалистическому строю, Куба оставалась в Латинской Америке единственным противовесом США и тем самым воспринималась в «романтическом» ореоле «борца».

Проблема не ограничивалась дипломатией и визитами на высоком государственном уровне. Ее главная составляющая – отсутствие активности на уровне посольств, которые большей частью не делали ничего для пропаганды русской культуры и распространения достоверной информации о России, ее образе жизни[1].

Интерес к России в Латинской Америке отнюдь не подогревался и на уровне экономики. С одной стороны, происходило сокращение

[1] Видимо, для всей Латинской Америке показательны данные, приведенные Н.С. Константиновой и М.Ф. Мартыновым в отношении Бразилии, где в 2006 г. в среде интеллигенции был проведен опрос по «оценке эффективности работы официальных представителей Российской Федерации в Бразилии». «Лишь 10% опрошенных согласились с тем, что эти представители периодически выступают в средствах массовой информации, в университетских аудиториях и т.д. с целью лучшего разъяснения российской внешней политики, 5% сочли, что они делают это эпизодически, в связи с теми или иными чрезвычайными ситуациями, возникающими в России, в то время как 85% никогда о них не слышали». Константинова Н.С., Мартынов М.Ф. Имидж России в Бразилии: укоренившиеся стереотипы и факторы оптимизации. М., ИЛА, 2008. С. 33.

объемов торговли России со странами Латинской Америки. С другой стороны, в 1990-е гг. в российский бизнес хлынули непрофессионалы, а то и криминальные элементы, которые не умели толково и честно вести дела. Карикатурный образ «новых русских» не обошел своим присутствием и Латинскую Америку.

С середины 1990-х гг. интерес в Латинской Америке к России начал резко снижаться, и эта тенденция продолжилась в следующем десятилетии. Может быть, ярче всего об этом говорит тот факт, что известные культурные деятели региона перестали писать о России. Если предыдущие разделы данной статьи полнятся славными именами, среди которых фигурируют три Нобелевских лауреата по литературе, то в этом не будет упомянуто ни одного известного писателя или поэта, что объективно отражает сложившуюся ситуацию. Ее отражает, в частности, состав культурно-философского журнала «Вуэльта», основанного О. Пасом: немногие статьи о России, встречающиеся на его страницах с середины 1990-х гг., – это либо переводы русских авторов, либо западных, но не статьи латиноамериканских авторов. Сам Пас, умерший в 1998 г., к теме России больше не возвращался. То, что пишется в Латинской Америке о России, – пишется либо в прессе, либо в научной литературе. Россия ушла из сферы эссеистики, философской и культурологической рефлексии – и это, наверное, самый печальный итог произошедших изменений.

В этой связи стоит оглянуться в предыдущие разделы статьи и поставить вопрос о специфике имагологических стереотипов и образов, рожденных в лоне культуры, и их отличиях от имиджа страны, создаваемого в прессе и в научной литературе. Первые могут быть сколь угодно далеки от реальной действительности, но у них есть одно колоссальное преимущество – широчайшее семантическое поле, многоуровневая интерпретация, в силу чего они приобретают культурологический пафос и цивилизационный масштаб. Напомним лишь некоторые из мифологических характеристик, примененных латиноамериканцами по отношению к русскому народу: таинственность, первозданность, антирационализм, первородная мощь, младенчество, мессианизм, фатализм... Каждая при ее глубоком семантическом анализе открыла бы множество потаенных и противоречивых смыслов. Это касается и внешне негативных характеристик, таких, например, как неумеренность или варварство. Если девизом эллинской культуры, составившей основу западноевропейской цивилизации, было изречение «знай меру», то неумеренность выступает как цивилиза-

ционная категория; и то же самое, при том, что Западная Европа позиционирует себя как пространство культуры, относится к варварству. Значит, Россия – не Европа, а что-то другое. Но эти характеристики не являются однозначно негативными и в отдельные периоды и под пером того или иного художника могут приобретать отчетливо маркированный позитивный смысл, опять-таки выступая как характеристики цивилизационные. Тем самым имагологический стереотип, рожденный в художественной сфере, особенно под пером мастера, обретает глубину и силу, неважно, притягательную или отталкивающую. Главное же эти стереотипы при всей их возможной необъективности и мифологичности, парадоксальным образом помогают установить духовный контакт с другим народом, ведь все они затекстово содержат отношение «Я» – «другой». Даже в том случае, когда речь идет об отторжении другого, все равно осуществляется связь от противного. В этом имагологические стереотипы принципиально отличны от имиджа. Когда в прессе или в научной литературе говорится, что в России растет экономика и приводится соответствующая статистика – это объективная данность, но плоский факт, в котором нет иного смысла, кроме словесно выраженного. Нет в нем и отношения «Я» – «другой», кроме чисто статистического. Когда говорится, что в России процветает коррупция и по этому показателю она находится на таком-то месте в мире, – это однозначно негативная характеристика, которая не сможет приобрести позитивного оттенка ни при каких обстоятельствах.

Но и в латиноамериканской прессе, даже в крупных периодических изданиях, статьи о России встречаются в целом довольно редко – не сравнить с материалами о Западной Европе, США и Китае. Показателен и тот факт, что многие крупнейшие латиноамериканские издания даже не держат своих корреспондентов в Москве. Стоит ли удивляться тому, что большинство статей о России взяты из западноевропейских и североамериканских периодических изданий и публикуются без комментариев и оценок – просто, чтобы заполнить информационный вакуум. Характерен и способ подачи информации – холодно-беспристрастный, прямолинейный и лишенный даже попытки глубокого анализа российской ситуации. Вновь сошлемся на данные по Бразилии, приведенные в книге Н.И. Константиновой и М.Ф. Мартынова. В пункте опроса об освещении бразильскими СМИ событий в России 30% опрошенных сочли информацию о России «недостаточной», а 33% – «практически отсутствующей», вследствие

чего представления о России у 60% опрошенных было «нейтральным», у 5% – «кажущимся нейтральным с негативным подтекстом» и у 3% – «негативным»[1].

Причины равнодушного или негативного отношения латиноамериканцев к России лежат на поверхности, некоторые из них уже были обозначены. Но главной составляющей негативного имиджа России, безусловно, является общая для многих стран латиноамериканского региона и России проблема – низкий уровень жизни и социальная незащищенность населения. Советский Союз экспонировал себя как страну, где нет бедных и богатых, нет безработицы, все равны, все имеют бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию и к образованию и т.п. – и эта пропаганда, несомненно, оказывала воздействие на умы; и даже те, кто не доверял пропаганде, вынуждены были признавать, что в СССР действительно нет безработных, бездомных, беспризорников и голодающих, что в ней нет неграмотных среди людей среднего возраста и молодежи. В силу остроты этих проблем в большинстве стран Латинской Америки уже одно это ставило Россию на иной, более высокий уровень социальной обеспеченности населения. В 1990-е гг. Россия утеряла многие из этих позиций (исключая медицинское обслуживание и образование). Говорил о многом уже сам факт российской эмиграции в страны Латинской Америки. Так, в начале 1990-х президент Мексики выделил квоту в 800 человек для российской интеллигенции – и она была моментально заполнена (в основном музыкантами и геологами); практически без ограничений российских эмигрантов принимала Аргентина, заселяя ими южные территории с рискованным сельским хозяйством. Эти факты подлежали однозначной интерпретации: если люди готовы бежать – и не в богатые страны Европы или в США, а в Латинскую Америку – значит, на их родине дела обстоят еще хуже... И действительно, наиболее развитые и благополучные страны региона, такие как Чили, Мексика, Бразилия, Коста-Рика, Уругвай, опережают Россию по ряду показателей, в том числе и в социальной сфере[2].

---

1 *Константинова Н.И.*, Мартынов М.Ф. Указ. соч. С. 31-32.

2 По данным Всемирного банка в России на 2002 г. в России среднегодовой доход населения составлял 2140 долларов; в Перу – 2050, в Сальвадоре – 2080, в Чили – 4020, Аргентине – 4060, в Мексике – 5910. Эта убийственная статистика ставит Россию на один уровень с беднейшими странами континента и отбрасывает ее далеко назад от развитых стран Латинской Америки. В 2004 г. уровень бедности в России составлял, по

Просмотр латиноамериканской прессы за период президентства В.Путина позволяет выделить три основных темы в отзывах о России: экономика, внутренняя политика и внешняя политика; на этом фоне наблюдается почти полное отсутствие статей о современной русской культуре, нравах и обычаях русского народа, о «загадочной русской душе» – между тем, как в советский период эти темы, наряду с политическими, были весьма востребованы и привлекательны. Это лишний раз показывает, что Россия интересует латиноамериканцев уже не сама по себе, а лишь как игрок на мировой политической арене.

В период президентства В.Путина наиболее благоприятные отзывы латиноамериканской прессы касались экономического развития России, и объяснимо это тем, что по понятным причинам латиноамериканцы гораздо острее, чем западноевропейцы или североамериканцы, чувствуют привлекательность эпохи стабильности. Показательны в этом смысле статьи крупного мексиканского специалиста по России Альмы Росы Крус Саморано, опубликованные в журнале «Комерсио эстериор» в 1997 и в 2005 гг. В статье «Россия в первое десятилетие постсоветской эпохи» (1997) автор крайне негативно характеризовал происходящее в ельцинской России, не видя в ней ничего, кроме хаоса: «В это *хаотичное* десятилетие Россия утеряла статус сверхдержавы, ее экономика обрушилась, резко возросло социальное неравенство, к власти в стране пришла организованная преступность»[1]. Именно сопоставление двух эпох позволяет автору дать в целом позитивную оценку президентству Путина: «Президент Путин смог восстановить политическую и экономическую *стабильность России после десятилетия* хаоса». «Если политическая и экономическая системы России

некоторым оценкам, 42%, тогда как на этот же период в Латинской Америке в целом он не превышал 40%, а в развитых странах континента был существенно ниже; в том же году средняя продолжительность жизни в России составляла 65,3 года, а мужчин – 59 лет, что на 15-20 лет меньше, чем в Японии, Швеции, Германии, Англии, Франции и США, а показатель общей смертности России в два раза превысил показатели Европы и США и в 1,5 раза средние показатели по миру. В Латинской Америке в результате реформ 90-х гг. продолжительность жизни увеличилась с 68,6 до 70 лет, детская смертность на тысячу рожденных снизилась с 40,6 до 35,7 человек. Наконец, впечатлял тот факт, что в России сохранялся самый большой в мире, пятнадцатикратный разрыв между 20% самых бедных и 20% самых богатых.

[1] *A.R.Cruz Samorano.* Rusia en el primer lustro de la era postsoviética. Comercio Exterior. México. Vol 47, 5, mayo de 1997. P. 234.

сейчас далеки от идеала, статистические данные указывают на экономический рост и на политическую стабильность. Бывшая империя сейчас превратилась в типичную капиталистическую демократию с растущей экономикой; хотя в этой стране по-прежнему остаются такие проблемы, как неравное распределение доходов, экономическая зависимость от базового продукта (нефти) и доминирование правящей партии». Автор с возмущением пишет о том, как магнаты тратят безумные деньги на роскошества, тогда как пенсионеры влачат жалкое существование. Говоря о перспективах развития страны, Крус Саморано предупреждает: «Если цена на нефть поднимется, все пойдет хорошо, если же упадет, то все пойдет по обратному сценарию»[1].

Что касается внутренней политики, то из выделенных тем латиноамериканскую прессу она интересовала меньше всего. То, о чем в североамериканской и западноевропейской прессе говорилось с большой тревогой и озабоченностью, иногда в жестко критичном, эмоциональном тоне, в латиноамериканской представало, скорее, на уровне констатации. Однако во многих странах Латинской Америки (Чили, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия, Эквадор) еще очень жива память о военных диктатурах, и потому всякое нарушение демократии, в России в том числе, здесь воспринимается довольно болезненно.

Во внешнеполитическом курсе России для латиноамериканцев на первом месте всегда стояли ее отношения с США. В Латинской Америке достаточно быстро и ясно поняли ту прагматическую стратегию внешнеполитического курса, которая обозначилась и установилась в период правления В. Путина. Ее очень трезвый и спокойный анализ дал мексиканский политолог Пабло Тельман Санчес Рамирес в статье «Внутриполитический и внешнеполитический курс России с марта 2004 года»; в частности автор обобщал: «Дипломатия Владимира Путина сочетает патриотическую и националистическую риторику с расчетливым прагматизмом, причем сочетает без видимых противоречий. Риторика обращена главным образом на российских граждан и на общественную систему в целом, в то время как прагматизм доминирует во внешней политике, выступая средством примирения с ведущими мировыми державами. Это сочетание, в определенной степени парадоксальное, в оптимальной степени отвечает задачам правительства, а именно: примирить общество со своим сложным

[1] *A.R.Cruz Samorano.* Rusia en el primer lustro del siglo XXI. Comercio Exterior. México. Vol 55, 9, septiembre de 2005. P. 819, 810, 814, 819.

историческим прошлым, с самим собой и с внешним миром. Русская дипломатия понимает, что восстановить политическое пространство СНГ – задача нереальная и идеалистическая и в настоящее время концентрирует свои усилия на том, чтобы установить с бывшими советскими республиками отношения на различных уровнях, при этом первостепенное значение придается центрально-азиатским странам и постсоветскому Кавказу. Во внешней политике Россия развивает принципы, установленные с 2000 г., и на первом месте стоят отношения со странами Европы и с США. Однако с тех пор практические воплощения этих принципов кардинально изменились с учетом их сопряжения с элементами национализма и прагматизма и с защитой национальных интересов. Сегодня русское правительство чувствует в себе больше уверенности и силы, чтобы действовать на международной арене более независимо по причине экономического роста страны, увеличения иностранных инвестиций в национальную экономику и негласной поддержки Запада, несмотря на авторитарные методы управления и централизацию власти»[1].

Как констатирует директор Центра иберийских исследований Института Латинской Америки РАН П.П. Яковлев, в последние два года в отношениях России со странами Латинской Америки наметился новый этап – кардинальные изменения наблюдаются как в политической, так и в экономических сферах. Еще в Концепции внешней политики РФ, утвержденной 12 июля 2008 г., указано на стремление Москвы наращивать политическое и экономическое сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. И эта установка последовательно выполняется: российская внешняя политика на латиноамериканском направлении стала существенно инициативнее. Можно сказать, настоящим прорывом в отношениях России с Латинской Америкой стал визит Д. Медведева в Перу, Бразилию, Венесуэлу и на Кубу (2008), в ходе которого был подписан пакет важных экономических соглашений, в том числе договоры о безвизовом режиме с Бразилией и Венесуэлой. В настоящее время Россия поддерживает дипломатические отношения со всеми 33 независимыми государствами Латинской Америки и Карибского Бассейна – никогда прежде такого не было.

Особый вес приобрели российско-бразильские отношения. В апре-

[1] *Sánchez Ramírez P.T.* El rumbo de la política interna y exterior de Rusia a partir del marzo 2004. Foro Internacional. Vol. XLVII, № 2 (188), abril – junio 2007.

ле 2010 г. в бразильской столице состоялся второй саммит Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК). Как отмечал Д. Медведев, участникам группы удалось создать существенный задел на ряде направлений реформы системы глобального экономического управления. Тогда же состоялся визит президента России в Аргентину – это была первая в истории поездка высшего российского руководителя в эту страну.

Еще более активно развиваются отношения России с Венесуэлой. Уго Чавес привлекает Россию не только своей антиамериканской риторикой, но и как крупнейший закупщик российского вооружения: в настоящее время объем поставок российской военной техники в Венесуэлу оценивается в 5 млрд. долларов.

Перемены в российско-латиноамериканских отношениях напрямую затронули и Кубу. Визит Д.А. Медведева в Гавану в ноябре 2008 г. положил начало новому этапу развития российско-кубинских отношений. В 2009 г. Москву посетил Председатель Государственного Совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. В результате был подписан Меморандум о принципах сотрудничества, на базе которого продолжилась реанимация двухсторонних отношений. Свой обзор П.П. Яковлев завершает следующим выводом: «Политика на латиноамериканском пространстве стала, пожалуй, самым *эффектным* направлением международной деятельности Москвы в последние годы. Теперь задача состоит в том, чтобы сделать его максимально *эффективным*, приносящим России весомые торгово-экономические и политические дивиденды»[1]. К сказанному можно добавить, что следствием этой политики также хотелось бы видеть дивиденды духовные – то есть возрождение в Латинской Америке интереса к культуре России и к русскому менталитету, из чего воспоследует не только политическое и экономическое, но также духовное сближение двух пограничных цивилизаций.

Образ России, каким он складывался в Латинской Америке в течение двух столетий, предстает в трех ипостасях. Образ дореволюционной России сформировался под влиянием русской литературы и культурфилософии и вобрал в себя мифы и стереотипы, возникшие в русской культуре, – и надо признать, этот образ оказался не только наиболее емким, но и наиболее близким самим латиноамериканцам в

[1] *Яковлев П.П.* Россия – Латинская Америка: новый этап. / http// www. perspectivy. info

силу сходства этих имагологических стереотипов с теми, что вырабатывались в самой латиноамериканской культуре и составили базовый субстрат ее художественного кода. Речь идет о таких мифах, как безмерность и хаотичность пространства, загадочность, неупорядоченность, иррационализм, теллуричность, первозданность, первородная мощь, мессианство и др. Эти стереотипы дают о себе знать и в восприятии Советской России, но отходят на задний план, тогда как на передний выходит ярко выраженная идеологическая составляющая, которая в зависимости от политической ориентации автора придает образу позитивную или негативную окраску. В постсоветскую эпоху образ России в Латинской Америке утрачивает как культурфилософскую, так и идеологическую составляющие; он уходит из эссеистики в прессу и в научно-политическую литературу, то есть фактически из сферы имагологии перемещается в сферу политического имиджа. Важно подчеркнуть принципиальное отличие образов России Советской и постсоветской: если первый был ярко полемичен, выстраивался в остром противостоянии идеологий и потому сочетал в себе два резко поляризованных образа – апологетический и отрицательный, почти без промежуточных оттенков, то образ постсоветской России начисто лишился этого качества полемичности, стал гомогенным, и ее имидж оценивается исходя из чисто прагматических критериев.

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

Айа де ла Торе В.Р. Из России. / Латинская Америка, 1990, № 11, 12.

Вальехо С. Россия, 1931. Размышления у стен Кремля. / Латинская Америка, 1990. № 7,8, 11; 1991. № 7-9.

Гарсиа Маркес Г. 22 миллиона квадратных километров без единой рекламы кока-колы. / Латинская Америка, 1992. № 3-5.

Дарио Р. Избранное. М., 1981.

Марти Х. Выставка Русского художника Верещагина. / Латинская Америка, 1995, № 5.

Миранда Франсиско де. Российский дневник. М. – Спб., 2000.

Неруда П. Признаюсь: я жил. М., 1978.

Пас О. Архипелаг ГУЛАГ – чернилами и желчью. / Иностранная литература. 1990. № 1.

Castiñeiras Alejandro. El alma de Rusia. Buenos Aires, 1923.

García Márquez G. Obra periodística. Vol. 4. Barcelona, 1983.

Gomez Carrillo E. La Rusia actual. Paris, 1906.

Fuentes C. La cabeza de la hidra. México, 1985.

Martí J. Obras escogidas. La Habana, 1953. P. 514-529.

Morua Delgado M. Rusia contemporanea. Revista cubana. 1981.

Parra N. Canciones rusas. Santiago de Chile, 1967.

Paz O. El ogro filantrópico. Barcelona, 1990.

Santa Cruz y Espejo E. El nuevo Luciano de Quito. Quito, 1943.

Uslar Pietro A. Letras y hombres de Venezuela. Madrid, 1978.

Vallejo C. Desde Europa. Crónicas y artículos (1923-1938) Lima, 1987.

Литература

Биллингтон Д.Х. Икона и топор. Опыт истории истолкования русской культуры. М., 2001.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.

Дуарте М.К. Из истории чилийско-русских литературных отношений. М., 1965.

Дьякова Л.В., Кузнецова Э.Л., Пегушева Л.В. Роль политико-социальных факторов в формировании имиджа России в Латинской Америке. / Латинская Америка. 2007, № 11.

Имидж России в контексте борьбы с международным терроризмом: латиноамериканское направление. Аналитические тетради ИЛА РАН. № 19. М., 2008.

Кутейщикова В.Н. Литературные связи Латинской Америки и России. // История Литератур Латинской Америки. Кн. 3. М., 1994.

Коваль Б.И. Смыслообраз России в представлении россиян и латиноаме-

риканцев. / Латинская Америка. 2007, № 9.

Коваль Б.И., Дьякова Л.В. Латинская Америка вновь с удивлением смотрит на Россию. / Латинская Америка. 2006, № 12.

Константинова Н.С., Мартынов Б.Ф. Имидж России в Бразилии: укоренившиеся стереотипы и факторы оптимизации. Аналитические тетради ИЛА РАН. № 20. М., 2008.

Сударев В.П., Алдушенко О.М. Россия глазами аргентинской прессы. / Латинская Америка. 2007, № 8.

Сударев В.П., Боровков А.Н., Кудеярова Н.Ю., Травкин В.Е., Проценко Е.А. Имидж России в Мексике: прошлое, настоящее, будущее. / Латинская Америка. 2006, № 11.

Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка: взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. М., 2001.

Шемякин Я.Г. Россия в западном восприятии (специфика образов «пограничных» цивилизаций. / Общественные науки и современность. 2008, №1.

Шемякина О.Д. Власть линии в россиеведении и нелинейный характер российского хаокосмоса. / Общественные науки и современность. 2008, №2.

Яковлев П.П. Россия – Латинская Америка: новый этап. / http// www. perspectivy. info

Boris Yopo H. Las relaciones soviético-latinoamericanas: evolución histórica y perspectivas. / Cono Sur. 1988, № 2.

A.R.Cruz Samorano. Rusia en el primer lustro de la era postsoviética. / Comercio Exterior. México. Vol 47, № 5, mayo de 1997.

A.R.Cruz Samorano. Rusia en el primer lustro del siglo XXI. / Comercio Exterior. México. Vol. 55, № 9, septiembre de 2005.

Eastman de la Cuesta R. ¿Murió el socialismo en la ex Unión Soviética? Crónica histórica de un imperio. Bogotá, 1995.

Malia M. Russia Ander Western Eyes: fron Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge – London, 1999.

Montes E. La URSS de Gorbachov. Más socialismo, más democracia. México, 1987.

Sánchez Ramírez P.T. El rumbo de la política interna y exterior de Rusia a partir del marzo 2004. Foro Internacional. Vol. XLVII, № 2 (188), abril – junio 2007.

Schanzer G.O. Russian literature in the Hispanic Word. Toronto and Buffalo, 1972.

Vite Pérez M.A. El conflicto de Chechenia. / Comercio Exterior. Octubre de 2006. Vol. 56. № 10. México.

М.И. Свердлов

ИСКАЖЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ: ПРОЕКЦИИ ИНОСТРАННОГО ВОСПРИЯТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Стереотипы негативного восприятия России

Речь в этой статье пойдет о кризисе идентичности в современной отечественной литературе и его предпосылках.

Начнем с «общих мест». В терминах А. Ахиезера, закономерностью русской истории, ее *«модулем»* является *«качание» между крайностями, «инверсия»*. По его словам, «специфика России связана не с самим фактом исторического перехода от одной цивилизации к другой, но с особым характером этого перехода, который в силу существования раскола может рассматриваться как основа особого типа неорганической цивилизации, сформировавшейся как результат приспособления к собственному расколу. Раскол есть прежде всего разрыв коммуникаций внутри общества, разрыв между обществом и государством, между духовной и властвующей элитой, между народом и властью, народом и интеллигенцией, внутри народа, то есть между теми, кто стремится предотвратить малейшие намеки на нарушение уравнительности, и теми, кто пытается выйти из архаичного сообщества, например, общины. Раскол возникает между сознанием и самосознанием общества. Он проникает в каждую личность, стимулируя двойственность, дипластию мышления, неустойчивость принимаемых решений. Яркое проявление раскола заключается в том, что смыслы, пересекающие его границу, коренным образом меняют свое

содержание. Смысл может измениться на обратный. В обществе складываются две системы смысла, не находящиеся в состоянии взаимопроникновения, но в отношении взаиморазрушения»[1].

Ю.М. Лотман описывал русскую культуру как бинарную структуру – в отличие от западной тернарной: «Для русской культуры с ее бинарной структурой характерна совершенно иная [чем в тернарной структуре – М.С.] самооценка. Даже там, где эмпирическое исследование обнаруживает многофакторные и постепенные процессы, на уровне самосознания мы сталкиваемся с идеей полного и безусловного уничтожения предшествующего и апокалиптического рождения нового»[2]. Таким образом, историческая судьба России до сегодняшнего во многом определялась «утратой середины»[3], метанием между крайностями – «этнической одержимостью»[4] и «дьяволизацией отечества»[5].

Задача данной статьи – проследить одно из предельных отклонений этого «маятника» – случаи *от-странения современной русской литературы от России*. Но прежде чем говорить о причинах и закономерностях, определяющих это явление в «литературном сегодня», стоит оглянуться назад – чтобы *классифицировать типы и способы этой инверсии* на историческом материале.

Для понимания того, как «конструируется» негативная «вербальная модель»[6] отечества, имеет смысл предварить обзор русских источников обращением к иностранному материалу: в письмах, путевых заметках и трактатах иностранцев *стереотипы негативного восприятия России* складываются в определенную схему, набор готовых, устоявшихся идей, которые так или иначе воздействуют на русских писателей и мыслителей.

---

1 *Ахиезер А.С.* Где искать самобытность? Специфика исторического пути России // Дружба народов, 1995, № 1. С. 115.

2 *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 268.

3 Об «утрате середины» как общемировом процессе см.: *Бибихин В.В.* Новый ренессанс. М.: Наука; Прогресс-Традиция, 1998. С. 75-127.

4 Формула А. Зорина (*Колеров М.* Новый режим. М.: Модест Колеров & Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 11).

5 Формула М. Соколова (*Соколов М.* Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания. М.: SPLS; Русская панорама, 2003. С. 410).

6 Формула Х. Уайта (*Уайт Х.* Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Из-во Уральского ун-та, 2002. С. 46).

Как показал историк Л. Вульф в своей книге с многозначительным названием «Изобретая Восточную Европу», большинство стереотипов восприятия России восходит к веку Просвещения. Известно, что само слово цивилизация вошло в европейские языки во второй половине XVIII века в силу необходимости противопоставить «истинный путь» европейских государств «заблуждениям» или «отсталости» «диких» народов[1]. В этой «ментальной карте»[2], создаваемой на основе понятия цивилизации, России было предназначено место по ту сторону границы: «"примитивная„ Россия была идеальным фоном, оттеняющим [например – М.С.] французскую "цивилизованность„»[3] (Л. Вульф). Пользуясь терминологией Х. Уайта, можно сказать, что в описании истории и быта России иностранные наблюдатели склонялись к «сатирическому типу репрезентации»[4].

Особое значение в процессе формирования негативного образа России принадлежит книге маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году», в которой кристаллизуется «сатирический тип репрезентации» восточноевропейского соседа, намеченный просветителями XVIII века (и книгами П.-Ш. Левека, Ж. Лекуэнта де Лаво, Ф.-П. Сегюра); в дальнейшем обличители русских по большей части будут лишь повторять и варьировать формулы Кюстина; посол США в СССР (в послевоенные годы) У.Б. Смит назвал «Россию в 1839 году» «столь проницательными и нестареющими политическими заметками, что их можно назвать лучшей книгой, когда-либо написанной о Советском Союзе»[5].

Каков же схематический образ России, складывающийся на страницах кюстиновской книги?

«Конструирование» этого образа опирается на отрицательные формулы:

---

1 См.: *Февр Л.* Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 257, 259.

2 См.: *Шенк Б.* Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения // Регионализация посткоммунистической Европы. Серия «Политические исследования». М.: ИНИОН, 2001. № 4.

3 *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 14.

4 *Уайт Х.* Указ. соч. С. 89. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

5 *Вульф Л.* Указ. соч. С. 528. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

1. *Россия – «без-образная».* Безобразная – уже в силу своего географического положения: «самая унылая, однообразная и голая страна на свете»; «нескончаемые равнины, мрачное, плоское безлюдье – вот что такое Россия»[1]. Кюстин не устает порождать все новые сентенции, обыгрывающие концепт «мертвого, пустого пространства»: «... такая [тираническая – ав.] политика процветала доселе и будет процветать впредь в стране, где расстояния, оторванность людей друг от друга, болота, леса и зимы заменяют тем, кто отдает приказания, совесть, а тем, кто эти приказания исполняет, – терпение»; «Даже климат в их стране – пособник тирании» (Кюстин, II, 14, 76).

Горделивая одическая формула «от – до», «закрепленная за темой "необъятные просторы России„»[2], – и та, согласно Кюстину, указывает на российскую роковую, предрешенную неполноценность: Россия так велика, что на ее просторах растворяется, распадается всякая форма и «нечто» превращается в «ничто»: «В России – сплошь далекие расстояния: на этих голых равнинах, простирающихся покуда хватает глаз, нет ничего, кроме расстояний» (Кюстин, II, 34); «... страна, где природа не создала ничего, а искусство произвело только наброски да копии...» (Кюстин, II, 59). Части здесь не составляют целого («Дома в них [русских деревнях – М.С.] не что иное, как нагромождение бревен»; города – «нагромождение серых деревянных домиков»; Москва – «хаос из штукатурки, кирпича и досок» – Кюстин, II, 34, 36, 64); проекты и дела остаются незавершенными («Что касается цивилизации, в России все незакончено, потому что ново; на самой прекрасной дороге в мире всегда что-нибудь недоделано» – Кюстин, II, 44), отношения между людьми и институтами – сомнительными («В этой стране <...> ничто не имеет четких определений...» – Кюстин, II, 54). Любопытно, что более чем через сто лет (в 1960 году) журнал «Лайф» представит иллюстрированный альбом о России почти в тех же словах, что и Кюстин: этот «пространный и пустынный край порождает мрачное ощущение нереальности и служит естественным фоном для повторяющихся волнений, драм и жестокостей» (Вульф, 14).

2. *Россия – противо-естественная.* Противоестественная – то

---

[1] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. В 2-х томах. М.: Из-во им. Сабашниковых, 1996. Т. 1. С. 232. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте, с указанием тома и страницы.

[2] См.: *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 163.

есть существующая как бы наперекор истории и природе; в России все наоборот, «не как у людей»: «Древние люди поклонялись солнцу; русские поклоняются солнечному затмению: разве могли они научиться смотреть на мир открытыми глазами?»; «Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством»; «Этот народ, лишенный досуга и собственной воли, – не что иное, как скопище тел без души; невозможно без трепета думать о том, что на столь огромное число рук и ног приходится одна-единственная голова» (Кюстин, I, 125, 127, 131). В сравнении с цивилизованным народом здесь все вещи как бы перевернуты с ног на голову: «Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это приводит к тому, что следствия становятся еще хуже принципов» (Кюстин, II, 38-39). В образе России есть нечто не-мыслимое, фантастическое: Петербург подобен «Летучему Голландцу» («... низкие берега Невы с невысокими постройками словно бы колышутся между небом и землей: кажется, будто они вот-вот канут в пустоту»; «... ужели это столица огромной империи или все это только мираж, обман зрения?» – Кюстин, II, 8, 74); московский Кремль – «обиталище призраков» (да и не только Кремль, а и вся Россия, ведь здесь «каждый делает все возможное для того, чтобы исчезнуть, испариться...»); осмотрев Кремль, путешественник возвращается домой, «как больной, который видел кошмарный сон и проснулся в горячке», который, познакомившись с российской историей, убедился, что «ад существует» – Кюстин, II, 130, 133, 87).

3. *Россия – бес-человечная.* Бесчеловечная, потому что изначально враждебная людям, живущим в «этой стране»: «Потемки [российской – ав.] политики непригляднее черноты полярного неба»; «В России <...> люди обделены счастьем больше, чем в любой другой части света»; «Дурное обхождение здесь упорядочено не хуже таможенных тарифов»; «Россия – нация немых; какой-то чародей превратил шестьдесят миллионов человек в механических кукол»; «Климат здесь угнетает животных, как деспотизм угнетает человека» (Кюстин, II, 281, 247, 285, 284, 33). «Бесчеловечны» даже ее «чудеса» (Кюстин, II, 125).

Поэтому народ, ее населяющий, – «черствый в глубине души» (Кюстин, II, 18). Она несет не только бедствия своему населению, но и угрозу цивилизованным народам: «Славяне, подобно дракону Апокалипсиса, чей хвост сметает за собой треть небесных звезд, когда-

нибудь притащат за собой стада Средней Азии, древних подданных Чингисхана и Тамерлана...» (Э. Ренан[1]).

4. *Россия – бес-порядочная, не-(недо-)цивилизованная*, то есть страна немыслимого смешения подобия культуры и действительного варварства. Это «полуварварский народ» (Кюстин, II, 11), как будто возвращающий путешественника в мифические времена: Москва – «творение циклопов» (Кюстин, II, 135), в России так и не преодолена первобытность (здесь «варварство носится в воздухе»; «Мне кажется, будто на моих глазах воскресает ветхозаветное племя, и я застываю у ног допотопного гиганта, объятый страхом и любопытством» – Кюстин, II, 53; I, 147), но и успокоиться в этой первобытности ей тоже не дано («Патриархальная тирания азиатских правителей в соединении с теориями современной филантропии, нравы народов Востока и Запада, несовместимые по своей природе и притом нераздельно слившиеся друг с другом в полуварварском обществе...»[2], «... я говорю: разучились жить, как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро [приписываемую Дидро – М.С.]: <...> "Русские сгнили, не успев созреть"» – Кюстин, II, 45; I, 154-155). В России *совмещается несовместимое*: «Что меня возмущает, так это зрелище самой утонченной элегантности, соседствующей с <...> отвратительным варварством» (Кюстин, I, 289).

Любой порядок в России – мнимый; за внешней упорядоченностью всюду здесь скрывается хаос: «... все обличает беспорядок и произвол, все выдает постоянную тревогу странных созданий, которые обрекли себя на жизнь в этом фантастическом мире, за свою безопасность» (Кюстин, II, 75).

Так Кюстин усиливает общие места, сформулированные в сочинениях предшественников («... век варварства и век цивилизации, десятое и восемнадцатое столетия, азиатские и европейские манеры, грубый скиф и утонченный европеец» – Л.Ф. де Сегюр[3]; «поток варварства, который устремляется к передовым рубежам европейской цивилизации» – М. Фурнье[4]) и современной ему французской прес-

---

1 Цит. по: Вульф, 529.

2 Там же. Т. 2. С. 45.

3 Цит. по: Вульф, С. 517.

4 Цит. по: *Мильчина В.* Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб.: Гиперион, 2006. С. 286.

се («... беспорядочная смесь всевозможных народностей, каждая из которых стремится возвратиться к своему первоначальному бытию» – Мильчина, 286). Следуя той же логике, почти через сто лет после Кюстина В. Беньямин (1927) вновь изумится нелепости российской жизни: «Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают – это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным»; «Роскошь, осевшая в обедневшем, страдающем городе словно зубной камень в больном рту»[1].

5. *Россия – бес-смысленная*, противоречащая законам здравого смысла и противоречивая в самых своих основаниях: «Бессмыслица <...> – главная отличительная черта этого огромного города [Петербурга – М.С.]»; «Русские почти всегда нарушают общественный порядок из слепого почтения к властям» (Кюстин, I, 121, 306). Говоря о русском «пренебрежении историей» (Кюстин, II, 128), автор «России в 1839 году» сводит русскую историю к дурному, лишенному высокого смысла повторению однообразных циклов; таким образом, он прибегает к фигуре Иронии, которую Х. Уайт определил как «представление мира в образе *колеса*, вечного возвращения, замкнутых циклов, которых не избежать. Фрай называет такое восприятие "Иронией рабства"; она больше похожа на кошмар социальной тирании, чем на мечту об искуплении, на "демоническую эпифанию". Сознание обращается к созерцанию "города в жутком мраке"...» (Уайт, 271). «... Я с ужасом замечаю, – пишет Кюстин, – что, как бы ни изменялись обстоятельства, те же взгляды [что и в эпоху Ивана Грозного – М.С.] русские исповедуют и по сей день, так что, роди русская земля второго Ивана IV, все повторилось бы вновь» (Кюстин, II, 88).

6. *Россия – без-жизненная*: «... из <...> произвола <...> рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному...» (Кюстин, II, 29).

7. *Отрицательные формулы дополняются формулами мнимости, ложного бытия.* Россия – химера: она постоянно обманывает иностранного наблюдателя, *замещает истинное обманным, органическое – заимствованным, оригинальное – подражательным.* Вместо общества здесь военный лагерь («Российская империя – это лагерная

[1] *Беньямин В.* Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. С. 44, 34.

дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества» – Кюстин, I, 132) или театр («их цивилизация – одна видимость»; «снег – маска»; «Петр Великий и его преемники приняли Россию за театр» – Кюстин, I, 164, 134, 135).

Петербург, этот «дивный город», тем не менее является только «подражанием городу западному» (Кюстин, II, 33). Россия лишь подбирает объедки западной культуры: «В Москве русская знать не смогла бы уже через неделю узнавать все дрянные парижские анекдоты и быть постоянно в курсе всех европейских сплетен, касающихся светского общества и литературных однодневок. Подробности эти, как ни жалки они на наш вкус, более всего интересуют русский двор, а следовательно, и всю Россию» (Кюстин, II, 137). Такова уж заемная природа русских – ведь «подражают они точно как обезьяны, оглупляя предмет подражания» (Кюстин, II, 154).

8. Россия всегда в кюстиновской и подобной ей схемах служит *антитезой западной норме*: если Запад характеризуется «благоустройством, домашностью», то Россия – вечный «бивуак», «табор» или «лагерь»; там – свобода, здесь – рабство («деспотизм на троне, <...> тирания везде»; там – рыцарская честь, здесь – унижение («В ту пору, когда московские великие князья преклоняли колена под позорным игом монголов, в Европе, а в особенности в Испании, где проливались потоки крови во имя чести и независимости христианства, торжествовал дух рыцарства»); там – слово и свет, здесь – «безмолвие и потемки» (Кюстин, II, 35, 36, 38, 57, 123, 105).

Каков же вывод? Он в известных словах Р. де ла Лемерсье: «Все еще только предстоит создать в этой стране; а еще вернее, все еще предстоит разрушить и *создать заново*»[1], повторенных Кюстином: «...чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется все уничтожить и *пересоздать заново*» (Кюстин, I, 283 – курсив мой).

Многие из этих формул подпитывали патриофобию русских – явление далеко не только сегодняшнее или вчерашнее. Попыткам русского образованного человека обрести позицию вненаходимости, встать на западную точку зрения в отношении к своему отечеству уже больше двухсот лет. Можно вспомнить хотя бы известного в парижских салонах первой половины XIX века князя П.Б. Козловского

[1] Цит. по: Вульф, 331. Курсив мой.

(г-жа де Сталь: «русский, упитанный европейской цивилизацией»[1]), о котором с сочувствием рассказывает маркиз де Кюстин: «Что же до любезного князя К***, то откровенность его суждений об отечестве доказывает мне, что и в России находятся люди, осмеливающиеся бесстрашно высказывать собственное мнение. Когда я поделился с ним этой мыслью, он отвечал мне: "Я не русский!!!" Странное притязание!..» (Кюстин, I, 105).

И все же подобная позиция для дореволюционной России – нечто маргинальное и исключительное. Если говорить о таких обычных для XIX века явлениях, как галломания, англомания, «германский комплекс»[2], или о таких типах, как «западник», «русский европеец»[3], «обличитель российской действительности», то под всем этим никогда не подразумевалось «странное притязание» *встать вне отечества и судить его как бы со стороны*.

Возьмем для примера самые крайние суждения, содержащие жесткую критику оснований русской жизни и связанные с приведенными выше отрицательными формулами.

Наибольший резонанс имели инвективы из «Философических писем» П.Я. Чаадаева. С первых страниц чаадаевского первого письма, опубликованного в «Телескопе» (1836), образ России оказывается *под ударом отрицательных частиц и ее эквивалентов*: «Первые наши годы, протекшие в **не**подвижной дикости, **не** оставили **никакого** следа в нашем уме и **нет** в нас **ничего** лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, **не** восприняли мы и традиционных идей человеческого рода»; «...мы **никогда не** шли вместе с другими народами, мы **не** принадлежим **ни** к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и **не** имеем традиций **ни** того, ни другого. Мы стоим как бы **вне** времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас **не** распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем

[1] Цит. по: *Мильчина В., Осповат А.* Комментарии // *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. Т. 1. С. 441.

[2] *Песков А.М.* Германский комплекс славянофилов // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медиум, 1993.

[3] См. главу «Феномен "русского европейца"» в кн.: *Кантор В.К.* Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. С. 118-140.

остальном мире к его современному состоянию, на нас **не** оказали **никакого** действия»[1].

На месте «чарующих воспоминаний» в прошлом России – пробел, пустота, будущее же ее сомнительно; она до сих пор пребывает в состоянии инфантильного недомыслия – в *бессобытийном, бессмысленном «сейчас»*: «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем **без** прошедшего и **без** будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то **не** в ожидании или **не** с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (Чаадаев, I, 325).

Россия оказывается вне исторического сюжета: вместо этого она постоянно пребывает в «хаотическом брожении», в блуждании по чужим следам («Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них **нет ничего**; все их знание поверхностно, вся их душа **вне** их»), в поисках случайного пристанища («Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. **Ни** у кого **нет** определенной сферы деятельности, **нет** хороших привычек, **ни** для чего **нет** правил, **нет** даже и домашнего очага, **ничего** такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; **ничего** устойчивого, **ничего** постоянного; все течет, все исчезает, **не** оставляя следов **ни** вовне, **ни** в вас. В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам» – Чаадаев, I, 325, 326, 323-324).

Чаадаевским письмам вторят гоголевские сентенции («Француз играет, немец мечтает, англичанин живет, а русский обезьянствует»[2]) и пушкинские горькие реплики в заметках и письмах: «Все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке <...> но ученость, политика и философия еще по-русски **не** изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе **не** существует; проза наша **так еще мало** об-

---

[1] *Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. М.: Наука, 1991. Т. 1. С. 325, 323. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

[2] *Гиппиус В.В.* Гоголь в письмах и воспоминаниях. М., 1931. С. 419.

работана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных»[1] (А.С. Пушкин). Позже, в кружках 1840-х годов, культивировался романтический космополитизм[2], насильственный подход к России с идеальной меркой; так, В.Г. Белинский признавался: «Его [Ф. Шиллера – М.С.] "Разбойники" и "Коварство и любовь" <...> наложили на меня дикую вражду с общественным порядком во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе»[3]).

Но все же эти и подобные им высказывания могли быть продиктованы тревогой, сомнением, отчаяньем, мечтательностью, но никогда – голым отрицанием: при самой жесткой критике, до определенного момента русские писатели и публицисты не отделяли себя от своей почвы – отсюда и у Чаадаева, и у Пушкина речь от первого лица: «мы», «наши». Поэтому Языков вряд ли был прав, когда обвинял Чаадаева в своих стихах: «Вполне чужда тебе Россия, / Твоя родимая страна» («К Чаадаеву», 1944[4]). «Русские европейцы», тяготея к Европе, ни в коей мере не хотели отказываться от своей «русскости». До революции литература и философская мысль не стремятся разорвать традиционную связь с отечеством: первое (или второе) лицо не меняется на третье («эта страна»), *русский писатель не превращается из «европейца» в «проекцию иностранца»*.

Более того, сама способность к самокритике является, по А. Герцену, одним из величайших талантов русского человека: «Одним из свойств русского духа, отличающим его даже от других славян, является способность время от времени оглянуться на самого себя, отнестись с отрицанием к собственному прошлому, способность посмотреть на него с глубокою, искреннею, неумолимою иронией и иметь смелость признаться в этом, не обнаруживая ни эгоизма закоренелого злодея, ни лицемерия, которое винит себя только для того, чтобы быть оправданным другими»[5].

---

1 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. VII. М.-Л., 1951. С. 18.

2 См.: *Гершензон М.* Избранное. В 4-х тт. М. Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 2000. Т. 2. С. 377.

3 *Белинский В.Г.* Избранные письма. В 2-х тт. М.: Худ. лит., 1955. Т. 1. С. 528.

4 *Языков Н.М.* Полное собранне стихотворений. М.-Л.: Сов. писатель, 1964. С. 397.

5 Герцен об искусстве. М.: Искусство, 1954. С. 217.

Отрицание «страшной русской жизни» (Чаадаев, I, 329) в XIX веке, за редчайшими исключениями, не означает пореволюционного «Я над всем, что сделано, / Ставлю "nihil"»[1]. Поэтому оно может оборачиваться своей противоположностью: отрицательное значение России в русской мысли – сплошь и рядом является отправной точкой для парадоксального утверждения положительного. Именно такой поворот мысли – *утверждение великой исторической миссии России в будущем через отрицание ее прошлого* – мы находим у того же Чаадаева: «Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара» (Чаадаев, I, 329).

Ту же схему переворачивания – *утверждение через отрицание, превращение «минуса» в «плюс»* – находим и у другого знаменитого обвинителя России – А. Герцена. «Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию современного европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм, или в безвыходное неустройство?» – вопрошает автор «Былых и дум» в духе Чаадаева. И неожиданно отвечает: «Эта **не**способность и эта **не**полнота – великие таланты в наших глазах»[2].

Исключения только подтверждают правило. Таким исключением, эксцессом в сфере мысли являются «Замогильные записки» В. Печерина, который прямо признается «в ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России» и приводит «безумные строки» из своего стихотворения:

> Как сладостно отчизну ненавидеть
> И жадно ждать ее уничтоженья,
> И в разрушении Отчизны видеть
> Всемирного денницу возрожденья[3].

---

[1] *В.В. Маяковский* «Облако в штанах» – Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 тт. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 1. 489.

[2] *Герцен А.И.* Былое и думы. В 3-х тт. М.: Худ. лит., 1982. Т. 2. С. 120.

[3] *Печерин В.С.* Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Из-во Московского ун-та, 1989. С. 161. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

Россия для Печерина – дантов ад, обитатели которого живут «грубо-животной жизнью» (Печерин, 172). В ней действует мрачный «закон географической широты»: «Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под Архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!» (Печерин, 162).

Однако и эта вербальная месть Печерина России – семейная: «Какое-то темное бессознательное чувство *мести* овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по заграницe, это беспрестанное желание *отделаться* от родительского дома, искать счастия где-нибудь в другом месте?» (Печерин, 151 – курсив мой). Ругая Россию, автор «Замогильных записок» ругает себя, свою подлую «русскую натуру» (Печерин, 154), свое врожденное рабство («Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами и умрем» – Печерин, 158). Он сам осознает себя не русским иностранцем, а отщепенцем, чудаком, причудливой смесью Дон Кихота и Вечного Жида (Печерин, 168, 173, 177, 181, 186). Разлад с Россией осознается Печериным как трагический, роковой; его прощание с родиной, при всей ожесточенности беглеца, все же окрашено элегически: «Этим я оканчиваю сказание о моей жизни в России, "где я страдал, где я любил, где счастье я похоронил"...» (Печерин, 168).

Но пройдет время, и то, что в XIX веке было эксцессом – вроде печеринского «Как сладостно отчизну ненавидеть», – станет нормой пореволюционной мысли.

Спрашивается, какое место занимал в отечественной литературе XIX века соответствующий герой – «русский иностранец»? Вряд ли можно считать таковым «лишнего человека» 1820–1830-х годов: Онегин и Печорин – не просто байронические герои-космополиты, которым везде чужбина: они слишком сложны и противоречивы; как и в оппозиционной публицистике, в них отрицание и отталкивание от отечества парадоксально оборачивается «русским духом».

«Русский иностранец» как литературный тип в XVIII-XIX веках занимает в галерее персонажей русской словесности маргинальное место: *он пребывает исключительно в сфере комического*. Впервые этот тип возникает в сатирической литературе XVIII века – например, в образе *щеголя*, *«петиметра»* Иванушки из комедии Д. Фонвизина «Бригадир» (одной из первых сатир на галломанов с их воляпюком:

«Ваш резонеман справедлив»; «Я вижу, что надобно об этом говорить безо всякой дессимюляции»[1]). «Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежит короне французской»; «Матушка, когда вы говорите о чем-нибудь русском, тогда желал бы я от вас быть на сто миль французских»[2] – эти декларации Иванушки воспринимаются читателями и зрителями XVIII-XIX веков как проявления смехотворной глупости, в одном ряду с митрофанушкиным «дверь прилагательна». Однако в этих репликах и комических диалогах с Советницей формулируются те стереотипы патриофобии, которые в дальнейшем будут переосмыслены уже вовсе не в комическом плане:

«*Сын.* Все несчастие мое состоит в том только, что ты русская.

Советница. Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная погибель.

Сын. Это такой defaut, которого ничем загладить уже нельзя»;

«*Сын.* Всякий, кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, затем что он уже стал больше француз, нежели русский.

Советница. Скажи мне, жизнь моя: можно ль тем из наших, кто был в Париже, забыть совершенно то, что они русские?

Сын. Totalement нельзя. Это не такое несчастье, которое бы скоро в мыслях могло быть заглажено. Однако нельзя и того сказать, чтоб оно живо было в нашей памяти. Оно представляется нам, как сон, как illusion»[3].

Быть русским – это ошибка, жизнь в России подобна небытию, это как дурной сон – таков урок отстранения от национальной почвы, данный одним из первых «русских иностранцев» в отечественной литературе.

В пореформенные годы и до революции маргинальный статус этого *амплуа – «русского иностранца»* – подтверждается тем, что оно *переходит к слуге* (таков «усовершенствованный» слуга из тургеневских «Отцов и детей» и Яша в чеховском «Вишневом саде»). В комичности и нелепости этого типажа в литературе второй половины XIX века ощущается все большая угроза, и, наконец, она явлена в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского.

«Русский иностранец» у Достоевского – тоже слуга, он так же комичен и нелеп, как и другие персонажи этого – «галантерейного» – ряда. Но «смешное» переходит в образе Смердякова из «Братьев Ка-

---

1 *Фонвизин Д.И.* Избранные сочинения и письма. М.: ОГИЗ, 1947. С. 16.

2 Там же. С. 31, 51.

3 Там же. С. 36.

рамазовых» в «зловещее», «забавно-нелепое» – в угрожающий бред. В речах Смердякова обнажена вся «логика» национального самоотрицания:

« – ...Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу бывало "с малыим", так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. <...>

– Когда бы вы были военным юнкерочком, али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

– Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.

– А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

– Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»[1].

По словам Н.А. Бердяева, «Достоевский предвидел торжество не только шигалевщины, но и смердяковщины. Он знал, что подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: "я всю Россию ненавижу" <...> Смердяковщина и привела к тому, что "умная нация" немецкая покоряет теперь "глупую" нацию русскую. Лакей Смердяков был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получал смердяковскую прививку»[2]. Так линия «слуги-петиметра», доведенная до предела, упирается в русскую революцию.

«Реализация» негативных стереотипов в первые годы советской власти

Вслед за Достоевским многие мыслители указывали на удивительную особенность русской истории – «сбываемость» и

---

[1] *Достоевский Ф.М.* Собрание сочинений. В 10-ти тт. М.: Худ. лит., 1958. Т. 9. С. 282.

[2] *Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Вехи. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С. 274.

«оборачиваемость»[1] идей. «Россия – это страна, где все сбывается, все договаривается до конца», «мифы осуществляются», слово оборачивается делом[2]. Именно так и случилось с отрицательной концепцией России: с первых лет Советской власти формула Лемерсье–Кюстина («пересоздать заново») – стремилась к реализации, а слова фонвизинского Иванушки (о русской жизни, ставшей прошлым и превратившейся в «сон, illusion») и Смердякова (о «других порядках-с») – к воплощению в жизнь.

Схема «оборачивания» уничижительных эпитетов, превращения «вербального» в «реальное» была предугадана еще в «Бесах» Ф.М. Достоевского. Роман начинается с болтовни, со словесного щегольства, с погони за esprit и bon mot. «Э, погибай, Россия!» – легкомысленно приговаривает Степан Трофимович Верховенский за картами; безответственно разглагольствует: «...Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда»[3]. Сначала его «лакейство мысли»[4] и легкая игра с негативными формулами *(«Россия – беспорядочная», «противоестественная», «бессмысленная»)* оборачивается пародией и фарсом в речах капитана Лебядкина, литературного родственника Смердякова и прочих лакеев-патриофобов: «...Россия есть игра природы, не более!»[5]). А затем, с нарастанием сюжетного напряжения, доходит до безумия, до саморазоблачительного бреда[6]. «О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты!», – лепечет Степан Трофимович[7]. А между тем уже наготове те люди, которые примут слова об «истреблении» как руководство к действию. И когда, наконец, в третьей части «Бесов», во время «праздника», на сцене появится «маньяк» и начнет «бесчестить» отчизну «всенародно, публично» («...Никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора...»; «...никогда Россия, даже в

---

1 См.: *Галковский Д.* Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998. С. 346, 180, 194.

2 Там же. С. 3, 140.

3 *Достоевский Ф.М.* Указ. соч. Т. 7. С. 14, 40.

4 Там же. Т. 7. С. 143.

5 Там же. Т. 7. С. 187.

6 О бредовой инверсии «русского разговора» см.: *Галковский Д.* Указ. соч. С. 636.

7 *Достоевский Ф.М.* Указ. соч. Т. 7. С. 229.

самые карикатурные эпохи своей бестолковщины, не доходила...»[1]), это уже будет не просто высказывание, а слово-дело, слово-террор, настоящая репетиция грядущей катастрофы.

В начале XX века отрицательные формулы, бывшие до того маргинальными, резко смещаются в «центр» публицистики и литературы. Вот как В.В. Розанов гротескно передавал этот нарастающий гул голосов, «бесчестящих» Россию: «Спросите Петрищева из "Русского богатства", что такое Россия, и он ответит вам:

– Конечно, страна непроходимых дураков.

Мякотина?

– О, в России живут совершенные ослы. Все. Кроме меня и моего приятеля Петрищева.

Пешехонова?

– Страна пауков и вшей, которую раздавить бы»[2].

Вторя Достоевскому, Розанов указывает на прямую, причинно-следственную связь между подобными самобичеваниями русских и террором: «...*до силы выстрела* дошла их [революционеров – М.С.] гадливость ко всей русской земле, ко всему русскому полю, с лесочками, подлесочками, проселочными дорогами, железными дорогами, со всем вековым и тысячелетним строительством, которое пусть было и не премудро, но, однако же, было именно строительство, труд, созидание, терпение, умирание и новые роды и роды»[3].

То, что было, говоря по-ленински, лишь «краснобайством», «пустословием», «фразерством», политической трескотней»[4], становится у самого В.И. Ленина словом как «орудием революционной борьбы», «утилитарной формулой действия»[5]. Ленинская речь, действительно, обретает «силу выстрела». Подобно провокационным выкрикам «маньяка» из «Бесов», она оказывает «динамичное, влияющее»[6] действие на массы. Для такого «слова-дела» все средства хороши. Это и ядовитая, издевательская ирония: «Я бы очень

---

1 Там же. С. 509-510.

2 *Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М.: Республика, 1996. С. 546.

3 Там же. С. 548.

4 Об употреблении этих слов Лениным см.: *Эйхенбаум Б.* Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924. С. 59, 60, 62, 69.

5 *Казанский Б.* Речь Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924. С. 112.

6 *Тынянов Ю.* Словарь Ленина-полемиста // ЛЕФ, № 1, 1924. С. 110.

хотел взять <...> несколько гострестов (если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев)...»; «тут осталось коммунистическое чванство, комчванство, выражаясь тем же великим русским языком»[1] (обоюдоострая насмешка – как над новоязом, так и над «великим» русским языком); «так называемая "великая" нация <...> хотя великая только своими насилиями, великая только так, как велик держиморда...»[2] (ирония клеймящая, орудующая ярлыками). Это и прямая, откровенная брань: «...Истинно русский человек, <...> в сущности, подлец и насильник...»; «Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке»[3]; «русские дураки», «полуварвары русские»[4]. Закономерным следствием теоретического, вербального насилия становится насилие практическое, осуществленное, цель которого Ленин указывает в своем знаменитом высказывании: «Россия завоевана большевиками»[5].

«Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, вместе с Марксом ненавидели ее. И она не вынесла этой ненависти, – подводит первые тяжкие итоги Г.П. Федотов в 1918 году. – <...> Государство русское, всегда пугавшее нас своей жестокой тяжестью, ныне не существует. Мы помогли разбить его своей ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины»[6].

---

1 *Ленин Н. (В.И. Ульянов)*. Основные задачи партии при НЭП'е 1921–1923 гг. Статьи и речи. М.: Красная Новь, 1924. С. 137, 139.

2 *Ленин В.И.* Избранные произведения. В 3 тт. Т. 3. М, 1969. С.703.

3 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. В 65 тт. Т. 45. М.: Политиздат, 1970. С. 357.

4 Цит. по: *Латышев А. О* рассекречивании трудов Ленина // Национальная газета, 2002, № 4-5. С. 13

5 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 36. С. 128. Для ленинской логики также в высшей степени характерны «оруэлловские» приемы: ненависть – это любовь («Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: "жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы" <...> это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения»; «Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое» («Национальная гордость великороссов» – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 26. С. 108).

6 *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2 тт. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 42, 46.

В чем одна из основных задач революции, по мысли русских религиозных философов? В развязывании «войны» против самой идеи отечества до полной ее отмены («смысл взрывания смыслов»; «историоборчество»[1]). В чем ее следствие? В саморазрушении России («срыв [национальной – М.С.] эволюции в бездну разрушения и небытия»[2]).

Согласно Ф.А. Степуну, «в основе всех социалистических утопий лежало чувство, что революция представляет собой нечто более реальное, чем Россия. Лишь этим чудовищным смещением основных планов бытия и объясняются, как мне кажется, все непоправимые ошибки и даже преступления наших социалистов-интернационалистов. В своем безудержном восторге перед гением революции они бесчувственно разрушали живую Россию. <...>

Они видели в ней [революции – М.С.] некоего светлого архангела, осчастливившего Россию своим внезапным появлением в ней.

Считая такие отвлеченные социологические категории, как буржуазия, пролетариат, интернационал за исторические реальности, Россию же лишь за одну из территорий всемирной тяжбы между трудом и капиталом, наши интернационалисты, естественно, ненавидели в России все, что не растворялось в их социологических схемах <...> На борьбу с этими силами и была потому сознательно и бессознательно направлена вся их страстно кипучая деятельность»[3].

Именно в пореволюционную эпоху национального срыва *многие русские писатели и публицисты попытались занять по отношению к отечеству позицию вненаходимости*. Традиционная интеллигентская двуплановость «ненависти-любви» к «нации рабов»[4] («во имя России – против России»; освобождение «России от самой себя»[5]) нередко оказывалась снятой, редуцированной до однозначного, безальтернативного отчуждения. В утопиях тогдашних «левых» литераторов, а

---

[1] *Степун Ф.А.* Чаемая Россия. СПб.: Издательство русского Христианского гуманитарного института, 1999. С. 7, 8.

[2] Там же. С. 123.

[3] *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. М.: Алетейя, 2000. С. 342–343.

[4] Процитированная выше формула Н.Г. Чернышевского (роман «Пролог» – Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 тт. Т. 13. М., 1949. С. 197).

[5] *Павловский Г.* Тренировка по истории. Мастер-классы Гефтера. М.: Русский институт, 2004. С. 25, 45.

затем и на практике подтвердилось поразительное пророчество Кюстина: «Если кому-нибудь когда-нибудь удастся подвигнуть русский народ на настоящую революцию, то это будет смертоубийство упорядоченное, словно эволюции полка. <...> Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнения: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта Богом избранная нация»[1].

В «странной картине» военных действий, развернутых против отечества, «аннигиляция»[2] всего русского тесно связана с проектами нового *сотворения, переделки, обновления России*. За разрушительными, направленными против традиционной России лозунгами всякий раз стояла некая программа – утопическая, прагматическая, игровая. Многие в послереволюционные годы предлагали свои рецепты «пересоздания» России. Из этого множества можно выделить три основных идеи: *утопическое разрушение-творение* («левая» литература и публицистика под знаком *интернационализма)*; *колонизаторское преодоление-переделка* (*конструктивизм)*; *литературное остранение-обновление* (*формализм*).

Утопическая идея разрушение-творение: «...до основанья, а затем...»

В жизнестроительном творчестве большевиков, по Степуну, было что-то библейское, только вывернутое наизнанку: «Монументальность, с которой неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: "Да будет так". <...>

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм»[3]. За этими декретами, в сущности, стояли еще два – незаявленные: да не будет прежней России; да будет новая, небывалая Россия!

---

1 *Кюстин А. де.* Указ. соч. Т. 1. С. 305–306.

2 «...Мы видим аннигиляцию, выморочность с прекращением всего и вся, обрыв, отягощенный еще трагическими судьбами павших» (*Павловский Г.* Тренировка по истории. С. 28).

3 Там же. С. 456.

Так старые, привычные формулы отрицания: *Россия безжизненная*[1], *Россия мнимая* – накладываются на знаменитые слова «Интернационала» (Эжен Потье, перевод А. Коца), ставшего с 1918 года официальным российским гимном:

> Весь мир насилья мы разрушим
> До основанья, а затем
> Мы наш, мы новый мир построим,
> Кто был ничем, тот станет всем.

В этих словах в полной мере выражен «двуединый пафос»[2] интернационалистов первых лет революции. Сначала – превращение прежней России в «tabula rasa» (в оригинале Э. Потье – «table rase»[3]) – чтобы начать как бы с чистого листа, с пустого места. Для революционеров-интернационалистов «революция была все, а Россия – ничто»; для них «Россия была лишь костром для мирового пожара» (П.И. Новгородцев)[4]. Их лозунги фактически объявляли войну России[5]: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь: для чего? Чтобы погромом идти на отечество» (В.В. Розанов)[6].

---

1 Этот тезис в начале XX века нередко облекается в апокалиптическую терминологию», как у Д.С. Мережковского: «Не чувствуется ли именно сейчас в России, что близок этот предел, что нисходить нам дальше некуда: еще шаг – и Россия уже не исторический народ, а историческая падаль»; «Не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо – Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба – и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают – холм насыпали, крест поставили» (цит. по: *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. С. 422).

2 См.: *Степун Ф.А.* Чаемая Россия. С. 55.

3 Знаменательно то, что перевод А. Коца оказывается гораздо радикальнее оригинала. В своем стихотворении Э. Потье призывает «начать жизнь с белого листа» («Du passe faisons table rase»). «Table rase – устойчивое словосочетание, означающее перемену основ порядка, в частности отказ приемника от юридических обязательств предшественника (règle dite de la table rase), которое не означает разрушение или уничтожение чего бы то ни было» (http://wiki.redrat.ru/_export/xhtml).

4 *Новгородцев П.И.* Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 563.

5 «...Революция объявила войну и Московской Руси, и западнической "буржуазной" России...» (*Федотов Г.П.* Собрание сочинений в 12 тт. Т. 9. Статьи американского периода. М.: Мартис, 2004. С. 45).

6 *Розанов В.В.* Мимолетное. М.: Республика, 1994. С. 328.

Способ сведения на нет всего русского – это насильственное упрощение, тотальная редукция: «Марксизм есть форма <...> РАЗОБЛАЧИТЕЛЬСТВА. Что есть разоблачительство? – Редукция мира к низшим проявлениям. Отсюда воинственность – мир понятен, прост. Следовательно, не менее просто его изменить. Как? При помощи дальнейшей, как говорил Макс Шелер, "игры на понижение"» (Д. Галковский)[1]; «Упростить ситуацию до абсурда, многообразие и сложность свести к элементарному, потенциальную поливариантность истории к прямой <...> линии. Вот он – Ленин, вот он – ленинизм!» (Ю. Пивоваров)[2].

Предвестием редукции/элиминирования привычных элементов русский жизни можно считать требования, которые раздавались еще в первой Государственной Думе: «Я предлагаю слово *Россия* исключить из думских дебатов, так это имя оскорбляет чувства нерусских членов Думы» (слова Н.И. Кареева[3]). Через двадцать лет подобные заявления воспринимались уже как нечто в порядке вещей; «"Русская история", – настаивал на рубеже 1920-х–1930-х годов М.Н. Покровский, – есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом и "единой и неделимой"»[4]. Искореняются коренные качества русского характера, непоправимо меняется значение слов со значением «человечности». Например, «в советское время, в связи с насаждавшимся официальной идеологией культом силы, сильной личности, <...> слово *жалость* стало устойчиво ассоциироваться с чем-то унизительным»[5] (Г. Федотов: «Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни, из русского сердца»[6]).

Оборотная сторона уничтожения «до основания» («футуристическое отрицание неба и [национальных – М.С.] традиций», «разрушение общепринятого русского языка и замена его интернационали-

---

1 *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 140.

2 *Пивоваров Ю.* Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН, 2004. С. 212.

3 См.: *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. С. 422.

4 Историческая наука в борьбе классов: исторические очерки, критические статьи, заметки. Вып. 2. М.-Л., 1933. С. 344.

5 *Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской картины мира. М., 2005. С. 275.

6 *Федотов Г.П.* Письма о русской культуре. // Русская идея М.: Республика, 1992. С. 381.

стическим ревжаргоном»[1]) – «утопическое грюндерство»[2], лихорадка нововведений, революционное творчество.

Этот процесс требовал резкой смены точки зрения. Основной лозунг тех лет: «Даешь мировую революцию!» – подразумевает отмену прежней, национальной мерки, чтобы принять новый, планетарный, всемирно-исторический масштаб. «Пределы его [государства СССР на месте прежней России – авт.], – писал в середине 1920-х годов П.П. Гронский, – безбрежны, оно стремится в идеале впитать в себя все народы мира. <...> Союз Советских Социалистических Республик не представляет из себя прочно установленного государственного порядка, он может в любой момент исчезнуть и в то же самое время способен к беспредельному, ограниченному лишь поверхностью нашей планеты, расширению»[3]. Не национальное единство, а «крепость мирового коммунизма»[4] – вот что строят интернационалисты в конце 1910–1920-е годы; отсюда и взгляд на все русское как на пережиток, частный случай, досадную мелочь, мешающую всемирному развертыванию коммунистического строительства.

Пример такого рода логики – роман И. Эренбурга «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников» (1922). Интернационалистский взгляд на Россию здесь иронически воплощен в образе главного героя – Хулио Хуренито. Действительно, «учитель»-иностранец в романе – не столько полнокровный, жизнеподобный персонаж, сколько олицетворенная позиция вненаходимости: даже погружаясь в гущу российских катастрофических событий, Хулио Хуренито умудряется смотреть на Россию из «прекрасного далека» – предельно-обобщенно, с точки зрения всемирно-исторического процесса. Такой взгляд исполнен иронии по отношению к «живой России»: *все в «этой стране» – или препятствие для неизбежной мировой революции, или средство. Русь – это то, с чем нужно порвать* («Теперь

---

[1] См.: «Нововыдуманные слова, перекошенные склонения и спряжения, рваные фразы – как крушат старый мир, так взламывают и язык старого мира» (М.Л. Гаспаров о Маяковском – *Гаспаров М.Л.* Маяковский: первый разговор с товарищем Лениным // Круг чтения. Литературный альманах. Вып. 5. М.: Фортуна-Лимитед, 1995. С. 76).

[2] *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. С. 343.

[3] *Гронский П.П.* Юридическая природа С. С. С. Р. // Сборник, посвященный 55-летию со дня рождения и 35-летию научной деятельности П.Б. Струве. Прага, 1925. С. 180, 181.

[4] *Пивоваров Ю.* Полная гибель всерьез. С. 217.

время зачина, то есть варварства, огульного отрицания, примитивной мощи первых жестов, коими (в отличие от обычных) очарована не перепуганная мамаша [например, старая Россия – М.С.], но сам достаточно влюбленный в себя младенец <...> чтобы младенец жил, надо пуповину отрезать»[1]) *или то, что можно использовать в своих целях* («"разиновщина", то есть вздыбленная Россия, разор, раздор, жажда еще немного порезать – для коммунистов теперь то же, что для паровоза дрова. <...> Эти [крестьяне – М.С.] <...> буйствуют, томятся, хотят не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорках, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу»[2]). Революция, согласно Эренбургу, сначала обнажает роковую российскую пустоту и бессмысленность («...увидали мы не страну, но чудовищную топь, с восстаниями и усмирениями, подобными ознобу, невыносимо нищую, на все речи, воззвания, манифесты отвечающую все тем же неистребимым "чаво?" – безразличья, косности, смерти»[3]), чтобы затем внеположная России сила большевиков («тысяч новых подвижников») «пересоздала все заново»[4].

Это «пересоздание» мыслится не только во всемирном, но и во *вселенском масштабе*; *советский марксизм* «подчиняет исторический материализм диалектическому материализму, или, иначе говоря, историческая жизнь человечества подчиняется космической жизни, и, в частности, вся история классовой борьбы оказывается частью единого космического процесса становления материального мира» (Б. Гройс)[5].

России служат только для того, чтобы оттолкнуться от нее в порыве «галактического авось»[6], в стремлении к фантастической, сверх-

---

[1] *Эренбург И.* Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников. М.: Эксмо, 2008. С. 125. Ср. со стихотворением И. Эренбурга, появившимся всего через два года после его скорбной «Молитвы о России» (1918): «Все, чем мы были иль быть не смогли, / Смыли черные волны. / Смейся громче, дитя земли, / В руне твоем новое солнце!» (Эренбург И. Стихотворения. Л.: Сов. пис., 1977. С. 114).

[2] *Эренбург И.* Необычайные приключения Хулио Хуренито... С. 153.

[3] Там же. С. 165.

[4] Там же. С. 181.

[5] *Гройс Б.* Поиск русской национальной идентичности // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медиум, 1993. С. 49.

[6] *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 225.

человеческой новизне. Писатели первых лет советской власти охотно расширяли тему интернационализма до межпланетных величин, представляли революционную экспансию в духе «марсианской» научной фантастики. Пример был подан еще до 1917 года утопическим романом А.А.Богданова «Красная звезда» (1908): в нем «старшие» марсиане передавали опыт коммунистического строительства русскому революционеру. «...Труд – естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни», – так говорят марсиане о своей цивилизации, а землянам – предсказывают неизбежность коммунизма: «Он [мир землян – М.С.] в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!»[1] Одним из средств «пробуждения», по Богданову, должен стать «марсианский» новояз, порождающий у человека «представление о мире как об особой системе, где все предопределено, управляемо и интегрировано по отношению к тому, как "должно быть"»[2]. В «небывалом» языке автор видит «странную магию, спокойную и холодную, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочную в своем сверхчеловеческом [и, добавим, сверхнациональном – М.С.] могуществе»[3].

Неслучайно В.В. Маяковский в 1920 году метафорически писал о творческой воле партии и рабочего класса как о космической энергии: «Поэтом не быть мне бы, / если б не это пел – / в звездах пятиконечных небо / безмерного свода РКП»[4] (а Н.С. Тихонов тогда же о творческой жажде красноармейца – как о «марсианской»[5]). В межзвездных гиперболах проявлялась мечта о новом, оторвавшемся от российской реальности человеке, «творце такого будущего, которое не имеет не единой точки соприкосновения с прошлым. Каким чудом, каким скачком может совершиться переход из того мира, который он [поэт –

---

1 *Богданов А.А.* Красная звезда // Вечер в 2217 году. М.: Московский рабочий, 1990. С. 143.

2 *Бледный С.Н.* Язык как фактор манипулятивного управления массовым сознанием в социальной философии А.А. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №3. 2004. С. 95.

3 *Богданов А.А.* Красная звезда. С. 119.

4 «Владимир Ильич» – *Маяковский В.В.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 178.

5 «Праздничный, веселый, бесноватый, / С марсианской жаждою творить...» («Праздничный, веселый, бесноватый…» – *Тихонов Н.* Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. пис., 1981. С. 90).

М.С.] ненавидит [Россия как она есть – М.С.], в тот мир, к которому он рвется, – этого он и сам не знал. <...> Будущее он представлял себе по космическим фантазиям Николая Федорова: человечество воскрешает своих предков и распространяется по вселенной»[1].

Особенно глубокий художественный анализ интернационалистских мифов находим в самых острых оппозиционных памфлетах того времени. В антиутопии Е. Замятина «Мы» доведена до конца, до абсурда насильственная по отношению к России *логика редукции*; смещен привычный сюжет тогдашней фантастики – победа над старой Россией за счет идеальной организации коллективного труда. В сатирах М. Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце» высмеяна идея творения нового человека по ту сторону национальной «ограниченности» и спародирован другой фантастический мотив – научное изобретение, присвоенное пролетарской массой и подрывающее старую Россию.

В основе замятинского романа «Мы» – протест против интернационалистской унификации личности. Это и критический итог многовековой утопической традиции, и резкий отклик на ситуацию революционного времени. Идеальное («интегральное», как будто по А. Богданову) государство выстроено Замятиным-фантастом как «математический» предел коммунистического упрощения: в государстве как машине человеку грозит превратиться в функцию, в условный знак («Д-503»), душе его – подвергнуться стерилизации («прежняя моя болезнь (душа)»), воле его – слепо подчиниться «Благодетелю». Писатель поставил точный диагноз: фантастическая цель «тотального» государства – устранить внутренний мир человека, в том числе и вытравить из него «национальную душу». Это позволит сделать человека прозрачным, просматриваемым и так приравняет его к вещи.

Идея булгаковских памфлетов – за эволюцию, научную и социальную, против интернационалистской утопии. Революция, в том числе и научная, – противоестественна: магический «луч жизни», открытый профессором Персиковым («Роковые яйца»), став орудием в руках пролетария, порождает чудовищ. Русская революция сама по себе гипербола – чудовищное преувеличение нелепостей человека и общества; вот и фантастическое открытие, присвоенное интернациональной властью, ничего не создает, но лишь увеличивает страусов и

[1] *Гаспаров М.Л.* Маяковский: первый разговор с товарищем Лениным. С. 76-77.

змей до «хтонических» размеров. Герой другой повести Булгакова – профессор Преображенский – сам же и обвиняет себя за попытку искусственного вмешательства в «эволюционный порядок» природы; в результате революционного научного опыта милая уличная дворняга «преображается» в отвратительного «гомункла» люмпен-пролетария, с невероятной быстротой усваивающего лозунги интернационализма.

Этот научный опыт, давший Шарикова, вполне рифмуется с социальным опытом, проведенным Советской властью и давшим Швондера – олицетворенное насилие над национальным складом и естественным ходом вещей. Итак, *пределом интернационализма становится не-человек* – «преображенный» Шариков, персонаж, завершающий галерею гротескных космополитов в русской литературе: *фонвизинский периметр – тургеневский «усовершенствованный» слуга – Смердяков – чеховский Яша.*

Идея колонизаторского преодоления-переделки России в теории и литературной практике конструктивистов

В декларациях конструктивистов (1920-е годы), наверное, чаще всего «всплывают» отрицательные формулы Кюстина: *Россия – бессмысленная, бес-порядочная, недо-цивилизованная, антитеза западной норме.* И это в высшей степени симптоматично: конструктивисты именно придерживаются логики цивилизованных колонизаторов-иностранцев, призванных просветить туземное население. Вот пример из «Бесконечного тупика» Галковского: «Большевик Ногин на XII съезде живописал исключительную храбрость и мужество колониальной администрации:

"Кое-кто из статистиков совершает целые подвиги. Например, на Кавказе некоторым товарищам пришлось подвергаться опасностям во время обвалов. В Самарской губернии им пришлось точно так же испытать целый ряд лишений вследствие того, что тех лошадей, на которых они двигались, съедали". Стихийные бедствия: обвалы, туземцы»[1].

Отсюда и тезисы конструктивистов, так обобщенно изложенные А. Гольдштейном: «Говоря упрощенно, советский литературный конструктивизм, рассматриваемый как идеология, есть руководство к

[1] *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 411.

действию по борьбе с традиционной Россией. Ибо Россия являет собой отрицание какой бы то ни было конструктивной целесообразности, функциональной грузификации. Россия – это тысячи километров тяжелой, косной материи, лежащей вне сферы смысла, материи неорганизованной, неструктурированной, неразумной <...> *Россия – это то, что нужно преодолеть*»[1] (курсив мой – М.С.).

«Степи да степи, дрянь-народ, рухлядь-городишки»[2], «обломовский табор»[3], царство вшей[4] – это наследство Руси, от которого конструктивизм прямо отказывается: «...Конструктивизм – никак это не "русского стиля" явление и не только не нашедшее себе никакого выражения в наших культурных традициях, <...> а, напротив – враждебное, чуждое и непонятное им»[5].

«Идея социализма сейчас для нас, в первую голову, – писал К. Зелинский, – идея гигантского технического наступления на природу – одинаково как на тощую природу трехполки, так и на "природу" почесывающегося, грязного и вшивого быта»[6] – то есть, именно российского быта. *Россия – это болезнь, от которой большевистское государство начинает выздоравливать*: «Мы начинаем свою жизнь как бы с самого начала, не стесняемые в конце концов никакими предрассудками, никаким консерватизмом сложной и старой развитой культуры, никакими обязательствами перед традициями и обычаями, кроме предрассудков и обычаев звериного прошлого нашего, от которой мысли или сердцу не только трудно оторваться, но от которой отталкиваешься с отвращением, с чувством радостного облегчения, как после тяжелой неизлечимой болезни»[7]. Лечение должно быть радикально – Россию, «слабую бесталанную страну»[8], нужно перевернуть на 180 градусов – с головы на ноги: «*Россия была Америкой* (в техническом смысле), *поставленной на голову*. Революция с ней сделала то,

---

1 *Гольдштейн А.* Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 95.

2 *Е. Габрилович* «Собеседование» (Бизнес. М., 1929. С. 129).

3 *К. Сельвинский* «Пушторг» – *Сельвинский К.* Избранные произведения. Л.: Сов. пис., 1972. С. 364.

4 *Зелинский К.* Конструктивизм и социализм // Бизнес. М., 1929. С. 28, 41.

5 Там же. С. 37.

6 Там же. С. 36.

7 Там же. С. 49.

8 *Е. Габрилович* «Ошибки Штунца» (Бизнес. С. 113).

что Маркс с гегелевской диалектикой, – она поставила нас на ноги. Рудинская головная культура утратила ныне свои соки. Кровь равномерно начинает разливаться по всему телу» (курсив мой – М.С.)[1].

Технический прогресс мыслился в образах «войны миров» – как планомерные боевые действия сильной цивилизации против слабой: «... Я слышу скрип бесчисленных рейсфедеров, которые наносят планы механических левиафанов нового мира. Я слышу лязг железа, я вижу зародыши цифр, вырастающие серыми корпусами. Это стадо железных слонов. И я, новый Ганнибал, веду его на дряхлеющий Рим [читай: Россию – авт.]. Я вижу, как переворачиваются руды. Поистине я осязаю это круговращение металла, которое начинает гудеть в нашей стране» (К. Зелинский)[2]; «И всюду, куда не посмотришь, справа налево и слева направо, с запада на восток и с востока на запад, шагают по диагоналям развернутым строем передаточные столбы токов высокого напряжения. Шестирукие и четырехногие, они чудовищно шагают, как марсиане, отбрасывая решетчатые тени на леса и горы, на рощи и реки, на соломенные крыши деревень...» (В.П. Катаев[3]). Конструктивистами провозглашается *«пришествие» «русского американца»* (Л. Сосновский: «Американцы всея Руси, объединяйтесь!»[4]; И. Катаев «Сердце»: «Америка, двадцать Америк, Америка в десятой степени – вот твой завет»[5]).

На рубеже 1920 –1930-х годов пришло время обобщить конструктивистский проект (в широком смысле слова) и сделать выводы. Такими вехами можно считать два произведения того времени, посвященные петровской эпохе, – «Епифанские шлюзы» А. Платонова и «Петр Первый» А.Н. Толстого. Обратившись к мифическим истокам западнической «модернизации» – к эпохе основания Петербурга, оба автора, в сущности, оценивали современные усилия по преодолению российской «косности»: Платонов – пессимистически (почти в соответствии с милюковским знаменитым высказыванием о петровской

---

1 Там же. С. 58.

2 *Зелинский К.* Поэзия как смысл. Книга о конструктивизме. М.: Федерация, 1929. С. 58.

3 *Катаев В.* Растратчики. Время, вперед! (повесть, роман-хроника). М.: Текст, 2004. С. 247.

4 *Сосновский Л.* Дела и люди. Книга первая. М.; Л., 1925. С. 133.

5 *Катаев И.* Под чистыми звездами. М., 1969. С. 100.

эпохе: «Россия всегда строит только руины»[1]), Толстой – зловеще оптимистически.

В качестве комментария к «Епифанским шлюзам» можно привести характеристику петровской реформы Галковским: «В мире не было ничего фантастичнее петровской реформы. Представьте себе, что Индия XVII века в болотистых джунглях строит Лондон 1:1, с Тауэром, Биг Беном, и начинает сама себя колонизировать <...> вытягивает себя из азиатского болота за косичку, как барон Мюнхгаузен. Удивительнейшая цивилизация. И страшная»[2]. Эти слова во многом восходят именно к повести Платонова, описавшей петровский «конструктивизм» как нежизнеспособную схему, несбыточный проект. Согласно А. Платонову, в основании конструктивистской идеи «преодоления России» скрывается бюрократическая ошибка; столичные «водно-канальные установления» и «тайные приказы» более чем активны, но в отрыве от остальной Россия, живущей своей тайной, «неведомой» жизнью[3]. «Планиметрическая мозговая игра» российской бюрократии, призрачная воля предписаний и срочных депеш – все это тщетно. Результат петровской утопии предрешен: «прожект по коммутации рек Дона с Окою»[4], порученный иностранцу, обернется бессмысленным террором и завершится ничем. Символична концовка рассказа: героя-иностранца насилует палач, символизирующий «стихию, в своем крайнем проявлении идентичную маниакальной организующей [российской – М.С.] государственности»[5].

Иной по смыслу вывод из западничества 1920-х годов сделал А.Н. Толстой – на том же материале – в романе «Петр Первый». Вот парадокс: утверждение дела Петра и прославление Петербурга обернулось в романе разрывом с традиционной патриотической темой и с гуманистической традицией русской литературы. В романе Петербургу возвращены торжественные эпитеты: он был вновь провозглашен

---

1 Цит. по: *Пивоваров Ю.* Полная гибель всерьез. С. 237.

2 *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 16.

3 «На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно»; «Петербургские прожекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами» (*Платонов А.* Избранные произведения. М.: Экономика, 1983. С. 179, 189).

4 Там же. С. 171.

5 *Гольдштейн А.* Указ. соч. С. 108.

«душой России»[1]; его строительство – победой над природой[2], покорением бога Нептуна[3], «началом славных дел», «далеких замыслов и трудных начинаний».

Умолчал ли при этом Толстой о страшной стороне этого «начинания»? Вовсе нет: не умолчал ни о голоде[4], ни о болезнях[5], ни о подневольном труде и терроре[6]. Как это могло совместиться в тексте с панегирической интонацией?

У Толстого к 1934 году, времени написания второго тома, уже был опыт подобного совмещения – в коллективной книге, посвященной строительству Беломорканала – «Канал имени Сталина». Именно поездка на Беломорканал (1933) и дала ему необходимый материал и еще более необходимый пафос для прославления подневольного труда. Действительно, аналогия между двумя стройками напрашивалась сама собой: и там, и там – борьба с суровой северной природой, жесточайшая эксплуатация заключенных («колодников»), отношение к людям как к «сырью»[7].

Проводя эту аналогию, Толстой идет еще дальше. Одна из центральных метафор третьей книги «Петра» – «ковка железа»: «От битья железо крепнет, человек мужает»[8]. Не перекликается ли она с лозунгом Беломорканала – «перековка»? М. Горький писал, представляя книгу о Канале: «...Книга рассказывает о победе небольшой группы людей, дисциплинированных идеей коммунизма, над десятками ты-

---

1 «Без Питербурха нам – как телу без души» (*Толстой А.Н.* Петр Первый. Роман. М.: Худ. лит., 1981. С. 565).

2 «Здесь, на краю русской земли, у отвоеванного морского залива, за столом у Меньшикова сидели люди новые...» (Там же).

3 «Бог Нептун, колебатель пучин морских, лег на крыше дома сего вельможи, в ожидании кораблей, над коими мы все трудились даже до мозолей» (Там же. С. 568).

4 «Ели корни и толкли древесную кору» (Там же. С. 571).

5 «Начиналась чума» (Там же).

6 «С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников»; «Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата» (Там же. С. 540).

7 М. Горький: «Человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл» (Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. М., 1934. С. 402).

8 *Толстой А.Н.* Петр Первый. С. 568.

сяч социально-вредных единиц»[1], то есть о перевоспитании («перековке»), немногими (в пределе, всего одним человеком) многих. Не та же ли миссия – у Петра в романе Толстого: переделать, «перековать» целый народ? Ведь именно об этом – слова царевны Натальи: «Государь сверх сил из пучины нас тянет. Недоспит, недоест, сам доски пилит, сам гвозди вбивает, под пулями, ядрами ходит, только чтоб из нас людей сделать...»[2]

Общее место петербургской темы XIX – начала XX века: «Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом»[3] – перевернуто Толстым в духе лозунгов из агитационной газеты, издаваемой на Беломорканале, – «Перековка»: «Дамбы охватили мощь морей и рек!», «Да здравствует переплавка правонарушителей в огне творческого труда!» Чем чудовищнее насилие, тем лучше результат, больше «выработка», выше «рекорд»; строительство Петербурга как «рекорд» государственности – вот что сталинская идеология в лице Толстого вытянула из петербургской темы. Что это значит? Что новая – по-настоящему страшная – эпоха совпала с карикатурой Кюстина.

Идея остранения-обновления и борьба формалистов с инерцией классической русской литературы

«Внезапно, как случается все закономерное, – писал Б. Эйхенбаум в 1924 году, – случилось так, что Россия стала страной переводов. Это началось еще в 1918 году. Русская литература уступила свое место "всемирной"»[4]. Закономерность здесь – в необходимости советских писателей *преодолеть инерцию классической русской литературы, стать по отношению к ней в позицию вненаходимости*. Отсюда и следствие: «Явилась тяга к чужому, хотя бы и в совершенно фантастическом воплощении. Нужно, чтобы звучало иностранно. Чтобы было иное и странное <...> является русско-иностранная проза – русский язык начинает звучать как английский или как немецкий. <...> Замятин стал писать, как англичанин <...> Каверин пишет так, как будто думает по-немецки»[5].

---

1 Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. С. 402.

2 *Толстой А.Н.* Петр Первый. С. 551.

3 *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Т. 2. С. 51.

4 *Эйхенбаум Б.* О литературе. Работы разных лет. М.: Сов. пис., 1987. С. 366.

5 Там же. С. 368.

Эйхенбауму вторит его соратник-формалист В. Шкловский: «Иностранец из Парижа, <...> Бабель увидел Россию так, как мог ее увидеть француз-писатель, прикомандированный к армии Наполеона». Автор «Конармии», «чужой армии, он иностранец с правом удивления». Бабель – «иностранец даже в Одессе»[1]. «В условно "заграничных" тонах»[2] написан роман «Месс-Менд» М. Шагинян, по моде двадцатых годов, взявшей себе иностранный псевдоним – Джим Доллар. «Переименования» поистине стали поветрием: О. Савич и В. Пиотровский пишут под псевдонимом Ренэ Каду, С. Заяицкий берет имя Пьера Дюмьеля и т.д. Идеолог «Серапионовых братьев» Л. Лунц провозгласил лозунг «На Запад!»; началось «массовое производство западных романов»[3] на русской почве. О себе и многих литераторах двадцатых годов Эйхенбаум писал, как о «русских иностранцах» в литературе: «Смесь еврейской крови с русской образует, очевидно, особое химическое соединение, имеющее сродство с кровью романо-германских народов»[4].

Теорию «смещения» с русской точки зрения на «условно-заграничную» разработали сами формалисты. Один из важнейших концептов формалистической теории – *концепт «борьбы и смены»*. Преемственность, наследование традиции русской литературы в мире, описываемом формалистами, крайне затруднены, прямая связь с отечественной словесностью приравнена к деградации: линии, которые они прослеживают, уходят вкось, традиции, которые они реконструируют, – «подземные и боковые».

Известно, что в их терминологической системе особое значение имеют метафоры войны и революции. Так, выступления Пушкина против поздних карамзинистов Ю.Н. Тынянов называет «гражданской войной», а попытку посредничества – попыткой примирить враждующие армии[5]. Известно, что и сами формалисты не признавали «мира» ни в литературе, ни в науке: «мирный» и «гладкий» для них

---

1 *Шкловский В.* Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе (1914 – 1933). М.: Сов. пис., 1990. С. 367-368.

2 Там же. С. 192.

3 *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 153.

4 *Эйхенбаум Б.* «Мой временник...»Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001. С. 51.

5 *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М.: Наука. 1968. С. 70.

эпитеты с клеймом. Для нас же вот что важно: в трудах формалистов речь идет о борьбе с русской литературной традицией – по аналогии с классовой борьбой или биологической борьбой за существование («революция», «империализация», «экспансия» «разложение», «выпадение», «невязка», «разрыв», «деформация»). «Эпохами» Тынянов называет декады – и это в сравнительно медленном XIX веке; в XX же веке – «стремительность смен», «жесткость борьбы», «быстрота падений»[1]. Литературный процесс описывается Тыняновым в стиле газетной хроники: «один поэт-одиночка говорил мне, что каждый час меняет положение»[2]. Это как бы сводки с полей сражений; противник – отечественная классика.

Другой пример: что интересует Шкловского в наследии Розанова? Что филолог отмечает в том, о ком пишет? Что берет у него? Прежде всего для Шкловского важна идея «конца литературы». Говоря о закате, разложении русской литературы, Розанов воспринимал это как катастрофу (может быть, необходимую). Шкловский же принял эту идею с бодрым, революционным энтузиазмом: не конец, а обновление – отмена старого и отжившего. Он прямо говорит о «революции»: «Каждая новая литературная школа – это революция, нечто вроде появления нового класса». Затем – о «восстании»: «Вещи устраивают периодически восстания. В Лескове восстал "великий, могучий, правдивый" и всякий другой русский язык, отреченный, вычурный, язык мещанина и приживальщика. Восстание Розанова было восстанием более широким, – вещи, окружавшие его, потребовали ореола. Розанов дал им ореол и прославление»[3].

Для борьбы с инерцией русской классической литературы необходимо оружие – и это прежде всего прием остранения. Цитата из Розанова: «ремонт мостовой» – превращается у Шкловского в реализованную метафору, обозначающую «современную ситуацию» – «слом» и «промежуток» в литературе. Прием Розанова представляется Шкловскому своего рода архимедовым рычагом, с помощью которого можно перевернуть русскую литературу.

Интересны попытки формалистов и близких к ним литераторов реализовать теорию остранения в литературной практике. Речь прежде всего о «формалистическом» романе В. Каверина «Скандалист,

---

[1] *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. С. 169.

[2] Там же.

[3] *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет. С. 121, 126.

или Вечера на Васильевском острове». Сюжетом романа управляет наступательная, воинственная терминология формализма. Конечно, неслучайно одна из глав романа называется «Давление времени»: в «Скандалисте...» все время ощущается требование «сдвига», «смещения», «ухода вкось»; тыняновские метафоры «разложения», «выпадения», «невязки», «деформации» диктуют логику романных перипетий. В «Скандалисте...» – что вчера было новым, сегодня становится штампом и требует обновления. Такова хроника преодоления русской литературной традиции.

Сюжет каверинского романа определяется динамическими оппозициями: «автоматизация» – «остранение» (Шкловский), «центр – периферия» (Тынянов). «Автоматизация» восприятия – проклятие России как «старого мира»: у тех, кто упустил время, неощутимы – речь, филологическая работа, быт[1]. Тема «автоматизация» постоянно сопровождается в романе метафорами умирания и смерти. В неизменных библиотеках, обслуживающих старую науку, даже рукописи – «задыхающиеся». Университетское здание уподоблено гробу (глава «Здесь читал профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский»); стареющий профессор Ложкин оказывается заперт в его стенах, и, блуждая по его коридорам, всякий раз упирается в одни и те же ассоциации: «Здесь читал когда-то покойный»; «Это место принадлежало, кажется, физическому кабинету. Или, вернее, скелету физического кабинета». Стоит тому же профессору произнести затверженную формулу неизменности: «все это бывало и раньше, ничего не случится, продолжение следует», – как тут же, словно возмездие, возникают слова «ладан», «панихида», «покойник»[2].

«Смерть Петербурга» в «Скандалисте...» – это смерть старой русской науки, превращение старой русской литературы в мертвый штамп.

Врывающаяся на место отмененной традиции новая литературная тенденция воплощается в автобиографическом герое – Ногине. По тыняновской схеме, его маршрут должен быть «боковым»: Ногин – «младший» герой (и по возрасту, и по репутации), он должен направить энергию «периферии» в «центр»: он знает, что «мир разорван,

---

[1] Так, Халдей Халдеевич не говорит, а «жужжит»; о Ложкине сказано: «Машинальность, с которой он читал лекции, сличал рукописи, обедал, ужинал, жил с женой, внезапно показалась ему оскорбительной» (*Каверин В.* Избранные произведения. В 2-х тт. М., 1977. Том 1. С. 247, 251).

[2] Там же. С. 243, 268-269, 244.

борьба неустранима» (вновь цитирование Тынянова), и «он не потерял времени. Он только шел боковой дорогой и теперь возвращается – вооруженный»[1].

Идущий «вкось» «маленький человек» выпадает из Большого Времени России и Петербурга. Он не может опереться на исторические аналогии, ему противопоказаны цитирование Петербургского текста[2] и вообще оглядка назад. Так, аналогия наводнения 1924 года с катастрофой «Медного всадника» оказывается ложной: буйство стихии в «Скандалисте...» смывает старые петербургские мифы. Любопытно, что тот же ход совершает в своем «Временнике» еще один мэтр формализма – Б. Эйхенбаум. «Вода стояла высоко. Город вздрагивал всю ночь. Цитатой из Пушкина торчал на скале Петр», – так Эйхенбаум провоцирует читательские ожидания. И нарочито обманывает их: «К утру все было спокойно. Вторично поэма не удалась»[3]. И у Каверина, и у Эйхенбаума «маленький человек» бунтует не против Медного Всадника, а против старой русской литературы и ее мифов: «А я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: "Ужо, строитель чудотворный!"»[4].

Молодой Ленинград и «маленький человек» показывают кулак не Медному Всаднику, а петербургскому периоду русской литературы.

Подобное, воинствующее отношение к старой русской литературе характерно для многих писателей 1920-х годов. Так, И. Бабель «в борьбе с литературными "отцами" [по терминологии формалистов – М.С.] <...> обратился за помощью не к русским "дядям", а к французскому "отчиму"» – французской литературе и прежде всего Ги де Мопассану, который «используется *как орудие борьбы*, нежели как идеальный образец для подражания»[5] (курсив мой – М.С.).

---

1 Там же. С. 389.

2 См.: *Топоров В.Н.* Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс, 1995.

3 *Эйхенбаум Б.* «Мой временник...» С. 38.

4 Там же. С. 39.

5 *Жолковский А.К., Ямпольский М.Б.* Бабель /Babel. М.: Carte Blanche, 1994. С. 8.

М.И. Свердлов

«Русские денди» 1920-х годов: эпатажное отрицание/поругание России как прием

Перед тем, как обратиться к литературной ситуации рубежа XX–XXI веков, стоит проверить: что из наследия формалистов действительно востребовано в современной литературе? Ответ: игровой, иронический жест.

В пореволюционные годы как литература, так и филология играли по правилам «qui pro quo»: поэтическая поза и политическая позиция, расчетливые литературные приемы и выстраданные идеи, постоянно меняясь местами, порой становились неразличимыми. В то время решительно никому нельзя было верить на слово. Например, А.Н. Толстой обличал «эстетов, формовщиков, стилистов, красочников»[1] – притом, что его сила была как раз в сноровке «формовщика» и «стилиста». Поэтому саморазоблачение отрицательного героя толстовского романа: «Россия – это “что”, а мы – это “как”», – вполне могло восприниматься вместо авторского кредо, а призывный вопрос положительного героя: «В Россию, в русский народ веришь?» – маскирующим это кредо приемом. Именно эта тенденция – «экспансии», «империализации» приема[2], выдвижения «как» за счет «что» – во многом определяет современную литературу.

В блоковской статье 1918 года «Русские дэнди» приводится диалог автора с молодым поэтом:

« – Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? – почти непроизвольно спросил, наконец, я.

Молодой человек откликнулся, как эхо:

– Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы – пустые, совершенно пустые»[3]. «Так вот он – русский дэндизм XX века! – Заключает Блок. – Его пожирающее пламя затеплилось когда-то от искры

---

1 «Егор Абозов» – *Толстой А.Н.* Собрание сочинений в 10 тт. Т. 2. М.: Худ. лит., 1982. Т. 2. С. 503.

2 Термины Ю. Тынянова.

3 *Блок А.* Сочинения в двух томах. М.: Худ. лит., 1955. Т. 2. С. 261. Об этой статье и судьбе выведенного в ней поэта и переводчика В. Стенича см.: *Вахитова Т.М.* «Русский денди» в эпоху социализма: Валентин Стенич // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга 2. СПб., 2001; В. Стенич: Стихи «русского дэнди / Предисловие Л.Ф. Кациса // Литературное обозрение. 1996, № 5/6; *Кунина-Александер И.* Сорок январей // Литературное обозрение. 1991, № 9.

малой части байроновской души; во весь тревожный предшествовавший нам век оно тлело в разных Брэммелях, вдруг вспыхивая и опаляя крылья крылатых: Эдгара По, Бодлера, Уайльда <...> оно подпалило кое-что на пустошах "филантропии", "прогрессивности", "гуманности" и "полезностей"; но, подпалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту.

У нас от "москвича в гарольдовом плаще" оно потянулось подсушивать корни, превращая столетние клены и дубы дворянских парков в трухлявую дряблую древесину бюрократии. Дунул ветер, и там, где торчала бюрократия, ныне – груды мусора, щепы валежника. Но огонь не унимается, он идет еще дальше и начинает подсушивать корни нашей молодежи»[1]. Дендистский «огонь» отрицания направлен против России – таков, в частности, блоковский диагноз.

Ход тогдашних денди, отзывающийся в денди нынешних, – отрицание России как прием. В пореволюционную эпоху ради литературного эффекта, ради экстравагантного жеста Маяковский называет себя «заморским страусом», а Родину – «снеговой уродиной»[2], и этот жест подхватывают его подражатели-имажинисты:

Твои щедро
Тела богатства
Разделить надо во имя братства[3];

Какое имя – Россия,
Другое ли,
Все равно, – только тем, кто несет погромные колья,
Стихов серебряные росы[4].

В маленькой 16 главке итоговых мемуаров бывшего имажиниста А. Мариенгофа «Мой век, мои друзья и подруги», в которой упоминается одно убийство (графа Мирбаха) и три расстрела (Я. Блюмкина, Я. Агранова, Вс. Мейерхольда), рассказывается также о Л. Троцком, читающем имажинистскую «Гостиницу для путешествующих в прекрасном», с ее манифестом на первой странице: «До чего же измени-

1 *Блок А.* Указ. соч. С. 261–262.

2 «России»: «Я не твой, снеговая уродина. // Глубже / в перья, душа, уложись! // И иная окажется родина, // вижу – / выжжена юная жизнь» (*Маяковский В.В.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 344).

3 А. Мариенгоф. «России» (Поэты-имажинисты. СПб: Петербургский писатель, 1997. С. 199).

4 *А. Мариенгоф.* «Слепые ноги» (Там же. С. 221).

лась природа прекрасного в наши дни!

Всего лучше читатель усвоит ее, если удосужится всмотреться в тяжелую походку слова, в грубую манеру рисунка тех, кто совершает ныне по ней небезопасную экспедицию.

Спрашивается: почему же она все же называется прекрасной? Могут ли бесчисленные обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя? <...>

Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового миросозерцания (так понимаем мы революцию)...»[1] – то есть в бедах Родины.

Революционное время, с его «обвалами», «пропастями» и «катастрофическими сотрясениями», губящими Россию, Мариенгоф воспринимает – как А. Дюма эпоху Людовика XIII и Ришелье. История для обоих – эффектное зрелище, игра страстей, праздник успеха и славы; Мариенгоф же – «русский иностранец», циничный наблюдатель этого праздника. На беды России он отвечает рефреном восхищения. Эта тема звучит в его ранних стихах, в альманахе «Явь»:

> Каждый наш день – новая глава Библии.
> Каждая страница тысячам поколений была Великой.
> Мы те, о которых скажут:
> – Счастливцы в 1917 году жили[2].

Начало «Трех мушкетеров» могло бы послужить превосходным метафорическим комментарием к сюжету знаменитого мариенгофовского «Романа без вранья»: «В те времена такие волнения были обычным явлением <...> Знатные господа сражались друг с другом; король воевал с кардиналом; испанцы вели войну с королем. Но, кроме этой борьбы – то глухой, то явной, то тайной, то открытой, – были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми». Война всех против всех («Bellum omnium contra omnes») – эта формула Т. Гоббса, рожденная как раз эпохой Д'Артаньяна («Подчиняясь странным обычаям своего времени, Д'Артаньян чувствовал себя в Париже словно в завоеванном городе»), в той же мере применима и к советским денди

---

[1] Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990. С. 139-140; манифест «Не передовица» цит. по изд.: Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1. С. 1–2.

[2] «Каждый день – новая глава Библии...» (Поэты-имажинисты. С. 203).

– имажинистам. *Для самоутверждения в литературной войне 1910–1920-х годов они и прибегают к эпатажному поруганию России.*

Если вновь для примера обратиться к «боевой» установке И. Бабеля, то стоит заметить: вненаходимость для него – маневр в борьбе за литературную власть (его alter ego «предстает перед ними [казаками, персонажами "Конармии"] человеком иного мира, гордым и скучающим марсианином, наблюдающим любопытную популяцию земных позвоночных»[1]); «позиция чужака, стороннего наблюдателя оказывается стратегией присвоения русской литературы, овладения ей»[2]. Когда Бабель записывает в дневнике: «Славяне – навоз истории?»[3], он на самом деле стремится использовать этот «навоз» для приема и обретения литературной власти.

Культурная ситуация рубежа XX–XXI веков: бытовые стереотипы и «речевые жанры» современного «апатритизма»

Перейдем от ситуации 1920-х годов к очередному fin de siècle, рубежу XX–XXI веков. Спрашивается, в чем причина такого новейшего явления, как литературный «апатритизм», отталкивание писателей от отечества, их стремление к вненаходимости?

Первая причина – в настроении читающей публики, в исходящем от нее социальном заказе. Вспомним, в начале XIX века А. Грибоедов заклеймил русское образованное сословие формулой «поврежденный класс полуевропейцев»[4]; а в конце В. Ключевский развернул эту формулу межеумочности российской элиты: «Ни идеи, ни практические интересы не привязывают его [русского – М.С.] к родной почве, он вечно старается стать своим между чужими и только становится чужим между своими, он какой-то приемыш Европы. В Европе в нем видят переодетого по европейски татарина, а в глазах своих он – родившийся в России француз»[5].

Эти слова бросают резкий свет на современную ситуацию. Кризис идентичности, диагностированный российской мыслью еще в позапрошлом столетии, на рубеже XX–XXI веков перерос в «закономер-

---

1 *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 208.

2 *Жолковский А.К., Ямпольский М.Б.* Бабель /Babel. С. 9.

3 *Бабель И.* Сочинения. В 2-х т. М., 1990. Т. 1. С. 393.

4 *Грибоедов А.С.* Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 3. С. 116.

5 *Ключевский В.* Курс русской истории. Ч. V. М., 1937. С. 214.

ную катастрофу этнической русской идентичности» (М. Колеров)[1]. Катастрофа проявляется прежде всего в том, что образованные русские наших дней все более сами осознают себя «чужими среди своих» – и воспринимают это не как трагедию, а как норму. Многие из них готовы даже смириться с участью «полуевропейцев», «приемышей Европы» – лишь бы вполне оторваться от «родной почвы».

Безусловно, в процентном отношении патриофобия – явление далеко не массовое. Опросы показывают, например, что на вопрос: «какое понятие более священно: свобода личности или Родина?» – лишь 25 % российских граждан выбирают «свободу личности», а «Родину» – 62 %; даже по вопросу: «Какое понятие более священно: справедливость или преданность Родине?» – выбор россиян остается за патриотическими ценностями (42% против 39 %; данные на 2003 год)[2]. Итак, большинство соотечественников по-прежнему готовы говорить о своей любви к Родине, но их патриотизм остается по преимуществу пассивным: это дань привычке, выбор по инерции. Вместе с тем растет число социально активных жителей России, стремящихся дистанцироваться от своей страны; все больше их среди молодежи, среди образованной части населения, среди людей со средним и высоким уровнями жизни.

Однако самую опасную тенденцию не так-то просто диагностировать с помощью статистики: она скрывается, по известному булгаковскому выражению, «в головах». *Речь о катастрофическом выветривании смысла из всех патриотических формул и мифов и, главное, о сбое исторического сюжета, ощущении беспутья, сознании тупика российской истории.* «...Идет тяжелое для России время, откуда <...> не видно дорог»; национальная идея упирается в представление, что «больше идти некуда»[3].

---

[1] *Колеров М.* Новый режим. С. 31. См. тезисы из манифеста В. Найшуля: «Мы ныне – бессловесное стадо, не имеющее общественного языка. <...> Мы ныне – безнравственная толпа, не имеющая навыков общественного поведения. <...> Мы ныне – бездумное сонмище, не имеющее собственной государственной мысли. <...> Мы ныне – рассеянный народ, не имеющий прочных государственных и общественных институтов (Найшуль В. Мы ныне – рассеянный народ // Русский журнал, 17 ноября 2003 – http://old.russ.ru/ist_sovr/20031117_prog.html).

[2] См.: *Блехер Л., Любарский Г.* Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М.: Академический проект, 2003. С. 125.

[3] *Блехер Л., Любарский Г.* Главный русский спор. С. 222–223.

Идеи пути, развития, целенаправленного движения России во многом перестали работать. На этот слом в сознании указывает М.Л. Гаспаров: «"Наш народ идет от надежды к надежде". Кажется, эта формула уже устарела»[1]. О причинах тупика, смысловой остановки размышляет М.Я. Гефтер: «Время для нас остановилось и суммировалось в вечно вчерашнем дне. Мы видим, что жизнь из него будто выпарилась, и спрашиваем: почему? Потому ли, что мы скверно обращались с историей и та от нас ушла?»[2] В отказе от исторической надежды следует искать причину того, что отталкивание от отечества становится все более частым явлением.

Негативное отношение к «своему» и предпочтение «чужого» проявляются на самых разных уровнях сознания. Взять хотя бы бытовые стереотипы. Согласно М. Соколову, «оказавшись за границей, русские в массе своей отнюдь не радуются, завидев соотечественника, а, напротив, при звуках родной речи делают вид, что русский язык им решительно незнаком и стараются всячески уклониться от дружеских объятий со случайно встреченным компатриотом»[3]. Симптоматическое явление: «свой» в ситуации заграничного путешествия оказывается не просто «нежеланным», «лишним», но более того – вдвойне «чужим»; «я не с ними» – таков инстинктивный жест одних «русских путешественников» при виде других.

С 1980-х годов происходит постепенное смещение «речевых жанров»[4]. По наблюдениям американского этнографа Н. Рис, в эпоху перестройки такие бытовые жанры, как «кухонные» литания и ламентации носили драматический и исторический характер – то есть были валентны таким темам, как «кризис» («полная разруха», «полный развал»[5]), «неправильный курс» («Куда мы катимся?»[6]), «неправедная, глупая власть» («Что будет, если коммунисты придут в пустыню Саха-

---

1 *Гаспаров М.Л.* Записи и выписки. М.: НЛО, 2000. С. 379.

2 *Павловский Г.* Тренировка по истории. С. 44.

3 *Соколов М.* Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания. М.: SPLS; Русская панорама, 2003. С. 411.

4 О «речевых жанрах» см.: *Бахтин М.М.* Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит., 1986.

5 *Рис Н.* Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005. С. 98.

6 Там же. С. 95.

ру? – Через несколько лет там будет дефицит песка»[1]). Но предметом бытовых ламентаций 1990-х годов становится уже не «временное», а «постоянное и безысходное»; при этом их логика стремится к предельному обобщению. Беды и пороки современной России все больше связываются с непреодолимым национальным роком; в жалобах все меньше веры в преодоление, развитие и разрешение. «Это безнадежно. И будет все хуже и хуже», – говорят собеседники Н. Рис; «Русские всегда были только рабами»; «Дайте нам тысячу лет, и все равно будет то же самое. Это в наших генах. России никогда не стать цивилизованной страной»; «Эта проклятая, дурацкая, е...я, ужасная страна»[2].

С 1990-х годов из сленгового «быта» в публицистику и литературу смещаются агрессивные языковые штампы. Так, уже не только в речи, но и в печати бытует выражение *«эта страна»*; оно столь широко распространено, что уже почти стало идиоматическим. «Мы же все в этой [интеллигентской – авт.] среде выросли, – говорит А. Архангельский; – мы же знаем, что это происходило из страха задавать любые вопросы, связанные с национальной идентичностью – со своей, своей культурой, судьбой своего народа. Выражение "эта страна", которое меня тогда [в начале 1990-х гг. – авт.] уже страшно бесило, было введено именно этой интернациональной русской интеллигенцией»[3]. Что скрывается за этим выражением? Полуосознанное стремление от-страниться, отделиться от *своей* страны, снять с себя всякую ответственность за нее («я умываю руки»), *оказаться в ситуации вненаходимости*.

Постепенно эта *идиоматика отстранения* становится все резче и грубее; в ходу уже выражения, взятые из молодежного жаргона. Одно из них – *«валить отсюда»*: «валить отсюда надо и чем быстрее, тем лучше»[4]; «идея о том, что отседова надо валить»[5]; «валить отсюда надо к чертовой матери»[6]; «если дойдет [до того-то и того-то – авт.],

---

1 Там же. С. 144.

2 Там же. С. 184.

3 *Колеров М.* Указ. соч. С. 35.

4 tp://www.pravomsk.ru/showthread.php?s=18f9e6f03b88165307a1b7e236118dec&t=7899&goto=nextnewest; в цитатах из Интернета сохранены орфография и пунктуация источника.

5 http://sharana.livejournal.com/5264.html

6 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=42716&mode=threaded&pid=384041

то придется валить из этой страны»[1].

Весьма характерна логика одного из интернетовских «постов», озаглавленного «"Валить отсюда", или "Ну почему в этой стране все НАСТОЛЬКО через жопу"?!?!»[2]. Автор «блога» в ЖЖ рассказывает о том, как его из рук вон плохо обслужили в частном банке, о том, что до самых дорогих блюд в «телеге» ресторана «Елки-палки» невозможно дотянуться даже при росте 180 см, о платных справках и тому подобном. Однако выводы его вовсе не ограничиваются обличением банковского сервиса или системы коммунальных платежей. Описание потребительских неприятностей обрамляется двумя сильными тезисами. Уже в зачине говорится: «*Никому ничего не нужно. Везде бардак. Никто не умеет работать, но у всех получается откуда-то деньги брать. Нет чувства меры ни в чем* – ни в любви к президенту, ни в лени, ни в унижении. *Все в этой стране* эдакие перфекционисты-Обломовы. Порассуждать-попиить ПИВА. И *ничего не сделать НОРМАЛЬНО*». Завершается же текст следующим утверждением: «Вот он, новый образ РОССИЯНИНА – покорный глупый раб, терпящий безропотно измывательства над собой собственного государства, благодарный руке, кидающей кость, доверчивый до наивности, ленивый и вороватый, а оттого испытывающий чувство вины и долга, слабый и потому всего боящийся и копящий желчь и злобу. *Огребем мы все с такой жизнью. Такие эмоции не исчезают бесследно, будет кровь и много*» (курсив мой – М.С.).

Примечательной особенностью этого «поста» является готовность немедленно перескочить от любой мелочи частного наблюдения и личного опыта к глобальным обобщениям: в одном месте неудобно, в другом неприятно – значит, «везде бардак», «все огребем» и «будет много крови». Но важнее другое – стремительный переход от бытового раздражения («меня плохо обслужили») к тотальному отрицанию «этой страны»: «никому ничего не нужно»; «никто не умеет работать»; «нет чувства меры ни в чем»; самого же обличителя российской жизни эти отрицательные гиперболы никак не задевают – он не причем, он всего лишь безвинная жертва (всего один раз употреблено местоимение «мы», да и то в страдательном плане – «огребем мы все...»). Так в отдельном высказывании проявляется механизм мыш-

[1] https://www.pgpru.com/novosti/2008/neogranichennoeinekontroliruemoeproslushivaniestanetzakonnymvrossii?how_comments=1

[2] http://turizt.livejournal.com/22814.html

ления значительного числа россиян – *механизм отрицания «Рашки»*[1] *и выгораживания себя.*

Бранные штампы можно выстроить в причинно-следственную цепочку: *«надо валить отсюда»*, потому что *«Россия – отстой»*. «Мы множество раз слышали по всем СМИ, что наша страна катится вниз по наклонной плоскости, – так А. Плуцер-Сарно рассуждает о словечке "отстой", – что наша Родина разграблена, разворована, унижена, поругана и т.п. Этот абсолютный телесный низ, в котором общество себя ощущает, и есть пуант всей этой "катастрофы" русских метафор. Постепенно "отстой" из простого русского слова с двумя-тремя значениями превратился в глобальный символ русской жизни вообще, символ, имеющий бесконечную перспективу значений» (пример употребления: «Что поделаешь, если страна у нас полный отстой, вот и получается, что все у нас отстойное...»)[2].

Тенденция к бранному снижению обобщающих высказываний о России все больше проявляется и в современной российской публицистике. Наибольший резонанс в периодике и Сети вызвали два скандальных выступления. Известный журналист А. Панюшкин отличился сравнением отечества с бешеной собакой: «России пора вразнос. Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать собою национальное государство <...> я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна. Ей осталось жить три, максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят»[3]. Впрочем, другой известный человек, поэт И. Кормильцев, едва ли не

---

[1] Жаргонное обозначение России. См.: «Рашка ("поганая Рашка") – название России в среде колбасной эмиграции 1990-х годов (а также в среде тех, кто троллит этих колбасных эмигрантов)» (http://lurkmore.ru/Рашка). Пример употребления: «Рашка – это не тюрьма. Рашка – это военный лагерь! (http://lord-marshal.livejournal.com/61998.html).

[2] *Плуцер-Сарно А.* Русский «отстой»: от символа к тексту // НЛО, 2004, № 68 (См.: http://www.edu-zone.net/show/152824.html).

[3] *Панюшкин А.* Логика бешеной собаки // Журнал «Ъ» «Gentelmen's Quaterly», февраль 2005 года (цит. по: http://woody-alex.livejournal.com/269098.html).

перекрыл панюшкинский рекорд брани в своем новогоднем «посте» (2006): «Господи, какие жы вы все, русские, крутая сволочь – либералы, фашисты, коммунисты, демократы – без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах – и то мало будет – вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ <...> поэтам – писАть, женщинам – вертеть жопой. Вы все – одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть – и никакого вам Нового года»[1].

Чтобы понять оксюморон Панюшкина («логика бешеной собаки»), надо прежде разобраться в странной логике самого журналиста. «Когда я сталкиваюсь с проявлениями русского национализма, – рассуждает он, – я всякий раз удивляюсь его нерациональности. Вот молодые люди, скинхеды какие-нибудь, собираются в стаи и принимаются убивать таджиков или африканцев, ну и, предположим, одного таджика или одного африканца им убить удается. Оставив за скобками чудовищную жестокость этого убийства, давайте спросим у молодых людей с бритыми головами, стало ли русским хоть немного лучше? Не стало. Стало ли молодым людям с бритыми головами хоть немного лучше оттого, что они убили таджика? Тоже не стало, потому что хоть милиция и помогает скинхедам как может, однако же все равно возбуждаются против них уголовные дела и идут против них суды. Вместо убийства иноверца мог бы ведь русский молодой человек создать каких-нибудь материальных ценностей или хотя бы зачать детей, чтоб жизнь его народа стала лучше и вообще продолжился народ. Однако же нет, нет у русского патриота инстинкта продолжения рода и инстинкта самосохранения, а есть инстинкт бессмысленного уничтожения чужих со значительными потерями для себя». Допустим; но следует ли из этого вывод об обреченности целого народа: «Я настаиваю на том, что инстинкт самосохранения у русских каким-то странным образом притупился»; достаточно ли для такого вывода дежурной фразы о СПИДе и туберкулезе скороговоркой? Но мысль Панюшкина, уже не оглядываясь на силлогистику, делает новый скачок – к «кинической» персонификации, призванной закрыть тему России: «бешеная собака»; «пристрелить».

По поводу тирады Кормильцева возникают схожие вопросы: чем вызваны столь громкие проклятия? Не тем ли, что «русские» могут каким-то образом помешать поэтам писать или женщинам – вертеть

[1] Цит. по: http://www.solnechnogorsk.net/forum/forum98/thread59290-print.html.

задом? Примеры, аргументация? – отсутствуют. Зато выводы налицо – и вновь в виде сильной персонификации («одна большая РУССКАЯ сволочь») и призывных инфинитивов («пороть до крови», «сжечь в печах»).

Откуда такая «легкость необыкновенная» в обобщениях, такая стремительность выводов? Не является ли панюшкинская «логика бешеной собаки» невольным автометоописанием? Во всяком случае ясно одно: логика здесь замещается истерическими жестами отстранения; высокомерное притяжательное местоимение («мой народ»), презрительное третье лицо («русские») и оскорбительное второе («вы все») как раз и подсказывают сначала обобщающие бранные образы («собака», «одна большая сволочь»), а затем метафоры насилия и уничтожения.

По иронии судьбы в приведенных инвективах реализуются именно специфические русские концепты, отмеченные лингвистами. С одной стороны, здесь угадывается идея, выраженная в словах с корнем «рыв (рв)», прежде всего – словом «отрыв», в особенном, современном его значении: «идея энергического и спонтанного душевного движения, в результате которого разрушаются (рвутся) узы или путы»[1]. С другой стороны, в высказываниях Панюшкина и Кормильцева, в соответствии с привычной логикой русского языка, «происходит устранение действующего и ответственного за свои действия лица там, где оно реально есть» (то есть само-отстранение), и при этом «некоей квазиактивностью, квазиответственностью наделяются вещи и обстоятельства»[2] – в данном случае, сама «русскость», персонифицированная в образе «бешеной собаки» или «одной большой сволочи».

Проекции отрицательных автостереотипов России и карнавальность современной литературы

Процессы, происходящие в современной отечественной литературе, безусловно, связаны с «бытовыми» *западническими автостереотипами*, хотя ни в коем случае не сводятся к ним. Во всяком случае, на рубеже XX–XXI веков писатели и их публика нередко объединены общей «конвенцией» – обоюдным стремлением обрести *позицию вне-*

[1] *Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. С. 248.

[2] Там же. С. 154–155.

находимости. Конечно, писатели-«апатриды» составляют лишь малую часть российского литературного сообщества, но это влиятельное меньшинство. Самые известные писатели 1990-х, признанные на Западе, издававшиеся и издающиеся большими тиражами на родине, порой записанные в живые классики, – отдали в эти годы дань патриофобии.

Так, когда Д. Пригов говорит о постмодернистском состоянии культуры: «Постмодернизм в большой культуре характеризуется нарастанием огромного количества идентификаций, ослаблением и окончательной "коррумпированностью" сильных идентификаций», – он прежде всего отказывается от национального самосознания: «...Раньше большие человеческие конгломераты собирались под национальной, государственной, религиозной или идеологической идентификацией. Сейчас <...> существует огромное количество идентификаций, неведомых раньше. <...> В культуре обнаруживается чудовищное количество одновременно существующих и не превалирующих друг над другом культур <...> Сейчас доминант в культуре нет»[1].

Итак, все дозволено – любая идентификация, кроме «сильной» – национальной, государственной. На вопрос о «позитивном» идеале Пригов отвечает: «Я проповедник privacy, суверенности личности, равности возможностей проявления бытового и идеологического...»; это *«партикуляризм» вненаходимости*[2]. Пригов берет на себя роль «эксперта», «работника ОТК», оснащенного «новым типом технологии сознания» и разоблачающего «сильные идентификации», а прежде всего связанные с ними «тоталитарные амбиции». Получается, что задача писателя и критика – не только самому отталкиваться от национальной идентификации, но и строго следить, чтобы к ней не притягивались другие. Средство отпугивания – пастиш, пародические игры, деконструирующая техника.

Мнение литератора и художника-акциониста – изнутри литературного процесса – можно дополнить анализом извне, сделанным ученым-филологом. Вот что ответил М.Л. Гаспаров на вопрос о современном национальном самосознании: «Самосознание, что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосозна-

---

[1] *Пригов Д., Шаповал С.* Портретная галерея Д.А.П. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С.88.

[2] Там же. С. 104.

ние как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. <...> Наконец, при достаточной широте кругозора, – о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому "интеллигенция – носитель национального самосознания" мы слышим часто, а "носитель христианского самосознания" (отменяющего нации) – почти никогда. *А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным "общечеловеческое"*» (курсив мой – М.С.)[1].

В другом месте Гаспаров добавляет: «Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого (а если смотрел бы, то только с мыслью "а моя (мой) все-таки лучше"). Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства – разве не одинаково работает этот психологический механизм? *Всюду смысл один: "Самые лучшие это мы". Еще Владимир Соловьев (и, наверное, не он первый) определил патриотизм как национальный эгоизм*» (курсив мой – М.С.)[2].

Суждения литературного бойца-разрушителя (Пригова) и ученого, претендующего на объективность (Гаспарова), звучат по-разному, но сводятся к одному. Речь идет о том, что *двухвековой «русский разговор» для многих российских интеллектуалов окончен, а русская идея сведена к нулю*. Какой вывод делают из этого писатели постмодернистского толка? Что пришло время *другого разговора* – «глумления над собеседником и самим собой», «издевательства над читателем»[3]. «Загадки русской души» больше нет, проблема национального самосознания неактуальна – остается провоцировать («Надо в доме повешенного заговорить о веревке»[4]) и мародерствовать – растаскивать

---

1 *Гаспаров М.Л.* Записи и выписки. С. 94.

2 Там же. С. 96.

3 Формулы Д. Галковского (Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 135).

4 Там же. С. 135.

русскую тему на материал для литературных эффектов и игры с читателем.

Вспомним известные слова Розанова, утрирующего «логику самоненависти»[1] западников XIX века: «Россия не содержит в себе никакого здорового и ценного зерна. России собственно – НЕТ, она – только КАЖЕТСЯ. Это – ужасный фантом, ужасный кошмар, который давит душу всех просвещенных людей. От этого кошмара мы бежим за границу, эмигрируем; и если соглашаемся оставить себя в России, то ради того, единственно, что находимся в полной уверенности, что скоро этого фантома не будет; и его рассеем мы, и для этого рассеяния остаемся на этом проклятом месте Восточной Европы»[2]. Но вот – «фантом» как бы рассеялся; что же теперь остается? Играть на остатках национального чувства, выжимать из них хоть какие-то литературные дивиденды. Русский постмодернизм – это отечественная литература после конца «русского разговора».

Современное отрицание отечества лишено прежней двуплановости: это уже не ненависть-любовь, как в XIX веке; оно лишено и цели: в негативных формулах больше не намечается никаких проектов сотворения, пересоздания и переделки отечества в духе 1910–1920-х годов. Что же тогда остается на другой чаше весов, что же утверждается за счет отрицания? Только стремящееся к вненаходимости «я» – писательское и читательское.

В освобождении современной литературы от национальной почвы есть нечто праздничное, карнавальное, если только возможен парадокс индивидуалистического карнавала. По словам У. Эко, «одна из новых характеристик общества, в котором мы живем, – стопроцентная карнавализация жизни»[3]; *вот и «освобожденная» литература целиком и полностью поглощена карнавальным началом.*

Традиционный карнавал характеризуется единством отрицания-утверждения, брани-хвалы[4]. В карнавальном действе проявляются не только положительные интенции, эмоции-«за» (порождаемое, воз-

---

[1] Выражение Е. Холмогорова (*Холмогоров Е.* Русский националист. М.: Европа, 2006. С. 274).

[2] Цит. по: *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 182.

[3] *Эко У.* Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М.: Эксмо, 2007. С. 142.

[4] См.: *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1990. С. 183-184.

рождаемое, хвалимое), но и ниспровергающие, изгоняющие, хулящие силы, эмоции-«против» (например, адресатом «ругательств и побоев» средневекового карнавала может быть «мрачная старая правда»[1]). *Российский литературный карнавал 1990-х годов объектом насмешек и брани избирает «русскую идею»* (формула А. Синявского «Россия – мать, Россия – сука»[2], лишенная горького подтекста и захваченная смеховым началом); *за счет поругания-высмеивания общего, родного, национального утверждается писательское и читательское «я».*

Карнавалу свойственно опрокидывание человека к «телесному низу» – например, «забрасывание калом»[3]. Вот и в российской постмодернистской литературе «катастрофа русской идентичности» оборачивается торжеством «телесного низа». Негативные образы России не просто проецируются в литературу 1990 – 2000-х годов – они при этом предельно радикализируются. Взять хотя бы известную формулу, приписываемую Д. Дидро: «Русские сгнили, не успев созреть», – которую русские критики отечества охотно цитировали в XIX веке[4]. В общественном сознании она превратилось в грубое: «Россия – отстой», в литературе же наших дней – и того хуже – в обесцененное: «Россия – дерьмо».

Обратимся для примера к антологии «Пятиконечная звезда», в которой собраны под одной обложкой пять писателей, названные в предисловии «крокодилами», «самыми-самыми», – В. Сорокин, В. Пелевин, В. Ерофеев, Т. Толстая, Б. Акунин. Центральная идея книги выражена в рассказе Пелевина «Девятый сон Веры Павловны», где героиня вдруг осознает, что дело не в «смысле существования», а в «его тайне». Вот и в «Пятиконечной звезде» – *смысла нет, а тайна есть.*

В поисках таинственного авторы книги забираются в самые неожиданные уголки: в причинные места («...Засунь ей в колготки руку – у нее там космодром, там Байконур со всем большим хозяйством...» – Ерофеев «Три свидания»[5]). В средоточие гниющей плоти: «Ему открыто знание, что в мыльный жировоск может превратиться как часть

---

1 Там же. С. 190.

2 *Синявский А.* Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 268.

3 *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле... С. 163.

4 *Кюстин А. де.* Указ. соч. Т. 1. С. 154-155; *Мильчина В., Осповат А.* Комментарии / *Кюстин А. де.* Указ. соч. Т. 1. С. 459.

5 Пятиконечная звезда. М.: Эксмо, 2003. С. 289.

Татьяны, так и вся Татьяна...» – Ерофеев «Все будет хорошо»[1]). Глубже, в чрево русской классики – через рот, вагину и анус Наташи Ростовой (В. Сорокин «Concretные»).

Но чем больше читаешь сборник, тем яснее: вслед за его авторами, «ужасную» тайну надо искать по запаху. «Страшный и притягательный» запах, «не похожий ни на какой другой», «нежный зюйд-вест тонкого кишечника, суровый, не любящий шутить прямокишечный норд-ост» (Сорокин «Дорожное происшествие»[2]); «какашки любимой» (Ерофеев «Унитаз 007»[3]). Ключ спрятан где-то в зловонной ЯМЕ или в недрах платного туалета. Так, та же Вера Павловна, ищущая «тайну существования» в рассказе Пелевина, сначала открывает, что все люди более или менее вымазаны дерьмом, а затем вызывает всемирный дерьмовый потоп. Разгадка не дана прямо, но угадывается в намеках: «Россия – дерьмо».

Итог новой «русской метафоре» подводит В. Ерофеев в своей ернической «Энциклопедии русской души» (1999)[4]. Автор-«энциклопедист» развлекается в своей книге тем, что, как расхулиганившийся школьник, подставляет слово «дерьмо» на место каждого русского «икса» и «игрека».

«Путь к храму»? – Значит, к сортиру; стоит только произвольно соединить «далековатые идеи»: «Общественные сортиры в России – это больше, чем тракт по отечественной истории [пародийная калька с известной формулы «поэт в России больше, чем поэт» – авт.]. Это соборы. С куполами не вверх, а вниз. Их бы показывать туристам, как Грановитую палату, с приличествующим самоуважением». «Загадка России»? Персонажи еврофеевской книги отправляются разгадывать ее на фекальную станцию, вооружившись соответствующими сентенциями: «Не я страну придумал. Я что, виноват, если Россия завязана на говне?». «Национальная идея»? – Грязь («Все-таки самое главное русское слово – грязь. В России все грязное: машины, помыслы, девушки, цветы, поля, весна»); дерьмо («Говна не будет – Россия кончится»). «Русское сознание»? – «Авгиевы конюшни». «Русский дух»? – Известно какой: «Свой перднет. Свой насрет. Свой, наконец, убьет».

---

1 Там же. С. 252.

2 Там же. С. 66.

3 Там же. С. 240.

4 *Ерофеев В.В.* Энциклопедия русской души. – М.: Подкова; Деконт+, 1999. Цит. по: http://lib.ru/EROFEEW_WI/encyclopedia.txt

Проблема «Россия и Запад»? – Неразрешима, пока русские справляют нужду в неположенном месте (тут к слову приходится аллюзия на булгаковское «Собачье сердце»): «Не справившись с миром, он [русский – авт.] гадит в мире. Он антиэкологичен. Мир превращается в помойку и если бы не власть, русский бы уже давно утонул в отходах». «Русский надрыв», наконец? – и здесь не обходится без дерьма: «Россия меня загрызла вконец. Боже, как надоела! Она срет по ногам. Она срет. Мы срем»; так истерическое бормотание принимает форму «русской грамматики» (лица глаголов) – только чтобы лишний раз подчеркнуть тотальность «отечественного» дерьма.

Глумление как элементарное самоутверждение: тема России и писательское «Я» в российской постмодернистской литературе

Итак, в согласии со своим читателем, современный писатель-постмодернист отрицает утопическую положительную программу, вдохновлявшую интернационалистов и западников в первые послереволюционные годы: разрушение «до основания» для него – свершившийся факт, а «затем…» – отсутствует. Какова же его собственная положительная программа? Ради чего он стремится обрести позицию вненаходимости? *Для обретения свободы.* А зачем нужна свобода? *Для максимального самоутверждения.*

Можно выделить два основных типа писательского самоутверждения – элементарное (цель – обратить на себя читательское внимание) и манипулятивное (цель – завоевать власть над читателем).

Красноречивые примеры первого типа дают две книги – «Книга воды» Э. Лимонова[1] и «Пять рек жизни» В. Ерофеева[2]. После их прочтения возникают три вопроса.

Ответ на первый вопрос будет совсем коротким и простым:

Зачем Лимонов и Ерофеев рассказывают о разных реках и водоемах мира? Чтобы развернуть тему собственного «я» в мировом масштабе.

Ответ на второй вопрос будет несколько более распространенным:

Зачем Лимонов и Ерофеев рассказывают нам о российских реках и водоемах? Чтобы оттенить положительный образ собственного «я» отрицательными образами России, самоутвердиться за счет иронического или прямо издевательского отстранения от «этой страны».

---

[1] *Лимонов Э.* Книга воды. М.: Ad Marginem, 2002.

[2] *Ерофеев В.* Пять рек жизни. Роман-река. М.: Подкова, 1998.

Для этого новейшие российские писатели вольно или невольно воспроизводят тот «сатирический тип репрезентации» России, который кристаллизовался в знаменитой книге маркиза А. де Кюстина. Как было уже не раз замечено, в своих заметках Кюстин преследует две цели; главной целью является последовательное развенчание России, побочной – достижение литературного эффекта и демонстрация своего салонного остроумия. Сам автор «России в 1839 году» кокетливо предупреждает читателя: «Прошу прощения, я родился в эпоху пышных фраз»; он не скрывает, что развертывание негативной концепции России нередко является поводом для литературного щегольства – парада эффектных дефиниций, парадоксов и антитез. В российской постмодернистской литературе прежняя побочная тема смещается в «центр», – потеснив основную: *отрицание России теряет всякое идейное значение и сводится только к литературному приему*.

Чтобы сделать аналогию с современными авторами более наглядной, возьмем из кюстиновской книги мотив воды. Сначала Кюстин приводит наблюдение: петербургские острова – это «прелестное болото; никогда еще никому не удавалось так удачно скрыть тину цветами»[1]; затем – обобщает: «гигантское болото, именуемое Россией»; а попутно, соперничая с Шамфором и Риваролем, выстреливает эффектными афоризмами: здесь, среди прочего (расстояний, лесов и зим) «болота заменяют тем, кто отдает приказания, совесть, а тем, кто эти приказания исполняет, – терпение»[2].

У современных русских писателей «квазизапада» (воспользуемся претенциозным окказионализмом М. Эпштейна[3]), хоть они и держатся того же направления, что и Кюстин, приоритеты меняются местами. Отныне развенчание России – это только мотивировка, настоящая же цель – демонстрация себя. Насчет того же Эпштейна еще давно было замечено (Лидией Гинзбург), что выводы и идеи его эссе не имеют «никакого отношения к экзистенциальному опыту» читателя, что они только бьют на эффект и сводятся к трюку: «Эпштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит»[4]. И действительно, если обратиться, например,

---

1 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. Т. 1. С. 142.

2 Там же. Т. 2. С. 36, 14.

3 *Эпштейн М.* Амероссия. Избранная эссеистика. М.: Серебряные нити, 2007. С. 211.

4 *Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 343.

к его «водным» концепциям, то легко убедиться: они всякий раз сводятся к «пышной фразе», к самолюбованию приема. Вот Эпштейн рассуждает о Волге и Поволжье. Для чего? Чтобы остранить старую мысль громкими метафорами: «Особенно на Волге, в степной полосе, ощутим тот отчаянный простор, который волнами накатывался на лесную, срединную и северную Русь, – простор, рождавший Разиных, Пугачевых, Чернышевских, Лениных, всех этих выходцев из Саратова, Астрахани, Симбирска, всю эту катящуюся, бесами гонимую, рать, которую преследовало Пустое и перед которым Порожнее разверзалось»[1].

Другой пассаж – по сути, опять-таки о «гигантском болоте, именуемом Россией», – еще более метафорически перегружен: «...любовное соединение, <...> нежно – девичье, – земли и воды, которые льнут друг к другу извивами и всхлипами размягченного вещества, неизбывной и вездесущей грязи. <...> Может, это и есть российский способ освоения пространства? – побольше в нем нарыдать, надышать, надымить, натоптать, чтобы поселить в пустой равнодушной бескрайности что-то родное себе. Влажно хлюпающее, горячо дышащее. Завернуться в пространство, как в материнскую утробу, где и газы, и воды, и пузыри, – сплошное бурление и бурчанье рождающей трясины»[2]. В «бурлении и бурчании» словесных ассоциаций материал высказывания – а именно концепт «Россия» – становится все более податливым, постепенно теряет всякое сопротивление: теперь «Россию» можно дофилософствовать до чего угодно, до того, «что никто не говорит». А цель – показать свою эссеистическую власть, показать себя; сказанное относится, конечно, не только к Эпштейну, но и ко многим другим современным литераторам, среди которых – и Лимонов с Ерофеевым.

Наконец, надо ответить на третий – самый важный – вопрос: о чем свидетельствуют рассказы этих двух знатоков России об отечественных реках и водоемах? По замечанию М. Гаспарова, «психоанализ Пушкина – дело сомнительное, но психоанализ пушкиноведения – вполне реальное»[3]. То же можно сказать и о глумящихся над Россией писателях: в то время как Лимонов и Ерофеев берутся диагностировать российские болезни, их сочинения дают богатый материал для диагностирования их самих.

---

1 *Эпштейн М.* Амероссия. С. 89.

2 Там же. С. 122-123.

3 *Гаспаров М.* Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 258.

В поисках общего диагноза стоит обратиться к работам П.Б. Ганнушкина. Тип «истерика», описанный в его труде «Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях», в полной мере совпадает со стратегической линией современного писателя-«псевдополита»[1]. «Главными особенностями психики истеричных, – пишет Ганнушкин, – являются: 1) стремление во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих и 2) отсутствие объективной правды как по отношению к другим, так и к самому себе (искажение реальных соотношений). Ясперс, объединяя оба эти признака, дает очень короткое и меткое определение той основы, из которой вырастает поведение и характер истеричных, – "стремление казаться больше, чем это на самом деле есть". Исходя из этого определения, Шнейдер предложил заменить самое название "истеричные" термином Geltungsbedurftige – "требующие признания". Во внешнем облике большинства представителей группы, объединяемой этими свойствами, особенно обращают на себя внимание ходульность, театральность и лживость. Им необходимо, чтобы о них говорили, и для достижения этого они не брезгуют никакими средствами»[2].

Что касается частного диагноза Лимонова, то он очевиден – *нарциссизм*; русские реки и пруды нужны ему, как по мифу, чтобы в них глядеться. Вспоминая себя мальчиком, купающимся в харьковском пруду, Лимонов непроизвольно рифмует эпитеты: он сам – по-хорошему «странный», а прочий народ у того пруда – конечно же, «сраный». «Пользуясь случаем, я кричу этому сраному народу: кто вы, е... вашу мать! Кто? – так Лимонов развивает исходную антитезу. – Не важны вы все, как мальки в той воде, стекли вы в канализацию жизни. Важен только странный мальчик в плавках, смотрящий на вас. И чтобы он вас заметил, подняв свой взгляд от мальков, тритонов и головастиков. А не заметил – ну и нет вас» («Книга Воды»). Впрочем, заметив «сраный народ», «исторический человек» все равно изрекает, не ссылаясь на Сартра: «Простые люди – это Ад» («В плену у мертвецов»[3]) – так что лучше бы и не замечал.

---

1 Неологизм Д. Галковского: «Он и на своей родине чужой» (*Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 138).

2 *Ганнушкин П.Б.* Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях // http://www.psychology.ru/library/00015.shtml

3 *Лимонов Э.* В плену у мертвецов. М.: Ультра Культура, 2002.

Русские реки представляются Лимонову метафорой чего-то косного, бессмысленного: «...Волга колыхала большим широким телом водяной рыхлой тетки и билась о земное илистое свое ложе. Волга билась по всей России. Тетка Волга лежала в тетке России, тетка на тетке» («Книга воды»). «Тетка на тетке» – Россия здесь сведена чуть ли не к тавтологии небытия; это слепая стихия, ждущая своего культурного героя – а именно Лимонова. Например, Москва-река – это всего лишь «напичканная дерьмом и пронизанная взаимопроникающими струями горячей канализации» вода, «кладбище мертвой воды посередине города, разлегшееся в неопрятных серых берегах»; она имеет смысл только потому, что Лимонов, «бесспорный, отлитый в бронзе», вел по мосту над ней колонны митингующих. «Я пронзительно знал, – признается он, – что все развалится, <...> но будет другое, что я все соберу. Соберу опять, так я должен собирать, строить, из Хаоса строить Космос» («Книга воды»).

Лимонова по праву можно назвать первооткрывателем «я-эпохи»[1]. Как известно, подлинную славу ему принес уже его первый роман – «Это я, Эдичка». Почти вся идея книги высказана на ее обложке – «Это я, Эдичка». «Я», выкрикнутое в названии, прокатывается эхом по всей книге – от начальных абзацев (шесть «я» в двух предложениях[2]) до финального пассажа (шесть «я» в четырех предложениях[3]). Меню, предложенное читателю в начале книги, не разнообразнее всегдашних эдичкиных щей[4]: «сижу полуголый **я**», «глазеют на **меня**», «**я** не стесняюсь», «**мне** плевать», «**моя** фотография», «**я** подоконо» (2 раза), «**я** поэт», «**я** вас презираю». В конце книги, пройдя по кругу, читатель остается с тем же: «**мои** врезающиеся в попку брюки», «**я** странная

---

[1] «Книга воды»: «70-е годы вошли в историю под именем "я-эпохи", то есть крайнего развития индивидуализма».

[2] «Я думаю, вам уже ясно, что я за тип, хотя я и забыл представиться. Я начал трепаться, но не объявил вам, кто я такой, я забыл, заговорился, обрадовался возможности наконец обрушить на вас свой голос, а кому он принадлежит – не объявил» (Цит. по изданию: *Лимонов Э.* Это я, Эдичка. М.: Независимый альманах «Конец века», 1992).

[3] «– Я е... вас всех, е... в рот суки! – говорю я и вытираю слезы кулаком. Может быть, я адресую эти слова билдингам вокруг. Я не знаю.
– Я е... вас всех, е... в рот суки! Идите вы
все на х...! – шепчу я».

[4] «Щи с кислой капустой – моя обычная пища, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и, кроме щей, почти ничего не ем».

птица», «я подонок», «я парень, который готов на все», «я е... вас всех».

Лимонов нутром почувствовал заказ «я-эпохи»: надо сначала сделать какой-то небывалый, невиданный жест, а затем этот жест разрекламировать и запатентовать. Для привлечения внимания потребителя необходимо вызвать у него устойчивую ассоциацию имени и сенсационного факта: «А, это тот самый, который...» Тут требуется сноровка особого рода, ловкость игрока на литературной бирже – чтобы что-то прозвучало *впервые и вовремя*.

Лимонов понимал, что главное в погоне за славой – успеть: «...Автору "Эдички" суждено было первому, – пишет он о себе в третьем лице, – разрушить сразу целый набор табу, до тех пор соблюдавшихся благоговейно <...> литературой в паутине <...> Ему удалось создать культовую книгу, посчастливилось стать the absolute beginner, кем-то вроде Элвиса, если перевести этот подвиг на шкалу ценностей поп-музыки»[1]. Он своевременно почувствовал, что привычка следовать священным традициям русской литературы еще велика (значит, есть что разрушать), а вера в них – все слабее и слабее (значит, есть для кого разрушать). И решил: пора!

Его догадку можно обозначить словами Раскольникова, «уникального героя»[2]: «...Кто <...> посмеет, тот <...> и прав. Кто на большее может плюнуть, тот <...> и законодатель <...> Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это и единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-напросто все за хвост и стряхнуть к черту!» Действительно, перевернуть все ценности, «стряхнуть к черту» все табу русской литературы, сделать ей назло – чем хуже, тем лучше, – вот и рецепт культовой книги. В следовании этому рецепту Лимонов очень старателен: он разражается матерной бранью без всякого повода, только для скандальной галочки, через страницу делает неприличные заявления, педантично перебирает разные виды экстравагантного сексуального опыта и стыдных поступков.

В процессе составления этого каталога Эдичка и выводит свое самое эффективное «ноу-хау». Гениальное просто. Достаточно сказать:

---

[1] *Лимонов Э.* The absolute beginner, или Правдивая история сочинения «Это я – Эдичка» // *Лимонов Э.* Эта я, Эдичка. С. 329.

[2] *Лимонов* Э. Другая Россия. Очертания будущего. М.: У-Фактория, 2003. С. 89.

«Меня, русского поэта Эдуарда Лимонова, трахнул негр» – и рекорд эпатажной откровенности установлен. Все сделано автором, чтобы его имя стало автоматическим сигналом: «А, тот самый Лимонов, которого впервые в русской литературе трахнул негр». Чтобы не показалось мало, Эдичка повторяет «негра» на бис (первая кульминация – с Крисом в 4 главе, вторая – с Джонни в 8 главе) и закрепляет свое литературное открытие на обложке французского издания – «Русский поэт предпочитает больших негров».

Оставалось только затем использовать эту зарегистрированную «отрицательную» репутацию для следующего прорыва – в политику и СМИ. Так цель была достигнута: Эдичка превратился в *писателя, который должен быть прочитан, писателя из джентльменского списка*; как не прочесть *того самого* – скандалиста, фашиста, а теперь еще и бывшего зэка? Главное – *вовремя* «припрячь» негра.

Итак, Лимонов еще в 1970-х годах показал пример ловкого использования русского фона для эпатажного самоутверждения. Как ни стараются его последователи побить рекорд учителя, им это никак не удается. Вот поэт-эмигрант Я. Могутин утверждает свою «блистательную» отверженность-вненаходимость:

> Не представляю себя своими родителями потому что
> их жизнь для меня непостижима это какое-то
> другое измерение параллельная реальность в
> которой я бы загнулся погиб хотя бы потому что
> они никогда в жизни не были в париже и не ели суши
> .....
> представляю себя хуйвейбином русской культурной
> революции сжигающим всю макулатуру из
> библиотек и подгоняющим дубинкой а еще лучше
> автоматом группу особо отличившихся кумиров
> нашей гнилой интеллигенции по-прежнему мнящей себя
> мозгом нации /расстрельные списки все еще уточняются/
> .....
> не представляю себя никем иным
> никем чужим
> чужим собой
> болтающимся как безродное космополитическое
> говно между враждебными государствами и
> племенами...[1]

[1] Цит. по книге: *Могутин Я.* Термоядерный мускул. Испражнения для языка: Избранные тексты. М.: НЛО, 2001.

Вот его превозносят восхищенные поклонники из числа западных славистов: «Могущий Могутин взял на себя дерзость изнасиловать, четвертовать, фистфакировать благородный русский язык, чтобы из него выжать запретные соки, чтобы пьянить, дурманить себя и других нецензурными словами, которые целый народ испокон веков вынашивает и лелеет и произносит в полный голос и со смаком...»[1] Но все же, как ни задается он новыми «проклятыми вопросами», неизбежными в ситуации вненаходимости:

ну как бы еще изъебнуться?
ну как бы как бы как бы? –

уже поздно. «Истерика» (или «требование признания») напрасна: Могутин пришел к столу, «когда обед съеден»[2] – Лимоновым. Ниша главного героя «я-эпохи» оказалась занята. Остальным же нарциссическим героям нашего времени приходится прятать свою главную и единственную «я-тему» в подтекст, прикрываться иронией и игрой.

Пряча одни симптомы, писатели «квазизапада» проявляют другие. Старательная постмодернистская игра В. Ерофеева в «Пяти реках жизни» наводит нас на еще один психологический термин – *«патологическое остроумие»*. В соответствующей литературе приводятся примеры такого рода остроумия: «Эмоциональная сфера? А может быть, эмоциональный цилиндр?»; «Чтобы создать живую природу, надо сперва жениться»[3]. Симптомами этого «расстройства» является также большая концентрация острот, следующих непрерывным потоком, и, соответственно, отсутствие у пациента критического отношения к собственным шуткам. Формула, взятая из психологии, может послужить метафорическим кодом ко многим новейшим сочинениям – и прежде всего к ерофеевским «Пяти рекам жизни».

Начиная с названия главы о Волге: «Исторический оргазм на Волге в Сталинграде» – иронические, игровые сентенции и дефиниции следуют в сочинении Ерофеева одна за другой, не давая читателю даже минутной передышки: «Волга – бетон русского мифа. Не река, а автострада слез»; «Вдоль нее стоят призраки бородатых русских писателей с изжогой сострадания к народному горю, причина которого –

---

1 *Маркадэ Ж.-К.* Die prachtvolle Animalicat: Оргийное исступление поэзии Ярослава Могутина // Могутин Я. Термоядерный мускул.

2 Слова Ю. Тынянова об учениках (*Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 33).

3 См.: http://vesvalo.narod.ru/LookAN/LookAN.f/11.html

русский самосодомизм – зарыта где-то поблизости в грязный песок»; «русское царство поллитра»; «икона – это русский телевизор»; «декоративная решетка – это герб моей целомудренной родины»; «редкий русский идет в сауну с чистыми помыслами»; китаец, француз, еврей, даже негр – существительные, а русский – прилагательное и при этом «ни к чему не прилагается, как его ни прилагай. <...> Доказательство от противного, апофатическая тварь».

В главе «Кострома – Нижний Новгород» поклонник говорит писателю: «Ваши книги похожи на раскаленный паяльник, который вы засовываете читателю в жопу»; рассказчик отвечает ему «ласковым» смехом. Очевидно, предполагается что и читатель будет ласково смеяться – не *над*, а *вместе* с писателем; что самолюбование под маской самоиронии («Ты, оказывается, не человек, а общественная институция»; «он и есть чудо» – так говорят писателю и о нем другие персонажи книги) вызовет сочувственную читательскую улыбку; и что хохот автора («Мы особенно смеялись на Мамаевом кургане, где мне захотелось поджарить немку на вечном огне») откликнется читательским эхом. Подобная авторская интенция как раз и есть симптом – автор не способен просчитать реакцию читателя. Последний скорее всего воспримет экспансию авторского тотального остроумия как насилие над собой, а цитатная игра вскоре уже останется за пределами читательского восприятия:

« – Если капитана нет, все позволено, – плоско пошутил я. Капитан рассмеялся.

– Если капитана нет, то какой же я Бог? – хитро сказал он, демонстрируя зеркальное знание русской классики».

Если от «Пяти рек жизни» перейти к другой ерофеевской книге – «Энциклопедия русской души», то может пригодиться еще один психологический термин, использованный в переносном смысле, – «мифомания»[1]. Конечно, автора «Энциклопедии...» никак нельзя назвать мифоманом в точном медицинском значении этого слова; но потребность к построению издевательски нелепых, заведомо, нарочито ложных концепций в чем-то сродни бессознательному патологическому вранью.

Этот диагноз можно поставить не одному только Ерофееву, но, по-

[1] Термин, предложенный французским психиатром Э. Дюпре (1905), означающий «болезненную склонность искажать действительность, лгать, рассказывать выдуманные истории» (http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1075).

жалуй, целому жанру современной литературы – эссе. Вот, например, П. Вайль в книге с ироническим заглавием «Карта родины»[1] начинает разворачивать свою концепцию частной жизни в русской классике. И что же? Сама лихая стремительность обобщений – по одному на строку и все с претензией на оригинальность – невольно вызывает в памяти хлестаковскую скороговорку: «Вот если умерить амбиции и снизить тон, то можно прочесть в русской классике повесть о частной жизни, автономной личности, чей путь – не от пропасти к вершине, а от печки к перине. Можно вспомнить, что Пушкин воспел щей горшок и даже отдал за это жизнь; что быт Простаковых пережил идеи Стародума; что консерватор Кирсанов одолел революционера Базарова; что Лермонтов, даже на дорогу выходивший один, воспел гумно и резные ставни; что к идеалу Пульхерии Ивановны только в эпилоге приблизилась Наташа Ростова; что Штольцу не встать вровень с никогда не встающим с дивана Обломовым; что у бездомного персонажа Достоевского – живущего ради смерти Кириллова – круглые сутки кипел <...> родственник пушкинского горшка, самовар»[2].

Зачем Вайлю перебивать путевые заметки пассажами, пытающимися вместить всю историю русской литературы в одно предложение; зачем громоздить сомнительные концепции, как Оссу на Пелеон? Напрашивается диагноз: увы, здесь налицо рецидив эссеистической мифомании; одна догадка зацепилась за другую – и началась демонстрация эссеистического «я» на фоне «вечных вопросов»[3].

Та же болезнь заставляет новейших романистов сочинять абсурдные сюжеты, дважды иронические и трижды пародийные; в одном из таких сюжетов[4] возникает, например, американский мультимиллионер-русофоб, который каждый день сжигает по одному роману русского классика («Русские свиньи уверены, что если в судный день Бог захочет засудить в манду все человечество, то достаточно будет предъявить Ему "Преступление и наказание" и Он всех простит»); проклинает русскую веру («Факаные богоносцы!») и алфавит («Сколь мерзки русские буквы!»), а кроме того держит в под-

---

1 *Вайль П.* Карта родины. М.: Колибри, 2007.

2 *Вайль П.* Карта родины. С. 114-115.

3 См. об этой книге: *Глостанова М.В.* Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить никогда, писать ниоткуда. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 360–373.

4 *Курицын В.* Матадор на Луне: Проза. М.: Ракета, 2006.

вальных клетках россиян, потерявших человеческий облик. Монотонное мелькание бредовых сюжетных ситуаций, доведение до абсурда романной условности – все это характерные симптомы литературной «мифомании».

Но вернемся к В. Ерофееву. Текст «Энциклопедии русской души» воспринимает как конвейер, специально запрограммированный на производство бракованной продукции. Эта ерофеевская машина с невероятной скоростью порождает дефектные сентенции, формулы и концепции. Одно обобщение следует за другим: «Отличительной чертой русского является его способность делать гадости. Вообще – гадить. У русского кругом все виноваты. Он человек хмурной»; «Иван-дурак и Обломов – бродяги. Не говоря уже об Остапе Бендере. Советский туризм с гитарой – тоже бродяжничество. Нигде нет покоя»; «Коммуналка как свет непогасшей луны – норма русской ментальности. Она же – модель взыскуемой соборности. Засраные подъезды и подворотни, непрочищенные, засоренные, как мусоропроводы, пещерные люди метафизичны. Их разрозненная посуда, гнутые ложки-вилки подотчетны лишь божественному суду»; «Христианство превращается в фольклорный ансамбль под управлением Петра и Павла»; «...вначале было Слово, на Руси – визг».

Но мифомания «колдуна Ерофея»[1], конечно, далека от наивности. Стратегия автора «Энциклопедии...» – «мерцание иного, его постоянное ускользание от определений»[2]. Он понимает: «Россию заговорили до дыр»; «О России и так слишком много написано» – и закрывается от старого «русского разговора» тотальной иронией. «Меня удивляет, – пишет он, – когда кто-то с энтузиазмом говорит о том о сем. Мне это кажется неприличным». «С энтузиазмом» говорить о России нельзя, а если ернически и глумливо – то можно сказать все что угодно: «Как хорошо послать мою родину на х...!»; «...искоренение нации Сталиным было делом правым: всех бродяг в ГУЛАГ».

Ерофеев играет двойственностью – шутовски поворачиваясь к европейцам своей «русскостью»: «Я люблю русских. Я очень люблю русских. Прямо как Есенин»; а к русским своей неуловимостью и вненаходимостью: «Я учился смотреть на Россию как на иностранное

[1] Так называет его Е. Попов в комментариях к роману «Накануне накануне» (см.: *Ремизова М.С.* Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике. М.: Совпадение, 2007. С. 349).

[2] *Тлостанова М.В.* Постсоветская литература и эстетика транскультурации. С. 155.

государство. Россия насрала мне в карман <...>. Я перестал болеть Россией. Я почувствовал, как освобождаюсь от подлой зависимости твердить ее имя с той же частотой, с которой немец произносит слово "шайсе". У меня вырастают крылья. В меня хлынула новая радость. Пора сматываться».

Писатель имитирует «промежуточную», «маскарадную», «пластичную» самоидентификацию[1]: «Когда я смотрю на Алексея Матвеевича, Федора Максимовича, Ларису Владимировну, Василия Михайловича, Дмитрия Васильевича, Ирину Никаноровну, Софью Ивановну (если она еще не умерла), ди-джея Элеонору, на моего механика Володю и на сторожей из гаража "европейским" взглядом, мне кажется, что они – уроды. А стоит мне на них посмотреть русским взглядом, то – никакие они не уроды. Вот так я и существую: то уроды – то не уроды».

И все же в итоге россияне должны оказаться и оказываются именно «уродами» – потому что побудительным мотивом создания этой книги является не только «истерическое» стремление произвести наибольший эффект, обратить на себя внимание эпатажными выходками, но и прямо выполнить заказ гипотетического западного читателя. В «Записях и выписках» Гаспаров приводит забавный разговор: «И. Аксенов (в письме к С. Боброву) когда был у Пикассо, то сказал: Что ж вы меня не спрашиваете о белых медведях, вы ведь полагаете, что они у нас по улицам бегают? – Нет, не полагаю, тогда бы их шкуры дешевле стоили; а то я хотел подарить одной даме, но цена – не подступишься! – И, помолчав, с надеждой: Ну, а волки-то хоть бегают?» Ерофеев гораздо сговорчивее Аксенова и, оправдывая надежды западного читателя, всегда готов показать ему желанного «белого медведя»: «На московских вокзалах стали появляться пирожки с человеческим мясом. Пассажиры едят с удовольствием»; «У всех невесты как невесты, а у моей -- пизда похожа на собачью. Четыре пары сосков, шерсть тигриста, нос приплющен. По утрам крутится перед зеркалом в одних французских трусах».

Ключом к сюжету «Энциклопедии...» можно считать одну из бесчисленных глумливых метафор автора-мифомана: «Я сидел на табурете и отдирал Россию, как пластырь, от своей волосатой ноги». У читателей должно сложиться впечатление, что автору это удалось гораздо легче, чем ему самому хотелось показать.

---

[1] Там же. С. 155, 158.

Карнавальное, элементарное самоутверждение в последние годы поистине вездесуще. Из художественной, автобиографической и эссеистической литературы оно проникает даже в литературоведческие труды. Обратимся только к одному сюжету, развернутому в глумливом карнавале отечественной филологии.

Развивая кюстиновский ряд отрицательных формул и подводя их под общий знаменатель карнавального «телесного низа», российские писатели и критики в начале 1990-х годов вывели еще одну «закономерность»: *Россия – страна сексуально неполноценная, нуждающаяся в прививке сексуальной эмансипации.*

Освободительная борьба с «сильными идентификациями» и общепринятыми критическими интерпретациями, с нормой, навязанной еще школой, в эпоху «пост-» *оборачивается войной с текстом.* М. Гаспаров предупреждал: «Постструктурализм – стремление высвободиться из-под авторитетов? Но авторитетно ведь каждое письменное слово <...> в отличие от устного. Если, чтобы вызволиться, я начинаю писать сам – это я борюсь за подмену одной власти другой, а мы знаем, что из этого бывает. Пляшущий стиль Деррида – это атомная бомба в войне за власть над читателем»[1].

Один из первых уроков «садистского» обращения с отечественной школьной и детской классикой продемонстрировал мэтр структурализма А. Жолковский[2] в статье «Морфология и исторические корни "После бала"». Символично, что образцово-показательному насилию был подвергнут именно толстовский рассказ, посвященный теме насилия. Уже в первых строках статьи настораживает слово «архаический»: давно известно, что когда интерпретатор обещает «углубить принятую трактовку <...> в свете некоторых архаических моделей, присутствующих в рассказе лишь *подспудно*»[3], это значит, что текст будут пытать. И точно: как только речь заходит об «архаических моделях», Жолковский тут же прибегает к жестокой подтасовке: «...поскольку, – рассуждает автор статьи, – татарин <...> выступает своего рода заместителем Вареньки, то сцена (истязания – М.С.) в целом символизирует вытеснение светской любви любовью к страдающему

---

1 *Гаспаров М.* Записи и выписки. С. 398.

2 *Жолковский А.* Морфология и исторические корни рассказа Л. Толстого «После бала» // Даугава, 1990, № 12; Жолковский А. Морфология и исторические корни «После бала» // Жолковский А. Блуждающие сны. М.: Советский писатель, 1992. Цитаты даны по последнему изданию.

3 *Жолковский А.* Блуждающие сны. С. 109.

телу Христову»[1]. Даже если не допытываться, каким образом второй тезис следует из первого, все же остается вопрос: почему татарин не может просто восприниматься в связи и по контрасту с Варенькой, почему он непременно должен «выступать» ее «заместителем»?

А вот почему – *для прямой конфронтации филолога с замыслом Толстого*. Это заметно уже в преамбуле к основной части статьи: «Приведенным анализом броской двухчастной композиции "После бала" и вытекающей из него интерпретацией можно было бы удовлетвориться, если бы не оставляемое ими ощущение черно-белой плакатности, тогда как в этом маленьком шедевре о любви и смерти интуитивно чувствуется более глубокая архетипическая подоплека»[2]. Неспроста риторика Жолковского так витиевата («можно было бы», «если бы», «тогда как») и темна (с тавтологическим параллелизмом «ощущение» – «интуитивно чувствуется»). Это знаки двусмысленности: «ощущение черно-белой плакатности» вызывает у филолога именно замысел писателя, а чувство «более глубокой архетипической подоплеки» предваряет домыслы самого автора статьи.

Ведь как из текста, так и из контекста (хотя бы даже очерченного в статье) с очевидностью следует, что Толстой не имел намерения писать «маленький шедевр о любви и смерти». Речь в рассказе идет о другом: писатель уличает «высокое и прекрасное» элитарной культуры, выявляя ее скрытые основания – насилие и ложь. Схематическая ясность идеи (не «плакатной», а проповеднической) при сложности и изощренной парадоксальности приемов – такова обычная тактика Толстого в достижении эффекта неотразимой убедительности; всякие «архетипические подоплеки» только повредили бы замыслу, поскольку отвлекли бы читателя от главного. Все это хорошо известно Жолковскому, но, видимо, кажется ему слишком банальным. Он хочет самоутверждаться и эпатировать[3], поэтому ему

---

1 Там же. С. 116.

2 Там же. С. 117.

3 См. приведенное выше замечание Л. Гинзбург по поводу эссе М. Эпштейна «Очередь»: «Эпштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит». Пройдет десять лет после появления этой записи, и сама Л. Гинзбург станет предметом странных интерпретаций. Так, К. Кобрин признается, что понять прозу Гинзбург ему помогло чтение «Сверхчеловеческих супертекстов» Я. Могутина, «написанных на первый взгляд не чернилами, а спермой» (*Кобрин К.* Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе. М.: Новое литературное обозрение, 2002).

приходится мимоходом «казнить автора» и самому стать «подставным автором»[1].

«Углубление» филолога в захваченный им текст начинается с нарциссического любования своими «ощущениями» и «интуициями», а завершается садистским навязыванием автору некой «бессознательной» стратегии (не оксюморон ли это на грани абсурда?). Куда же несет интерпретатора его «поток сознания», какое направление он приписывает «бессознательному» автора; где искомая глубина? Тайна скрывается в той точке, где соединяются «любовь и смерть», – *между ног*. Фигура Вареньки освещается критическими «прожекторами»: «белизна платья, перчаток и башмачков» («цвет смерти»), «перышко» (соотносящее героиню рассказа с жар-птицей, то есть с «невестой-вредителем»), «бронзовые одежды» (метафора рассказчика не относится прямо к Вареньке, но это все равно, ведь они так идут «деве-воительнице»[2])... И, наконец, вывод: «Он (герой рассказа – М.С.) должен преодолеть физическое сопротивление женщины <...> символизирующее вызов его мужской силе, в частности, преодолеть страх перед vagina dentata (то есть перед "женщиной <...> с зубами в промежности "...»[3]).

Итак, следуя за интерпретатором, «после бала» мы попадаем в страшную сказку, где «роль колдуна» играет вовсе не полковник[4], а сам интерпретатор. Все персонажи, да и детали толстовского рассказа превращаются под его магическим воздействием во что-то иное. Так, истязаемый татарин – уже ни в коем случае не татарин: он превращается в «двойника героини» (наказание шпицрутенами в таком случае – «символическая дефлорация»[5], «гипербола брачного насилия») или, если употребить другое заклинание, – в заместителя героя (тогда наказание шпицрутенами уже инициирует жениха[6]).

Выводы статьи отмечены тем же колдовским соединением оборотничества и лукавой уклончивости. «На фоне Серебряного века,

---

1 См.: *Компаньон А.* Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. С. 61-62.

2 *Жолковский А.* Блуждающие сны. С. 120.

3 Там же. С. 121-122. Жолковский цитирует Проппа (*Пропп В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1946. С. 308).

4 Там же. С.126.

5 Там же. С. 122.

6 Там же. С. 126.

с его интересом к пряному синтезу культурных моделей» (не правда ли, пример автометаописания?), рассказ представляется Жолковскому «христианским в самом аскетическом смысле слова» (в нем Толстой будто бы «разыгрывает свой вариант перехода от язычества к христианству»). Но вот, по мановению филологической волшебной палочки, меняется фон и вместе с ним смысл рассказа. А заклинания все то же – «подспудные мотивы» и «подоплека»: «... учет декадентского контекста, с одной стороны, и возможных подспудных мотивов, характерных для позднего Толстого, с другой, позволяет предположить менее благочестивую подоплеку – вынесение на свет и разыгрывание, хоть бы и в ключе морального осуждения, противоречивого комплекса страха перед сексом и насилием и одновременного притяжения к ним»[1]. Все, на что направляет Жолковский свою волшебную оптику, начинает двоиться – контекст (Серебряный век и декадентство), «культурные модели» (язычество и христианство), «бессознательные стратегии» (осуждение и разыгрывание), авторские «подспудные модели» (страх и притяжение). И что же в результате? Какими словами завершаются запутанные виражи филологического «дискурса», защищенного двойными рядами оговорок («возможные» мотивы, «хотя бы и», «позволяет предположить»)? Притяжение к сексу и насилию. А доказательства? «Но ограничимся сказанным», – так филолог-колдун ускользает от ответственности, вновь, как и в начале статьи, обернувшись скромным академическим начетчиком.

Но не стоит воспринимать все сказанное Жолковским всерьез. Ключевое слово в последнем абзаце статьи – «разыгрывание», дважды повторенное и подмигивающее двумя значениями. О стратегии бывшего строгого структуралиста (вполне сознательной) еще полтора десятилетия назад было сказано: «щегольство», «пижонство»: в его «"поздней манере" средством <...> достижения (эффекта – М.С.) сделалась блестящая интертекстуальная игра, остроумные сопоставления несопоставимых, казалось бы, текстов и цитат. Сами цитаты, бывает, не очень-то точны – с точки зрения традиционной филологии это нарушение основополагающих требований научности; но в том-то и дело, что приоритетную цель для исследователя составляет здесь нечто иное»[2].

---

[1] Там же. С. 129.

[2] *Зенкин С.* С/З, или Трактат о щегольстве // Литературное обозрение, 1991, № 10. С. 37. Сам Жолковский так определил свою стратегию: «литературоведческий дискурс <...> мешающий научную доказательность с сюжетной соблазнительностью» (*Жолковский А.К.* Ж/Z: Заметки бывшего

Это иное – *самоутверждение литературоведа за счет русской классики.*

Такие критики и литераторы, как Жолковский, еще только играли в войну, обаятельно и талантливо; эта игра была «полупародийной», не лишенной самоиронии и поэтому относительно свободной от деконструктивистского терминологического террора. Но тогда же, в начале девяностых, на место мэтра подоспела смена, молодые рекруты постструктурализма, – и уж эти, вследствие полного отсутствия чувства юмора, шутить не стали. Возобладала не игровая тенденция, но маниакальная: представители «садистского» литературоведения девяностых годов взяли за образец не «пируэты» Жолковского, а монструозные опыты И.П. Смирнова, с его исследованиями «кастрационной логики» и «кастрационной интертекстуальности»[1].

пред-пост-структуралиста // Литературное обозрение, 1991, № 10. С. 35.

[1] Как высказывание исследователя о себе самом невольно воспринимается его следующее положение: «Если тоталитарная культура делает вид, что чудовищного нет, то постмодернизм не в состоянии концептуализовать субъекта вне монструозности» (*Смирнов И.П.* Эволюция чудовищного // *Смирнов И.П.* Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 334). «Психодиахронологика» Смирнова нередко зачисляется в список основополагающих трудов. К. Кобрин иронически называет книгу Смирнова веселой, с «еще более развеселым заглавием»: «В ней бедный Пушкин мучим непреодолимым страхом кастрации, а героиня стихотворения Пастернака из загадочных соображений носит с собой ночной горшок: "...вошла со стулом"». Но и Кобрин признает влияние на него смирновского сочинения: оно «уже несколько лет раздражает, провоцирует (и стимулирует) меня» (Кобрин К. «Слова» и «вещи» позднесоветского детства // Логос, 2000, № 3. С. 44). Столь же ироничен призыв Кобрина: «Читайте, читайте сочинение Игоря Смирнова <...> Узнаете массу околокушеточного о папеньках, маменьках, кастрационных страхах и шизонарциссизме русских литераторов. И каким благостным историографическим оптимизмом дышит последняя фраза этой книги: "Дальнейшее психологическое исследование ранних форм культуры зависит от успехов стадиологического изучения сравнительно поздней духовной эволюции ребенка, совершающейся после того, как он выходит из периода кастрационных фантазий!" Все впереди! Скоро мы познаем истину!» (*Кобрин К.* Профили и ситуации. [Статьи и эссе.]. Urbi: Литературный альманах. Выпуск двенадцатый. СПб.: ЗАО «Атос», 1997. С. 41). И ведь читают, и ссылаются, и нередко признают «интеллектуальным шедевром» (см.: *Голынко-Вольфсон Д.* Новые языки интеллектуальной корпоративности и их потребление культурным сообществом в России // http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.ph

«Пост-культурная» стадия оказалась на удивление схожей с «докультурной»: самоутверждаясь в агрессии против классики, не уподоблялась ли «садистская» критика и литература примитивному хулиганству школьника, пририсовывающего фаллос к картинке в учебнике? Но настоящей «вольницы» тоже не получилось, одна только дикость: *уход из-под принудительной власти «школьной» идеологии обернулся добровольным рабством – под властью западной постструктуралистской критики.* Филологи и литераторы «новой волны» отваживались кривляться и строить рожи русской высокой культуре только из-за спин западных деструктивистов, только прикрывшись модными цитатами и терминами, спрятавшись в лесах авторитетных сносок.

Главное, что самим новым нигилистам было решительно нечего сказать. Их шанс высказаться был исключительно в мародерстве, только в неприличных жестах на фоне былых «высокого и прекрасного». Показательно, с каким воодушевлением в начале девяностых иные филологи объявляли о том, что все прежнее рухнуло. Так, В. Курицын бодро убеждал тогда: постмодернизм – не только в «смерти автора», «новой сексуальности», наступлении «"постсексуальнгого" и "гомосексуального" дискурса», но и, что «гораздо важнее», в торжестве «комплекса философских идей, так или иначе трактующих ситуацию "конца истории"»[1]. Позже, выступая в дискуссии между филологами и философами, организованной НЛО, Курицын с каким-то особенным чувством уличал тех, кто еще верит в «некий законченный смысл текста», «некий смысл человека»[2]. Курицынское представление о «конце истории» и маленьких «смыслах», которые «плывут» и «присваиваются»[3] – не просто жалкое эхо западной «распущенной мысли»[4] («Если бессмыслие – это смысл, смысл бессмыслия теряется, вновь становится не-смыслом»[5], и далее в том же духе). Это индульгенция, выданная самому себе: раз нет больше «законченно-

---

p?lang=r&c1=10&id=1&file=golinko.htm).

1 *Курицын В.* Время постсовременности // Новая волна. Русская культура и субкультура на рубеже 80–90-х гг. М.: Московский рабочий, 1994. С. 75.

2 Философия филологии // НЛО. № 17. 1996. С. 72.

3 Там же.

4 Ж.-П. Сартр о Ж. Батае (*Сартр Ж.-П.* Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПБ.: Мифрил, 1994. С. 33).

5 Слова Ж. Батая. Цит. по: *Сартр Ж.-П.* Цит. соч. С. 41.

го смысла», значит, нет больше критериев и приличий, «да» и «нет», «можно» и «нельзя». Что же есть? «Плавающий» смысл – какой захочу, «актуальные» практики[1] – любые, какие заблагорассудится.

Что же в итоге предлагают нам филологи и литераторы «садистского» направления? *Тайну между ног – вместо смысла.* На какую тайну они прозрачно намекают? На то, что *русская литературная традиции умерла.* Какую тайну они скрывают? Что они собираются самоутверждаться на фоне национальной классики, питаясь ее «симулякрами», как «Concretные» В. Сорокина: «Concretные стремительно выжирают ее (Наташе Ростовой – авт.) внутренности с костями и успевают вылететь из полностью выеденного тела перед самым падением. Кожа Наташи Ростовой долго планирует над родовым поместьем и повисает на ветвях цветущей яблони»[2].

А чего стоит эта тайна, сказано задолго до появления новейших «Concretных» – М. Бахтиным (В. Волошиновым) в его книге «Фрейдизм»: «Где закрыты творческие пути истории, там остаются только тупики индивидуального изживания обессмысленной жизни»[3].

Манипулятивное самоутверждение в литературе «пост...»: издевательство над русским языком и литературной традицией как условие обретения власти над читателем.

Стремление к вненаходимости во многом определяет современную российскую прозу – с ее вольной или невольной имитацией западного взгляда на русскую действительность и с ироническим паразитировании на западных образах России. Борьба за свободу от «сильных идентификаций» оборачивается новой борьбой за власть, стремлением манипулировать читателем, навязывать ему свои «вненациональные» установки.

Одним из наиболее характерных писателей-«псевдополитов» является В. Пелевин. «Над-национальный» писатель с легкостью отказывается от тех ценностей, с которыми прежде была неразрывно

---

1 См.: Философия филологии. С. 72-73.

2 Из рассказа В. Сорокина «Concretные» (цит. по кн.: Пятиконечная звезда: Сборник. М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2003).

3 *Волошинов В.Н.* Фрейдизм // Бахтин под маской. Маска первая. М.: Лабиринт, 1993.

связана литература, но от власти отказаться не хочет. «Я писатель. Я ни перед кем не ответственен»[1], – заявляет Пелевин. И тем не менее – претендует на статус «властителя дум». Но по какому праву? По праву силы: безответственность – привилегия «настоящего писателя», его предназначение не в том, чтобы служить – чему-либо или кому-либо, а в том, чтобы править.

Много писали о том, что Пелевина отличает «абсолютное отсутствие индивидуальной интонации», «стиль школьного сочинения», «скудость словарного запаса». Писателя ловят на детских ошибках – тавтологиях, плеоназмах, нагромождении словесных штампов – уличают в неумении обращаться с русским языком. Тем сильнее в Пелевине стремление утвердить свою власть по ту сторону родного языка. Условие его писательского бытия – «выход из языка», «языковая разруха»[2].

Для того, чтобы разрушить язык, писатель разворачивает метафору вненаходимости в ее предельном значении – «пустота». Если Пригов говорит о России (с аллюзией на «петербургский текст»): «У меня есть один образ: Господь здесь [в России] пожелал пустое место»[3], то Пелевин выводит из этой формулы ни много ни мало – романный сюжет. *Стереотип а-la Кюстин: «абсурдность русской жизни» – мотивировка любого сюжетного хода в романе.*

Гордость первооткрывателя ощущается в тексте «Чапаева» на метафорическом уровне: мотивировка «пустотой» уподоблена действию магических предметов – авторучке, из которой можно «выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира», или даже самому глиняному пулемету, превращающему нечто в ничто. Когда-то скромное орудие письма дало имя понятию «стиль», и вот новое страшное оружие должно, очевидно, это понятие отменить – раз и навсегда. Глиняный пулемет – хорошая защита для плохой прозы, защита от родного языка.

Под его прицелом слова превращаются в тени слов, в призраки слов. Слово становятся на удивление податливым: его можно поставить на любое место, соединить с каким угодно другим словом, потерять и забыть. Опыт ликвидации слова как такового продемонстрирован в цен-

---

[1] *Парамонов Б.* Пелевин – муравьиный лев // http://pelevin.nov.ru/stati/o-svob/1.html

[2] См.: *Павловский Г.* Тренировка по истории. С. 17, 147.

[3] *Пригов Д., Шаповал С.* Указ. соч. С. 101.

тральной части «Generation П» – докладе Че Гевары. Разыгрывается нехитрая комбинация в три приема: сначала «коммерческое междометие» « wow!» возводится в термин, затем он метафорически расширяется и, наконец, захватывает то или иное слово по выбору. И вот уже известная поговорка «Человек человеку волк» звучит как «Вау Вау Вау!»; вместо звуков членораздельной речи – лай, вместо значения – дырка.

Абсолютная тавтология, «засасывающая пустота» этого «Вау Вау Вау!» грозит поглотить все написанное; именно слоган «Вау!» на второй обложке «Generation П» воспринимается как итог всего романа. Перед этой метафизической опасностью – стоит ли говорить о частных случаях тавтологии («открыв дверь, я сел на сиденье рядом с ним»; «заложив за голову сложенные руки, уставился в потолок», «явственно заметное течение»)? Весь мир – тавтология в широком смысле («фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме»), а значит, тавтологии в узком смысле – нет. И никакой зоил не придерется.

Это ничего, что автору «Чапаева» не удается свободно писать на русском литературном языке. Пусть стилизовать язык интеллигента десятых годов Пелевину удается лишь на уровне киношной белогвардейщины («отчего же?», «вы полагаете?», «отнюдь»). Все равно ведь «мысль изреченная есть ложь» (да и неизреченная тоже), все равно «слова неизбежно упрутся в себя». Поэтому надо просто повернуть башню с глиняным пулеметом вокруг оси – нет, не спародировать литературный язык (это сложно), а дискредитировать его. Как? Высокие слова уморить травестией («блудливое целомудрие», «трипперные бунинские сеновалы», «духовный мусоропровод», «сутенеры духа») низкие слова обработать бурлеском («сиська в себе», «вечный кайф, если раз вставит, то потом уже не кончится никогда», «возьмите экстаз [наркотик – авт.] и растворите его в абсолюте [водке – авт.]»). Смешать высокое с низким вплоть до неразличения, соединить несоединимое, довести речь до абсурда, до вавилонского столпотворения («Вы ска нежите стан пройти до акции?»; «Мне бы похить дыхтелось вохо!»). А самому остаться на пятачке языкового пространства – в «слепой зоне» разноязыкого жаргона.

Почему так привлекает Пелевина жаргон, будь то бандитская феня, молодежный сленг, терминологический воляпюк или новояз рекламы и PR? Из-за того, что, как говорит писатель в одном из интервью, «в речи братков есть невероятная сила», а «за каждым поворотом их базара реально мерцают жизнь и смерть»? Нет, «жизнь и смерть» – это

для красного словца. Просто русский литературный язык Пелевин не может даже освоить, а жаргон он вполне в состоянии себе подчинить. Куда как легче переставлять готовые блоки и направлять заданные эмоции жаргона, чем иметь дело с «великим и могучим».

Проза Пелевина построена на игре слов; это для писателя одновременно и цель, и средство. Как только мы открываем очередной пелевинский роман, нас обступает «лес каламбуров, плотно упакованных в литературные реминисценции»[1]. Читать Пелевина значит перебегать от одной каламбурной остроты к другой; если писатель не играет словами, значит, дает читателю немного времени перевести дыхание и подготовиться к новому аттракциону.

Текст изобилует трюками. Писатель добивается «нагромождения каламбурного абсурда»[2]: «Мата Хари – мата хари», «с корабля на бля», «мал, да уд ал», «тачанка – touch Anka», «Ебанишада»[3]. Один каламбур влечет за собой целый каламбурный каскад: вслед за «Некола для Николы» жди «ни кола ни двора», «кола-колокол»[4] и т.д. Посредством игры слов писатель добивается «внедрения» своих книг и «вовлечения» читателя.

Игра слов предписана читателю как *стиль мышления, стиль общения, стиль жизни*. Научившись у Пелевина острить и каламбурить, желающий получает возможность с блеском говорить, когда ему нечего сказать. Под руководством писателя можно освоить новый жаргон. Игра слов дает им ощущение обладания словами и свободы от того, что эти слова означают, в конечном же счете – *обретения состояния вненаходимости*.

В чем «message» Пелевина? Обратим внимание, как он переводит буддизм на бандитскую феню: «Будда – это ум, который развел все то, что его грузило, и слил все то, что хотело его развести»[5]. «Не грузись», живи играючи, не принимай ничего всерьез – вот урок писателя[6]; не

---

[1] *Генис А.* Поле чудес. Виктор Пелевин // *Генис А.* Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М., 1999. С. 83.

[2] *Парамонов Б.* Пелевин – муравьиный лев // http://pelevin.nov.ru/stati/o-svob/1.html

[3] *Пелевин В.* Generation П. М.: Вагриус, 1999. С. 19, 61, 95; *Пелевин В.* Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 1997. С. 241, 275.

[4] *Пелевин В.* Generation П. С. 36-37.

[5] http://lib.rus.ec/b/42064/read

[6] См. схожие сентенции из «Generation 'П'»: «Когда не думаешь, многое становится ясно" (С. 48) и «Чапаева»: «Весь этот мир – анекдот, который

то чтобы урок нигилизма (громкое слово), а так – «пофигизма». Главное – не признавать над собой никаких «сильных идентификаций», никакой власти, кроме той, что исходит от НЕГО, «НАСТОЯЩЕГО ПИСАТЕЛЯ».

Тем, кто попал в резонанс пелевинской прозы, очень трудно объяснить, почему «приколы» не смешат, а кроссворды не увлекают; почему хочется закрыть книгу, наткнувшись на фразу: «Чапаев комментировал одно место из Сведенборга...»[1] Таких читателей много. Однако немало и тех, на кого чары писателя не действуют. А для них загадочное «П» из названия пелевинского романа может показаться не столько сатирой («Пепси»), пророчеством («п...ц») или утверждением власти («Пелевин»), сколько математическим числом «Пи». Бесконечную десятичную дробь как символ скуки видят они в прозе, столь богатой сильными эффектами, – *бессмысленный набор одних и тех же приемов*. В конечном же счете это та же «пустота», что и в названии романа о Чапаеве. *Пустота «вненаходимости».*

***

Предел отстранения от русской литературы, пожалуй, достигнут в «проекте» В. Сорокина. Отечественная традиция для автора «Нормы» и «Льда» – это то, что подлежит вивисекторскому препарированию; а власть над русским читателем – это власть провокатора-экспериментатора над подопытным кроликом. Метод Сорокина последовательнее всего развернут в романе «Роман»: на протяжении более четырехсот страниц автор последовательно выстраивает стилизованную энциклопедию стереотипов русской классической литературы»: здесь и русский пейзаж («Чудный вид открывался впереди»[2]); и русская «быстрая езда» («Он не просто любил быструю езду, как свойственно всякой русской душе, а питал к ней невыразимую, сильную страсть...»[3]); и русская охота, и русское застолье («...для русского человека оно кажется просто панацеей от многих бед»[4]), и русская

бог рассказал самому себе» (С. 356).

1 *Пелевин В.* Чапаев и Пустота. С. 374.

2 *Сорокин В.* Роман. М.: Астрель: АСТ, 2008. С. 15, 252.

3 Там же. С. 16.

4 Там же. С. 104.

баня («Какая простота и сила в русской бане!»[1]), и русская любовь, и «русский смех»[2], и русская вера («...он уверовал сразу, уверовал бесповоротно и сильно...»[3]); и высокие слова о русской интеллигенции («...спокойная решительность, на которую по-настоящему способны лишь русские интеллигенты, ломающие свою судьбу раз и навсегда»[4]). И все это в такой невероятной концентрации, с таким перебором стилистического «меда», страница за страницей, что, право, когда на последних ста (!) страницах протагонист романа Роман начинает методично вырубать всех персонажей топором (сначала всех в усадьбе, а затем и в деревне), это воспринимается читателем с облегчением. Сорокин неутомимо и терпеливо, как лабораторный исследователь, ставит эксперимент над читателем: добивается, чтобы тот наелся всем «русским» до отвращения, до тошноты. Неслучайно последний перед резней многостраничный эпизод – свадебный пир, и неслучайно к концу нарочито приторных описаний возникает прозрачная аллюзия на крыловскую «Демьянову уху».

Так писатель добивается двуединой цели: с одной стороны, утверждается в своей власти над читателем, манипулируя им, ставя на нем разнообразные литературные опыты; а с другой стороны, под пыткой внушает ему убеждение, что русский «роман умер» (последняя каламбурная фраза романа)[5].

Что же принципиально нового в современной ситуации «псевдоморфозы»? Действительно новая, именно «сегодняшняя» тенденция – это массовое превращение литературы в «саморазоблачительный фарс»[6], *торжество* «отрицательной» идентичности, не просто *замещение своего* (отечественных традиций, закрепленных в языке)

---

1 Там же. С. 200.

2 Там же. С. 179.

3 Там же. С. 90-91.

4 Там же. С. 41.

5 Там же. С. 541.

6 Выражение С. Кургиняна. Ср.: «В таком обществе, как наше, пиар не сразу перестает действовать. Он не выключается, а гаснет. Угасает постепенно. И кому-то это может внушать надежды. Вотще! Риторика уходит... Риторическая пьеса на патриотическую тему на глазах превращается в саморазоблачительный фарс» (*Кургинян С.* Консервация катастрофы // Главная тема. Июль–август 2005. С. 24).

спроецированным извне, переведенным с иностранного, но и *навязывания этого «перевода» как литературной «нормы».*

Каков же вывод из наших наблюдений за эволюцией патриофобии в русской литературе? *Можно с определенностью сказать, что эта тема завершилась окончательно и бесповоротно, потому что полностью исчерпала себя, что вненаходимость привела к последнему, непреодолимому тупику – монотонному повторению одного и того же («Литература о литературности литературы» («fiction about the fictionality of fiction» – К. Брук-Роуз), пародии на пародию, приему на приеме.*

Будущее за подхватывающей национальную традицию «литературой существования», литературой подлинной, «случившейся», выросшей из обстоятельств русской истории и личной судьбы.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ахиезер А.С. Где искать самобытность? Специфика исторического пути России // Дружба народов, 1995, № 1.

Бавильский Д. Полтинник Сорокина // http://www.vz.ru/columns/2005/8/10/3542.html

Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит., 1986.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1990.

Белинский В.Г. Избранные письма. В 2-х тт. М.: Худ. лит., 1955.

Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. М., 1934.

Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997.

Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Правда, 1991.

Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 2002.

Бибихин В.В. Новый ренессанс. М.: Наука; Прогресс-Традиция, 1998.

Бизнес. М., 1929.

Бледный С.Н. Язык как фактор манипулятивного управления массовым сознанием в социальной философии А.А. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №3. 2004.

Блехер Л.И., Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М.: Академический проект, 2003.

Блок А. Сочинения в двух томах. М.: Худ. лит., 1955.

Богданов А.А. Красная звезда // Вечер в 2217 году. М.: Московский рабочий, 1990.

Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1992.

Вагинов Конст. Козлиная песнь. Романы. М.: Современник, 1991.

Вайль П. Карта родины. М.: Колибри, 2007.

Вахитова Т.М. «Русский денди» в эпоху социализма: Валентин Стенич // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга 2. СПб., 2001.

Волошинов В.Н. Фрейдизм // Бахтин под маской. Маска первая. М.: Лабиринт, 1993.

В. Стенич: Стихи «русского дэнди / Предисловие Л.Ф. Кациса // Литературное обозрение. 1996, № 5/6.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Галковский Д. Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998.

Ганнушкин П.Б. Избранные труды. М.: «Медицина», 1964.

Ганнушкин П.Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях // http://www.psychology.ru/library/00015.shtml

Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2000.

Гаспаров М.Л. Маяковский: первый разговор с товарищем Лениным // Круг чтения. Литературный альманах. Вып. 5. М.: Фортуна-Лимитед, 1995.

Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М., 1999.

Герцен А.И. Былое и думы. В 3-х тт. М.: Худ. лит., 1982.

Герцен об искусстве. М.: Искусство, 1954.

Гершензон М. Избранное. В 4-х тт. М.–Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 2000.

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб, 2002.

Гиппиус В.В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М., 1931.

Глядя на Запад: Культурная глобализация и российские молодежные субкультуры. СПб.: Алетейя, 2004.

Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 1997.

Голынко-Вольфсон Д. Новые языки интеллектуальной корпоративности и их потребление культурным сообществом в России // http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.php?lang=r&c1=10&id=1&file=golinko.htm).

Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1.

Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Пг., 1917.

Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медиум, 1993.

Гронский П.П. Юридическая природа С. С. С. Р. // Сборник, посвященный 55-летию со дня рождения и 35-летию научной деятельности П.Б. Струве. Прага, 1925.

Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 10-ти тт. М.: Худ. лит., 1958.

Ерофеев В.В. Пять рек жизни. Роман-река. М.: Подкова, 1998.

Ерофеев В.В. Энциклопедия русской души. М.: Подкова; Деконт+, 1999.

Жолковский А.К. Ж/Z: Заметки бывшего пред-пост-структуралиста // Литературное обозрение, 1991, № 10

Жолковский А. Морфология и исторические корни «После бала» // *Жолковский А.* Блуждающие сны. М.: Советский писатель, 1992.

Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель /Babel. М.: Carte Blanche, 1994.

Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской картины мира. М., 2005.

Замятин Е.И. Сочинения. М.: Книга, 1988.

Зелинский К. Конструктивизм и социализм // Бизнес. М., 1929.

Зелинский К. Поэзия как смысл. Книга о конструктивизме. М.: Федерация, 1929.

Зенкин С. С/З, или Трактат о щегольстве // Литературное обозрение, 1991, № 10.

Золотоносов М. Окорок Сорокина под соусом «Модерн» // Афиша. 2002. №8 (79).

Историческая наука в борьбе классов: исторические очерки, критические статьи, заметки. Вып. 2. М.-Л., 1933.

Каверин В. Избранные произведения. М., 1977.

Казанский Б. Речь Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924.

Кантор В.К. Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999.

Катаев В. Растратчики. Время, вперед! (повесть, роман-хроника). М.:

Текст, 2004.

Катаев И. Под чистыми звездами. М., 1969.

Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1937.

Кобрин К. Профили и ситуации. [Статьи и эссе.]. Urbi: Литературный альманах. Выпуск двенадцатый. СПб.: ЗАО «Атос», 1997.

Колеров М. Новый режим. М.: Модест Колеров & Дом интеллектуальной книги, 2001.

Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001.

Кунина-Александер И. Сорок январей // Литературное обозрение. 1991, № 9.

Кургинян С. Консервация катастрофы // Главная тема. Июль–август 2005.

Курицын В. Время постсовременности // Новая волна. Русская культура и субкультура на рубеже 80–90-х гг. М.: Московский рабочий, 1994.

Курицын В. Матадор на Луне: Проза. М.: Ракета, 2006.

Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х томах. М., Из-во им. Сабашниковых, 1996.

Латышев А. О рассекречивании трудов Ленина // Национальная газета, 2002, № 4-5.

Ленин В.И. Избранные произведения. В 3 тт. Т. 3. М., 1969.

Ленин Н. (В.И. Ульянов). Основные задачи партии при НЭП'е 1921–1923 гг. Статьи и речи. М.: Красная Новь, 1924.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 65 тт. Т. 45. М.: Политиздат, 1970.

Лимонов Э. В плену у мертвецов. М.: Ультра Культура, 2002.

Лимонов Э. Другая Россия. Очертания будущего. М.: Ультра.Культура, 2003.

Лимонов Э. Книга воды. М.: Ad Marginem, 2002.

Лимонов Э. Это я, Эдичка. М.: Независимый альманах «Конец века», 1992.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.

Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 тт. М.: ГИХЛ, 1955.

Мильчина В. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб.: Гиперион, 2006.

Мильчина В., Осповат А. Комментарии // *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. В 2-х томах. М., Из-во им. Сабашниковых, 1996.

Могутин Я. Термоядерный мускул. Испражнения для языка: Избранные тексты. М.: НЛО, 2001.

Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990.

Найпуль В. Мы ныне – рассеянный народ // Русский журнал, 17 ноября 2003 – http://old.russ.ru/ist_sovr/20031117_prog.html

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991.

Одиннадцать бесед о современной русской прозе. М.: НЛО, 2009.

Павловский Г. Тренировка по истории. Мастер-классы Гефтера. М.: Русский институт, 2004.

Панюшкин А. Логика бешеной собаки // Журнал «Ъ» «Gentelmen's Quaterly», февраль 2005 года.

Парамонов Б. Пелевин – муравьиный лев // http://pelevin.nov.ru/stati/o-svob/1.html

Пелевин В. Generation 'П'. М.: Вагриус, 1999.

Пелевин В. Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 1997.

Песков А.М. Германский комплекс славянофилов // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медиум, 1993.

Печерин В.С. Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Изво Московского ун-та, 1989.

Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН, 2004. С. 212.

Платонов А. Избранные произведения. М.: Экономика, 1983.

Плуцер-Сарно А. Русский «отстой»: от символа к тексту // НЛО, 2004, № 68.

Попов Е. Накануне накануне. М.: Гелиос, 2001.

Поэты-имажинисты. СПб: Петербургский писатель, 1997.

Пригов Д., Шаповал С. Портретная галерея Д.А.П. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1946.

Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. VII. М.-Л., 1951.

Пятиконечная звезда: Сборник. М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2003.

Ремизова М.С. Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике. М.: Совпадение, 2007.

Рис Н. Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005.

Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М.: Республика, 1996.

Розанов В.В. Мимолетное. М.: Республика, 1994.

Розанов В.В. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995.

Ройзман М. Все, что помню о Есенине. М., 1978.

Русские и «русскость». Лингво-культурологические этюды. М., 2006.

Рыклин М. О текстах Владимира Сорокина // Сорокин В. Собрание сочинений. М.: Ad Marginem, 1998.

Рыклин М. Террорологики. М.-Тарту: Эйдос, 1992.

Сартр Ж.-П. Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПБ.: Мифрил, 1994.

Сельвинский К. Избранные произведения. Л.: Сов. пис., 1972.

Синявский А. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003.

Смирнов И. Владимир Сорокин. Путь Бро // http://www.artpragmatica.ru/adm/preview/index.php?uid=306

Смирнов И.П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.

Соколов М. Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания. М.: SPLS; Русская панорама, 2003.

Сорокин В. Роман. М.: Астрель: АСТ, 2008.

Сосновский Л. Дела и люди. Книга первая. М.; Л., 1925.

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 2000.

Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб.: Издательство русского Христианского гуманитарного института, 1999.

Тихонов Н. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. пис., 1981.

Тлостанова М.В. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить никогда, писать ниоткуда. М.: Едиториал УРСС, 2004.

Толстой А.Н. Петр Первый. Роман. М.: Худ. лит., 1981.

Толстой А.Н. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 2. М.: Худ. лит., 1982.

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс, 1995.

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука. 1968.

Тынянов Ю. Словарь Ленина-полемиста // ЛЕФ, № 1, 1924.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Из-во Уральского ун-та, 2002.

Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // *Февр Л.* Бои за историю. М.: Наука, 1991.

Федотов Г.П. Письма о русской культуре // Русская идея М.: Республика, 1992.

Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 9. Статьи американского периода. М.: Мартис, 2004.

Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2 тт. СПб.: София, 1991.

Философия филологии // НЛО. № 17. 1996.

Фонвизин Д.И. Избранные сочинения и письма. М.: ОГИЗ, 1947.

Холмогоров Е. Русский националист. М.: Европа, 2006.

Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М.: Наука, 1991.

Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 тт. Т. 13. М., 1949.

Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников. Л.: Сов. пис., 1990.

Шенк Б. Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения // Регионализация посткоммунистической Европы. Серия «Политические исследования». М.: ИНИОН, 2001. № 4.

Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе (1914 – 1933). М.: Сов. пис., 1990.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Всемирно-исторические перспективы. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998.

Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924.

Эйхенбаум *Б.* «Мой временник...»Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001.

Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. М.: Сов. пис., 1987.

Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М.: Эксмо, 2007.

Эпштейн М. Амероссия. Избранная эссеистика. М.: Серебряные нити, 2007.

Эренбург И. Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников. М.: Эксмо, 2008.

Эренбург И. Стихотворения. Л.: Сов. пис., 1977.

Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.-Л.: Сов. писатель, 1964.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамович, Р.А. 151
Аввакум, протопоп 330
Агранов, Я.С.
Адамс, Г. 423
Адамс, Дж. Кв. 410-411
Айа де ла Торе, В.Р. 555-557, 600
Айги, Г. 99-100, 267
Айх, Г. 78
Акройд, П. 204
Аксенов, В. П. 500
Аксенов, И.А. 665
Акунин, Б. 652
Александр I (росс. император) 336
Александр II (росс. император) 514
Алексеев, В.В. 38, 159, 162-163, 167, 226, 305
Алигер, М.И. 565
Алымов, С.Я.
Альберти, Р. 562
Амаду, Ж. 562
Анастасия Николаевна, вел. кн.
Андерман, Я. 350
Андерс, В.
Андерсон, Ш. 425
Андреев, Л.Н. 321, 544
Андреева, Е. 199
Андропов, Ю.В. 199, 475
Андрусевич, А. 324
Ани, Ф. 87
Анна Иоанновна, императрица 166, 267, 494
Апдайк, Дж. 506
Арагон, Л. 242, 562
Аристотель 14
Армстронг, Д. 420
Арнгольд, Х. 86
Арндт, М. 81, 98
Арндт, Э.М. 64
Арнолд, М. 171, 174
Арсеньев, В.К. 105
Архангельский, А.Н. 644
Аткинсон, Дж. 166
Ауэ, Г. фон 52
Ахиезер, А.С. 27, 35, 41, 603, 679
Ахмадулина, Б.А. 388
Ахматова, А.А. 91, 98, 218, 220-222, 227, 241, 323, 349, 388
Бабель, И.Э. 554, 634, 637, 641, 680
Бажов, П.П. 112
Байет, Дж. 222
Байрон, Дж. Г.Н. 168-169
Бакунин, М.А. 293, 544
Балабанов, А.О. 476
Бальзак, О. де 234
Бар, Г. 68
Баратынский, Е.А. 103
Баркер, А.М. 466
Баркович, Й. 386
Барлах, Э. 68
Барнс, Дж. 213-214, 223, 226
Барский, В.Л. 84
Барч, В. 89
Басе 330
Батюшков, К.Н. 103
Баумгарт, А. 142
Бауринг, Дж. 415
Бахтин, М.М. 21, 227, 312, 643, 651-652, 672, 679
Бачев, В.И. 84
Бегбедер, Ф. 260
Беднарц, К. 141-142
Безродный, М.В. 84
Бейкер, П. 476
Бейли, Дж. 216, 221-222
Бекман, Дж. 491
Белинский, В.Г. 612, 679
Беллок, Х. 179
Беллоу, С. 447-451, 506, 509
Белов, И.М. 187
Белый, А. 216, 388, 499, 597
Бенн, Г. 74, 78
Беннет, А. 174, 215
Беньямин, В. 608, 679
Бер, Й. 86
Бергер, Р. 150
Бергер, У. 77
Бердселл, С. 517, 528, 532-534
Бердяев, Н. А. 39, 357, 616, 679
Беринг, В. 226

Берия, Л.П. 217
Берк, Э. 189
Берлин, И. 143
Берни, Ф. 167
Бетеа, Д. 467
Бехер, И.Р. 49, 71, 73, 97
Бехлер, В. 78
Бечкович, А. 389
Бжезинский, З. 327, 457-459, 506
Бибихин В.В. 251, 305, 603, 679
Бивор, Э. 188
Биллер, М. 130
Биллингтон, Дж. 170, 468, 506, 510, 600
Бинкли, Р. 15
Бири, Ф. 584
Бирман, В. 79-80, 253
Бисмарк, О. фон 63
Битов, А.Г. 99
Бичер-Стоу, Г. 417
Блок, А. А. 98, 103, 218, 287, 638-639, 679
Блок, М. 14, 330
Блюмкин, Я.Г. 639
Бобров, С.С. 665
Бобровский, Й. 74, 77
Богданов, А.А. 626, 679
Боден, Ж. 29
Боденштедт, Ф.М. 66
Бойд, У. 207
Бой-Желенский, Т. 321
Бойм, С. 465-466, 508
Болховитинов, Н.Н. 408, 419, 508
Бондарев, Ю. В. 322
Бондаренко, В. 107
Боренштейн, Э. 491-492
Борис Годунов 59, 285, 375
Борн, Н. 78
Бородин, А.П. 556
Борхерт, В. 73
Бош, Х. 583
Брагинская, Э.В. 564
Брайант, Л. 424
Браун, Ф. 76
Браунинг, Дж. 170
Бредоло, Г. 61
Брейли, К. 16
Брейтуэйт, Р. 189, 225
Брентано, К. 65
Бреттман, А. 86
Брехт, Б. 73
Бродский, И. А. 39, 99, 221, 269-270, 323, 349, 388, 477
Брокес, Б.Г. 60
Бромптон, Р. 166
Броневский, В. 321
Брукнер, А. 222
Брук-Роуз, К. 678
Брэдбери, М. 212-213
Брюсов, В.Я. 103, 388
Бувье, Н. 330
Буданов, Ю.Д. 475
Булвер-Литтон, Э. 169
Булгаков, М.А. 184, 219, 226, 323, 679
Булгарин, Ф.В. 415
Бунин, И.А. 186, 219
Бурихин, И.Н. 83
Буш, Дж., мл. 191
Бхабха, Х. К. 528
Бэринг, М. 179-180, 226
Бюффон, Ж. 14
Бюшер, В. 143-149
Бялокозович, Б. 324

Вагнер, А. 93
Вагнер, Я. 82
Вайгони, А. 93
Вайль, П.Л. 663, 679
Вайнерт, Э. 73
Ваккер, Н. 86
Вальден, Г. 73
Вальехо, С. 555, 557-560, 562-564, 569, 600
Ван Гог, В. 175
Вандерхейг, Г. 524
Варгас Льоса, М. 578
Васконселос, Х. 554, 577
Васнецов, В.М. 102
Ват, А. 322, 450
Вебб, С. 170
Вебер, В. 78, 86, 99-100
Вейнрих, М. 57
Вельмар-Янкович, С. 401
Верещагин, В.В. 546, 548
Веригин, П.В. 519
Верлен, П. 111
Вернадский, Г.В. 36
Видеман, Д. 143
Вико, Дж. 14
Виланд, Х.М. 60-61
Вильгельм II 64, 121
Вильк, М. 330-338, 347, 360
Винавер, С. 389
Винклер, Р. 76
Виткевич, С.- И. 330
Витте, С.Ю. 178
Во, И. 471
Вогюэ, Э.М. де 31, 173-174, 294
Вознесенский, А.А. 388
Войнич, Э.Л. 170
Войнович, В.Н. 84, 130
Волков, В. 355, 404, 487
Волошин, М.А. 103, 280
Волошинов В.Н. 672, 679
Волькенштейн, О. 54

Вольтер 30, 607
Вольф, К. 106-108, 110
Вордсворт, У. 168
Ворошильский, В. 323
Врубель, К. 338, 343-346
Всеволод Ярославич, рус. князь 56
Вулф, В. 171, 173-177, 226, 228
Вулф, М. 191
Вулф, Т. 501, 508
Вульф, Л. 600, 604-605, 607, 609, 679
Вундт, В. 14
Высоцкий, В. С. 322

Гагарин, Ю.А. 88, 476, 501
Галковский, Д.Е. 617, 623, 625, 628, 631, 641, 650-651, 657, 679
Галл Аноним 309
Галчинский, К.- И. 321
Ганин, В.Н. 220
Ганнушкин, П.Б. 657, 679
Гарднер, Дж. 205, 226
Гариет, К. 170, 173, 175, 227
Гарнет, Э. 170
Гарсиа Маркес, Г. 566, 571, 578, 585, 600
Гаршин, В.М. 103
Гаспаров, М.Л. 624, 627, 643, 649-650, 656, 665-666, 679-680
Гауптман, Г. 68
Геббель, Ф. 67
Гегель, Г.- В.- Ф. 312
Гедройц, Е. 322, 336
Гейбель, Э. 66
Гейзе, П. 49, 67, 80
Гейне, Г. 66
Геллерт, Х.Ф. 60
Гельдерлин, И.К.Ф. 60, 63
Генис, А.А. 502, 675, 680
Геннадиев, А.Б. 107
Генрих II 51
Генрих IV 56
Герберштейн, С. фон 30, 49, 55, 186
Гервег, Г. 67
Гердер, И.Г. 30, 49, 59-60, 62
Гердт, В. 86
Герлинг-Грудзинский, Г. 322, 365
Герман, А.86
Герман, В. 86
Герман, Д. 86
Гернхардт, Р. 78
Геродот 14, 339
Герцен, А.И. 170, 292-293, 612-613, 680
Гершензон, М.О. 612, 680
Гессе, Г. 49, 70
Гёте, И.В. 60-61, 64, 70, 147, 210, 225
Гефтер, М.Я. 620, 643
Гибсон, У. 485-486, 506
Гильен, Н. 572
Гиммлер, Г. 123
Гинзберг, А. 452
Гиппиус, В.В. 321, 611, 680
Гиппиус, З. Н. 321, 611, 680
Гисбрехт, А. 86
Гитлер, А. 64, 144, 310
Гласбреннер, А. 67
Глассер, С. 474, 476
Глейм, Й.В.Л. 61, 66
Гоббс Т. 640
Гоголь, Н.В. 21, 97, 184, 222, 289, 330, 466-467, 611, 636, 680
Голд, М. 424
Голдсмит, О. 167, 226
Голсуорси, Дж. 181, 209, 226
Гольштин-Готторпский, К.Ф. 56
Гольдштейн, А.Л. 628-629, 631
Гомбрович, В. 330, 356
Гомес Каррильо, Э. 548, 550-551
Гончаров, И.А. 467
Гончарова, Н.С. 20, 67, 69, 103, 172, 212, 214, 417
Горбачев, М.С. 79, 189-190, 194, 224, 260, 443, 453, 456, 469-470, 582
Гордон, Ч. У. 525
Горсей, Дж. 162-163, 226
Горький, А.М. 21, 70, 321, 544, 556, 632
Госсе, П. 98
Готшаль, Р. фон 67
Готшед, И.К. 60-61
Гофман фон Фаллерслебен, А.Г. 66-67, 134
Грасс, Г. 78, 122, 155
Гребенщиков, Б.Б. 107
Греков, Б.Д. 343
Греф, Д.М. 87
Грибоедов, А.С. 103, 641, 680
Гринберг, П. 492, 510
Гриффиус, А. 49, 57
Гришем, Дж. 477
Гро, Д. 29
Гройс, Б.Е. 111, 625, 680
Гронский, П.П. 624, 680
Гросман, В. 103
Гроув, Ф.Ф. 517
Грэм, С. 179-180, 226
Грюнбайн, Д. 92
Гуаставино, Л. 586
Гудластер, Э.Дж.
Гумилев, Л.Н. 36, 103
Гэддис, Дж.Л. 454

Д'Альмар, А. 544
Давыдов, А.П. 27, 251, 305
Данмор, Х. 188
Данте, А. 111, 170, 225

Данэм, В. 465
Дарио, Р. 544, 551-552, 554, 600
Дат, Д. 94
Дах, С. 57
Дашкова, П.В. 213
Дейна, Ф. 410
Демут, Ф. 92
Денисова, О.Л. 84
Державин Г.Р. 103
Деррида, Ж. 236, 241, 259-260, 305, 534, 666
Дефо, Д. 166
Дж.Ф. 164
Джеймс, Ф.Д. 205
Джеймс, Г. 418
Джек, Э. 199-200
Джексон, Х. 95
Джемс, Р. 164
Дженкинсон, А. 164
Джехарди, У. 175
Джонсон, У. 492-493
Диас Мирон, С. 551
Диттс, Д. 164
Дидро, Д. 30, 212, 576, 607, 652
Дизраэли, Б. 513
Диккенс, Ч. 169, 204
Димблби, Дж. 202-203
Динамов, С.С. 433-444
Дингельштедт, Ф. 67
Дитрих, М. 124
Диттрих, Р. 97
Дмитриев, И.И. 415
Дмитриева, Е. 415
Долгоруков, Д.И. 416
Домин, Х. 78
Доносо, Х. 578
Донцова, Д.А. 103
Дос Пассос, Дж. 427, 432-434, 483
Достоевский, Ф. М. 21, 39, 81, 97-98, 173-174, 184-185, 205, 221-222, 227, 280-284, 293-294, 321, 338, 453, 544, 555-556, 616-617, 680
Доу, Дж. 166
Драверт, К. 88, 142
Дравич, А. 324
Драйер, Э.Ю. 101
Драйзер, Т. 427-432, 434, 483, 508
Драшкович, В. 400
Дреснер, У. 96
Дросте-Хюльзенхоф, А. фон 65
Дрэббл, М. 222
Дуве, Р. 93
Дугин, А.Г. 468
Дудинцев, В.Д. 322
Дукай, Я. 352
Дучич, Й. 376
Дэс, Н. 132
Дюма, А. 282, 334, 640

Евтушенко, Е.А. 99, 388, 565
Ежов, Н.И. 217
Екатерина II, императрица 56, 62, 234, 377
Елена Глинская 375
Елизавета Федоровна, вел. кн. 496, 498
Ельцин, Б.Н. 200, 218, 224, 475
Енеке, Б. 142
Епифаний Премудрый 374
Ерофеев, В.В. 99, 103, 111, 222
Ерофеев, Вен.В. 323, 502, 652-654, 656, 661-662, 664-665, 680
Ерофеев, Н.А. 17
Есенин, С. А. 98, 103, 665

Жакевич, З. 347
Живков, Т. 213
Жид, А. 242, 244
Жириновский, В.В. 468
Жолковский, А.К. 637, 641, 666, 668-670, 680
Жуков, Г.К. 214
Жунич, Д. 369, 390

Заболоцкий, Н.А. 388
Завацки, Г. 86, 132
Завацки, Я. 86, 132
Загаевский, А. 349
Загоскин, М.Н. 415
Зайлер, Л. 88, 90
Замятин, В.М. 160, 219, 389, 524, 633, 680
Замятин, Е.И. 160, 219, 389, 524, 633, 680
Занусси, К. 311
Заяицкий, С.С. 634
Зверев, А.М. 409-411, 426, 509
Здравомыслов, А.Г. 83-85, 116
Зегерс, А. 70, 119
Зелинский, К.Л. 629-630, 680
Зенкин, С. 242, 306, 669, 680
Зибенпфайфер, Ф.Я. 66
Зиберт, К. 150
Зигль, Э. 150
Зиновьев, В.П. 84, 236
Змаевич, М. 377
Зогович, Р. 389
Зойме, Й.Г. 66
Золя, Э. 234
Зорин, А.Л. 603
Зухенвирт, П. 54

Иван IV Васильевич Грозный 50, 55-56, 60, 163, 169, 180, 184, 375, 471, 576, 608
Иван V 56
Иванов, Вяч. Вс. 9, 27, 35, 536
Иваштанин, Н. 404
Игнатьев, Г.П. (Джордж) 519, 521

Иловайский, Дм. Ив. 178
Ильина, Г.Я. 384
Илья-Муромец 101
Инбер, В.М. 70
Ингигерд, О. 56
Иоанн VI Кантакузин 373
Ирвинг, В. 416
Исакович, А. 386
Истман де ла Куэста, Р. 588

Кабаков, И.А. 466
Кавабата, Я. 330
Каверин, В.А. 633, 636, 680
Казаков, Ю.П. 97, 322
Кайзер, Р.Г. 469
Калау, Х. 77, 88
Каллезен, Г. 81
Калфус, К. 501-502
Кальвин, 29
Каменев, Л.Б. 181
Каминер, В. 130
Камминг, Дж. 444
Кандинский, В. 21
Кант, И. 576
Кантемир, А. 61
Кантор, В.К. 610, 681
Капа, Р. 444
Капнист, В.В. 318
Капустинский, Р. 338-343, 345-346
Кара-Георгий 378-379
Карамзин, Н.М. 178, 523
Кареев, Н.И. 623
Карл I 160
Карл Леопольд 56
Карл-Фридрих 56, 64
Карнеги, Д. 477
Каррер д'Анкосс, Э. 262-264
Каррер, Э. 262-264, 306
Каррера, Х. 587-588
Картер, А. 222
Каршин, А.Л. 61
Касас, Б. де лас 22
Кастиньейрас, А. 552-554
Кастро Рус, Ф. 578, 596
Катаев, В.П. 630, 681
Кафка, Ф. 473
Кац, Д. 16
Кашниц, М.Л. 78
Кегли Ч.У. 457
Кейтель, В. 126
Келли, К. 222
Кельм, О. 86
Кеннан, Дж. 414, 420-422, 436-441, 454, 507
Кеннеди, П. 443, 455
Кернер, Т. 65
Керуак, Дж. 450-453, 507
Киплинг, Р. 159
Киприан, митрополит 373
Кирсанов, С.И. 565, 663
Кирстен, В. 91, 96
Кирхгоф, М. 97
Кирш, Р. 77, 88, 98
Киш, Д. 389, 391
Классен, П. 86
Клейн, А.М. 528
Клейст, Э.Х. 61
Кленберг, О. 17
Клинг, Т. 98
Клингер, Ф.М. фон 60-61
Клэнси, Т. 479
Клюев, Н.А. 91, 330
Ключевский, В.О. 184, 641, 681
Клямкин, И.М. 35, 41
Кобрин, К. 667-668, 670, 681
Козырев, А.В. 589
Козырев, М.Н. 476
Козьма Прутков 103
Кокс, У. 167
Кокс, М. 454
Колеров, М.А. 603, 642, 644, 681
Коллонтай, А. 223
Кольцов, А.В. 417
Конан-Дойл, А. 205
Кондаков, И.В. 27
Конзалик, Х. 105, 120, 130
Конквест, Р. 197-198
Коннор, Р. 525
Конрад, Дж. 176-177
Константинова, Н.И. 589, 592, 601
Концаревич, С. 377
Копелев, Л.З. 61, 63, 84, 130
Кормильцев, И.В. 646
Корнелиус, Г.Ф.В. 65
Корнилов, Б.П. 91
Королев. С.П. 501
Короленко, В.Г. 556
Кортасар, Х. 578
Коско, Н. 132
Костич, З. 368
Костюшко, Т. 317
Косыгин, А.Н. 500
Коулмен, Ф. 471-472
Коц, А.Я. 622
Коцебу, А. Ф. фон 65
Крамер, А. 86
Крамской, И.Н. 102
Красинский, З. 314
Кривулин, В.Б. 99
Криппс, С. 215
Кристи, А. 205
Кристиан IV. 494
Крлежа, М. 376

Кроетч, Р. 524
Кролов, К. 78
Кроне-Шмальц, Г. 150
Кропоткин, П.А. 544
Круз Смит, М. 479
Крус Саморано, А.Р. 593-594
Крылов, И.А. 500
Кульмус, Л.А.В. 61
Кумпфмюллер, М. 129
Кундера, М. 26, 39
Кунерт, Г. 92
Кунст, Т. 88
Купер, Ф. 416
Кургинян, С.Е. 468, 677, 681
Курицын, В. 663, 671, 681
Курчаб-Редлих, К. 347
Куч, А. 87
Куэвас Фаррен, Г. 587
Кэртин, И. 414
Кюстин, А. де 673

Лаббок, П. 174
Лаво, Ж. Л. де 604
Ладлэм, Р. 481, 507
Лазари, де А. 324
Лайелл, Р. 169
Ламонт, К. 424
Ламонт, М. 424
Ларионов, М.Ф. 172
Лафлер, С. 82
Лацарус, М. 14
Ле Гофф, Ж. 14
Ле Карре, Дж. 209-210
Левек, П.-Ш. 604
Ледницкий, В. 322
Ледьярд, Дж. 410
Лейбниц, Г.В. 30, 59-60
Лелчук, А. 447, 509
Лем, С. 358
Леман, В. 78
Лемерсье, Р. де ла 609, 617
Ленин, В.И. 72
Ленц, Г. 74
Ленц, З. 131, 156
Ленц, Я.М.Р. 60-61, 64
Леонов, Л.М. 389
Леонхард, В. 119
Лермонтов, М.Ю. 278, 323, 663
Лесама Лима, Х. 556
Лесков, Н.С. 69, 417, 635
Лесьмян, Б. 311
Либельт, К. 319
Лилье, Б. 544
Лимонов, Э.В. 99, 654, 656-660, 681
Липпман, У. 15-16, 25
Лихачев, Д.С. 33, 306
Ломоносов, М.В. 61, 103
Лонг, Р. 175
Лоренс, Л. 137
Лоренц, И. 137
Лотман, Ю.М. 27-28, 603, 681
Лоутволл, Ф. 442
Лоуренс, Д. Г. 452
Лудольф, Г.В. 164
Лукач, Д. 212
Лукашенко, А.Г. 145
Луконин, М.К. 565
Лунц, Л.Н. 634
Льюис, У.Д. 415
Людовик XIII 640
Люксембург, Р. 70
Лютер, М. 29

Мазурски, П. 478
Майвальд, П. 82
Майков, В.И. 61, 103
Макейл, Дж.У. 179
Макензи, У.Д. 177, 198, 227
Маккензи Кинг, В. Л. 523
Маклин, Д. 208
Маколей, Т.Б. 165, 227
Максимович, Д. 389, 494
Мальков, В.Л. 441-442, 509
Мальтиц, Г.А. 66
Мамин-Сибиряк, Д.Н. 103
Мамлеев, Ю.М. 474
Мангольд, В. 86
Мандельштам, О. Э. 91, 98, 108, 218, 221-222, 227, 323, 349, 388
Манн, Т. 49, 63, 68, 70, 124, 238
Манштейн, Э. фон 124
Мариенгоф, А.Б. 639-640
Маринеско, А.И. 121-122
Мария Павловна, вел. кн. 64
Мария Федоровна, рос. имп. 64
Маркович, Сл. 389
Маркс, К. 93, 313, 630
Марри, Дж.М. 175
Марти, Х. 546-548, 600
Мартынов, М.Ф. 589, 592, 601
Мархлевский, Ю. 314
Маршалл, Дж.К. 440, 442
Масловская, Д. 354, 361
Мачей из Мехова 309
Маяковский, В.В. 613
Медведев, Д.А. 596
Мей, Р. 171
Мейерхольд, Вс.Э. 237, 304
Мейранд, Л. 515
Меккель, К. 78
Мелетинский, Е.М. 9, 35
Мердок, А. 176, 222

Мережковский, Д.С. 321-322
Мерридейл, К. 188
Мертон, Т. 330
Микич, С. 150
Миккель, К. 98
Миллер, А. 47, 86
Милн, Ш. 191
Милош Обренович 379
Милош, Ч. 314, 322, 379
Милошевич, Н. 386
Милошевич, Сл. 368
Милтон, Дж. 164
Милькович, Б. 389
Мильчина, В.А. 607-608, 610, 652, 681
Минин, К.М. 179
Миранда, Ф. де. 541
Мирбах, В. 639
Мистраль, Г. 561
Митяев, О.Г. 107
Михайлович, Д. 400-401
Михник, А. 323
Мицинский, Т. 320
Мицкевич, А. 319
Могутин, Я. 660-661, 681
Монтекье, 14
Мопассан, Г. де 637
Морз, Дж. 408
Моррис, У. 170
Моршпын, З. 309
Мотт Фуке, Ф. де ля 65
Моэм, С. 186, 209, 227
Мрожек, С. 351, 361
Мусоргский, М.П. 196, 224
Мэнсфилд, К. 171, 208
Мюллер, И.Л.В. 63
Мюллер, Х. 77
Мякотин, В.А. 618

Набоков, В.В. 186, 330
Надсон, С.Я. 103
Найшуль, В.А. 642, 681
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 144, 310, 336
Невский, А. 35, 54
Некрасов, В.П. 322
Некрасов, Н.А. 99
Неруда, П. 544, 555, 561-565, 572-573, 600
Нестор 103
Николай I (росс. император) 218, 291
Николай II (росс. император) 263, 352, 382, 494
Николай Велимирович, епископ 381
Николсон, М. 224
Николсон, Н.Б. 495-496
Николюкин, А.Н. 226-228, 415-416, 509
Нитце, П.Х. 440
Ницберг, А. 86
Ницше, Ф. 67, 70
Новгородцев, П.И. 622, 682
Ногин, В.П. 628, 636
Нойман, А. 47
Нойман, И.-Б. 31
Нойман, П.Х. 72
Нокс, Т. 414
Норвид, Ц.- К. 319
Нью, У. Г. 526-527

Обертынская, Б. 322
Окуджава, Б.Ш. 81, 99, 322
Олеарий, А. 49
Опиц, М. 49, 57
Орловски, П. 453
Ортлеп, Э. 66
Оруэлл, Дж. 198, 477
Осборн, Э. 192
Осповат, Л.С. 610, 652, 681
Остерман, А.И. 184
Остин, Дж. 222
Островский, Н.А. 75
Оуэн, Р. 189

Павел I (росс. император) 377, 514
Павич, М. 401-402, 404
Павлов, И.С. 433
Павлова, А.П. 433, 479, 494, 508
Падилья, Э. 578
Палавестра, П. 404
Панарин, С.А. 38
Панюшкин, В.В. 646, 682
Парамонов, Б. 673, 675, 682
Пардо Басан, Э. 544
Пас, О. 573-578, 583, 590
Паскаль, Б. 299
Пастернак, Б.Л. 222
Пастиор, О. 98
Пасько, Г.М. 151
Паустовский, К.Г. 97
Пахомий Серб (Логофет) 374
Пашич, Н. 380
Пейдж, Д. 515
Пейдж, М. 425
Пейн, Т. 406, 509
Пейрс, Б. 177
Пекич, Б. 386
Пелевин, В.О. 99, 222, 330, 652, 673, 675-676, 682
Пелипенко, А.А. 27, 524
Пенья Гомес, Ф. 584
Перри, А.Дж. 502
Песков, А.М. 610, 682
Пессоа Веллис, К. 544
Петр I Петрович Негош, черногорский госпо-

дарь 377
Петр I, русский царь
Петр II Петрович Негош, черногорский господарь 379
Петр III 56
Петрарка 100, 565
Петрищев, А.Б. 618
Петрушевская, Л.С. 99
Пехлеви, Р. 339
Печерин, В.С. 613-614, 682
Пешехонов, А.В. 618
Пивоваров, Ю.С. 623-624, 631, 682
Пиг, В. 61
Пиетрас, Р. 98
Пилат, В. 324
Пильняк, Б.А. 554
Пионтек, Х. 75, 78, 84
Пиотровский, В.Л. 634
Пипс, С. 165
Пирпонт, Дж. 415
Писемский, Ф.А. 163
Писемский, А.Ф. 417
Платен, А. 66
Платон 14
Платонов, А. П. 630
Плиний 14
Плотникофф, В. 535-536
Пожарский, Дж. Мих. 179
Покровский, М.Н. 623
Политицки, М. 85, 137
Полонский, Я.П. 103
Полухина, В. 222
Поляк, С. 144
Померанцев, И. 84
Поморский, А. 324
Помяновский, Е. 328, 360
Понятовский, Ю. 311
Попов, Е.А. 664, 682
Портер, К. 223
Потье, Э. 622
Пошман, М. 149
Прайм, С. 414
Преквиц, Б. 94
Приб, А. 132
Пригов, Д.А. 99, 649, 673, 682
Примаков, Е.М. 589
Пришвин, М.М. 330
Прокофьев, С.С. 21, 81
Проктор, Э. 414
Протопопова, Д.А. 173, 177
Проханов, А.А. 468
Пугачев, Е.И. 286
Пумпянский, Л.В. 605, 682
Путин, В.В. 153, 224, 475, 593
Пушкин, А.С. 21, 28, 37, 69, 96-97, 104, 108, 136, 185, 196, 204, 212, 214-216, 218, 221-222, 226, 278, 285-289, 305, 323, 330, 361, 379, 415-416, 466-467, 503, 508, 543, 546, 556, 561, 612, 634, 637, 656, 663, 670, 682-683
Пфеффер, Н. 86
Пфлуг, Р. 86
Пшебинда, Г. 324

Раевский, Д.С. 38
Ражковская, И. 84
Разин, С. 69
Райчкович, И. 389
Райкерт, О. 86
Раймер, Л. 86, 532
Райнфранк, А. 76, 78
Райхель, А. 63
Рамлер, К.В. 61
Распутин, В.Г. 78
Рассел, Б. 181-182, 227, 481
Растко Неманич (св. Савва) 373
Ратушинская, И.Б. 323
Рединг, Й. 78
Редлинский, Э. 351
Рейган, Д. 217
Рейган, Р. 443-444, 509
Рейенталь, Н. фон 53
Рейснер, Л. 223
Рембо, А. 111
Ремник, Д. 476-478
Ренан, Э. 607
Репин, И.Е. 102
Рескин, Дж. 189
Рид, Дж. 424, 471
Рильке, Р.М. 50, 68, 71, 107-108
Римский-Корсаков, Н.А. 556
Рис, Н. 465, 643-644
Ричардсон, У. 167
Ришелье (А. Ж. дю Плесси) 640
Робин, Р. 443
Родо, Х.Э. 554, 577
Розанов, В.В. 227, 448, 618, 622-623, 635, 682
Розенлехер, Т. 91
Роллан, Р. 562
Ролстон, У. 170
Рот, Т. 150-153
Рубинштейн, С.Л. 99
Рублев, А. 482
Рубцов, Н.М. 103
Руге, Г. 142
Рузвельт, Ф.Д. 183, 435
Руссе, Д. 574
Руссо, Ж.-Ж. 30
Рушди, С. 339
Рыбаков, А.Н. 103
Рылеев, К.Ф. 103
Рыльский, Е. 350

Рымкевич, Я.- М. 349
Рытхэу, Ю.С. 97, 103, 105
Рэнд Э. 426-427
Рэндолф, Т. 163
Рюккерт, Ф. 65
Рюмкорф, П.78, 100

Сава Лукич Владиславич Рагузинский 376
Савицкий П.Н. 36
Савич, О.Г. 634
Садовник, В. 53
Салтыков-Щедрин, М.Е. 21, 323, 417
Сандрар, Б. 142, 235
Сантиван, Ф. 544
Санчес Рамирес, П.Т. 594
Санчес, А. 565
Саттер, Д. 472-474, 508
Саути, Р. 168
Сафин, И. 86
Сафранский, В. 84
Сахаров, А. Д. 322
Свирский, В. 84
Святой Георгий, 108
Сегюр, Ф.-П. де 604, 607
Селенич, Сл. 386, 397
Селентано, Дж. 478
Семенов, П.Н. 105
Семо, Э. 585
Серафимович, А.С. 554
Сервис, Р. 192-193
Сергий Радонежский 373
Серов, В.А. 102
Сидни, Ф. 162, 170
Симонов, К.М. 322, 374, 565
Синявский, А.Д. 250, 652, 682
Скайлер, Ю. 414
Скрябин, А.Н. 104
Сливовская, В. 323
Сливовский, Р. 323
Смирнов, И.П. 68, 306, 670, 683
Смит, А. 167, 189
Смит, У.Б. 604
Смит, Х. 469
Соколов, М.Ю. 166, 603, 643, 683
Солженицын, А.И. 218, 250
Соловьев, В.С. 650
Сологуб, Ф.К. 103
Сорокин, В.Г. 99-100, 103, 109, 652-653, 676-677
Спинрад, Н. 488
Спроут, Я. 221-222
Сталин, И.В. 72, 91, 183, 185, 193-194, 202, 224, 262, 302, 342, 349, 395, 431, 563, 577
Сталь, Ж. де 610
Станиславский, К.С. 21
Стасюк, А. 350
Стейнбек, Дж. 444-446, 508
Стенич, В.И. 638, 679
Степняк-Кравчинский, С.М. 170
Степун, Ф.А. 620, 622, 624, 683
Стефан Якшич, воевода 375
Стеффенс, Л. 424
Стивенсон, Р.Л. 176
Стиль, Р. 165
Столлворти, Дж. 220
Столыпин, П.А. 178, 197
Стравинский, И.Ф. 21
Стрейчи, Дж.Л. 174
Стронг, А.Л. 424
Стрыйковский, М. 310
Суворов, А.В. 63
Суинберн, А.Ч. 170
Суиннертон, Ф. 173
Суинтон, Э. 166
Сумароков, А.П. 61, 167
Суханек, Л. 324

Тайнеи, К. 176
Тангейзер 54
Тарасенков, А.К. 433
Таунсенд, С. 205
Тацит 14
Твен, М. 422
Теннисон, А. 169
Тербервилл, Дж. 163
Теру, П. 203-204
Тесла, Н. 353
Тимм, У. 122, 146
Тнто, Й. Б. 385, 401
Тихон Задонский 448
Тихонов, Н.С. 626, 683
Тишков, В.А. 38
Товянский, А. 320
Токвиль, А. де 14
Толстая, Т.Н. 99, 222, 652
Толстой, А.Н. 630-633, 638, 667, 669
Толстой, Л.Н. 21, 39, 81, 97, 174, 176, 221-222, 278, 290-291, 320-321, 421, 430, 466, 518, 544
Тома, А. 417, 479, 501
Томас, Д.М. 124, 150, 214, 216-218, 330, 406
Топоров, В.Н. 9, 23, 27, 35, 637, 683
Тракль, Г. 111
Тревор, У. 221
Тредиаковский, В.К. 61
Трентовский, Б. 319
Третьяков, С.М. 73
Троцкий, Л.Д. 194, 446, 554
Трубецкой Н.С. 36
Трумэн, Г. 440, 443
Трэвис, Ф. 421

Тувим, Ю. 321
Тургенев, И.С. 28, 97, 174, 467, 550, 619
Турецкий, В. 344
Тухачевский, М.Н. 315
Тынянов, Ю.Н. 618, 634-636, 683
Тэтчер, М. 192
Тютчев, Ф.И. 39, 307, 357

Уайлд, О. 170
Уайт, Х. 603-604, 608, 683
Угринов, П. 386
Уевич, Т. 384
Уиб, Р. 524, 530-532
Уилпресс, Д. 515
Уилсон, Э. 434
Уильямс, А.Р. 424
Уиттьер, Дж. 416
Уишоу, Ф. 173
Уланд, Л. 65
Улицкая, Л.Е.
Ульрих Лихтенштейнский
Ульянов, В.И. 619, 681
Уокер, М. 190
Уокер, Дж. 166
Услар Пьетри, А. 545
Успенский, Б.А. 27
Устиев, Е.К. 105
Уц, И.П. 61
Уэлдон, Ф. 222
Уэллс, Г. 181, 183

Фаберже, А.А. 496-497
Фадеев, А.А. 433
Фалкнер, Г. 93
Фальков, Б. 84
Фасмаи, Д. 59
Фатеев, А.В. 442, 509
Фаулз, Дж. 189
Февр, Л. 683
Федин, К.А. 70, 501
Федосеев, Г.А. 105
Федотов, Г.П. 619, 622-623, 633, 683
Фейхтвангер, Л. 70, 562
Ферлингетти, Л. 452
Фернандес, Д. 272-273
Фет, А.А. 263
Фиджес, О. 198
Филби «Ким» 208
Филлипс, А. 492, 511
Философов, Д.В. 321
Филофей Коккин 373
Фишер-Руге, Л. 142
Флегель, К.Ф. 61
Флеминг, Я. 205
Флеминг, П. 57-59, 68
Флетчер, Дж. 10, 30, 164
Флетчер, Джон 162
Фогельвайде, В. фон дер 53
Фоер, Дж.С. 492, 510
Фокс, В. 589
Фонвизин, Д.И. 61, 103, 615, 683
Фонтане, Т. 67
Форд, Л. 204, 515
Форсайт, Ф. 227
Фрай, Р. 172, 175
Фрай, Н.Г. 608
Франк, Л. 86
Франк, У. 424
Франческо де Виториа 29
Фрейд, З. 216
Фрейлиграт, Ф. 67
Фридрих Великий (II) 63
Фридрих-Евгений 64
Фришлин, Н. 57
Фрост, Д. 436
Фукидид 14
Фукуяма, Ф. 462-463, 506
Фурманов, Д.А. 103
Фурнье, М. 607
Фуэнтес, К. 578-579
Фюрнберг, Л. 77

Хабермас, Ю. 25
Хазанов, Б.А. 84, 130
Хайдеггер, М. 527
Хаймес Фрейре, Р. 551
Хайнеманн, У. 173
Хайнц, В. 132
Хайсенбюттель, Х. 75
Хакс, П. 77, 88
Хаксли, О. 176
Хантингтон, С.П. 459-462, 506
Хариг, Л. 75, 91
Хармс Д.И. 98, 502
Харнер-Ханель, Р. 103-104
Харринг, Х. 66
Хебб, Г.К. 415
Хеллерер, В. 76
Хельцль, Э. 412
Хемницер, И.И. 415
Херасков, М.М. 61, 103
Хильбк, М. 142
Хингли, Р. 184-185
Хлебников, В.В. 98, 227, 280, 388
Хобсбаум, Э. 200
Ходорковский, М.Б. 475
Ходьяк, Ф. 88
Хоклит, Р. 164
Холл, Э. 162
Холмогоров, В.С. 651, 683
Хоружий, С.С. 521
Хоскинг, Дж. 43, 194-197, 228

Хоуэллс, У.Д. 417-418
Хохлов, Н. 184
Хохшилд, А. 465
Хрущев, Н.С. 137-138
Хьюм, Д. 189
Хэррисон, Дж.Э. 417-418
Хюкштедт, Х. 97
Хюлле, П. 350
Хюттель, М. 85

Цвейг, А. 70
Цветаева, М.И. 218
Цветков, А.П. 99
Цедлер, И.Г. 59
Целан, П. 98, 111
Цесарец, А. 376
Цешковский, А. 319
Циммеринг, М. 77
Црнянский, М. 384
Цымбурский, В. 38

Чаадаев, П.Я. 40, 611, 613, 683
Чайковский, П.И. 104, 225, 255, 272-273, 556
Чайлд, Р.У. 423
Чапаев, В.И. 675-676, 682
Чапский, Ю. 322
Че Гевара, Э. 674
Чейни, Р. 475
Ченслер, Р. 161
Черный, С. 103, 175
Чернышевский, Н.Г. 103, 619-620, 683
Черчилль, У. 39, 160, 182-184, 227-228, 313, 318, 440
Честертон, Г.К. 179
Чехов, А.П. 21, 28, 97, 175, 184, 186, 226, 292, 296-297, 321, 338
Чириков, А.И.
Чосич, Д. 391, 394, 397
Чугунов, Д.А. 129, 158
Чуковский, К.И. 501

Шагал, М. 196
Шагинян, М.С. 70, 634
Шаламов, В.Т. 330, 389
Шаляпин, Ф.И. 21
Шамиссо, А. фон 61
Шарпф, К. 66
Шафф, А. 18
Шеварднадзе, Э.А. 581
Шекспир, У. 163, 228
Шелли, М. 169
Шенк, Б. 604, 683
Шенкель, Э. 112
Шестов, Л.И. 448
Шиллер, Ф. 60-61, 64
Шильтбергер, Г. 54
Ширяева, Л. 521
Шкловский, В.Б. 634-636, 683
Шлецер, А.Л. 59, 63
Шнитке, В.Э. 86
Шолохов, М.А. 554
Шостакович, Дм.Дм. 21, 81, 218
Шпенглер, О. 49, 252, 683
Шпет, Г. 14
Шписс, И.Л. 61
Штайнгерр, Л. 75
Штейнгарт, Г. 492, 512
Штейнталь, Х. 14
Штиф, К. 59
Шторм, Т. 67
Штреземан, Г. 63
Шубарт, К.Ф.Д. 60
Шукшин, В.М. 322
Шульце, И. 133
Шурц, К. 423
Шютт, П. 78

Щаранский, Н. 218

Эйзенштейн, С.М. 237, 304
Эйхенбаум, Б.М. 618, 633-634, 637, 684
Эко, У. 651, 684
Элиот, Т.С. 172, 228, 491
Эмис, К. 168, 210-211, 219
Эмис, М. 217, 219-220
Эндлер, А. 98
Энценсбергер, Г.М. 78
Эпштейн, М. 655-656, 667, 684
Эрб, Э. 98
Эренбург, И.Г. 70, 98, 121, 564, 625, 684
Эрнст, М. 111
Этвуд, М. 527-528
Этцель (Аттила) 52

Юданова, Е. 107
Юм, Д. 576
Юрий Крижанич 375-376

Ягода, Г.Г. 342
Языков, Н.М. 103, 612, 684
Яков, Т.А.Л. фон (Талви) 210, 416
Яковенко, И.Г. 27, 35-36, 41, 524
Ян Ш Собеский 357
Янион, М. 348
Ярослав I Мудрый 56, 349

ОГЛАВЛЕНИЕ

3 Предисловие: несколько слов об этой книге (В.Б. Земсков)

4 В.Б. Земсков. Россия «на переломе». Вводная статья.

4 1. Теоретические аспекты: о рецепции и репрезентации «другой» культуры.

26 2. О строении русской культуры и ее имагологическом образе. Стереотипы и автостереотипы.

ЕВРОПА

47 Т.В. Кудрявцева. «Вековые контрапункты»: образ России в сознании германского этноса (на материале поэзии).

119 А.А. Панов. Образ России в современной немецкой прозе.

159 Т.Н. Красавченко. «Запад есть Запад, Восток есть Восток»? Образ России в английской культуре.

232 Т.В. Балашова. Динамика восприятия советской и постсоветской России интеллигенцией Франции.

307 А.Б. Базилевский. «Трудное соседство»: образ России и русских в польской литературе на рубеже XX – XXI веков.

367 М.Л. Карасева. Образ России в сербском художественном и общественном сознании рубежа XX – XXI веков.

АМЕРИКА

406 О.Ю. Панова. Образ России в культуре США.

513 О.Е. Фалковски. Векторы восприятия России в Канаде.

540 А.Ф. Кофман. Образ России в испаноамериканской литературе.

В ПОИСКАХ ВНЕНАХОДИМОСТИ

600 М.И. Свердлов. Искажение искажений: проекции иностранного восприятия в современной отечественной литературе.

682 Именной указатель.

Издательство
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ

В 2010 году вышли:

Серия **«Российское общество. Современные исследования»**

Булдаков В.П.

ХАОС И ЭТНОС.
Этнические конфликты в России, 1917 – 1918 гг.
Условия возникновения, хроника, комментарий,
социально-психологический анализ..

Автор в очередной раз подвергает критике стандартные схемы происхождения и течения русской революции. Книга посвящена этническим конфликтам периода 1917 – 1918 гг. – времени господства официального интернационализма. Исследование выполнено в форме хроники, базирующейся на сопоставлении разнородных – от архивных до мемуарных – источников, что в наибольшей степени позволяет оставаться беспристрастным. При этом показаны те неприглядные стороны революционной обыденности, о которых не принято вспоминать, но которые время от времени принимаются будоражить историческое сознание новых поколений.

Автор исходит из того, что прежде чем двигаться в будущее, надо разглядеть и осознать те смертельные риски, которые посеяны на минном поле исторической памяти народов. Соответственно этому книга предназначается как специалистам, как и широкому кругу читателей, готовых вглядеться прошлое без страха и упреков.

Научное издание

НА ПЕРЕЛОМЕ:

Образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX — начало XXI вв.)

Издатель *Леонид Янович*

Ответственный за выпуск *Леонид Янович*
Редактор *Анна Гик*
Корректоры: *Ольга Крупченко*
Валентина Кожукарь
Технический редактор *Евгений Янович*
Верстка и оригинал-макет *Андрей Янович*
Художник *Антонина Байдина*

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон в Москве (495) 671-0095,
по вопросам реализации 8-905-739-0264
E-mail: nkhronograf@mail.ru
Информация об издательстве в Интернете:
http://www.novhron.info

novhron.info

9 785948 811529

Подписано к печати 05.10.2011.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная №1.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 43,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1332

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г .Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15